РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

СТИХОТВОРЕНИЯ

●

ПОЭМЫ

●

ПРОЗА

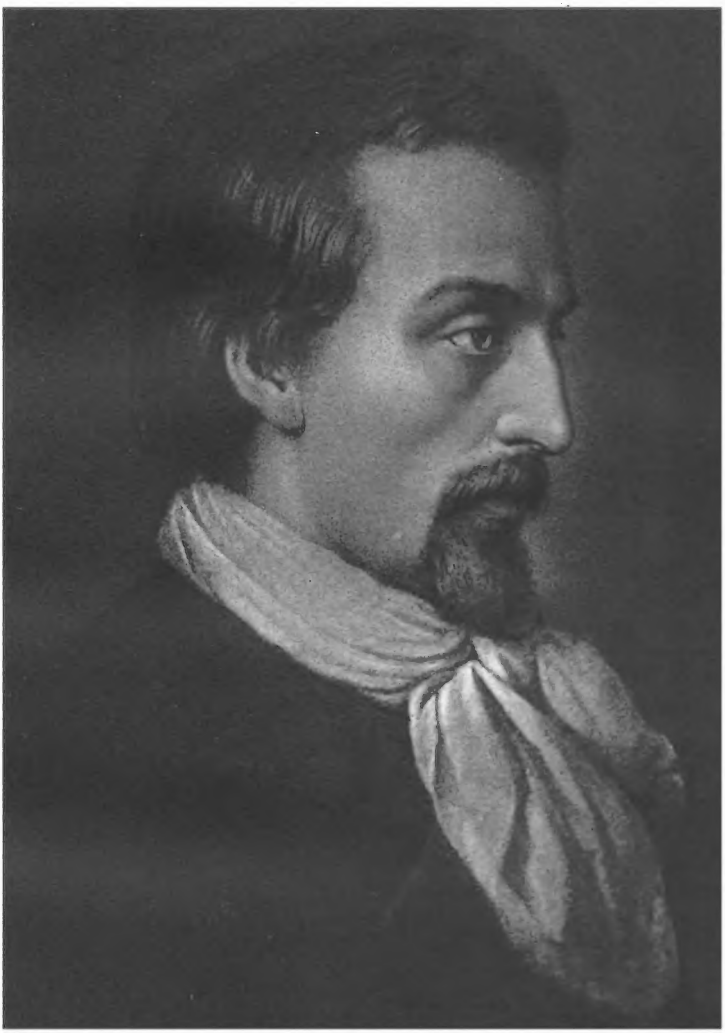
ПЕРЕВОДЫ С НЕМЕЦКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1971

Вступительная статья
Ганса Кауфмана

И (Нем)
Г 29

7-4-4
Подп. изд.



ГЕНРИХ ГЕЙНЕ

Генрих Гейне — современник двух эпох. Родившись в 1797 году, он, если полагаться на его собственные утверждения, видел в своем родном Дюссельдорфе императора Наполеона во всем блеске его славы; юношей он учился у Августа Вильгельма Шлегеля, теоретика немецкой романтической школы, и у Гегеля, в учении которого нашла свое завершение немецкая классическая философия; он посылал свои стихи уже старому Гете и посетил его однажды в Веймаре. Десятилетием позже он вращался в Париже в кругу учеников социалиста-утописта Сен-Симона, спорил с Бальзаком и дружил с Жорж Санд; по прошествии еще одного десятилетия он познакомился с Карлом Марксом, Фридрихом Энгельсом, позднее с их соратником поэтом Георгом Веертом и бывал на парижской квартире Маркса. А его последние произведения, которые он диктовал уже больным в годы, последовавшие за европейскими революциями 1848—1849 годов, появлялись почти одновременно с первыми произведениями Бодлера во Франции, Ибсена в Норвегии, Толстого в России. Чтобы понять причину того воздействия, которое творчество Гейне оказывало в Германии и во многих других странах со времени выхода его первого большого сборника стихов и вплоть до сегодняшнего дня, надо ясно себе представить, что в личности и творчестве поэта нашли отражение, с одной стороны, эпоха Великой французской революции и то огромное влияние, которое она оказала на духовную жизнь, а с другой стороны — эпоха господства буржуазии, эпоха бурного развития капитализма, и те глубокие социальные противоречия, которые она с собой принесла. В его творчестве продолжают жить философские, политические и эстетические идеи революционной эпохи, эпохи Просвещения и немецкой классики, стремление преодолеть устаревшие отношения, мечта о царстве разума и человеческом счастье, мысль о способности

Статья «Генрих Гейне» написана профессором университета им. Гумбольдта (Берлин, ГДР) Гансом Кауфманом специально для настоящего издания.

человека к совершенствованию. Но по мере того, как идеальное царство гармонии превращалось в дисгармоническую реальность буржуазного мира, эти идеи уже не способствовали ни пониманию, ни освоению действительности, и у Гейне еще на раннем этапе можно наблюдать отход от просветительских идеалов и возрастание роли субъективного чувства, индивидуального самоутверждения во враждебном косном мире, что было характерно и для немецкого романтизма.

Страстные поиски такого миропорядка, при котором социальная справедливость сочеталась бы с неограниченными возможностями развития личности, заставили Гейне обратиться к современным социальным идеям и привели его к мысли о том, что устранение всякой «эксплуатации человека человеком» (его собственные слова) должно быть целью социального движения, которое может стать жизненным делом поэта.

В 1840 году он одним из первых заговорил о всемирно-историческом значении формирования пролетариата как класса и о коммунизме как духовном отражении этого исторического процесса.

В период от Гегеля до Маркса такой глубины понимания исторического процесса не достигал никто, кроме Гейне, который с этих позиций подверг буржуазное общество, и в особенности немецкое общество, критике, становившейся с годами все более смелой. Из-за этой критики его и при жизни, и в течение последующего столетия преследовала злобная вражда тех лжепатриотов, для которых патриотизм выражается в прославлении всего отсталого в собственной стране и в «идиотической ненависти» к другим народам.

С этим связан и тот факт, что большие прозаические произведения Гейне, в которых выражены его философские, социальные и художественные взгляды, произведения, в которых Гейне подвергал глубокому анализу немецкие духовные традиции и рассказывал о современном социальном движении во Франции,— эти произведения, замечательные образцы немецкой прозы, не были по достоинству оценены. Гейне-прозаик, Гейне-критик редко удостаивался сочувствия и понимания со стороны буржуазной литературы, еще реже — буржуазной науки. Его значение, его мировая слава определяется прежде всего его лирикой, и даже не всей лирикой, а лишь любовными стихами, написанными главным образом до 1830 года. Они собраны в первом большом сборнике его стихов, в «Книге песен», увидевшей свет в 1827 году, и в цикле «Новая весна», включенном затем в сборник «Новые стихотворения» (1844). Циклы, составляющие «Книгу песен»,— «Юношеские страдания» (1817—1821), «Лирическое интермеццо» (1822), «Опять на родине» (1823—1824) и «Северное море» (1825—1826),— отражают поэтическое развитие Гейне. Читая эти стихи, замечаешь, что на протяжении более десяти лет любовная тема занимала в них, бесспорно, первое место. Судя по этим стихам, между восемнадцатым и двадцать восьмым годом жизни все желания

поэта, все его счастье — весь смысл жизни заключался в том, ответит ли взаимностью боготворимая им женщина, и поэт с тем большим упорством цеплялся за эту надежду, чем больше она ускользала от него. Он мечтает в стихах о гармонии идеальной любви — и рисует, как обманывает каждый раз эта мечта. Мечта эта наталкивается на непреодолимые препятствия, враждебные силы проникают даже в сновидения поэта, разлучая его с любимой. Если сравнить эти стихи, например, с любовными стихами Гете, то различие сразу же бросается в глаза. Торжествующему оптимизму и цельности мировосприятия лирического героя у молодого Гете противостоит у молодого Гейне меланхолия и отсутствие цельности или, выражаясь языком того времени, «разорванность» и «мировая скорбь». С самого начала в лирике Гейне есть ощущение неразрешимых противоречий, которые и определяют отношение поэта к окружающему миру, а тем самым и его личность. Именно сильному и яркому выражению этого ощущения лирика Гейне обязана в значительной степени своей популярностью.

В жизни поэта легко найти основания для такого мировосприятия. После окончания школы он приезжает в Гамбург к своему дяде Соломону Гейне — одному из самых богатых гамбургских банкиров. Здесь он обучался торговому делу, когда же обнаружилось отсутствие у него таланта и склонности к коммерции, он получил разрешение и финансовую помощь дяди для изучения юриспруденции (в Геттингене, Бонне, Берлине и снова в Геттингене, где он в 1825 г. завершил свое юридическое образование). Еще будучи учеником в торговом деле, он влюбился в свою кузину Амалию, дочь Соломона Гейне, и одновременно начал писать стихи. Уже в первых же письмах поэта того периода драматически выражены противоречия его положения. В буржуазно-трезвом семействе дяди его увлечение поэзией было встречено с презрением и расценено как нечто неподобающее, способное лишь повредить его репутации в «обществе», если бы ему вздумалось вдруг публиковать свои стихи. Амалия, очевидно, разделяла взгляды своей семьи и не отвечала взаимностью поэту. Поэт со своей любовью и своим творчеством оказался отвергнут тем миром, в котором существовал. Любимая, предмет его желаний и героиня его стихов, осталась во враждебном ему буржуазном мире. Ее равнодушие, ее холодность лишили поэта веры в людей, в близость между ними. Идеал красоты и добра, воплощенный в облике возлюбленной, представляется ему не только недостижимым, но подчас и не безупречным. Он часто рисует ее неверной и демонической, привлекательной и одновременно опасной носительницей злых чар.

Поэт жил в период европейской реакции, последовавшей за освободительными войнами против владычества Наполеона; в Германии было подавлено всякое прогрессивное движение, которое могло бы подвигнуть поэта на служение общественным идеалам; студенческое движение (дви-

жение «буршеншафтов»), стремившееся сохранить идеалы эпохи освободительных войн, отталкивало его своим национализмом. Социальную реакцию периода реставрации Гейне как еврей ощутил особенно остро, когда он попытался найти какое-либо занятие, обеспечивающее его существование. Равноправие евреев, которое частично было осуществлено в результате французской революции, после 1813 года снова было отменено — открыто или более или менее завуалированно. На государственную службу в качестве юриста Гейне вряд ли мог рассчитывать. Отчасти в этом следует искать источник политических и социальных взглядов Гейне, его ненависть к буржуазии и феодально-бюрократической Германии и одну из причин его преклонения перед революцией и Наполеоном.

С другой стороны, это объясняет ту подчеркнуто субъективную манеру, с которой поэт рисует в стихах самого себя и свое отношение к миру. Он довольно быстро освобождается от литературных реминисценций, идущих от романтизма и фольклора,— призраков, разбойников и т. д.,— с помощью которых он воссоздавал свой любовный конфликт в «Сновидениях», и находит в «Лирическом интермеццо» форму короткого, состоящего из немногих строф стихотворения, в котором с предельной выразительностью и непосредственностью переданы определенная ситуация и личное чувство (к этим стихам охотно обращались современные композиторы — Шуберт, Шуман, Мендельсон и другие, перекладывая их на музыку). Стихотворения «Лирического интермеццо» в целом рисуют рождение, перипетии и конец одной любви. Очень скоро в этих стихах, наряду со светлыми мотивами, начинают звучать мотивы боли, разочарования и даже обвинения, обращенные к любимой.

В цикле «Опять на родине», вершине этого рода лирики, продолжают звучать те же мотивы, однако тематика стихов несколько расширяется,— окружающий мир, где поэт встретился с возлюбленной и где протекает их роман, начинает приобретать более четкие контуры. Едва ли можно предположить, что Гейне по-прежнему тосковал по своей кузине, которая уже давно была замужем за состоятельным помещиком; независимо от того, кому в действительности поклонялся поэт, речь здесь шла о твердо определившейся ситуации, от которой поэт лишь постепенно стал отходить в своих стихах. Так, например, возлюбленная часто изображается принадлежащей к буржуазному «хорошему обществу»; она — с ними, с людьми из «общества», в то время как поэт не принят в их среду (см. «У вас вечеринка сегодня...»). Это ощущение социальной дистанции, взгляд на недоступную любимую снизу вверх в сказочном преломлении вновь возникает в знаменитом стихотворении о Лорелее, ставшем народной песней («Не знаю, что стало со мною...»); в этом стихотворении говорится о прекрасной деве, которая сидит на высокой скале и чешет золотым гребнем золотые волосы, а любящий смотрит из своей лодки вверх, в то время как волны Рейна влекут его

лодку к верной гибели. И когда Гейне, пародируя одно из стихотворений Гете, говорит о том, что у возлюбленной есть «алмазы и жемчуг» и все, что только можно пожелать, и что у нее прекрасные глаза, которые его мучают и которые он готов все снова и снова воспевать,— социальный акцент в этих любовных отношениях поставлен достаточно ясно. И свое собственное положение страдающего влюбленного, который только и делает, что пытается смягчить сердце любимой, или певца, который не перестает воспевать почти всегда недосягаемую возлюбленную,— это положение Гейне рисует критически, но не в силах его изменить. Ирония, которая вдруг со стороны освещает «нежнейшие чувства», сарказм по отношению к самому себе, сатира и юмор в описании косного общества дают себя знать все больше и больше. Пристальнее вчитываясь в оба цикла, начинаешь замечать тот критический и самокритический «комментарий», который как бы сопровождает все стихи. Гейне точно спрашивает себя, являются ли элегические сетования выходом для него и не превращается ли тот культ чувства, который он противопоставлял бесчувственному миру, в свою очередь, в литературную условность, и поэт разоблачает свою позицию как маскарад, как «комедию в романтическом стиле», где он играет роль «умирающего гладиатора».

Из этого можно сделать двоякий вывод. Во-первых, что стихи Гейне, даже наиболее непосредственные по выражению чувства, написаны с сознательным художественным расчетом. Гейне избегает какой бы то ни было риторики, все в стихах подчинено передаче живого чувства в его предельно лаконическом выражении, исходный пункт всегда — конкретный пейзаж или человек. В этом Гейне идет от народной песни, используя многие ее мотивы. Но от народной песни стихотворение Гейне отличается ясной и осознанной мыслью, лежащей в его основе. Стихотворение «Смерть — это ночь, прохладный сон...», например, в котором Гейне по видимости легко, с помощью самых простых средств, переходит от романтического упоения смертью к светлому жизнеутверждающему настроению,— это стихотворение от начала до конца строится в согласии с ясной внутренней логикой и немыслимо вне сознательного отношения к творческому процессу, вне сознательного восприятия и тех духовных течений, с которыми поэт был соотнесен. И это характерно не только для данного стихотворения. По мере того как в стихах Гейне современный ему буржуазный мир выступал все отчетливее и язык их приближался к разговорному языку определенных общественных кругов, все определеннее становился водораздел между традиционной народной песней и поэзией Гейне.

Во-вторых, Гейне довольно рано осознал ограниченность тематики своих стихов. Он призывал самого себя с грубоватой шутливостью кончить крутить любовную шарманку, а в письмах сообщал о своем намерении в будущем воспевать не только Амура и Психею, а начать опи-

сывать Троянскую войну, то есть обратиться к темам «большого мира». Стихотворения цикла «Опять на родине» выходят уже за пределы темы «Амур и Психея». Написанные же в свободных ритмах пространные стихи «Северного моря» говорят о новом этапе в творчестве поэта. Гейне заново переосмысляет здесь прежние темы и проблемы своей поэзии, то элегически, то юмористически рисуя прежнюю лирическую ситуацию, и создает большие философские стихотворения. Море, воспеваемое в торжественных стихах, становится символом неограниченных просторов «большого мира», к которому отныне причастен поэт и в котором ему предстоит найти свое место.

В то время, когда поэт завершал и издавал свою «Книгу песен» (1826—1827), его уже интересовала другая область — область политической прозы. Он успел опубликовать к тому времени описание путешествия, которое он предпринял осенью 1824 года, — «Путешествие по Гарцу». Оно имело значительный успех. Теперь Гейне мог рискнуть отказаться от юридического поприща и стать «свободным художником»; в результате, не будучи бедняком, Гейне всю жизнь испытывал нужду в деньгах. Он продолжал публиковать новые тома своих «Путевых картин», в которых все смелее критиковал политическое положение в Германии, напоминал о прошлых боях за свободу и мечтал о немецкой революции. В конце двадцатых годов Гейне, наряду с Людвигом Берне, был крупнейшим политическим публицистом Германии. Подобно Берне, он переселился в Париж, когда понял, что революция, происшедшая в июле 1830 года во Франции, не перекинется в Германию. У него были все основания предполагать, что в Германии его ожидают большие политические трудности, кроме того, ему хотелось находиться в центре европейской революции. Таким центром был в то время Париж. Здесь Гейне внимательно изучал современное социальное и политическое положение, которое в первые годы Июльской монархии еще было крайне нестабильным, и писал об этом в немецких газетах до тех пор, пока усиление реакции в Германии не сделало это невозможным. Гейне сравнивал развитие Германии и Франции, разрабатывал, опираясь на Гегеля и развивая его положения в революционном духе, вопрос о связи передовых идейных течений, начиная с Ренессанса, с политической и социальной революцией и создал свою концепцию философии истории, которой принадлежит важное место в развитии домарксистской мысли.

Под этим углом зрения следует рассматривать и лирику Гейне того периода (до 1840 г.). Лирика эта была включена поэтом почти полностью в сборник «Новые стихотворения». Новые любовные стихи, написанные в тридцатые годы и составившие цикл «Разные», заметно отличаются от стихотворений «Книги песен». На смену пейзажам, освещенным неверным светом луны, которые символизировали для Гейне старую, романтическую Германию, пришли картины большого города. Сме-

няющие друг друга образы женщин приобрели вполне определенные земные очертания и утратили ореол недосягаемости. Вместо страдающего своенравного юноши в качестве лирического героя предстал опытный, чаще всего скептически и насмешливо настроенный мужчина, лишь иногда уступающий наплыву элегической грусти или дающий увлечь себя порыву энтузиазма. Гейне полемически дерзко прославляет чувственную свободную любовь. В согласии со своими философскими и социальными взглядами, он сознательно выступает против филистерской религиозно окрашенной добродетели, царившей в произведениях поэтов «швабской школы». С этих пор Гейне был ославлен в качестве «аморального человека», лишенного «немецких добродетелей», не только церковными кругами, но и теми, кого тогда считали либералами; либеральный писатель Карл Гуцков препятствовал публикации «Новых стихотворений» из-за цикла «Разные». Действительно, в этих стихах любви отказано в притязаниях на вечность. Любовь не поглощает поэта целиком и полностью, он время от времени дает нам понять, что даже в присутствии обожаемой женщины он думает не только о ней. В маленьком цикле «Серафина» из описания счастливого союза с любимой женщиной рождается сен-семонистская социальная утопия о царстве счастливых людей, не знающих «глупых плотских мук»; а когда угасает любовь, остается нерушимым союз с величественной природой.

Такое понимание любви дает себя знать и в жизни поэта. С 1834 года он жил в свободном браке с юной парижской продавщицей, и лишь позднее он законно оформил свой брак, для того чтобы обеспечить ей соответствующее положение в случае своей смерти. Матильда не знала немецкого языка, следовательно, не имела представления о произведениях мужа и не принимала никакого участия в его творческой и революционной деятельности. Он довольствовался ее добродушным, веселым и жизнерадостным нравом. Ее любовь к нарядам, ее легкомыслие и неспособность экономить нередко бывали причиной комического отчаяния поэта. Маркс, который был в курсе обстоятельств жизни Гейне, не без основания отзывался о Матильде довольно пренебрежительно.

Одна мысль чаще всего тревожила Гейне даже в счастливые часы наедине с любимой, как он об этом признается в своих стихах тридцатых годов,— это мысль о родине. Гейне прожил во Франции четверть века, за это время он лишь дважды побывал в Германии (в 1843 и в 1844 гг.). Но внутренне он был неразрывно связан с Германией; в этом не было, однако, ни грана духовной ограниченности тех, кто ничего не желал знать о всем остальном мире,— Гейне всегда мыслил всемирно-историческими категориями, был знаком с современными политическими и социальными теориями и общественным движением в Западной Европе и в своих представлениях о революционном освобождении человечества шагнул за пределы буржуазного общества навстречу

будущему, социалистическому. Любовь к родине не могла заставить его забыть об отсталости Германии по сравнению с Англией и Францией, о необходимости борьбы со всеми проявлениями реакции в Германии для того, чтобы расчистить путь прогрессивному развитию. В своих стихах, посвященных Германии, Гейне часто возвращался к противоречию между чувством неразрывной связи с родиной и критическим отношением к этой «стране филистеров»,— близость и отталкивание тесно переплетаются между собой. Он воспевает Германию так, как десятилетие назад он воспевал в «Книге песен» возлюбленную («О Германия, моя недосягаемая возлюбленная!»). Родина занимает теперь место недоступной красавицы, которая отворачивается от поэта, не понимая его глубочайших чувств, и которая на самом деле не так уж достойна поклонения, как кажется охваченному любовью поэту. Чувство это представляется самому поэту неразумным и сумасбродным,— и все же непреодолимым. Стихотворение «И я когда-то знал край родимый...»,— одно из самых прекрасных у Гейне,— выдержано целиком в образном ключе «Книги песен», и только формы прошедшего времени указывают на то, что поэт уже несколько отошел от настроений тех лет. В стихотворении «Ночные мысли», написанном в 1843 году, до первой поездки на родину, это элегическое чувство к прошлому, к Германии достигает своей вершины.

Сборник «Новые стихотворения», как и «Книга песен», содержит раздел «Романсы». Начиная с последней трети XVIII века — со времен Бюргера, Гете и Шиллера — в Германии возникла богатая романсная и балладная поэзия. Но уже в творчестве романтиков баллада в известной степени утратила свое демократическое содержание и связь с актуальными вопросами современности. Гейне восстановил эту утраченную связь. Для ранней баллады «Гренадеры» он заимствовал сюжет из живой современности, что было в то время чем-то необычным. Поскольку на всем европейском континенте победа над Наполеоном означала реставрацию феодализма и затухание революционного пламени, всякий, кто обнаруживал симпатии к Наполеону, считался притаившимся якобинцем. Говоря от имени двух солдат разбитой наполеоновской армии, мечтающих о возвращении императора, Гейне выступил тем самым против существующих порядков. Баллада почти открыто звучала как политическое стихотворение.

В других балладах Гейне использовал исторические сюжеты, античные сказания и легенды, переосмысляя их в соответствии со своими идеями о революции. На протяжении всего своего творчества Гейне интересовался народной песней, легендой, сказкой и обстоятельно раскрыл свое понимание народного творчества в прозаических произведениях; в безымянных памятниках народного творчества поэт видел неофициальную культуру немецкого народа, существование которой свидетельствовало о том, что народ не полностью подчинился господствую-

щей христианской идеологии. В образах сказок — великанов и гномов, русалок и эльфов — продолжали жить языческие традиции; фольклорные образы, по мнению Гейне, вели свое происхождение от античных богов и полубогов, обреченных на подпольное существование, превращенных в эпоху христианского средневековья в злых духов и чертей. Борьба между христианским и языческим мировоззрением, запечатленная в древних сказаниях, имела для Гейне величайшее актуальное значение. Язычество означало приятие жизни, стремление к земному счастью, христианство — отрицание жизни, аскетизм, надежду на лучшее в ином мире. Поскольку же вера в потусторонний, лучший мир являлась существенным препятствием к тому, чтобы народ осознал свои возможности и предъявил свои права на лучшую жизнь, преодоление христианского аскетизма, как и буржуазно-идеалистического понимания добродетели, было важнейшей предпосылкой для социального освобождения. Так называемая «эмансипация плоти» не имела у Гейне ничего общего с пассивным эпикуреизмом, наоборот, она была существенным элементом и его сенсуалистической, близкой к материализму философии и его революционных устремлений. Таким образом, баллады Гейне, раскрывая его понимание прошлого, вместе с тем всегда актуальны. Речь идет о праве на земное счастье и тогда, когда поэт рассказывает о том, как рыцарь Олаф, несломленный, принимает смерть, насладившись любовью дочери короля («Рыцарь Олаф»); и тогда, когда поэт описывает раскаяние мужа, убившего изменницу-жену, покорившуюся силе песнопения («Фрау Метта»). Язычество и христианство сталкиваются в поэме «Тангейзер» — свободном переложении старой немецкой народной баллады. Здесь Гейне особенно сильно модернизирует исходный сюжет, превращая поэму в политическую сатиру на современную Германию. Тем самым поэма «Тангейзер» предваряет политическую лирику Гейне сороковых годов. Правда, политические стихотворения Гейне писал во все периоды творчества. В юные годы он воспевал в еще беспомощных традиционных стихах освободительную войну 1813 года; в двадцатых годах он высмеивал национализм «буршеншафтов», спесь прусских лейтенантов и филистерскую узость бюргеров.

После Июльской революции политические мотивы начинают звучать все более отчетливо благодаря сопоставлению Германии и Франции. Но по сравнению с прозой Гейне — «Путевыми картинами», «Французскими делами», «Романтической школой», «Историей религии и философии в Германии» и различными предисловиями к его книгам,— где он смело, остроумно, ярко высмеивал господствующие отношения и пропагандировал революционный путь развития Германии, в его лирике прямых политических выпадов до сих пор было меньше. Положение изменилось с 1840 года, и тем самым начался новый этап в творчестве Гейне.

Толчком послужило начало оппозиционного движения либеральной

буржуазии и демократических слоев мелкой буржуазии в Пруссии. В результате промышленного подъема (центром промышленного развития стала Рейнская область) были выдвинуты, приуроченные к смене царствования, требования свободы печати и конституции для Пруссии; усилились нападки на господство дворян, церкви и бюрократии. Правительство пыталось справиться с этим движением с помощью усиления репрессий. Буржуазные газеты, выражавшие оппозиционные настроения, запрещались и возникали вновь; издатели и книготорговцы измышляли все новые и новые уловки, чтобы обойти цензуру; листовки напоминали о том, что в 1813 году правивший тогда король, который нуждался в своем народе для победы над Наполеоном, обещал конституцию, но обещания не сдержал. Наряду с этим движением возникла философская оппозиция (младогегельянцы, Л. Фейербах, молодые Маркс и Энгельс), большая политическая литература и политическая лирика. Молодые поэты воспевали немецкое единство и свободу, обращаясь к прусскому королю и к народу; многие их стихи звучали так, точно величие Германии уже достигнуто, а завоевание свободы не представляет особых трудностей.

Гейне не присоединился к этому хору. Некоторое время он относился довольно скептически как к этому политическому движению, так и к его литературному выражению. Классической страной революции для него оставалась Франция; жители Парижа неоднократно доказывали, выходя на улицы и строя баррикады, что не намерены вечно терпеть угнетение. С 1840 года Гейне снова стал публиковать в газетах статьи, посвященные общественной жизни Франции (он издал их позднее отдельной книгой под заглавием «Лютеция»); в этих статьях он с еще большей настойчивостью, чем прежде, говорил о социальных противоречиях и грядущих битвах. Он писал о рабочих клубах, в которых обсуждаются социалистические и коммунистические сочинения; о том громадном впечатлении, какое произвели на него исполненные грозной силы песни, которые распевались в мастерских. Все это, происходившее вне официальной общественной жизни, казалось ему более важным для будущего, нежели рассчитанные на внешний эффект парламентские дебаты или правительственные распоряжения, о которых писала пресса и говорили в салонах. Именно это и составляло для него современную политическую и общественную жизнь. Что же касается Германии, то поначалу Гейне сомневался в том, что «в этой стране филистеров», стране «чистой теории» может возникнуть серьезное политическое движение. Поэтому он сомневался и в ценности тех политических стихов, в которых с воодушевлением воспевалась наступающая «весна народов» и победившая свобода. Особенно фальшиво звучали для его ушей националистические, то есть антифранцузские ноты в воспевании «свободного немецкого Рейна» и немецкого единства под эгидой Пруссии.

Риторическое, высокопарное выражение либеральных идей — со всеми, свойственными им иллюзиями, со всей их ограниченностью — претило ему как с политической, так и с художественной точки зрения. Поэтому он выступал в стихах и в прозе с серьезной критикой, а чаще с иронически или откровенно насмешливыми замечаниями в адрес современной «тенденциозной поэзии». Так, он спрашивал юного Георга Гервега, одного из самых популярных в те годы певцов свободы: действительно ли миновала зима и Германия предстала в весеннем уборе? Не цветет ли эта весна лишь в воображении поэта? («Георгу Гервегу»). Или иронически советовал немецким поэтам не воспевать больше своих возлюбленных, а будить трубным гласом народ, употребляя при этом только общие слова («Тенденция»). О стихах Гофмана фон Фаллерслебена Гейне говорил: они годятся лишь для того, чтобы филистеру слаще казались еда и табак в его привычном кабачке. Мелкобуржуазная оппозиция и ее литература не имеют понятия о «глубинных проблемах революции», справедливо считал Гейне: для нее идеалом являются буржуазные порядки, в то время как в наиболее передовых странах, в Англии и Франции, уже пришли к убеждению, что эти порядки означают господство богатых над бедными, капитала над трудом. Всего лишь несколько лет спустя Маркс и Энгельс писали в «Немецкой идеологии» о том, что немецкую идеологию нужно критиковать с позиции, «находящейся вне Германии». К решению существенных вопросов Гейне подходил именно с такой позиции.

Но Гейне недолго находился в оппозиции к оппозиции. Когда борьба обострилась, когда, например, Гервег и Фрейлиграт вынуждены были уехать из Германии (1843 и 1844 гг.); когда наряду с другими газетами и журналами в Кельне была запрещена «Рейнская газета» (1843 г.), редактором которой был юный Маркс; когда восстание силезских ткачей (1844 г.) возвестило начало открытых боев между буржуазией и пролетариатом и в Германии,— тогда для Гейне его противоречия с либералами, с мелкобуржуазными демократами отошли на задний план и он направил острие своей критики против господствующих немецких порядков. Политические стихи, которые он вновь начал писать, свидетельствовали о превосходстве его позиции и его поэтического таланта. Когда он выступал против прусского короля, то вовсе не для того, чтобы, подобно Гервегу и другим, поучать его или убеждать в преимуществе свободы, а для того, чтобы отучить немецкий народ раз и навсегда от почтения к королям «божьей милостью». Гейне так высмеял короля, что умеренные либеральные круги поторопились отмежеваться от поэта. Не больше, чем прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV, посчастливилось баварскому королю,— Гейне написал «Хвалебные песни королю Людвигу» для «Немецко-французского ежегодника», издававшегося Марксом и Руге; за это поэт удостоился чести оказаться вместе с Марксом в

одном списке лиц, подлежащих аресту. С тех пор Гейне никогда уже не решался ступить на прусскую землю. Поэт едва избежал высылки из Франции, которой добивались у французского правительства прусские власти (Маркс, как известно, должен был уехать из Парижа в феврале 1845 г.).

В это время Гейне создает свое замечательное произведение «Германия. Зимняя сказка» (1844) — поэтически свободное повествование о поездке в Германию. Он описывает «старую» Германию такой, какой он ее нашел, но при этом говорит, часто используя фольклорные мотивы, о своих надеждах на грядущую немецкую революцию. Эта поэма, таким образом, не только сатира. В первой же главе поэт воспевает грядущую свободу.

Я новую песнь, я лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаю:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь
На зависть небу и раю.

При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех,—
Закатим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу.

(Перевод В. Левика)

Именно в том, что поэт не только сатирически рисует явления, которых он не приемлет, но и раскрывает собственную позицию в общественной борьбе, дает себя знать новый этап его творчества. Впервые Гейне чувствует, что он не одинок в своих взглядах, что они в согласии с определенным политическим и идейным движением. То, что Маркс в то же самое время в Париже определяет как новый исторический момент: соединение далеко ушедшей вперед философской оппозиции с социальным движением, носителем которого является пролетариат,— наполняет Гейне чувством удовлетворения. И он чувствует себя барабанщиком, который с молодой силой будит свой народ ото сна, ибо наступает время, когда величайшие достижения мысли (гегелевская философия) осуществляются на практике («Доктрина»). То, что выражено здесь в субъективной форме, в стихотворении «Силезские ткачи» выражено в объективной форме. Впервые в немецкой литературе пролетариат изображается не как некий довесок к либеральному движению в защиту реформ. В стихотворении Гейне ткачи, совершившие первую великую попытку восстать против капиталистов, не являются объектом жалостливого сочувствия, как в некоторых «социальных» стихотворениях

того времени. Поэт видит в них представителей новой самостоятельной исторической силы, осознавших свое положение. Поэтому, как и хору античной трагедии, им ясен ход истории и они предвидят будущее («Германия, саван тебе мы ткем!»). Фридрих Энгельс перевел это стихотворение вскоре после его появления на английский язык и напечатал в английской коммунистической газете, чтобы познакомить английских рабочих с ним как симптомом успехов коммунистического движения на континенте. В Германии «Силезские ткачи» тайно распространялись в виде листовок, читались в нелегальных рабочих кружках и были использованы полицией как улика против нелегально существующих коммунистов.

Лишь некоторую часть написанных в это время политических стихотворений Гейне включил в раздел «Современные стихотворения» книги «Новые стихотворения», чтобы не дать слишком очевидных поводов для запрещения книги. Поэтому некоторые из наиболее значительных и острых стихотворений появились в сборнике «Посмертные стихотворения», составленном более или менее удачно издателем его сочинений.

Годы 1843—1846 — время наибольшего участия Гейне-лирика в борьбе, предшествовавшей революции. Во время самой революции Гейне почти не выступал с новыми произведениями,— в дни революционного подъема во Франции и в Германии болезнь окончательно сразила его. Он давно уже испытывал недомогание, теперь же болезнь полностью вступила в свои права, и последние восемь лет жизни (Гейне умер в 1856 г.) он был прикован к постели. Терзаемый страданиями, мучимый заботами об удобной квартире, лечении и о деньгах, он не в состоянии был следить за бурными событиями 1848—1849 годов; об этом свидетельствуют его письма. То, что немцы совершили революцию, казалось ему более удивительным, чем самые фантастические события «Тысячи и одной ночи», а историческое значение восстания парижского пролетариата в июне 1848 года, отголоски которого доходили до его дома, осталось ему непонятным. В этих обстоятельствах сотрудничество Гейне в «Новой рейнской газете», которого желал Маркс, не смогло осуществиться. Лишь к концу революции Гейне смог в какой-то мере справиться со своим положением, чтобы опять выступить с поэтическими произведениями. Два больших лирических сборника — «Романсеро» (1851) и «Стихотворения 1853 и 1854 годов», а также стихотворения, опубликованные посмертно,— свидетельствовали об этом.

Предпосылкой и содержанием поздней, послереволюционной лирики Гейне явилось поражение революции в Европе, победа ненавистного старого порядка и, не в последнюю очередь, стремительное развитие капитализма — все это, увиденное с точки зрения человека, для которого осуществление его идеалов, его революционных чаяний оказалось отодвинутым в далекое будущее, но который тем не менее не отказался

от борьбы против эксплуатации и угнетения. И в это время Гейне занимал особую позицию в немецкой литературе. Большинство поэтов, выступавших накануне революции, замолкло с победой реакции; среди писателей возобладали настроения отступничества, разочарования, отказа от революционных традиций и стремление — пусть с оговорками — приспособиться к новой ситуации. Напротив, в стихах и прозе Гейне после революции его политические симпатии и подход к решению вопросов философии истории остались неизменными, хотя и предстали в новом свете. Уверенность в победе, дерзкое превосходство над врагами в сатирических произведениях уступили место глубокой боли, часто отчаянию или яростному сарказму, в котором сочетались насмешка и страх.

Настроение, господствовавшее в прежних политических сатирах, вновь дает себя знать в некоторых стихотворениях, посвященных отдельным моментам германской революции,— например, «Ослы-избиратели»; в этом стихотворении высмеивается национальная ограниченность некоторых авторитетов революции 1848 года; при этом поэт не щадит и народ, поклоняющийся «величайшему ослу». Как и в этом стихотворении, Гейне теперь часто пользуется басенными мотивами для достижения сатирического или юмористического эффекта. Мораль господствующего класса метко сформулирована клопом, который сидит на своем пфенниге и мечтает о том, как с помощью денег он добудет себе не только все виды наслаждений, но и все благородные и прекрасные качества («С деньгами красив ты, с деньгами знатен...»). Большой остроты и обобщенности достигает сатира на контрреволюционную буржуазию в «Воспоминании о днях террора в Кревинкеле», в котором Гейне облекает в форму декрета «отцов города» страх перед революцией, донос на «иностранцев» и «безбожников». В этих и подобных им стихах перемены в настроениях поэта чувствуются мало, ибо личность самого поэта непосредственно в них не выступает.

Иначе обстоит дело в стихах, где размышления об исторической ситуации неотделимы от личности поэта, когда стихотворение строится как самораскрытие поэта. В стихотворении «В октябре 1849 года» (сборник «Романсеро») поэт рисует Европу после революции. Покой, наступивший в Германии и выдаваемый за некую идиллию, для него — кладбищенский покой, а праздничный шум — лишь маскарад, который должен стереть память об убийствах; воспоминание о борьбе венгров за свободу возвращает мысль поэта к самому себе — он стоит в одном строю с борцами и мучениками революции. Собственную судьбу поэт отождествляет с судьбой революции, даже собственные физические страдания, свою болезнь он видит в свете исторического поражения. В поздней лирике Гейне мы вновь находим ту стихию чувств, с которой знакомы по «Книге песен». Противоречивые чувства в душе поэта выступают как отражение острых общественных противоречий, но эти послед-

ние поэт теперь видит несравнимо четче и определеннее. Лирический герой страдает, но изображение его страданий лишено сентиментальности, которая порой дает себя знать в ранних стихах. Поэт поднимается над собственным страданием, и тогда в его стихах — наряду с отчаянными жалобами — начинает звучать ироническая издевка над своим бедственным положением, как, например, в поздних любовных стихах, в которых поэт прославляет «преимущества» «чисто духовных» любовных отношений по сравнению с «грубостью» физической любви.

Если, с одной стороны, больной поэт воспринимает историческую ситуацию сквозь призму собственных переживаний, то, с другой стороны, эта историческая ситуация представляется ему мистифицированно, как результат извечной победы зла над добром, безобразного над прекрасным. В стихотворении «В октябре 1849 года» это восприятие дает себя знать в сопоставлении современной ситуации с древнегерманским эпосом о Нибелунгах:

Пред властью грубых, темных сил
Обречены падению герои.

(Перевод В. Левика)

Мы встречаемся с этим восприятием вновь и в стихах с историческим или легендарным сюжетом, и в размышлениях поэта, сравнивающего себя с библейским Лазарем.

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

(Перевод М. Михайлова)

Поэт ищет последнюю причину этого якобы нерушимого закона, и, не найдя ее, он называет ее богом. Лишь при поверхностном взгляде можно удивляться тому, что Гейне в начале пятидесятых годов публично заявил: он отрекается от «пантеизма» своей юности и возвращается к «живому богу». Поэт признавался, что в этом случае речь шла скорее о сознательном решении, чем об акте веры, и он лишь делал выводы из пережитого и передуманного. Он показал тем самым, что обманутый в своих земных ожиданиях и отчаявшийся, потерявший надежду и нуждающийся в утешении человек создает себе бога и ищет в нем прибежища. И так случилось с ним, говорит Гейне, он больше не язычник, ощущающий себя богом, а лишь больной, несчастный человек, и ему необходим кто-нибудь, кому он мог бы жаловаться.

В стихотворениях Гейне бог,— если только насмешка поэта вновь не уничтожает веру в него,— несет ответственность за бедствия и во-

пиющую несправедливость, царящие в мире. Эти свои стихи поэт с полным правом назвал «кощунственно-религиозными»; истинно религиозные люди вряд ли могут принять такие стихи:

Кто виной? Иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами?
Это подло и преступно!

(*Перевод М. Михайлова*)

Гейне не хотел, чтобы его принимали за святошу или приверженца какого-нибудь вероисповедания. Он не мог и не хотел изменять своему критическому рассудку и глубокому историческому чувству. И вот рядом с указанными строфами появляются другие, в которых намечена историческая перспектива коренных перемен. Так цикл «Ламентации» (сборник «Романсеро») завершается стихотворением «Enfant perdu»: поэт передает свое поэтическое оружие последующим поколениям, которые продолжат его борьбу.

Надежду на продолжение и победоносное завершение борьбы за свободу Гейне, несмотря на некоторые оговорки, связывал с пролетариатом и с коммунизмом. Об этом — и о том, какие противоречивые чувства это в нем вызывает, поэт сказал ясно и определенно.

В предисловии к французскому изданию «Лютеции» Гейне говорит о своих опасениях: пролетариат создаст в результате своей справедливой борьбы царство социальной справедливости, но в нем не будет места прекрасному, искусству, и из «Книги песен» будут делать кульки для нюхательного табака. Но если бы человечество оказалось перед столь печальной альтернативой, то, с точки зрения Гейне, пусть бы лучше совершилось правосудие,— ибо революционное преобразование мира в конце концов важнее, чем «Книга песен». Пролетариат и коммунизм для Гейне были единственно серьезными врагами его врагов, единственно настоящими противниками старого мира, к которому принадлежала и буржуазия. Это выражено в лирическом видении «Бродячие крысы»,— крысы, подобно всемирному потопу, обрушатся на старый мир, и против них не помогут ни колокольный звон, ни молитвы попов, ни «мудрые постановленья сената», ни даже пушки.

Не случайно, что Гейне назвал в «Лютеции» Маркса, а Маркс в «Капитале» — Гейне своим другом. Буржуазии в лучшем случае оказались доступны лишь некоторые стороны творчества Гейне, поэт же в целом остался ей чужд. Рабочий класс со времени Маркса и Энгельса чувствовал поддержку поэта в своей социальной и политической борьбе и признал за творчеством Гейне то почетное место, которое по праву принадлежит ему в истории человеческой культуры.

ГАНС КАУФМАН

ПРЕДИСЛОВИЕ К ТРЕТЬЕМУ ИЗДАНИЮ

Я в старом сказочном лесу!
Как пахнет липовым цветом!
Чарует месяц душу мне
Каким-то странным светом.

Иду, иду,— и с вышины
Ко мне несется пенье.
То соловей поет любовь,
Поет любви мученье.

Любовь, мучение любви,
В той песне смех и слезы,
И радость печальна, и скорбь светла,
Проснулись забытые грезы.

Иду, иду,— широкий луг
Открылся предо мною,
И замок высится на нем
Огромною стеною.

Закрыты окна, и везде
Могильное молчанье;
Так тихо, будто вселилась смерть
В заброшенное зданье.

И у ворот разлегся Сфинкс,
Смесь вожделенья и гнева,
И тело и лапы как у льва,
Лицом и грудью — дева.

Прекрасный образ! Пламенел
Безумьем взор бесцветный;
Манил извив застывших губ
Улыбкой едва заметной.

Пел соловей,— и у меня
К борьбе не стало силы;
И я безвозвратно погиб в тот миг,
Целуя образ милый.

Холодный мрамор стал живым,
Проникся стоном камень,—
Он с жадной алчностью впивал
Моих лобзаний пламень.

Он чуть не выпил душу мне,—
Насытясь до предела,
Меня он обнял, и когти льва
Вонзились в бедное тело.

Блаженная пытка и сладкая боль!
Та боль, как та страсть, беспредельна!
Пока в поцелуях блаженствует рот,
Те когти изранят смертельно.

Пел соловей: «Прекрасный Сфинкс!
Любовь! О любовь! За что ты
Мешаешь с пыткой огневой
Всегда твои щедроты?

О, разреши, прекрасный Сфинкс,
Мне тайну загадки этой!
Я думал много тысяч лет
И не нашел ответа».

Это все я мог бы очень хорошо рассказать хорошей прозой... Но когда снова перечитываешь старые стихи, чтобы, по случаю нового их издания, кое-что в них подправить, тобою вдруг, подкравшись невзначай, завладевает звонкая привычка к рифме и ритму, и вот стихами начинаю я третье издание «Книги песен». О Феб-Аполлон! Если стихи эти дурны, ты ведь легко простишь меня... Ты же — всеведущий бог и прекрасно знаешь, почему я вот уже так много лет лишен возможности

заниматься больше всего размером и созвучиями слов... Ты знаешь, почему пламя, когда-то сверкающим фейерверком тешившее мир, пришлось вдруг употребить для более серьезных пожаров... Ты знаешь, почему его безмолвное пылание ныне пожирает мое сердце... Ты понимаешь меня, великий, прекрасный бог,— ты, подобно мне, сменявший подчас золотую лиру на тугой лук и смертоносные стрелы... Ты ведь не забыл еще Марсия, с которого заживо содрал кожу? Это случилось уже давно, и вот опять явилась нужда в подобном примере... Ты улыбаешься, о мой вечный отец!

Писано в Париже, 26 февраля 1839 г.

ЮНОШЕСКИЕ СТРАДАНИЯ
(1817—1821)

СНОВИДЕНИЯ

* * *

Мне снились страстные восторги и страданья,
И мирт, и резеда в кудрях прекрасной девы,
И речи горькие, и сладкие лобзанья,
И песен сумрачных унылые напевы.

Давно поблекнули и разлетелись грезы;
Исчезло даже ты, любимое виденье!
Осталась песпя мне: той песне на храненье
Вверял я некогда и радости и слезы.

Осиротелая! Умчись и ты скорее!
Лети, о песнь моя, вослед моих видений!
Найди мой лучший сон, по свету птицей рея,
И мой воздушный вздох отдай воздушной тени!

* * *

Зловещий грезился мне сон...
И люб и страшен был мне он;
И долго образами сна
Душа, смутясь, была полна.

В цветущем — снилось мне — саду
Аллеей пышной я иду.
Головки нежные клоня,
Цветы приветствуют меня.

Веселых пташек голоса
Поют любовь; а небеса
Горят и льют румяный свет
На каждый лист, на каждый цвет.

Из трав курится аромат;
Теплом и негой дышит сад...
И все сияет, все цветет,
Все светлой радостью живет.

В цветах и в зелени кругом,
В саду был светлый водоем.
Склонялась девушка над ним
И что-то мыла. Неземным

В ней было все — и стан, и взгляд,
И рост, и поступь, и наряд.
Мне показалася она
И незнакома и родна.

Она и моет и поет —
И песнью за сердце берет:
«Ты плещи, волна, плещи!
Холст мой белый полощи!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и моешь что?»

Она в ответ мне: «Будь готов!
Я мою в гроб тебе покров».
И только молвила — как дым
Исчезло все. Я недвижим

Стою в лесу. Дремучий лес
Касался, кажется, небес
Верхами темными дубов;
Он был и мрачен и суров.

Смущался слух, томился взор...
Но — чу! — вдали стучит топор.
Бегу заросшею тропой —
И вот поляна предо мной.

Могучий дуб на ней стоит —
И та же девушка под ним;
В руках топор... И дуб трещит,
Прощаясь с корнем вековым.

Она и рубит и поет —
И песнью за сердце берет:
«Ты руби, мой топорок!
Наруби ты мне досок!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто
И рубишь дерево на что?»

Она в ответ мне: «Близок срок!
Тебе на гроб рублю досок».
И только молвила — как дым
Исчезло все. Тоской томим,

Гляжу — чернеет степь кругом,
Как опаленная огнем,
Мертва, бесплодна... Я не знал,
Что ждет меня, но весь дрожал.

Иду... Как облачный туман,
Мелькнул вдали мне чей-то стан.
Я подбежал... Опять она!
Стоит, печальна и бледна,

С тяжелым заступом в руках —
И роет им. Могильный страх
Меня объял. О, как она
Была прекрасна и страшна!

Она и роет и поет —
И скорбной песнью сердце рвет:
«Заступ, заступ! глубже рой:
Надо в сажень глубиной!»

К ней подошел и молвил я:
«Скажи, красавица моя,
Скажи, откуда ты и кто,
И здесь зачем, и роешь что?»

Она в ответ мне: «Для тебя
Могилу рою». Ныла грудь,
И содрогаясь и скорбя;
Но мне хотелось заглянуть

В свою могилу. Я взглянул...
В ушах раздался страшный гул,
В очах померкло... Я скатился
В могильный мрак — и пробудился.

* * *

Себе я сам предстал в виденье сонном:
Я был в нарядном шелковом камзоле.
На светский бал закинут поневоле,
Я милую узнал в кругу салонном.

«Так вы невеста? — молвил я с поклоном.—
Желаю вам успеха в новой роли».
Но сердце сжалось у меня до боли,
Хоть равнодушным говорил я тоном.

Внезапно слезы хлынули ручьями
Из милых глаз, опущенных в печали,—
Был нежный образ унесен слезами...

О звезды счастья, сладостные очи,
Я верю вам, хоть вы мне часто лгали
И наяву, и в сонных грезах ночи!

* * *

Мне снился франтик — вылощен, наряден,
Надменно шел, надменно он глядел.
Фрак надушен, жилет блестяще-бел,
И что ж — он сердцем черен был и смраден.

Он сердцем был ничтожен, мелок, жаден,
Хоть с виду благороден, даже смел,
Витийствовать о мужестве умел,
Но был в душе трусливейшей из гадин.

«Ты знаешь, кто он? — молвил демон сна.—
Взгляни, твоя судьба предрешена».
И распахнул грядущего завесы.

Сиял алтарь, и франт повел туда
Любовь мою; они сказали «да!» —
И с хохотом «аминь» взревели бесы.

* * *

Что разъярило кровь во мне?
Клокочет грудь. Душа в огне.
Пылает кровь в горячке злой,
И злой меня снедает зной.

Взбесилась кровь и рвется вон...
Ужасный мне приснился сон:
Властитель тьмы мне подал знак
И за собой увел во мрак.

Вдруг некий дом я увидал:
Горят огни, грохочет бал,
И пир горой, и дым столбом.
И я вступаю в этот дом.

Справляют чью-то свадьбу тут.
Звенят бокалы. Гости пьют.
И я в невесте узнаю —
Кого?! — Любимую мою!

О, боже! То она, она
Теперь с другим обручена...
В оцепененье я притих,
Встав за спиной у молодых.

Вокруг шумели... Я застыл...
Сколь горек этот праздник был!
Сидит невеста — вся огонь.
Жених — он гладит ей ладонь.

Он наполняет кубок, пьет,
Пригубив, ей передает...
Молчу, дыханье затая:
То не вино, то кровь моя!

Невеста яблоко берет
И жениху передает.
Он режет яблоко... Гляди:
То сердце из моей груди!

В их взорах нега, страсть, призыв...
Любовно стан ее обвив,
Поцеловал ее жених...
И — смерть коснулась губ моих!

И, словно мертвый, я поник.
Свинцом сковало мой язык...
Но снова танцы! Шум и звон!
И вот плывут — она и он.

Я нем... Я мертв... Конец всему.
Он к ней прильнул, она к нему.
Он что-то шепчет ей... Она
Краснеет, томно смущена...

* * *

Я выплатил выкуп, чего же ты ждешь?
Ты видишь, я весь — нетерпенье и дрожь.
Кровавый сообщник, меня не морочь:
Невесты все нет, а уж близится ночь.

От кладбища веют, летят холодки;
Невесту мою не встречали ль, дружки?
И вижу, как призраков бледных орда
Кивает в ответ, ухмыляется: «Да!»

Выкладывай, с чем ты пришел ко мне,
Ливрейный верзила, в дыму и огне?
«В драконьей запряжке мои господа
Прикатят — недолго их ждать — сюда».

Ты, маленький, низенький, в сером весь,
Мой мертвый магистр, зачем ты здесь?
Безмолвно ко мне обращает он взгляд,
Трясет головой и уходит назад.

Косматый мой пес, ты скулишь неспроста!
Как ярко сверкают зрачки у кота!
К чему это женщины подняли вой?
О чем это нянька поет надо мной?

Нет, нянюшка, песенкам прежним конец,
Я нынче, ты знаешь, иду под венец;
Баюкать меня теперь ни к чему,—
Смотри-ка, и гости — один к одному!

Друзья, как любезно, не ждал никогда б! —
В руках у вас головы вместо шляп.
И вы, дрыгоножки, вы тоже пришли:
Что поздно сегодня сорвались с петли?

А вот на метле и старушка карга.
Благослови же родного сынка!
И ведьма, трясясь, выступает вперед;
«Аминь!» — произносит морщинистый рот.

Идут музыканты — к скелету скелет,
Слепая скрипачка пиликает вслед;
Явился паяц, размалеванный в прах,
С могильщиком на худых плечах.

Двенадцать монахинь ведут хоровод,
И сводня косая им тон задает,
Двенадцать попов похотливых свистят
И гнусность поют на церковный лад.

А ты, старьевщи́к, надрываешься зря,
На что в преисподней мне шуба твоя!
Там есть чем топить до скончанья веков,—
Останками смертных — царей, бедняков.

Несносен горбатых цветочниц вой —
Знай, по полу носятся вниз головой.
Вы, рожи совиные,— без затей!
Оставьте! К чему этот хруст костей!

Поистине, с цепи сорвался ад.
Их больше и больше, визжат и гудят;
Вот вальс преисподней... Потише вы, эй!
Сейчас я увижусь с подругой моей.

Потише вы, сброд, или попросту прочь!
Себя самого мне расслышать невмочь.
Как будто подъехали к дому теперь?
Кухарочка! Что же! Открой им дверь!

Привет, дорогая! О, что за честь!
И пастор тут! Не угодно ли сесть?
Хоть вы с лошадиным копытом, с хвостом,
Я ваш, преподобный отец, целиком!

Любимая, что ты бледна, как мертвец?
Нас пастор сейчас поведет под венец;
Я кровью ему заплатил, это так,
Но плата, в сравненье с тобою, пустяк.

Колени склони, дорогая, со мной! —
Она на коленях — о миг неземной!
Прижалась ко мне — там, где сердце мое,
И в жутком восторге я обнял ее.

Я волнами локонов нежно обвит,
И сердце у сердца любимой стучит.
Стучат от блаженства и боли сердца
И к небу стремятся, к престолу творца.

Восторгом сердца беспредельным зажглись
И рвутся туда, где священная высь;
Но здесь, на земле, торжествует зло:
Нам ад возложил свою длань на чело.

Гнетущего мрака угрюмый сын
Свершает над нами венчания чин;
Кровавую книгу он держит в руках,
В молитве — кощунство, проклятье — в словах.

И вой, и шипенье, и свист кругом,
Как грохот прибоя, как дальний гром...
Тут вспыхнул огонь, ослепительно-синь,
И шамкает старая ведьма: «Аминь!»

* * *

Бежал я от жестокой прочь,
Бежал, как безумный, в ужасную ночь;
И старый погост миновать я спешил,
Но что-то манило, сверкало с могил,—

Блеснуло в безжизненных лунных лучах
С могилы, где спит музыканта прах,
Шепнуло мне: «Братец, минутку постой!» —
И вдруг поднялось, как туман седой.

То бедный скрипач, я его узнаю;
Он вышел и сел на могилу свою,
По струнам провел иссохшей рукой,
Запел — и пронзителен голос глухой:

«Пой, скрипка, песню прошлых дней,—
В тоске внимало сердце ей
И обливалось кровью.
Зовет ее ангел блаженством небес,
Мученьем адским зовет ее бес,
Зовут ее люди любовью».

Лишь замер последнего слова звук,
Разверзлись все могилы вдруг,
И тени спешат к музыканту толпой,
И грянул пред ним хоровод гробовой:

«О любовь, ты колдовством
Загнала нас в темный дом,
Усыпила мертвым сном,—
Эй, на зов твой мы встаем!»

И все это, воя, воркуя, ворча,
Летает и пляшет вокруг скрипача,
И с хохотом диким сплетается плач;
И бешено дернул по струнам скрипач:

«Браво, браво, тени, в пляс!
Друг за другом
Буйным кругом!
Клич волшебный поднял вас.
Мы таились много дней,
Будто мышь в норе своей.
Ну-ка, спляшем веселей,
Запоем!
Нет ли здесь чужих ушей?
Встарь немало мы глупили,
Дни в безумии губили,
Жгли сердца в огне страстей.
Нынче каждый пусть расскажет,
Как стряслась над ним беда,
Как мечтал он,
Как страдал он,
Почему попал сюда».

И тощий мертвец выступает из мглы,
И голос его — как жужжанье пчелы:

«Служил я подмастерьем
С аршином да с иглой,
Раз-два аршином мерил,
Проворно шил иглой.
Зашла к нам ненароком
Дочь мастера с иглой,
Мне сердце черным оком
Пронзила, как иглой».

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
Угрюмо второй выступает вперед:

«Шиндерганно, Орландини,
Карл Моор и Ринальдини —
Вот кого я обожал,
Вот кому я подражал.

Я в самой любви — не скрою —
Верно следовал герою;
Распалял мои мечты
Образ девы-красоты.

Я любил, томясь и плача,
Но как только неудача —
Я с разбитою душой
Залезал в карман чужой.

И грозить мне стали власти,—
Оттого, что в злой напасти
Я все чаще крал платки,
Чтоб смахнуть слезу тоски.

И тогда меня схватили
И, как водится, скрутили;
И тюрьма, святая мать,
Стала сына врачевать,—

Я и там, склонясь над пряжей,
О любви мечтал под стражей;
Тут Ринальдо тень пришла,
Грешный дух мой унесла».

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
И третий, под гримом, выходит вперед:

«Любовников первых играя,
Подмостков я слыл королем.
Я нежно вздыхал: «Дорогая!» —
Пылал трагедийным огнем.

Я Мортимер был превосходный,
Я страстно Марию любил!
Но дева осталась холодной,
Ей был непонятен мой пыл.

И раз я, не выдержав боли,
«Мария, святая!» — вскричал;
И глубже, чем нужно для роли,
Вонзил в свое сердце кинжал».

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
Четвертый, в кафтане, выходит вперед:

«Профессор нам с кафедры нес ахинею,
Болтал он — и спал я у всех на виду.
Мне было в тысячу раз веселее
Гулять с профессорской дочкой в саду.

Она мне в окно улыбалась беспечно,
Лилия лилий, мой ангел земной,
Но лилию лилий сорвал бессердечно
Черствый филистер с набитой мошной.

Послал я проклятье богатым нахалам,
Я женщин проклял, откупорил яд,
Со смертью на «ты» перешел за бокалом,—
И смерть усмехнулась: «Fiducit, мой брат!»

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
И пятый, с веревкой на шее, идет:

«Хвалился и чванился граф за вином:
Красива, мол, дочка, богат его дом.
Эй, граф, мне не нужен богатый твой дом,
Нужна только дочка мне в доме твоем.

Хранил их обоих засов да затвор,
Несли сторожа и собаки дозор.
Но что мне дозор, и засов, и затвор,—
Я лестницу взял и спустился во двор.

Я лезу в окошко к моей дорогой,
Вдруг слышу проклятья и брань за спиной:
«Эй, парень, что ищешь ты в графском дому?
Милы драгоценности мне самому!»

И с хохотом граф меня за ногу хвать!
Сбегается челядь! Куда мне бежать?
«Злодеи, не вор я, подите вы прочь,
Украсть я хотел только графскую дочь!»

Напрасно я рвался, напрасен был крик,—
Веревку они приготовили вмиг.
И солнце взошло и дивилось три дня,
Как ветер качает и треплет меня».

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
Шестой, с головою в руке, предстает:

«Любовь мне сердце жгла огнем,
Пошел я в лес бродить с ружьем.
Кружился ворон надо мной
И каркал: «Голову долой!»

«Голубку подстрелю в лесу,
Моей возлюбленной снесу»,—
Так думал я и все шагал
И дичь в лесу подстерегал.

Кто там воркует? Голубок?
Иль сразу двух я подстерег?
Взведен курок, подкрался я:
Гляжу — она! Любовь моя!

Моя голубка! С ней — другой,
Он стройный стан обвил рукой...
Не промахнись теперь, стрелок,—
Пиф-паф, подстрелен голубок!

И вынес приговор мне суд,—
На плаху молодца ведут.
И ворон хрипло надо мной
Прокаркал: «Голову долой!»

Хохочет в ответ мертвецов хоровод,
И сам музыкант выступает вперед:

«Мне песенка встарь полюбилась,
Я пел для моей дорогой,
Но если сердце разбилось —
И песням пора на покой».

И призраки с хохотом ринулись в пляс,
И небо неистовый хохот потряс;
Но пробило «час» на церковных часах,
И призраки с воем исчезли в гробах.

* * *

Я спал, забыв печаль во сне,
И, как виденье сна,
Явилась девушка ко мне,
Прекрасна и бледна.

Как мрамор, бледен щек овал,
Вилась волна волос,
Жемчужный блеск в глазах мерцал,
Подобно влаге слез.

И тихо, тихо подошла,
Как мрамор, холодна.
На грудь мою она легла,
Как мрамор, холодна.

В томленье сердце то замрет,
То бьется все сильней,
Но грудь ее совсем как лед —
Не слышно сердца в ней.

«Пусть грудь моя совсем как лед
И в ней не бьется кровь,
Но я люблю, и не умрет
К тебе моя любовь.

Пусть нет румянца на щеках
И крови в жилах нет,
Но не дрожи, скрывая страх,
На страсть мою в ответ».

Мне больно от тяжелых рук,
Все ближе льнет она.
Пропел петух — исчезла вдруг,
Как мрамор, холодна.

* * *

Вот вызвал я силою слова
Бесплотных призраков рать:
Во мглу забвенья былого
Уж им не вернуться опять.

Заклятья волшебного строки
Забыл я, охвачен тоской,
И духи во мрак свой глубокий
Влекут меня за собой.

Прочь, темные силы, не надо!
Оставьте, духи, меня!
Земная мила мне услада
В сиянье алого дня.

Ищу неизменно, всегда я
Прелестного цветка;
На что мне и жизнь молодая,
Когда любовь далека?

Найти забвенье в желанье,
Прижать ее к пылкой груди!
Хоть раз в едином лобзанье
Блаженную боль обрести!

Пусть только подаст устами
Любви и нежности знак —
И тут же готов я за вами
Последовать, духи, во мрак.

И, тайный страх навевая,
Кивает толпа теней.
Ну вот, я пришел, дорогая,—
Ты любишь? Скажи скорей!

ПЕСНИ

* * *

Утром я встаю, гадаю:
Можно ль нынче ждать?
Вечером томлюсь, вздыхаю:
Не пришла опять!

Сна не шлет душе усталой
Долгой ночи тень;
Грезя, полусонный, вялый,
Я брожу весь день.

* * *

Покоя нет и нигде не найти!
Час-другой, и увижусь я с нею,
С той, что прекраснее всех и нежнее;
Что ж ты колотишься, сердце, в груди?

Ох уж часы, ленивый народ!
Тащатся еле-еле,
Тяжко зевая, к цели,—
Ну же, ленивый народ!

Гонка, и єпешка, и жар в крови!
Видно, любовь ненавистна Орам:
Тайным глумленьем, коварным измором
Хочется взять им твердыню любви.

* * *

Бродил я под тенью деревьев,
Один, с неразлучной тоской,—
Вдруг старая греза проснулась
И в сердце вплась мне змеей.

Певицы воздушные! Где вы
Подслушали песню мою?
Заслышу ту песню — и снова
Отраву смертельную пью.

«Гуляла девица и пела
Ту песню не раз и не раз:
У ней мы подслушали песню,
И песня осталась у нас».

Молчите, лукавые птицы!
Я знаю, что хочется вам
Тоску мою злобно похитить...
Да я-то тоски не отдам!

* * *

Положи мне руку на сердце, друг,
Ты слышишь в комнатке громкий стук?
Там мастер хитрый и злой сидит
И день и ночь мой гроб мастерит.

Стучит и колотит всю ночь напролет,
Давно этот стук мне уснуть не дает.
Ах, мастер, скорей, скорей бы уснуть,—
Я так устал, пора отдохнуть.

* * *

Колыбель моей печали,
Склеп моих спокойных снов,
Город грез, в чужие дали
Ухожу я,— будь здоров!

Ах, прощай, прощай, священный
Дом ее, дверей порог
И заветный, незабвенный
Первой встречи уголок!

Если б нас, о дорогая,
Не свела судьба тогда,
Тихо жил бы я, не зная
Мук сердечных никогда!

Это сердце не дерзало
О любви тебе шептать:
Только там, где ты дышала,
Там хотелось мне дышать.

Но меня нежданно гонит
Строгий, горький твой упрек!
Сердце раненое стонет,
Ум смятенный изнемог.

И, усталый и унылый,
Я, как странник, вдаль иду
Без надежд,— пока могилы
На чужбине не найду.

* * *

Подожди, моряк суровый:
В гавань я иду с тобой,
Лишь с Европой дай проститься
И с подругой дорогой.

Ключ кровавый, брызни, брызни
Из груди и из очей!
Записать мои мученья
Должен кровью я своей.

Вижу, ты теперь боишься
Крови, милая! Постой!
Сколько лет с кровавым сердцем
Я стоял перед тобой?

Ты знакома с ветхой притчей
Про коварную змею —
Ту, что яблоком сгубила
Прародителей в раю?

Этот плод — всех зол причина:
Ева в мир внесла с ним смерть,
Эрис — пламя в Трою, ты же
Вместе с пламенем — и смерть!

* * *

Горы, замки в Рейн искристый
Словно в зеркало глядят,
И летит кораблик быстрый
Прямо в солнечный закат.

Я любуюсь по дороге
Золотистых волн игрой;
Улеглись мои тревоги,
Что от всех таю порой.

Ласковый поток приветен,
Блеском взор заворожен,
Но я знаю, что под этим
Смерть и ночь скрывает он.

Свет снаружи, в сердце бездна.
Ах, поток, ты образ той,
Чья улыбка так любезна,
Взгляд сияет добротой.

* * *

Поначалу мне казался
Нестерпимым этот мрак;
Все ж я вытерпел, не сдался,
Но не спрашивайте как.

РОМАНСЫ

БЕДНЫЙ ПЕТЕР

I

Танцует с Гретой Ганс удалой,
И весел, и шутит он смело.
А Петер, грустный и немой,
Стоит, бледнее мела.

Ганс Грету ведет под венец, и блестят
На них дорогие наряды.
А Петер — в блузе. Глядит на обряд
И ногти грызет с досады.

И молвит Петер, едва не в слезах,
Следя за счастливой четою:
«Не будь я благоразумен,— ах!
Давно б я покончил с собою».

II

«Кипит тоска в моей груди
И днем и ночью темной.
И не уйти! И нет пути!
Скитаюсь, как бездомный.

Иду за Гретой, Грету жду,
Чтоб ей сказать хоть слово.
Но только к Грете подойду,
Как убегаю снова.

Я в горы ухожу один,
И там я стыд мой прячу,
И долго вниз гляжу с вершин,
Гляжу я вниз и плачу».

III

Печальный, бледный и больной,
Проходит Петер стороной,
И люди молвят, глядя вслед:
«Смотри, лица на бедном нет!»

И шепчет девушка другой:
«Уж не из гроба ль встал такой?»
Ах, что ты, милая, поверь,
Он в гроб ложится лишь теперь.

Его подружка прогнала,
И лучше гроба нет угла,
Чтоб завалиться навсегда
И спать до Страшного суда.

ПЕСНЯ КОЛОДНИКА

Как сглазила бабушка Лизу, решил
Народ ее сжечь в наказанье;
Судья, хоть и много потратил чернил,
У бабки не вырвал сознанья.

И бросили бабку в котел, и со дна
Проклятья послышались стоны;
Когда ж черный дым повалил, то она
Исчезла с ним в виде вороны.

Бабуся пернатая, черная, знай —
Я в башне томлюсь в заключенье:
Ты к внучку слети поскорей и подай
В решетку мне сыру, печенья.

Бабуся пернатая, черная, тут
Ты можешь вполне постараться:
Пусть тетки твои глаз моих не клюют,
Как в петле я буду качаться.

ГРЕНАДЕРЫ

Во Францию два гренадера
Из русского плена брели,
И оба душой приуныли,
Дойдя до Немецкой земли.

Придется им — слышат — увидеть
В позоре родную страну...
И храброе войско разбито,
И сам император в плену!

Печальные слушая вести,
Один из них вымолвил: «Брат!
Болит мое скорбное сердце,
И старые раны горят!»

Другой отвечает: «Товарищ!
И мне умереть бы пора;
Но дома жена, малолетки:
У них ни кола ни двора.

Да что мне? просить Христа ради
Пущу и детей и жену...
Иная на сердце забота:
В плену император! в плену!

Исполни завет мой: коль здесь я
Окончу солдатские дни,
Возьми мое тело, товарищ,
Во Францию! там схорони!

Ты орден на ленточке красной
Положишь на сердце мое,
И шпагой меня опояшешь,
И в руки мне вложишь ружье.

И смирно и чутко я буду
Лежать, как на страже, в гробу...
Заслышу я конское ржанье,
И пушечный гром, и трубу.

То Он над могилою едет!
Знамена победно шумят...
Тут выйдет к тебе, император,
Из гроба твой верный солдат!»

ГОНЕЦ

Гонец, скачи во весь опор
Через леса, поля,
Пока не въедешь ты во двор
Дункана-короля.

Спроси в конюшне у людей,
Кого король-отец
Из двух прекрасных дочерей
Готовит под венец.

Коль темный локон под фатой,
Ко мне стрелой лети.
А если локон золотой,
Не торопись в пути.

В канатной лавке раздобудь
Веревку для меня
И поезжай в обратный путь,
Не горяча коня.

ДОН РАМИРО

«Донья Клара! Донья Клара!
Я твоим подвластен чарам!
Обречен тобой на гибель,
Обречен без состраданья.

Донья Клара! Донья Клара!
Сладок жизни дар прекрасный!
А внизу, в могиле темной,
Сыро, холодно и страшно...

Донья Клара! Завтра в церкви
Перед богом дон Фернандо
Назовет тебя супругой.
Пригласишь меня на свадьбу?»

«Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Горьки мне слова упрека,
Горше звезд предначертанья,
Обманувшего надежды.

Дон Рамиро! Дон Рамиро!
Отрешись от мрачной думы.
Много девушек на свете,
Нам же рок сулил разлуку.

Дон Рамиро, ты бесстрашно
Побеждал в сраженье мавров,
Победи себя, Рамиро,
Приходи ко мне на свадьбу».

«Донья Клара! Донья Клара!
Я приду. Даю в том слово!
Танцевать с тобою стану.
Буду завтра. Доброй ночи!»

«Доброй ночи». В доме смолкло.
Под окном стоял Рамиро.
Он стоял окаменевший
И потом во мраке скрылся.

После долгого упорства
Уступает ночь рассвету.
Словно сад, цветами полный,
Раскрывается Толедо.

И ложится отблеск солнца
На дворцы, на мрамор зданий,
В вышине сияют церкви
Золотыми куполами.

Словно гул пчелиных ульев
Колоколен перезвоны.
И молитвенное пенье
Воссылают люди к богу.

Но смотри, смотри! Оттуда
Мимо рынка, из часовни,
Растекаясь и волнуясь,
Полились людские толпы.

Блеском праздничных нарядов
Свита яркая сверкает,
В светлый голос колокольный
Гром врывается органа.

И толпа благоговейно
Молодых сопровождает,
Окружает восхищенно
Донью Клару и Фернандо.

Все глаза следят за ними,
Все уста поют им славу:
«Слава дочери Кастильи!
Рыцарю Кастильи слава!»

У ворот дворца Фернандо
Вал людской остановился:
Будут праздновать там свадьбу
По обычаям старинным.

И с веселым ликованьем
Игры трапезу сменяют,
Между тем как незаметно
Мгла спускается ночная.

И уже в просторном зале
Гости сходятся для танцев,
Их роскошные одежды
В блеске факелов сверкают.

На почетном месте в кресла
Новобрачные садятся.
Нежно шепчутся друг с другом
Донья Клара и Фернандо.

И танцующих веселье
Разливается по залу,
И трубят победно трубы,
В такт вторгаются литавры.

«Ты зачем упорно смотришь
В отдаленный угол зала,
О властительница сердца?» —
Рыцарь спрашивает Клару.

«Там стоит фигура в черном,
Ты не видишь, дон Фернандо?»
И смеется тихо рыцарь:
«Тень в углу тебя пугает».

Но все ближе тень подходит:
То не тень, а рыцарь в черном.
И, Рамиро в нем узнавши,
Клара кланяется робко.

А меж тем в разгаре танцы,
В диком вихре мчатся пары,
Пол от пляски безудержной
Глухо стонет, сотрясаясь.

«Я охотно, дон Рамиро,
Танцевать с тобою стану,
Но в плаще темнее ночи
Ты не должен был являться».

На любимую Рамиро
Смотрит пристально и странно,
Охватив ее, он шепчет:
«Ты звала меня на свадьбу!»

И они вдвоем несутся
В бурной путанице танца,
И трубят победно трубы,
В такт вторгаются литавры!

«Ты лицом бледнее снега!» —
С дрожью тайной шепчет Клара.
«Ты звала меня на свадьбу!» —
Глухо рыцарь отвечает.

И поток людской теснее,
И огни мигают ярче,
И трубят победно трубы,
В такт вторгаются литавры!

«Словно лед твои ладони!» —
Шепчет Клара, содрогаясь.
«Ты звала меня на свадьбу!»
И поток несет их дальше.

«Ах, оставь меня, Рамиро!
Смертный яд — твое дыханье!»
И в ответ ей так же мрачно:
«Ты звала меня на свадьбу!»

Пол дымится раскаленный,
И неистовствуют скрипки,
И во власти чар волшебных
Исступленно все кружится.

«Ах, оставь меня, Рамиро!» —
Снова слышен стон невнятный.
И опять в ответ Рамиро:
«Ты звала меня на свадьбу!»

«Так уйди ж, во имя бога!» —
Произносит Клара с силой.
И едва сказала это,
Как исчезнул дон Рамиро.

А она, глаза сомкнувши,
Ощутила смертный холод
И, беспамятством объята,
Погрузилась в царство ночи.

Но уже туман редеет,
И раскрыла Клара вежды,—
И закрыть их снова хочет,
Пораженная виденьем.

С той поры, как бал открылся,
С нареченным сидя рядом,
Не вставала с места Клара;
И тревожится Фернандо:

«Отчего ты побледнела?
Отчего глядишь так мрачно?»
«А Рамиро?» — шепчет Клара,
Тайным скованная страхом.

И с ответом рыцарь медлит,
На чело легли морщины:
«Не буди кровавой вести,—
В полдень умер дон Рамиро».

ВАЛТАСАР

Полночный час уж наступал;
Весь Вавилон во мраке спал.

Дворец один сиял в огнях.
И шум не молк в его стенах.

Чертог царя горел как жар:
В нем пировал царь Валтасар,—

И чаши обходили круг
Сиявших златом царских слуг.

Шел говор: смел в хмелю холоп,
Разглаживался царский лоб,—

И сам он жадно пил вино.
Огнем вливалось в кровь оно.

Хвастливый дух в нем рос. Он пил
И дерзко божество хулил.

И чем наглей была хула,
Тем громче рабская хвала.

Сверкнувши взором, царь зовет
Раба и в храм Иеговы шлет,

И раб несет к ногам царя
Златую утварь с алтаря.

И царь схватил святой сосуд.
«Вина!» Вино до края льют.

Его до дна он осушил
И с пеной у рта возгласил:

«Во прах, Иегова, твой алтарь!
Я в Вавилоне бог и царь!»

Лишь с уст сорвался дерзкий клик,
Вдруг трепет в грудь царя проник.

Кругом угас немолчный смех,
И страх и холод обнял всех.

В глуби чертога на стене
Рука явилась — вся в огне...

И пишет, пишет. Под перстом
Слова текут живым огнем.

Взор у царя и туп и дик,
Дрожат колени, бледен лик.

И нем, недвижим пышный круг
Блестящих златом царских слуг.

Призвали магов; но не мог
Никто прочесть горящих строк.

В ту ночь, как теплилась заря,
Рабы зарезали царя.

МИННЕЗИНГЕРЫ

Не поход, не подвиг бранный,
Не поминки и не пир,
Предстоит нам нынче странный,
Фантастический турнир.

Горячей коня любого
Наша дикая мечта.
Меч — отточенное слово.
Стих надежнее щита.

И сегодня нам с балкона
Очень много знатных дам
Улыбнется благосклонно,
Только нет желанной там.

Невредимым на арене
Появляется боец.
В сердце ранен от рожденья,
Умирать идет певец.

Истекает сердце кровью
Краше всех других сердец,
И прославленный любовью
Побеждает наконец.

РАНЕНЫЙ РЫЦАРЬ

Мне повесть старинная снится,
Печальна она и грустна:
Любовью измучен рыцарь,
Но милая неверна.

И должен он поневоле
Презреньем любимой платить
И муку собственной боли
Как низкий позор ощутить.

Он мог бы к бранной потехе
Призвать весь рыцарский стан:
Пускай облечется в доспехи,
Кто в милой видит изъян!

И всех бы мог он заставить
Молчать — но не чувство свое;
И в сердце пришлось бы направить,
В свое же сердце копье.

ПЛАВАНИЕ

Стоял я, к мачте прислонясь,
Плеск волн меня печалил.
Отчизна милая, прощай!
Корабль мой отчалил.

Вот дом любимой промелькнул,
На окнах блики света.
Уж все глаза я проглядел,—
Никто не шлет привета.

Не лейтесь, слезы, из очей,
Чтоб жизнь казалась ясной!
О сердце, ты не разорвись
От горечи ужасной!

ПЕСЕНКА О РАСКАЯНЬЕ

Граф Ульрих едет в лесу густом,
Смеются тихо клены,
Он видит: девушка с милым лицом
Таится в листве зеленой.

И думает он: «Как знаю я
Этот облик — цветущий, веселый!
Он так неотступно дразнит меня
В толпе и в охотничьих долах.

Как розы, дышат ее уста
И свежестью и любовью,
Но речь их лукава, и пуста,
И отдана суесловью.

И можно сравнить этот милый рот
С прекрасным розовым садом,
Где змей ядовитых семья живет,
Цветы отравляя ядом.

На свежих щеках, что ярче дня,
Мне ямочек видно дрожанье,
Но это — бездна, куда меня
Безумно влекло желанье.

Волна ее локонов так пышна
И нежно на плечи ложится,
Но это — сеть, что сплел сатана,
Чтоб мне с душою проститься.

В глазах ее нежная радость живет,
Вояны голубая прохлада,
Я думал — буду у райских ворот,
А встретил преддверие ада».

Граф Ульрих едет в лесу густом,
А клены шумят по дороге,
И призрак другой — с омраченным лицом
Глядит в тоске и тревоге.

И думает всадник: «То мать моя,
Она беззаветно любила,
Но делом и словом печалил я
Всю жизнь ее до могилы.

О, если б мне слезы ее осушить
Горем своим и любовью,
О, если бы щеки ее оживить
Из сердца взятой кровью!»

И едет он дальше в густые леса,
Вокруг начинает смеркаться,
И в зарослях странные голоса
Под ветром стали шептаться.

И слушает Ульрих свои же слова,
В лесу повторенные эхом.
То полнится шепчущая листва
Чириканьем птичьим и смехом.

Граф Ульрих прекрасную песню поет,
Раскаяньем песнь зовется.
Когда он ее до конца доведет,
То сызнова песнь начнется.

ПЕСНЯ О ДУКАТАХ

Золотые вы дукаты,
Где ж вы скрылись без возврата?

Уж не к золотым ли рыбкам
Вы случайно завернули —
В море с берега нырнули?

Иль средь золотых цветочков
В поле, вымытом росою,
Заблистали вы красою?

Может, золотые птички,
Беззаботно балагуря,
С вами носятся в лазури?

Или золотые звезды,
Улыбаясь с небосвода,
С вами водят хороводы?

Ах, дукаты золотые!
Не найду я вас нигде —
Ни в лазурных небесах,

Ни в долинах, ни в лесах,
Ни на суше, ни в воде,—
Лишь в глубинах сундука
Моего ростовщика!

РАЗГОВОР В ПАДЕРБОРНСКОЙ СТЕПИ

Слышишь, пенье скрипок льется,
Контрабас гудит ворчливый?
Видишь, в легкой пляске вьется
Рой красавиц шаловливый?

«Друг любезный, что с тобою?
Ты глухой или незрячий?
Стадо вижу я свиное,
Визг я слышу поросячий».

Слышишь, рог раздался в чаще,
Это мчатся звероловы!
Вот один копьем блестящим
Гонит вепря из дубровы.

«Друг мой, право, спятить надо,
Чтобы спутать рог с волынкой!
Там, гоня свиное стадо,
Свинопас идет с дубинкой».

Слышишь, хор гремит над нами,—
Мудрость божью прославляя,
Плещут радостно крылами
Херувимы в кущах рая.

«Херувимы? В кущах рая?
Это гуси пред тобою,
Их мальчишка, распевая,
Гонит палкой к водопою».

Слышишь, колокол в селенье?
Звон воскресный, звон чудесный!
Вот к молебну, в умиленье,
Весь народ спешит окрестный.

«Разве то звонят во храме,
Разве, друг мой, это люди?
То коровы с бубенцами
Не спеша бредут к запруде».

Видишь, к нам летит по лугу
Кто-то в праздничном уборе.
Узнаешь мою подругу?
Сколько счастья в нежном взоре!

«Ты вгляделся бы сначала,
То лесничиха седая
С костылем проковыляла,
Спотыкаясь и хромая».

Ну, тогда еще спрошу я,
Можешь высмеять поэта:
То, что здесь, в груди, ношу я,
Молви, друг, обман ли это?

НАПУТСТВИЕ

(В альбом)

Большая дорога — земной наш шар,
И странники мы на свете.
Торопимся словно бы на пожар,
Кто пеший, а кто и в карете.

Мы машем платком, повстречавшись в пути,
И мчимся, как от погони;
Мы рады б друг друга прижать к груди,
Но рвутся горячие кони.

Едва лишь тебя на скрещенье дорог
Успел, о принц, полюбить я,
Как снова трубит почтальона рожок —
Обоим трубит отбытье.

ПОИСТИНЕ

Когда солнце светит ранней весной,
Распускаются пышно кругом цветы;
Когда месяц плывет дорогой ночной,
Выплывают и звезды, прозрачны, чисты;
Когда ясные глазки видит поэт,
Он песнею славит их сладостный цвет.
Но и песни, и звезды, и луна,
И глазки, и солнечный свет, и весна,
Как бы ими ни полнилась грудь,
В этом мире — не вся еще суть.

СОНЕТЫ

МОЕЙ МАТЕРИ Б. ГЕЙНЕ
(Урожденной фон Гельдерн)

I

И смел, и прям, и горд я неизменно,
Упрямый ум противится преградам,
Пусть сам король меня измерит взглядом,
Я глаз пред ним не опущу смиренно.

Но в близости твоей благословенной,
О мать моя, когда со мной ты рядом,
Мой нрав с его неукротимым складом
Перед тобой смиряется мгновенно.

Не твой ли дух невидимый витает,
Высокий дух, что тайно проникает
Ко мне с вершин и душу мне смягчает?

Грущу ль о том, что, как и в дни былого,
Я сердце матери терзаю снова,
А сердце это все прощать готово.

II

В плену мечты, готов был мир попрать я
И молодость провел с тобой в разлуке,
Искал любви, чтобы в любовной муке
Любовно заключить любовь в объятья.

Любви искал я всюду без изъятья,
И к каждой двери простирал я руки,
Стучал, как нищий,— и на эти стуки
Вражда была ответом и проклятья.

Повсюду я любви искал, повсюду
Искал любви — но не свершиться чуду,
И я домой вернулся одинокий.

И ты навстречу руки протянула,
И — ах! — слеза в глазах твоих блеснула
Любовью долгожданной и высокой.

ФРЕСКОВЫЕ СОНЕТЫ
ХРИСТИАНУ З.

* * *

Разубранному в золото чурбану
Я возжигать не буду фимиам,
Клеветнику руки я не подам,
Не поклонюсь ханже и шарлатану.

Пред куртизанкой спину гнуть не стану,
Хоть роскошью она прикроет срам,
Не побегу за чернью по пятам
Кадить ее тщеславному тирану.

Погибнет дуб, хоть он сильнее стебля,
Меж тем тростник, безвольно стан колебля,
Под бурями лишь клонится слегка.

Но что за счастье жребий тростника?
Он должен стать иль тростью франта жалкой,
Иль в гардеробе выбивальной палкой.

* * *

Личину мне! Отныне я плебей!
Я не хочу, чтоб сволочь золотая,
В шаблонных масках гордо выступая,
Меня к родне причислила своей.

Хочу простых манер, простых речей,
В которых жизнь клокочет площадная,—
Ищу их, блеск салонный презирая,
Блеск острословья, модный у хлыщей.

Я ворвался в немецкий маскарад,
Не всем знаком, но знаю эти хари:
Здесь рыцари, монахи, государи.

Картонные мечи меня разят!
Пустая шутка! Скинь я только маску —
И эти франты в страхе бросят пляску.

* * *

Да, я смеюсь! Мне пошлый фат смешон,
Уставивший в меня баранье рыло.
Смешна лиса, что ухо навострила
И нюхает меня со всех сторон.

Принявшая судьи надменный тон,
Смешна высокомудрая горилла,
Смешон и трус, готовящий кадило,
Хотя кинжал и яд припрятал он.

Когда судьба, нарушив наш покой,
Игрушки счастья пестрые сломала
И в грязь швырнула, черни на потеху,

Когда нам сердце грубою рукой
Разорвала, разбила, растерзала,—
Тогда перед язвительному смеху.

* * *

Страшны, о друг мой, дьявольские рожи,
Но ангельские рожицы страшнее;
Я знал одну, в любовь играл я с нею,
Но коготки почувствовал на коже.

И кошки старые опасны тоже,
Но молодые, друг мой, много злее:
Одна из них — едва ль найдешь нежнее —
Мне сердце исцарапала до дрожи.

О рожица, как ты была смазлива!
Как мог в твоих я глазках ошибиться?
Возможно ли — когтями в сердце впиться?

О лапка, лапка, мягкая на диво!
Прижать бы мне к устам ее с любовью,
И пусть исходит сердце алой кровью!

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

(1822—1823)

ПРОЛОГ

Жил рыцарь на свете, угрюм, молчалив,
С лицом поблекшим и впалым;
Ходил он, шатаясь, глаза опустив,
Мечтам предаваясь вялым.
Он был неловок, суров, нелюдим,
Цветы и красотки смеялись над ним,
Когда брел он шагом усталым.

Он дома сиживал в уголке,
Боясь любопытного взора.
Он руки тогда простирал в тоске,
Ни с кем не вел разговора.
Когда ж наступала ночная пора,
Там слышалось странное пенье, игра,
И у двери дрожали затворы.

И милая входит в его уголок
В одежде, как волны, пенной,
Цветет, горит, словно вся — цветок,
Сверкает покров драгоценный.
И золотом кудри спадают вдоль плеч,
И взоры блещут, и сладостна речь —
В объятьях рыцарь блаженный.

Гамбург. Вид на Альстер
Литография П. Зура
1830-е годы

Рукою ее обвивает он,
Недвижный, теперь пламенеет;
И бледный сновидец от сна пробужден,
И робкое сердце смелеет.
Она, забавляясь лукавой игрой,
Тихонько покрыла его с головой
Покрывалом снега белее.

И рыцарь в подводном дворце голубом,
Он замкнут в волшебном круге.
Он смотрит на блеск и на пышность кругом
И слепнет в невольном испуге.
В руках его держит русалка своих,
Русалка — невеста, а рыцарь — жених,
На цитрах играют подруги.

Поют и играют; и множество пар
В неистовом танце кружатся,
И смертный объемлет рыцаря жар,
Спешит он к милой прижаться.
Тут гаснет вдруг ослепительный свет,
Сидит в одиночестве рыцарь-поэт
В каморке своей угрюмой.

* * *

В чудеснейшем месяце мае
Все почки раскрылися вновь,
И тут в молодом моем сердце
Впервые проснулась любовь.

В чудеснейшем месяце мае
Все птицы запели в лесах,
И тут я ей сделал признанье
В желаньях моих и мечтах.

* * *

Из слез моих много родится
Роскошных и пестрых цветов,
И вздохи мои обратятся
В полуночный хор соловьев.

Дитя, если ты меня любишь,
Цветы все тебе подарю,
И песнь соловьиная встретит
Под милым окошком зарю.

* * *

Гляжу в глаза твои, мой друг,—
И гаснет боль сердечных мук,
Прильну к устам твоим — и вновь
Целенье мне дарит любовь.

Склонюсь на грудь — и, как в раю,
Блаженство трепетное пью.
Но ты шепнешь: «Люблю, твоя»,—
И безутешно плачу я.

* * *

Щекой прильнуть к твоей щеке,—
И слезы — единым потоком.
И сердце — с твоим оно заодно —
В пламени бьется жестоком.

И если бы хлынул такой поток
В такое пламя однажды,
В твоих объятьях бы я изнемог
От этой смертельной жажды.

* * *

Недвижны в небе звезды,—
Стоят и сквозь века
Друг другу шлют влюбленно
Привет издалека.

И говорят друг с другом
Тем чудным языком,
Что никакому в мире
Лингвисту не знаком.

Но я изучил и запомнил
Его до скончания дней.
Грамматикой мне служило
Лицо ненаглядной моей.

* * *

На крыльях песни, подруга,
Со мной умчишься ты
На Ганг, под небо юга,
В чудесный край мечты.

Там, весь в багряном цвете,
Растет волшебный сад.
Там лотосы в лунном свете
О милой сестрице грустят.

Фиалки смеются лукаво,
И тянутся розы к звездам,
И шепчут душистые травы
Душистую сказку цветам.

Пугливо подходят газели
И слушают шум ветерка,
И волнами еле-еле
Священная плещет река.

Под пальмами вместе с тобою
Я там опущусь на траву,
Предамся любви и покою,
Блаженному сну наяву.

* * *

Пугливой лилии страшен
Палящий солнечный зной.
Она, поникнув, дремлет
И ждет прохлады ночной.

Ее любовник — месяц
Красавицу будит от сна,
И лик цветущий и нежный
Ему открывает она,

Сияет и на небо смотрит,
И льет аромат над рекой,
Дрожит, и трепещет, и плачет,
И страстной томится тоской.

* * *

Поднявшись над зеркалом Рейна,
Глядится в зыбкий простор
Святыня великого Кельна
Великий старый собор.

И есть в том соборе икона,
По золоту нисанный лик,
Чей кроткий свет благосклонно
В мой мир одичалый нроник.

Вкруг девы цветы, херувимы
Парят в золотых небесах,
И явное сходство с любимой
В улыбке, в губах и глазах.

* * *

Молва нуста, молва слепа,
И мир вокруг стал косным.
Дитя, не потому ль толпа
Зовет твой характер несносным!

Молва слепа, молва пуста,
Тебя не понимают:
Не знают, как сладки твои уста
И как они жарко пылают.

* * *

Ангел мой, я жду ответа,
Может быть, была ты сном,
Одурманившим поэта
Летом в сумраке лесном.

Но лицо, и стан, и ножки,
Этих глаз волшебный свет,—
Нет, такой прелестной крошки
Не создаст вовек поэт.

Змей, драконов безобразных,
Монстров, пышущих огнем,
Вот каких уродов разных
Мы, поэты, создаем.

Но тебя, твой смех прелестный,
Твой лукавый смех — о нет!
Твой, плутовка, взор небесный
Не создаст вовек поэт.

* * *

Как из пены волн рожденная,
И прекрасна и пышна,
За другого обрученная,
Дышит прелестью она.

Сердце многотерпеливое!
Не ропщи и не грусти
И безумство торопливое
Бедной женщине прости.

* * *

Я не ропщу — пусть сердце и в огне:
Навек погибшая, роптать — не мне!
Как ни сияй в алмазах для очей,
А ни луча во мгле души твоей.

Я это знал: ведь ты же снилась мне!
Я видел ночь души твоей на дне,
Я видел змей в груди твоей больной,
Я видел, как несчастна ты, друг мой.

* * *

Да, ты несчастна,— и мой гнев угас.
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.
Пока больное сердце бьется в нас,
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.

Пусть явный вызов на устах твоих
И взор горит, насмешки не тая,
Пусть гордо грудь трепещет в этот миг,—
Ты все несчастна, как несчастен я.

Улыбка — горем озарится вдруг,
Огонь очей — слеза зальет опять,
В груди надменной — язва тайных мук...
Мой друг, обоим нам судьба — страдать.

* * *

Забыла ты навсегда, без возврата,
Что я владел твоим сердцем когда-то,
Прелестней и лживей нет ничего
Сердечка маленького твоего.

Любовь и страдания ты забыла —
Все то, что сердце мое теснило.
Чего было больше — страданий, любви ли?
Знаю, они огромными были!

* * *

Отчего весенние розы бледны,
Отчего, скажи мне, дитя?
Отчего фиалки в расцвете весны
Предо мной поникают, грустя?

Почему так скорбно поет соловей,
Разрывая душу мою?
Почему в дыханье лесов и полей
Запах тлена я узнаю?

Почему так сердито солнце весь день,
Так желчно глядит на поля?
Почему на всем угрюмая тень
И мрачнее могилы земля?

Почему, объясни,— я и сам не пойму,—
Так печален и сумрачен я?
Дорогая, скажи мне, скажи, почему,
Почему ты ушла от меня?

* * *

Немало они болтали,
Немало вздора плели,
Но главной моей печали
Тебе открыть не могли.

По косточкам разбирая,
Меня называли злым,
Жалели тебя, вздыхая,—
И ты поверила им.

Но самого дурного
Никто не знал обо мне,—
Дурного и смешного,
Что скрыто в душе глубине.

* * *

Когда-то друг друга любили мы страстно...
Любили хоть страстно, а жили согласно.
Женой ее звал я, она меня мужем;
День целый, бывало, играем, не тужим.

И боже спаси, чтоб затеяли ссору!
Нет, все б целоваться — во всякую пору!
Играть наконец мы задумали в прятки
И в чаще лесной разошлись без оглядки.
Да так-то сумели запрятаться оба,
Что, верно, друг друга не сыщем до гроба.

* * *

Покуда я медлил, вздыхал и мечтал,
Скитался по свету и тайно страдал,
Устав дожидаться меня наконец,
Моя дорогая ношла под венец
И стала жить в любви да в совете
С глупейшим из всех дураков на свете.

Моя дорогая чиста и нежна,
Царит в моем сердце и в мыслях она.
Пионы щечки, фиалки глазки,—
Мы жить могли бы, точно в сказке,
Но я прозевал мое счастье, друзья,—
И в этом глупейшая глупость моя.

* * *

И розы на щечках у милой моей,
И глазки ее — незабудки,
И белые лилии — ручки-малютки
Цветут все свежей и пышней...
Одно лишь сердечко засохло у ней!

* * *

Когда в гробу, любовь моя,
Лежать ты будешь безмолвно,
Сойду к тебе в могилу я,
Прижмусь к тебе любовно.

К недвижной, бледной, к ледяной
Прильну всей силой своею!
От страсти трепещу неземной,
И плачу, и сам мертвею.

Встают мертвецы на полночный зов,
Несутся в нляске, ликуя,
А нас могильный укрыл покров,
В объятьях твоих лежу я.

Встают мертвецы на последний суд,
На казнь и мзду по заслугам,
А нам с тобой хорошо и тут,
Лежим, обняв друг друга.

* * *

На севере диком стоит одиноко
На голой вершине сосна,
И дремлет, качаясь, и снегом сыпучим
Одета, как ризой, она.

И снится ей все, что в пустыне далекой —
В том крае, где солнца восход,
Одна и грустна на утесе горючем
Прекрасная пальма растет.

* * *

Надев сюртучки побогаче,
Мещане гуляют в лесу,
Резвятся в восторге телячьем
И славят природы красу.

И тонут в блаженстве их души:
Цветет романтически дол!
И внемлют, развесивши уши,
Как в чаще щебечет щегол.

А я свои окна закрою
От света черным сукном;
Мои привиденья порою
Меня посещают и днем.

Приходит любовь былая
Ко мне из забытых дней,
Садится со мной, рыдая,
И я рыдаю с ней.

* * *

Как призрак забытый, из гроба
Встает былое мое:
Напоминает, как жил я
Когда-то близ нее.

По городу, бледный, печальный,
Бродил я, как в полусне,
И люди с удивленьем
В лицо глядели мне.

Ночами было лучше:
На улицах — ни души.
Лишь я с моею тенью
Брожу в пустынной тиши.

Вот мост нерехожу я,
Шаги мои гулко звучат.
Луна мне вслед из тучи
Бросает хмурый взгляд.

И вот твой дом, и снова
Гляжу на твое окно.
А сердце так томится,
Так замирает оно!

В окне я часто видел
Неясную тень твою.
Ты знала, что я возле дома,
Как изваянье, стою.

* * *

Красавицу юноша любит;
Но ей полюбился другой.
Другой этот любит другую
И назвал своею женой.

За первого встречного замуж
Красавица с горя идет;
А бедного юноши сердце
Тоска до могилы гнетет.

Старинная сказка! Но вечно
Останется новой она;
И лучше б на свет не родился
Тот, с кем она сбыться должна!

* * *

Приснилась мне королевская дочь,
Была она снега бледнее,
В аллее под липой вдвоем всю ночь
Сидел я, обнявшись, с нею.

«Не нужен мне трон отца твоего,
Не нужны драгоценные камни,
Не нужно державы, короны его,—
Лишь ты, ты одна нужна мне».

«Недостижима мечта твоя —
Лежу я во мгле могилы,
И лишь по ночам любовь моя
Меня пробуждает, милый».

* * *

Обнявшися дружно, сидели
С тобою мы в легком челне,
Плыли мы к неведомой цели
По морю при тусклой луне.

И виден, как сквозь покрывало,
Был остров таинственный нам,
Светилося все, и звучало,
И весело двигалось там.

И так нас к себе несдержимо
Звало и манило вдали,
А мы — безутешно мы мимо
По темному морю плыли.

* * *

Из старых сказок машет
И руку подает,
Манит, звенит и пляшет,
В тот чудный край зовет,

Где дали золотые,
Закатом залиты,
И, нежные, томятся,
Как девушки, цветы.

Где все деревья хором
Вздыхают и поют
И с плясовым задором
Ключи шумливо бьют.

Такие песнопенья
Там в честь любви гремят,
Что дивного волненья
Ты дивный выпьешь яд.

Ах, мне бы там укрыться,
От горестей уйти,
Из всех ключей напиться,
Свободу обрести.

Ах, в этот край порою
Меня уносит сон,
Но с утренней зарею,
Как пена, тает он.

* * *

Они меня истерзали
И сделали смерти бледней,—
Одни — своею любовью,
Другие — враждою своей.

Они мне мой хлеб отравили,
Давали мне яда с водой,—
Одни — своею любовью,
Другие — своею враждой.

Но та, от которой всех больше
Душа и доселе больна,
Мне зла никогда не желала,
И меня не любила она!

* * *

Двое перед разлукой,
Прощаясь, подают
Один другому руку,
Вздыхают и слезы льют.

А мы с тобой не рыдали,
Когда нам расстаться пришлось.
Тяжелые слезы печали
Мы пролили позже — и врозь.

* * *

За столиком чайным в гостиной
Спор о любви зашел.
Изысканны были мужчины,
Чувствителен нежный пол.

«Любить платонически надо!» —
Советник изрек приговор,
И был ему тут же наградой
Супруги насмешливый взор.

Священник заметил: «Любовью,
Пока ее пыл не иссяк,
Мы вред причиняем здоровью».
Девица спросила: «Как так?»

«Любовь — это страсть роковая!» —
Графиня произнесла
И чашку горячего чая
Барону, вздохнув, подала.

Тебя за столом не хватало.
А ты бы, мой милый друг,
Верней о любви рассказала,
Чем весь этот избранный круг.

* * *

Отравой полны мои песни —
И может ли иначе быть?
Ты, милая, гибельным ядом
Умела мне жизнь отравить.

Отравой полны мои песни —
И может ли иначе быть?
Немало змей в сердце ношу я —
И должен тебя в нем носить!

* * *

Я тихо еду лесом,
Коляска везет меня
Веселой долиной, волшебно
Цветущей в блеске дня.

Сижу, любуюсь и грежу,
Мечту о милой таю.
Вдруг вижу — три тени мелькают,
Кивая в коляску мою.

И скачут, и строят гримасы,
С насмешкой робкой глядят,
Свиваются в дымку тумана,
Хохочут и в чащу летят.

* * *

Во сне я горько плакал:
Мне снилось, что ты умерла.
Проснулся я, и тихо
Слеза за слезой текла.

Во сне я горько плакал:
Мне снилось, я брошен тобой.
Проснулся я и долго
Плакал в тиши ночной.

Во сне я горько плакал:
Мне снилось, ты снова моя.
Проснулся я — и плачу,
Все еще плачу я...

* * *

Сырая ночь беззвездна,
Деревья скрипят на ветру.
Я, в плащ закутавшись, еду
Один в глухом бору.

И мчатся мечты предо мною,
Опережают коня,—
Как будто на крыльях воздушных
К любимой уносят меня.

Собаки лают. Привратник
Выходит во двор с фонарем.
Я, шпорами бряцая,
Врываюсь по лесенке в дом.

О, как там тепло и уютно
При ласковом свете свечей!
И я бросаюсь в объятья
Возлюбленной моей...

Свистит осенний ветер,
И дуб говорит седой:
«Куда ты, глупый всадник,
С твоей безумной мечтой?»

* * *

Зарыт на перекрестке
Тот, кто покончил с собой.
Печальный грешнолистник
Там вырос голубой.

Стоял я на перекрестке,
Вздыхал я в глуши ночной.
Печальный грешнолистник
Качался под луной.

* * *

Взгляд был окутан мраком,
Рот был залит свинцом —
С окаменелым сердцем
Я спал в гробу глухом.

Как долго был, не знаю,
Я мертвым сном объят,
Проснулся я и слышу —
В мой темный гроб стучат.

«Ты встать не хочешь, Генрих?
К нам вечный день идет,
И вечное блаженство
Для мертвых настает».

Мой друг, я встать не в силах,
Раскрыть не в силах глаз:
Небесный свет от плача
В них навсегда угас.

«Глаза целуя, Генрих,
Я свет дневной верну —
Ты ангелов увидишь
И неба глубину».

Мой друг, я встать не в силах.
Не слышен сердцу зов,—
В него ты нож вонзила
Своих жестоких слов.

«Тихонько к сердцу, Генрих,
Прильнет моя рука,
И кровь не будет литься,
Излечится тоска».

Мой друг, я встать не в силах,
Кровоточит висок,—
Когда тебя утратил,
В тоске я спустил курок.

«К виску больному, Генрих,
Прижму я локон свой,
Очнешься от страданий
Ты с ясной головой».

Она звала так нежно,
Не мог я устоять;
Я захотел подняться,
Навстречу милой встать.

Но вдруг раскрылись раны,
Кровь полилась моя
С неудержимой силой,—
И тут проснулся я.

* * *

Дурные, злые песни,
Печали прошлых лет!
Я вас похоронил бы,
Да только гроба нет.

Не спрашивайте, люди,
Что сгинуть в нем могло б,
Но гейдельбергской бочки
Обширней нужен гроб.

Еще нужны носилки,
Но из таких досок,
Что больше моста в Майнце
И вдоль и поперек.

Тогда двенадцать братьев
Зовите из-за гор,—
Тех, что сильней и выше,
Чем кельнский Христофор.

Пусть этот гроб громадный
Закинут с крутизны
В громадную могилу,
В простор морской волны.

А знаете вы, люди,
На что мне гроб такой?
В него любовь и горе
Сложу я на покой.

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

(1823—1824)

* * *

В этой жизни слишком темной
Светлый образ был со мной;
Светлый образ помутился,
Поглощен я тьмой ночной.

Трусят маленькие дети,
Если их застигнет ночь;
Дети страхи полуночи
Громкой песней гонят прочь.

Так и я, ребенок странный,
Песнь мою пою впотьмах;
Незатейливая песня,
Но зато разгонит страх.

* * *

Не знаю, что стало со мною —
Душа моя грустью полна.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.

День меркнет. Свежеет в долине,
И Рейн дремотой объят.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.

Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке — золотой.

И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.

И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну,
Не смотрит на рифы под кручей,
Он смотрит туда, в вышину.

Я знаю, волна, свирепея,
Навеки сомкнется над ним,
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.

* * *

Печаль, печаль в моем сердце,
А май расцветает кругом!
Стою под липой зеленой
На старом валу крепостном.

Внизу канал обводный
На солнце ярко блестит.
Мальчишка едет в лодке,
Закинул лесу — и свистит.

На том берегу пестреют,
Как разноцветный узор,
Дома, сады и люди,
Луга, и коровы, и бор.

Служанки белье полощут,
Звенят их голоса,
Бормочет мельница глухо,
Алмазы летят с колеса.

А там — караульная будка
Под башней стоит у ворот,
И парень в красном мундире
Шагает взад и вперед.

Своим ружьем он играет,
Горит на солнце ружье.
Вот вскинул, вот взял на мушку,—
Стреляй же в сердце мое!

* * *

По лесу брожу я и плачу,
А дрозд, сквозь густые листы,
Мне свищет, порхая по веткам:
«О чем закручинился ты?»

Узнай у сестриц, у касаток,
Они тебе скажут — о чем:
Весной они гнезда лепили
У милой моей под окном.

* * *

Беззвездно черное небо,
А ветер так и ревет.
В лесу, средь шумящих деревьев,
Брожу я всю ночь напролет.

Вон старый охотничий домик.
Он поздним горит огоньком,
Но нынче туда не пойду я,—
Там все пошло кувырком.

Слепая бабушка в кресле
Молча сидит у окна,—
Сидит, точно каменный идол,
Недвижна и страшна.

А сын лесничего рыжий,
Ругаясь, шагает кругом,
Ружье швырнул об стенку,
Кому-то грозит кулаком.

Красавица дочка за прялкой
Не видит пряжи от слез.
К ногам ее с тихим визгом
Жмется отцовский пес.

* * *

Когда мне семью моей милой
Случилось в пути повстречать,
Все были так искренне рады —
Отец, и сестренка, и мать.

Спросили, как мне живется
И как родные живут.
Сказали, что я все такой же
И только бледен и худ.

И я расспросил — о кузинах,
О тетках, о скучной родне,
О песике, лаявшем звонко,
Который так нравился мне.

И после о ней, о замужней,
Спросил невзначай: где она?
И дружески мне сообщили:
Родить через месяц должна.

И дружески я поздравлял их,
И я передал ей привет,
Я пожелал ей здоровья
И счастья на много лет.

«А песик,— вскричала сестренка,—
Большим и злющим стал,
Его утопили в Рейне,
А то бы он всех искусал».

В малютке с возлюбленной сходство,
Я тот же смех узнаю
И те же глаза голубые,
Что жизнь загубили мою.

* * *

Мы возле рыбацкой лачуги
Сидели вечерней порой.
Уже темнело море,
Вставал туман сырой.

Вот огонек блестящий
На маяке зажгли,
И снова белый парус
Приметили мы вдали.

Мы толковали о бурях,
О том, как мореход
Меж радостью и страхом,
Меж небом и морем живет,

О юге, о севере снежном,
О зное дальних степей,
О странных, чуждых нравах
Чужих, далеких людей.

Над Гангом звон и щебет,
Гигантский лес цветет,
Пред лотосом клонит колени
Прекрасный, кроткий народ.

«Мое сердце дико и странно,
Его трепет странен и дик,
Я люблю тебя несказанно,
Человеческий милый лик».

* * *

Когда выхожу я утром
И вижу твой тихий дом —
Я радуюсь, милая крошка,
Приметив тебя за окном.

Читаю в глазах черно-карих
И в легком движении век:
«Ах, кто ты и что тебе надо,
Чужой и больной человек?»

Дитя, я поэт немецкий,
Известный в немецкой стране.
Назвав наших лучших поэтов,
Нельзя не сказать обо мне.

И той же болезнью я болен,
Что многие в нашем краю.
Припомнив тягчайшие муки,
Нельзя не назвать и мою.

* * *

Сверкало зыбью золотой
В лучах заката море.
Одни мы безмолвно сидели с тобой,
Одни на пустынном просторе.

Кружились чайки, рос прилив,
И мгла сырая встала.
Ты, слез любви не утаив,
Беззвучно зарыдала.

Я слезы увидел на пальцах твоих,
Я пал на колени с мольбами,
И слезы выпил я с пальцев твоих
Горячими губами.

И в сердце глубокую боль я унес,
Ничто ему больше не мило.
Мне горечь этих женских слез
Навеки все отравила.

* * *

На той на горе на высокой
Есть замок, на замке шпиц.
Живут там три девицы,
А я люблю трех девиц.

В субботу целует Иетта,
В воскресенье Евфимия,
В понедельник Кунигунда
И жмет к груди меня.

А во вторник был там праздник,
На горе, у моих девиц.
В возках, верхом, в каретах
Наехало много лиц.

Меня туда не позвали,
А тут-то и вышел грех:
Заметили тетки и дяди
И подняли их на смех.

* * *

На пасмурном горизонте,
Как призрак из глуби вод,
Ощеренный башнями город
Во мгле вечерней встает.

Под резким ветром барашки
Бегут по свинцовой реке.
Печально веслами плещет
Гребец в моем челноке.

Прощаясь, вспыхнуло солнце,
И хмурый луч осветил
То место, где все потерял я,
О чем мечтал и грустил.

* * *

Большой, таинственный город,
Тебя приветствую вновь,
Ты в недрах своих когда-то
Мою укрывал любовь.

Скажите, ворота и башни,
Где та, что я любил?
Вы за нее в ответе,
Я вам ее поручил.

Ни в чем не повинны башни —
Не могли они сняться с мест,
Когда с сундуками, узлами
Она торопилась в отъезд.

В ворота она преспокойно
Ускользнула у всех на глазах;
Если дурочка изворотлива,
И воротам быть в дураках.

* * *

Я снова дорогою старой иду
По улицам знакомым.
И вот я пред домом любимой моей —
Пустым, заброшенным домом.

Как мостовые плохи здесь,
Как улицы убоги!
Дома мне на голову рухнуть грозят,—
Бегу — давай бог ноги!

* * *

Город уснул, я брожу одиноко,
И вот ее дом, и над входом окно.
Любимой нет, она далеко,
А дом стоит, как стоял он давно.

Пред ним — человек. Он ломает руки.
Он ждет, он ищет хоть призрак в окне!
Мне жутко: в лице, побледневшем от муки,
Себя самого я узнал при луне.

Двойник мой неведомый, брат мой кровный,
Чего ты ждешь, не зная сна,
Измученный тоской любовной,
Как я в былые времена?

* * *

Как можешь ты спать спокойно
И знать, что я живу?
Погасший гнев вернется,
Я цепи тогда разорву!

Ты помнишь, как в песне старинной
Жених, убитый врагом,
Примчался в полночь к невесте
И взял ее в темный свой дом?

Прекрасная, нежная, верь мне,
Верь, гордая, песне моей,—
Ведь я живой, я не умер,
Я всех мертвецов сильней!

* * *

Забылась девушка дремой,
К ней в комнату смотрит луна.
Звенит веселым вальсом
Ночная тишина.

«Взгляну я, кто сон мой тревожит,—
Всю ночь покоя нет!»
Внизу под окном, распевая,
Пилит на скрипке скелет.

«Ты мне обещала танец,
Но солгала, как всегда.
Сегодня бал на кладбище,
Пойдем плясать туда».

И девушку властная сила
Выводит на зов из ворот,
Ведет за скелетом, он пляшет,
Идет перед ней и поет.

Поет, пилит и пляшет,
Костями стучит в тишине
И черепом мерно кивает,
Кивает бледной луне.

* * *

Я Атлас злополучный! Целый мир,
Весь мир страданий на плечи подъемлю,
Подъемлю непосильное, и сердце
В груди готово разорваться.

Ты сердцем гордым сам того желал!
Желал блаженств, блаженств безмерных сердцу,
Иль непомерных — гордому — скорбей,
Так вот: теперь ты скорбен.

* * *

Сменяются поколенья,
Приходят, уходят года,
И только одна в моем сердце
Любовь не умрет никогда.

Хоть раз бы тебя увидеть,
И пасть к твоим ногам,
И тихо шепнуть, умирая:
«Я вас люблю, мадам!»

* * *

Что нужно слезе одинокой?
Она мне туманит глаза.
Одна от времен забытых
Осталась эта слеза.

Ее прозрачные сестры
Исчезли уже давно.
Так вся моя радость и горе —
Все ветром унесено.

И синие звезды исчезли,
Как предрассветная мгла,
Те звезды, чья улыбка
Мне счастьем и горем была.

И даже любовь исчезла,
Как все былые мечты.
Слеза одинокой печали,
Пора,— исчезни и ты.

* * *

Сквозь тучи холодный месяц
Пробился тусклым серпом.
С церковным кладбищем рядом
Тихий пасторский дом.

Над Библией мать склонилась,
Сын тупо на свет глядит,
Спать хочется старшей дочке,
Младшая говорит:

«Ах, боже, как безотрадно
За днями тянутся дни!
Утеха и развлеченье —
Похороны одни».

Бормочет мать: «Схоронили
Всего четверых с тех пор,
Как умер отец твой — пастор.
Вечно ты мелешь вздор».

Зевает старшая дочка:
«Довольно терпеть нужду,
Влюблен в меня граф богатый,
Завтра к нему уйду».

Корежится сын от смеха,
Как будто семью дразня:
«Есть парни, что делают деньги,—
Выучат и меня».

В лицо костлявому сыну
Бросает Библию мать:
«Разбойником ты, безбожник,
Видно, задумал стать».

Тут кто-то стукнул в окошко,
Рукой им машет в тоске:
Их мертвый отец там в черном
Пасторском сюртуке.

* * *

Дождь, ветер — ну что за погода!
И, кажется, снег ко всему.
Сижу и гляжу в окошко,
В сырую осеннюю тьму.

Г. Гейне

Миниатюра Колла
1820-е годы

Дрожит огонек одинокий
И словно плывет над землей.
Старушка, держа фонарик,
Бредет по лужам домой.

Купила, наверное, в лавке
Яиц и масла, муки
И хочет старшей внучке
На завтра спечь пирожки.

А внучка, сонно щурясь,
Сидит в качалке одна.
Закрыла нежный румянец
Волос золотая волна.

* * *

Они любили друг друга,
Но встреч избегали всегда.
Они истомились любовью,
Но их разделяла вражда.

Они разошлись, и во сне лишь
Им видеться было дано.
И сами они не знали,
Что умерли оба давно.

* * *

Пока изливал я вам скорбь и печали,
Вы все, безнадежно зевая, молчали,
Но только я в рифмах заворковал,
Наговорили вы кучу похвал.

* * *

Я черта позвал, он явился в мой дом
И, право же, многим меня изумил.
Он вовсе не глуп, не уродлив, не хром,
Напротив — изящен, любезен и мил.

Мужчина, как говорится, в расцвете,
Поездивший много, бывавший в свете,
Он дипломат, он остер на язык,
Он суть государства и церкви постиг.
Он бледен, но в том виновата наука —
Санскрит, и Гегель, и прочая скука.
«Фуке,— он сказал,— мой любимый поэт.
А критику,— тут он закашлялся кстати,—
Я отдал прабабке, дражайшей Гекате,
Мне больше и дела до критики нет».
Он мой юридический дар отметил.
Признался, что сам в юристы метил,
Сказал, что моей благосклонностью он
Весьма дорожит,— и отвесил поклон.
Спросил: не случилось ли встретиться нам
В испанском посольстве в минувшее лето?
И я, приглядевшись к его чертам,
Припомнил, что мы познакомились где-то.

* * *

Не подтрунивай над чертом,—
Годы жизни коротки,
И загробные мученья,
Милый друг, не пустяки.

А долги плати исправно.
Жизнь не так уж коротка,—
Занимать еще придется
Из чужого кошелька!

* * *

Дитя, мы были дети,
Нам весело было играть,
В курятник забираться,
В солому зарывшись, лежать.

Кричали петухами.
С дороги слышал народ
«Кукареку» — и думал,
Что вправду петух поет.

Обоями ящик обили,
Что брошен был на слом,
И в нем поселились вместе,
И вышел роскошный дом.

Соседкина старая кошка
С визитом бывала у нас.
Мы кланялись, приседали,
Мы льстили ей каждый раз.

Расспрашивали о здоровье
С заботой, с приятным лицом.
Мы многим старым кошкам
Твердили то же потом.

А то, усевшись чинно,
Как двое мудрых людей,
Ворчали, что в наше время
Народ был умней и честней;

Что вера, любовь и верность
Исчезли из жизни давно,
Что кофе дорожает,
А денег достать мудрено.

Умчались детские игры,
Умчась, не вернутся вновь
Ни деньги, ни верность, ни вера,
Ни время, ни жизнь, ни любовь.

* * *

На сердце гнет, с тоскою смутной
Я вспоминаю старый век;
Казалась жизнь тогда уютной
И жил спокойно человек,

А в наши дни везде тревога,
Былой покой навеки стерт,
Там, в небесах, не стало бога,
А под землей скончался черт.

И все так мрачно, так убого,
Повсюду холод, гниль и муть.
Не будь у нас любви немного,
Нам негде было б отдохнуть.

* * *

Как из тучи светит месяц
В темно-синей вышине,
Так одно воспоминанье
Где-то в сердце светит мне.

Мы на палубе сидели,
Гордо плыл нарядный бот.
Над широким, вольным Рейном
Рдел закатом небосвод.

Я у ног прекрасной дамы,
Зачарованный, сидел.
На щеках ее румянцем
Яркий луч зари блестел.

Волны рдели, струны пели,
Вторил арфам звонкий хор.
Шире сердце раскрывалось,
Выше синий влек простор.

Горы, замки, лес и долы
Мимо плыли, как во сне,
И в глазах ее прекрасных
Это все сияло мне.

* * *

Вчера мне любимая снилась,
Печальна, бледна и худа.
Глаза и щеки запали,
Былой красоты ни следа.

Она вела ребенка,
Другого несла на руках.
В походке, в лице и в движеньях —
Униженность, горе и страх.

Я шел за ней через площадь,
Окликнул ее за углом,
И взгляд ее встретил, и тихо
И горько сказал ей: «Пойдем!

Ты так больна и несчастна,
Пойдем же со мною, в мой дом.
Тебя окружу я заботой,
Своим прокормлю трудом.

Детей твоих выведу в люди,
Тебя ж до последнего дня
Буду беречь и лелеять,—
Ведь ты как дитя у меня.

И верь, докучать я не стану,
Любви не буду молить.
А если умрешь, на могилу
Приду я слезы лить».

* * *

Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора мне вернуться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актер,
Я драму разыгрывал в шутку!

Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — все было прекрасно.

Но вот, хоть уж сбросил я это тряпье,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит еще сердце мое,
Как будто играю я драму!

И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая,—
О боже! Я, раненный насмерть, играл,
Гладиатора смерть представляя!

* * *

Сердце, сердце, сбрось оковы
И забудь печали гнет.
Все прекрасный май вернет,
Что прогнал декабрь суровый.

Снова будут увлеченья,
Снова будет мир хорош.
Сердце, все, к чему ты льнешь,
Все люби без исключенья.

* * *

Милый друг мой, ты влюблен,
Новой болью сладко ранен.
Снова сердцем просветлен
И рассудком отуманен.

Ты еще хранишь секрет,
Но влюблен ты,— это ясно.
Вижу я через жилет,
Как пылает сердце страстно.

* * *

Хотелось, чтоб вместе мы были,
Душа бы покой обрела,
Да все тебя торопили,
Ждали тебя дела.

Твердил я, что я тебя встретил,
Чтоб нам вовек быть вдвоем,
А ты посмеялась над этим
И сделала книксен при сем.

Не ведая состраданья,
Мою растравляла ты боль,—
Мы даже на прощанье
Не поцеловались с тобой.

Ты мнила, что, в петлю толкая,
Погубит меня твой отказ,
Но это со мной, дорогая,
Не в первый случается раз.

* * *

Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится,
Придется к ученому немцу отправиться.
Короткий расчет у него с бытием:
К разумному все приведя сочетанию,
Он старым шлафроком и прочим тряпьем
Прорехи заштопает у мироздания.

* * *

У вас вечеринка сегодня,
И дом сияет в огне,
И твой силуэт освещенный,
Я вижу, мелькает в окне.

Но ты не глядишь и не видишь
Меня в темноте под окном.
Еще труднее заметить,
Как сумрачно в сердце моем.

А сердце печалью томится,
И кровью сочится опять,
И любит, и рвется на части.
Но это тебе не видать.

* * *

Хотел бы в единое слово
Я слить мою грусть и печаль
И бросить то слово на ветер,
Чтоб ветер унес его вдаль.

И пусть бы то слово печали
По ветру к тебе донеслось,
И пусть бы всегда и повсюду
Оно тебе в сердце лилось!

И если б усталые очи
Сомкнулись под грезой ночной,
О, пусть бы то слово печали
Звучало во сне над тобой!

* * *

У тебя есть алмазы и жемчуг,
Все, что люди привыкли искать,
Да еще есть прелестные глазки,—
Милый друг! Чего больше желать?

Я на эти прелестные глазки
Выслал целую стройную рать
Звучных песен из жаркого сердца,—
Милый друг! Чего больше желать?

Эти чудные глазки на сердце
Наложили мне страсти печать;
Ими, друг мой, меня ты сгубила...
Милый друг! Чего больше желать?

* * *

Кто впервые в жизни любит,
Пусть несчастен — все ж он бог.
Но уж кто вторично любит
И несчастен, тот дурак.

Я такой дурак — влюбленный
И, как прежде, нелюбимый.
Солнце, звезды — все смеются.
Я смеюсь — и умираю.

* * *

Приснилось мне, что я господь,
Венец всего творенья,
И в небе ангелы поют
Мои стихотворенья.

Я объедаюсь день и ночь
Вареньем, пирогами,
Ликеры редкостные пью
И незнаком с долгами.

Но мне тоскливо без земли,
Как будто я за бортом,
Не будь я милосердный бог,
Я сделался бы чертом.

«Эй ты, архангел Гавриил,
Посланец быстроногий!
Эвгена, друга моего,
Тащи ко мне в чертоги.

Его за книгой не ищи,—
Вино милей, чем книги,
У «Фрейлейн Мейер» он сидит
Скорей, чем у Ядвиги».

Архангел крыльями взмахнул,
Полет к земле направил,
Он друга моего схватил,
Ко мне тотчас доставил.

«Ну, что ты скажешь про меня?
Вот сделался я богом,
Недаром в юности моей
Я так мечтал о многом.

Творю я чудо каждый день
В капризе прихотливом.
Сегодня, например, Берлин
Я сделаю счастливым.

Раскрою камни мостовой
Рукою чудотворной,
И в каждом камне пусть лежит
По устрице отборной.

С небес польет лимонный сок,
Как будто над бассейном.
Упиться сможете вы все
Из сточных ям рейнвейном.

Берлинцы — мастера пожрать,
И в счастии непрочном
Бегут судейские чины
К канавам водосточным.

Поэты все благодарят
За пищу даровую,
А лейтенанты-молодцы,
Знай, лижут мостовую.

Да, лейтенанты — молодцы,
И даже юнкер знает,
Что каждый день таких чудес
На свете не бывает».

* * *

Из мрака дома выступают,
Подобны виденьям ночным.
Я, в плащ закутавшись, молча
Иду, нетерпеньем томим.

Гудят часы на башне.
Двенадцать! Уж, верно, давно,
Томясь нетерпеньем счастливым,
Подруга смотрит в окно.

А месяц, мой провожатый,
Мне светит прямо в лицо,
И весело с ним я прощаюсь,
Взбегая к ней на крыльцо.

«Спасибо, мой верный товарищ,
За то, что светил мне в пути!
Теперь я тебя отпускаю,
Теперь другим посвети!

И если где-то влюбленный
Блуждает, судьбу кляня,
Утешь его, как, бывало,
Умел ты утешить меня».

* * *

И если ты станешь моей женой,
Все кумушки лопнут от злости.
То будет не жизнь, а праздник сплошной —
Подарки, театры и гости.

Ругай меня, бей — на все я готов,
Мы брань прекратим поцелуем.
Но если моих не похвалишь стихов,
Запомни: развод неминуем!

* * *

К твоей груди белоснежной
Я головою приник,
И тайно могу я подслушать,
Что в сердце твоем в этот миг.

Трубят голубые гусары,
В ворота въезжают толпой,
И завтра мою дорогую
Гусар уведет голубой.

Но это случится лишь завтра,
А нынче придешь ты ко мне,
И я в твоих объятьях
Блаженствовать буду вдвойне.

* * *

Трубят голубые гусары,
Прощаются с нами, трубя,
И вот я пришел, дорогая,
И розы принес для тебя.

Беда с военным народом,—
Устроили нам кутерьму!
Ты даже свое сердечко
Сдала на постой кой-кому.

* * *

Я и сам в былые годы
Перепес любви невзгоды,
Я и сам сгорал не раз;
Но дрова все дорожают —
Искры страсти угасают...
Ma foi! [1] — и в добрый час.

Поняла?.. Отри же слезы;
Прогони смешные грезы
Вместе с глупою тоской;
Будь похожа на живую
И забудь любовь былую —
Ma foi! — хоть бы со мной.

* * *

Понимал я вас превратно,
Был для вас непостижим,
А теперь уж все понятно,—
Оба в мусоре лежим.

[1] Клянусь! *(франц.)*

* * *

Кричат, негодуя, кастраты,
Что я не так пою.
Находят они грубоватой
И низменной песню мою.

Но вот они сами запели
На свой высокий лад,
Рассыпали чистые трели
Тончайших стеклянных рулад.

И, слушая вздохи печали,
Стенанья любовной тоски,
Девицы и дамы рыдали,
К щекам прижимая платки.

* * *

На бульварах Саламанки
Воздух свежий, благовонный.
Там весной во мгле вечерней
Я гуляю с милой донной.

Стройный стан обвив рукою
И впивая нежный лепет,
Пальцем чувствую блаженным
Гордой груди томный трепет.

—

Но шумят в испуге липы,
И ручей внизу бормочет,
Словно чем-то злым и грустным
Отравить мне сердце хочет.

«Ах, синьора, чует сердце,
Исключен я буду скоро.
По бульварам Саламанки
Не гулять уж нам, синьора».

* * *

Вот сосед мой, дон Энрикес,
Саламанских дам губитель.
Только стенка отделяет
От меня его обитель.

Днем гуляет он, красоток
Обжигая гордым взглядом.
Вьется ус, бряцают шпоры,
И бегут собаки рядом.

Но в прохладный час вечерний
Он сидит, мечтая, дома,
И в руках его — гитара,
И в груди его — истома.

И как хватит он по струнам,
Как задаст им, бедным, жару!
Чтоб тебе холеру в брюхо
За твой голос и гитару!

* * *

Смерть — это ночь, прохладный сон,
А жизнь — тяжелый, душный день.
Но смерклось, дрема клонит,
Я долгим днем утомлен.

Я сплю — и липа шумит в вышине,
На липе соловей поет,
И песня исходит любовью,—
Я слушаю даже во сне.

ДОННА КЛАРА

В сад, ночной прохлады полный,
Дочь алькальда молча сходит.
В замке шум веселый пира,
Слышен трубный гул из окон.

«Как наскучили мне танцы,
Лести приторной восторги,
Эти рыцари, что Клару
Пышно сравнивают с солнцем!

Все померкло, чуть предстал он
В лунном свете предо мною —
Тот, чьей лютне я внимала
В полночь темную с балкона.

Как стоял он, горд и строен.
Как смотрел блестящим взором,
Благородно бледен ликом,
Светел, как святой Георгий!»

Так мечтала донна Клара,
Опустив глаза безмолвно.
Вдруг очнулась — перед нею
Тот прекрасный незнакомец.

Сладко ей бродить с любимым,
Сладко слушать пылкий шепот!
Ласков ветер шаловливый,
Точно в сказке, рдеют розы.

Точно в сказке, рдеют розы,
Дышат пламенем любовным.
«Что с тобой, моя подруга?
Как твои пылают щеки!»

«Комары кусают, милый!
Ночью нет от них покоя,
Комаров я ненавижу,
Как евреев длинноносых».

«Что нам комары, евреи!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит.
Опадает цвет миндальный,
Будто льется дождь цветочный,

Будто льется дождь цветочный,
Ароматом полон воздух.
«Но скажи, моя подруга,
Хочешь быть моей до гроба?»

«Я твоя навеки, милый,
В том клянусь я сыном божьим,
Претерпевшим от коварства
Кровопийц — евреев злобных».

«Что нам божий сын, евреи!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит.
Дремлют лилии, белея
В волнах света золотого.

В волнах света золотого
Грезят, глядя вверх, на звезды.
«Но скажи, моя подруга,
Твой правдив обет пред богом?»

«Милый, нет во мне обмана,
Как в моем роду высоком
Нет ни крови низких мавров,
Ни еврейской грязной крови».

«Брось ты мавров и евреев!» —
Улыбаясь, рыцарь молвит
И уводит дочь алькальда
В сумрак лиственного грота.

Так опутал он подругу
Сетью сладостной, любовной,
Кратки речи, долги ласки,
И сердцам от счастья больно.

Неумолчным страстным гимном
Соловей их клятвам вторит.
Пляшут факельную пляску
Светляки в траве высокой.

Но стихают в гроте звуки,
Дремлет сад, и лишь порою
Слышен мудрых миртов шепот
Или вздох смущенной розы.

Вдруг из замка загремели
Барабаны и валторны,
И в смятенье донна Клара,
Пробудясь, вскочила с ложа.

«Я должна идти, любимый,
Но теперь открой мне, кто ты?
Назови свое мне имя,
Ты скрывал его так долго!»

И встает с улыбкой рыцарь,
И целует пальцы донны,
И целует лоб и губы,
И такое молвит слово:

«Я, сеньора, ваш любовник,
А отец мой — муж ученый,
Знаменитый мудрый рабби
Израэль из Сарагосы».

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

(1825—1826)

ЦИКЛ ПЕРВЫЙ

КОРОНОВАНИЕ

Вы, песни, вы, мои добрые песни!
Проснитесь, проснитесь! Наденьте доспехи!
Велите трубам греметь
И высоко на щите боевом
Мою красавицу поднимите —
Ту, кто отныне в моей душе
Будет единовластной царицей!

Слава тебе, молодая царица!

С державного солнца
Сорву я блестящий покров золотой,
Сплету из него диадему
Для освященной твоей головы.
От зыбких лазурных небесных завес
Отрежу кусок драгоценного шелка,—
Подобно мантии царской,
Накину его на плечи твои.
Я дам тебе свиту из строгих,
В тугой корсет облеченных сонетов,
Из гордых терцин и восторженных стансов.
Гонцами будут мои остроты,
Мой юмор — твоим герольдом с невольной

Слезою горького смеха в гербе.
А сам я, моя царица,
Я преклоню пред тобой колени
И на подушке из красной парчи
Тебе поднесу
Остаток рассудка,
Который у бедного певца
Только из жалости не был отнят
Твоей предшественницей на троне.

СУМЕРКИ

На бледном морском берегу
Сидел одинок я и грустно-задумчив.
Все глубже спускалось солнце, бросая
Багровый свой свет полосами
По водной равнине,
И беглые, дальние волны,
Приливом гонимые,
Шумно и пенясь бежали
К берегу ближе и ближе.
В чудном их шуме
Слышался шепот и свист,
Смех и роптанье,
Вздохи, и радостный гул, и порой
Тихо-заветное,
Будто над детскою люлькою, пенье...
И мне казалось,
Слышу я голос забытых преданий,
Слышу старинные чудные сказки —
Те, что когда-то ребенком
Слыхал от соседних детей,
Как все мы, бывало,
Вечером летним теснимся
Послушать тихих рассказов
На ступеньках крыльца,
И чутко в нас бьется
Детское сердце,
И с любопытством глядят
Умные детские глазки;
А взрослые девушки

Из-за душистых цветочных кустов
Глядят через улицу в окна...
На розовых лицах улыбка,
И месяц их облил сияньем.

ЗАКАТ СОЛНЦА

Огненно-красное солнце уходит
В далеко волнами шумящее,
Серебром окаймленное море;
Воздушные тучки, прозрачны и алы,
Несутся за ним; а напротив,
Из хмурых осенних облачных груд,
Грустным и мертвенно-бледным лицом
Смотрит луна; а за нею,
Словно мелкие искры,
В дали туманной
Мерцают звезды.

Некогда в небе сияли,
В брачном союзе,
Луна-богиня и Солнце-бог;
А вкруг их роились звезды,
Невинные дети-малютки.

Но злым языком клевета зашипела,
И разделилась враждебно
В небе чета лучезарная.

И нынче днем в одиноком величии
Ходит по́ небу солнце,
За гордый свой блеск
Много молимое, много воспетое
Гордыми, счастьем богатыми смертными.
А ночью
По небу бродит луна,
Бедная мать,
Со своими сиротками-звездами,
Нема и печальна...
И девушки любящим сердцем
И кроткой душою поэты

Ее встречают
И ей посвящают
Слезы и песни.

Женским незлобивым сердцем
Все еще любит луна
Красавца мужа
И под вечер часто,
Дрожащая, бледная,
Глядит потихоньку из тучек прозрачных,
И скорбным взглядом своим провожает
Уходящее солнце,
И, кажется, хочет
Крикнуть ему: «Погоди!
Дети зовут тебя!»
Но упрямое солнце
При виде богини
Вспыхнет багровым румянцем
Скорби и гнева
И беспощадно уйдет на свое одинокое,
Влажно-холодное ложе.

Так-то шипящая злоба
Скорбь и погибель вселила
Даже средь вечных богов,
И бедные боги
Грустно проходят по нёбу
Свой путь безутешный
И бесконечный,
И смерти им нет, и влачат они вечно
Свое лучезарное горе.

Так мне ль — человеку,
Низко поставленному,
Смертью одаренному,—
Мне ли роптать на судьбу?

НОЧЬ НА БЕРЕГУ

Ночь холодна и беззвездна;
Море кипит, и над морем,
На́ брюхе лежа,
Неуклюжий северный ветер

Таинственным,
Прерывисто-хриплым
Голосом с морем болтает,
Словно брюзгливый старик,
Вдруг разгулявшийся в тесной беседе...
Много у ветра рассказов —
Много безумных историй,
Сказок богатырских, смешных до уморы,
Норвежских саг стародавних...
Порой средь рассказа,
Далеко мрак оглашая,
Он вдруг захохочет
Или начнет завывать
Заклятья из Эдды и руны,
Темно-упорные, чаро-могучие...
И моря белые чада тогда
Высоко скачут из волн и ликуют,
Хмельны разгулом.

Меж тем по волной омоченным пескам
Плоского берега
Проходит путник,
И сердце кипит в нем мятежней
И волн и ветра.
Куда он ни ступит,
Сыплются искры, трещат
Пестрых раковин кучки...
И, серым плащом своим кутаясь,
Идет он быстро
Средь грозной ночи.
Издали манит его огонек,
Кротко, приветно мерцая
В одинокой хате рыбачьей.

На море брат и отец,
И одна-одинешенька в хате
Осталась дочь рыбака —
Чудно-прекрасная дочь рыбака.
Сидит перед печью она и внимает
Сладостно-вещему,
Заветному пенью
В котле кипящей воды,

И в пламя бросает
Трескучий хворост,
И дует на пламя...
И в трепетно-красном сиянье
Волшебно-прекрасны
Цветущее личико
И нежное белое плечико,
Так робко глядящее
Из-под грубой серой сорочки,
И хлопотливая ручка-малютка...
Ручкой она поправляет
Пеструю юбочку
На стройных бедрах.

Но вдруг распахнулась дверь,
И в хижину входит
Ночной скиталец.
С любовью он смотрит
На белую, стройную девушку,
И девушка трепетно-робко
Стоит перед ним — как лилея,
От ветра дрожащая.
Он наземь бросает свой плащ,
А сам смеется
И говорит:

«Видишь, дитя, как я слово держу!
Вот и пришел, и со мною пришло
Старое время, как боги небесные
Сходили к дщерям людским,
И дщерей людских обнимали,
И с ними рождали
Скипетроносных царей и героев,
Землю дививших.
Впрочем, дитя, моему божеству
Не изумляйся ты много!
Сделай-ка лучше мне чаю — да с ромом!
Ночь холодна; а в такую погоду
Зябнем и мы,
Вечные боги,— и ходим потом
С наибожественным насморком
И с кашлем бессмертным!»

БУРЯ

Беснуется буря,
Бичует волны,
А волны ревут и встают горами,
И ходят, сшибаясь и пенясь от злобы,
Их белые водяные громады,
И наш кораблик на них с трудом
Взбирается, задыхаясь,
И вдруг обрушивается вниз,
В широко разверстую черную пропасть.

О море!
Мать красоты, рожденной из пены!
Праматерь любви, пощади меня!
Уже порхает, чуя труп,
Подобная призраку белая чайка,
И точит клюв о дерево мачты,
И жаждет скорей растерзать мое сердце —
То сердце, в котором звучат песнопенья
Во славу дочери твоей,
То сердце, что внук твой, маленький плут,
Избрал своей игрушкой.

Напрасны мольбы и стенанья!
Мой крик пропал в завыванье бури,
Средь оргии бесноватых звуков,
Средь воя, грохота, рева и свиста
Сражающихся ветров и волн.
Но странно, сквозь этот гул я слышу
Мелодию сумрачной дикой песни,
Пронзающей, разрывающей душу,—
И я узнаю этот голос.
На дальнем шотландском берегу,
Над вечно шумящим прибоем,
На древнем утесе высится замок,
И там, у сводчатого окошка,
Стоит больная прекрасная женщина,
Почти прозрачна, бледна, как мрамор,
На лютне играет она и поет,
И развевает соленый ветер
Ее волнистые длинные кудри
И далеко в шумящее море
Уносит ее непонятную песню.

МОРСКАЯ ТИШЬ

Тишь и солнце! Свет горячий
Обнял водные равнины,
И корабль златую влагу
Режет следом изумрудным.

У руля лежит на брюхе
И храпит усталый боцман;
Парус штопая, у мачты
Приютился грязный юнга.

Щеки пышут из-под грязи;
Рот широкий, как от боли,
Стиснут; кажется, слезами
Брызнут вдруг глаза большие.

Капитан его ругает,
Страшно топая ногами...
«Как ты смел — скажи, каналья!
Как ты смел стянуть селедку?»

Тишь и гладь! Со дна всплывает
Рыбка-умница; на солнце
Греет яркую головку
И играет резвым плесом.

Но стрелой из поднебесья
Чайка падает на рыбку —
И с добычей в жадном клюве
Снова в небе исчезает.

ОЧИЩЕНИЕ

Останься ты на дне глубоком моря,
Безумный сон,
Ты, часто так ночной порою
Неверным счастием терзавший душу мне
И даже в светлый день теперь грозящий
Мне, будто привидение морское,—
Останься там, на дне, навеки.
И брошу я к тебе на дно
Всю грусть мою и все грехи мои,

И с погремушками колпак дурацкий,
Звеневший долго так на голове моей,
И лицемерия змеиный,
Коварный, ледяной покров,
Давивший долго так мне душу,
Больную душу,
Все отрицавшую — и ангелов и бога,
Безрадостную душу.
Гой-го! Гой-го! Уж ветер поднялся...
Вверх парус! Вздулся он и вьется!
И по водам коварно-тихим
Летит корабль, и ликований
Полна освобожденная душа!

МИР

Высоко в небе стояло солнце,
Окруженное белыми облаками.
На море было тихо,
И я, размышляя, лежал у штурвала.
Я размышлял, и — отчасти въявь,
Отчасти во сне — я видел Христа,
Спасителя мира.
В легких белых одеждах,
Огромный, он шел
По земле и воде;
Голова его уходила в небо,
А руки благословляли
Земли и воды;
Сердцем в его груди
Было солнце —
Красное, пылающее солнце;
И это красное, пылающее солнце-сердце
Лило вниз благодатные лучи
И нежный, ласковый свет,
Озаряя и согревая
Земли и воды.

Плыл торжественный звон,
И казалось, лебеди в упряжи из роз
Тянули скользящий корабль,

Тянули к зеленому берегу,
Где в высоко возносящемся городе
Живут люди.

О чудо покоя! Что за тихий город!
Не слышно глухого шума
Говорливых тяжелых ремесел,
И по чистым звенящим улицам
Бродят люди, одетые в белое,
С пальмовыми ветками в руках,
И когда встречаются двое —
Проникновенно глядят друг на друга,
И, трепеща от любви и сладкого самоотречения,
Целуют друг друга,
И глядят вверх —
На солнечное сердце Спасителя,
Миротворно и радостно льющее вниз
Красную кровь,
И, трижды блаженные, восклицают:
«Хвала Иисусу Христу!»

О, если б такое ты выдумать мог,
Чего бы ты не дал за это,
Мой милый!
Ты, немощный плотью и духом
И сильный одною лишь верой.
Не мудрствуя, ты почитаешь троицу
И по утрам лобызаешь крест,
И мопса, и ручку высокой твоей патронессы.
Святость твоя возвышает тебя. Сперва — надворный
советник,
Потом — советник юстиции
И, наконец,— правительственный советник
В богобоязненном городе,
Где песок и где вера цветет
И терпеливые воды священной Шпрее
Моют души и чай разбавляют.

О, если б такое ты выдумать мог,
Мой милый!
Ты занял бы лучшее место на рынке;
Глаза твои, сладкие и мигающие,
Являли бы только покорность и благость;
И высокопоставленная особа,

Восхищенная и ублаженная,
Молясь, опускалась бы вместе с тобой на колени.
В ее глазах, излучающих счастье,
Ты читал бы к жалованью прибавку
В сотню талеров прусских
И, руки складывая, бормотал бы:
«Хвала Иисусу Христу!»

ЦИКЛ ВТОРОЙ

СЛАВА МОРЮ

Та́ласса! Та́ласса!
Славлю тебя, о вечное море!
Десять тысяч раз тебя славлю
Ликующим сердцем,
Как некогда славили десять тысяч
Бесстрашных эллинских сердец,
Не сдавшихся в бедах,
Стремящихся к родине,
Прославленных миром солдатских сердец.

Бурлило, вздымалось
И пенилось море.
Струило солнце на темные волны
Играющий алыми розами свет,
И сотни встревоженных чаек
Метались над морем и громко кричали.
Но птичий гомон, и звон щитов,
И конский топот и ржанье —
Все заглушал победный клич:
«Та́ласса! Та́ласса!»

Славлю тебя, о вечное море!
Твой шум для меня — точно голос отчизны.
Как детские сны, причудливой зыбью
Сверкает ширь твоих вольных владений.
И в памяти оживают вновь
Игрушки милого пестрого детства:
Рождественские подарки под елкой,
Багряные рощи коралловых рифов,
И жемчуг, и золотые рыбки —

Все то, что тайно ты хранишь
На дне, в кристально-светлых чертогах.

О, как я грустил, одинок, на чужбине!
Подобно цветку в ботанической папке,
Засохло сердце в моей груди.
Я был как больной, всю долгую зиму
Запертый в темном больничном покое.
И вдруг я выпущен на волю:
Передо мной ослепительно ярко
Сверкает зеленью солнечный май,
Шепчутся яблони в белых уборах,
Из зелени юные смотрят цветы,
Подобно пестрым душистым глазам,—
Все дышит, смеется, благоухает,
И в небе синем щебечут птицы.
Та́ласса! Та́ласса!

О храброе в отступлениях сердце!
Как часто, постыдно часто
Тебя побеждали дикарки Севера!
Их властные большие глаза
Метали огненные стрелы,
Их остро отточенные слова
Раскалывали грудь на части,
Каракули писем гвоздями вонзались
В мой бедный оглушенный мозг.
Напрасно я закрывался щитом;
Свистели стрелы, гремели удары,—
И наконец я отступил
Под натиском диких северянок.
Я к морю бежал от них, и теперь,
Свободно дыша, я приветствую море,
Спасительное, прекрасное море,—
Та́ласса! Та́ласса!

КОРАБЛЕКРУШЕНИЕ

Надежда и любовь — все, все погибло!
И сам я, бледный обнаженный труп,
Изверженный сердитым морем,
Лежу на берегу,
На диком, голом берегу!

Передо мной — пустыня водяная,
За мной лежат и горе и беда,
А надо мной бредут лениво тучи,
Уродливые дщери неба!
Они в туманные сосуды
Морскую черпают волну,
И с ношей вдаль, усталые, влекутся,
И снова выливают в море!
Нерадостный и бесконечный труд!
И суетный, как жизнь моя!..
Волна шумит, морская птица стонет!
Минувшее повеяло мне в душу —
Былые сны, потухшие виденья,
Мучительно-отрадные, встают!
Живет на Севере жена!
Прелестный образ, царственно-прекрасный!
Ее, как пальма, стройный стан
Обхвачен белой сладострастной тканью;
Кудрей роскошных темная волна,
Как ночь богов блаженных, льется
С увенчанной косами головы
И в легких кольцах тихо веет
Вкруг бледного, умильного лица;
И из умильно-бледного лица
Отверсто-пламенное око —
Как черное сияет солнце!
О черно-пламенное солнце!
О, сколько, сколько раз в лучах твоих
Я пил восторга дикий пламень,
И пил, и млел, и трепетал,—
И с кротостью небесно-голубиной
Твои уста улыбка обвевала,
И гордо-милые уста
Дышали тихими, как лунный свет, речами
И сладкими, как запах роз...
И дух во мне, оживши, воскрылялся
И к солнцу, как орел, парил!
Молчите, птицы, не шумите, волны,
Все, все погибло — счастье и надежда,
Надежда и любовь!.. Я здесь один —
На дикий брег заброшенный грозою —
Лежу простерт — и рдеющим лицом
Сырой песок морской пучины рою!

ПЕСНЬ ОКЕАНИД

Меркнет вечернее море,
И одинок, со своей одинокой душой,
Сидит человек на пустом берегу
И смотрит холодным,
Мертвенным взором
Ввысь, на далекое,
Холодное, мертвое небо
И на широкое море,
Волнами шумящее.
И по широкому,
Волнами шумящему морю
Вдаль, как пловцы воздушные,
Несутся вздохи его —
И к нему возвращаются, грустны;
Закрытым нашли они сердце,
Куда пристать хотели...
И громко он стонет, так громко,
Что белые чайки
С песчаных гнезд подымаются
И носятся с криком над ним...
И он говорит им, смеясь:

«Черноногие птицы!
На белых крыльях над морем вы носитесь;
Кривым своим клювом
Пьете воду морскую;
Жрете ворвань и мясо тюленье...
Горька ваша жизнь, как и пища!
А я, счастливец, вкушаю лишь сласти:
Питаюсь сладостным запахом розы,
Соловьиной невесты,
Вскормленной месячным светом;
Питаюсь еще сладчайшими
Пирожками с битыми сливками;
Вкушаю и то, что слаще всего,—
Сладкое счастье любви
И сладкое счастье взаимности!

Она любит меня! Она любит меня!
Прекрасная дева!

Теперь она дома, в светлице своей, у окна,
И смотрит в вечерний сумрак —
Вдаль, на большую дорогу,
И ждет и тоскует по мне — ей-богу!
Но тщетно и ждет и вздыхает...
Вздыхая, идет она в сад,
Гуляет по́ саду
Среди ароматов, в сиянье луны,
С цветами ведет разговор
И им говорит про меня:
Как я — ее милый — хорош,
Как мил и любезен,— ей-богу!
Потом и в постели, во сне, перед нею,
Даря ее счастьем, мелькает
Мой милый образ;
И даже утром, за кофе, она
На бутерброде блестящем
Видит мой лик дорогой
И страстно съедает его — ей-богу!»

Так он хвастает долго,
И порой раздается над ним,
Словно насмешливый хохот,
Крик порхающих чаек.
Вот наплывают ночные туманы;
Месяц, желтый, как осенью лист,
Грустно сквозь сизое облако смотрит...
Волны морские встают и шумят...
И из пучины шумящего моря
Грустно, как ветра осеннего стон,
Слышится пенье:
Океаниды поют,
Милосердые, чудные девы морские...
И слышнее других голосов
Ласковый голос
Сереброногой супруги Пелея...
Океаниды уныло поют:

«Безумец! безумец! Хвастливый безумец,
Скорбью истерзанный!
Убиты надежды твои,
Игривые дети души,
И сердце твое — словно сердце Ниобы —

Окаменело от горя.
Сгущается мрак у тебя в голове,
И вьются средь этого мрака,
Как молнии, мысли безумные!
И хвастаешь ты от страданья!
Безумец! безумец! Хвастливый безумец!
Упрям ты, как древний твой предок,
Высокий титан, что похитил
Небесный огонь у богов
И людям принес его,
И, коршуном мучимый,
К утесу прикованный,
Олимпу грозил, и стонал, и ругался
Так, что мы слышали голос его
В лоне глубокого моря
И с утешительной песнью
Вышли из моря к нему.
Безумец! безумец! Хвастливый безумец!
Ты ведь бессильней его,
И было б умней для тебя
Влачить терпеливо
Тяжелое бремя скорбей —
Влачить его долго, так долго,
Пока и Атлас не утратит терпенья
И тяжкого мира не сбросит с плеча
В ночь без рассвета!»

Долго так пели в пучине
Милосердые, чудные девы морские.
Но зашумели грознее валы,
Пение их заглушая;
В тучах спрятался месяц; раскрыла
Черную пасть свою ночь...
Долго сидел я во мраке и плакал.

БОГИ ГРЕЦИИ

Полный месяц! в твоем сиянье,
Словно текучее золото,
Блещет море.
Кажется, будто волшебным слияньем

Дня с полуночною мглою одета
Равнина песчаного берега.
А по ясно-лазурному,
Беззвездному небу
Белой грядою плывут облака,
Словно богов колоссальные лики
Из блестящего мрамора.

Не облака это! нет!
Это сами они —
Боги Эллады,
Некогда радостно миром владевшие,
А ныне в изгнанье и в смертном томленье,
Как призраки, грустно бродящие
По небу полночному.
Благоговейно, как будто объятый
Странными чарами, я созерцаю
Средь пантеона небесного
Безмолвно-торжественный,
Тихий ход исполинов воздушных.
Вот Кронион, надзвездный владыка!
Белы как снег его кудри —
Олимп потрясавшие, чудные кудри;
В деснице он держит погасший перун;
Скорбь и невзгода
Видны в лице у него;
Но не исчезла и старая гордость.
Лучше было то время, о Зевс!
Когда небесно тебя услаждали
Нимфы и гекатомбы!
Но не вечно и боги царят:
Старых теснят молодые и гонят,
Как некогда сам ты гнал и теснил
Седого отца и титанов,
Дядей своих, Юпитер-Паррицида!
Узнаю и тебя,
Гордая Гера!
Не спаслась ты ревнивой тревогой,
И скипетр достался другой,
И ты не царица уж в небе;
И неподвижны твои
Большие очи,
И немощны руки лилейные,

И месть бессильна твоя
К богооплодотворенной деве
И к чудотворцу — божию сыну.
Узнаю и тебя, Паллада-Афина!
Эгидой своей и премудростью
Спасти не могла ты
Богов от погибели.
И тебя, и тебя узнаю, Афродита!
Древле златая! ныне серебряная!
Правда, все так же твой пояс
Прелестью дивной тебя облекает;
Но втайне страшусь я твоей красоты,
И если б меня осчастливить ты вздумала
Лаской своей благодатной,
Как прежде счастливила
Иных героев,— я б умер от страха!
Богинею мертвых мне кажешься ты,
Венера-Либитина!
Не смотрит уж с прежней любовью
Грозный Арей на тебя.
Печально глядит
Юноша Феб-Аполлон.
Молчит его лира,
Весельем звеневшая
За ясной трапезой богов.
Еще печальнее смотрит
Гефест хромоногий!
И точно, уж век не сменять ему Гебы,
Не разливать хлопотливо
Сладостный нектар в собранье небесном.
Давно умолк
Немолчный смех олимпийский.

Я никогда не любил вас, боги!
Противны мне греки,
И даже римляне мне ненавистны.
Но сострадание святое и горькая жалость
В сердце ко мне проникают,
Когда вас в небе я вижу,
Забытые боги,
Мертвые, ночью бродящие тени,
Туманные, ветром гонимые,—
И только помыслю, как дрянны

Боги, вас победившие,
Новые, властные, скучные боги,
Хищники в овечьей шкуре смиренья,
То берет меня мрачная злоба:
Сокрушить мне хочется новые храмы,
Биться за вас, старые боги,
За вас и за вашу амвросическую правду,
И к вашим вновь возведенным
Алтарям припасть и молиться
В слезах, воздевая руки.
Старые боги! всегда вы, бывало,
В битвах людских принимали
Сторону тех, кто одержит победу.
Великодушнее вас человек,
И в битвах богов я беру
Сторону вашу,
Побежденные боги!

Так говорил я,
И покраснели заметно
Бледные облачные лики,
И на меня посмотрели
Умирающим взором,
Преображенные скорбью,
И вдруг исчезли.
Месяц скрылся
За темной, темною тучей;
Задвигалось море,
И просияли победно на небе
Вечные звезды.

ВОПРОСЫ

У моря, ночного пустынного моря,
Юноша странный стоит,
Тоска в его сердце, в мозгу — сомненья,
И губы шепчут волнам печально:

«О волны, откройте мне вечную тайну,
Откройте мне тайну жизни,
Решите загадку, что мучила столько голов —

Голов в париках, ермолках, чалмах и беретах,
И сотни тысяч других, что ищут ответа и сохнут.
Скажите, что есть человек?
Откуда пришел он? Куда он идет?
И кто живет в выпшне, на далеких сверкающих звездах?»

Бормочут волны одно и то же,
Бушует ветер, бегут облака,
Глядят безучастно и холодно звезды,
А он, дурак, ожидает ответа.

В ГАВАНИ

Счастлив моряк, достигший гавани,
Оставивший позади море и бури
И ныне мирно сидящий в тепле,
В винном погребе бременской ратуши.

Как все же уютно и мило
В стакане вина отражается мир!
И как лучезарно вливается микрокосм
В томимое жаждой сердце.
Все я вижу в стакане:
Историю древних и новых народов,
Турок и греков, Ганса и Гегеля,
Лимонные рощи и вахтпарады,
Берлин и Шильду, Тунис и Гамбург,
И главное — вижу лицо моей милой,
Ангельский лик в золотом рейнвейне.

О, как хороша, как хороша ты, любимая!
Ты прекрасна, как роза,
Но не роза Шираза,
Возлюбленная соловья, воспетая Гафизом,
Но не роза Сарона,
Священнопурпурная, восхваленная пророком,—
Ты — как роза винного погреба в Бремене!
Это роза из роз,—
Чем старше она, тем пышнее,
Ее аромат небесный меня восхищает,

Меня вдохновляет, меня опьяняет,
Не схвати меня за волосы хозяин
Винного погреба в Бремене,
Полетел бы я кувырком.

Славный малый! Сидели мы рядом
И пили, как братья,
Рассуждали о самых высоких материях,
И вздыхали, и обнимали друг друга.
Он возвратил меня к вере в любовь,
Я пил за здоровье злейших моих врагов,
Я всех ничтожных поэтов простил,
Как простят когда-нибудь меня самого,
Я плакал от умиленья — и наконец
Предо мною разверзлись райские врата,
Где двенадцать апостолов, двенадцать огромных
бочек,
Проповедуют молча, но вполне понятно
Для всех народов.

Вот настоящие люди!
На вид невзрачные, в дубовых камзолах,
Внутри они прекраснее и светлее,
Чем самые гордые левиты храма,
Чем царедворцы и телохранители Ирода,
Одетые в пурпур и украшенные золотом.
Ведь я же всегда говорил:
Не среди заурядных людей,
А в самом избранном обществе
Пребывает небесный владыка.
Аллилуйя! Как нежно меня обвевают
Вефильские пальмы,
Как ароматны мирты Хеврона,
Как шумит Иордан, шатаясь от радости,
И моя бессмертная душа шатается,
И я шатаюсь, и меня, шатаясь,
По лестнице поднимает к дневному свету
Добрый хозяин винного погреба в Бремене.

О добрый хозяин винного погреба в Бремене,
Ты видишь, на крышах домов сидят
И поют пьяные ангелы,
Солнце, пылающее там, наверху,

Это красный от пьянства нос,
Нос мирового духа,
И вокруг красного носа мирового духа
Вертится весь перепившийся мир.

ЭПИЛОГ

Как на ниве колосья,
Растут и волнуются помыслы
В душе человека; но нежные
Любовные помыслы ярко
Цветут между ними, как между колосьями
Цветы голубые и алые.

Цветы голубые и алые!
Жнец ворчливый на вас и не взглянет,
Как на траву бесполезную;
Нагло вас цеп деревянный раздавит...
Даже прохожий бездомный,
Вами любуясь и тешась,
Головой покачает и даст вам
Названье плевел прекрасных.
Но молодая крестьянка,
Венок завивая,
Ласково вас соберет и украсит
Вами прекрасные кудри,
И в этом венке побежит к хороводу,
Где так отрадно поют
Флейты и скрипки,
Или в укромную рощу,
Где милого голос звучит отрадней
И флейт и скрипок!

НОВАЯ ВЕСНА

ПРОЛОГ

Чуть не в каждой галерее
Есть картина, где герой,
Порываясь в бой скорее,
Поднял щит над головой.

Но амурчики стащили
Меч у хмурого бойца
И гирляндой роз и лилий
Окружили молодца.

Цепи горя, путы счастья
Принуждают и меня
Оставаться без участья
К битвам нынешнего дня.

* * *

В белый сад выходишь утром,
Свищет ветер над землею,
Смотришь, как несутся тучи,
Облекая небо мглою.

И луга и рощи голы,
И кругом — зима седая,
И в тебе зима, и сердце
Цепенеет, замерзая.

Вдруг ты весь обсыпан белым,
Точно хлопьями метели.
Озираешься сердито:
На деревьях снег в апреле!

Но не снег ты белый видишь,
О, как сладко сердцу стало!
То тебя весенним цветом
Забросало, закидало.

И повсюду — что за чудо! —
Снег цветет весенней новью,
И весна сменяет зиму,
А душа горит любовью.

* * *

Вот май опять повеял,
Цветы зацвели и лес,
И тучки, розовея,
Плывут в синеве небес.

И соловьев раскаты
Опять зазвучали в листве,
И прыгают ягнята
В зеленой мураве.

Прыгать и петь не могу я,
Я лег, больной, в траву;
Далекий звон слежу я,
Я грежу наяву.

* * *

Тихо сердца глубины
Звоны пронизали.
Лейся, песенка весны,
Разливайся дале.

Ты пролейся, где цветы
Расцветают томно.
Если розу встретишь ты —
Ей привет мой скромный.

* * *

В красавицу розу влюблен мотылек,
Он долго кружил над цветком,
А жаркое солнце его самого
Ласкает влюбленным лучом.

Но мне бы хотелось узнать — кто любим
Красавицей розой самой?
Певец-соловей иль она увлеклась
Вечерней немою звездой?

Не знаю... Но я всех люблю горячо:
И розу, и солнечный луч,
Певца-соловья, мотылька и звезду,
Что вечером блещет меж туч.

* * *

Зазвучали все деревья,
Птичьи гнезда зазвенели.
Кто веселый капельмейстер
В молодой лесной капелле?

То, быть может, серый чибис,
Что стоит, кивая гордо?
Иль педант, что там кукует
Так размеренно и твердо?

Или аист, что серьезно,
С важным видом дирижера,
Отбивает такт ногою
В песне радостного хора?

Нет, во мне самом укрылся
Капельмейстер окрыленный,
Он в груди стучит, ликуя,—
То Амур неугомонный.

* * *

«И был вначале соловей,
Он спел: «Цивит, цивит!» — и вдруг
Весной повеяло с полей,
Расцвел и сад, и лес, и луг.

Он клюнул в грудь себя — и там,
Где обагрила землю кровь,
Зарделись розы, и цветам
Запел он песню про любовь.

И счастье в птичий мир принес
Он кровью ран своих, но в год,
Когда умолкнет песня роз,
Наверно, прахом мир пойдет».

Так воробьенку воробей
Внушает мудрость, а жена
Сидит, как подобает ей,
На яйцах, важности полна,

Она — жена, хозяйка, мать,
И полон рот хлопот у ней.
Старик лишь годен обучать
Закону божьему детей.

* * *

Глаза весны синеют
Сквозь нежную траву.
То милые фиалки,
Из них букет я рву.

Я рву их и мечтаю,
И вздох мечты моей
Протяжно разглашает
По лесу соловей.

Да, все, о чем мечтал я,
Он громко разболтал;
Разгадку нежной тайны
Весь лес теперь узнал.

* * *

Только платьем мимоходом
До меня коснешься ты —
По твоим следам несутся
Сердца бурные мечты.

Обернешься ты, вперится
Глаз огромных синева —
С перепугу за тобою
Сердце следует едва.

* * *

Задумчиво стройная лилия
Взглянула из темной воды,
И месяц влюбленным светом
Ее озарил с высоты.

Смущенная, клонит головку,
Стыдливых сомнений полна,
И бледного страдальца
У ног своих видит она.

* * *

Если только ты не слеп,
Погляди в мои напевы:
Ты увидишь, там блуждает
Дивный образ юной девы.

Если только ты не глух,
Услыхать и смех сумеешь,
От ее вздыханья, пенья
Сердцем, бедный, поглупеешь.

Взором, голосом ее,
Как и я, обвороженный,
Будешь ты в мечтах весенних
По лесам бродить влюбленный.

* * *

Снова в сердце жар невольный,
Отошла тоска глухая.
Снова нежностью томимый,
Жадно пью дыханье мая.

Вновь брожу по всем аллеям
Ранней, позднею порою,—
Может быть, под чьей-то шляпкой
Облик милый мне открою!

Над рекой стою зеленой,
На мосту слежу часами:
Может быть, проедет мимо
И скользнет по мне глазами!

Снова в плеске водопада
Слышу ропот, грусти полный.
Сердцу чуткому понятно
Все, о чем тоскуют волны.

И затерян я мечтами
В дебрях царства золотого,
И смеются в парке птицы
Над глупцом, влюбленным снова.

* * *

Тебя люблю я; неизбежна
Разлука наша,— не сердись!
Ведь облик твой, цветущий нежно,
И мой, печальный, не сошлись!

Да, от любви к тебе я вяну,
Я тощ и бледен стал,— вглядись!
Тебе я вскоре гадок стану,
Я удаляюсь,— не сердись!

* * *

Как луна дрожит на лоне
Моря, полного тревогой,
А сама, ясна, спокойна,
Голубой идет дорогой,—

Так, любимая, спокойна
И ясна твоя дорога,
Но дрожит твой образ в сердце,
Потому что в нем тревога.

* * *

Альянс священный прочно
Связал нам теперь сердца:
Прижавшись тесно, друг друга
Постигли они до конца.

Ах! жаль, что юной розой
Украсила ты грудь,—
Союзница бедная наша
Едва могла вздохнуть.

* * *

Поцелуями в потемках
Обменяться, не дыша,—
Сколько счастья в этом видишь
Ты, влюбленная душа!

И твое воображенье
Разгорается притом,
День грядущий прозревая,
Вспоминая о былом.

Но рискованно, целуясь,
Слишком много размышлять...
Лучше плакать, друг мой милый,
Слезы легче проливать!

* * *

Жил-был король суровый,
В седых кудрях, угрюм душой,
И жил король суровый
С женою молодой.

И жил-был паж веселый,
В льняных кудрях и смел душой,
Носил он шлейф тяжелый
За юной госпожой.

Верь песенке старинной —
Поет она, звенит она,
Они погибли оба —
Любовь была слишком сильна.

* * *

Лунным светом пьяны липы,
Тихо веет ветер сонный,
Полон свистом соловьиным
Сумрак ночи благовонный.

«Милый! Как приятно летом
Посидеть под липой темной,
Где лишь месяц робким светом
Золотит приют укромный!

Листик липы — точно сердце,
Оттого сердцам влюбленных
Любо теплой летней ночью
Отдохнуть меж лип зеленых.

Но, затерян в смутных грезах,
Ты глядишь с улыбкой странной.
О, каким желаньям сердца
Ты внимаешь, мой желанный?»

Я скажу тебе охотно,
Я б хотел, моя подруга,
Чтоб холодным снегом землю
Занесла седая вьюга.

И чтоб мы под ярким солнцем,
На санях, покрытых мехом,
Полетели по равнинам
С пеньем, гиканьем и смехом.

* * *

Утром шлю тебе фиалки,
В роще сорванные рано;
Для тебя срываю розы
В час вечернего тумана.

Знаешь, что хочу сказать я
Аллегорией цветною?
Оставайся днем мне верной
И люби порой ночною.

* * *

Вы, право, не убили
Меня своим письмом:
Меня вы разлюбили,
А клятв — на целый том!

Отказ длинён немножко —
Посланье в шесть листов!
Чтоб дать отставку, крошка,
Не тратят столько слов.

* * *

Что тебе, когда пред всеми
Тайну сердца выдаю,
Сотни пламенных метафор
Сочиняя в честь твою?

Он таится меж цветами,
В полутьме лесной, в тиши,
Этот жаркий пламень тайны,
Тайный жар моей души.

Пусть из розы брызнут искры,
Что тебе! — таков закон:
Мир поэзией зовет их,
А в огонь не верит он.

* * *

Бродят звезды-златоножки,
Чуть ступают в вышине,
Чтоб невольным шумом землю
Не смутить в глубоком сне.

Лес, прислушиваясь, замер,
Что ни листик — то ушко!
Холм уснул и, будто руку,
Тень откинул далеко.

Чу!.. какой-то звук!.. И эхо
Отдалось в душе моей.
Был ли то любимой голос
Или только соловей?

* * *

Протянулось надо мною
Небо, точно старец хилый —
Красноглазый, с бородою
Поседелых туч, унылый.

Только он на землю глянет —
Цвет весенний отцветает,
Даже песня в сердце вянет,
Даже радость умирает.

* * *

Влачусь по свету желчно и уныло.
Тоска в душе, тоска и смерть вокруг.
Идет ноябрь, предвестник зимних вьюг,
Сырым туманом землю застелило.

Последний лист летит с березы хилой,
Холодный ветер гонит птиц на юг,
Вздыхает лес, дымится мертвый луг.
И — боже мой! — опять заморосило...

* * *

Небо серо и дождливо,
Город жалкий, безобразный,
Равнодушно и сонливо
Отраженный Эльбой грязной.

Все — как прежде, глупость — та же,
Те же люди с постной миной.
Всюду ханжество на страже
С той же спесью петушиной.

Юг мой! Я зачах в разлуке
С небом солнечным, с богами —
В этой сырости и скуке,
В человеческом бедламе!

РАЗНЫЕ

СЕРАФИНА

* * *

Поздно вечером брожу я
По тропам во мгле лесной.
Вслед за мною неотступно
Бродит нежный образ твой.

То вуаль твоя белеет
Или твой прекрасный лик?
Иль, быть может, сквозь деревья
Бледный лунный свет проник?

И мои ли это слезы
Тихо льются в тишине,
Или ты, голубка, плача,
Горько жалуешься мне?

* * *

На пустынный берег моря
Ночь легла. Шумит прибой.
Месяц выглянул, и робко
Шепчут волны меж собой:

«Этот странный незнакомец —
Что он, глуп или влюблен?
То ликует и смеется,
То грустит и плачет он».

И, лукаво улыбаясь,
Молвит месяц им в ответ:
«Он и глупый и влюбленный.
И к тому же он поэт».

* * *

Мы здесь построим, на скале,
Заветной церкви зданье;
Нам новый, третий дан завет —
И кончено страданье.

Распался двойственности миф,
Что нас морочил долго,
Не стало глупых плотских мук
И слез во имя долга.

Ты слышишь бога в безднах? Там
Его вещает сила.
Над нашей видишь головой
Все божии светила?

Повсюду бог во тьме ночей,
В блестящих света красках;
Во всем он сущем и живом —
И даже в наших ласках.

* * *

Над прибрежьем ночь сереет,
Звезды маленькие тлеют,
Голосов протяжных звуки
Над водой встают и реют.

Там играет старый ветер,
Ветер северный, с волнами,
Раздувает тоны моря,
Как органными мехами.

Христианская звучит в них
И языческая сладость,
Бодро ввысь взлетают звуки,
Чтоб доставить звездам радость.

И растут все больше звезды
В исступленном хороводе,
Вот, огромные, как солнца,
Запутались в небосводе.

Вторя музыке из моря,
Песни их безумно льются;
Это соловьи-планеты
В светозарной выси вьются.

Слышу мощный шум и грохот,
Пенье неба, океана,
И растет, как буря, в сердце
Сладострастье великана.

* * *

Девица, стоя у моря,
Вздыхала сто раз подряд —
Такое внушал ей горе
Солнечный закат.

Девица, будьте спокойней,
Не стоит об этом вздыхать —
Вот здесь оно, спереди, тонет
И всходит сзади опять.

* * *

Как ты поступила со мною,
Пусть будет неведомо свету,
Об этом у берега моря
Я рыбам сказал по секрету.

Пятпать твое доброе имя
На твердой земле я не стану,—
Но слух о твоем вероломстве
Пойдет по всему океану.

* * *

На берег летит, вскипая,
Морской поток,
Смывая и размывая
Сырой песок.

И нет огромным, как тучи,
Конца волнам,
Их натиск все могучей,—
Что толку нам?

* * *

У моря сижу, на утесе крутом,
Мечтами и думами полный.
Лишь ветер, да тучи, да чайки кругом,
Кочуют и пенятся волны.

Знавал и друзей я, и ласковых дев —
Их ныне припомнить хочу я:
Куда вы сокрылись? Лишь ветер, да рев,
Да пенятся волны, кочуя.

АНЖЕЛИКА

* * *

Взыскан я улыбкой бога,—
Мне ль уйти теперь в молчанье,
Мне, который пел так много
В дни несчастий о страданье?

Мне юнцы в стишонках скверных
Подражали безотрадно,
Боль страданий непомерных
Умножая беспощадно.

Соловьиный хор прекрасный,
Что в душе ношу всегда я,
Лейся буйно, громогласно,
Всех восторгом заражая!

* * *

Закрыв глаза ей, алый рот
Люблю я целовать;
Она покоя не дает —
Причину хочет знать.

И с вечера не устает
До утра приставать:
«Зачем, когда целуешь рот,
Глаза мне закрывать?»

Какой тут у меня расчет,
Сам не могу понять,—
Закрыв глаза ей, алый рот
Целую я опять.

* * *

Когда я в твоих объятиях страстных
Вкушаю блаженство, в миг этот дивный
Молчи ты о нашей немецкой отчизне,—
На то есть причины — мне это противно.

Оставь, бога ради, немцев в покое,
Без них довольно на сердце кручины;
Ну, что толковать о родне, отчизне?..
Мне это противно — на то есть причины.

Там зелены дубы, глаза голубые
У женщин немецких, сердца наивны
И бьются лишь верой, надеждой, любовью.
На то есть причины — мне это противно.

* * *

Не отвергай! Пусть жар погас,
Возврата нет весне,
Еще полгода потерпи,
Чтоб отгореть и мне.

И пусть не можешь ты любить —
Хоть другом назови!
Мы в дружбе ценим поздний дар
Долюбленной любви.

* * *

Этот пляс желаний плотских,
Эта одурь карнавала
Нам постыли... Мы зеваем,
В отрезвленности взаимной.

Кубок пуст. В нем был шипучий
Опьяняющий напиток,
Возбуждавший наслажденье;
Но теперь наш кубок пуст.

Скрипачи устали тоже,
Что подыгрывали рьяно
Танцу нашей шалой страсти;
Приуныли скрипачи.

И угасли лампионы,
Озарявшие каким-то
Одичало-шалым светом
Пестрых масок толчею.

С кротостью великопостной
На челе твоем — золою —
Начерчу я крест, промолвив:
«Женщина, ты станешь прахом!»

ДИАНА

* * *

Эта масса чудо-тела,
Эта женственность-колосс
Мне без споров и без слез
Отдалась теперь всецело.

Если б к ней я самовольно
С пылом дерзостным приник,
То раскаялся бы вмиг!
Да, побит я был бы больно.

Что за грудь, какая шея!
(Выше мне не разглядеть.)
Прежде чем такой владеть,
Позабочусь о душе я.

* * *

Залив Бискайский был ей
Отчизной, говорят;
Она уж в колыбели
Замучила двух котят.

Потом через Пиренеи
Бежала она босиком.
Глазеть на великаншу
Валил Перпиньян валом.

Теперь же нет дамы выше
В предместье Сен-Дени;
И стоит она сэру Вильяму
Тринадцать тысяч луи.

* * *

Посещая часто вас,
Благороднейшая донья,
Вспоминаю всякий раз
Рынок с площадью в Bologna [1].

Там огромный есть фонтан
Del Gigante [2] — загляденье!
И Нептуном мастер Жан
Увенчал свое творенье.

ГОРТЕНЗИЯ

* * *

Верил я в былом далеком
В то, что поцелуи жен
Предназначены нам роком
От начала всех времен.

Поцелуи я в те годы
Строго так давал и брал,
Словно сам завет природы
Неизбежный исполнял.

Ныне я отлично знаю
Поцелуев суету,—
В них не верю, не мечтаю —
И целую на лету.

* * *

Вдвоем на уличном углу
Мы целый час стояли
И о союзе наших душ
Так нежно толковали.

---

[1] Болонья *(итал.)*.
[2] Гигантов *(итал.)*.

В любви взаимной сотни раз
Друг другу признавались,—
И так на уличном углу
Стоять мы и остались.

Богиня случая близ нас
Субреткою шмыгнула,
Увидела, как мы стоим,—
И, прыснув, упорхнула.

* * *

Строю вновь я струны цитры,
И звучит она так ново.
Текст же стар: «Жена — не сладость».
Это — Соломона слово.

Как обманывает мужа,
Так и другу изменяет!
И полынь в любовной чаше
Напоследок оставляет.

Справедливо, значит, было
Древней книги предсказанье,
Что готовит змей проклятье
За грехи нам в наказанье?

Змей в кустах ползет на брюхе
И высматривает жадно;
Речь заводит, как бывало,—
Слушать свист его отрадно.

Ах, как холодно и мрачно!
Солнце вороны затмили
И кричат. Любовь и радость
Долго будут спать в могиле.

* * *

Не долог счастья был обман
Обещанного ложно,
И образ твой, как лживый сон,
В душе прошел тревожно.

Блеснуло солнце и туман
Рассеяло собою,
И мы, едва успев начать,
Покончили с тобою.

КЛАРИССА

* * *

Оробев, моих признаний
Словно ты не замечаешь;
На вопрос: «Отказ ли это?» —
Горько плакать начинаешь.

Редко я молюсь,— так слушай,
О создатель! Помоги ей,
Осуши девицы слезы,
Просвети чуть-чуть мозги ей!

* * *

Черт возьми твою мамашу
И папашу кстати тоже:
Из-за них вчера весь вечер
Я тебя не видел в ложе.

Впереди они сидели,
Развалясь, почти вплотную,
От моих влюбленных взоров
Скрыв малютку дорогую.

Созерцала эта пара
Двух влюбленных злоключенья,
И, когда они погибли,
Оба были в восхищенье.

* * *

Эти дамы, понимая,
Что поэта чтут едой,
Отобедать пригласили
Нас — меня и гений мой.

Ах, как суп был превосходен!
И каких я вин вкусил!
Дичь божественной казалась,
Нашпигован заяц был!

Говорили, сколько помню,
О поэзии; и вот
Я и сыт и благодарен
За оказанный почет.

* * *

В которую из двух влюбиться
Моей судьбой мне суждено?
Прекрасна дочь, и мать прелестна,
Различно милы, но равно.

Неопытно-младые члены
Так сладко ум тревожат мой,
Но гениальных взоров прелесть
Всесильна над моей душой.

В раздумье, хлопая ушами,
Стою, как Буриданов друг
Меж двух стогов стоял, глазея,
Который лакомей из двух.

* * *

Все выпито. Ужин окончился наш,
Изрядно хлебнули вина мы.
Задорно глядят, распуская корсаж,
Мои захмелевшие дамы.

Прекрасные груди и плечи у них,—
От страха мне холодно стало.
А дамы в постель забираются вмиг
И прячутся под одеяло.

И обе красавицы сладостно так
Одна за другой захрапели,
А я, озираясь, стою как дурак
У полога пышной постели.

* * *

Юность кончена. Приходит
Дерзкой зрелости пора,
И рука смелее бродит
Вдоль прелестного бедра.

Не одна, вспылив сначала,
Мне сдавалась, ослабев.
Лесть и дерзость побеждала
Ложный стыд и милый гнев.

Но в блаженствах наслажденья
Прелесть чувства умерла.
Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла!

ЭММА

* * *

Сутки должен ожидать я
Сокровеннейших услад,
Что украдкой посулил мне
Нежный и лукавый взгляд.

О, язык наш так бессилен,
И плохой от слова прок:
Вымолвишь... и улетает
Вдаль прекрасный мотылек!

Ну, а взгляд — он беспределен,
Беспредельный свет струит.
От него в душе, как в небе,
Счастье звездное горит.

* * *

Месяц тянется любовь —
И еще ни поцелуя!
Сохнут жаркие уста,
В одиночестве тоскуя.

Был так близок счастья миг,
Я дыхание любимой
Ощущал у самых уст —
И промчалось счастье мимо!

* * *

Эмма, молви без раздумья:
От любви безумным стал я,
Или же любовь такая
Только следствие безумья?

Я измучен, друг мой Эмма,
Сверх любви моей безумной,
Сверх моей любви безумья,
Разрешеньем сей дилеммы.

* * *

Чуть мы вместе — брань и спор,
Нестерпима эта мука.
Но, увы, с тобой разлука —
Это смертный приговор.

Размышляю в час ночной:
Смерть иль ад мне выбрать надо.
Ах, от этого разлада
Я давно уж сам не свой!

* * *

Тенью мрачною, густою
К нам крадется злая ночь.
И устали мы душою,
И зевков не превозмочь.

Ты стара, и я не молод.
О весне забыли мы,
И в сердцах не жар, а холод.
Нам недолго ждать зимы.

Ах, кончаем мы в печали:
После всех любовных бед
Беды без любви настали.
Смерть бредет за жизнью вслед.

ТАНГЕЙЗЕР

ЛЕГЕНДА

(Написано в 1836 году)

I

Песнь о Тангейзере пою
Отнюдь не для забавы,
А чтобы христианам знать,
Как души прельщает лукавый.

Из рыцарей рыцарь, Тангейзер наш
Страстям привержен слепо,
Семь лет подряд не покидал
Венерина вертепа.

«Венера, госпожа моя,
Прекрасная царица!
Довольно мне у тебя гостить!
Пора нам распроститься!»

Скала Лорелей на Рейне

Гравюра по рисунку Дильмана
1830-е годы

«Тангейзер благородный мой!
О чем твои печали?
Тебе поцеловать меня,
Тангейзер, не пора ли?

Не каждый ли день ты пил вино
Из моего фиала?
Не каждый ли день чело твое
Розами я венчала?»

«Венера, госпожа моя!
Мне сласти надоели.
От них, Венера, я болен душой.
Жажду я горьких зелий.

Семь лет я жил, смеясь и шутя.
Хочу я слез горючих.
Теперь бы мне терновый венец,
Колючий из колючих!»

«Тангейзер благородный мой!
На что это похоже!
Не ты ли мне клялся тысячу раз,
Что я тебе всех дороже?

Скорей, Тангейзер милый мой,
Пойдем в мои покои!
Излечит моя лилейная плоть
Томление такое».

«Венера, госпожа моя!
Цвести ты будешь вечно.
Прельстила ты многих и прельстишь
Красой своей безупречной.

Подумаю, сколько богов у тебя
И сколько героев гостило,
И мне твоя лилейная плоть,
Твоя красота мне постыла.

Венера, твоя лилейная плоть
Меня пугает, не скрою.
Мне страшно подумать, сколько других
Еще насладятся тобою!»

«Тангейзер благородный мой!
Как речь твоя сурова!
Уж лучше бы снова побил ты меня,
Я потерпеть готова.

Уж лучше бы снова побил ты меня
В жестоком своем озлобленье.
Неблагодарный христианин!
Нанес ты мне оскорбленье!

Так, значит, рыцарь, за любовь
Ты злобою платишь Венере?
Тебя я больше не держу!
Открыты настежь двери!»

II

Слышны песнопения в Риме святом,
Торжественный звон колокольный.
С процессией шествует папа Урбан.
Толпится народ богомольный.

В своей тиаре папа Урбан,
В тяжелой своей багрянице,
Бароны папский шлейф несут
Смиренною вереницей.

«Не сдвинусь я с места, святой отец,
Пока от преисподней
Ты грешную душу мою не спасешь
По милости господней!»

Мгновенно расступился народ.
Церковные смолкли каноны.
Как дик и бледен пилигрим
Коленопреклоненный!

«За нас ты молишься, папа Урбан,
Связуя и разрешая.
От вечных мук спаси меня!
Гнетет меня сила злая.

Из рыцарей рыцарь, Тангейзер я.
Страстям привержен слепо,
Семь лет подряд я не покидал
Венерина вертепа.

Венера завлекла меня
Своей красотою телесной.
Как солнечный луч, как запах цветка,
Венерин голос прелестный.

Как мотылек вокруг цветка,
Вокруг этой чашечки сладкой,
Порхать бы вокруг этих розовых губ
И лакомиться украдкой.

Бушуют кудри у ней по плечам,
Как смоляные реки.
От этих огромных ясных очей
Займется дух в человеке.

От этих огромных ясных очей
Вовеки не оторваться.
И кто бы мог на призыв такой
Всем сердцем не отозваться!

Куда еще мне убежать
От колдовского взора?
Вновь мне подмигивает он:
Мол, возвратишься ты скоро!

Я жалкий призрак при свете дня.
Живу я порою ночною,
Когда хотя бы в сладком сне
Венера моя со мною.

Прекрасная смеется тогда
Таким белозубым смехом,
Что я не плакать не могу
По нашим былым утехам.

Безудержна моя любовь.
Никак ее не забуду.
Любовь словно дикий водопад,—
Попробуй сделай запруду!

С камня на камень бросается вниз
Неистовое ослепленье
И, шею сломав себе тысячу раз,
Не терпит промедленья.

Готов я Венеру мою одарить
Небесной роскошью всею.
Солнце отдам, луну отдам.
И звезд не пожалею.

Безудержна моя любовь,
Пожар неумолимый.
Что, если я уже в аду,
Таким огнем палимый?

За нас ты молишься, папа Урбан,
Связуя и разрешая.
От вечных мук спаси меня!
Гнетет меня сила злая!»

Скорбно воскликнул папа Урбан,
Подъемля скорбные длани:
«Тангейзер! Пропащий ты человек!
Напрасно твое покаянье.

Венера — черт из всех чертей,
Ужаснее самых ужасных.
Тебя я вырвать не могу
Из этих когтей прекрасных.

Оплачивается душой
Телесная услада!
Несчастный! Ты приговорен.
Удел твой — муки ада!»

III

Рыцарь Тангейзер, он быстро идет,
Изранив усталые ноги.
Вернувшись к Венере в полночный час,
Тангейзер стоял на пороге.

Проснулась Венера в полночный час,
Мигом с постели вскочила,
Возлюбленного своего
В объятия заключила.

Пошла у Венеры носом кровь.
Бросившись другу на шею,
Венера лицо ему залила
Слезами и кровью своею.

Улегся Тангейзер молча в постель.
Усталость его сморила.
Пошла Венера на кухню скорей
И суп ему сварила.

Суп с хлебом Венера ему подала,
Кровавые вымыла ноги,
Космы, смеясь, расчесала ему,
Спутанные в дороге.

«Тангейзер благородный мой!
Давно пора бы вернуться.
Не понимаю, как могла
Отлучка твоя затянуться!»

«Венера, госпожа моя!
В Италии я загостился.
Я по делам наведался в Рим
И, видишь, возвратился.

Рим все стоит на семи холмах,
Тибр все протекает мимо.
Да, кстати, кланяется тебе
Первосвященник Рима.

И во Флоренции я побывал,
Не миновал Милана.
Потом по склонам швейцарских гор
Карабкался неустанно.

В Альпах начался снегопад,
И побелели долины.
Я видел улыбки синих озер,
Я слышал клекот орлиный.

На Сен-Готарде услышал я храп,—
Германия почивает.
Тридцать шесть коронованных нянек у ней.
Приятней снов не бывает.

Швабия школой поэтов горда,
Там нет голов безрассудных.
В своих колпачках малыши хороши,
Посиживают на суднах.

Во Франкфурт на шабес прибыл я.
Люблю я веру такую.
Охоч до гусиных потрохов,
Шалет и клецки смакую.

Видал я в Дрездене старого пса.
Он в прошлом успел отличиться.
Из лучших он был, а теперь без зубов,
Горазд лишь брехать и мочиться.

Расплакались в Веймаре музы навзрыд,
Бедняжки овдовели.
Скончался Гете, а Эккерман жив.
Заплачешь, в самом деле!

Услышал я в Потсдаме громкий крик.
Не Геродот и не Плиний,
Историю последних лет
Читает Ганс в Берлине.

Наука в Геттингене цветет.
Пышней не сыскать пустоцвета.
Пришел я темною ночью туда,
Нигде никакого просвета.

В Целле осматривал я тюрьму.
Сидят ганноверцы в Целле.
Общая каторга, общий кнут —
Наши национальные цели.

А в Гамбурге спросил я: «Чем
Округа провоняла?»
Сказали еврей и христианин:
«Воняет из канала».

Гамбург хорош, однако и там
Достаточно дряни плодится.
На гамбургской бирже и в целльской тюрьме
Весьма похожие лица.

Альтону в Гамбурге я осмотрел,
Местечко высшего тона.
Когда-нибудь я на десерт расскажу
О том, какова Альтона».

ФРИДЕРИКА

* * *

Оставь Берлин, где мгла, и пыль густая,
И жидок чай, и пустословят фаты,
Что гегелевским разумом богаты,
О боге и вселенной рассуждая.

Нас встретит солнце Индии, блистая,
Там амбра расточает ароматы,
И к Гангу тянется, чьи воды святы,
В одеждах белых пилигримов стая.

Где пальмы веют и мерцают волны,
Где стебель тонкий лотосы подъемлют
К престолу Индры в голубом эфире,—

Там я, восторга и смиренья полный,
Скажу, у ног твоих упав на землю,—
«Madame! Вас нет прекрасней в этом мире!»

* * *

Рокочет Ганг; сбежав со скал в долины,
Вдаль антилопы из зеленой сени
Умно глядят; цветное оперенье
Показывают важные павлины.

И ввысь из сердца солнечной равнины
Цветов все новых рвутся поколенья;
Тоской любви звучит кокилас пенье —
Как хороша ты в красоте невинной!

Бог Кама озарил тебя сияньем,
В шатрах твоей груди он обитает
И дышит в голосе твоем чудесном.

Вассант к устам твоим приник лобзаньем;
В твоих очах миры я открываю,
И в собственном становится мне тесно.

* * *

Рокочет Ганг, великий Ганг бурлит;
Обагрены зарею Гималаи;
Из мрака рощ баньяновых шагая,
Орда слонов топочет и трубит.

Коня за образ! Образ где сокрыт,
Чтобы сравнить, прекрасная, младая,
О несравненная моя, святая,
Тебя, кто сердце радостью поит!

Ты видишь, как ловлю я образ зыбкий,
И с чувствами и с рифмами в боренье.
Увы, твой смех — награда всех тревог.

Ну что же, смейся! В честь твоей улыбки
Гандарвы звуком цитр и песнопенья
Наполнят солнца золотой чертог.

КАТАРИНА

* * *

Звезда взошла во тьме моей ночи;
Отрадный свет дают ее лучи;
Они сулят мне новой жизни дни —
Не обмани!

Как вверх к луне встает морской прилив,
Так все к тебе души моей порыв:
Виновны дивных глаз твоих огни —
Не обмани!

* * *

Как Мерлин, я обречен
В жертву чарам; я прикован,
И в кругу, что заколдован,
Я вращаться осужден.

От красавицы нет мочи
Оторваться мне: лежу
Я у ног ее, гляжу
По часам любовно в очи.

Словно сон, бегут недели,
Дни, часы... Ее слова
Понимаю еле-еле,
Сознаю свои едва.

Иногда прикосновенье
Уст ее к устам моим
Мнится мне,— и в те мгновенья
Я в душе огнем палим.

* * *

Люблю я эту бледность тела —
Покров души изящной, очи
Огромные и эти кудри
Вокруг чела, как крылья ночи!

Жену как раз такого сорта
Искал я долго повсеместно;
Я тоже оценен тобою,
И это мне, конечно, лестно.

Найдя во мне, чего хотелось
Тебе самой, ты щедро станешь
Меня лобзаньями счастливить,—
Потом, как водится, обманешь.

НА ЧУЖБИНЕ

* * *

Из края в край твой путь лежит;
Идешь ты — рад не рад.
По ветру нежный зов звучит —
И ты взглянул назад.

Твоя любовь в стране родной;
Манит, зовет она:
«Вернись домой! Побудь со мной!
Ты радость мне одна».

Но путь ведет все в даль и тьму.
И остановки нет...
Что так любил — навек к тому
Запал возвратный след.

* * *

Сегодня ты такой печальный,
Каким уж не был много дней!
Щека блестит росой хрустальной,
И вздохи сердца все слышней.

Иль вспомнил родину в далеком,
В туманно-призрачном былом?
Ведь ты бы рад был ненароком
Побыть в отечестве своем.

Иль вспомнил даму, что так мило
Бывала гневною подчас?
Сердился ты — ей грустно было,
Потом смеялись всякий раз.

Иль вспомнил тех, что обнимали
Тебя, как друга, в страшный миг?
В груди желанья бушевали,
Но оставался нем язык.

Иль вспомнил мать, сестру родную?
Спугнуть их образ не спеши!
Мой милый, дрогнула, я чую,
Решимость дикая души.

Иль вспомнил щебет птиц и сени
Густого сада, где вкушал
Блаженство юных сновидений,
Где ты робел, где ты мечтал?

Уж поздно. Дали серебрятся
Сквозь мокрый снег белесой мглой.
Однако время одеваться
И ехать в гости. Боже мой!

* * *

И я когда-то знал край родимый...
Как светел он!
Там рощи шумны, фиалки сини...
То был лишь сон!

Я слышал звуки родного слова
Со всех сторон...
Уста родные «люблю» шептали...
То был лишь сон!

ТРАГЕДИЯ

I

Бежим! Ты будешь мне женой!
Мы отдохнем в краю чужом.
В моей любви ты обретешь
И родину, и отчий дом.

А не пойдешь — я здесь умру,
И ты останешься одна,
И будет отчий дом чужим,
Как чужедальная страна.

II

(Это подлинная народная песня, и я слышал ее на Рейне.)

Дохнула стужей весенняя ночь,
Дохнула на голубые цветы,
Они увяли, опали.

Веселый парень подружку любил,
Ни матери, ни отцу не сказал,—
Тайком увез дорогую.

Их горькая доля по свету гнала,
Их злая мачеха-жизнь извела,
Нужда иссушила, сгубила.

III

И липа цветет над их могилой,
И свищет птица да ветер унылый,
А под шатром зеленых ветвей
Печалится мельник с милой своей.

И птица так нежно и грустно щебечет,
А ветер так тихо и странно лепечет,—
Любовники молча внемлют ему
И плачут — и все не поймут почему.

РОМАНСЫ

ЖЕНЩИНА

Любовь их была глубока и сильна:
Мошенник был он, потаскушка она.
Когда молодцу сплутовать удавалось,
Кидалась она на кровать — и смеялась.

И шумно и буйно летели их дни;
По темным ночам целовались они.
В тюрьму угодил он. Она не прощалась;
Глядела, как взяли дружка, и смеялась.

Послал он сказать ей: «Зашла бы ко мне!
С ума ты нейдешь наяву и во сне;
Душа у меня по тебе стосковалась!»
Качала она головой — и смеялась.

Чем свет его вешать на площадь вели;
А в семь его сняли — в могилу снесли...
А в восемь она, как ни в чем не бывало,
Вино попивая с другим, хохотала.

ANNO 1829

Для дел высоких и благих
До капли кровь отдать я рад,
Но страшно задыхаться здесь,
В мирке, где торгаши царят.

Им только б жирно есть и пить,—
Кротовье счастье брюху впрок.
Как дырка в кружке для сирот,
Их благонравный дух широк.

Их труд — в карманах руки греть,
Сигары модные курить.
Спокойно переварят все,
Но их-то как переварить?

Хоть на торги со всех сторон
Привозят пряности сюда,
От их душонок рыбьих тут
Смердит тухлятиной всегда.

Нет, лучше мерзостный порок,
Разбой, насилие, грабеж,
Чем счетоводная мораль
И добродетель сытых рож!

Эй, тучка, унеси меня,
Возьми с собой в далекий путь,
В Лапландию, иль в Африку,
Иль хоть в Штеттин — куда-нибудь!

О, унеси меня! — Летит...
Что тучке мудрой человек!
Над этим городом она
Пугливо ускоряет бег.

ANNO 1839

Тебя, Германию родную,
Почти в слезах мечта зовет!
Я в резвой Франции тоскую,
Мне в тягость ветреный народ.

Сухим рассудком, чувством меры
Живет блистательный Париж.
О глупый бубен, голос веры,
Как сладко дома ты звучишь!

Учтивы люди. Но с досадой
Встречаю вежливый поклон.
В отчизне истинной отрадой
Была мне грубость испокон.

Прелестны дамы. Как трещотки,
Не знают устали болтать.
Милей немецкие красотки,
Без слов идущие в кровать.

Здесь каруселью исступленной
Все кружится, как дикий сон.
У нас порядок заведенный
Навеки к месту пригвожден.

Мне словно слышится дремливый
Ночного сторожа рожок,
Ночного сторожа призывы
Да соловьиных песен ток.

В дубравах Шильды безмятежной
Таким счастливым был поэт!
Там в звуки рифм вплетал я нежно
Фиалки вздох и лунный свет.

РЫЦАРЬ ОЛАФ

I

У дверей собора двое,
И в кафтанах оба красных,
И один из них властитель,
А другой — палач придворный.

Палачу король промолвил:
«По поповским песням слышу,
Что кончается венчанье,—
Будь с секирой наготове».

Перезвон. Органа ропот,
И поток из церкви хлынул.
Толпы пестрые народа
Окружают новобрачных.

Словно смерть бледна, тосклива
Молодая королевна.
Смело смотрит рыцарь Олаф,
Алых уст дерзка улыбка.

Королю он, усмехаясь,
Молвит алыми устами:
«Здравствуй, тесть, падет сегодня
Голова моя на плаху.

Я умру сегодня. Дай же
Лишь до полночи пожить мне,
Чтоб свою я справил свадьбу
Пиром с пляскою веселой.

Дай пожить мне, дай пожить мне,
Чтоб последний выпить кубок,
Чтоб сплясать последний танец,
Дай пожить мне до полночи».

Палачу король промолвил:
«Зятю нашему дарую
Жизнь его до полуночи,—
Будь с секирой наготове».

II

Рыцарь сидит за брачным столом,
Последний кубок полон вином.
К плечу его, бледна,
Припала жена.
Палач стоит перед дверью.

Бесчисленных факелов блещут огни.
И в круг гостей вступают они
И пляшут в полночный час
В последний раз.
Палач стоит перед дверью.

Несется скрипок веселый звон,
Несется флейты печальный стон.
У всех, кто на пляску глядит,
Сердце щемит.
Палач стоит перед дверью.

И пляска длится, и зал дрожит,
И рыцарь, склонясь к жене, говорит:
«Тебя люблю я так сильно,—
Но ждет меня холод могильный».
Палач стоит перед дверью.

III

О рыцарь Олаф, час настал,
Окончены с жизнью расчеты,
Ты королевскую дочь полюбил
Свободно и без заботы.

Во тьме ночной блестит топор.
Псалмы бормочут монахи.
В кафтане красном человек
Стоит у черной плахи.

Выходит рыцарь из дворца,
Весь двор блестит огнями,
Смеются алые губы его,
Он алыми молвит устами:

«Я славлю солнце, я славлю луну
И звезд небесных сиянье,
И славлю птиц я в вышине
Веселое щебетанье.

Я славлю море, славлю твердь,
Я славлю цветы полевые,
Я славлю фиалки, они — как глаза
Жены моей — голубые.

Глаза-фиалки моей жены,
За вас моя жизнь пропала;
И славлю бузинную чащу я,
Где ты моею стала».

АЛИ-БЕЙ

Али-Бей, поборник веры,
В женских нежится объятьях;
На земле уж он Аллахом
Благ Эдема удостоен.

Одалиски, краше гурий,
Гибче серн, его ласкают;
Бородой одна играет,
Нежно гладит лоб другая.

Третья весело танцует
И поет под звуки лютни,
И целует прямо в сердце,
Где горит огонь блаженства.

Но внезапно — зов к оружью!
Звуки труб, мечей бряцанье,
И пальба, и весть приносят:
«Франки двинулись на приступ!»

На коня герой — и в битву!
Но летит, как в сновиденье;
Все ему еще сдается,
Будто он в объятьях женских.

Франков головы срубая
Саблей острой по десяткам,
Улыбается он нежно,
Безмятежно, как влюбленный.

СМЕНА

Ну, теперь конец брюнеткам!
Этот год мы отдадим
Снова глазкам ярко-синим,
Косам нежно-золотым.

Я пленен опять блондинкой,
Милой, набожной, простой.
Дашь ей белых лилий в руки —
Сразу кажется святой.

Плоти мало, духа много,
Так мечтательно-нежна
И любви, надежде, вере
Всей душою предана.

Уверяет, что немецким
Не владеет языком,
Но клянусь, небесный Клопшток,
Безусловно, ей знаком!

ЖАЛОБА СТАРОНЕМЕЦКОГО ЮНОШИ

Блаженны те, что честь хранят,
Презренны, что честь утратили!
Меня — несчастного юношу —
Сгубили дурные приятели!

Они завладели моим кошельком
Не в ту роковую минуту ли,
Когда они к картам меня подвели
И с грязными девками спутали?

И вот, когда я упился в дым,
Совсем потерявши голову,
Они меня — бедного юношу —
Швырнули на улицу голого.

А утром, очнувшись, почуял я —
Ползут по спине мурашки.
Сидел я — несчастный юноша —
В Касселе, в каталажке!

ФРАУ МЕТТА

(Датская баллада)

Герр Петер и Бендер пили вино.
Герр Бендер молвил с презреньем:
«Ты можешь пеньем весь мир покорить,
Но Метту не сманишь ты пеньем».

И Петер сказал: «Я ставлю коня,
Ты ставь твою гончую свору.
Я песней Метту в свой двор заманю
Сегодня в полночную пору».

И только полночь пробили часы,
Взял Петер лютню в руки.
Через поля, через реку и лес
Волшебные хлынули звуки.

И сразу река перестала шуметь,
Притихли, заслушавшись, ели,
На небе месяц побледнел
И звезды смущенно глядели.

И фрау Метта проснулась тотчас:
«Чья песня меня разбудила?»
Надела платье и вышла во двор,—
Ах, лучше б она не ходила!

Пошла через реку, через поля,
Пошла через бор дремучий.
Герр Петер в свой далекий двор
Манил ее песней могучей.

И утром домой воротилась она,
Герр Бендер стоял на пороге.
«Где ночью ты пропадала, жена,
Зачем в росе твои ноги?»

«К затону русалок я ночью пошла,
У них совета искала.
Играя, царица русалок в меня
Студеной водою плескала».

«К русалкам ты не ходила, жена,
Там берег сухой и песчаный.
А у тебя лицо в крови,
И на ногах твоих раны».

«Я ночью в лес пошла поглядеть,
Как эльфы плясали и пели.
Лицо и ноги ободрала
Я об кустарник и ели».

«Но эльфы лишь в теплую майскую ночь
Заводят круг хороводный,
А поздней осенью в голом лесу
Бушует ветер холодный».

«Я к Петеру Нильсену ночью пошла!
Он пел, и я шла через поле,
Я шла далеко через реку и лес,
Покорна таинственной воле!

Но песня его поражает, как смерть,
В ней темная, страшная сила,
Звучащее пламя мне сердце сожгло,
И ждет меня, знаю, могила».

Гудят погребальные колокола,
И певчие в траур одеты.
Они оплакивают смерть
Несчастной фрау Метты.

Герр Бендер у черного гроба стоит,
И плачет, и горько смеется:
«Я потерял дорогую жену,
И гончих отдать придется».

ГАРАЛЬД ГАРФАГАР

Король Гаральд на дне морском
Сидит под синим сводом
С прекрасной феею своей...
А год идет за годом.

Не разорвать могучих чар;
Ни смерти нет, ни жизни!
Минуло двести зим и лет
Его последней тризне.

На грудь красавицы склонясь,
Король глядит ей в очи;
Дремотной негою объят,
Глядит и дни и ночи.

Златые кудри короля
Иссеклись, побелели,
В морщинах желтое лицо,
Нет сил в поблекшем теле.

Порой тревожит страстный сон
Какой-то грохот дальний:
То буря на море шумит —
Дрожит дворец хрустальный.

Порою слышит Гарфагар
Норманнский клик родимый:
Поднимет руки — и опять
Поникнет недвижимый.

Порой до слуха долетит
И песнь пловца над морем,
Что про Гаральда сложена:
Стеснится сердце горем...

Король застонет, и глаза
Наполнятся слезами...
А фея льнет к его устам
Веселыми устами.

OLLEA

ИШАЧЕСТВО

Отец твой был добряк осел,
И это всем известно было;
Но мать была — высокий ум
И чистокровная кобыла.

Твое ишачество есть факт,
И с этим уж нельзя бороться,
Но утверждай всегда при всех,
Что ты потомок иноходца.

Что твой прапрадед — Буцефал,
Что предки в латах и попонах
К святому гробу шли в поход
Галопом, при честных знаменах;

И числишь ты в своей родне
Тот благородный отпрыск конский,
На коем гарцевал, войдя
В господень град, Готфрид Бульонский;

Что конь Баярд был твой отец,
Что есть и героиня-тетя
Из кляч, прозваньем Росинант,
Служившая при Дон-Кихоте.

О Санчо-Пансовом осле
Ты умолчи, что он родитель,
И даже не признай того,
На коем ехал наш Спаситель.

Не вздумай помещать осла
В свой герб и титул родословный.
Сам в этом деле стань судьей
И будешь — самый чистокровный.

СТРАНСТВУЙ!

Когда тебя женщина бросит — забудь,
Что верил ее постоянству.
В другую влюбись или трогайся в путь,
Котомку на плечи — и странствуй.

Увидишь ты озеро в мирной тени
Плакучей ивовой рощи,
Над маленьким горем немного всплакни,
И дело покажется проще.

Вздыхая, дойдешь до синеющих гор.
Когда же достигнешь вершины,
Ты вздрогнешь, окинув глазами простор
И клекот услышав орлиный.

Ты станешь свободен, как эти орлы,
И, жить начиная сначала,
Увидишь с крутой и высокой скалы,
Что в прошлом потеряно мало!

ЗИМА

Мороз-то на самом деле
Огнем обжигает лица.
В густых облаках метели
Народец продрогший мчится.

Промерзли носы и души.
О, холод зимой неистов!
И раздирают нам уши
Концерты пианистов.

Насколько приятней лето!
Брожу я в лесах, мечтаю
И о любви поэта
Стихи нараспев читаю.

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ У КАМИНА

Воет вьюга-завируха,
Бьются хлопья о стекло.
А в моей каморке сухо,
И уютно, и тепло.

Как приятно у камина
В тишине мечтать, когда,
Бормоча напев старинный,
В котелке кипит вода.

Кот лениво лапы греет
И мурлычет в полусне.
А в камине пламя реет...
Как-то странно стало мне.

И встает из дали дальной
Позабытый век былой,
С пестротою карнавальной
И отцветшей красотой.

Дамы, ласковы и чинны,
Томно знак мне подают.
В буйной пляске арлекины
Скачут, прыгают, поют.

В бликах лунного сиянья,
Беломраморно-чисты,
Дремлют в парках изваянья
И колышутся цветы.

Выплыл замок из тумана
В блеске факельных огней,
И под грохот барабана
Гонят всадники коней.

Вот уже труба пропела,
Мчатся рыцари вперед...
Ах, вода перекипела,
И мяучит мокрый кот!

СОВРЕМЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ДОКТРИНА

Бей в барабан, и не бойся беды,
И маркитантку целуй вольней!
Вот тебе смысл глубочайших книг,
Вот тебе суть науки всей.

Людей барабаном от сна буди,
Зорю барабань, не жалея рук,
Маршем вперед, барабаня, иди,—
Вот тебе смысл всех наук.

Вот тебе Гегеля полный курс,
Вот тебе смысл наук прямой:
Я понял его, потому что умен,
Потому что я барабанщик лихой.

АДАМ ПЕРВЫЙ

Жандарма с огненным мечом
Послал ты в злобе ярой.
Ты выгнал меня из рая, как пса,
Грозя чудовищной карой.

И мы идем с женою в мир,
В бесплодный край изгнанья,
Но ты не заставишь меня забыть
Чудесный плод познанья.

Свершилось! Я узнал, что ты
Ничтожней жалкого гнома,
Хотя бы ты стократ пугал
Нас грохотаньем грома.

О бог! Как жалок ты с твоим
«Consilium abeundi» [1].
Вот так заправский властелин
Вселенной, lumen mundi! [2]

Я даже вспомнить твой рай не могу
Без отвращенья и гнева.
То был не настоящий рай —
Там были запретные древа.

Мне рай лишь там, где свобода моя
Во всем неприкосновенна.
А рай, где есть хоть малейший запрет,—
Темница и геенна!

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Ты печатаешь такое!
Милый друг мой, это гибель!
Ты веди себя пристойно,
Если хочешь жить в покое.

Никогда не дам совета
Говорить в подобном духе —
Говорить о папе, клире
И о всех владыках света!

Милый друг мой, я не в духе!
Все попы длинноязычны,
Долгоруки все владыки,
А народ ведь длинноухий.

---

[1] «Совет уйти» *(лат.)* — университетское постановление об исключении студента.
[2] Светоч мира *(лат.)*.

ТАЙНА

Ни вздоха, ни слезы единой.
Улыбка, даже смех порой,
Ни взгляд наш, ни одно движенье
Не выдаст тайны роковой.

Таясь в душе окровавленной,
Она безмолвной мукой жжет.
Кипит бунтующее сердце,
Но судорожно сомкнут рот.

Спроси младенца в колыбели,
Спроси в могиле мертвеца,
Пускай они тебе откроют,
О чем молчал я до конца.

ТАМБУРМАЖОР

Старик этот — бывший тамбурмажор.
Он дожил до жизни жалкой.
Как при Бонапарте сверкал его взор,
Когда он размахивал палкой!

Сверкали серебряные галуны
На синем его мундире,
И женщины были в него влюблены,
Пожалуй что всюду в мире.

Когда он по селам и городам
Шагал под знаменем рваным,
Сердца девиц и замужних дам
Бились в такт с его барабаном.

Пришел, увидел, победил
Он гордых иноземок.
И ус его черный влажен был
От слез несчастных немок.

Терпели мы все; не без веских причин
Был каждый покорен и кроток.
Император везде побеждал мужчин,
А тамбурмажор — красоток.

Мы долго терпели бы этих вояк,
Блуждавших по разным странам,
Когда бы начальство не подало знак,
Что свободу добыть пора нам.

Мы подняли грозно свои рога,
Как зубры в пылу сраженья,
И затянули, гоня врага,
Кернеровы песнопенья.

Ужасные вирши! Гремел наш хор
Так, что деспоты задрожали...
Император, а также тамбурмажор
В ужасе убежали.

Обоим был жалкий жребий сужден
За то, что чинили нам муки.
Сам император Наполеон
Попал к британцам в руки.

На Святую Елену он угодил,
Где терзали его англичане
И где он от рака желудка почил
После тяжелых страданий.

Был уволен в отставку тамбурмажор,
Остался и он не при деле.
Чтоб на хлеб заработать, он с этих пор
Дворником в нашем отеле.

Он чистит котлы, таскает дрова,
Полы в коридорах моет.
Дрожит его старческая голова,
Когда он выносит помои.

Фриц навещает нас иногда,
Он дразнит и мучит рьяно,
Не зная ни совести, ни стыда,
Долговязого ветерана.

Фриц, брось свои шутки! Пора понять,
Что это — верх неприличья!
Сынам ли Германии унижать
Поверженное величье?

Таким старикам мы всегда должны
Почтенье оказывать наше:
Ведь он с материнской стороны,
Может быть, твой папаша.

ВЫРОЖДЕНИЕ

Ужель грешит сама природа
Пороками людей в наш век?
Мне кажется, растенья, звери —
Все в мире лжет, как человек.

Ты скажешь, лилия невинна?
Взгляни на франта-мотылька:
Прильнул он к ней, вспорхнул — и что же,
Где целомудрие цветка?

Забыли скромность и фиалки,—
Хотя их тонкий аромат
Так безыскусственно кокетлив,
Мечты о славе их томят.

А соловей утратил чувство,
Насквозь рутиной заражен,
И, право, только по привычке
И плачет и ликует он.

Нет правды на земле, и верность
Ушла в преданья старины.
Псы, как всегда, хвостом виляют,
Смердят, но тоже неверны.

ГЕНРИХ

Третью ночь стоит в Каноссе
Перед замком папы Генрих.
Он в рубахе покаянной
И босой, а ночь ненастна.

Вниз во двор из окон замка
Смотрят двое. В лунном свете
Виден папы лысый череп
И белеет грудь Матильды.

Посиневшими губами
«Отче наш» бормочет Генрих.
Но в душе совсем иное
Шепчет, стискивая зубы.

«Там, в моих немецких землях,
Дремлют горы-исполины.
И в глубокой горной шахте
Есть железо для секиры!

Там, в моих немецких землях,
Подрастает лес дубовый.
И в могучем теле дуба
Зреет древко для секиры!

Ты, моя земля родная,
Ты родишь того героя,
Что змее моих мучений
Срубит голову секирой!

ЖИЗНЕННЫЙ ПУТЬ

Мы пели, смеялись, и солнце сияло,
И лодку веселую море качало,
А в лодке, беспечен, и молод, и смел,
Я с дорогими друзьями сидел.

Но лодку разбило волненье стихии,
Пловцы, оказалось, мы были плохие,
На родине потонули друзья,
Но бурей на Сену был выброшен я.

И новых нашел я товарищей в горе,
И новое судно мы наняли вскоре,
Швыряет, несет нас чужая река...
Так грустно! А родина так далека!

Амалия Гейне

Миниатюра неизвестного художника
1830 г.

Мы снова поем, и смеемся мы снова,
А небо темнеет, и море сурово,
И тучами весь горизонт облегло...
Как тянет на родину! Как тяжело!

ТЕНДЕНЦИЯ

Бард немецкий, пой достойно
Вольность нашу, чтоб она
Косность преодолевала,
Душу к делу вдохновляла
«Марсельезы» гимном стройным.

Нет, не Вертером усталым
Перед Лоттой у окна,—
Словно колокол, народу
Должен ты вещать свободу,
Быть мечом и быть кинжалом.

Но не пой ты мягче флейты,
Что идиллии полна,
Будь в стране своей тимпаном,
Пушкою, трубой, тараном,
Пой, труби, звени и бей ты!

Пой, труби, греми тревожно,
В мрак — тиранов имена!
Лишь таким и стань поэтом,
А в стихах держись при этом
Общих мест — насколько можно!

РЕБЕНОК

Бог это праведным, любя,
Во сне дарует вмиг.
Но как, Германия, тебя
Такой удел постиг?

Ты девушка — и вдруг сынком
Обзавелась... Но — чур!
Он обещает быть стрелком
Не хуже, чем Амур.

Коль он стрелу метнет в орла,
Хотя б тот был двуглав,—
Настигнет хищника стрела,
И рухнет он стремглав.

Но, как слепой язычник тот,
Пусть не рискует он
У нас ходить, как санкюлот,
Всегда без панталон.

Наш климат, и морали глас,
И полицейский взгляд
Предписывают, чтоб у нас
Одет был стар и млад.

БОЛЬШИЕ ОБЕЩАНИЯ

Мы немецкую свободу
Не оставим босоножкой.
Мы дадим ей в непогоду
И чулочки и сапожки.

На головку ей наденем
Шапку мягкую из плюша,
Чтобы вечером осенним
Не могло продуть ей уши.

Мы снабдим ее закуской.
Пусть живет в покое праздном,—
Лишь бы только бес французский
Не смутил ее соблазном.

Пусть не будет в ней нахальства,
Пусть ее научат быстро
Чтить высокое начальство
И персону бургомистра!

ПОДКИДЫШ

Ребенок с тыквой на месте башки,
Огромен желудок, но слабы кишки.
Коса и рыжий ус. Ручонки,
Как ноги паучьи, цепки и тонки.
Это чудовище некий капрал,
Который наше дитя украл,
Подкинул нам в колыбель когда-то.
Плод необузданной лжи и разврата,
Был старым скотоложцем он
Во блуде с паршивою сукой рожден.
Надеюсь, его называть вам не надо,—
В костер или в омут проклятого гада!

КИТАЙСКИЙ БОГДЫХАН

Отец мой трезвый был чудак
И пьянства не любитель;
А я усердно пью коньяк,
И мощный я властитель.

Питье волшебное! Моя
Душа распознала это:
Чуть только вдоволь выпил я —
Китай стал чудом света.

Цветет срединное царство; весна
Кругом благоухает;
Я сам — почти мужчина; жена
Ребенка зачинает.

Болезням настает конец;
Богато все и счастливо;
Конфуций, первый мой лейб-мудрец,
Вещает мысли на диво.

Сухарь солдатский на войне
Становится слаще конфеты;
И нищие в моей стране
Все в бархат и шелк одеты.

У мандаринов, у моей
Команды инвалидной,
Дух полон жара юных дней
И свежести завидной.

А пагода, веры надежный щит,
Достроена. В ней евреи
Крестятся,— это им сулит
Дракона орден на шеи.

Развеялся дух мятежей, как дым,
И громко кричат маньчжуры:
«Мы конституции не хотим,
Хотим бамбуков для шкуры!»

Чтоб начисто страсть убить к питью,
Врачи дают мне лекарства;
Я их не слушаю — и пью
Для блага государства.

За чаркою чарка! Веселит
И вкусно, точно манна!
Народ мой, сам как пьяный, кричит
Восторженно: «Осанна!»

НОЧНОМУ СТОРОЖУ

Не боишься испортить сердце и стиль?
Что ж, делай карьеру,— все прочее гиль.
Все равно ты моим остаешься собратом,
Даже будучи господином гофратом.

Каждый, понятное дело, рад
Покричать, что ты предал, что ты — гофрат.
От Эльбы до Сены твердят неизменно
Одно и то же нощно и денно:

Мол, ходули прогресса свернули вдруг
Обратно, к регрессу... Правда ли, друг,
Что ты сел верхом на швабского рака?
Что ты ищешь себе богатого брака?

Ты, может быть, спать захотел, дружок?
Всю ночь ты исправно трубил в рожок,
Теперь на гвозде он висит и пылится:
«Не буду трубить, если немец — тупица!»

В постель ты ложишься, ты хочешь уснуть,
Но тебе и глаз не дают сомкнуть.
Кричат: «Эй, Брут! Терпеть нам — доколе?
Проснись! Спасай народ от неволи!»

Крикунам и насмешникам невдомек,
Почему даже лучший страж изнемог.
О нет, не ведают те, что юны,
Отчего под конец умолкают трибуны.

Ты хочешь знать, как живет Париж?
Ни дуновения, гладь да тишь.
Флюгера и те начинают смущаться,
Не зная, в каком направленье вращаться.

К УСПОКОЕНИЮ

Мы спим, как некогда Брут. Но все ж
Проснулся он и холодный нож
Цезарю в грудь вонзил средь сената!
Тираноедом был Рим когда-то.

Не римляне мы, мы курим табак.
Каждый народ устроен так —
Свои у каждого вкус и значенье;
В Швабии варят отлично варенье.

Германцы мы, каждый смел и терпим.
Здоровым, растительным сном мы спим.
Когда же проснемся, мы жаждою страждем,
Но только не крови тиранов мы жаждем.

Каждый у нас верен, как дуб,
Как липовый дуб, и сам себе люб,
В стране дубов и лип как будто
Трудно когда-нибудь встретить Брута.

А если б у нас и нашелся Брут,
Так Цезаря он не сыскал бы тут,
Искал бы Цезаря он напрасно;
Пряники наши пекутся прекрасно.

У нас есть тридцать шесть владык,
(Не много!), и каждый из них привык
Звезду у сердца носить с опаской,
И мартовы иды ему не указка.

Отцами зовем мы их всякий раз,
Отчизна же — та страна у нас,
Которой владеет их род единый;
Мы любим также капусту с свининой.

Когда отец наш гулять идет,
Мы шляпы снимаем — отцу наш почет;
Германия — набожный ребенок,
Это тебе не римский подонок.

ПРОСВЕТЛЕНИЕ

Михель милый! Неужели
С глаз повязка не снята?
Ведь похлебку в самом деле
Отнимают ото рта.

Вместо пищи славословят
Счастье райского венца
Там, где ангелы готовят
Нам блаженство без мясца.

Михель, вера ль ослабеет,
Иль окрепнет аппетит —
Будь героем, и скорее
Кубок жизни зазвенит.

Михель, пищей без стесненья
Свой желудок начини,
А в гробу пищевареньем
Ты свои заполнишь дни.

ПОГОДИТЕ!

Из-за того, что я владею
Искусством петь, светить, блистать,
Вы думали,— я не умею
Грозящим громом грохотать?

Но погодите: час настанет —
Я проявлю и этот дар.
И с высоты мой голос грянет,
Громовый стих, грозы удар.

Мой буйный гнев, тяжел и страшен,
Дубы расколет пополам,
Встряхнет гранит дворцов и башен
И не один разрушит храм.

НОЧНЫЕ МЫСЛИ

Как вспомню к ночи край родной,
Покоя нет душе больной;
И сном забыться нету мочи,
И горько-горько плачут очи.

Проходят годы чередой...
С тех пор как матери родной
Я не видал, прошло их много!
И все растет во мне тревога...

И грусть растет день ото дня.
Околдовала мать меня:
Все б думал о старушке милой,—
Господь храни ее и милуй!

Как любо ей ее дитя!
Пришлет письмо — и вижу я:
Рука дрожала, как писала,
А сердце ныло и страдало.

Забыть родную силы нет!
Прошло двенадцать долгих лет —
Двенадцать лет уж миновало,
Как мать меня не обнимала.

Крепка родная сторона,
Вовек не сломится она;
И будут в ней, как в оны годы,
Шуметь леса, катиться воды.

По ней не стал бы тосковать,
Но там живет старушка мать;
Меня не родина тревожит,
А то, что мать скончаться может.

Как из родной ушел земли,
В могилу многие легли,
Кого любил... Считать их стану —
И бережу за раной рану.

Когда начну усопшим счет,
Ко мне на грудь, как тяжкий гнет,
За трупом бледный труп ложится...
Болит душа, и ум мутится.

Но слава богу! В тьме окна
Зарделся свет. Моя жена
Ясна, как день, глядит мне в очи —
И гонит прочь тревоги ночи.

КНИГА ПЕРВАЯ

ИСТОРИИ

Когда изменят тебе, поэт,
Ты стань еще вернее —
А если в душе твоей радости нет,
За лиру возьмись живее!

По струнам ударь! Вдохновенный напев
Пожаром всколыхнется —
Расплавится му́ка,— и кровью твой гнев
Так сладко изольется.

РАМПСЕНИТ

Лишь властитель Рампсенит
Появился в пышном зале
Дочери своей — как все
Вместе с ней захохотали.

Так и прыснули служанки,
Черным евнухам потеха;
Даже мумии и сфинксы
Чуть не лопнули от смеха.

Говорит царю принцесса:
«Обожаемый родитель,
Мною за руку был схвачен
Ваших кладов похититель.

Убежав, он мне оставил
Руку мертвую в награду.
Но теперь я раскусила
Способ действий казнокрада.

Поняла я, что волшебный
Ключ имеется у вора,
Отпирающий мгновенно
Все задвижки и затворы.

А затвор мой — не из прочных.
Я перечить не решилась,
Охраняя клад, сама я
Драгоценности лишилась».

Так промолвила принцесса,
Не стыдясь своей утраты.
И тотчас захохотали
Камеристки и кастраты.

Хохотал в тот день весь Мемфис.
Даже злые крокодилы
Добродушно гоготали,
Морды высунув из Нила,

Внемля царскому указу,
Что под звуки трубных маршей
Декламировал глашатай
Канцелярии монаршей:

«Рампсенит — король Египта,
Правя милостью господней,
Мы привет и дружбу нашу
Объявить хотим сегодня,

Извещая сим рескриптом,
Что июня дня шестого
В лето тысяча сто третье
До рождения Христова

Вор неведомый похитил
Из подвалов казначейства
Груду золота, позднее
Повторив свои злодейства.

Так, когда мы дочь послали
Клад стеречь, то пред рассветом
Обокрал ее преступник,
Дерзкий взлом свершив при этом,

Мы же, меры принимая,
Чтоб пресечь сии хищенья,
Вместе с тем заверив вора
В чувствах дружбы и почтенья,

Отдаем ему отныне
Нашу дочь родную в жены
И в князья его возводим,
Как наследника короны.

Но поскольку адрес зятя
Неизвестен нам доселе,
Огласить желанье наше
Мы в рескрипте повелели.

Дан Великим Рампсенитом
Сентября двадцать восьмого
В лето тысяча сто третье
До рождения Христова».

Царь исполнил обещанье:
Вор обрел жену и средства,
А по смерти Рампсенита
Получил престол в наследство.

Правил он, как все другие.
Слыл опорой просвещенья.
Говорят, почти исчезли
Кражи в дни его правленья.

ШЕЛЬМ ФОН БЕРГЕН

На дюссельдорфский карнавал
Нарядные съехались маски.
Над Рейном замок весь в огнях,
Там пир, веселье, пляски.

Там с герцогиней молодой
Танцует франт придворный.
Все чаще смех ее звенит,
Веселый и задорный.

Под маской черной гостя взор
Горит улыбкой смелой,—
Так меч, глядящий из ножон,
Сверкает сталью белой.

Под гул приветственный толпы
По залу они проплывают.
Им Дрикес и Мариццебиль,
Кривляясь, подпевают.

Труба визжит наперекор
Ворчливому контрабасу.
Последний круг — и вот конец
И музыке и плясу.

«Простите, прекрасная госпожа,
Теперь домой ухожу я».
Она смеется: «Открой лицо,
Не то тебя не пущу я».

«Простите, прекрасная госпожа,
Для смертных мой облик ужасен!»
Она смеется: «Открой лицо
И не рассказывай басен!»

«Простите, прекрасная госпожа,
Мне тайну Смерть предписала!»
Она смеется: «Открой лицо,
Иль ты не выйдешь из зала!»

Он долго и мрачно противился ей,
Но сладишь ли с женщиной вздорной!
Насильно маску сорвала
Она рукой проворной.

«Смотрите, бергенский палач!» —
Шепнули гости друг другу.
Все замерло. Герцогиня в слезах
Упала в объятья супругу.

Но герцог мудро спас ей честь:
Без долгих размышлений
Он обнажил свой меч и сказал:
«Ну, малый, на колени!

Ударом меча я дарую тебе
Сан рыцаря благородный
И титул Шельм фон Берген даю
Тебе, как шельме природной».

Так дворянином стал палач
Прапрадед фон Бергенов нищий.
Достойный род! Он на Рейне расцвел
И спит на фамильном кладбище.

ВАЛЬКИРИИ

На земле — война... А в тучах
Три валькирии летучих
День и ночь поют над ней,
Взмылив облачных коней.

Власти — спорят, люди — страждут,
Короли господства жаждут.
Власть — превысшее из благ.
Добродетель — в звоне шпаг.

Гей, несчастные, поверьте:
Не спасет броня от смерти;
Пал герой, глаза смежив,
Лучший — мертв, а худший — жив.

Флаги. Арки. Стол накрытый.
Завтра явится со свитой
Тот, кто лучших одолел
И на всех ярмо надел.

Вот въезжает триумфатор.
Бургомистр или сенатор
Подлецу своей рукой
Ключ подносит городской.

Гей! Венки, гирлянды, лавры!
Пушки бьют, гремят литавры,
Колокольный звон с утра.
Чернь беснуется: «Ура!»

Дамы нежные с балкона
Сыплют розы восхищенно.
И, уже высокочтим,
Новый князь кивает им.

ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

Аббат Вальдгэма тяжело
Вздохнул, смущенный вестью,
Что саксов вождь — король Гарольд —
При Гастингсе пал с честью.

И двух монахов послал аббат,—
Их Асгот и Айльрик звали,—
Чтоб тотчас на Гастингс шли они
И прах короля отыскали.

Монахи пустились печально в путь,
Печально домой воротились:
«Отец преподобный, постыла нам жизнь —
Со счастием мы простились.

Из саксов лучший пал в бою,
И Банкерт смеется, негодный;
Отребье норманнское делит страну,
В раба обратился свободный.

И стали лордами у нас
Норманны — вшивые воры.
Я видел, портной из Байе гарцевал,
Надев злаченые шпоры.

О, горе нам и тем святым,
Что в небе наша опора!
Пускай трепещут и они,
И им не уйти от позора.

Теперь открылось нам, зачем
В ночи комета большая
По небу мчалась на красной метле,
Кровавым светом сияя.

То, что пророчила звезда,
В сражении мы узнали.
Где ты велел, там были мы
И прах короля искали.

И долго там бродили мы,
Жестоким горем томимы,
И все надежды оставили нас,
И короля не нашли мы».

Асгот и Айльрик окончили речь.
Аббат сжал руки, рыдая,
Потом задумался глубоко
И молвил им, вздыхая:

«У Гринфильда скалу Певцов
Лес окружил, синея;
Там в ветхой хижине живет
Эдит Лебяжья Шея.

Лебяжьей Шеей звалась она
За то, что клонила шею
Всегда, как лебедь; король Гарольд
За то пленился ею.

Ее он любил, лелеял, ласкал,
Потом забыл, покинул.
И время шло; шестнадцатый год
Теперь тому уже минул.

Отправьтесь, братья, к женщине той,
Пускай идет она с вами
Назад, на Гастингс,— женский взор
Найдет короля меж телами.

Затем в обратный пускайтесь путь.
Мы прах в аббатстве скроем,—
За душу Гарольда помолимся все
И с честью тело зароем».

И в полночь хижина в лесу
Предстала пред их глазами.
«Эдит Лебяжья Шея, встань
И тотчас следуй за нами.

Норманнский герцог победил,
Рабами стали бритты,
На поле гастингском лежит
Король Гарольд убитый.

Ступай на Гастингс, найди его,—
Исполни наше дело,—
Его в аббатство мы снесем,
Аббат похоронит тело».

И молча поднялась Эдит,
И молча пошла за ними.
Неистовый ветер ночной играл
Ее волосами седыми.

Сквозь чащу леса, по мху болот
Ступала ногами босыми.
И Гастингса меловой утес
Наутро встал перед ними.

Растаял в утренних лучах
Покров тумана белый,
И с мерзким карканьем воронье
Над бранным полем взлетело.

Там, на поле, тела бойцов
Кровавую землю стлали,
А рядом с ними, в крови и пыли,
Убитые кони лежали.

Эдит Лебяжья Шея в кровь
Ступала босою ногою,
И взгляды пристальных глаз ее
Летели острой стрелою.

И долго бродила среди бойцов
Эдит Лебяжья Шея,
И, отгоняя воронье,
Монахи брели за нею.

Так целый день бродили они,
И вечер приближался,
Как вдруг в вечерней тишине
Ужасный крик раздался.

Эдит Лебяжья Шея нашла
Того, кого искала.
Склонясь, без слов и без слез она
К лицу его припала.

Она целовала бледный лоб,
Уста с запекшейся кровью,
К раскрытым ранам на груди
Склонялася с любовью.

К трем милым рубцам на плече его
Она прикоснулась губами,—
Любовной памятью были они,
Прошедшей страсти следами.

Монахи носилки сплели из ветвей,
Тихонько шепча молитвы,
И прочь понесли своего короля
С ужасного поля битвы.

Они к Вальдгэму его несли.
Спускалась ночь, чернея.
И шла за гробом своей любви
Эдит Лебяжья Шея.

Молитвы о мертвых пела она,
И жутко разносились
Зловещие звуки в глухой ночи;
Монахи тихо молились.

КАРЛ I

В хижине угольщика король
Сидит один, озабочен.
Сидит он, качает дитя, и поет,
И слушает шорохи ночи.

Баюшки-бай, в соломе шуршит,
Блеет овца в сарае.
Я вижу знак у тебя на лбу,
И смех твой меня пугает.

Баюшки-бай, а кошки нет.
На лбу твоем знак зловещий.
Как вырастешь ты, возьмешь топор,—
Дубы в лесу затрепещут.

Был прежде угольщик благочестив,—
Теперь все стало иначе:
Не верят и в бога дети его,
А в короля тем паче.

Кошки нет — раздолье мышам.
Жить осталось немного,
Баюшки-бай, обоим нам:
И мне, королю, и богу.

Мой дух слабеет с каждым днем,
Гнетет меня дума злая.
Баюшки-бай, моим палачом
Ты будешь, я это знаю.

Твоя колыбельная — мне Упокой.
Кудри седые срезав,
У меня на затылке,— баюшки-бай,
Слышу, звенит железо.

Баюшки-бай, а кошки нет.
Царство добудешь, крошка,
И голову мне снесешь долой.
Угомонилась кошка.

Что-то заблеяли овцы опять.
Шорох в соломе все ближе.
Кошки нет, мышам благодать.
Спи, мой палачик, спи же.

МАРИЯ-АНТУАНЕТТА

Как весело окна дворца Тюильри
Играют с солнечным светом!
Но призраки ночи и в утренний час
Скользят по дворцовым паркетам.

В разубранном павильоне de Flor'
Мария-Антуанетта
Торжественно совершает обряд
Утреннего туалета.

Придворные дамы стоят вокруг,
Смущенья не обнаружив.
На них — брильянты и жемчуга
Среди атласа и кружев.

Их талии узки, фижмы пышны,
А в ножках — кокетства сколько!
Шуршат волнующие шелка.
Голов не хватает только!

Да, все — без голов!.. Королева сама,
При всем своем царственном лоске,
Стоит перед зеркалом без головы
И, стало быть, без прически.

Она, что носила с башню шиньон,
И титул которой так громок,
Самой Марии-Терезии дочь,
Германских монархов потомок,—

Теперь без завивки, без головы
Должна — нет участи хуже! —
Стоять среди фрейлин незавитых
И безголовых к тому же!

Вот — революции горький плод!
Фатальнейшая доктрина!
Во всем виноваты Жан-Жак Руссо,
Вольтер и гильотина!

Но удивительно, странная вещь:
Бедняжки — даю вам слово! —
Не видят, как они мертвы
И до чего безголовы.

Все та же отжившая дребедень!
Здесь всё, как во время о́но:
Смотрите, как смешны и страшны
Безглавые их поклоны.

Несет с приседаньями дама d'atour
Сорочку монаршей особе.
Вторая дама сорочку берет,
И приседают обе.

И третья с четвертой, и эта, и та
Знай приседают без лени
И госпоже надевают чулки,
Падая на колени.

Присела пятая — подает
Ей пояс. А шестая
С нижнею юбкой подходит к ней,
Кланяясь и приседая.

С веером гофмейстерина стоит,
Командуя всем парадом,
И, за отсутствием головы,
Она улыбается задом.

Порой любопытное солнце в окно
Посмотрит на все это чудо,
Но, старые призраки увидав,
Спешит убраться отсюда!

ПОМАРЭ

I

Бог любви забыл о гневе,
Кровь кипит, гремят фанфары:
Слава, слава королеве!
Слава ветреной Помарэ!

Не из края Отохайти,—
Та во власти миссионера,—
Нет, прелестницы-дикарки
Не коснулась вовсе вера.

К верноподданным выходит
Раз в четыре дня, и только!
И в саду Мабиль танцует
Пред толпой канкан и польку.

Рассыпает величаво
Милость вправо, благость влево,
От бедра до икры, право,
В каждом жесте — королева!

Бог любви забыл о гневе,
И в груди гремят фанфары:
Слава, слава королеве!
Слава ветреной Помарэ!

II

Танцует. Боже, как стройна!
Как изгибается она!
О, легкий взлет, секунда дрожи!
Как будто рвется вон из кожи.

Танцует. Ножку вскинув вдруг,
То вертится, за кругом круг,
То вдруг замрет, взмахнув рукою...
О боже, сжалься надо мною!

Танцует. Смолкло все кругом...
Так перед Иродом-царем
Плясала дочь Иродиады,
На гибель обрекая взглядом.

Танцует... Женщина-змея!
Скажи, что должен сделать я?
Молчишь? Эй, слуги! Где Креститель?
Скорее голову рубите!

III

А давно ли черствый хлеб
Ела, волею судеб?
Нынче, позабыв задворки,
Едет гордо на четверке.
Под баюканье колес
Мнет в подушках шелк волос,
Над толпой в окно смеется,
Что толпа пешком плетется.

Как увижу это я,
Заболит душа моя —
Ах, вот эта колесница
Отвезет тебя в больницу,
Где по божьему суду
Смерть прервет твою беду,
Где анатом с грязной дланью,
Безобразный, с жаждой знанья,
Тело сладостное вмиг
Искромсает, как мясник.
Эти кони также скоро
Станут жертвой живодера.

IV

Смерть с тобой поторопилась
И на этот раз права,—
Слава богу, все свершилось,
Слава богу — ты мертва!

В той мансарде, где уныло
Мать влачила дни свои,
Вся в слезах она закрыла
Очи синие твои.

Саван сшила, сбереженья
За могилу отдала,
Но, по правде, погребенье
Пышным сделать не смогла.

Тяжкий колокол не плакал,
Не читал молитвы поп,
Только пес да парикмахер
Провожали бедный гроб.

«Я причесывал бедняжку! —
Парикмахер говорит,—
Помню, все в одной рубашке
Перед зеркальцем сидит...»

Ну а пес умчался вскоре
От печальных похорон.
Говорят, забыв про горе,
Он живет у Роз-Помпон.

Роз-Помпон из Провансаля!
Пусть судьба отплатит ей...
Сколько сплетен мы узнали
От соперницы твоей!

Королева шутки праздной,
Спас господь твои права,
Ты лежишь в короне грязной,
Божьей милостью мертва.

Ты узнала благость бога,
Поднял он тебя во мгле —
Не за то ли, что так много
Ты любила на земле!

БОГ АПОЛЛОН

I

Стоит на вершине горы монастырь.
Под кручей Рейн струится.
К решетке прильнув, на зеркальную ширь
Глядит молодая черница.

И видит: по Рейну кораблик бежит
Невиданной оснастки,
Цветами и парчой увит,
Наряден, точно в сказке.

Плывет светлокудрый щеголь на нем,
Как изваянье стоя,
В плаще пурпурно-золотом
Античного покроя.

У ног красавца — девять жен,
Как статуи, прекрасны,
И гибкий стан их облачен
Туникою атласной.

Поет златокудрый, искусной рукой
На звонкой лире играя.
И внемлет, охвачена жгучей тоской,
Черница молодая.

Крестясь, отвернется и смотрит вновь,
Ломает в страхе руки...
Бессилен крест прогнать любовь,
Спасти от сладкой муки!

II

«Я — Аполлон, бог музыки,
Прославленный повсюду.
Был на Парнасе в Греции
Мой храм, подобный чуду.

На Монпарнасе, в Греции,
Под кипарисной сенью,
Внимал я струй Касталии
Таинственному пенью.

Ко мне сходились дочери,
Смеялись, танцевали.
Иль вокализ, ля-ля-ри-ри,
Веселый распевали.

В ответ им рог: тра-ра, тра-ра —
Гремел, леса пугая,—
То Артемида дичь гнала,
Сестрица дорогая.

И стоило кастальских вод
Губами мне коснуться —
Мгновенно сердце запоет,
И строфы сами льются.

Я пел — и вторила, звеня,
Мне лира золотая.
Сквозь лавры Дафна на меня
Глядела, замирая.

Я пел, и амброзийное
Лилось благоуханье,
Вселенную единое
Наполнило сиянье.

Я прогнан был из Греции,
Скитаюсь на чужбине,
Но в Греции, но в Греции
Душа моя доныне».

III

В одеяние бегинок,
В плащ тяжелый с капюшоном
Из грубейшей черной саржи,
Облеклась черница тайно.

И стремительно шагает
Рейнским берегом, дорогой
На Голландию, и встречных
Вопрошает поминутно:

«Не видали Аполлона?
Плыл он вниз, одетый в пурпур,
Пел, бряцал на звонкой лире,—
Он кумир, он идол мой!»

Не хотят ответить люди:
Этот молча отвернется,
Тот, смеясь, глаза таращит,
А иной вздохнет: «Бедняжка!»

Но навстречу ковыляет
Грязный, ветхий старикашка
И, руками рассуждая,
Что-то сам себе бормочет.

За спиной его котомка,
Он в шапчонке треугольной
И, хитро прищуря глазки,
Стал и слушает монашку.

«Не видали Аполлона?
Плыл он вниз, одетый в пурпур,
Пел, бряцал на лире звонкой,—
Он кумир, он идол мой!»

Ухмыляясь и кивая
Сокрушенно головою,
Старичок перебирает
Рыжеватую бородку.

«Как я мог его не видеть!
Сорок раз видал в немецкой
Синагоге в Амстердаме.
Был он кантором и звался

Ребе Файбиш,— по-немецки
Файбиш значит Аполлон.
Но, ей-богу, он не идол!
Красный плащ? Конечно, знаю.

Красный плащ! Хороший бархат —
По восьми флоринов локоть;
Счет пока не погашен,
И отца его отлично

Знал я: это Мозес Итчер,
Обрезатель крайней плоти,
У евреев португальских
Резал он и соверены.

Мать его,— она кузина
Зятю моему,— на грахте
Квашеной капустой, луком
И тряпьем она торгует.

Нет им радостей от сына!
Мастер он играть на лире,
Но зато он трижды мастер
Надувать в тарок и ломбер.

И притом он вольнодумец!
Ел свинину; был уволен
С должности и ныне возит
Труппу крашеных актеров,

Представляет в балаганах
Пикельгеринга и даже
Олоферна, но известность
Заслужил царем Давидом.

Он псалмы царя Давида
Пел на древнем диалекте,
Как певал их сам Давид,
Как певали наши деды.

Он в притонах Амстердама
Девять шлюх набрал смазливых
И, как девять муз, их возит,
Нарядившись Аполлоном.

Есть у них одна толстуха,
Мастерица ржать и хрюкать,—
Носит лавры и за это
Прозвана зеленой хрюшкой».

МАЛЕНЬКИЙ НАРОДЕЦ

В ночном горшке, как жених расфранченный,
Он вниз по Рейну держал свой путь.
И в Роттердаме красотке смущенной
Сказал он: «Моею женою будь!

Войду с тобой, моей подружкой,
В свой замок, в брачный наш альков.
Там убраны стены свежей стружкой
И мелкой сечкой выложен кров.

На бонбоньерку жилище похоже,
Царицей ты заживешь у меня!
Скорлупка ореха — наше ложе,
А паутина — простыня.

Муравьиные яйца в масле коровьем
С червячковым гарниром мы будем есть;
А потом моя матушка — дай бог ей здоровья —
Мне пышек оставит штучек шесть.

Есть сальце, шкварок пара горсток,
Головка репы в огороде моем,
Есть и вина непочатый наперсток...
Мы будем счастливы вдвоем!»

Вот вышло сватанье на диво!
Невеста ахала: «Не быть бы греху!»
Смертельно было ей тоскливо...
И все же — прыг в горшок к жениху.

*

Крещеные это люди, мыши ль
Мои герои? — сказать не берусь.
Я в Беверланде об этом услышал
Лет тридцать назад, коль не ошибусь.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕЦ

Скрипки, цистры, бубнов лязги!
Дщери Иаковлевы в пляске
Вкруг златого истукана,
Вкруг тельца ликуют. Срам!
Трам-трам-трам!..
Клики, хохот, звон тимпана.

И хитоны, как блудницы,
Подоткнув до поясницы,
С быстротою урагана
Пляшут девы — нет конца —
Вкруг тельца...
Клики, хохот, звон тимпана.

Аарон, сам жрец верховный,
Пляской увлечен греховной:
Несмотря на важность сана,
В ризах даже,— в пляс пошел,
Как козел...
Клики, хохот, звон тимпана.

ЦАРЬ ДАВИД

Угасает мирно царь,
Ибо знает: впредь, как встарь,
Самовластье на престоле
Будет чернь держать в неволе.

Раб, как лошадь или бык,
К вечной упряжи привык,
И сломает шею мигом
Не смирившийся под игом.

Соломону царь Давид,
Умирая, говорит:
«Кстати, вспомни, для начала,
Иоава, генерала.

Этот храбрый генерал
Много лет мне докучал,
Но ни разу злого гада
Не пощупал я, как надо.

Ты, мой милый сын, умен,
Веришь в бога и силен,
И твое святое право
Уничтожить Иоава».

КОРОЛЬ РИЧАРД

Сквозь глушь лесную во весь опор
Неистовый всадник несется.
Он трубит в рог, сверкает взор,
Поет он и смеется.

Он в медную броню одет,
Но дух его крепче меди.
То Ричард Львиное Сердце — цвет
Христова рыцарства — едет!

Зелеными языками ему
Деревья кричат: «Поздравляем!
В австрийскую ты заточен был тюрьму,
Но вырвался. Счастья желаем!»

Король свежим воздухом упоен,
Несется сквозь долы и горы,
Но вспомнит австрийскую крепость он —
И в лошадь вонзает шпоры.

АЗР

Каждый день в саду гуляла
Дочь прекрасная султана,
В час вечерний, в той аллее,
Где фонтан, белея, плещет.

Каждый день невольник юный
Ждал принцессу в той аллее,
Где фонтан, белея, плещет,—
Ждал и с каждым днем бледнел он.

Подойдя к нему однажды,
Госпожа спросила быстро:
«Отвечай мне, как зовешься,
Кто ты и откуда родом?»

И ответил раб: «Зовусь я
Мохаммед. Моя отчизна —
Йемен. Я из рода Азров —
Тех, кто гибнет, если любит».

ХРИСТОВЫ НЕВЕСТЫ

Монастырских окон ряд —
Что ни полночь — освещенье
Заливает: с крестным ходом
Выступают привиденья.

В мрачном шествии бредут
Тени юных урсулинок,
Нахлобучив капюшоны
Иноческих пелеринок.

Свечи в их руках дрожат,
И зловеще их мерцанье.
Эхо жутко повторяет
Всхлипыванья и стенанья.

В церковь крестный ход вошел,
Тени поднялись на хоры,
Со скамей дубовых к небу
Устремили скорбно взоры.

Свят напев литийно-чинный,
Но в словах — безумство блуда:
Души бедные! Стучатся
В двери райские отсюда!

«Все — невесты мы Христа,
Но, к земной прильнув отраве,
Кесарю мы отдавали
То, чем бог владеть был вправе.

Обольстительны усы
Да мундиры на корнетах,
Но соблазну много больше
В кесаревых эполетах!

Мы наставили рога
На чело в венце из терна,
Мы обманывали бога
Так безбожно, так позорно!

И восплакал Иисус
О греховном человеке,
И сказал он, благ и кроток:
«Будьте прокляты навеки!..»

Ночь нас гонит из могил,
И, рыдая о потере,
Покаянье мы приносим...
Miserere! Miserere!

Хорошо в гробу, но гроб
Не сравним ни в коей мере
С милым царствием небесным...
Miserere! Miserere!

О сладчайший Иисус!
Смилуйся, открой нам двери
В теплое, святое небо!
Miserere! Miserere!»

Так монахини поют.
У органа — мертвый кистер;
Как помешанный, штурмует
За регистром он регистр.

ПФАЛЬЦГРАФИНЯ ЮТТА

Графиня Ютта в легком челне
Ночью по Рейну плывет при луне;
Служанка гребет, госпожа говорит:
«Ты видишь семь трупов? Страшен их вид!
Семь трупов за нами
Плывут над волнами...
Плывут мертвецы так печально!

То рыцари были в расцвете лет,
И каждый принес любовный обет,
Склонясь мне на грудь. Чтоб клятву скрепить,
Велела я всех семерых утопить.
И в Рейне суровом,
Под ночи покровом
Плывут мертвецы так печально!»

Северное море. Восход луны

Картина К. Фридриха
1823 г.

Графиня смеется, служанка гребет.
Злой хохот несется над лоном вод.
По пояс все трупы встают над водой,
Как будто клянутся ей клятвой святой
И смотрят с укором
Стеклянным взором...
Плывут мертвецы так печально!

МАВРИТАНСКИЙ КНЯЗЬ

От испанцев в Альпухару
Мавританский князь уходит.
Юный вождь, он, грустный, бледный,
Возглавляет отступленье.

С ним — на рослых иноходцах,
На носилках золоченых
Весь гарем его. На мулах —
Чернокожие рабыни;

В свите — сотня слуг надежных
На конях арабской крови.
Статны кони, но от горя
Хмуро всадники поникли.

Ни цимбал, ни барабанов,
Ни хвалебных песнопений,
Лишь бубенчики на мулах
В тишине надрывно плачут.

С вышины, откуда видно
Всю равнину вкруг Дуэро,
Где в последний раз мелькают
За горой зубцы Гренады,

Там, с коня на землю спрыгнув,
Князь глядит на дальний город,
Что в лучах зари вечерней
Блещет золотом багряным.

Но, Аллах,— о, стыд великий! —
Где священный полумесяц?
Над Альхамброй осквернённой
Реют крест и флаг испанский.

Видит князь позор ислама
И вздыхает сокрушенно,
И потоком бурным слезы
По его щекам струятся.

Но княгиня-мать на сына
Мрачно смотрит с иноходца
И бранит его и в сердце
Больно жалит горьким словом.

«Полно, Боабдил эль-Чико,
Словно женщина ты плачешь
Оттого, что в бранном деле
Вел себя не как мужчина».

Был тот злой укор услышан
Первой из наложниц князя,
И она, с носилок спрыгнув,
Кинулась ему на шею.

«Полно, Боабдил эль-Чико,
Мой любимый повелитель!
Верь, юдоль твоих страданий
Расцветет зеленым лавром.

О, не только триумфатор,
Вождь, увенчанный победой,
Баловень слепой богини,
Но и кровный сын злосчастья,

Смелый воин, побежденный
Лишь судьбой несправедливой,
Будет в памяти потомков,
Как герой, вовеки славен».

И «Последним вздохом мавра»
Называется доныне
Та гора, с которой видел
Он в последний раз Гренаду.

А слова его подруги
Время вскоре подтвердило:
Юный князь прославлен в песне,
И не смолкнет песня славы

До тех пор, покуда струны
Не порвутся до последней
На последней из гитар,
Что звенят в Андалусии.

ЖОФФРУА РЮДЕЛЬ И МЕЛИСАНДА ТРИПОЛИ

В замке Блэ ковер настенный
Вышит пестрыми шелками.
Так графиня Триполи
Шила умными руками.

И в шитье вложила душу
И слезой любви и горя
Орошала ту картину,
Где представлено и море,

И корабль, и как Рюделя
Мелисанда увидала,
Как любви своей прообраз
В умиравшем угадала.

Ах, Рюдель и сам впервые
В те последние мгновенья
Увидал ее, чью прелесть
Пел, исполнен вдохновенья.

Наклонясь к нему, графиня
И зовет, и ждет ответа,
Обняла его, целует
Губы бледные поэта.

Тщетно! Поцелуй свиданья
Поцелуем был разлуки.
Чаша радости великой
Стала чашей смертной муки.

В замке Блэ ночами слышен
Шорох, шелест, шепот странный.
Оживают две фигуры
На картине шелкотканой.

И, стряхнув оцепененье,
Дама сходит с трубадуром,
И до света обе тени
Бродят вновь по залам хмурым.

Смех, объятья, нежный лепет,
Горечь сладостных обетов,
Замогильная галантность
Века рыцарей — поэтов.

«Жоффруа! Погасший уголь
Загорелся жаром новым.
Сердце мертвое подруги
Ты согрел волшебным словом».

«Мелисанда! Роза счастья!
Всю земную боль и горе
Я забыл — и жизни радость
Пью в твоем глубоком взоре».

«Жоффруа! Для нас любовь
Сном была в преддверье гроба.
Но Амур свершает чудо,—
Мы верны и в смерти оба».

«Мелисанда! Сон обманчив,
Смерть — ты видишь — также мнима.
Жизнь и правда — лишь в любви,
Ты ж навеки мной любима!»

«Жоффруа! В старинном замке
Любо грезить под луною.
Нет, меня не тянет больше
К свету, к солнечному зною».

«Мелисанда! Свет и солнце —
Все в тебе, о дорогая!
Там, где ты,— любовь и счастье,
Там, где ты,— блаженство мая!»

Так болтают, так блуждают
Две влюбленных нежных тени,
И, подслушивая, месяц
Робко светит на ступени.

Но, видениям враждебный,
День восходит над вселенной —
И, страшась, они бегут
В темный зал, в ковер настенный.

ПОЭТ ФИРДУСИ

I

К одному приходит злато,
Серебро идет к другому,—
Для простого человека
Все томаны — серебро.

Но в устах державных шаха
Все томаны — золотые,
Шах дарит и принимает
Только золотые деньги.

Так считают все на свете,
Так считал и сам великий
Фирдуси, творец бессмертной,
Многославной «Шах-наме».

Эту песню о героях
Начал он по воле шаха.
Шах сулил певцу награду:
Каждый стих — один томан.

Расцвело семнадцать весен,
Отцвело семнадцать весен,
Соловей прославил розу
И умолк семнадцать раз,

А поэт сидел прилежно
У станка крылатой мысли,
День и ночь трудясь прилежно,
Ткал ковер узорной песни.

Ткал поэт ковер узорный
И вплетал в него искусно
Все легенды Фарсистана,
Славу древних властелинов,

Своего народа славу,
Храбрых витязей деянья,
Волшебство и злые чары
В раме сказочных цветов.

Все цвело, дышало, пело,
Пламенело, трепетало,—
Там сиял, как свет небес,
Первозданный свет Ирана,

Яркий, вечный свет, не меркший
Вопреки Корану, муфти,
В храме огненного духа,
В сердце пламенном поэта.

Завершив свое творенье,
Переслал поэт владыке
Манускрипт великой песни:
Двести тысяч строк стихов.

Это было в банях Гасны,—
В старых банях знойной Гасны
Шаха черные посланцы
Разыскали Фирдуси.

Каждый нес мешок с деньгами
И слагал к ногам поэта,
На колени став, высокий,
Щедрый дар за долгий труд.

И поэт нетерпеливо
Вскрыл мешки, чтоб насладиться
Видом золота желанным,—
И отпрянул, потрясенный.

Перед ним бесцветной грудой
Серебро в мешках лежало —
Двести тысяч, и поэт
Засмеялся горьким смехом.

С горьким смехом разделил он
Деньги на три равных части.
Две из них посланцам черным
Он, в награду за усердье,

Роздал — поровну обоим,
Третью банщику он бросил
За его услуги в бане:
Всех по-царски наградил.

Взял он страннический посох
И, столичный град покинув,
За воротами с презреньем
Отряхнул с сандалий прах.

II

«Если б только лгал он мне,
Обещав — нарушил слово,
Что же, людям лгать не ново,
Я простить бы мог вполне.

Но ведь он играл со мной,
Обнадежил обещаньем,
Ложь усугубил молчаньем,—
Он свершил обман двойной.

Был он статен и высок,
Горд и благороден ликом,—
Не в пример другим владыкам —
Царь от головы до ног.

Он, великий муж Ирана,
Солнцем глядя мне в глаза —
Светоч правды, лжи гроза,—
Пал до низкого обмана!»

III

Шах Магомет окончил пир.
В его душе любовь и мир.

В саду у фонтана, под сенью маслин,
На красных подушках сидит властелин.

В толпе прислужников смиренной —
Анзари, любимец его неизменный.

В мраморных вазах, струя аромат,
Буйно цветущие розы горят,

Пальмы, подобны гуриям рая,
Стоят, опахала свои колыхая.

Спят кипарисы полуденным сном,
Грезя о небе, забыв о земном.

И вдруг, таинственной вторя струне,
Волшебная песнь полилась в тишине:

И шах ей внемлет с огнем в очах.
«Чья эта песня?» — молвит шах.

Анзари в ответ: «О владыка вселенной,
Той песни творец — Фирдуси несравненный».

«Как? Фирдуси? — изумился шах.—
Но где ж он, великий, в каких он краях?»

И молвил Анзари: «Уж много лет
Безмерно бедствует поэт.

Он в Тус воротился, к могилам родным,
И кормится маленьким садом своим».

Шах Магомет помолчал в размышленье
И молвил: «Анзари, тебе повеленье!

Ступай-ка на скотный мой двор с людьми,
Сто мулов, полсотни верблюдов возьми.

На них нагрузи драгоценностей гору,
Усладу сердцу, отраду взору,—

Заморских диковин, лазурь, изумруды,
Резные эбеновые сосуды,

Фаянс, оправленный кругом
Тяжелым золотом и серебром,

Слоновую кость, кувшины и кубки,
Тигровые шкуры, трости, трубки,

Ковры и шали, парчовые ткани,
Изготовляемые в Иране.

Не позабудь вложить в тюки
Оружье, брони и чепраки

Да самой лучшей снеди в избытке,
Всех видов яства и напитки,

Конфеты, миндальные торты, варенья,
Разные пироги, соленья.

Прибавь двенадцать арабских коней,
Что стрел оперенных и ветра быстрей,

Двенадцать невольников чернотелых,
Крепких, как бронза, в работе умелых.

Анзари, сей драгоценный груз
Тобой доставлен будет в Тус

И весь, включая мой поклон,
Великому Фирдуси вручен».

Анзари исполнил повеленья,
Навьючил верблюдов без промедленья,—

Была несметных подарков цена
Доходу с провинции крупной равна.

И вот Анзари в назначенный срок
Собственноручно поднял флажок

И знойною степью в глубь Ирана
Двинулся во главе каравана.

Шли восемь дней и с девятой зарей
Тус увидали вдали под горой.

Шумно и весело, под барабан,
С запада в город вошел караван.

Грянули враз: «Ля-иль-ля иль алла!»
Это ль не песня триумфа была!

Трубы ревели, рога завывали,
Верблюды, погонщики — все ликовали.

А в тот же час из восточных ворот
Шел с погребальным плачем народ.

К тихим могилам, белевшим вдали,
Прах Фирдуси по дороге несли.

ВИЦЛИПУЦЛИ

ПРЕЛЮДИЯ

Вот она — Америка!
Вот он — юный Новый Свет!
Не новейший, что теперь,
Европеизован, вянет,—

Предо мною Новый Свет,
Тот, каким из океана
Был он извлечен Колумбом:
Дышит свежестью морскою,

В жемчугах воды трепещет,
Яркой радугой сверкая
Под лобзаниями солнца...
О, как этот мир здоров!

Не романтика кладбища
И не груда черепков,
Символов, поросших мохом,
Париков окаменелых.

На здоровой почве крепнут
И здоровые деревья —
Им неведомы ни сплин,
Ни в спинном мозгу сухотка.

На ветвях сидят, качаясь,
Птицы крупные. Как ярко
Оперенье их! Уставив
Клювы длинные в пространство,

Молча смотрят на пришельца
Черными, в очках, глазами,
Вскрикнут вдруг — и все болтают,
Словно кумушки за кофе.

Но невнятен мне их говор,
Хоть и знаю птиц наречья,
Как премудрый Соломон,
Тысячу супруг имевший

И наречья птичьи знавший,—
Не новейшие одни,
Но и древние, седые
Диалекты старых чучел.

Новые цветы повсюду!
С новым, диким ароматом,
С небывалым ароматом,
Что мне проникает в ноздри

Пряно, остро и дразняще,—
И мучительно хочу я
Вспомнить наконец: да где же
Слышал я подобный запах?

Было ль то на Риджент-стрит
В смуглых солнечных объятьях
Стройной девушки-яванки,
Что всегда цветы жевала?

В Роттердаме ль, может быть,
Там, где памятник Эразму,
В белой вафельной палатке
За таинственной гардиной?

Созерцая Новый Свет,
Вижу я: моя особа,
Кажется, ему внушает
Больший ужас... Обезьяна,

Что спешит в кустах укрыться,
Крестится, меня завидя,
И кричит в испуге: «Тень!
Света Старого жилец!»

Обезьяна! Не страшись:
Я не призрак и не тень;
Жизнь в моих клокочет жилах,
Жизни я вернейший сын.

Но общался с мертвецами
Много лет я — оттого
И усвоил их манеры
И особые причуды.

Годы лучшие провел я
То в Кифгейзере, то в гроте
У Венеры,— словом, в разных
Катакомбах романтизма.

Не пугайся, обезьяна!
На заду твоем бесшерстом,
Голом, как седло, пестреют
Те цвета, что мной любимы:

Черно-красно-золотистый!
Обезьяний зад трехцветный
Живо мне напоминает
Стяг имперский Барбароссы.

I

Был он лаврами увенчан,
И сверкали на ботфортах
Шпоры золотые — все же
Не герой он был, не рыцарь,

А главарь разбойной шайки,
Но вписавший в Книгу Славы
Дерзкой собственной рукой
Дерзостное имя: Кортес.

Вслед за именем Колумба
Расписался он сейчас же,
И зубрят мальчишки в школах
Имена обоих кряду.

Христофор Колумб — один,
А другой — Фернандо Кортес.
Он, как и Колумб, титан
В пантеоне новой эры.

Такова судьба героев,
Таково ее коварство:
Сочетает наше имя
С низким именем злодея.

Разве не отрадней кануть
В омут мрака и забвенья,
Нежели влачить вовеки
Спутника с собой такого?

Христофор Колумб великий
Был герой с открытым сердцем,
Чистым, как сиянье солнца,
И неизмеримо щедрым.

Много благ дарилось людям,
Но Колумб им в дар принес
Мир, дотоле неизвестный;
Этот мир — Америка.

Не освободил он нас
Из темницы мрачной мира,
Но сумел ее расширить
И длиннее цепь нам сделать.

Человечество ликует,
Утомясь и от Европы,
И от Азии, а также
И от Африки не меньше...

Лишь единственный герой
Нечто лучшее принес нам,
Нежели Колумб,— и это
Тот, кто даровал нам бога.

Был Амрам его папаша,
Мать звалась Иохавед,
Сам он Моисей зовется,
Это — мой герой любимый.

Но, Пегас мой, ты упорно
Топчешься вблизи Колумба.
Знай, помчимся мы с тобою
Кортесу вослед сегодня.

Конь крылатый! Мощным взмахом
Пестрых крыл умчи меня
В Новый Свет — в чудесный край,
Тот, что Мексикой зовется.

В замок отнеси меня,
Что властитель Монтесума
Столь радушно предоставил
Для своих гостей-испанцев.

Но не только кров и пищу —
В изобилии великом
Дал король бродягам пришлым
Драгоценные подарки,

Золотые украшенья
Хитроумного чекана,—
Все твердило, что монарх
Благосклонен и приветлив.

Он, язычник закоснелый,
Слеп и не цивилизован,
Чтил еще и честь и верность,
Долг святой гостеприимства.

Как-то празднество устроить
В честь его решили гости.
Он, нимало не колеблясь,
Дал согласие явиться

И со всей своею свитой
Прибыл, не страшась измены,
В замок, отданный гостям;
Встретили его фанфары.

Пьесы, что в тот день давалась,
Я названия не знаю,
Может быть — «Испанца верность».
Автор — дон Фернандо Кортес.

По условленному знаку
Вдруг на короля напали.
Связан был он и оставлен
У испанцев как заложник.

Но он умер — и тогда
Сразу прорвалась плотина,
Что авантюристов дерзких
От народа защищала.

Поднялся прибой ужасный.
Словно бурный океан,
Приливали ближе, ближе
Гневные людские волны.

Но хотя испанцы храбро
Отражали каждый натиск,
Все-таки подвергся замок
Изнурительной осаде.

После смерти Монтесумы
Кончился подвоз припасов;
Рацион их стал короче,
Лица сделались длиннее.

И сыны страны испанской,
Постно глядя друг на друга,
Вспоминали с тяжким вздохом
Христианскую отчизну,

Вспоминали край родной,
Где звонят в церквах смиренно
И несется мирный запах
Вкусной оллеа-потриды,

Подрумяненной, с горошком,
Меж которым так лукаво
Прячутся, шипя тихонько,
С тонким чесноком колбаски.

Созван был совет военный,
И решили отступить:
На другой же день с рассветом
Войско все покинет город.

Раньше хитростью проникнуть
Удалось туда испанцам.
Не предвидел умный Кортес
Всех препятствий к возвращенью.

Город Мексико стоит
Среди озера большого;
Посредине укреплен
Остров гордою твердыней.

Чтобы на берег попасть,
Есть плоты, суда, паромы
И мосты на мощных сваях;
Вброд по островкам проходят.

До зари во мгле рассветной
Поднялись в поход испанцы.
Сбор не били барабаны,
Трубы не трубили зорю,

Чтоб хозяев не будить
От предутренней дремоты...
(Сотня тысяч мексиканцев
Крепкий замок осаждала.)

Но испанец счет составил,
Не спросясь своих хозяев;
В этот день гораздо раньше
Были на ногах индейцы.

На мостах и на паромах,
Возле переправ они
С угощеньем провожали
Дорогих гостей в дорогу.

На мостах, плотах и гатях —
Гайда! — было пированье.
Там текла ручьями кровь,
Смело бражники сражались —

Все дрались лицом к лицу,
И нагая грудь индейца
Сохраняла отпечаток
Вражьих панцирей узорных.

Там друг друга в страшной схватке
Люди резали, душили.
Медленно поток катился
По мостам, плотам и гатям.

Мексиканцы дико выли;
Молча бились все испанцы,
Шаг за шагом очищая
Путь к спасению себе.

Но в таких проходах тесных
Нынче не решает боя
Тактика Европы старой,—
Кони, шлемы, огнеметы.

Многие испанцы также
Золото несли с собою,
Что награбили недавно...
Бремя желтое, увы,

Было в битве лишь помехой;
Этот дьявольский металл
В бездну влек не только душу,
Но и тело в равной мере.

Стаей барок и челнов
Озеро меж тем покрылось;
Тучи стрел неслись оттуда
На мосты, плоты и гати.

Правда, и в своих же братьев
Попадали мексиканцы,
Но сражали также многих
Благороднейших идальго.

На мосту четвертом пал
Кавалер Гастон, который
Знамя нес с изображеньем
Пресвятой Марии-девы.

В знамя это попадали
Стрелы мексиканцев часто;
Шесть из этих стрел остались
Прямо в сердце у Мадонны,

Как мечи златые в сердце
Богоматери скорбящей
На иконах, выносимых
В пятницу страстной недели.

Дон Гастон перед кончиной
Знамя передал Гонсальво,
Но и он, сражен стрелою,
Вскоре пал.— В тот самый миг

Принял дорогое знамя
Кортес, и в седле высоком
Он держал его, покуда
К вечеру не смолкла битва.

Сотни полторы испанцев
В этот день убито было;
Восемьдесят их живыми
К мексиканцам в плен попало.

Многие, уйдя от плена,
Умерли от ран позднее.
Боевых коней с десяток
Увезли с собой индейцы.

На закате лишь достигли
Кортес и его отряды
Твердой почвы — побережья
С чахлой рощей ив плакучих.

II

Страшный день прошел. Настала
Бредовая ночь триумфа;
Тысячи огней победных
Запылали в Мексико.

Тысячи огней победных,
Факелов, костров смолистых
Ярким светом озаряют
Капища богов, палаты.

И превосходящий все
Храм огромный Вицлипуцли,
Что из кирпича построен
И напоминает храмы

Вавилона и Египта —
Дикие сооруженья,
Как их пишет на картинах
Англичанин Генри Мартин.

Да, узнать легко их. Эти
Лестницы так широки,
Что по ним свободно всходит
Много тысяч мексиканцев.

А на ступенях пируют
Кучки воинов свирепых
В опьяненье от победы
И от пальмового хмеля.

Эти лестницы выводят
Через несколько уступов
В высоту, на кровлю храма
С балюстрадою резною.

Там на троне восседает
Сам великий Вицлипуцли,
Кровожадный бог сражений.
Это — злобный людоед,

Но он с виду так потешен,
Так затейлив и ребячлив,
Что, внушая страх, невольно
Заставляет нас смеяться...

И невольно вспоминаешь
Сразу два изображенья:
Базельскую «Пляску смерти»
И брюссельский Меннкен-Писс.

Справа от него миряне,
Слева — все попы толпятся;
В пестрых перьях, как в тиарах,
Щеголяет нынче клир.

А на ступенях алтарных
Старичок сидит столетний,
Безволосый, безбородый;
Он в кроваво-красной куртке.

Это — жрец верховный бога.
Точит он с улыбкой ножик,
Искоса порою глядя
На владыку своего.

Вицлипуцли взор его
Понимает, очевидно:
Он ресницами моргает,
А порой кривит и губы.

Вся духовная капелла
Тут же выстроилась в ряд:
Трубачи и литавристы —
Грохот, вой рогов коровьих...

Шум, и гам, и вой, и грохот.
И внезапно раздается
Мексиканское Te Deum,
Как мяуканье кошачье,—

Как мяуканье кошачье,
Но такой породы кошек,
Что названье тигров носят
И едят людское мясо!

И когда полночный ветер
Звуки к берегу доносит,
У испанцев уцелевших
Кошки на сердце скребут.

У плакучих ив прибрежных
Все они стоят печально,
Взгляд на город устремив,
Что в озерных темных струях

Отражает, издеваясь,
Все огни своей победы,
И глядят, как из партера
Необъятного театра,

Где открытой сценой служит
Кровля храма Вицлипуцли
И мистерию дают
В честь одержанной победы.

Называют драму ту
«Человеческая жертва»;
В христианской обработке
Пьеса менее ужасна,

Ибо там вином церковным
Кровь подменена, а тело,
Упомянутое в тексте,—
Пресной тоненькой лепешкой.

Но на сей раз у индейцев
Дело шло весьма серьезно,
Ибо ели мясо там
И текла людская кровь,

Безупречная к тому же
Кровь исконных христиан,
Кровь без примеси малейшей
Мавританской иль еврейской.

Радуйся, о Вицлипуцли:
Потечет испанцев кровь;
Запахом ее горячим
Усладишь ты обонянье.

Вечером тебе зарежут
Восемьдесят кабальеро —
Превосходное жаркое
Для жрецов твоих на ужин.

Жрец ведь только человек,
И ему жратва потребна.
Жить, как боги, он не может
Воскуреньями одними.

Чу! Гремят литавры смерти,
Хрипло воет рог коровий!
Это значит, что выводят
Смертников из подземелья.

Восемьдесят кабальеро,
Все обнажены позорно,
Руки скручены веревкой,
Их ведут наверх и тащат,

Пред кумиром Вицлипуцли
Силой ставят на колени
И плясать их заставляют,
Подвергая истязаньям,

Столь жестоким и ужасным,
Что отчаянные крики
Заглушают дикий гомон
Опьяневших людоедов.

Бедных зрителей толпа
У прибрежия во мраке!
Кортес и отряд испанцев
Голоса друзей узнали

И на сцене освещенной
Ясно увидали все:
Их движения, их корчи,
Увидали нож и кровь.

И с тоскою сняли шлемы,
Опустились на колени
И псалом запели скорбный
Об усопших — «De profundis»!

Был в числе ведомых на смерть
И Раймондо де Мендоса,
Сын прекрасной аббатисы,
Первой Кортеса любви.

На груди его увидел
Кортес медальон заветный,
Матери портрет скрывавший,—
И в глазах блеснули слезы.

Но смахнул он их перчаткой
Жесткой буйволовой кожи
И вздохнул, с другими хором
Повторяя: «Miserere!»

III

Вот уже бледнеют звезды,
Поднялся туман рассветный —
Словно призраки толпою
В саванах влекутся белых.

Кончен пир, огни погасли,
И в кумирне стало тихо.
На полу, залитом кровью,
Все храпят — и поп и паства.

Только в красной куртке жрец
Не уснул и в полумраке,
Приторно оскалив зубы,
С речью обратился к богу:

«Вицлипуцли, Пуцливицли,
Боженька наш Вицлипуцли!
Ты потешился сегодня,
Обоняя ароматы!

Кровь испанская лилась —
О, как пахло аппетитно,
И твой носик сладострастно
Лоснился, вдыхая запах.

Завтра мы тебе заколем
Редкостных коней заморских —
Порожденья духов ветра
И резвящихся дельфинов.

Если паинькой ты будешь,
Я тебе зарежу внуков;
Оба — детки хоть куда,
Старости моей услада.

Но за это должен ты
Нам ниспосылать победы —
Слышишь, боженька мой милый,
Пуцливицли, Вицлипуцли?

Сокруши врагов ты наших,
Чужеземцев, что из дальних
Стран, покамест не открытых,
По морю сюда приплыли.

Что их гонит из отчизны?
Голод или злодеянье?
«На родной земле работай
И кормись»,— есть поговорка.

Нашим золотом карманы
Набивать они желают
И сулят, что мы на небе
Будем счастливы когда-то!

Мы сначала их считали
Существами неземными,
Грозными сынами солнца,
Повелителями молний.

Но они такие ж люди,
Как и мы, и умерщвленью
Поддаются без труда.
Это испытал мой нож.

Да, они такие ж люди,
Как и мы,— причем иные
Хуже обезьян косматых;
Лица их в густой шерсти;

Многие в своих штанах
Хвост скрывают обезьяний,—
Тем же, кто не обезьяна,
Никаких штанов не нужно.

И в моральном отношенье
Их уродство велико;
Даже, говорят, они
Собственных богов съедают.

Истреби отродье злое
Нечестивых богоедов,
Вицлипуцли, Пуцливицли,
Дай побед нам, Вицлипуцли!»

Долго жрец шептался с богом,
И звучит ему в ответ
Глухо, как полночный ветер,
Что камыш озерный зыблет:

«Живодер в кровавой куртке!
Много тысяч ты зарезал,
А теперь свой нож себе же
В тело дряхлое вонзи.

Тотчас выскользнет душа
Из распоротого тела
И по кочкам и корягам
Затрусит к стоячей луже.

Там тебя с приветом спросит
Тетушка, царица крыс:
«Добрый день, душа нагая,
Как племянничку живется?

Вицлипутствует ли он
На медвяном солнцепеке?
Отгоняет ли Удача
От него и мух и мысли?

Иль скребет его богиня
Всяких бедствий, Кацлагара,
Черной лапою железной,
Напоенною отравой?»

Отвечай, душа нагая:
«Кланяется Вицлипуцли
И тебе, дурная тварь,
Сдохнуть от чумы желает.

Ты войной его прельстила.
Твой совет был страшной бездной —
Исполняется седое,
Горестное предсказанье

О погибели страны
От злодеев бородатых,
Что на птицах деревянных
Прилетят сюда с востока.

Есть другая поговорка:
Воля женщин — воля божья;
Вдвое крепче воля божья,
Коль решила богоматерь.

На меня она гневится,
Гордая царица неба,
Незапятнанная дева
С чудотворной, вещей силой.

Вот испанских войск оплот.
От ее руки погибну
Я, злосчастный бог индейский,
Вместе с бедной Мексикой».

Поручение исполнив,
Пусть душа твоя нагая
В нору спрячется.— Усни,
Чтоб моих не видеть бедствий!

Рухнет этот храм огромный,
Сам же я повергнут буду
Средь дымящихся развалин
И не возвращусь вовеки.

Все ж я не умру; мы, боги,
Долговечней попугаев.
Мы, как и они, линяем
И меняем оперенье.

Я переселюсь в Европу
(Так врагов моих отчизна
Называется) — и там-то
Новую начну карьеру.

В черта обращусь я; бог
Станет богомерзкой харей;
Злейший враг моих врагов,
Я примусь тогда за дело.

Там врагов я стану мучить,
Призраками их пугая.
Предвкушая ад, повсюду
Слышать будут запах серы.

Мудрых и глупцов прельщу я;
Добродетель их щекоткой
Хохотать заставлю нагло,
Словно уличную девку.

Да, хочу я чертом стать,
Шлю приятелям привет мой:
Сатане и Велиалу,
Астароту, Вельзевулу.

А тебе привет особый,
Мать грехов, змея Лилита!
Дай мне стать, как ты, жестоким,
Дай искусство лжи постигнуть!

Дорогая Мексика!
Я тебя спасти не властен,
Но отмщу я страшной местью,
Дорогая Мексика!»

КНИГА ВТОРАЯ

ЛАМЕНТАЦИИ

Удача — резвая плутовка:
Нигде подолгу не сидит,—
Тебя потреплет по головке
И, быстро чмокнув, прочь спешит.

Несчастье — дама много строже:
Тебя к груди, любя, прижмет,
Усядется к тебе на ложе
И не спеша вязать начнет.

ИСПАНСКИЕ АТРИДЫ

В лето тысяча и триста
Восемьдесят три, под праздник
Сан-Губерто, в Сеговии
Пир давал король испанский.

Все дворцовые обеды
На одно лицо,— все та же
Скука царственно зевает
За столом у всех монархов.

Яства там — откуда хочешь,
Блюда — только золотые,
Но во всем свинцовый привкус,
Будто ешь стряпню Локусты.

Та же бархатная сволочь,
Расфуфырившись, кивает —
Важно, как в саду тюльпаны.
Только в соусах различье.

Словно мак, толпы жужжанье
Усыпляет ум и чувства,
И лишь трубы пробуждают
Одуревшего от жвачки.

К счастью, был моим соседом
Дон Диего Альбукерке,
Увлекательно и живо
Речь из уст его лилась.

Он рассказывал отлично,
Знал немало тайн дворцовых,
Темных дел времен дон Педро,
Что Жестоким Педро прозван.

Я спросил, за что дон Педро
Обезглавил дон Фредрего,
Своего родного брата.
И вздохнул мой собеседник.

«Ах, сеньор, не верьте вракам
Завсегдатаев трактирных,
Бредням праздных гитаристов,
Песням уличных певцов.

И не верьте бабьим сказкам
О любви меж дон Фредрего
И прекрасной королевой
Доньей Бланкой де Бурбон.

Только мстительная зависть,
Но не ревность венценосца
Погубила дон Фредрего,
Командора Калатравы.

Не прощал ему дон Педро
Славы, той великой славы,
О которой донна Фама
Так восторженно трубила.

Не простил дон Педро брату
Благородства чувств высоких,
Красоты, что отражала
Красоту его души.

Как живого, я доныне
Вижу юного героя —
Взор мечтательно-глубокий,
Весь его цветущий облик.

Вот таких, как дон Фредрего,
От рожденья любят феи.
Тайной сказочной дышали
Все черты его лица.

Очи, словно самоцветы,
Синим светом ослепляли,
Но и твердость самоцвета
Проступала в зорком взгляде.

Пряди локонов густые
Темным блеском отливали,
Сине-черною волною
Пышно падая на плечи.

Я в последний раз живого
Увидал его в Коимбре,
В старом городе, что отнял
Он у мавров,— бедный принц!

Узкой улицей скакал он,
И, следя за ним из окон,
За решетками вздыхали
Молодые мавританки.

На его высоком шлеме
Перья вольно развевались,
Но отпугивал греховность
Крест нагрудный Калатравы.

Рядом с ним летел прыжками,
Весело хвостом виляя,
Пес его любимый, Аллан,
Чье отечество — Сиерра.

Несмотря на рост огромный,
Он, как серна, был проворен.
Голова, при сходстве с лисьей,
Мощной формой поражала.

Шерсть была нежнее шелка,
Белоснежна и курчава.
Золотой его ошейник
Был рубинами украшен.

И, по слухам, талисман
Верности в нем был запрятан.
Ни на миг не покидал он
Господина, верный пес.

О, неслыханная верность!
Не могу без дрожи вспомнить,
Как раскрылась эта верность
Перед нашими глазами.

О, проклятый день злодейства!
Это все свершилось здесь же,
Где сидел я, как и ныне,
На пиру у короля.

За столом, на верхнем месте,
Там, где ныне дон Энрико
Осушает кубок дружбы
С цветом рыцарей кастильских,

В этот день сидел дон Педро,
Мрачный, злой, и, как богиня,
Вся сияя, восседала
С ним Мария де Падилья.

А вон там, на нижнем месте,
Где, одна, скучает дама,
Утопающая в брыжах
Плоских, белых, как тарелка,—

Как тарелка, на которой
Личико с улыбкой кислой,
Желтое и все в морщинах,
Выглядит сухим лимоном,—

Там, на самом нижнем месте,
Стул незанятым остался.
Золотой тот стул, казалось,
Поджидал большого гостя.

Да, большому гостю был он,
Золотой тот стул, оставлен,
Но не прибыл дон Фредрего,
Почему — теперь мы знаем.

Ах, в тот самый час свершилось
Небывалое злодейство:
Был обманом юный рыцарь
Схвачен слугами дон Педро,

Связан накрепко и брошен
В башню замка, в подземелье,
Где царили мгла и холод
И горел один лишь факел.

Там, среди своих подручных,
Опираясь на секиру,
Ждал палач в одежде красной.
Мрачно пленнику сказал он:

«Приготовьтесь к смерти, рыцарь.
Как гроссмейстеру сан Яго,
Вам из милости дается
Четверть часа для молитвы».

Преклонил колени рыцарь
И спокойно помолился,
А потом сказал: «Я кончил»,—
И удар смертельный принял.

В тот же миг, едва на плиты
Голова его скатилась,
Подбежал к ней верный Аллан,
Не замеченный доселе,

И схватил зубами Аллан
Эту голову за кудри
И с добычей драгоценной
Полетел стрелою наверх.

Севе́рное море. В гавани

Картина К. Фридриха
1810 г.

Вопли ужаса и скорби
Раздавались там, где мчался
Он по лестницам дворцовым,
Галереям и чертогам.

С той поры, как Валтасаров
Пир свершался в Вавилоне,
За столом никто не видел
Столь великого смятенья,

Как меж нас, когда вбежал он
С головою дон Фредрего,
Всю в пыли, в крови, за кудри
Волоча ее зубами.

И на стул пустой, где должен
Был сидеть его хозяин,
Вспрыгнул пес и, точно судьям,
Показал нам всем улику.

Ах, лицо героя было
Так знакомо всем, лишь стало
Чуть бледнее, чуть серьезней,
И вокруг ужасной рамой

Кудри черные змеились,
Вроде страшных змей Медузы,
Как Медуза, превращая
Тех, кто их увидел, в камень.

Да, мы все окаменели,
Молча глядя друг на друга,
Всем язык одновременно
Этикет и страх связали.

Лишь Мария де Падилья
Вдруг нарушила молчанье,
С воплем руки заломила,
Вещим ужасом полна.

«Мир сочтет, что я — убийца,
Что убийство я свершила,
Рок детей моих постигнет,
Сыновей моих безвинных».

Дон Диего смолк, заметив,
Как и все мы, с опозданьем,
Что обед уже окончен
И что двор покинул залу.

По-придворному любезный,
Предложил он показать мне
Старый замок, и вдвоем
Мы пошли смотреть палаты.

Проходя по галерее,
Что ведет к дворцовой псарне,
Возвещавшей о себе
Визгом, лаем и ворчаньем,

Разглядел во тьме я келью,
Замурованную в стену
И похожую на клетку
С крепкой толстою решеткой.

В этой клетке я увидел
На соломе полусгнившей
Две фигурки,— на цепи
Там сидели два ребенка.

Лет двенадцати был младший,
А другой чуть-чуть постарше.
Лица тонки, благородны,
Но болезненно-бледны.

Оба были полуголы
И дрожали в лихорадке.
Тельца худенькие были
Полосаты от побоев.

Из глубин безмерной скорби
На меня взглянули оба.
Жутки были их глаза,
Как-то призрачно-пустые.

«Боже, кто страдальцы эти?» —
Вскрикнул я и дон Диего
За руку схватил невольно.
И его рука дрожала.

Дон Диего, чуть смущённый,
Оглянулся, опасаясь,
Что его услышать могут,
Глубоко вздохнул и молвил

Нарочито светским тоном:
«Это два родные брата,
Дети короля дон Педро
И Марии де Падилья.

В день, когда в бою под Нарвас
Дон Энрико Транстамаре
С брата своего дон Педро
Сразу снял двойное бремя:

Тяжкий гнет монаршей власти
И еще тягчайший — жизни,
Он тогда, как победитель,
Проявил и к детям брата

Милосердье. Он обоих
Взял, как подобает дяде,
В замок свой и предоставил
Им бесплатно кров и пищу.

Правда, комнатка тесна им,
Но зато прохладна летом,
А зимой хоть не из теплых,
Но не очень холодна.

Кормят здесь их черным хлебом,
Вкусным, будто приготовлен
Он самой Церерой к свадьбе
Прозерпиночки любимой.

Иногда пришлет им дядя
Чашку жареных бобов,
И тогда уж дети знают:
У испанцев воскресенье.

Не всегда, однако, праздник,
Не всегда бобы дают им.
Иногда начальник псарни
Щедро потчует их плетью.

Ибо сей начальник псарни,
Коего надзору дядя,
Кроме псарни, вверил клетку,
Где племянники живут,

Сам — весьма несчастный в браке
Муж той самой Лимонессы
В брыжах белых, как тарелка,
Что сидела за столом.

А супруга так сварлива,
Что супруг, сбежав от брани,
Часто здесь на псах и детях
Плетью вымещает злобу.

Но такого обращенья
Наш король не поощряет.
Он велел ввести различье
Между принцами и псами.

От чужой бездушной плети
Он племянников избавил
И воспитывать обоих
Будет сам, собственноручно».

Дон Диего смолк внезапно,
Ибо сенешаль дворцовый
Подошел к нам и спросил:
«Как изволили откушать?»

МИФОЛОГИЯ

Да! Европа покорилась —
Бык унес ее, играя...
И не странно, что Даная
Золотым дождем прельстилась.

И Семела — жертва страсти,
Не подумала, что туча,
Идеальнейшая туча,
В небесах таит напасти.

Только Леде не простится
За оплошность даже ныне,—
Надо ж быть такой гусыней,
Чтобы лебедем пленяться.

ЮНЫМ

Пусть не смущают, пусть не прельщают
Плоды Гесперидских садов в пути,
Пусть стрелы летают, мечи сверкают,—
Герой бесстрашно должен идти.

Кто выступил смело, тот сделал полдела;
Весь мир, Александр, в твоих руках!
Минута приспела! Героя Арбеллы
Уж молят царицы, склонившись во прах.

Прочь страх и сомненья! За муки, лишенья
Награда нам — Дария ложе и трон!
О сладость паденья, о верх упоенья —
Смерть встретить, победно войдя в Вавилон!

ФОМА НЕВЕРНЫЙ

Ты будешь лежать в объятьях моих!
Охвачено лихорадкой,
Дрожит и млеет мое существо
От этой мысли сладкой.

Ты будешь лежать в объятьях моих!
И, кудри твои целуя,
Головку пленительную твою
В восторге к груди прижму я.

Ты будешь лежать в объятьях моих!
Я верю, снам моим сбыться:
Блаженствами райскими мне дано
Здесь, на земле, упиться!

Но, как Фома Неверный тот,
Я все ж сомневаться стану,
Пока не вложу своего перста
В любви разверстую рану.

ПОХМЕЛЬЕ

Море счастья омрачив,
Поднялся туман похмелья,
От вчерашнего веселья
Я сегодня еле жив.

Стал полынью сладкий ром,
Помутился мозг горячий.
Визг кошачий, скреб собачий
Мучат сердце с животом.

СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ

Много женщин — много блошек,
Много блошек — зуду много.
Пусть кусают! Этих крошек
Вы судить не смейте строго.

Мстить они умеют больно,
И когда порой ночною
К ним прижметесь вы невольно —
Повернутся к вам спиною.

ТЕПЕРЬ КУДА?

Ну, теперь куда?.. Опять
Рад бы встретиться с отчизной,
Но, качая головой,
Разум шепчет с укоризной:

«Хоть окончилась война,
Но остались трибуналы.
Угодишь ты под расстрел!
Ведь крамольничал немало!»

Это верно. Не хочу
Ни расстрела, ни ареста.
Не герой я. Чужды мне
Патетические жесты.

Я бы в Англию уплыл,—
Да пугают англичане
И фабричный дым... От них
Просто рвет меня заране.

О, нередко я готов
Пересечь морские воды,
Чтоб в Америку попасть,
В тот гигантский хлев свободы,—

Но боюсь я жить в стране,
Где плевательниц избегли,
Где жуют табак и где
Без царя играют в кегли.

Может быть, в России мне
Было б лучше, а не хуже,—
Да не вынесу кнута
И жестокой зимней стужи.

Грустно на небо смотрю,
Вижу звездный рой несметный,—
Но нигде не нахожу
Я звезды моей заветной.

В лабиринте золотом
Заблудилась в час полночный,—
Точно так же, как и я
В этой жизни суматошной.

СТАРИННАЯ ПЕСНЯ

Ты умерла и не знаешь о том,
Искры угасли во взоре твоем;
Бледность легла на ротик алый,
Да, ты мертва, ты жить перестала.

В страшную ночь, ночь скорби и слез,
Сам я тебя к могиле отнес.
Жалобой песнь соловья звенела,
Звезды, плача, теснились над телом.

Лесом мы шли, и эхо кругом
Вторило плачу во мраке ночном.
В траурных мантиях темные ели
Скорбно молитву о мертвых шумели.

К озеру вышли мы, где хоровод
Эльфов кружился у дремлющих вод.
Нас увидав, они вдруг замолчали,
Словно застыв в неподвижной печали.

Вот и к могиле твоей поворот.
Месяц на землю спустился с высот.
Речь говорит он... Рыданья, и стоны,
И колокольные дальние звоны...

ГАРАНТИЯ

Страсть сказала богу песен,
Что потребует залога
Прежде, чем ему отдаться,—
Жить так трудно и убого.

Отвечал ей бог со смехом:
«Изменилось все на свете.
Говоришь как ростовщик ты,
Должников ловящий в сети.

Хочешь, дам тебе я лиру —
Правда, лиру золотую.
Под залог ее, красотка,
Сколько дашь ты поцелуев?»

АУТОДАФЕ

Пыльный локон, бант поблекший,
Рваный стершийся билет
И увядшая фиалка,—
Пыл, восторги юных лет!

Их бросаю с озлобленьем
Я в камин перед собой;
И уж тлеют боль и радость
За решеткою резной.

Клятвы пылкие, измены —
Все слилось в огне, в дыму.
И божок любви смеется,—
Только где он? Не пойму.

И притихший, в час вечерний
Я гляжу на головни,
На мерцающие искры...
Что ж, любовь,— прощай!.. Усни!..

ЛАЗАРЬ

ЗАКОН ЖИЗНИ

Если много у тебя,
Станет больше — так ведется.
Если мало, то отдать
Даже малое придется.

Если же ты вовсе нищ,
Смерть помочь тебе сумеет:
Жить имеет право тот,
Кто хоть чем-нибудь владеет.

ОГЛЯДКА

На милой, земной этой кухне когда-то
Вдыхал я все запахи, все ароматы.
Знавал я такие восторги порой,
Каких ни один не изведал герой!
Пил кофе, пирожными я объедался,
С прекрасными куклами забавлялся
И в модном всегда щеголял сюртуке.
Дукаты звенели в моем кошельке.

Как Геллерт, крылатого гнал я коня,
Дворец восхитительный был у меня.
В долинах блаженства дремал я, бывало,
И солнце лучами меня целовало.
Лавровый венок мне чело обвивал
И грезы волшебные мне навевал.
Мечтанья о розах, о радостях мая
Тогда я лелеял, печали не зная.
Не думал о смерти, не ведал забот,
И рябчики сами летели мне в рот.
Потом прилетели ко мне ангелочки
С бутылкой шампанского в узелочке.
Но лопнули мыльные пузыри!
На мокрой траве я лежу, смотри —
Свело ревматизмом мне ноги и руки.
Душа скорбит от стыда и муки.
Все то, чем когда-то так счастлив я был,
Я самой ужасной ценой оплатил.
Отраву мне подливали в напитки,
Меня клопы подвергали пытке,
Невзгоды одолевали всюду.
Я должен был лгать и выклянчивать ссуду
У старых кокоток и юных кутил,
Как будто я милостыню просил.
Теперь надоело мне по свету шляться,
Теперь я в могиле хочу належаться.
Итак, прощайте, собратья Христовы,
Надеюсь, в раю мы увидимся снова!

ВОСКРЕСЕНИЕ ИЗ МЕРТВЫХ

Весь мир наполнил трубный рев,
Гудит земля сырая.
И мертвецы встают на зов,
Костями громыхая.

Кто на ногах, те, знай, бредут,
Лишь саваном белым одеты,
В Иосафат, где будет суд,—
Там сбор со всей планеты.

Судья — Христос. Он окружен
Апостолами снова.
Их вызвал как присяжных он,
И кротко их мудрое слово.

Они вершат в открытую суд:
В день светлый, в день расплаты,
Когда нас трубы призовут,
Все маски будут сняты!

В Иосафатской долине, меж гор,
Стоят мертвецы по уступам,
И грешников столько, что здесь приговор
Выносят суммарно — по группам.

Овечек направо, налево козлят,—
Постановленье мгновенно:
Невинным овцам — райский сад,
Козлам похотливым — геенна.

ГОЛЬ

Лишь плоско всем богатым льстя,
Сумеешь быть у них в чести:
Ведь деньги — плоские, дитя,
Так, значит, плоско им и льсти.

Маши кадилом, не боясь,
И золотого славь тельца.
Клади пред ним поклоны в грязь
Не вполовину — до конца.

Хлеб нынче дорог — год такой,—
Но по дешевке набери
Красивых слов, потом воспой
Псов Меценатовых — и жри!

ВОСПОМИНАНИЕ

Ларец одному, а другому — алмаз.
О Вилли Визецкий, ты рано угас,
Но котик спасен был тобою.

Доска сломалась, когда ты взбирался,
Ты с моста в бурлящую реку сорвался,
Но котик спасен был тобою.

И шли мы за мальчиком славным к могиле,
Средь ландышей маленький гроб твой зарыли,
Но котик спасен был тобою.

Ты мальчик был умный, ты был осторожный,
От бурь ты укрылся под кров надежный,
Но котик спасен был тобою.

Был умный ты, Вилли, от бурь ты укрылся,
Еще не болел, а уже исцелился,
Но котик спасен был тобою.

Я с грустью и завистью здесь, на чужбине,
Тебя, мой дружок, вспоминаю и ныне,
Но котик спасен был тобою.

НЕСОВЕРШЕНСТВО

Нет совершенства в существах земных.
Есть розы, но — растут шипы на них.
На небесах есть ангелы, и что же —
У них найдутся недостатки тоже.

Тюльпан не пахнет. Немцы говорят:
«Свинью стащить подчас и честный рад».
Лукреция, не будь у ней кинжала,
Могла родить — и клятвы б не сдержала.

Павлин красив, а ноги — сущий стыд.
С милейшей дамой вдруг тебя пронзит
Такая смесь и скуки и досады,
Как будто начитался «Генриады».

В латыни слаб и самый умный бык,
Как Массман наш. Канова был велик,
Но он Венере сплющил зад. И схожа
С обширным задом Массманова рожа.

В нежнейшей песне рифма вдруг резнет,—
Так с медом жало попадает в рот.
Дюма — метис. И пятка погубила
Никем не побежденного Ахилла.

Ярчайшая звезда на небесах
Подцепит насморк — и сорвется в прах.
От сидра пахнет бочки терпким духом.
Да и на солнце пятна есть, по слухам.

А вы, мадам, вы — идеал как раз.
Но ах! Кой-что отсутствует у вас.
«А что?» — глядите вы, не понимая.
Грудь! А в груди — нет сердца, дорогая!

ОХЛАДЕЛЫЙ

Умрешь — так знай, придется в прах
Надолго слечь. И гложет страх.
Да, страх берет: до воскрешенья
Сойдешь с ума от нетерпенья!

Еще б хоть раз, пока светло
В глазах и сердце не сдало,
Хоть раз в конце пути земного
Щедрот любви отведать снова.

И пусть мне явится она
Блондинкой, нежной, как луна,—
Вредней, чем солнце в полдень знойный,
Мне жар брюнетки беспокойной.

Цветущим юношам милей
Кипенье бешеных страстей,
Размолвки, клятвы, беснованья
И обоюдные терзанья.

А я не молод, не здоров,
И пусть бы мне под грустный кров
Любовь, мечты послали боги
И счастье — только без тревоги!

СОЛОМОН

Замолкли кларнеты, литавры, тромбоны,
И ангелы-меченосцы браво —
Шесть тысяч слева, шесть тысяч справа —
Хранят покой царя Соломона.

Они от видений царя охраняют:
Едва он брови насупит, тревожен,
Двенадцать тысяч клинков из ножен,
Подобно стальным огням сверкают.

Но возвращаются в ножны вскоре
Меченосцев мечи стальные.
Исчезают страхи ночные,
И спящий тихо бормочет в горе:

«О Суламифь! От края до края
Израиль с Иудой подо мною.
Я царь над здешнею стороною —
Но ты не любишь, и я умираю».

ПОГИБШИЕ НАДЕЖДЫ

Привлеченные взаимно
Сходством душ в любой детали,
Мы всегда друг к другу льнули,
Хоть того не сознавали.

Оба честны, оба скромны,
Даже мысли сплошь да рядом
Мы угадывали молча,
Обменявшись только взглядом.

О, я жаждал быть с тобою
До последнего момента,
Боевым твоим собратом
В тихом dolce far niente.

Да, мечтой о жизни вместе
Сердце тешил я и разум,
Я бы сделал что угодно,
Чуть мой друг моргнул бы глазом.

Ел бы все, что ты прикажешь,
И притом хвалил бы с жаром,
Прочих блюд и не касался б,
Пристрастился бы к сигарам.

И тебя, как в годы оны,
Угощал бы для забавы
На еврейском диалекте
Анекдотами Варшавы.

Ах, забыть бы все мечтанья,
Все скитанья по чужбинам.
К очагу твоей фортуны
Воротиться блудным сыном.

Но, как жизнь, умчались грезы,
Сны растаяли, как пена,
Я лежу, приговоренный,
Мне не вырваться из плена.

Да, и грезы и надежды —
Все прошло, погибло даром.
Ах, мечтатель прямо в сердце
Смертным поражен ударом!

ПОМИНКИ

Не прочтут унылый кадош,
Не отслужат мессы чинной,
Ни читать, ни петь не будут
В поминальный день кончины.

Но, быть может, на поминки,
Если будет день погожий,
На Монмартр моя Матильда
С Паулиной выйдет все же.

Принесет из иммортелей
Для могилы украшенье
И, вздыхая: «Pauvre homme!» [1] —
Прослезится на мгновенье.

[1] Бедняжка! *(франц.)*

Жаль, что я живу высоко,—
Не могу я, как бывало,
Кресла предложить любимой,
Ах, она в пути устала!

Милая моя толстушка,
Вновь пешком идти не надо,
Посмотри — стоят фиакры
За кладбищенской оградой.

ГОСПОЖА ЗАБОТА

Тогда, в дни солнечной поры,
Как тут отплясывали комары!
Мне другом каждый был в те дни:
Со мной по-братски все они
Делились моей котлетой,
Моей последней монетой.

Но счастье — прочь, карман мой пуст,—
И ни друзей, ни братских чувств.
Затмилось солнце той поры —
Ни комаров, ни их игры.
Друзья с комарами схожи:
Ушли со счастьем тоже.

Забота у койки моей — точь-в-точь
Сиделка — всю проводит ночь.
Белейшая кофта, черный колпак,
Сидит и нюхает свой табак;
Скрипит табакерка сухо,—
Противная старуха!

Мне снится юный май порой,
Былое счастье, комариный рой,
Беспечный смех друзей и подруг...
Но, боже, скрипит табакерка вдруг,—
Пузырь мой лопнул мыльный —
Старуха сморкнулась сильно.

В ОКТЯБРЕ 1849

Умчалась буря— тишь да гладь.
Германия, большой ребенок,
Готова елку вновь справлять
И радуется празднику спросонок.

Семейным счастьем мы живем,
От беса — то, что манит выше!
Мир воротился в отчий дом,
Как ласточка под сень знакомой крыши.

Все спит в лесу и на реке,
Залитой лунными лучами.
Но что там? Выстрел вдалеке,—
Быть может, друг расстрелян палачами!

Быть может, одолевший враг
Всадил безумцу пулю в тело.
Увы, не все умны, как Флакк,—
Он уцелел, бежав от битвы смело!

Вновь треск... Не в честь ли Гете пир?
Иль, новым пламенем согрета,
Вернулась Зонntаг в шумный мир
И славит лиру дряхлую ракета?

А Лист? О милый Франц, он жив!
Он не заколот в бойне дикой,
Не пал среди венгерских нив,
Пронзенный царской иль кроатской пикой.

Пусть кровью изошла страна,
Пускай раздавлена свобода,—
Что ж, дело Франца сторона,
И шпагу он не вынет из комода.

Он жив, наш Франц! Когда-нибудь
Он сможет прежнею отвагой
В кругу своих внучат хвастнуть:
«Таков я был, так сделал выпад шпагой».

О, как моя вскипает кровь
При слове «Венгрия»! Мне тесен
Немецкий мой камзол, и вновь
Я слышу трубы, зов знакомых песен.

Опять звучит в душе моей,
Как шум далекого потока,
Песнь о героях прошлых дней,
О Нибелунгах, павших жертвой рока.

Седая быль повторена,
Как будто вспять вернулись годы.
Пусть изменились имена —
В сердцах героев тот же дух свободы.

Им так же гибель рок судил:
Хоть стяги реют в гордом строе,—
Пред властью грубых, темных сил
Обречены паденью герои.

С быком вступил в союз медведь,
Ты пал, мадьяр, в неравном споре,
Но верь мне — лучше умереть,
Чем дни влачить, подобно нам, в позоре.

И ведь хозяева твои —
Вполне пристойная скотина,
А мы — рабы осла, свиньи,
В вонючем псе признали господина!

Лай, хрюканье — спасенья нет,
И что ни день — смердит сильнее.
Но не волнуйся так, поэт,—
Ты нездоров, и помолчать — вернее.

ДУРНЫЕ СНЫ

Во сне я был и юн и весел снова.
Вот сельский домик наш, обрыв под ним,
Вот по тропинке с берега крутого
С Оттилией мы взапуски бежим.

Как сложена! Как сладостно мигают
Ее русалочьи глаза порой!
И ножкой крепко так она ступает,—
Вся сочетанье силы с красотой.

Звук голоса так чист и так сердечен,
Что кажется: сама душа поет,
А тон ее речей умом отмечен;
Бутону роз подобен алый рот.

И вовсе не любовью я взволнован,—
Не в грезах я и не в чаду страстей,—
Но странно так малюткой очарован,
Целую с тайной дрожью руку ей.

Мне помнится: склонившись над водою
И лилию сорвав, я ей сказал:
«Возьми цветок и будь моей женою,
Чтоб кротким я, как ты,— счастливым стал».

Но что ответила она, не знаю,—
Я вдруг проснулся... Вижу: брезжит свет,
И снова — комната, где я, страдая,
Лежу, неизлечимый, столько лет.

ОНА УГАСЛА

Спектакль окончен. По домам
Мужчины провожают дам.
По вкусу ль пьеса им? Наверно:
Я слышал — хлопали усердно.
Высокочтимой публикой
Отмечен был успех поэта.
Теперь театр пустой такой —
Ни оживления, ни света.

Но чу! Раздался резкий звук
У самой сцены — треск удара.
Быть может, лопнула там вдруг
Струна на чьей-то скрипке старой?
Уж крысы злобные снуют
В партере темном там и тут,

Чадит в последней лампе масло,
Все пахнет горечью сейчас.
И вот — огонь, шипя, угас.
Ах, то моя душа угасла!

ДУХОВНАЯ

Близок мой конец. Итак —
Вот моей духовной акт:
В ней по-христиански щедро
Награжден мой каждый недруг.

Вам, кто всех честней, любезней,
Добродетельнейшим снобам,
Вам оставлю, твердолобым,
Весь комплект моих болезней:

Колики, что, словно клещи,
Рвут мои кишки все резче,
Мочевой канал мой узкий,
Гнусный геморрой мой прусский.

Эти судороги — тоже,
Спазмы, течь мою слюнную
И сухотку вам спинную
Завещаю, волей божьей.

К сей духовной примечанье:
Пусть о вас навек, всеместно
Вытравит отец небесный
Всякое воспоминанье!

ENFANT PERDU

Как часовой, на рубеже свободы
Лицом к врагу стоял я тридцать лет.
Я знал, что здесь мои промчатся годы,
И я не ждал ни славы, ни побед.

Пока друзья храпели беззаботно,
Я бодрствовал, глаза вперив во мрак.
(В иные дни прилег бы сам охотно,
Но спать не мог под храп лихих вояк.)

Порой от страха сердце холодело
(Ничто не страшно только дураку!) —
Для бодрости высвистывал я смело
Сатиры злой звенящую строку.

Ружье в руке, всегда на страже ухо,—
Кто б ни был враг — ему один конец!
Вогнал я многим в мерзостное брюхо
Мой раскаленный, мстительный свинец.

Но что таить! И враг стрелял порою
Без промаха,— забыл я ранам счет.
Теперь — увы! Я все равно не скрою —
Слабеет тело, кровь моя течет.

Свободен пост! Мое слабеет тело...
Один упал — другой сменил бойца!
Я не сдаюсь! Еще оружье цело,
И только жизнь иссякла до конца.

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЕВРЕЙСКИЕ МЕЛОДИИ

О, пусть не без утех земных
Жизнь твоя протекает!
И если ты стрел не боишься ничьих,
Пускай — кто хочет — стреляет.

А счастье — мелькнет оно пред тобой —
Хватай за полу проворно!
Совет мой: в долине ты хижину строй,
Не на вершине горной.

ИЕГУДА БЕН ГАЛЕВИ

I

«Да прилипнет в жажде к нёбу
Мой язык и да отсохнут
Руки, если я забуду
Храм твой, Иерусалим!..»

Песни, образы так бурно
В голове моей теснятся,
Чудятся мужские хоры,
Хоровые псалмопенья.

Вижу бороды седые,
Бороды печальных старцев.
Призраки, да кто ж из вас
Иегуда бен Галеви?

И внезапно — все исчезло:
Робким призракам несносен
Грубый оклик земнородных.
Но его узнал я сразу,—

Да, узнал по древней скорби
Многомудрого чела,
По глазам проникновенным
И страдальчески пытливым.

Но и без того узнал бы
По загадочной улыбке
Губ, срифмованных так дивно,
Как доступно лишь поэтам.

Год приходит, год проходит,—
От рожденья Иегуды
Бен Галеви пролетело
Семь столетий с половиной.

В первый раз увидел свет
Он в Кастилии, в Толедо;
Был младенцу колыбельной
Говор Тахо золотого.

Рано стал отец суровый
Развивать в ребенке мудрость,—
Обученье началось
С божьей книги, с вечной Торы.

Сыну мудро толковал он
Древний текст, чей живописный,
Иероглифам подобный,
Завитой квадратный шрифт,

Этот чудный шрифт халдейский,
Создан в детстве нашим миром
И улыбкой нежной дружбы
Сердце детское встречает.

Тексты подлинников древних
Заучил в цитатах мальчик,
Повторял старинных тропов
Монотонные напевы

И картавил так прелестно,
С легким горловым акцентом,
Тонко выводил шалшелет,
Щелкал трелью, словно птица.

Также Таргум Онкелос,
Что написан на народном
Иудейском диалекте,—
Он зовется арамейским

И примерно так походит
На язык святых пророков,
Ну, как швабский на немецкий.
Этот желтоцвет еврейский

Тоже выучил ребенок,
И свои познанья вскоре
Превосходно применил он
В изучении Талмуда.

Да, родитель очень рано
Ввел его в Талмуд, а после —
И в великую Галаху,
В эту школу фехтованья,

Где риторики светила,
Первоклассные атлеты
Вавилона, Пумпедиты
Упражнялись в состязаньях.

Здесь ребенок изощрился
В полемическом искусстве,—
Этим мастерством словесным
Позже он блеснул в «Козари».

Но, как небо нам сияет
Светом двойственной природы:
То горячим светом солнца,
То холодным лунным светом,—

Так же светит нам Талмуд,
Оттого его и делят
На Галаху и Агаду.
Первую назвал я школой

Фехтованья, а вторую
Назову, пожалуй, садом,
Садом странно-фантастичным,
Двойником другого сада,

Порожденного когда-то
Тоже почвой Вавилона:
Это сад Семирамиды,
Иль восьмое чудо света.

Дочь царей Семирамиду
Воспитали в детстве птицы,
И царица сохранила
Целый ряд привычек птичьих:

Не хотела променады
Делать по земле, как все мы,
Млеком вскормленные твари,
И взрастила сад воздушный,—

Высоко на колоссальных
Колоннадах заблистали
Клумбы, пальмы, апельсины,
Изваянья, водометы —

Скреплены хитро и прочно,
Как плющом переплетенным,
Сетью из мостов висячих,
Где качались важно птицы,

Пестрые, большие птицы,
Мудрецы, что молча мыслят,
Глядя, как с веселой трелью
Подле них порхает чижик.

Все блаженно пьют прозрачный,
Как бальзам душистый, воздух,
Не отравленный зловонным
Испарением земли.

Да, Агада — сад воздушный
Детских вымыслов, и часто
Юный ученик Талмуда,
Если сердце, запылившись,

Глохло от сварливой брани
И от диспутов Галахи,
Споров о яйце фатальном,
Что снесла наседка в праздник,

Иль от столь же мудрых прений
По другим вопросам,— мальчик
Убегал, чтоб освежиться,
В сад, в цветущий сад Агады,

Где так много старых сказок,
Подлинных чудесных былей,
Житий мучеников славных,
Песен, мудрых изречений,

Небылиц, таких забавных,
Полных чистой пылкой веры.
О, как все блистало, пело,
Расцветало в пышном блеске!

И невинный, благородный
Дух ребенка был захвачен
Буйной дерзостью фантазий,
Волшебством блаженной скорби,

Страстным трепетом восторга —
Тем прекрасным тайным миром,
Тем великим откровеньем,
Что поэзией зовется.

И поэзии искусство —
Высший дар, святая мудрость —
Мастерство стихосложенья
Сердцу мальчика открылось,

И Иегуда бен Галеви
Стал не только мудрый книжник.
Но и мастер песнопенья,
Но и первый из поэтов.

Да, он дивным был поэтом,
Был звездой своей эпохи,
Солнцем своего народа —
И огромным, чудотворным,

Огненным столпом искусства.
Он пред караваном скорби,
Пред Израилем-страдальцем,
Шел пустынями изгнанья.

Песнь его была правдива,
И чиста, и непорочна,
Как душа его; всевышний,
Сотворив такую душу,

Сам доволен был собою,
И прекраснейшую душу
Радостно поцеловал он,—
И трепещет тихий отзвук

Поцелуя в каждой песне,
В каждом слове песнотворца,
Посвященного с рожденья
Божьей милостью в поэты.

Ведь в поэзии, как в жизни,
Эта милость — высший дар!
Кто снискал ее — не может
Ни в стихах грешить, ни в прозе.

Называем мы такого
Божьей милостью поэта
Гением; он в царстве духа
Абсолютный самодержец,

Он дает ответ лишь богу,
Не народу,— ведь в искусстве
Нас народ, как в жизни, может
Лишь казнить, но не судить.

II

«Так на реках вавилонских
Мы рыдали, наши арфы
Прислонив к плакучим ивам»,—
Помнишь песню древних дней?

Помнишь — старое сказанье
Стонет, плачется уныло,
Ноет, словно суп в кастрюльке,
Что кипит на очаге!

Сотни лет во мне клокочет,
Скорбь во мне кипит! А время
Лижет рану, словно пес,
Иову лизавший язвы.

За слюну спасибо, пес,
Но она лишь охлаждает;
Исцелить меня могла бы
Смерть,— но я, увы, бессмертен!

Год приходит, год проходит!
Деловито ходит шпулька
На станке,— а что он ткет,
Ни единый ткач не знает.

Год приходит, год проходит,—
Человеческие слезы
Льются, капают на землю,—
И земля сосет их жадно.

Ах, как бешено кипит!
Скачет крышка!.. Слава мужу,
Чья рука твоих младенцев
Головой о камни грянет.

Слава господу! Все тише
Котелок клокочет. Смолк.
Мой угрюмый сплин проходит,
Западно-восточный сплин.

Ну, и мой конек крылатый
Ржет бодрее, отряхает
Злой ночной кошмар и, мнится,
Молвит умными глазами:

«Что ж, опять летим в Толедо
К маленькому талмудисту,
Что великим стал поэтом,—
К Иегуде бен Галеви?»

Да, поэт он был великий —
Самодержец в мире грезы,
Властелин над царством духов,
Божьей милостью поэт.

Он в священные сирвенты,
Мадригалы и терцины,
Канцонетты и газеллы
Влил огонь души, согретой

Светлым поцелуем бога!
Да, поистине был равен
Этот трубадур великий
Несравненным песнотворцам

Руссильона и Прованса,
Пуату и прочих славных
Померанцевых владений
Царства христиан галантных.

Царства христиан галантных
Померанцевые земли!
Их цветеньем, блеском, звоном
Скрашен мрак воспоминаний!

Чудный соловьиный мир!
Вместо истинного бога —
Ложный бог любви да музы,—
Вот кому тогда молились!

Розами венчая плеши,
Клирики псалмы там пели
На веселом лангедоке,
А мирянин, знатный рыцарь,

На коне гарцуя гордо,
В стихотворных выкрутасах
Славил даму, чьим красотам
Радостно служил он сердцем.

Нет любви без дамы сердца!
Ну, а уж певец любви —
Миннезингер,— тот без дамы
Что без масла бутерброд!

И герой, воспетый нами,
Иегуда бен Галеви,
Увлечен был дамой сердца —
Но совсем особой дамой.

Не Лаурой, чьи глаза,
Эти смертные светила,
На страстной зажгли во храме
Знаменитейший пожар,

Не нарядной герцогиней,
В блеске юности прекрасной,
Королевою турниров,
Присуждавшей храбрым лавры,

Не постельной казуисткой,
Поцелуйным крючкотвором,
Доктринолухом, ученым
В академиях любви,—

Нет, возлюбленная рабби
В жалкой нищете томилась,
В лютой скорби разрушенья
И звалась: Иерусалим.

С юных лет в ней воплотилась
Вся его любовь и вера,
Приводило душу в трепет
Слово «Иерусалим».

Весь пунцовый от волненья,
Замирая, слушал мальчик
Пилигрима, что в Толедо
Прибыл из восточных стран

И рассказывал, как древний
Город стал пустыней дикой,—
Город, где в песке доныне
Пламенеет след пророка,

Где дыханьем вечным бога,
Как бальзамом, полон воздух.
«О юдоль печали!» — молвил
Пилигрим, чья борода

Белым серебром струилась,
А у корня каждый волос
Черен был, как будто сверху
Борода омоложалась,—

Странный был он пилигрим;
Вековая скорбь глядела
Из печальных глаз, и горько
Он вздыхал: «Иерусалим!

Ты, людьми обильный город,
Стал пустынею, где грифы,
Где гиены и шакалы
В гнили мерзостно пируют,

Где гнездятся змеи, совы
Средь покинутых развалин,
Где лиса глядит спесиво
Из разбитого окошка

Да порой, в тряпье одетый,
Бродит нищий раб пустыни
И пасет в траве высокой
Худосочного верблюда.

На Сионе многославном,
Где твердыня золотая
Гордым блеском говорила
О величье властелина,—

Там, поросшие бурьяном,
Тлеют грудами обломки
И глядят на нас так скорбно,
Так тоскливо, будто плачут.

Ах, они и вправду плачут,
Раз в году рыдают камни —
В месяц аба, в день девятый;
И, рыдая сам, глядел я,

Как из грубых диких глыб
Слезы тяжкие катились,
Слышал, как колонны храма
В прахе горестно стонали».

Слушал речи пилигрима
Юным сердцем Иегуда
И проникся жаждой страстной
Путь свершить в Иерусалим.

Страсть поэта! Роковая
Власть мечтаний и предчувствий,
Чью святую мощь изведал
В замке Блэ вида́м прекрасный,

Жоффруа Рюдель, услышав,
Как пришедшие с востока
Рыцари при звоне кубков
Громогласно восклицали:

«Цвет невинности и чести,
Перл и украшенье женщин —
Дева-роза Мелисанда,
Маркграфиня Триполи!»

Размечтался трубадур наш,
И запел о юной даме,
И почувствовал, что сердцу
Стало тесно в замке Блэ,—

И тоска им овладела.
К Цетте он поплыл, но в море
Тяжко заболел и прибыл,
Умирая, в Триполи.

Там увидел Мелисанду
Он телесными очами,
Но тотчас же злая смерть
Их покрыла вечной тенью.

И в последний раз запел он
И, не кончив песню, мертвый,
Пал к ногам прекрасной дамы —
Мелисанды Триполи.

Как таинственно и дивно
Сходны судьбы двух поэтов,
Хоть второй лишь мудрым старцем
Совершил свой путь великий!

И Иегуда бен Галеви
Принял смерть у ног любимой,—
Преклонил главу седую
У колен Иерусалима.

III

После битвы при Арбеллах
Юный Александр Великий
Землю Дария и войско,
Двор, гарем, слонов и женщин,

Деньги, скипетр и корону —
Золотую дребедень —
Всё набил в свои большие
Македонские шальвары.

Дарий, тот удрал от страха,
Как бы в них не угодить
Царственной своей персоной.
И герой в его шатре

Захватил чудесный ларчик,
Золотой, в миниатюрах,
Инкрустированный тонко
Самоцветными камнями.

Был тот ларчик сам бесценен,
А служил лишь для храненья
Драгоценностей короны,
Разных царских лейб-сокровищ.

Александр их раздарил
Самым храбрым — и смеялся,
Что мужчины, словно дети,
Рады пестрым побрякушкам.

Драгоценнейшую гемму
Милой матери послал он,—
И кольцо с печатью Кира
Стало просто дамской брошкой.

Ну, а старый Аристотель —
Знаменитый забияка,
Мир поставивший вверх дном,—
Для коллекции диковин

Получил оникс огромный.
В ларчике имелись перлы,
Нить жемчужин, что Атоссе
Подарил Смердис поддельный,—

Жемчуг был ведь настоящий!
И веселый победитель
Отдал их Таис, прекрасной
Танцовщице из Коринфа.

Та, украсив жемчугами
Волосы, их, как вакханка,
Распустила в ночь пожара,
В Персеполисе танцуя,

И швырнула в царский замок
Факел свой — и с громким треском
Яростно взметнулось пламя
Карнавальным фейерверком.

После гибели Таис,
Что скончалась в Вавилоне
От болезни вавилонской,
Перлы были в зале биржи

Пущены с аукциона,—
И купил их жрец мемфисский
И увез их в свой Египет,
Где они явились позже

В шифоньерке Клеопатры,
Что толкла прекрасный жемчуг
И, с вином смешав, глотала,
Чтоб Антония дурачить.

А с последним Омаядом,
Перлы прибыли в Гренаду
И блистали на тюрбане
Кордуанского калифа.

Третий Абдергам украсил
Ими панцирь на турнире,
Где пронзил он тридцать бронь
И Зюлеймы юной сердце.

Но с паденьем царства мавров
Перешли и эти перлы
Во владенье христиан,
Властелинов двух Кастилий,

Католических величеств,—
И испанских государынь
Украшали на турнирах,
На придворных играх, в цирке,

На больших аутодафе,
Где величества с балконов
Наслаждались ароматом
Старых, жареных евреев.

Правнук черта Мендицабель
Заложил потом все перлы
Для покрытья дефицита
В государственных финансах.

В Тюильри, в дворцовых залах,
Вновь на свет они явились
И сверкали там на шее
Баронессы Соломон.

Вот судьба прекрасных перлов!
Ларчик меньше приключений
Испытал,— его оставил
Юный Александр себе,

И в него сложил он песни
Бесподобного Гомера,
Своего любимца. На ночь
Ставил он у изголовья

Этот ларчик, и оттуда,
Чуть задремлет царь, вставали,
В сон проскальзывали тихо
Образы героев светлых.

Век иной — иные птицы!
Ах, и я любил когда-то
Эти песни о деяньях
Одиссея и Пелида,

И в душе моей, как солнце,
Рдели золото и пурпур,
Виноград вплетен был в кудри
И, ликуя, пели трубы.

Смолкни, память! Колесница
Триумфальная разбита,
А пантеры упряжные
Передохли все, как девы,

Что под цитры и кимвалы
В пляске шли за мной; и сам я
Извиваюсь в адских муках,
Лежа в прахе. Смолкни, память!

Смолкни, память!.. Речь вели
Мы о ларчике царевом,
И такая мысль пришла мне:
Будь моим подобный ларчик,—

Не заставь меня финансы
Обратить его в монету,—
Я бы запер в этот ларчик
Золотые песни рабби

Иегуды бен Галеви —
Гимны радости, газеллы,
Песни скорби, путевые
Впечатленья пилигрима —

Дал бы лучшему цофару
На пергаменте чистейшем
Их списать, и положил бы
Рукопись в чудесный ларчик,

И держал бы этот ларчик
На столе перед кроватью,
Чтоб могли дивиться гости
Блеску маленькой шкатулки,

Превосходным барельефам,
Мелким, но таким прекрасным,
Инкрустациям чудесным
Из огромных самоцветов.

Я б гостям с улыбкой молвил:
«Это что! — Лишь оболочка
Лучшего из всех сокровищ:
Там сияют бриллианты,

Отражающие небо,
Там рубины пламенеют
Кровью трепетного сердца,
Там смарагд обетованья,

Непорочные лазури,
Перлы, краше дивных перлов,
Принесенных Лже-Смердисом
В дар пленительной Атоссе,

Бывших лучшим украшеньем
Высшей знати в этом мире,
Обегаемом луною:
И Таис, и Клеопатры,

И жрецов, и грозных мавров,
И испанских государынь,
И самой высокочтимой
Баронессы Соломон.

Те прославленные перлы —
Только сгустки бледной слизи,
Выделенья жалких устриц,
Тупо прозябавших в море.

Мною ж собранные перлы
Рождены душой прекрасной,
Светлым духом, чьи глубины
Глубже бездны океана,

Ибо эти перлы — слезы
Иегуды бен Галеви,—
Ими горько он оплакал
Гибель Иерусалима.

И связал он перлы-слезы
Золотою ниткой рифмы,
В ювелирне стихотворства
Сделал песней драгоценной.

И доныне эта песня,
Этот плач великой скорби
Из рассеянных по свету
Авраамовых шатров

Горько льется в месяц аба,
В день девятый — в годовщину
Гибели Иерусалима,
Уничтоженного Титом.

Эта песня — гимн сионский
Иегуды бен Галеви,
Плач предсмертный над священным
Пеплом Иерусалима.

В покаянной власянице,
Босоногий, там сидел он
На поверженной колонне;
И густой седою чащей

Волосы на грудь спадали,
Фантастично оттеняя
Бледный, скорбный лик поэта
С вдохновенными очами.

Так сидел он там и пел,
Словно древний ясновидец,—
И казалось, из могилы
Встал пророк Иеремия.

И в руинах смолкли птицы,
Слыша вопли дикой скорби,
Даже коршуны, приблизясь,
Им внимали с состраданьем.

Вдруг, на стременах качаясь,
Мимо, на коне огромном,
Дикий сарацин промчался,
Белое копье колебля,—

И, метнув оружье смерти
В грудь несчастного поэта,
Ускакал быстрее ветра,
Словно призрак окрыленный.

Кровь певца текла спокойно,
И спокойно песню скорби
Он допел, и был предсмертный
Вздох его: «Иерусалим!»

Молвит старое сказанье,
Что жестокий сарацин
Был не человек преступный,
А переодетый ангел,

Посланный на землю небом,
Чтоб унесть любимца бога
Из юдоли слез, без муки
Взять его в страну блаженных.

В небе был он удостоен
Крайне лестного приема,—
Это был сюрприз небесный,
Драгоценный для поэта.

Хоры ангелов навстречу
Вышли с музыкой и пеньем,
И в торжественном их гимне
Он узнал свою же песню —

Брачный гимн синагогальный,
Гимн субботний Гименею,
Строй ликующих мелодий,
Всем знакомых,— что за звуки!

Ангелы трубили в трубы,
Ангелы на скрипках пели,
Ликовали на виолах,
Били в бубны и кимвалы.

И в лазурных безднах неба
Так приветливо звенело,
Так приветливо звучало:
«Лехо дауди ликрас калле» [1].

[1] «Выйди, друг, невесту встретить» *(древнеевр.)*.

IV

Рассердил мою супругу
Я последнею главой,
А особенно рассказом
Про бесценный царский ларчик.

Чуть не с горечью она мне
Заявила, что супруг
Подлинно религиозный
Обратил бы ларчик в деньги,

Что на них он приобрел бы
Для своей жены законной
Белый кашемир, который
Нужен, бедной, до зарезу;

Что с Иегуды бен Галеви
Было бы довольно чести
Сохраняться просто в папке
Из красивого картона,

По-китайски элегантно
Разрисованной узором,
Вроде чудных бонбоньерок
Из пассажа «Панорама».

«Странно! — вскрикнула супруга.—
Если он такой уж гений,
Почему мне незнакомо
Даже имя бен Галеви?»

«Милый друг мой,— отвечал я,—
Ангел мой, прелестный неуч,
Это результат пробелов
Во французском воспитанье.

В пансионах, где девицам,
Этим будущим мамашам
Вольного народа галлов,
Преподносят мудрость мира:

Чучела владык Египта,
Груды старых мумий, тени
Меровингских властелинов
С ненапудренною гривой,

Косы мудрецов Китая,
Царства пагод из фарфора,—
Всё зубрить там заставляют
Умных девочек. Но, боже!

Назови-ка им поэта,
Гордость золотого века
Всей испано-мавританской
Старой иудейской школы,

Назови им Ибен Эзру,
Иегуду бен Галеви,
Соломона Габироля —
Триединое созвездье,—

Словом, самых знаменитых,—
Сразу милые малютки
Сделают глаза большие
И на вас глядят овцой.

Мой тебе совет, голубка,
Чтоб такой пробел заполнить,
Позаймись-ка ты еврейским,—
Брось театры и концерты,

Посвяти годок иль больше
Неустанной штудировке,—
И прочтешь в оригинале
Ибен Эзру, Габироля.

И, понятно, бен Галеви —
Весь триумвират поэтов,
Что с волшебных струн Давида
Лучшие похитил звуки.

Аль-Харизи — я ручаюсь,
Он тебе знаком не больше,
А ведь он остряк — французский,
Он переострил Харири

В хитроумнейших макамах
И задолго до Вольтера
Был чистейшим вольтерьянцем.
Этот Аль-Харизи пишет:

«Габироль — властитель мысли,
Он мыслителям любезен;
Ибен Эзра — царь искусства,
Он художников любимец;

Но достоинства обоих
Сочетал в себе Галеви:
Величайший из поэтов,
Стал он всех людей кумиром».

Ибен Эзра был старинный
Друг,— быть может, даже родич,—
Иегуды бен Галеви;
И Галеви в книге странствий

С болью пишет, что напрасно
Он искал в Гренаде друга,—
Что нашел он только брата,
Рабби Мейера — врача

И к тому же стихотворца
И отца прекрасной девы,
Заронившей безнадежный
Пламень страсти в сердце Эзры.

Чтоб забыть свою красотку,
Взял он страннический посох,
Стал, как многие коллеги,
Жить без родины, без крова.

На пути к Иерусалиму
Был татарами он схвачен
И, привязанный к кобыле,
Унесен в чужие степи.

Там впрягли беднягу в службу,
Недостойную раввина,
А тем более поэта:
Начал он доить коров.

Раз на корточках сидел он
Под коровой и усердно
Вымя теребил, стараясь
Молоком наполнить крынку,—

Не почетное занятье
Для раввина, для поэта,—
Вдруг, охвачен страшной скорбью,
Песню он запел; и пел он

Так прекрасно, так печально,
Что случайно шедший мимо
Хан татарский был растроган
И вернул рабу свободу,

Много дал ему подарков:
Лисью шубу и большую
Сарацинскую гитару,
Выдал денег на дорогу.

Злобный рок, судьба поэта!
Всех потомков Аполлона
Истерзала ты и даже
Их отца не пощадила:

Ведь, догнав красотку Дафну,
Не нагое тело нимфы,
А лавровый куст он обнял,—
Он, божественный Шлемиль.

Да, сиятельный дельфиец
Был Шлемиль, и даже в лаврах,
Гордо увенчавших бога,—
Признак божьего шлемильства.

Слово самое «Шлемиль»
Нам понятно. Ведь Шамиссо
Даже в Пруссии гражданство
Дал ему (конечно, слову),

И осталось неизвестным,
Как исток святого Нила,
Лишь его происхожденье;
Долго я над ним мудрил,

А потом пошел за справкой,
Много лет назад в Берлине,
К другу нашему Шамиссо,
К обер-шефу всех Шлемилей.

Но и тот не мог ответить
И на Гицига сослался,
От которого узнал он
Имя Петера без тени

И фамилию. Я тотчас
Дрожки взял и покатил
К Гицигу. Сей криминальрат
Прежде звался просто Ициг,

И когда он звался Ициг,
Раз ему приснилось небо,
И на небе надпись: Гициг,—
То есть Ициг с буквой Г.

«Что тут может значить Г? —
Стал он размышлять.— Герр Ициг
Или горний Ициг? Горний —
Титул славный, но в Берлине

Неуместный». Поразмыслив,
Он решил назваться «Гициг»,—
Лишь друзьям шепнув, что горний
В Гициге сидит святой.

«Гициг пресвятой! — сказал я,
Познакомясь.— Вы должны мне
Объяснить языковые
Корни имени Шлемиль».

Долго мой святой хитрил,
Все не мог припомнить, много
Находил уверток, клялся
Иисусом,— наконец

От моих штанов терпенья
Отлетели все застежки,
И пошел я тут ругаться,
Изощряться в богохульстве,

Так что пиетист почтенный
Побледнел как смерть, затрясся,
Перестал мне прекословить
И повел такой рассказ:

«В Библии прочесть мы можем,
Что частенько в дни скитаний
Наш Израиль утешался
С дочерьми Ханаанитов.

И случилось, некий Пинхас
Увидал, как славный Зимри
Мерзкий блуд свершал с женою
Из колена Ханаана,—

И тотчас же в лютом гневе
Он схватил копье и Зимри
Умертвил на месте блуда.
Так мы в Библии читаем.

Но из уст в уста в народе
С той поры передается,
Что своим оружьем Пинхас
Поразил совсем не Зимри

И что, гневом ослепленный,
Вместо грешника убил он
Неповинного. Убитый
Был Шлемиль бен Цури-Шаддай».

Этим-то Шлемилем Первым
Начат был весь род Шлемилей:
Наш родоначальник славный
Был Шлемиль бен Цури-Шаддай.

Он, конечно, не прославлен
Доблестью, мы только знаем
Прозвище, да нам известно,
Что бедняга был Шлемилем.

Но ведь родовое древо
Ценно не плодом хорошим,
А лишь возрастом,— так наше
Старше трех тысячелетий!

Год приходит, год проходит;
Больше трех тысячелетий,
Как погиб наш прародитель,
Герр Шлемиль бен Цури-Шаддай.

Уж давно и Пинхас умер,
Но копье его доныне
Нам грозит, всегда мы слышим,
Как свистит оно над нами.

И оно сражает лучших —
Как Иегуда бен Галеви,
Им сражен был Ибен Эзра,
Им сражен был Габироль.

Габироль — наш миннезингер,
Посвятивший сердце богу,
Соловей благочестивый,
Чьею розой был всевышний,—

Чистый соловей, так нежно
Пел он песнь любви великой
Средь готического мрака,
В тьме средневековой ночи.

Не страшился, не боялся
Привидений и чудовищ,
Духов смерти и безумья,
Наводнявших эту ночь!

Чистый соловей, он думал
Лишь о господе любимом,
Лишь к нему пылал любовью,
Лишь его хвалою славил!

Только тридцать весен прожил
Вещий Габироль, но Фама
Раструбила по вселенной
Славу имени его.

Там же, в Кордове, с ним рядом,
Жил какой-то мавр; он тоже
Сочинял стихи и гнусно
Стал завидовать поэту.

Чуть поэт начнет, бывало,
Петь — вскипает желчь у мавра
Сладость песни у мерзавца
Обращалась в горечь злобы.

Ночью в дом свой заманил он
Ненавистного поэта
И убил его, а труп
Закопал в саду за домом.

Но из почвы, где зарыл он
Тело, вдруг росток пробился,
И смоковница возникла
Небывалой красоты.

Плод был странно удлиненный,
Полный сладости волшебной,
Кто вкусил его — изведал
Несказанное блаженство.

И тогда пошли в народе
Толки, сплетни, пересуды,
И своим светлейшим ухом
Их услышал сам калиф.

Сей же, собственноязычно
Насладившись феноменом,
Учредил немедля строгий
Комитет по разысканью.

Дело взвесили суммарно:
Всыпали владельцу сада
В пятки шестьдесят бамбуков —
Он сознался в злодеянье;

После вырыли из почвы
Всю смоковницу с корнями,
И народ узрел воочью
Труп кровавый Габироля.

Пышно было погребенье,
Беспредельно горе братьев.
В тот же день калифом был
Нечестивый мавр повешен.

ДИСПУТ

Во дворце толедском трубы
Зазывают всех у входа,
Собираются на диспут
Толпы пестрые народа.

То не рыцарская схватка,
Где блестит оружье часто,
Здесь копьем послужит слово
Заостренное схоласта.

Не сойдутся в этой битве
Молодые паладины,
Здесь противниками будут
Капуцины и раввины.

Капюшоны и ермолки
Лихо носят забияки,
Вместо рыцарской одежды —
Власяницы, лапсердаки.

Бог ли это настоящий?
Бог единый, грозный, старый,
Чей на диспуте защитник
Реб Иуда из Наварры?

Или бог другой — трехликий,
Милосердный, христианский,
Чей защитник брат Иосиф,
Настоятель францисканский?

Мощной цепью доказательств,
Силой многих аргументов
И цитатами — конечно,
Из бесспорных документов —

Каждый из героев хочет
Всех врагов обезоружить,
Доведеньем ad absurdum
Сущность бога обнаружить.

Решено, что тот, который
Будет в споре побежденным,
Тот религию другую
Должен счесть своим законом.

Иль крещение приемлют
Иудеи в назиданье,—
Иль, напротив, францисканцев
Ожидает обрезанье.

Каждый вождь пришел со свитой:
С ним одиннадцать — готовых
Разделить судьбу в победе
Иль в лишениях суровых.

Убежденные в успехе
И в своем священном деле,
Францисканцы для евреев
Приготовили купели,

Держат дымные кадила
И в воде кропила мочат...
Их враги ножи готовят,
О точильный камень точат.

Обе стороны на месте;
Переполненная зала
Оживленно суетится
В ожидании сигнала.

Под навесом золоченым
Короля сверкает ложа.
Там король и королева,
Что на девочку похожа.

Носик вздернут по-французски,
Все движения невинны,
И лукавы и смеются
Уст волшебные рубины.

Будь же ты хранима богом,
О цветок благословенный...
Пересажена, бедняжка,
С берегов веселой Сены

В край суровый этикета,
Где ты сделалась испанкой,
Бланш Бурбон звалась ты дома,
Здесь зовешься доньей Бланкой.

Короля же имя — Педро...
С прибавлением — Жестокий.
Но сегодня, как на счастье,
Спят в душе его пороки;

Он любезен и приятен
В эти редкие моменты,
Даже маврам и евреям
Рассыпает комплименты.

Господам без крайней плоти
Он доверился всецело:
И войска им предоставил,
И финансовое дело.

Вот вовсю гремят литавры,
Трубы громко возвещают,
Что духовный поединок
Два атлета начинают.

Францисканец гнев священный
Здесь обрушивает первый —
То звучит трубою голос,
То елеем мажет нервы.

Именем отца, и сына,
И святого духа — чинно
Заклинает францисканец
«Семя Якова» — раввина,—

Ибо часто так бывает,
Что, немало бед содеяв,
Черти прячутся охотно
В теле хитрых иудеев.

Чтоб изгнать такого черта,
Поступает он сурово:
Применяет заклинанья
И науку богослова.

Про единого в трех ликах
Он рассказывает много,—
Как три светлых ипостаси
Одного являют бога:

Это тайна, но открыта
Лишь тому она, который
За предел рассудка может
Обращать блаженно взоры.

Говорит он о рожденье
Вифлеемского дитяти,
Говорит он о Марии
И о девственном зачатье,

Как потом лежал младенец
В яслях, словно в колыбели,
Как бычок с коровкой тут же
У господних яслей млели;

Как от Иродовой казни
Иисус бежал в Египет,
Как позднее горький кубок
Крестной смерти был им выпит;

Как при Понтии Пилате
Подписали осужденье —
Под влияньем фарисеев
И евреев, без сомненья.

Говорит монах про бога,
Что немедля гроб оставил
И на третий день блаженно
Путь свой на небо направил.

Но когда настанет время,
Он на землю возвратится,—
И никто, никто из смертных
От суда не уклонится.

«О, дрожите, иудеи!.. —
Говорит монах.— Поверьте
Нет прощенья вам, кто гнал
Бога к месту крестной смерти.

Вы убийцы, иудеи,
О народ — жестокий мститель!
Тот, кто вами был замучен,
К нам явился как Спаситель.

Весь твой род еврейский,— плевел,
И в тебе ютятся бесы.
А твои тела — обитель,
Где свершают черти мессы.

Так сказал Фома Аквинский,
Он недаром «бык ученья»,
Как зовут его за то, что
Он лампада просвещенья.

О евреи, вы — гиены,
Кровожадные волчицы,
Разрываете могилу,
Чтобы трупом насладиться.

О евреи — павианы
И сычи ночного мира,
Вы страшнее носорогов,
Вы — подобие вампира.

Вы мышей летучих стаи,
Вы вороны и химеры,
Филины и василиски,
Тварь ночная, изуверы.

Вы гадюки и медянки,
Жабы, крысы, совы, змеи!
И суровый гнев господень
Покарает вас, злодеи!

Но, быть может, вы решите
Обрести спасенье ныне
И от злобной синагоги
Обратите взор к святыне,

Где собор любви обильной
И отеческих объятий,
Где святые благовонный
Льют источник благодати;

Сбросьте ветхого Адама,
Отрешась от злобы старой,
И с сердец сотрите плесень,
Что грозит небесной карой.

Вы внемлите гласу бога,
Не к себе ль зовет он разве?
На груди Христа забудьте
О своей греховной язве.

Наш Христос — любви обитель,
Он подобие барашка,—
Чтоб грехи простились наши,
На кресте страдал он тяжко.

Наш Христос — любви обитель,
Иисусом он зовется,
И его святая кротость
Нам всегда передается.

Потому мы тоже кротки,
Добродушны и спокойны,
По примеру Иисуса —
Ненавидим даже войны.

Попадем за то на небо,
Чистых ангелов белее,
Будем там бродить блаженно
И в руках держать лилеи;

Вместо грубой власяницы
В разноцветные наряды
Из парчи, муслина, шелка
Облачиться будем рады;

Вместо плеши — будут кудри
Золотые лихо виться,
Девы райские их будут
Заплетать и веселиться;

Там и винные бокалы
В увеличенном объеме,
А не маленькие рюмки,
Что мы видим в каждом доме.

Но зато гораздо меньше
Будут там красавиц губки —
Райских женщин, что витают,
Как небесные голубки.

Будем радостно смеяться,
Будем пить вино, целуя,
Проводить так будем вечность,
Славя бога: «Аллилуйя!»

Кончил он. И вот монахи,
Все сомнения рассеяв,
Тащат весело купели
Для крещенья иудеев.

Но, полны водобоязни,
Не хотят евреи кары,—
Для ответной вышел речи
Реб Иуда из Наварры:

«Чтоб в моей душе бесплодной
Возрастить Христову розу,
Ты свалил, как удобренье,
Кучу брани и навозу.

Каждый следует методе,
Им изученной где-либо...
Я бранить тебя не буду,
Я скажу тебе спасибо.

«Триединое ученье» —
Это наше вам наследство:
Мы ведь правило тройное
Изучаем с малолетства.

Что в едином боге трое,
Только три слились персоны,—
Очень скромно, потому что
Их у древних — легионы.

Незнаком мне ваш Христос,
Я нигде с ним не был вместе,
Также девственную матерь
Знать не знаю я, по чести.

Жаль мне, что веков двенадцать
Иисуса треплют имя,
Что случилось с ним несчастье
Некогда в Иерусалиме.

Но евреи ли казнили —
Доказать трудненько стало,
Ибо corpus'a delicti [1]
Уж на третий день не стало.

Что родня он с нашим богом —
Это плод досужих сплетен,
Потому что мне известно:
Наш — решительно бездетен.

Наш не умер жалкой смертью
Угнетенного ягненка,
Он у нас не филантропик,
Не подобие ребенка.

Богу нашему неведом
Путь прощенья и смиренья,
Ибо он громовый бог,
Бог суровый отомщенья.

Громы божеского гнева
Поражают неизменно,
За грехи отцов карают
До десятого колена.

Бог наш — это бог живущий,
И притом не быстротечно,
А в широких сводах неба
Пребывает он извечно.

Бог наш — бог здоровый также,
А не миф какой-то шаткий,
Словно тени у Коцита
Или тонкие облатки.

[1] Вещественное доказательство преступления *(лат.)*.

Бог силен. В руках он держит
Солнце, месяц, неба своды;
Только двинет он бровями —
Троны гибнут, мрут народы.

С силой бога не сравнится,—
Как поет Давид,— земное;
Для него — лишь прах ничтожный
Вся земля, не что иное.

Любит музыку наш бог,
Также пением доволен,
Но, как хрюканье, ему
Звон противен колоколен.

В море есть Левиафан —
Так зовется рыба бога,—
Каждый день играет с ней
Наш великий бог немного.

Только в день девятый аба,
День разрушенного храма,
Не играет бог наш с рыбой,
А молчит весь день упрямо.

Целых сто локтей длина
Этого Левиафана,
Толще дуба плавники,
Хвост его — что кедр Ливана,

Мясо рыбы деликатно
И нежнее черепахи.
В Судный день к столу попросит
Бог наш всех, кто жил во страхе.

Обращенные, святые,
Также праведные люди
С удовольствием увидят
Рыбу божию на блюде —

В белом соусе пикантном,
Также в винном, полном лука,
Приготовленную пряно,—
Ну совсем как с перцем щука.

В остром соусе, под луком,
Редька светит, как улыбка...
Я ручаюсь, брат Иосиф,
Что тебе по вкусу рыбка...

А изюмная подливка,
Брат Иосиф, ведь не шутка,
То небесная услада
Для здорового желудка.

Бог недурно варит,— верь,
Я обманывать не стану;
Откажись от веры предков,
Приобщись к Левиафану».

Так раввин приятно, сладко
Говорит, смакуя слово,
И евреи, взвыв от счастья,
За ножи схватились снова,

Чтобы с вражескою плотью
Здесь покончить поскорее:
В небывалом поединке —
Это нужные трофеи.

Но, держась за веру предков
И за плоть, конечно, тоже,
Не хотят никак монахи
Потерять кусочек кожи.

За раввином — францисканец
Вновь завел язык трескучий:
Слово каждое — не слово,
А ночной сосуд пахучий.

Отвечает реб Иуда,
Весь трясясь от оскорбленья,
Но, хотя пылает сердце,
Он хранит еще терпенье.

Он ссылается на Мишну,
Комментарии, трактаты,
Также он из Таусфес-Ионтоф
Позаимствовал цитаты.

Но что слышит бедный рабби
От монаха-святотатца?!
Тот сказал, что «Таусфес-Ионтоф
Может к черту убираться!».

«Все вы слышите, о боже!» —
И, не выдержавши тона,
Потеряв терпенье, рабби
Восклицает возмущенно:

«Таусфес-Ионтоф не годится?
Из себя совсем я выйду!
Отомсти ж ему, господь мой,
Покарай же за обиду!

Ибо Таусфес-Ионтоф, боже,—
Это ты... И святотатца
Накажи своей рукою,
Чтобы богом оказаться!

Пусть разверзнется под ним
Бездна, в глуби пламенея,
Как ты, боже, сокрушил
Богохульного Корея.

Грянь своим отборным громом,
Защити ты нашу веру,—
Для Содома и Гоморры
Ты ж нашел смолу и серу!

Покарай же капуцина,—
Фараона ведь пришиб ты,
Что за нами гнался, мы же
Удирали из Египта.

Ведь стотысячное войско
За царем шло из Мицраим
В латах, с острыми мечами
В ужасающих ядаим.

Ты, господь, тогда простер
Длань свою, и войско вскоре
С фараоном утонуло,
Как котята, в Красном море.

Порази же капуцинов,
Покажи им в назиданье,
Что святого гнева громы —
Не пустое грохотанье.

И победную хвалу
Воспою тебе сначала.
Буду я, как Мириам,
Танцевать и бить в кимвалы».

Тут монах вскочил, и льются
Вновь проклятий лютых реки:
«Пусть тебя господь погубит,
Осужденного навеки.

Ненавижу ваших бесов
От велика и до мала:
Люцифера, Вельзевула,
Астарота, Велиала.

Не боюсь твоих я духов,
Темной стаи оголтелой,—
Ведь во мне сам Иисус,
Я его отведал тела.

И вкусней Левиафана
Аромат Христовой крови;
А твою подливку с луком,
Верно, дьявол приготовил.

Ах, взамен подобных споров
Я б на углях раскаленных
Закоптил бы и поджарил
Всех евреев прокаженных».

Затянулся этот диспут,
И кипит людская злоба,
И борцы бранятся, воют,
И шипят, и стонут оба.

Бесконечно длинен диспут,
Целый день идет упрямо;
Очень публика устала,
И ужасно преют дамы.

Двор томится в нетерпенье,
Кое-кто уже зевает,
И красотку королеву
Муж тихонько вопрошает:

«О противниках скажите,
Донья Бланка, ваше мненье:
Капуцину иль раввину
Отдаете предпочтенье?»

Донья Бланка смотрит вяло,
Гладит пальцем лобик нежный,
После краткого раздумья
Отвечает безмятежно:

«Я не знаю, кто тут прав,—
Пусть другие то решают,
Но раввин и капуцин
Одинаково воняют».

ЗАМЕТКИ

РАМПСЕНИТ

По свидетельству египетских жрецов, казна Рампсенита была так богата, что ни один из последующих царей не мог не только превзойти его, но даже сравниться с ним. Желая сохранить в неприкосновенности свои сокровища, выстроил он будто бы каменную кладовую, одна стена которой прилегала к боковому крылу его дворца. Однако зодчий со злым умыслом устроил следующее. Он приспособил один из камней таким образом, что два человека или даже один могли легко вынуть его из стены. Соорудив эту кладовую, царь укрыл в ней свои сокровища. И вот по прошествии некоторого времени позвал к себе зодчий, незадолго перед кончиною, сыновей (коих у него было двое) и поведал им про то, как он позаботился о них, чтобы жить им в изобилии, и про хитрость, которую применил при сооружении царской сокровищницы; и, точно объяснив, как вынимать тот камень, указал он им также нужную для сего меру и в заключение добавил, что если они станут все это исполнять,

то царские сокровища будут в их руках. Затем кончилась его жизнь; сыновья же его не замедлили приступить к делу: они пошли ночью к царскому дворцу, в самом деле нашли камень в стене, с легкостью обошлись с ним и унесли с собою много сокровищ. Когда же царь снова открыл кладовую, то изумился, увидав, что сосуды с сокровищами не полны до краев. Однако обвинить в этом он никого не мог, так как печати (на дверях) были целы и кладовая оставалась запертой... Однако когда он, побывав дважды и трижды, увидел, что сокровищ становится все меньше (так как воры не переставали обкрадывать его), он сделал следующее. Он приказал изготовить капканы и поставил их вокруг сосудов с сокровищами. Когда же воры пришли снова и один из них прокрался внутрь и приблизился к сосуду, он тотчас же попал в капкан. Поняв приключившуюся с ним беду, он окликнул брата, объяснил ему случившееся и приказал как можно скорее влезть и отрезать ему голову, дабы и того не вовлечь в погибель, если его увидят и узнают, кто он такой. Тот согласился со сказанным и поступил по совету брата, затем приладил камень снова так, чтобы совпадали швы, и пошел домой, унося с собой голову брата. Когда же наступил день и царь вошел в кладовую, был он весьма поражен видом обезглавленных останков вора, застрявшего в капкане, между тем как кладовая оставалась нетронутой и не было в нее ни входа, ни какой-нибудь лазейки. Говорят, что, попав в такое затруднительное положение, он поступил следующим образом. Он велел повесить труп вора на стене и подле него поставил стражу, приказав ей схватить и привести к нему всякого, кто будет замечен плачущим или стенающим. Когда же труп был таким образом повешен, мать вора очень скорбела об этом. Она поговорила со своим оставшимся в живых сыном и потребовала от него каким бы то ни было способом снять труп брата; и когда он хотел уклониться от этого, она пригрозила, что пойдет к царю и донесет, что это он взял сокровища. Когда же мать проявила такую суровость к оставшемуся в живых сыну и все его увещания не привели ни к чему, говорят, он употребил следующую хитрость. Он снарядил несколько ослов, навьючил на них мехи с вином и затем погнал ослов впереди себя; и когда он поравнялся со стражей, сторожившей повешенный труп, он дернул развязанные концы трех или четырех мехов. Когда вино потекло, он стал с громким криком бить себя по голове, как бы не зная, к которому из ослов раньше броситься. Сторожа, однако, увидав вытекавшее в изобилии вино, сбежались с сосудами на дорогу и собрали вытекавшее вино в качестве законной своей

добычи,— чем он притворился немало рассерженным и ругал всех их. Но когда стража стала утешать его, он притворился, будто мало-помалу смягчается и гнев его проходит; наконец, он согнал ослов с дороги и стал поправлять на них сбрую. Когда же теперь, слово за слово, они разговорились и стали смешить его шутками, он отдал им еще один мех в придачу, и тогда они решили улечься тут же на месте пить, пожелали также его присутствия и приказали ему остаться, чтобы выпить здесь вместе с ними, на что он согласился и остался там. В конце концов, так как стража ласково обращалась с ним во время попойки, он отдал ей в придачу еще второй мех... Тогда вследствие основательного возлиянья сторожа перепились сверх всякой меры и, обессиленные сном, растянулись на том самом месте, где пили. Так как была уже глухая ночь, он снял труп брата и обстриг еще в знак поругания всем сторожам правые половины бород; положил затем труп на ослов и погнал их домой, исполнив таким образом то, что заповедала ему мать.

Царь же, когда ему донесли, что труп вора украден, будто бы очень разгневался; и так как он во что бы то ни стало хотел открыть виновника этих проделок, то употребил, чему я не верю, следующее средство. Родную дочь он поместил в балагане, как если бы она продавала себя, и приказал ей допускать к себе всякого без различия; однако, прежде чем сойтись, она должна была заставлять каждого рассказать ей самую хитрую и самую бессовестную проделку, какую он совершил в своей жизни, и если бы при этом кто-нибудь рассказал ей историю о воре, того должна была она схватить и не выпускать. Девушка действительно поступила так, как ей приказал отец, но вор дознался, к чему все это устроено, решил еще раз превзойти царя хитростью и будто сделал следующее. Он отрезал от свежего трупа руку по плечо и взял ее под плащом с собою. Таким образом пошел он к царевой дочери, и, когда она его, так же как и других, спросила, он рассказал ей, как самую бессовестную свою проделку, что он отрезал голову родному брату, попавшемуся в царской сокровищнице в капкан, и, как самую хитрую, что он напоил стражу допьяна и снял повешенный труп брата. При этих словах она хотела его схватить, но вор протянул ей в темноте мертвую руку, которую она схватила и удержала, убежденная, что держит его собственную руку; между тем он отпустил эту последнюю и поспешно скрылся в дверь. Когда же об этом донесли царю, он совсем изумился изворотливости и смелости того человека. Но в конце концов он будто бы велел объявить

по всем городам, что дарует безнаказанность этому человеку и обещает ему всяческие блага, если тот откроет себя и предстанет перед ним.

Вор этому доверился и предстал пред ним; и Рампсенит чрезвычайно восхищался им, даже отдал ему в жены ту дочь, как умнейшему из людей, поскольку египтян он считал мудрейшим из народов, а этого человека мудрейшим из египтян.

(Геродот, История, книга II, глава 121)

ПОЛЕ БИТВЫ ПРИ ГАСТИНГСЕ

ПОГРЕБЕНИЕ КОРОЛЯ ГАРОЛЬДА

Два саксонских монаха, Асгот и Айльрик, посланные настоятелем Вальдгема, просили разрешения перенести останки своего благодетеля к себе в церковь, что им и разрешили. Они ходили между грудами тел, лишенных оружия, и не находили того, кого искали: так был он обезображен ранами. В печали, отчаявшись в счастливом исходе своих поисков, обратились они к одной женщине, которую Гарольд, прежде чем стать королем, содержал в качестве любовницы, и попросили ее присоединиться к ним. Ее звали Эдит, и она носила прозвище Красавицы с лебединой шеей. Она согласилась пойти вместе с обоими монахами, и оказалось, что ей легче, чем им, найти тело того, кого она любила.

(О. Тьерри, История завоевания Англии норманнами)

ВОСПОМИНАНИЕ

И маленький Вильгельм лежит там, и в этом виноват я. Мы вместе учились в монастыре францисканцев и вместе играли на той его стороне, где между каменных стен протекает Дюссель. Я сказал: «Вильгельм, вытащи котенка, видишь, он свалился в реку». Вильгельм резво взбежал на доску, перекинутую с одного берега на другой, схватил котенка, но сам при этом упал в воду; а когда его извлекли оттуда, он был мокр и мертв. Котенок жил еще долгое время.

(«Путевые картины» Генриха Гейне, часть вторая, гл. VI)

Песнь, пропетая левитом Иегудой, украшает главу общины, точно драгоценнейшая диадема, точно жемчужная цепь обвивает ее шею. Он — столп и утверждение храма песнопения,— пребывающий в чертогах науки, могучий, мечущий песнь, как копье... повергнувший исполинов песни, их победитель и господин. Его песни лишают мудрых мужества песнопения — перед ними почти иссякают сила и пламень Ассафа и Иедутана, и пение карахитов кажется слишком долгим. Он ворвался в житницы песнопения, и разграбил запасы их, и унес с собою прекраснейшие из орудий,— он вышел наружу и затворил врата, чтобы никто после него не вступил в них. И тем, кто следует за ним по стопам его, чтобы перенять искусство его пения,— им не настичь даже пыли его победной колесницы. Все певцы несут на устах его слово и лобызают землю, по которой он ступал. Ибо в творениях художественной речи язык его проявляет силу и мощь. Своими молитвами он увлекает сердца, покоряя их, в своих любимых песнях он нежен, как роса, и воспламеняет, как пылающие угли, и в своих жалобах струится облаком слез, в посланиях и сочинениях, которые он слагает, заключена вся поэзия.

(«Рабби Соломон Аль-Харизи о рабби Иегуде Галеви»)

На Рейне

Акватинта Г.-И. Шютца
Начало XIX века

В МАЕ

Друзьями, которых я пылко любил,
Бесстыдно обманут и предан я был.
Мне грустно. А солнце, смеясь и сверкая,
Приветствует буйство веселого мая.

Все празднично. Птицы поют в вышине.
Цветы и девушки рады весне,
И светится счастье в улыбке их ясной.
Но как ты мерзок, мир прекрасный!

Я в Орк готов бежать подчас.
Он гнусным контрастом не режет нам глаз,
И легче тянуть постылые годы
В ночи, где плачут стигийские воды.

Лай Цербера сторожевой,
Хрип стимфалид и фурий вой
И Леты призрачная гладь —
Все раздражающе под стать

Недугам и тоске сердечной.
В проклятом царстве скорби вечной,
Подвластном хмурому Плутону,
Все как-то созвучно страданью и стону.

А здесь, наверху, мне горьки до слез
Сиянье солнца и запах роз,
Дразнящие сердце надеждой напрасной.
О, как ты мерзок, мир прекрасный!

КРАСНЫЕ ТУФЛИ

Кошка была стара и зла,
Она сапожницею слыла;
И правда, стоял лоток у окошка,
С него торговала туфлями кошка,
А туфельки, как напоказ,
И под сафьян, и под атлас,
Под бархат и с золотою каймой,
С цветами, с бантами, с бахромой.
Но издали на лотке видна
Пурпурно-красная пара одна;
Она и цветом и видом своим
Девчонкам нравилась молодым.

Благородная белая мышка одна
Проходила однажды мимо окна;
Прошла, обернулась, опять подошла,
Посмотрела еще раз поверх стекла —
И вдруг сказала, робея немножко:
«Сударыня киска, сударыня кошка,
Красные туфли я очень люблю,
Если недорого, я куплю».

«Барышня,— кошка ответила ей,—
Будьте любезны зайти скорей,
Почтите стены скромного дома
Своим посещением, я знакома
Со всеми по своему занятью —
Даже с графинями, с высшей знатью.
Туфельки я уступлю вам, поверьте,—
Только подходят ли вам, примерьте,—
Ах, право, один уж ваш визит...»

Так хитрая кошка лебезит.
Неопытна белая мышь была,
В притон убийцы она вошла,
И села белая мышь на скамью
И ножку вытянула свою —
Узнать, подходят ли туфли под меру,—
Являя собою невинность и веру.
Но в это время, грозы внезапней,
Кошка ее возьми да цапни

И откусила ей голову ловко
И говорит ей: «Эх ты, головка!
Вот ты и умерла теперь.
Но эти красные туфли, поверь,
Поставлю я на твоем гробу,
И когда затрубит архангел в трубу,
В день воскресения, белая мышь,
Ты из могилы выползи лишь,
Как все другие в этот день,—
И сразу красные туфли надень».

Мораль

Белые мышки — мой совет:
Пусть не прельщает вас суетный свет,
И лучше пускай будут босы ножки,
Чем спрашивать красные туфли у кошки.

НЕВОЛЬНИЧИЙ КОРАБЛЬ

I

Сам суперкарго мингер ван Кук
Сидит, погруженный в заботы.
Он калькулирует груз корабля
И проверяет расчеты.

«И гумми хорош, и перец хорош,—
Всех бочек больше трех сотен.
И золото есть, и кость хороша,
И черный товар добротен.

Шестьсот чернокожих задаром я взял
На берегу Сенегала.
У них сухожилья — как толстый канат,
А мышцы — тверже металла.

В уплату пошло дрянное вино,
Стеклярус да сверток сатина.
Тут виды — процентов на восемьсот,
Хотя б умерла половина.

Да, если триста штук доживет
До гавани Рио-Жанейро,
По сотне дукатов за каждого мне
Отвалит Гонсалес Перейро».

Так предается мингер ван Кук
Мечтам, но в эту минуту
Заходит к нему корабельный хирург
Герр ван дер Смиссен в каюту.

Он сух, как палка; малиновый нос,
И три бородавки под глазом.
«Ну, эскулап мой! — кричит ван Кук.—
Не скучно ль моим черномазым?»

Доктор, отвесив поклон, говорит:
«Не скрою печальных известий.
Прошедшей ночью весьма возросла
Смертность среди этих бестий.

На круг умирало их по́ двое в день,
А нынче семеро пали —
Четыре женщины, трое мужчин.
Убыток проставлен в журнале.

Я трупы, конечно, осмотру подверг,
Ведь с этими шельмами горе:
Прикинется мертвым, да так и лежит,
С расчетом, что вышвырнут в море.

Я цепи со всех покойников снял
И утром, поближе к восходу,
Велел, как мною заведено,
Дохлятину выкинуть в воду.

На них налетели, как мухи на мед,
Акулы — целая масса.
Я каждый день их снабжаю пайком
Из негритянского мяса.

С тех пор как бухту покинули мы,
Они плывут подле борта.
Для этих каналий вонючий труп
Вкуснее всякого торта.

Занятно глядеть, с какой быстротой
Они учиняют расправу:
Та в ногу вцепится, та в башку,
А этой лохмотья по нраву.

Нажравшись, они подплывают опять
И пялят в лицо мне глазищи,
Как будто хотят изъявить свой восторг
По поводу лакомой пищи».

Но тут ван Кук со вздохом сказал:
«Какие ж вы приняли меры?
Как нам убыток предотвратить
Иль снизить его размеры?»

И доктор ответил: «Свою беду
Накликали черные сами:
От их дыханья в трюме смердит
Хуже, чем в свалочной яме.

Но часть, безусловно, подохла с тоски,—
Им нужен какой-нибудь роздых.
От скуки безделья лучший рецепт —
Музыка, танцы и воздух».

Ван Кук вскричал: «Дорогой эскулап,
Совет ваш стоит червонца!
В вас Аристотель воскрес, педагог
Великого македонца!

Клянусь, даже первый в Дельфте мудрец,
Сам президент комитета
По улучшенью тюльпанов — и тот
Не дал бы такого совета!

Музыку! Музыку! Люди, наверх!
Ведите черных на шканцы,
И пусть веселятся под розгами те,
Кому неугодны танцы!»

II

В бездонной лазури мильоны звезд
Горят над простором безбрежным;
Глазам красавиц подобны они,
Загадочным, грустным и нежным.

Они, любуясь, глядят в океан,
Где, света подводного полны,
Фосфоресцируя в розовой мгле,
Шумят сладострастные волны.

На судне свернуты паруса,
Оно лежит без оснастки,
Но палуба залита светом свечей,—
Там пенье, музыка, пляски.

На скрипке пиликает рулевой,
Доктор на флейте играет,
Юнга неистово бьет в барабан,
Кок на трубе завывает.

Сто негров, танцуя, беснуются там,—
От грохота, звона и пляса
Им душно, им жарко, и цепи, звеня,
Впиваются в черное мясо.

От бешеной пляски судно гудит,
И, с темным от похоти взором,
Иная из черных красоток, дрожа,
Сплетается с голым партнером.

Надсмотрщик — maître de plaisirs.
Он хлещет каждое тело,
Чтоб не ленились танцоры плясать
И не стояли без дела.

И ди-дель-дум-дей и шнед-дере-денг!
На грохот, на гром барабана
Чудовища вод, пробуждаясь от сна,
Плывут из глубин океана.

Спросонья акулы тянутся вверх,
Ворочая туши лениво,
И одурело таращат глаза
На небывалое диво.

И видят, что завтрака час не настал
И, чавкая сонно губами,
Протяжно зевают,— их пасть, как пила,
Усажена густо зубами.

И шнед-дере-денг и ди-дель-дум-дей,—
Все громче и яростней звуки!
Акулы кусают себя за хвост
От нетерпенья и скуки.

От музыки их, вероятно, тошнит,
От этого гама и звона.
«Не любящим музыки тварям не верь»,—
Сказал поэт Альбиона.

И ди-дель-дум-дей и шнед-дере-денг,—
Все громче и яростней звуки!
Стоит у мачты мингер ван Кук,
Скрестив молитвенно руки.

«О господи, ради Христа пощади
Жизнь этих грешников черных!
Не гневайся, боже, на них, ведь они
Глупей скотов безнадзорных.

Помилуй их ради Христа, за нас
Испившего чашу позора!
Ведь если их выживет меньше трехсот,
Погибла моя контора!»

АФРОНТЕНБУРГ

Прошли года! Но замок тот
Еще до сей поры мне снится.
Я вижу башню пред собой,
Я вижу слуг дрожащих лица,

И ржавый флюгер, в вышине
Скрипевший злобно и визгливо,
Едва заслышав этот скрип,
Мы все смолкали боязливо.

И долго после мы за ним
Следили, рта раскрыть не смея:
За каждый звук могло влететь
От старого брюзги Борея.

Кто был умней — совсем замолк.
Там никогда не знали смеха.
Там и невинные слова
Коварно искажало эхо.

В саду у замка старый сфинкс
Дремал на мраморе фонтана,
И мрамор вечно был сухим,
Хоть слезы пил он непрестанно.

Проклятый сад! Там нет скалы,
Там нет заброшенной аллеи,
Где я не лил бы горьких слез,
Где сердце не терзали б змеи.

Там не нашлось бы уголка,
Где скрыться мог я от бесчестий,
Где не был уязвлен одной
Из грубых или тонких бестий.

Лягушка, подглядев за мной,
Донос строчила жабе серой,
А та, набравши сплетен, шла
Шептаться с тетушкой виперой.

А тетка с крысой — две кумы,
И, спевшись, обе шельмы вскоре
Спешили в замок — всей родне
Трезвонить о моем позоре.

Рождались розы там весной,
Но не могли дожить до лета,—
Их отравлял незримый яд,
И розы гибли до расцвета.

И бедный соловей зачах,—
Безгрешный обитатель сада,
Он розам пел свою любовь
И умер от того же яда.

Ужасный сад! Казалось, он
Отягощен проклятьем бога.
Там сердце среди бела дня
Томила темная тревога.

Там все глумилось надо мной,
Там призрак мне грозил зеленый.
Порой мне чудились в кустах
Мольбы, и жалобы, и стоны.

В конце аллеи был обрыв,
Где, разыгравшись на просторе,
В часы прилива в глубине
Шумело Северное море.

Я уходил туда мечтать.
Там были безграничны дали.
Тоска, отчаянье и гнев
Во мне, как море, клокотали.

Отчаянье, тоска и гнев,
Как волны, шли бессильной сменой,—
Как эти волны, что утес
Дробил, взметая жалкой пеной.

За вольным бегом парусов
Следил я жадными глазами.
Но замок проклятый меня
Держал железными тисками.

К ЛАЗАРЮ

* * *

Брось свои иносказанья
И гипотезы святые!
На проклятые вопросы
Дай ответы нам прямые!

Отчего под ношей крестной,
Весь в крови, влачится правый?
Отчего везде бесчестный
Встречен почестью и славой?

Кто виной? Иль воле бога
На земле не все доступно?
Или он играет нами? —
Это подло и преступно!

Так мы спрашиваем жадно
Целый век, пока безмолвно
Не забьют нам рта землею...
Да ответ ли это, полно?

* * *

Висок мой вся в черном госпожа
Нежно к груди прижала.
Ах! Проседи легла межа,
Где соль ее слез бежала.

Я ввергнут в недуг, грозит слепота,—
Вот как она целовала!
Мозг моего спинного хребта
Она в себя впивала.

Отживший прах, мертвец теперь я,
В ком дух еще томится,—
Бьет он порой через края,
Он рвет, и мечет, и злится.

Проклятья бессильны! И ни одно
Из них не свалит мухи.
Неси же свой крест — роптать грешно,
Похнычь, но в набожном духе.

* * *

Как медлит время, как ползет
Оно чудовищной улиткой!
А я лежу не шевелясь,
Терзаемый все той же пыткой.

Ни солнца, ни надежды луч
Не светит в этой темной келье,
И лишь в могилу, знаю сам,
Отправлюсь я на новоселье.

Быть может, умер я давно,
И лишь видения былого
Толпою пестрой по ночам
В мозгу моем проходят снова?

Иль для языческих богов,
Для призраков иного света
Ареной оргий гробовых
Стал череп мертвого поэта?

Из этих страшных, сладких снов,
Бегущих в буйной перекличке,
Поэта мертвая рука
Стихи слагает по привычке.

* * *

Цветами цвел мой путь весенний,
Но лень срывать их было мне.
Я мчался, в жажде впечатлений,
На быстроногом скакуне.

Теперь, уже у смерти в лапах,
Бессильный, скрюченный, больной,
Я слышу вновь дразнящий запах
Цветов, не сорванных весной.

Из них одна мне, с юной силой,
Желтофиоль волнует кровь.
Как мог я сумасбродки милой
Отвергнуть пылкую любовь!

Но поздно! Пусть поглотит Лета
Бесплодных сожалений гнет
И в сердце вздорное поэта
Забвенье сладкое прольет.

* * *

Да, ты оправдана судом
Неумолимого рассудка.
«Ни словом,— приговор гласит,—
Ни делом не грешна малютка».

Я видел, корчась на костре,
Как ты, взглянув, прошла спокойно.
Не ты, не ты огонь зажгла,
И все ж проклятья ты достойна!

Упрямый голос мне твердит,
Во сне он шепчет надо мною,
Что ты мой демон, что на казнь
Я обречен тобой одною.

Он сети доводов плетет,
Он речь суровую слагает,
Но вот заря — уходит сон,
И обвинитель умолкает.

В глубины сердца он бежит,
Судейских актов прячет свитки,
И в памяти звучит одно:
Ты обречен смертельной пытке!

* * *

Меня не тянет в рай небесный,—
Нежнейший херувим в раю
Сравнится ль с женщиной прелестной,
Заменит ли жену мою?

Мне без нее не надо рая!
А сесть на тучку в вышине
И плыть, молитвы распевая,—
Ей-ей, занятье не по мне!

На небе — благодать, но все же
Не забирай меня с земли,
Прибавь мне только денег, боже,
Да от недуга исцели!

Греховна суета мирская,
Но к ней уж притерпелся я,
По мостовым земли шагая
Дорогой скорбной бытия.

Я огражден от черни вздорной,
Гулять и трудно мне и лень.
Люблю, халат надев просторный,
Сидеть с женою целый день.

И счастья не прошу другого,
Как этот блеск лукавых глаз,
И смех, и ласковое слово,—
Не огорчай разлукой нас!

Забыть болезни, не нуждаться —
О боже, только и всего!
И долго жизнью наслаждаться
С моей женой in statu quo [1].

ВОЗНЕСЕНИЕ

На смертном ложе плоть была,
А бедная душа плыла
Вне суеты мирской, убогой —
Уже небесною дорогой.

Там, постучав в ворота рая,
Душа воскликнула, вздыхая:
«Открой, о Петр, ключарь святой!
Я так устала от жизни той...
Понежиться хотелось мне бы
На шелковых подушках неба,
Сыграть бы с ангелами в прятки,
Вкусить покой блаженно-сладкий!»

Вот, шлепанцами шаркая, ворча,
Ключами на ходу бренча,
Кто-то идет — и в глазок ворот
Сам Петр глядит, седобород.

[1] В том же положении *(лат.)*.

Ворчит он: «Сброд повадился всякий —
Бродячие псы, цыгане, поляки,
А ты открывай им, ворам, эфиопам!
Приходят врозь, приходят скопом,
И каждый выложит сотни причин,—
Пусти его в рай, дай ангельский чин...
Пошли, пошли! Не для вашей шайки,
Мошенники, висельники, попрошайки,
Построены эти хоромы господни,—
Вас дьявол ждет у себя в преисподней!
Проваливайте поживее! Слыхали?
Вам место в чертовом пекле, в подвале!..»

Брюзжал старик, но сердитый тон
Ему не давался. В конце концов он
К душе обратился вполне сердечно:
«Душа, бедняжка, ты-то, конечно,
Не пара какому-нибудь шалопаю...
Ну, ну! Я просьбе твоей уступаю:
Сегодня день рожденья мой,
И — пользуйся моей добротой.
Откуда ты родом? Город? Страна?
Затем ты мне сказать должна,
Была ли ты в браке: часто бывает,
Что брачная пытка грехи искупает:
Женатых не жарят в адских безднах,
Не держат подолгу у врат небесных».

Душа отвечала: «Из прусской столицы,
Из города я Берлина. Струится
Там Шпрее-речонка,— обычно летом
Она писсуаром служит кадетам.
Так плавно течет она в дождь, эта речка!..
Берлин вообще недурное местечко!
Там числилась я приват-доцентом,
Курс философии читала студентам,—
И там на одной институтке женилась,
Что вовсе не по-институтски бранилась,
Когда не бывало и крошки в дому.
Оттого и скончалась я, и мертва потому».

Воскликнул Петр: «Беда! Беда!
Занятие это — ерунда!

Что? Философия? Кому
Она нужна, я не пойму!
И недоходна ведь и скучна,
К тому же ересей полна;
С ней лишь сомневаешься да голодаешь,
И к черту в конце концов попадаешь.
Немало, наверно, и твоя Ксантупа
Пилила тебя из-за постного супа,
В котором — признайся — хоть разок
Попался ли ей золотой глазок?
Ну, успокойся. Хотя, ей-богу,
Мне и предписано очень строго
Всех, причастных так иль иначе
К философии, тем паче
Еще к немецкой безбожной вашей,
С позором гнать отсюда взашей,—
Но ты попала на торжество,
На день рожденья моего,
Как я сказал. И не хочется что-то
Тебя прогонять,— сейчас ворота
Тебе отопру...
Живей — ступай!..
Теперь, счастливица, гуляй
С утра до вечера по чудесным
Алмазным мостовым небесным,
Фланируй себе, мечтай, наслаждайся,
Но только — помни, не занимайся
Тут философией,— хуже огня!
Скомпрометируешь страшно меня.
Чу! Ангелы поют. На лике
Изобрази восторг великий.
А если услышишь архангела пенье,
То вся превратись в благоговенье.
Скажи: «От такого сопрано — с ума
Сошла бы и Малибран сама!»
А если поет херувим, серафим,
То поусердней хлопай им,
Сравнивай их с синьором Рубини,
И с Марио, и с Тамбурини.
Не забудь величать их «eccelenze» [1],
Не премини преклонить коленце.

---

[1] Ваши сиятельства *(итал.)*.

Попробуйте, в душу певцу залезьте,—
Он и на небе чувствителен к лести!
Впрочем, и сам дирижер вселенной
Любит внимать, говоря откровенно,
Как хвалят его, господа бога,
Как славословят его премного
И как звенит псалом ему
В густейшем ладанном дыму.

Не забывай меня. А надоест
Тебе вся роскошь небесных мест,—
Прошу ко мне — сыграем в карты,
В любые игры, вплоть до азартных:
В «ландскнехта», в «фараона»... Ну,
И выпьем... Только, entre nous [1],
Запомни: если мимоходом
Бог тебя спросит, откуда ты родом
И не Берлина ли ты уроженка,
Скажи лучше — мюнхенка или венка».

ФИЛАНТРОП

Они были брат с сестрою.
Богатым был брат, бедной — сестра.
Сестра богачу сказала:
«Дай хлеба кусочек мне!»

Богатый ответил бедной:
«Оставь в покое меня!
Членов высокой палаты
Я позвал на обед.

Один любит суп с черепахой,
Другому мил ананас,
А третий ест фазанов
И трюфли à la Перигор.

---

[1] Между нами *(франц.)*.

Четвертый камбалу любит,
А пятому семга нужна,
Шестому — и то и это,
А больше всего — вино.

И бедная — бедная снова
Голодной пошла домой,
Легла на тюфяк из соломы
И, вздохнув, умерла.

Никто не уйдет от смерти,
Она поразит косой
Богатого брата так же,
Как и его сестру.

И как только брат богатый
Почувствовал смертный час,
Нотариуса позвал он —
Духовную написать.

Значительные поместья
Он церкви завещал,
А школам и музею —
Очень редких зверей.

Но самой большою суммой
Он обеспечил все ж
Союз миссионеров
С приютом глухонемых.

Собору святого Стефана
Он колокол подарил —
Из лучшего сделан металла,
Он центнеров весил пятьсот.

Колокол этот огромный
И ночью звонит и днем,
О славе того вещая,
Кого не забудет мир.

Гласит язык его медный,
Как много тот сделал добра
Людям разных религий
И городу, где он жил.

О благодетель великий,
Как и при жизни твоей,
О каждом твоем деянье
Колокол говорит!

Свершали обряд погребенья,
Во всем были роскошь и блеск,
И люди вокруг дивились
Пышности похорон.

На черном катафалке,
Похожем на балдахин,
Украшен перьями страуса,
Высоко покоился гроб.

Блестел он серебряной бляхой,
Шитьем из серебра,—
Все это на черном фоне
Было эффектно весьма.

Везли умершего кони,
И были попоны на них,
Как траурные одежды,
Спадавшие до копыт.

И тесной толпою слуги
В черных ливреях шли,
Держа платки носовые
У покрасневших глаз.

Почтеннейшие горожане
Здесь были. За ними вслед
Черных карет парадных
Длинный тянулся хвост.

В процессии похоронной,
За гробом, конечно, шли
Члены высокой палаты,
Но только не весь комплект:

Отсутствовал тот, кто охотно
Фазаны с трюфлями ел,—
От несваренья желудка
Он кончил бренную жизнь.

КАПРИЗЫ ВЛЮБЛЕННЫХ

(Истинная история,
вновь рассказанная по старинным
документам и переложенная в изящные
немецкие стихи)

Унылый жук, примостясь на забор,
С любимой мухой вел разговор:

«Сестра по духу, будь мне, муха,
Женой,— шептал он мухе в ухо.—

Скажи, чем я тебе не муж?
Брюшко золотое, а к тому ж —

Какая спина! Нет подобных спин:
Смарагд в ней блещет, горит рубин...»

«Что? Ведь не так глупа уж я,
Чтобы жука избрать в мужья,

А золото и драгоценности — нет!
Ведь не в богатстве счастья секрет.

Я идеала жажду лишь —
Ведь муха я,— noblesse oblige!» [1]

Жук улетел, огорчен несказанно,
А муха принять решила ванну.

«Эй, пчелка! Ах, служанки эти!
Ты мне нужна при туалете.

Намыль мне нежную спину, бока:
Иду я замуж за жука.

Отличная, в сущности, партия! Что ж?
Жука интересней не найдешь.

Спина его — роскошь, нет краше спин:
Смарагд в ней блещет, горит рубин!

Живот золотой, и лицом благороден,—
С ума я сведу подружек-уродин!

---

[1] Благородство обязывает! *(франц.)*

Живо, пчелка, меня причеши ты,
И зашнуруй меня, и надуши ты;

Натри меня мускусом, камеристка,—
Лавандой ноги мне обрызгай,

Чтобы нисколько мне не вонять,
Когда меня милый захочет обнять.

Хлопочут уже шаферицы-стрекозы,
Меня поздравляют, становятся в позы,

Вплетают в свадебный мой венец
Они уже флердоранж наконец.

И музыканты здесь — все, как надо;
Явилась и примадонна-цикада,

Сверчок тут, и шмель, и комар поджарый:
Ударят в литавры, задуют в фанфары.

Пусть развлекают на свадьбе моей
Слетевшихся пестрокрылых гостей.

Родня расфранченная, много знакомых
И просто случайных, чужих насекомых,

Вот тетки, кузины — саранча да осы,—
Встречают их тушем, приветы, расспросы.

Пришел весь в черном пастор-крот:
«Пора начинать, заждался народ».

Звон колокольный — бим-бам, бим-бом...
Что ж это с милым женишком?..»

Бим-бам, бим-бом — звон колокольный...
Жених улетает дорогой окольной.

Звон колокольный — бим-бам, бим-бом...
«Что ж это с милым женишком?..»

Жених меж тем в печали жгучей
Сидел на далекой навозной куче.

Вот так он просидел лет семь,
Покуда муха сгнила совсем.

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Брось смущенье, брось кривлянье,
Действуй смело, напролом,
И получишь ты признанье,
И введешь невесту в дом.

Сыпь дукаты музыкантам,—
Не идет без скрипок бал,—
Улыбайся разным тантам,
Мысли: черт бы вас побрал.

О князьях толкуй по чину,
Даму также не тревожь;
Не скупись на солонину,
Если ты свинью убьешь.

Коли ты сдружился с чертом,
Чаще в кирку забегай,
Если встретится пастор там,
Пригласи его на чай.

Коль тебя кусают блохи,
Почешись и не скрывай;
Коль твои ботинки плохи,—
Ну, так туфли надевай.

Если суп твой будет гадость,
То не будь с супругой груб,
Но скажи с улыбкой: «Радость,
Как прекрасен этот суп!»

Коль жена твоя по шали
Затоскует — две купи,
Накупи шелков, вуалей,
Медальонов нацепи.

Ты совет исполни честно
И узнаешь, друг ты мой,
В небе царствие небесно,
На земле вкусишь покой.

ВОСПОМИНАНИЕ О ГАММОНИИ

Бодро шествует вперед
В чинных парах дом сирот;
Сюртучки на всех атласны,
Ручки пухлы, щечки красны,
О, прелестные сиротки!

Все растрогано вокруг,
Рвутся к кружке сотни рук,
В знак отцовского вниманья
Льются щедрые даянья,
О, прелестные сиротки!

Дамы чувствами горят,
Деток чмокают подряд,
Глазки, щечки милых крошек,
Сахарный дарят горошек.
О, прелестные сиротки!

Шмулик, чуть стыдясь, кладет
Талер в кружку для сирот
И спешит с мешком бодрее,
Сердце доброе в еврее.
О, прелестные сиротки!

Бюргер, вынув золотой,
Воздевает, как святой,
Очи к небу,— шаг нелишний.—
На него ль глядит всевышний?
О, прелестные сиротки!

Нынче праздничный денек:
Плотник, бондарь, хлебопек,
Слуги — все хлебнули с лишком,—
Пей во здравие детишкам!
О, прелестные сиротки!

Горожан святой оплот —
Вслед Гаммония идет:
Гордо зыблется громада
Колоссальнейшего зада.
О, прелестные сиротки!

В поле движется народ —
К павильону у ворот;
Там оркестр, флажки вдоль зала,
Там нажрутся до отвала
Все прелестные сиротки.

За столом они сидят,
Кашку сладкую едят,
Фрукты, кексы, торты, пышки,
Зубками хрустят, как мышки,—
О, прелестные сиротки!

К сожаленью, за окном
Есть другой сиротский дом,
Где живется крайне гнусно,
Где свой век проводят грустно
Миллионы, как сиротки!

В платьях там единства нет,
Лишь для избранных — обед,
И попарно там не ходят.
Скорбно в одиночку бродят
Миллионы, как сиротки.

РАЗБОЙНИК И РАЗБОЙНИЦА

Пока лежал я без заботы,
С Лаурой нежась, Лис-супруг
Работал, не жалея рук,—
И утащил мои банкноты.

Пуст мой карман, я полон муки:
Ужель мне лгал Лауры взгляд?
Ах, «что есть истина?» — Пилат
Промолвил, умывая руки.

Жестокий свет тотчас покину —
Испорченный, жестокий свет!..
Тот, у кого уж денег нет,
И так мертвец наполовину.

К вам, чистым душам, сердце радо
В край светлый улететь сейчас:
Там все, что нужно, есть у вас,
А потому — и красть не надо.

ВОСПОМИНАНИЕ О ДНЯХ ТЕРРОРА В КРЕВИНКЕЛЕ

«Мы, бургомистр, и наш сенат,
Блюдя отечески свой град,
Всем верным классам населенья
Сим издаем постановленье:

Агенты-чужеземцы суть
Те, кто средь нас хотят раздуть
Мятеж. Подобных отщепенцев
Нет среди местных уроженцев.

Не верит в бога этот сброд;
А кто от бога отпадет,
Тому, конечно, уж недолго
Отпасть и от земного долга.

Покорность — первый из долгов
Для христиан и для жидов,
И запирают пусть поране
Ларьки жиды и христиане.

Случится трем сойтись из нас —
Без споров разойтись тотчас.
По улицам ходить ночами
Мы предлагаем с фонарями.

Кто смел оружие сокрыть —
Обязан в ратушу сложить
И всяких видов снаряженье
Доставить в то же учрежденье.

Кто будет громко рассуждать,
Того на месте расстрелять;
Кто будет в мимике замечен,
Тот будет также изувечен.

Доверьтесь смело посему
Вы магистрату своему,
Который мудро правит вами;
А вы помалкивайте сами».

АУДИЕНЦИЯ

(Старинное сказание)

«Я в Ниле младенцев топить не велю,
Как фараоны-злодеи.
Я не убийца невинных детей,
Не Ирод, тиран Иудеи.

Я, как Христос, люблю детей,—
Но жаль, я вижу их редко.
Пускай войдут мои детки,— сперва
Большая швабская детка».

Так молвил король. Камергер побежал
И воротился живо;
И детка швабская за ним
Вошла, склонясь учтиво.

Король сказал: «Ты, конечно, шваб,—
Тут нечего стыдиться!»
«Вы угадали,— ответил шваб,—
Мне выпало швабом родиться».

«Не от семи ли ты швабов пошел?» —
Спросил король лукаво.
«Мне мог один лишь быть отцом,
Никак не вся орава!»

«Что, в этом году,— продолжал король,—
Удачные в Швабии клецки?»
«Спасибо за память,— ответил шваб,—
У нас удачные клецки».

«А есть ли великие люди у вас?» —
Король промолвил строго.
«Великих нет в настоящий момент,
Но толстых очень много».

«А много ли Менцелю,— молвил король,—
Пощечин новых попало?»
«Спасибо за память,— ответил шваб,—
А разве старых мало?»

Король сказал: «Ты с виду прост,
Однако не глуп на деле».
И шваб ответил: «А это бес
Меня подменил в колыбели!»

«Шваб должен быть,— сказал король,—
Отчизне верным сыном.
Скажи мне правду, отчего
Ты бродишь по чужбинам?»

Шваб молвил: «Репа да салат —
Приевшиеся блюда.
Когда б варила мясо мать,
Я б не бежал оттуда!»

«Проси о милости»,— молвил король.
И, пав на колени пред троном,
Шваб вскрикнул: «Верните свободу, сир,
Германцам угнетенным!

Свободным рожден человек, не рабом!
Нельзя калечить природу!
О сир, верните права людей
Немецкому народу!»

Взволнованный, молча стоял король,
Была красивая сцена.
Шваб рукавом утирал слезу,
Но не вставал с колена.

И молвил король: «Прекрасен твой сон!
Прощай — но будь осторожней!
Ты, друг мой, лунатик, надо тебе
Двух спутников дать понадежней.

Два верных жандарма проводят тебя
До пограничной охраны.
Ну, надо трогаться,— скоро парад,
Уже гремят барабаны!»

Так трогателен был финал
Сей трогательной встречи.
С тех пор король не впускает детей —
Не хочет и слышать их речи.

ЭПИЛОГ

Слава греет мертвеца?
Враки! Лучше до конца
Согревайся теплотой
Бабы, скотницы простой,
Толстогубой девки рыжей,
Пахнущей навозной жижей.
А захочешь — по-другому
Можешь греться: выпей рому,
Закажи глинтвейн иль грог,
Чтоб залить мясной пирог,—
Хоть за стойкой самой грязной,.
Средь воров и швали разной,
Той, что виселицы ждет,
А пока и пьет и жрет,
Выбрав мудро жребий лучший,
Чем Пелид избрал могучий.
Да и тот сказал потом:
«Лучше нищим жить, рабом,
Чем, уйдя из жизни этой,
Править сонмом душ над Летой
И героя слыть примером,
Что воспет самим Гомером».

ЛЮБОВНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

* * *

Сердца людские рвутся,
А звездам смешно бесстрастным;
Лепечут и смеются
Они на небе ясном:

«Да, всей душой друг друга
Несчастные люди любят,
Томятся от недуга
И жизнь любовью губят.

Мы вечно знать не будем
Томительной истомы,
Несущей гибель людям,—
Со смертью мы не знакомы».

* * *

Сама доброта и скромность сама,
Она моим ангелом стала;
Строчила чудесные письма мне,
Цветов и травы не топтала.

Когда же приблизился свадьбы срок,
Узнал о том весь околоток,
И Берта сглупила, родне угодив,
Послушав кузин и теток.

Она преступила клятву свою,
Что я ей прощаю охотно:
Она ведь в супружестве жизнь мою
Испортила б бесповоротно!

Ах, все вероломство женское в ней
Теперь для меня воплотится!
Желаю благополучно я ей
От бремени разрешиться.

В СОБОРЕ

Каноника дочка меня ввела
В святого храма приделы.
Был рост ее мал, коса светла,
Косынка с плеча слетела.

Я осмотрел за два гроша
Гробницы, кресты и свечи.
Мне стало жарко — чуть дыша,
Смотрел я на Эльсбет плечи.

Разглядывал я со всех сторон
Святых, что храм украшали.
Там — аллилуйя! — на стеклах окон
Раздетые дамы плясали.

Каноника дочка рядом со мной
Стояла в церковном притворе.
Глаза у нее — как фиалки весной,
И все я прочел в их взоре.

Каноника дочка меня увела,
Покинул я храма приделы.
Был рот ее мал, а кожа светла,
Косынка с груди слетела.

ХОЛОДНЫЕ СЕРДЦА

Как тебя в картонном царстве
В блеске зрительного зала
Я увидел, ты Джессику,
Дочь Шейлока, представляла.

Чист был голос твой холодный,
Лоб такой холодный, чистый,
Ты сияла, точно глетчер,
В красоте своей лучистой.

И евpей лишился дочки,
Ты нашла в крещеном мужа...
Бедный Шейлок! А Лоренцо —
За него я плачу вчуже!

Повстречались мы вторично;
Вспыхнув страстию великой,
Стал твоим я дон Лоренцо,
Стала ты моей Джессикой.

Как меня вино пьянило,
Так тебя — любви проказы,
И лобзал твои я очи,
Эти хладные алмазы.

Тут я начал бредить браком,
Точно вдруг рехнулся разом,
Или близость донны Клары
Заморозила мне разум?

После свадьбы очутился
Я в Сибири. Что же это?
Холоднее снежной степи
Ложе брачное поэта.

Я лежал так одиноко
В этих льдах, я мерз все хуже,
И мои продрогли песни
В честь любви — от страшной стужи.

К пылкой груди прижимаю
Я подушку — с снегом льдину:
Купидон стучит зубами,
А жена воротит спину.

* * *

Что за роскошь, соразмерность
Членов гибких, форм упругих!
И головку-чаровницу
Шейка стройная колеблет!

В умилительно задорном,
Дивном личике смешались
Нега женщины во взоре
С детской кротостью в улыбке.

И когда б, местами только,
Не налег на эти плечи
Прах земной густою тенью,—
Я б сравнил тебя с Венерой,

С Афродитою, богиней,
Из волны морской восставшей,
Излучающей сиянье,
Да и вымытой отлично...

* * *

«Очи, смертные светила!» —
Было песенки начало,
Что когда-то мне в Тоскане
Возле моря прозвучала.

Пела песенку девчонка,
Сеть у моря починяя,
И смотрела так, что начал
Целовать ее в уста я.

Песенку и сеть у моря
Вспомнил я, когда, тоскуя,
Увидал тебя впервые,—
Дай же рот для поцелуя!

* * *

Человек от этого счастлив,
Человек от этого слег.
Имеешь трех милых любовниц
И только пару ног.

К одной бегу я утром,
К другой в вечерний час,
А третья после обеда
Сама приходит как раз.

Прощайте вы, три дорогие,
Лишь две ноги у меня;
Я лучше поеду в деревню
Созерцать красоту бытия.

КИТТИ

* * *

Весь день я в усладах небесных провел,
Весь вечер вкушал я блаженство.
Вино было крепко, душа весела,
Но Китти была — совершенство!

Горячие губы впивались в меня
Так бурно, так сладострастно!
Глаза, потемнев, заклинали меня
Так нежно, так робко, так властно!

Обманом бежал я. Покуда, смеясь
Она играла со мною,
Я руки прекрасные Китти связал
Ее расплетенной косою.

Freiheit

Саксонские дворяне
на Лейпцигской ярмарке

Шарж неизвестного художника
Цветная гравюра
1820-е годы

* * *

Вчера блеснуло счастье мне,
Сегодня изменило
И женской верностью меня
Опять не одарило.

Они из любопытства все
Моей любви искали,
Но, в сердце заглянув мое,
Мгновенно убегали.

Одна бледнела, уходя,
Другая усмехалась,
Лишь Китти молвила: прости!
И горько разрыдалась.

К ДЖЕННИ

Мне — тридцать пять, тебе — пятнадцать...
Но, Дженни, ты ль вообразишь,
Кого ты мне напоминаешь,
Какую рану бередишь?

В году семнадцатом я встретил
Ту, что была моей судьбой,
Всем — от походки до прически —
Столь дивно схожую с тобой.

Ах, как по ней я убивался,
Отправясь в университет!
И не она ли говорила,
Что без меня ей жизни нет?..

Но вот, едва прошло три года,
Я в Геттингене узнаю
О том, что замуж за другого
Невесту выдали мою.

Был майский день. Цветы пестрели,
Ручьи весенние текли,
И выползал навстречу солнцу
Последний червь из-под земли.

И только я, теряя силы,
Томился, бледный и больной.
И богу одному известно,
Что было пережито мной...

Но я, как видишь, исцелился.
И ты едва ль вообразишь,
Кого ты мне напоминаешь,
Какую рану бередишь.

ПЕСНЬ ПЕСНЕЙ

Женское тело — те же стихи!
Радуясь дням созиданья,
Эту поэму вписал господь
В книгу судеб мирозданья.

Был у творца великий час,
Его вдохновенье созрело.
Строптивый, капризный материал
Оформил он ярко и смело.

Воистину женское тело — песнь,
Высокая песнь песней!
Какая певучесть и стройность во всем!
Нет в мире строф прелестней.

Один лишь вседержитель мог
Такую сделать шею
И голову дать — эту главную мысль —
Кудрявым возглавьем над нею.

А груди! Задорней любых эпиграмм
Бутоны их роз на вершине.
И как восхитительно к месту пришлась
Цезура посредине!

А линии бедер: как решена
Пластическая задача!
Вводная фраза, где фиговый лист —
Тоже большая удача.

А руки и ноги! Тут кровь и плоть,
Абстракции тут не годятся,
Губы — как рифмы, но могут при том
Шутить, целовать и смеяться.

Сама Поэзия во всем,
Поэзия — все движенья.
На гордом челе этой песни печать
Божественного свершенья.

Господь, я славлю гений твой
И все его причуды,
В сравненье с тобою, небесный поэт,
Мы жалкие виршеблуды.

Сам изучал я песнь твою,
Читал ее снова и снова.
Я тратил, бывало, и день и ночь,
Вникая в каждое слово.

Я рад ее вновь и вновь изучать
И в том не вижу скуки.
Да только высохли ноги мои
От этакой науки.

ПРОЩАНИЕ

Как пеликан, тебя питал
Я кровью собственной охотно,
Ты ж в благодарность поднесла
Полынь и желчь мне беззаботно.

И вовсе не желая зла:
Минутной прихоти послушна,
К несчастью, ты была всегда
Беспамятна и равнодушна.

Прощай! Не замечаешь ты,
Что плачу я, что в сердце злоба...
Ах, дурочка! Дай бог тебе
Жить ветрено, шутя, до гроба.

* * *

Земные стра́сти, что горят нетленно,
Куда идут, когда в земле мы сгнили?
Они идут туда, где раньше были,
Где ждет их, окаянных, жар геенны.

* * *

Я чашу страсти осушил
Всю до последнего глотка,
Она, как пунш из коньяка,
Нас горячит, лишая сил.

Тогда я, трезвость восхваляя,
Отдался дружбе — мир страстям
Она несет, как чашка чаю
Отраду теплую кишкам.

РОМАНСЫ И РАЗНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ГДЕ?

Где последний час покоя
Рок усталому пошлет?
Там, на юге, в пальмах, в зное,
Иль средь лип, у рейнских вод?

Буду ль я зарыт в пустыне
Равнодушною рукой
Иль у скал, где море сине,
Опущусь в песок сырой?

Все равно! Везде отрадой
Будет свод небесный мне
И надгробною лампадой —
Эти звезды в вышине.

* * *

На небе полная луна,
И тихо шепчет море;
Опять душа моя грустна,
И в сердце тяжесть горя.

Я вспомнил песни старины
О городах забытых,
На дне морском, средь глубины,
Водой навеки скрытых.

Молитвы там, на дне, и звон,
Но это не поможет:
Кто был однажды погребен,
Восстать уже не может.

БЕГСТВО

На волнах месяц кроткий
Горит то там, то тут.
В качающейся лодке
Любовники мирно гребут.

«О, как бледна ты стала,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, я плеск услыхала,
Нас догоняет ладья».

«Попробуем вплавь, дорогая,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, отец, проклиная,
Догонит, чувствую я».

«Держи лишь голову выше,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, о, горе, ты слышишь,
Все глубже нас тянет струя».

«Сковал нас холод ужасный,
Возлюбленная моя!»
«Любимый, и смерть прекрасна,
Когда с тобою я».

ИЗМЕННИЦА ЛУИЗА

Изменница Луиза
Пришла; нежны ее речи.
Сидит бедняга Ульрих,
Чуть светятся тусклые свечи.

И ластится и шутит,
Развеселить желая:
«Мой бог, как ты изменился,
Где смех твой, не понимаю!»

И ластится и шутит,
Присела возле постели:
«Мой бог, как эти руки
Замерзли и похудели!»

И ластится и шутит —
И вдруг поднялась в печали:
«Мой бог, смотри-ка,— кудри
Твои как пепел стали!»

Сидит бедняга Ульрих,
В нем сердце порваться готово.
Целует злую Луизу,
Не говоря ни слова.

ВЕДЬМА

«Друг сосед, прошу прощенья:
Ведь у ведьмы есть уменье
Превращать себя в зверей,
Чтобы мучить тем людей.

Ваша кошка — мне жена,
Знаю это точно я:
Пахнет, скачет, мордой тычет,
Лапки моет и мурлычет».

Сосед с соседкою в ответ:
«Бери ее, нам дела нет».
Дворовый пес: «Вау, вау!»
Мяучит кошка: «Мяу!»

ИЗБАВИТЕЛЬ

Ликуешь! — Ты думаешь, Плантагенет,
У нас ни малейшей надежды нет!
А все потому, что нашлась могила,
Где имя «Артур» написано было!

Артур не умер, не скрыла земля
Холодным саваном труп короля.
Вчера следил я, глазам не веря,
Как он, живехонек, поднял зверя.

На нем зеленый парчовый наряд;
Смеются губы, глаза горят;
На гордых конях, по тропам дубровы
За ним летели друзья-звероловы.

Его рога заглушают гром:
Трара! Трара! — рокочет кругом.
Чудесные гулы, волшебные громы
Сынам Корнуэля милы и знакомы.

Они говорят: «Не пришла пора,
Но она придет — трара! трара!
И король Артур своему народу,
Прогнав норманнов, вернет свободу».

ПЕСНЬ МАРКИТАНТКИ

Из времен Тридцатилетней войны

А я гусаров как люблю,
Люблю их очень, право!
И синих и желтых, все равно —
Цвет не меняет нрава.

А гренадеров я как люблю,
Ах, бравые гренадеры!
Мне рекрут люб и ветеран,
Солдаты и офицеры.

Кавалерист ли, артиллерист,—
Люблю их всех безразлично;
Да и в пехоте немало ночей
Я поспала отлично.

Люблю я немца, француза люблю,
Голландца, румына, грека;
Мне люб испанец, чех и швед,—
Люблю я в них человека.

Что мне до его отечества, что
До веры его? Ну, словом,—
Мне люб и дорог человек,
Лишь был бы он здоровым.

Отечество и религия — вздор,
Ведь это — только платья!
Долой все чехлы! Нагого, как есть,
Хочу человека обнять я.

Я — человек, человечеству я
Вся отдаюсь без отказу.
Могу отметить мелом долг
Тем, кто не платит сразу.

Палатка с веселым венком — моя
Походная лавчонка...
Кого угощу мальвазией
Из нового бочонка?

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Остерегись холодных слов,
Когда о помощи в борьбе
Взывает юноша к тебе;
Быть может,— это сын богов.

Его ты встретишь на пути
В его триумфа гордый час,
И осужденья строгих глаз
Не сможешь ты перенести.

ЮДОЛЬ ПЛАЧА

Сквозь щели ветр ночной свистит,
А на чердачном ложе
Две бедных тени улеглись;
Их лица — кости да кожа.

Первая бедная тень говорит:
«Меня обойми рукою,
Ко рту моему прижми свой рот,
Хочу согреться тобою».

Вторая бедная тень говорит:
«Когда я гляжу в твои очи,
Скрывается голод, и бедность, и боль,
И холод этой ночи».

Целовались они, рыдали они,
Друг другу руки сжимали,
Смеялись порой, даже спели раз,
И вот под конец замолчали.

Наутро с комиссаром пришел
Лекарь, который, пощупав
Пульс, на месте установил
Отсутствие жизни у трупов.

«Полый желудок,— он пояснил,—
Вместе с диетою строгой
Здесь дали летальный исход,— верней,
Приблизили намного.

Всегда при морозах,— прибавил он,—
Нужно топить жилище
До теплоты и вообще
Питаться здоровой пищей».

КРИК СЕРДЦА

Нет, в безверье толку мало:
Если бога вдруг не стало,
Где ж проклятья мы возьмем,—
Разрази вас божий гром!

Без молитвы жить несложно,
Без проклятий — невозможно!
Как тогда нам быть с врагом,
Разрази вас божий гром!

Не любви, а злобе, братья,
Нужен бог, нужны проклятья.
Или все пойдет вверх дном,
Разрази вас божий гром!

ДОБРЫЙ СОВЕТ

Всегда их подлинную кличку
Давай, мой друг, героям басен.
Сробеешь — результат ужасен!
С твоим ослом пойдет на смычку
Десяток серых дурней, воя:
«Мои ведь уши у героя!
А этот визг и рев с надсадой
Моею отдает руладой:
Осел я! Хоть не назван я,
Меня узнают все друзья,
Вся родина Германия:
Осел тот я! И-я! И-я!»
Ты одного щадил болвана,
Тебе ж грозит десяток рьяно!

ДУЭЛЬ

Сошлись однажды два быка
Подискутировать слегка.
Был у обоих горячий норов,
И вот один в разгаре споров
Сильнейший аргумент привел,
Другому заорав: «Осел!»
«Осла» получить быку — хуже пули,
И стали боксировать наши джон булли.

Придя в то же время на тот же двор,
И два осла вступили в спор.
Весьма жестокое было сраженье,
И вот один, потеряв терпенье,
Издал какой-то дикий крик
И заявил другому: «Ты — бык!»

Чтоб стать длинноухому злейшим врагом,
Довольно его назвать быком.
И загорелся бой меж врагами:
Пинали друг друга лбом, ногами
Отвешивали удары в podex [1],
Блюдя священный дуэльный кодекс.

А где же мораль? — Вы мораль проглядели,
Я показал неизбежность дуэли.
Студент обязан влепить кулаком
Тому, кто его назвал дураком.

ЭПОХА КОС

Басня

Две крысы были нищи,
Они не имели пищи.

Мучает голод обеих подруг;
Первая крыса пискнула вдруг:

«В Касселе пшенная каша есть,
Но, жаль, часовой мешает съесть;

В курфюрстской форме часовой,
При этом — с громадной косой;

Ружье заряжено — крупная дробь;
Приказ: кто подойдет — угробь».

Подруга зубами как скрипнет
И ей в ответ как всхлипнет:

«Его светлость курфюрст у всех знаменит,
Он доброе старое время чтит,

То время каттов старинных
И вместе кос их длинных.

Те катты в мире лысом
Соперники были крысам;

[1] Зад *(лат.)*.

Коса же — чувственный образ лишь
Хвоста, которым украшена мышь;

Мы в мирозданье колоссы —
У нас натуральные косы.

Курфюрст, ты с каттами дружен,—
Союз тебе с крысами нужен.

Конечно, ты сердцем с нами слился,
Потому что у нас от природы коса.

О, дай, курфюрст благородный наш,
О, дай нам вволю разных каш.

О, дай нам просо, дай пшено,
А стражу прогони заодно!

За милость вашу, за эту кашу
Дадим и жизнь и верность нашу.

Когда ж наконец скончаешься ты,
Мы над тобой обрежем хвосты,

Сплетем венок, свезем на погост;
Будь лавром тебе крысиный хвост!»

ДОБРОДЕТЕЛЬНЫЙ ПЕС

Был пудель Брутом наречен.
Носил по праву кличку он.
Ум с добродетелью вдвойне
Его прославили в стране.
Он был морали образец,
Терпенья, скромности венец.
Ценимый и чтимый, как чтут немногих,
Он был Натан Мудрый четвероногих.
Не пес, а перл настоящий, большой!
Так предан и честен! С прекрасной душой!
Хозяин ему доверял безгранично
И посылал его даже обычно

К самому мяснику! Благородный пес
В зубах корзинку ручную нес,
Куда мясник клал телячьи почки,
Говяжьи котлеты, свиные биточки.
И как аппетитно ни пахло сало,
Собака и взгляда на него не бросала.
Уверенно, медленно, стоически твердо
Брут с ценной кладью шествовал гордо.

Однако меж псами, вы знаете сами,
Есть проходимцы, как между нами:
Их множество: это — лгуны, волокиты,
Завистники, воры, бродяги, бандиты.
Они без морали живут, не скучая,
В угаре чувственном жизнь расточая.
Вступил в заговор этот сброд безвестный
Против Брута, что верно и честно
С корзинкой в зубах по прямому пути
Святого долга стремился идти.

И вот однажды, когда из мясной
Брут возвращался с корзиной домой,
Все заговорщики шумной оравой
Напали на Брута. И в схватке кровавой
Корзину выпустил он из пасти,
И выпали наземь жирнейшие части.
Тогда на добычу жадной ратью
Накинулась разом голодная братья.
Вначале, скандал увидав такой,
Философ Брут сохранял покой,
Однако, поняв, что песья свора,
Пируя, сожрет все мясо скоро,
Он принял в обеде участие сам
И выбрал филе на зависть всем псам.

Мораль

«И ты, мой Брут, ты тоже жрешь?» —
С грустью сказал моралист. Ну что ж!
Весьма опасны примеры дурные:
Увы! Как все созданья земные,
Не безупречен собачий род,—
И пес добродетельный при случае — жрет!

ЛОШАДЬ И ОСЕЛ

По рельсам, как молния, поезд летел,
Пыхтя и лязгая грозно.
Как черный вымпел, над мачтой-трубой
Реял дым паровозный.

Состав пробегал мимо фермы одной,
Где белый и длинношеий
Мерин глазел, а рядом стоял
Осел, уплетая репеи.

И долго поезду вслед глядел
Застывшим взглядом мерин;
Вздыхая и весь дрожа, он сказал:
«Я так потрясен, я растерян!

И если бы по природе своей
Я мерином белым не был,
От этого ужаса я бы теперь
Весь поседел, о небо!

Жестокий удар судьбы грозит
Всей конской породе, бесспорно,
Хоть сам я белый, но будущность мне
Представляется очень черной.

Нас, лошадей, вконец убьет
Конкуренция этой машины;
Начнет человек для езды прибегать
К услугам железной скотины.

А стоит людям обойтись
Без нашей конской тяги —
Прощай, овес наш, сено, прощай,—
Пропали мы, бедняги!

Ведь сердцем человек — кремень:
Он даром и макухи
Не даст. Он выгонит нас вон,—
Подохнем мы с голодухи.

Ни красть не умеем, ни брать взаймы,
Как люди, и не скоро
Научимся льстить, как они и как псы.
Нам путь один — к живодеру!»

Так плакался конь и горько вздыхал,
Он был настроен мрачно.
А невозмутимый осел между тем
Жевал репейник смачно.

Беспечно морду свою облизнув,
Сказал он: «Послушай-ка, мерин:
О том, что будет,— ломать сейчас
Я голову не намерен.

Для вас, для гордых коней, паровоз —
Проблема существованья:
А нам, смиренным ослам, впадать
В отчаянье — нет основанья.

У белых, у пегих, гнедых, вороных,
У всех вас — конец печальный;
А нас, ослов, трубою своей
Не вытеснит пар нахальный.

Каких бы хитрых еще машин
Ни выдумал ум человека,—
Найдется место нам, ослам,
Всегда, до скончания века.

Нет, бог не оставит своих ослов,
Что, в полном сознанье долга,
Как предки их честные, будут плестись
На мельницу еще долго.

Хлопочет мельник, в мешки мука
Струится под грохот гулкий;
Тащу ее к пекарю, пекарь печет,—
Человек ест хлеб и булки.

Сей жизненный круговорот искони
Предначертала природа.
И вечна, как и природа сама,
Ослиная наша порода».

Мораль

Век рыцарства давно прошел:
Конь голодает. Но осел,
Убогая тварь, он будет беспечно
Овсом и сеном питаться вечно.

ЗАВЕЩАНИЕ

Пора духовную писать,
Как видно, надо умирать.
И странно только мне, что я ране
Не умер от страха и страданий.

О вы, краса и честь всех дам,
Луиза! Я оставляю вам
Шесть грязных рубах, сто блох на кровати
И сотню тысяч моих проклятий.

Тебе завещаю я, милый друг,
Что скор на совет, на дело туг,
Совет, в воздаянье твоих,— он краток:
Возьми корову, плоди теляток.

Кому свою веру оставлю в отца,
И сына, и духа,— три лица?
Император китайский, раввин познанский
Пусть поровну делят мой дух христианский.

Свободный, народный немецкий пыл —
Мыльный пузырь из лучших мыл —
Завещаю цензору града Кревинкель;
Питательней был бы ему пумперникель.

Деяния, коих свершить не успел,
Проект отчизноспасательных дел
И от похмелья медикамент
Тебе завещаю, германский парламент.

Ночной колпак, белее, чем мел,
Оставлю кузену, который умел
Так пылко отстаивать право бычье;
Как римлянин истый, молчит он нынче.

Охраннику нравственных высот,
Который в Штутгарте живет,—
Один пистолет (но без заряда),
Может жену им пугать изрядно.

Портрет, на коем представлен мой зад,—
Швабской школе; мне говорят,
Мое лицо вам неприятно —
Так наслаждайтесь частью обратной.

Завещаю бутылку слабительных вод
Вдохновенью поэта; который год
Страдает он запором пенья —
Будь вера с любовью ему в утешенье.

Сие же припись к духовной моей:
В случае, если не примут вещей,
Указанных выше,— все угодья
К святой католической церкви отходят.

СОВРЕМЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

ГИМН

Я меч, я пламя.

Я светил вам во тьме, и когда началась битва, я сражался впереди, в первом ряду.

Вокруг меня лежат трупы моих друзей, но мы победили. Мы победили, но вокруг меня лежат трупы моих друзей. Среди триумфальных песен ликованья звучат похоронные хоралы. Но у нас нет времени ни для радости, ни для скорби. Снова грохочут барабаны, предстоит новая битва...

Я меч, я пламя.

ГЕРМАНИЯ

(Лето 1840 года)

Германия хоть и младенчик пока,
Но в кормилицах — солнце: ребенок
Не мирным питается молоком,
А пламенем бурным с пеленок.

Питаясь так, растет по часам,
И кровь бурлит в аорте.
Соседские ребятки, вы
С мальчуганом этим не спорьте!

Сей неуклюжий богатырек
Дуб может вырвать из почвы
И вам раздробить хребты, черепа
Размозжить. От него — все прочь вы!

В нем общее с Зигфридом, с тем молодцом,
Кто в песнях воспет был недаром,
Кто, меч отковав, наковальню свою
Рассек единым ударом.

Да! Будет день — как Зигфрид, ты
Убьешь ненавистную гидру.
Хейза! Как мамка твоя в небесах
Смеяться будет хитро!

Убьешь, и ее сокровища все
Захватишь ты в наследство.
Хейза! Как будет на солнце тогда
Сиять золотой венец твой!

ПО ЭТУ И ПО ТУ СТОРОНУ РЕЙНА

Резвость мягкая и живость,
Грациозная болтливость,
Смех, чарующая ложь,
Лихорадки страстной дрожь
И любви живой порывы —
Вот, французы, чем сильны вы!

Немцы — как того не видеть? —
Мастера лишь ненавидеть.
Эту ненависть излить
Нужно им во что б ни стало,
И чтоб яд ее вместить —
Гейдельбергской бочки мало.

ПОЛИТИЧЕСКОМУ ПОЭТУ

Поешь, как некогда Тиртей
Пел своего героя,
Но плохо выбрал публику,
И время не такое.

Усердно слушают тебя
И хвалят дружным хором —
Как благородна мысль твоя,
Какой ты мастер форм.

И за твое здоровье пить
Вошло уже в обычай,
И боевую песнь твою
Подтягивать, мурлыча.

Раб о свободе любит петь
Под вечер в заведенье.
От этого питье вкусней,
Живей пищеваренье.

ГЕОРГУ ГЕРВЕГУ

Гервег, стальной жаворонок!
Ликуя, взвиваешься ты в вышину,
К священному солнцу, в пылу упования;
Ужели и впрямь озарилась Германия
И, зимы сразив, прославляет весну?

Гервег, стальной жаворонок!
Ты лихо взмываешь в простор голубой,
Теряя из виду земли очертания.
Лишь в строфах твоих, воплощеньем желания,
Цветет та весна, что воспета тобой!

* * *

Сова изучала пандекты,
И римское право, и глоссы;
В Италию явившись,
Спросила: «Где здесь Каносса?»

А дряхлые вороны
Сидят, опустивши крылья,
И ей отвечают: «Каносса
Покрыта прахом и пылью.

Ее бы построить снова,
Да где нам, сидя на соснах?
У нас и мрамора нету,
И нет гостей венценосных».

СИЛЕЗСКИЕ ТКАЧИ

Угрюмые взоры слезой не заблещут!
Сидят у станков и зубами скрежещут.
«Германия, саван тебе мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклят бог! Нас мучает холод,
Нас губят нищета и голод,
Мы ждали, чтоб нам этот идол помог,
Но лгал, издевался, дурачил нас бог.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклят король и его законы!
Король богачей, что ему наши стоны!
Он последний кусок у нас вырвать готов
И нас перестрелять, как псов.
Мы ткем тебе саван!

Будь проклята родина, лживое царство
Насилья, злобы и коварства,
Где гибнут цветы, где падаль и смрад
Червей прожорливых плодят.
Мы ткем тебе саван!

Мы вечно ткем, скрипит станок,
Летает нить, снует челнок,
Германия старая, саван мы ткем,
Вовеки проклятье тройное на нем.
Мы ткем тебе саван!»

НАШ ФЛОТ

(Навигационные стихи)

Когда-то нам пригрезился флот.
Мы весело выплыли в море.
Попутный ветер надул паруса,
И мы понеслись на просторе.

Фрегатам дали мы имена,
Увенчанные славой.
Гофман фон Фаллерслебен и Прутц
Возглавили строй величавый.

Поодаль бежал люгерок Фрейлиграт.
Над ним, как месяц пригожий,
Сиял царя мавританского бюст
(Тот месяц был чернокожий).

И Майер, и Пфицер, и Келле, и Шваб
Поплыли грузно и гордо.
На каждом, с дубовой лирой своей,
Торчала швабская морда.

За ними шхуна Бирх-Пфейфер плыла —
Краса морского семейства.
На ней черно-красный с золотом флаг
Германского адмиралтейства.

На реи мы лазили, на бушприт,
Карабкались по тросам.
Мы были в куртках, в широких штанах
Подобны заправским матросам.

Иной любитель домашних чаев
И семьянин по призванью
Стал ром тянуть, жевал табак
И сыпал отборной бранью.

У всех началась морская болезнь.
На Фаллерслебене вскоре,
На старом брандере — каждый блевал,
Уж так полагается в море.

Как дивно мы грезили! Целый бой
Во сне провели мы победно.
Но утром, чуть солнце взошло, наш флот,
Как сон, растаял бесследно.

Мы, растянувшись, лежали опять
В отечественной постели,
Зевали, и протирали глаза,
И хором загалдели:

«Земля кругла, какого рожна
Мутить спокойные воды!
Объехав мир, к началу пути
Приходят всегда мореходы».

НОВЫЙ АЛЕКСАНДР

I

Есть в Фуле король. От шампанского он
Пускает слезу неизменно.
Лишь только выпьет шампанского он —
И море ему по колено.

И, рыцарский созвав синклит,
Пред всей Исторической школой
Тяжелым языком бубнит
Властитель развеселый:

«Когда Александр, македонский герой,
С немноголюдной ратью
До Индии прошел войной,
Он пить созвал всю братью.

Так жажда мучила его
В походах от боя до боя,
Что запил он, празднуя торжество,
И помер от запоя.

Вот я — мужчина покрепче, друзья,
И дело продумал до точки:
Чем кончил он, тем начал я —
Я начал с винной бочки.

Когда хлебнешь, к боевому венцу
Быстрей находишь дорогу:
За чаркой — чарка, и, смотришь, к концу
Весь мир покорен понемногу».

II

Сидит наш второй Александр и врет
Среди одурелого клира;
Герой продумал наперед
План покоренья мира.

«Эльзаслотарингцы нам свояки.
Зачем тащить их силой?
Ведь сами идут за коровой телки
И жеребец за кобылой.

Шампань! Вот эта страна мне милей —
Отчизна винограда!
Чуть выпьешь — в голове светлей
И на душе отрада.

Там ратный дух мой пробудится вновь —
Я в битвах смел и пылок:
И хлопнут пробки, и белая кровь
Польется из бутылок.

И мощь моя брызнет пеной до звезд,
Но высшую цель я вижу:
Хватаю славу я за хвост
И — полным ходом к Парижу!

Там будет отдых — решено!
Ведь на заставе, у арки,
Без пошлины пропускают вино
Какой угодно марки».

III

«Наставник мой, Аристотель мой,
Был попик, но не в Париже,
А в дальней колонии. Он носил
На курточке белые брыжи.

Он как философ являл собой
Всех антитез сочетанье,
И по своей же системе — увы! —
Он дал мне воспитанье.

Ни рыба, ни мясо — двуполым я стал,
Ни женщина, ни мужчина!
Из диких крайностей наших дней
Дурацкая мешанина.

Я не хорош, но я и не плох,
Ни глуп, ни умен, понятно,
И если сделал шаг вперед —
Тотчас иду обратно.

Я просвещенный обскурант,
Ни жеребец, ни кобыла,
В любви к Софоклу и кнуту
Равно исполнен пыла.

Господь Иисус — мой надежный оплот,
И Вакх у меня не в загоне.
Так два антитезные божества
Слились в единой персоне».

РОМАНСКОЕ СКАЗАНИЕ

Средь скульптур дворца в Берлине
Конь и женщина стоят,
Что друг с другом и поныне
Содомитский грех творят.

По преданью, эта дама —
Венценосцев наших мать,
И следы былого срама
В них нетрудно отыскать.

Человеческого мало
У породы этой всей;
Что-то конское попало
В жилы прусских королей.

Еле теплится сознанье
В тусклом взоре. Нрав жесток.
Речь напоминает ржанье:
Звери с головы до ног.

Отличался с малолетства
Ты один, в роду меньшой.
Человек, не жеребец ты,—
И христианин душой.

КОРОЛЬ ДЛИННОУХ I

Само собой, в короли прошел
Большинство голосов получивший осел,
И учинился осел королем.
Но вот вам хроника о нем:

Король-осел, корону надев,
Вообразил о себе, что он лев;
Он в львиную шкуру облекся до пят
И стал рычать, как львы рычат.
Он лошадьми себя окружает,
И это старых ослов раздражает.
Бульдоги и волки — войско его,
Ослы заворчали и пуще того.
Быка он приблизил, канцлером сделав,
И тут ослы дошли до пределов.
Грозятся восстанием в тот же день!
Король корону надел набекрень
И быстро укутался, раз-два,
В шкуру отчаянного льва.
Потом объявляет особым приказом
Ослам недовольным явиться разом
И держит следующее слово:

«Ослы высокие! Здорово!
Ослом вы считаете меня,
Как будто осел и я, и я!
Я — лев, при дворе известно об этом
И всем статс-дамам, и всем субреттам.
И обо мне мой статс-пиит
Создал стихи и в них говорит:

«Как у верблюда горб природный,
Так у тебя дух льва благородный —
У этого сердца, этого духа
Вы не найдете длинного уха».
Так он поет в строфе отборной,
Которую знает каждый придворный.
Любим я, самые гордые павы
Щекочут затылок мой величавый.
Поощряю искусства; все говорят,
Что я и Август и Меценат.
Придворный театр имею давно я;
Мой кот исполняет там роли героя.
Мимистка Мими, наш ангел чистый,
И двадцать мопсов — это артисты.
В академии живописи, ваянья
Есть обезьяньи дарованья.
Намечен директор на место это —
Гамбургский Рафаэль из гетто,
Из Грязного Вала,— Леман некто.
Меня самого напишет директор.
Есть опера и есть балет,
Он очень кокетлив, полураздет.
Поют там милейшие птицы эпохи
И скачут талантливейшие блохи.
Там капельмейстером Мейер-Бер,
Сам музыкальный миллионер.
Уже наготовил Мерин-Берий
К свадьбе моей парадных феерий.
Я сам немного занят музыкой,
Как некогда прусский Фридрих Великий.
Играл он на флейте, я на гитаре,
И много красавиц, когда я в ударе
И с чувством струны свои шевелю,
Тянутся к своему королю.
Настанет день,— королева моя
Узнает, как музыкален я!
Она — благородная кобылица,
Высоким родом своим гордится.
Ее родня ближайшая, тетя,
Была Россинанта при Дон-Кихоте;
А взять ее корень родословный,
Там значится сам Баярд чистокровный,
И в предках у ней, по ее бумагам,

Те жеребцы, что ржали под флагом
Готфрида сотни лет назад,
Когда он вступал в господень град.
Но прежде всего она красива,
Блистает! Когда дрожит ее грива,
А ноздри начнут и фыркать и грохать,
В сердце моем рождается похоть,—
Она, цветок и богиня кобылья,
Наследника мне принесет без усилья.
Поймите,— от нашего сочетанья
Зависит династии существованье.
Я не исчезну без следа,
Я буду в анналах Клио всегда,
И скажет богиня эта благая,
Что львиное сердце носил всегда я
В груди своей, что управлял
Я мудро и на гитаре играл».

Рыгнул король, и речь прервал он,
Но ненадолго, и так продолжал он:

«Ослы высокие! Все поколенья!
Я сохраню к вам благоволенье,
Пока вы достойны. Чтоб всем налог
Платить без опоздания, в срок.
По добродетельному пути,
Как ваши родители, идти,
Ослы старинные! В зной и холод
Таскали мешки они, стар и молод,
Как им приказывал это бог.
О бунте никто и мыслить не мог.
С их толстых губ не срывался ропот,
И в мирном хлеву, где привычка и опыт,
Спокойно жевали они овес!
Старое время ветер унес.
Вы, новые, остались ослами,
Но скромности нет уже меж вами,
Вы жалко виляете хвостом,
И вдруг являете треск и гром.
А так как вид у вас бестолков,
Вас почитают за честных ослов,
Но вы и бесчестны, вы и злы,
Хоть с виду смиреннейшие ослы.

Подсыпать вам перцу под хвост, и вмиг
Вы издаете ослиный крик,
Готовы разнести на части
Весь мир,— и только дерете пасти,
Порыв, безрассудный со всех сторон!
Бессильный гнев, который смешон!
Ваш глупый рев обнаружил вмиг,
Как много различнейших интриг,
Тупых и низких дерзостей,
И самых пошлых мерзостей,
И яда, и желчи, и всякого зла
Таиться может в шкуре осла».

Рыгнул король, и речь прервал он,
Но ненадолго, и так продолжал он:

«Ослы высокие! Старцы с сынами!
Я вижу вас насквозь, я вами
Взволнован, я злюсь на вас свирепо
За то, что бесстыдно и нелепо
О власти моей вы порете дичь.
С ослиной точки трудно постичь
Великую львиную идею,
Политикой движущую моею.
Смотрите вы! Бросьте эти штуки!
Растут у меня и дубы и буки,
Из них мне виселицы построят
Прекрасные. Пусть не беспокоят
Мои поступки вас. Не противясь,
Совет мой слушайте: рты на привязь!
А все преступники-резонеры,—
Публично их выпорют живодеры;
Пускай на каторге шерсть почешут.
А тех, что о восстании брешут,
Дробят мостовые для баррикады,—
Повешу я без всякой пощады.
Вот это, ослы, я внушить вам желал бы!
Теперь убираться я приказал бы».

Король закончил свое обращенье;
Ослы пришли в большое движенье;
Они прокричали: «И-а, и-а!
Да здравствует наш король! Ура!»

ОСЛЫ-ИЗБИРАТЕЛИ

Свобода наскучила в данный момент;
Республика четвероногих
Желает, чтобы один регент
В ней правил вместо многих.

Звериные роды собрались,
Листки бюллетеней писались;
Партийные споры начались,
Интриги завязались.

Стояли Старо-Ослы во главе
Ослиного Комитета;
Носили кокарды на голове
Черно-красного, с золотом, цвета.

Была еще партия жеребцов,
Но та голосов не имела;
Боялась свирепых Старо-Ослов,
Кричавших то и дело.

Когда ж кандидатом коня провел
По спискам один избиратель,
Прервал его серый Старо-Осел
И крикнул ему: «Ты предатель!

Предатель ты! И крови осла
Ни капли в тебе не струится;
Ты не осел! Тебя родила
Французская кобылица.

От зебры род, должно быть, твой,
Ты весь в полоску, как зебра,
И голоса тембр у тебя носовой,
Как голос еврея, негра.

А если ты и осел, то все ж
Осел от разума, хитрый,
Ты глуби ослиной души не поймешь,
Ее мистической цитры.

Но я, я всею душой вошел
В сладчайший этот голос,
Я есмь осел, мой хвост — осел,
Осел мой каждый волос.

Я не из римлян, не славянин,
Я из ослов немецких,
Я мыслящих предков храбрый сын,
И кряжистых и молодецких.

Они не играли в galanterie
Фривольными мелочами,
И быстро-бодро-свежо — раз-два-три —
На мельницу шли с мешками.

Отцы не умерли! В гробах
Одна лишь кожа с мехом,
Их тленная риза! Они в небесах
Приветствуют нас со смехом.

Ослы блаженные, в нимбе венца!
Мы следовать вам клянемся,
С путей добродетели до конца
Мы на волос не собьемся.

О, что за блаженство быть ослом!
Таких длинноухих сыном!
Со всех бы крыш кричать о том:
Рожден я в роде ослином!

Большой осел, что был мне отцом,
Он был из немецкого края,
Ослино-немецким молоком
Вскормила нас мать родная.

Я есмь осел, из самых ослов,
И всею душой и телом
Держусь я старых ослиных основ
И всей ослятины в целом.

И мы свой ослиный совет даем:
Осла на престол поставить;
Мы осломонархию оснуем,
Где только ослы будут править.

Мы все здесь ослы! И-а! И-а!
От лошадей свобода!
Долой коня! Виват! Ура!
Король ослиного рода!»

Так кончил патриот, и зал
Оратору дружно хлопал.
Тут каждый национальным стал
И бил копытом об пол.

Дубовый венок на его главу
Потом возложило собранье,
И он благодарил толпу,
Махая хвостом в молчанье.

МИХЕЛЬ ПОСЛЕ МАРТА

Немецкий Михель был с давних пор
Байбак, не склонный к проказам,
Я думал, что Март разожжет в нем задор:
Он стал выказывать разум.

Каких он чувств явил порыв,
Наш белобрысый приятель!
Кричал, дозволенное забыв,
Что каждый князь — предатель.

И музыку волшебных саг
Уже я слышал всюду.
Я, как глупец, попал впросак,
Почти поверив чуду.

Но ожил старый сброд, а с ним
И старонемецкие флаги.
Пред черно-красно-золотым
Умолкли волшебные саги.

Я знал эти краски, я видел не раз
Предвестья подобного рода.
Я угадал твой смертный час,
Немецкая свобода!

Я видел героев минувших лет,
Арндта, папашу Яна.
Они из могил выходили на свет,
Чтоб драться за кайзера рьяно.

Я увидал всех буршей вновь,
Безусых любителей рома,
Готовых, чтоб кайзер узнал их любовь,
Пойти на все, до погрома.

Попы, дипломаты (всякий хлам),
Адепты римского права,—
Творила единенья храм
Преступная орава.

А Михель пустил и свист и храп,
И скоро, с блаженной харей,
Опять проснулся как преданный раб
Тридцати четырех государей.

1649—1793—???

Невежливей, чем британцы, едва ли,
Цареубийцы на свете бывали.
Король их Карл, заточен в Уайтхолл,
Бессонную ночь перед казнью провел:
Под самым окном веселился народ
И с грохотом строили эшафот.

Французы немногим учтивее были:
В простом фиакре Луи Капета
Они на плаху препроводили,
Хотя, по правилам этикета,
Даже и при такой развязке
Надо возить короля в коляске.

Еще было хуже Марии-Антуанетте:
Бедняжке совсем отказали в карете;
Ее в двуколке на эшафот
Повез не придворный, а санкюлот.
Дочь Габсбурга рассердилась немало
И толстую губку надменно поджала.

Французам и бриттам сердечность чужда,
Сердечен лишь немец, во всем и всегда.
Он будет готов со слезами во взоре
Блюсти сердечность и в самом терроре.
А оскорбить монарха честь
Его не вынудит и месть.
Карета с гербом, с королевской короной,
Шестеркою кони под черной попоной,
Весь в трауре кучер и, плача притом,
Взмахнет он траурно-черным кнутом,—
Так будет король наш на плаху доставлен
И всепокорнейше обезглавлен.

СИМПЛИЦИССИМУС I

Несчастье скрутит одного,
Другому не под силу счастье;
Одних мужская злоба губит,
Других — избыток женской страсти.

Когда впервые встретились мы,
Ты чужд был щегольских ухваток
И рук плебейских еще не прятал
Под гладкой лайкой белых перчаток.

Сюртук, от старости зеленый,
Тогда носил ты; был он узок,
Рукав — до локтя, до пяток полы,—
Ни дать ни взять — хвосты трясогузок.

Косынку мамину в те дни
Носил ты как галстук, с видом франта,
И не покоил еще подбородка
В атласных складках тугого банта.

Почтенными были твои сапоги,
Как будто сшиты еще у Сакса,
Немецкой ворванью мазал ты их,
А не блестящей французской ваксой.

Ты мускусом не душился в те дни,
Ты не носил тогда ни лорнета,
Ни брачных цепей, ни литой цепочки,
Ни бархатного жилета.

По моде швабских кабачков,
Наипоследней, настоящей,
Ты был одет,— и все ж те годы —
Расцвет твоей поры блестящей.

Имел ты волосы на голове,
И под волосами жужжал победно
Высоких мыслей рой; а ныне
Как лыс и пуст твой череп бедный!

Исчез и твой лавровый венок —
А он бы плешь прикрыл хоть немножко.
Кто так обкорнал тебя? Поверь,
Ты схож с ободранною кошкой!

Тесть — шелкоторговец — дукаты копил,
А ты их в два счета пустил по ветру.
Старик вопит: «Из стихов немецких
Не выпрял шелка он ни метра».

И это — «Живой», который весь мир
Хотел проглотить — с колбасою прусской
И клецками швабскими и в Аид
Спровадил князя Пюклер-Мускау!

И это — рыцарь-скиталец, что встарь,
Как тот, Ламанчский, враг беззаконий,
Слал грозные письма жестоким монархам
В предерзком гимназическом тоне!

И это — прославленный генерал
Немецкой свободы, борец равноправья,
Картинно сидевший на лошади сивой,
Вожак волонтеров, не знавших бесславья!

Под ним был и сивый коняга бел,—
Как сивые кони давно уж замшелых
Богов и героев. Спаситель отчизны
Был встречен восторгом и кликами смелых.

То был виртуоз Франц Лист на коне,
Сновидец и враль, соперник гадалки,
Любимец мещан, фигляр и кривляка,
На роли героев актеришка жалкий.

И, как амазонка, рядом с ним
Супруга долгоносая мчалась:
Горели экстазом прекрасные очи,
Перо на шляпе задорно качалось.

Молва гласит: в час битвы жена
Напрасно боролась со страхом супруга:
Поджилки при залпах тряслись у него,
Кишечник сдавал, приходилось туго.

Она говорила: «Ты заяц иль муж,
Здесь места нет оглядке трусливой —
Здесь бой, где ждет нас победа иль гибель,
Игра, где корону получит счастливый.

Подумай о горе отчизны своей,
О бедах, нависших над нами.
Во Франкфурте ждет нас корона, и Ротшильд,
Как всех монархов, снабдит нас деньгами.

Как в мантии пышной ты будешь хорош!
Я слышу «виват!», что гремит, нарастая;
Я вижу: цветы нам бросает под ноги
Восторженных девушек белая стая».

Но тщетны призывы — и лучший из нас
Со злой антипатией сладит не скоро.
Как морщился Гете от вони табачной,
Так вянет наш рыцарь, нюхая порох.

Грохочут залпы. Герой побледнел.
Нелепые фразы он тихо бормочет,
Он бредит бессвязно... А рядом супруга
У длинного носа держит платочек.

Да, так говорят. А правда иль нет —
Кто знает? Все мы — люди, не боги.
И даже сам великий Гораций
Едва унес из битвы ноги.

Вот жребий прекрасного: сходит на нет
Певец наравне со всякою рванью.
Стихи на свалке, а сами поэты
В конце концов становятся дрянью.

КЛОП

I

Некий клоп залез на пятак
И, словно банкир, похвалялся так:
«Если денег имеешь много,
Всюду открыта тебе дорога.
С деньгами красив ты, с деньгами знатен,
Очаровательным дамам приятен.
Дамы бледнеют и дрожат,
Едва учуют мой аромат.
С самой королевой я спал, бывало,
Забравшись к ней ночью под одеяло.
На жарких перинах она металась
И беспрестанно всю ночь чесалась».

Веселый чиж, услыхав эту речь,
Решил похвальбу клопа пресечь.
В негодованье свой клюв отточив,
Насмешливый он просвистал мотив.

Но подлый клоп, испуская смрад,
Чижу отомстил на клопиный лад:
«Смотрите! Меня освистал мошенник
За то, что в долг ему не дал я денег!»

Ну, а мораль? Ее от вас
Пока благоразумно скрою.
Ведь сплочены между собою
Богатые клопы сейчас.
Подмяв задами мешки с чистоганом,
Ликуют в грохоте барабанном.

II

Семьи клопов! Ну, куда ни взгляни,—
Священный союз составляют они.
Также немало клопиных альянсов
Средь сочинителей скверных романсов
(Которые столь бездарны и серы,
Что не идут, как часы Шлезингера).
Тут и свой Моцарт есть — клоп-эстет,
Ведущий особым клопиным манером
С увенчанным лаврами Мейербером
Интрижку в течение долгих лет.
А с насекомых много ль возьмешь?
Рецензии пишет газетная вошь.
Елозит, врет, да и тиснет статейку
И до смерти рада, урвав копейку.
Притом меланхолии полон взгляд.
Публика верит из состраданья:
Уж больно обиженные созданья,
И вечно сердечки у них болят.
Тут стерпишь, пожалуй, любой поклеп.
Молчи, не противься,— ведь это ж — клоп.
Его бы, конечно, можно под ноготь,
Да, право, уж лучше не трогать.
А то попробуй такого тронь —
На целый свет подымет вонь!
Поэтому, думаю, безопасней
Пока отложить толкованье басни.

БРОДЯЧИЕ КРЫСЫ

На две категории крысы разбиты:
Одни голодны, а другие сыты.
Сытые любят свой дом и уют,
Голодные вон из дома бегут.

Бегут куда попало,
Без отдыха, без привала,
Бегут куда глядят глаза,
Им не помеха ни дождь, ни гроза.

Перебираются через горы,
Переплывают морские просторы,
Ломают шею, тонут в пути,
Бросают мертвых, чтоб только дойти.

Природа их обделила,
Дала им страшные рыла,
Острижены — так уж заведено —
Все радикально и все под одно.

Сии радикальные звери —
Безбожники, чуждые вере.
Детей не крестят. Семьи не ища,
Владеют женами все сообща.

Они духовно нищи:
Тело их требует пищи,
И, в поисках пищи влача свои дни,
К бессмертью души равнодушны они.

Крысы подобного склада
Не боятся ни кошек, ни ада.
У них ни денег, ни дома нет.
Им нужно устроить по-новому свет.

Бродячие крысы — о, горе! —
На нас накинутся вскоре.
От них никуда не спрячемся мы,
Они наступают, их тьмы и тьмы.

О, горе, что будет с нами!
Они уже под стенами,
А бургомистр и мудрый сенат,
Не зная, что делать, от страха дрожат.

Готовят бюргеры порох,
Попы трезвонят в соборах,—
Морали и государства оплот,
Священная собственность прахом пойдет!

О нет, ни молебны, ни грохот набата,
Ни мудрые постановленья сената,
Ни самые сильные пушки на свете
Уже не спасут вас, милые дети!

Вас не поддержат в час паденья
Отжившей риторики хитросплетенья,
Крысы не ловятся на силлогизмы,
Крысы прыгают через софизмы.

Голодное брюхо поверить готово
Лишь логике супа и факту жаркого,
Лишь аргументам, что пахнут салатом,
Да геттингенским колбасо-цитатам.

Треска бессловесная в масле горячем
Нужней таким радикалам бродячим,
Чем Мирабо, чем любой Цицерон,
Как бы хитро ни витийствовал он.

* * *

В Германии, в дорогой отчизне,
Все любят вишню, древо жизни,
Все тянутся к ее плоду,
Но пугало стоит в саду.

Каждый из нас, точно птица,
Чертовой рожи боится.
Но вишня каждое лето цветет,
И каждый песнь отреченья поет.

Хоть вишня сверху и красна,
Но в косточке смерть затаила она.
Лишь в небе создал вишни
Без косточек всевышний.

Бог-сын, бог-отец, бог — дух святой,—
Душой прилепились мы к троице той,
И, к ним уйти с земли спеша,
Грустит немецкая душа.

Лишь на небе вовеки
Блаженны человеки,
А на земле все грех да беда,—
И кислые вишни, и горе всегда.

ИЗ «МАТРАЦНОЙ МОГИЛЫ»

* * *

Причудам дерзостно и смело
Я жизнью жертвовал всегда.
Я проиграл, но не беда,—
Не ты ли, сердце, так хотело!

Как говорят: «Блаженны люди,
Когда куют судьбу свою!»
Я жизнь растратил — признаю,—
Но я не изменял причуде.

Хоть кратко счастье достиженья,
Хоть быстротечен был обман,—
Тому ли, кто блаженством пьян,
Считать блаженные мгновенья!

Ведь счастье — вечности равно,
И что там время, что пространство,
Где всех огней непостоянство
В один костер сольет оно!

* * *

В их поцелуях крылся путь к изменам,
От них я пьян был виноградным соком,
Но смертный яд с ним выпил ненароком,
Благодаря кузинам и кузенам.

Спасенья нет моим гниющим членам,
Прирос к одру я неподвижным боком,
Погибла жизнь в объятье их жестоком,
Благодаря кузинам и кузенам.

Пусть я крещен,— есть след в церковной книге —
И надо бы мне, прежде чем остынуть,
Дать отпущенье им в моих несчастьях,—

Но легче мне, в мечтах о смертном миге,
Их не простить — безжалостно проклясть их:
Дай, боже, им измучиться и сгинуть!

ОРФЕИСТИЧЕСКОЕ

Недобрый дух в недобрый день
Тебе вручил убийцы нож кровавый.
Не знаю, кто был этот дух,
Но рану жгло мучительной отравой.

Во мраке ночи, мнится мне,
Ты явишься, жилец иного света,
Раскрыть мне тайну, клятву дать,
Что был не ты убийцею поэта.

Я жду тебя, приди, приди!
Иль сам сойду в геенну за тобою
И вырву правду у тебя
Пред сонмами чертей, пред сатаною.

Пройду, как древле шел Орфей,
Пройду средь воплей, скрежета и смрада,
И верь мне, я найду тебя,
Хоть скройся в безднах глубочайших ада!

Туда, туда, где царство мук,
Где вторит воплю хохот беспощадный!
С тебя личину я сорву,
Великодушья пурпур маскарадный.

Я знаю все, что знать хотел,
Ты мной прощен, моей виновник смерти,
Но мне ли охранять того,
Кому в лицо плюют с презреньем черти!

* * *

«Да не будет он помянут!» —
В лютой скорби так кричала
Эстер Вольф, и речь старухи
Крепко в сердце мне запала.

Да о нем сотрется память,
Да во мрак забвенья канут
Все преданья о проклятом!
Да не будет он помянут!

Сердце, сердце, плачь и сетуй,
Что в страданьях годы вянут,
Но о нем ни слова больше!
Да не будет он помянут!

Да не будет он помянут
Ни в речах, ни в книгах, братья!
Смрадный пес, во гробе смрадном
Да сгноят тебя проклятья!

И когда фанфары гнева
В страшный день на суд господний
Сонмы грешников усопших
Воззовут из преисподней,

И пред божиим престолом
Души бледные предстанут,
И прочтет архангел списки,—
Да не будет он помянут!

* * *

В диком бешенстве ночами
Потрясаю кулаками
Я с угрозой, но без сил
Никнут руки — так я хил!

Плотью, духом изможденный,
Гибну я, неотомщенный.
Даже кровная родня
Мстить не станет за меня.

Кровники мои, не вы ли
Сами же меня сгубили?
Ах! Измены черной дар —
Тот предательский удар.

Словно Зигфрида-героя,
Ранили меня стрелою —
Ведь узнать легко своим,
Где их ближний уязвим.

* * *

Тот, в ком сердце есть, кто в сердце
Скрыл любовь, наполовину
Побежден, и оттого я,
Скованный, лежу и стыну.

А едва умру, язык мой
Тотчас вырежут — от страха,
Что поэт и мертвый может
Говорить, восстав из праха.

Молча я сгнию в могиле
И на суд людской не выдам
Тех, кто подвергал живого
Унизительным обидам.

* * *

Вечность, ох, как ты долга!
Потерял векам я счет.
Долго жарюсь я, но ад
До сих пор жаркого ждет.

Вечность, ох, как ты долга!
Потерял векам я счет.
Но однажды и меня
Черт с костями уплетет.

* * *

Грубости средневековья
Вытеснил расцвет искусства,
Просвещенью служит ныне
Главным образом рояль.

А железные дороги
Укрепляют наши семьи —
Ведь они нам помогают
Жить подальше от родных.

Жалко только, что сухотка
Моего спинного мозга
Скоро вынудит покинуть
Этот прогрессивный мир.

* * *

Час за часом, дни и годы,
Как улитки-тихоходы,
Те, чьи рожки вдаль простерты,
Груз влачат свой полумертвый.

Лишь порой, в пустотах дали,
Лишь порой, сквозь мглу печали,
Свет блеснет неповторимый,
Как глаза моей любимой.

Но в одно мгновенье ока —
Нет виденья, и глубоко
Погружаюсь я в сознанье
Всей бездонности страданья.

* * *

Я жалил стихом и ночью и днем
Мужчин и девиц степенных —
Дурачеств много творил я притом,
С умом же пропал совершенно.

Зачав, служанка родила —
К чему хулить природу?
Чья жизнь без глупостей прошла,
Тот мудрым не был сроду.

* * *

В мозгу моем пляшут, бегут и шумят
Леса, холмы и долины.
Сквозь дикий сумбур я вдруг узнаю
Обрывок знакомой картины.

В воображенье встает городок,
Как видно, наш Годесберг древний.
Я вновь на скамье под липой густой
Сижу перед старой харчевней.

Так сухо во рту, будто солнце я съел,
Я жаждой смертельной измаян!
Вина мне! Из лучшей бочки вина!
Скорей наливайте, хозяин!

Течет, течет в мою душу вино,
Кипит, растекаясь по жилам,
И тушит попутно в гортани моей
Пожар, зажженный светилом.

Еще мне кружку! Я первую пил
Без должного восхищенья,
В какой-то рассеянности тупой.
Вино, я прошу прощенья!

Смотрел я на Драхенфельс, в блеске зари
Высокой романтики полный,
На отраженье руин крепостных,
Глядящихся в рейнские волны.

Я слышал, как пел виноградарь в саду
И зяблик — в кустах молочая.
Я пил без чувства, и о вине
Не думал, вино поглощая.

Теперь же я, сунув нос в стакан,
Вино озираю сначала
И после уж пью. А могу и теперь,
Не глядя, хлебнуть как попало.

Но что за черт! Пока я пью,
Мне кажется, стал я двоиться.
Мне кажется, точно такой же, как я,
Пьянчуга напротив садится.

Он бледен и худ, ни кровинки в лице,
Он выглядит слабым и хворым
И так раздражающе смотрит в глаза,
С насмешкой и горьким укором.

Чудак утверждает, что он — это я,
Что мы с ним одно и то же,
Один несчастный больной человек
В бреду, на горячечном ложе,

Что здесь не харчевня, не Годесберг,
А дальний Париж и больница...
Ты лжешь мне, бледная немочь, ты лжешь!
Не смей надо мною глумиться!

Смотри, я здоров и как роза румян,
Я так силен — просто чудо!
И если рассердишь меня, берегись!
Тебе придется худо!

«Дурак!» — вздохнул он, плечами пожав,
И это меня взорвало.
Откуда ты взялся, проклятый двойник?
Я начал дубасить нахала.

Но странно, свое второе «я»
Наотмашь я бью кулаками,
А шишки наставляю себе,
Я весь покрыт синяками.

От этой драки внутри у меня
Все пересохло снова.
Хочу вина попросить — не могу,
В губах застревает слово.

Я грохаюсь об пол и, словно сквозь сон,
Вдруг слышу: «Примочки к затылку
И снова микстуру — по ложке в час,
Пока не кончит бутылку».

* * *

Землю губит злой недуг.
Расцветет — и вянет вдруг
Все, что свежестью влекло,
Что прекрасно и светло.

Видно, стал над миром косным
Самый воздух смертоносным
От миазмов ядовитых
Предрассудков неизжитых.

Налетев слепою силой,
Розы женственности милой
От весны, тепла и света
Смерть уносит в день расцвета.

Гордо мчащийся герой
В спину поражен стрелой,
И забрызганные ядом
Лавры достаются гадам.

Чуть созревшему вчера
Завтра гнить придет пора,
И, послав проклятье миру,
Гений разбивает лиру.

О, недаром от земли
Звезды держатся вдали,
Чтоб земное наше зло
Заразить их не могло.

Нет у мудрых звезд желанья
Разделить с людьми страданья,
Позабыть, как род людской,
Свет и счастье, жизнь, покой.

Нет желанья вязнуть в тине,
Погибать, как мы, в трясине,
Или жить в помойной яме,
Полной смрадными червями.

Их приют — в лазури тихой
Над земной неразберихой,
Над враждой, нуждой и смертью,
Над проклятой коловертью.

Сострадания полны,
Молча смотрят с вышины,
И слезинка золотая
Наземь падает, блистая.

ЦИТРОНИЯ

То были детские года,
Я платьице носил тогда,
Я в школу только поступил,
Едва к ученью приступил.
Двенадцать девочек — вся школа,
Лишь я — герой мужского пола.
В клетушке-комнатке с утра
Весь день возилась детвора,—
Писк, лепет, щебетанье, гам,
Как будто птички были там;
Читали хором по складам,
А фрау Гиндерман — барбос,
Украсивший очками нос
(То был скорее клюв совы),—

Качая головой, увы,
Сидела с розгой у стола
И больно малышей секла
За то, что маленький пострел
Невинно нашалить посмел,
Вмиг задирался низ рубашки,
И полушария бедняжки,
Что так малы и так милы,
Порой, как лилии, белы,
Как розы алы, как пионы,—
Ах, эти нежные бутоны,
Избиты старою каргой,
Сплошь покрывались синевой!
Позор и поруганье, дети,—
Удел прекрасного на свете.

Цитрония, волшебный край,—
Так звал я то, что невзначай
У Гиндерман открылось мне,
Подобно солнцу и весне,
Так нежно, мягко, идеально,
Цитронно-ярко и овально,
Так мило, скромно, смущено
И гнева гордого полно.
Цветок любви моей, не скрою,
Навеки я пленен тобою!
Стал мальчик юношей, а там —
Мужчиною по всем правам.
И — чудо! — золотые сны
Ребенка в явь воплощены.
То, чем я бредил в тьме ночной,
Живое ходит предо мной.
Ко мне доносится сквозь платье
Прелестный запах, но — проклятье! —
На что глядел бы я веками,
То скрыто от меня шелками!
Завесой тоньше паутины
Лишен я сладостной картины,—
Закрыла ткань волшебный край,
Цитронию, мой светлый рай!

Стою, как царь Тантал: дразня,
Фантом уходит от меня.

Как будто волей злого мага —
Бежит от губ сожженных влага.
Мой плод желанный так жесток,—
Он близок, но, увы, далек!
Кляну злодея-червяка,
Что на ветвях прядет шелка,
Кляну ткача, что из шелков,
Из этой пряжи ткет покров,
Тафту для пакостных завес,
Закрывших чудо из чудес —
Мой солнечный, мой светлый рай,
Цитронию — волшебный край!

Порой, забывшись, как в чаду,
В безумье бешенства, в бреду
Готов я дерзостной рукой
Сорвать тот полог роковой,
Покров, дразнящий сладострастье,
Схватить мое нагое счастье!
Но, ах! Есть ряд соображений
Не в пользу таковых движений,
Нам запретил морали кодекс
Посягновение на podex.

Послесловие

Без прикрас, в укромном месте
Расскажу я вам по чести
Очень точно и правдиво,
Что Цитрония за диво.
А пока — кто понял нас —
Чур молчать! — заверю вас,
Что искусство есть обман,
Некий голубой туман.

Что ж являл собой подснежный
Голубой цветок, чей нежный
Романтический расцвет
Офтердингеном воспет?
Синий нос крикливой тетки,
Что скончалась от чахотки
В заведенье для дворян?
Чей-то голубой кафтан?

Иль, быть может, цвет подвязки,
Что с бедра прелестной маски
Соскользнула в контрдансе?
Honni soit qui mal y pense [1].

К ТЕЛЕОЛОГИИ

(Отрывок)

Для движенья — труд нелишний! —
Две ноги нам дал всевышний,
Чтоб не стали мы все вместе,
Как грибы, торчать на месте.
Жить в застое род людской
Мог бы и с одной ногой.

Дал господь два глаза нам,
Чтоб мы верили глазам.
Верить книгам да рассказам
Можно и с единым глазом,—
Дал два глаза нам всесильный,
Чтоб могли мы видеть ясно,
Как, на радость нам, прекрасно
Он устроил мир обильный.
А средь уличного ада
Смотришь в оба поневоле:
Чтоб не стать, куда не надо,
Чтоб не отдавить мозоли,—
Мы ведь горькие страдальцы,
Если жмет ботинок пальцы.

Две руки даны нам были,
Чтоб вдвойне добро творили,—
Но не с тем, чтоб грабить вдвое,
Прикарманивать чужое,
Набивать свои ларцы
Как иные молодцы.
(Четко их назвать и ясно
Очень страшно и опасно.

[1] Пусть будет стыдно тому, кто подумает об этом дурно *(франц.)*.

Удавить! Да вот беда:
Всё большие господа —
Меценаты, филантропы,
Люди чести, цвет Европы!
А у немцев нет сноровки
Для богатых вить веревки.)

Нос *один* лишь дал нам бог,
Два нам были бы не впрок:
Сунув их в стакан, едва ли
Мы б вина не разливали.

Бог нам дал *один* лишь рот,
Ибо два — большой расход.
И с одним сыны земли
Наболтали, что могли,—
А двуротый человек
Жрал и лгал бы целый век.
Так — пока во рту жратва,
Не бубнит людское племя,
А имея сразу два —
Жри и лги в любое время.

Нам господь два уха дал.
В смысле формы — идеал!
Симметричны и равны
И чуть-чуть не столь длинны,
Как у серых, не злонравных
Наших родственников славных.
Дал господь два уха людям,
Зная, что любить мы будем
То, что пели Моцарт, Глюк...
Будь на свете только стук,
Грохот рези звуковой,
Геморроидальный вой
Мейербера — для него
Нам хватило б одного.

Тевтелинде в поученье
Врал я так на всех парах,
Но она сказала: «Ах!
Божье обсуждать решенье,

Сомневаться, прав ли бог,—
Ах, преступник! Ах, безбожник!
Видно, захотел сапог
Быть умнее, чем сапожник!
Но таков уж нрав людской:
Чуть заметим грех какой —
Почему да почему?..
Друг, я верила б всему!
Мне понятно то, что бог
Мудро дал нам пару ног,
Глаз, ушей и рук по паре,
Что в одном лишь экземпляре
Подарил нам рот и нос.
Но ответь мне на вопрос:
Почему творец светил
Столь небрежно упростил
Ту срамную вещь, какой
Наделен весь пол мужской,
Чтоб давать продленье роду
И сливать вдобавок воду?
Друг ты мой, иметь бы вам
Дубликаты для раздела
Сих важнейших функций тела,—
Ведь они, по всем правам,
Сколь для личности важны,
Столь, равно, и для страны.
Девушку терзает стыд
От сознанья, что разбит
Идеал ее, что он
Так банально осквернен.
И тоска берет Психею:
Ведь какой свершила тур,
А под лампой стал пред нею
Меннкен-Писсом бог Амур!»

Но на сей резон простой
Я ответил ей: «Постой,
Скуден женский ум и туг!
Ты не видишь, милый друг,
Смысла функций, в чьем зазорном,
Отвратительном, позорном,
Ужасающем контрасте —
Вечный срам двуногой касте.

Пользу бог возвел в систему:
В смене функции машин
Для потребностей мужчин
Экономии проблему
Разрешил наш властелин.
Нужд вульгарных и священных,
Нужд пикантных и презренных
Существо упрощено,
Воедино сведено.
Та же вещь мочу выводит
И потомков производит,
В ту же дудку жарит всяк —
И профессор и босяк.
Грубый перст и пальчик гибкий —
Оба рвутся к той же скрипке.
. . . . . .
Каждый пьет, и жрет, и дрыхнет,
И все тот же фаэтон
Смертных мчит за Флегетон».

* * *

Завидовать жизни любимцев судьбы
Смешно мне, но я поневоле
Завидовать их смерти стал —
Кончине без муки, без боли.

В роскошных одеждах, с венком на челе,
В разгаре веселого пира,
Внезапно скошенные серпом,
Они уходят из мира.

И, мук предсмертных не испытав,
До старости бодры и юны,
С улыбкой покидают жизнь
Все фавориты фортуны.

Сухотка их не извела,
У мертвых приличная мина.
Достойно вводит их в свой круг
Царевна Прозерпина.

Завидный жребий! А я семь лет,
С недугом тяжким в теле,
Терзаюсь — и не могу умереть,
И корчусь в моей постели.

О господи, пошли мне смерть,
Внемли моим рыданьям!
Ты сам ведь знаешь, у меня
Таланта нет к страданьям.

Прости, но твоя нелогичность, господь,
Приводит в изумленье.
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроенье!

От боли веселый мой нрав зачах,
Ведь я уже меланхолик!
Кончай эти шутки, не то из меня
Получится католик!

Тогда я вой подниму до небес,
По обычаю добрых папистов.
Не допусти, чтоб так погиб
Умнейший из юмористов!

* * *

В часах песочная струя
Иссякла понемногу.
Сударыня ангел, супруга моя,
То смерть меня гонит в дорогу.

Смерть из дому гонит меня, жена,
Тут не поможет сила.
Из тела душу гонит она,
Душа от страха застыла.

Не хочет блуждать неведомо где,
С уютным гнездом расставаться,
И мечется, как блоха в решете,
И молит: «Куда ж мне деваться?»

Увы, не поможешь слезой да мольбой,
Хоть плачь, хоть ломай себе руки!
Ни телу с душой, ни мужу с женой
Ничем не спастись от разлуки.

ЛОТОС

Поистине, мы образуем
Курьезнейший дуэт:
Любовница еле ходит,
Любовник тощ, как скелет.

Она страдает, как кошка,
А он замучен, как пес.
Рассудок достойной пары
Как видно, лукавый унес.

Любовница лотосом нежным
Себя возомнила, и в тон
Себя выдает за месяц
Поджарый селадон.

Но только пред месяцем лотос
Раскроется, в лоно цветка
Не жизнь плодоносная льется,
А жалкая строка.

* * *

Пытай меня, избей бичами,
На клочья тело растерзай,
Рви раскаленными клещами,—
Но только ждать не заставляй!

Пытай жестоко, ежечасно,
Дроби мне кисти ног и рук,
Но не вели мне ждать напрасно,—
О, это горше лютых мук!

Весь день прождал я, изнывая,
Весь день — с полудня до шести! —
Ты не пришла, колдунья злая,
Пойми, я мог с ума сойти!

Меня душило нетерпенье
Кольцом удава, стыла кровь,
На стук я вскакивал в смятенье,
Но ты не шла,— я падал вновь...

Ты не пришла,— беснуюсь, вою,
А дьявол дразнит: «Ей-же-ей,
Твой нежный лотос над тобою
Смеется, старый дуралей!»

МУШКЕ

Я видел сон: луной озарены,
Кругом теснились бледные виденья —
Обломки величавой старины,
Разбитые шедевры Возрожденья.

Лишь кое-где, дорически строга,
Нетронутая гибелью колонна,
Глумясь, глядела в твердь, как на врага,
Перед ее громами непреклонна.

Повержены, кругом простерлись ниц
Порталы, изваянья, колоннады,—
Застывший мир людей, зверей и птиц,
Кентавры, сфинксы, божества и гады.

Немало статуй женских из травы,
Из сорняков глядело ввысь уныло;
И время, злейший сифилис,— увы! —
Изящный нос наяды провалило.

И я увидел древний саркофаг,
Он уцелел под грудами развалин.
Там некто спал, вкусивший вечных благ,
И тонкий лик был нежен и печален.

Кариатиды, в скорби онемев,
Держали гроб недвижно и сурово,
А по бокам чеканный барельеф
Изображал события былого.

И мне предстал Олимп, гора богов,
Развратные языческие боги;
С повязками из фиговых листков
Адам и Ева, полные тревоги.

И мне предстал горящий Илион,
Ахилл и Гектор в беге беспримерном,
И Моисей, и дряхлый Аарон,
Эсфирь, Юдифь и Гаман с Олоферном.

И были там Амур, шальной стрелок,
И госпожа Венера, и Меркурий,
Приап, Силен, и Бахус, пьяный бог,
И сам Плутон, владыка злобных фурий.

А рядом — мастер говорить красно,
Преславная ослица Валаама;
Там — Лот, бесстыдно хлещущий вино,
Здесь — жертвоприношенье Авраама.

Там голову Крестителя несут,
И пляшет пред царем Иродиада;
Здесь Петр-ключарь, и рай, и Страшный суд,
И сатана над черной бездной ада.

А тут Юпитер соблазняет жен,
Преступный лик в личине чуждой спрятав:
Как лебедь, был он с Ледой сопряжен,
Прельстил Данаю ливнем из дукатов.

За ним Диана в чаще вековой,
И свора псов над их добычей жалкой,
И Геркулес — неистовый герой —
Сидит в одежде женщины за прялкой.

Святой Синай главу в лазурь вознес,
Внизу Израиль пляшет пред шатрами,
За ними отрок Иисус Христос —
Он спорит с ортодоксами во храме.

Прекрасный грек — и мрачный иудей!
Везде контраст пред любопытным взором;
И ярый хмель, как хитрый чародей,
Опутал все причудливым узором.

Но странный бред! Покуда без конца
Передо мной легенды проходили,
Себя узнал я в лике мертвеца,
Что тихо грезил в мраморной могиле.

Над головой моею рос цветок,
Пленявший ум загадочною формой.
Лилово-желт был каждый лепесток,—
Их красота приковывала взор мой.

Народ его назвал цветком страстей.
Он на Голгофе вырос, по преданью,
Когда Христос приял грехи людей
И кровь его текла священной данью.

О крови той свидетельствует он —
Так говорят доверчивые люди,—
И в чашечке цветка запечатлен
Был весь набор мучительных орудий —

Все, чем палач воспользоваться мог,
Что изобрел закон людей суровый:
Щипцы и гвозди, крест и молоток,
Веревка, бич, копье, венец терновый.

Цветок, дрожа, склонялся надо мной,
Лобзал меня, казалось, полный муки;
Как женщина, в тоске любви немой
Ласкал мой лоб, мои глаза и руки.

О, волшебство! О, незабвенный миг!
По воле сна цветок непостижимый
Преобразился в дивный женский лик,—
И я узнал лицо моей любимой.

Дитя мое! В цветке таилась ты,
Твою любовь мне возвратили грезы;
Подобных ласк не ведают цветы,
Таким огнем не могут жечь их слезы!

Мой взор затмила смерти пелена,
Но образ твой был снова предо мною;
Каким восторгом ты была полна,
Сияла вся, озарена луною.

Молчали мы! Но сердце — чуткий слух,
Когда с другим дано ему слиянье;
Бесстыдно слово, сказанное вслух,
И целомудренно любовное молчанье.

Молчанье то красноречивей слов!
В нем не найдешь метафор округленных,
Им скажешь все без фиговых листков,
Без ухищрений риторов салонных.

Безмолвный, но чудесный разговор,
Одна лишь мысль, без отзыва, без эха!
И ночь летит, как сон, как метеор,
Вся сплетена из трепета и смеха.

Не спрашивай о тайне тех речей!
Спроси, зачем блестит светляк полночный,
Спроси волну, о чем поет ручей,
Спроси, о чем грустит зефир восточный,

Спроси, к чему цветам такой убор,
Зачем алмаз горит в земной утробе,—
Но не стремись подслушать разговор
Цветка страстей и спящего во гробе.

Лишь краткий миг в покое гробовом,
Завороженный, пил я наслажденье.
Исчезло все, навеянное сном,
Растаяло волшебное виденье.

О смерть! Лишь ты, всесильна, как судьба,
Даруешь нам блаженства сладострастье;
Разгул страстей, без отдыха борьба —
Вот глупой жизни призрачное счастье!

Как метеор, мой яркий сон мелькнул,
В блаженство грез ворвался грохот мира,
Проклятья, спор, многоголосый гул,—
И мой цветок увял, поникнув сиро.

Да, за стеной был грохот, шум и гам,
Я различал слова свирепой брани,—
Не барельефы ль оживали там
И покидали мраморные грани?

Иль призрак веры в схемах ожил вновь,
И камень с камнем спорит, свирепея,
И с криком Пана, леденящим кровь,
Сплетаются проклятья Моисея?

Да, Истине враждебна Красота,
Бесплоден спор, и вечны их разлады,
И в мире есть две партии всегда:
Здесь — варвары, а там — сыны Эллады.

Проклятья, брань, какой-то дикий рев!
Сей нудный диспут мог бы вечно длиться,
Но, заглушив пророков и богов,
Взревела Валаамова ослица.

И-а! И-а! Визжал проклятый зверь,—
И он туда ж, в премудрый спор пустился!
Как вспомню, дрожь берет еще теперь,
Я сам завыл со сна — и пробудился.

ОТХОДЯЩИЙ

Все замерло в груди моей:
Волненье, суета страстей,
И гордой ненависти след
Едва не замер, и даже нет
Сознанья своих или чуждых невзгод —
Лишь смерть одна во мне живет!

Но вот и занавес упал!
Зевая, покидает зал
Моя немецкая публика,
Она не валяет дурака,
О чем ей в жизни унывать? —
Поест, попьет и ляжет спать.

Был прав достойный сын Пелея,
Роптавший горько в «Одиссее»:
«Живой филистер, самый мизерный,
На Неккаре в Штуккерте, счастливей, наверно,
Чем я, Пелид, бездыханный герой,
Я, призрак, царящий над мертвой толпой».

Париж. Итальянский бульвар

Цветная литография по рисунку В. Вильде

1840-е годы

ПОСВЯЩЕНИЯ. ФРАГМЕНТЫ

К СВЕДЕНИЮ

Нет, филистер духом скуден,
Тупоумен, черств и нуден,—
Эту тварь дразнить не стоит.
Только умный, сердцем чуткий,
В нашей острой, легкой шутке
Дружбу и любовь откроет.

МОЕМУ БРАТУ МАКСУ

Макс! Так ты опять, проказник,
Едешь к русским! То-то праздник!
Ведь тебе любой трактир —
Наслаждений целый мир!

С первой встречною девчонкой
Ты под гром валторны звонкой,
Под литавры — тра-ра-ра! —
Пьешь и пляшешь до утра.

И бутылок пять осиля,—
Ты и тут не простофиля,—
Полон Вакхом, как начнешь,
Феба песнями забьешь!

Мудрый Лютер так и рубит:
Лишь дурак пустой не любит
Женщин, песен и вина,—
Это знал ты, старина.

Пусть судьба тебя ласкает,
Пусть бокал твой наполняет,—
И сквозь жизнь, справляя пир,
Ты пройдешь, как сквозь трактир.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Я написал эту поэму в январе месяце нынешнего года, и вольный воздух Парижа, пронизавший мои стихи, чрезмерно заострил многие строфы. Я не преминул немедленно смягчить и вырезать все несовместимое с немецким климатом. Тем не менее, когда в марте месяце рукопись была отослана в Гамбург моему издателю, последний поставил мне на вид некоторые сомнительные места. Я должен был еще раз предаться роковому занятию — переделке рукописи, и тогда-то серьезные тона померкли или были заглушены веселыми бубенцами юмора. В злобном нетерпении я снова сорвал с некоторых голых мыслей фиговые листочки и, может быть, ранил иные чопорно-неприступные уши. Я очень сожалею об этом, но меня утешает сознание, что и более великие писатели повинны в подобных преступлениях. Я не имею в виду Аристофана, так как последний был слепым язычником, и его афинская публика, хотя и получила классическое образование, мало считалась с моралью. Уж скорее я мог бы сослаться на Сервантеса и Мольера: первый писал для высокой знати обеих Кастилий, а второй — для великого короля и великого версальского двора! Ах, я забываю, что мы живем в крайне буржуазное время, и с сожалением предвижу, что многие дочери образованных сословий, населяющих берега Шпрее, а то и Альстера, сморщат по адресу моих бедных стихов свои более или менее горбатые носики. Но с еще большим прискорбием я предвижу галдеж фарисеев национализма, которые разделяют антипатии правительства, пользуются любовью и уважением цензуры и задают тон в газетах, когда дело идет о нападении на иных врагов, являющихся одновременно врагами их высочайших повелителей. Наше сердце

достаточно вооружено против негодования этих лакеев в черно-красно-золотых ливреях. Я уже слышу их пропитые голоса: «Ты оскорбляешь даже наши цвета, предатель отечества, французофил, ты хочешь отдать французам свободный Рейн!»

Успокойтесь! Я буду уважать и чтить ваши цвета, если они этого заслужат, если перестанут быть забавой холопов и бездельников. Водрузите черно-красно-золотое знамя на вершине немецкой мысли, сделайте его стягом свободного человечества, и я отдам за него кровь моего сердца.

Успокойтесь! Я люблю отечество не меньше, чем вы. Из-за этой любви я провел тринадцать лет в изгнании, но именно из-за этой любви возвращаюсь в изгнание, может быть навсегда, без хныканья и кривых страдальческих гримас. Я французофил, я друг французов, как и всех людей, если они разумны и добры; я сам не настолько глуп или зол, чтобы желать моим немцам или французам, двум избранным великим народам, свернуть себе шею на благо Англии и России, к злорадному удовольствию всех юнкеров и попов земного шара. Успокойтесь! Я никогда не уступлю французам Рейна, уже по той простой причине, что Рейн принадлежит мне. Да, мне принадлежит он по неотъемлемому праву рождения,— я вольный сын свободного Рейна, но я еще свободнее, чем он; на его берегу стояла моя колыбель, и я отнюдь не считаю, что Рейн должен принадлежать кому-то другому, а не детям его берегов.

Эльзас и Лотарингию я не могу, конечно, присвоить Германии с такой же легкостью, как вы, ибо люди этих стран крепко держатся за Францию, благодаря тем правам, которые дала им Французская революция, благодаря законам равенства и тем свободам, которые так приятны буржуазной душе, но для желудка масс оставляют желать многого. А между тем Эльзас и Лотарингия снова примкнут к Германии, когда мы закончим то, что начали французы, когда мы опередим их в действии, как опередили уже в области мысли, если мы взлетим до крайних выводов и разрушим рабство в его последнем убежище — на небе, когда бога, живущего на земле в человеке, мы спасем от его униженья, когда мы станем освободителями бога, когда бедному, обездоленному народу, осмеянному гению и опозоренной красоте мы вернем их прежнее величие, как говорили и пели наши великие мастера и как хотим этого мы — их ученики. Да, не только Эльзас и Лотарингия, но вся Франция станет нашей, вся Европа, весь мир — весь мир будет немецким! О таком назначении и всемирном господстве Германии я часто мечтаю, бродя под дубами. Таков *мой* патриотизм.

В ближайшей книге я вернусь к этой теме с крайней решимостью, с полной беспощадностью, но, конечно, и с полной лояльностью. Я с уважением встречу самые резкие нападки, если они будут продиктованы искренним убеждением. Я терпеливо прощу и злейшую враждебность. Я отвечу даже глупости, если она будет честной. Но все мое молчаливое презрение я брошу беспринципному ничтожеству, которое из жалкой зависти или нечистоплотных личных интересов захочет опорочить в общественном мнении мое доброе имя, прикрывшись маской патриотизма, а то, чего доброго,— и религии или морали. Иные ловкачи так умело пользовались для этого анархическим состоянием нашей литературно-политической прессы, что я только диву давался. Поистине, Шуфтерле не умер, он еще жив и много лет уже стоит во главе прекрасно организованной банды литературных разбойников, которые обделывают свои делишки в богемских лесах нашей периодической прессы, сидят, притаившись, за каждым кустом, за каждым листком, и повинуются малейшему свисту своего достойного атамана.

Еще одно слово. «Зимняя сказка» замыкает собою «Новые стихотворения», которые в данный момент выходят в издательстве Гофмана и Кампе. Чтобы добиться выхода поэмы отдельной книгой, мой издатель должен был представить ее на особое рассмотрение властей предержащих, и новые варианты и пропуски являются плодом этой высочайшей критики.

Генрих Гейне

Гамбург, 17 сентября 1844 года

ПРОЩАНИЕ С ПАРИЖЕМ

Прощай, Париж, прощай, Париж,
Прекрасная столица,
Где все ликует и цветет,
Поет и веселится!

В моем немецком сердце боль,
Мне эта боль знакома,
Единственный врач исцелил бы меня —
И он на севере, дома.

Он знаменит уменьем своим,
Он лечит быстро и верно,
Но, признаюсь, от его микстур
Мне уж заранее скверно.

Прощай, чудесный французский народ,
Мои веселые братья!
От глупой тоски я бегу, чтоб скорей
Вернуться в ваши объятья.

Я даже о запахе торфа теперь
Вздыхаю не без грусти,
Об овцах в Люнебургской степи,
О репе, о капусте,

О грубости нашей, о табаке,
О пиве, пузатых бочках,
О толстых гофратах, ночных сторожах,—
О розовых пасторских дочках.

И мысль увидеть старушку мать,
Признаться, давно я лелею.
Ведь скоро уже тринадцать лет,
Как мы расстались с нею.

Прощай, моя радость, моя жена,
Тебе не понять эту муку.
Я так горячо обнимаю тебя —
И сам тороплю разлуку.

Жестоко терзаясь,— от счастья с тобой,
От высшего счастья бегу я.
Мне воздух Германии нужно вдохнуть,
Иль я погибну, тоскуя.

До боли доходит моя тоска,
Мой страх, мое волненье.
Предчувствуя близость немецкой земли,
Нога дрожит в нетерпенье.

Но скоро, надеюсь, я стану здоров,—
Опять в Париж прибуду
И к Новому году тебе привезу
Подарков целую груду.

ГЛАВА I

То было мрачной порой ноября.
Хмурилось небо сурово.
Дул ветер. Холодным, дождливым днем
Вступал я в Германию снова.

И вот я увидел границу вдали,
И сразу так сладко и больно
В груди защемило. И, что таить,—
Я прослезился невольно.

Но вот я услышал немецкую речь.
И даже выразить трудно:
Казалось, что сердце кровоточит,
Но сердцу было так чудно!

То пела арфистка — совсем дитя,
И был ее голос фальшивым,
Но чувство правдивым. Я слушал ее,
Растроганный грустным мотивом.

И пела она о муках любви,
О жертвах, о свиданье
В том лучшем мире, где душе
Неведомо страданье.

И пела она о скорби земной,
О счастье, так быстро летящем,
О райских садах, где потонет душа
В блаженстве непреходящем.

То старая песнь отреченья была,
Легенда о радостях неба,
Которой баюкают глупый народ,
Чтоб не просил он хлеба.

Я знаю мелодию, знаю слова,
Я авторов знаю отлично:
Они без свидетелей тянут вино,
Проповедуя воду публично.

Я новую песнь, я лучшую песнь
Теперь, друзья, начинаю:
Мы здесь, на земле, устроим жизнь
На зависть небу и раю.

При жизни счастье нам подавай!
Довольно слез и муки!
Отныне ленивое брюхо кормить
Не будут прилежные руки.

А хлеба хватит нам для всех,—
Закатим пир на славу!
Есть розы и мирты, любовь, красота
И сладкий горошек в приправу.

Да, сладкий горошек найдется для всех,
А неба нам не нужно,—
Пусть ангелы да воробьи
Владеют небом дружно!

Скончавшись, крылья мы обретем,
Тогда и взлетим в их селенья,
Чтоб самых блаженных пирожных вкусить
И пресвятого печенья.

Вот новая песнь, лучшая песнь!
Ликуя, поют миллионы!
Умолкнул погребальный звон,
Забыты надгробные стоны!

С прекрасной Европой помолвлен теперь
Свободы юный гений,—
Любовь призывает счастливцев на пир,
На радостный пир наслаждений.

И пусть обошлось у них без попа —
Их брак мы считаем законным!
Хвала невесте, и жениху,
И детям, еще не рожденным!

Венчальный гимн эта новая песнь,
Лучшая песнь поэта!
В моей душе восходит звезда
Высокого обета.

И сонмы созвездий пылают кругом,
Текут огневыми ручьями.
В волшебном приливе сил я могу
Дубы вырывать с корнями.

Живительный сок немецкой земли
Огнем напоил мои жилы.
Гигант, материнской коснувшись груди,
Исполнился новой силы.

ГЛАВА II

Малютка все распевала песнь
О светлых горних странах.
Чиновники прусской таможни меж тем
Копались в моих чемоданах.

Обнюхали все, раскидали кругом
Белье, платки, манишки,
Ища драгоценности, кружева
И нелегальные книжки.

Глупцы, вам ничего не найти,
И труд ваш безнадежен!
Я контрабанду везу в голове,
Не опасаясь таможен.

Я там ношу кружева острот
Потоньше брюссельских кружев —
Они исколют, изранят вас,
Свой острый блеск обнаружив.

В моей голове сокровища все,
Венцы грядущим победам,
Алмазы нового божества,
Чей образ высокий неведом.

И много книг в моей голове,
Поверьте слову поэта!
Как птицы в гнезде, там щебечут стихи,
Достойные запрета.

И в библиотеке сатаны
Нет более колких басен,
Сам Гофман фон Фаллерслебен для вас
Едва ли столь опасен.

Один пассажир, сосед мой, сказал,
И тон его был непреложен:
«Пред вами в действии Прусский Союз,—
Большая система таможен.

Таможенный союз — залог
Национальной жизни.
Он цельность и единство даст
Разрозненной отчизне.

Нас внешним единством свяжет он,
Как говорят, матерьяльным.
Цензура единством наш дух облечет
Поистине идеальным.

Мы станем отныне едины душой,
Едины мыслью и телом,
Германии нужно единство теперь
И в частностях и в целом».

ГЛАВА III

В Ахене, в древнем соборе, лежит
Carolus Magnus [1] — Великий,
Не следует думать, что это Карл
Майер из швабской клики.

Я не хотел бы, как мертвый монарх,
Лежать в гробу холодном;
Уж лучше на Неккаре в Штуккерте жить
Поэтом, пускай негодным.

В Ахене даже у псов хандра —
Лежат, скуля беззвучно:
«Дай, чужеземец, нам пинка,
А то нам очень скучно!»

Я в этом убогом сонливом гнезде
Часок пошатался уныло
И, встретив прусских военных, нашел,
Что все осталось, как было.

Высокий красный воротник,
Плащ серый все той же моды.
«Мы в красном видим французскую кровь»,—
Пел Кернер в прежние годы.

Смертельно тупой, педантичный народ!
Прямой, как прежде, угол
Во всех движеньях. И подлая спесь
В недвижном лице этих пугал.

Шагают, ни дать ни взять — манекен,
Муштра у них на славу!
Иль проглотили палку они,
Что их обучала уставу?

[1] Карл Великий *(лат.)*.

Да, фухтель не вывелся, он только внутрь
Ушел, как память о старом.
Сердечное «ты» о прежнем «он»
Напоминает недаром.

И, в сущности, ус, как новейший этап,
Достойно наследовал косам!
Коса висела на спине,
Теперь — висит под носом.

Зато кавалерии новый костюм
И впрямь придуман не худо:
Особенно шлем достоин похвал,
А шпиц на шлеме — чудо!

Тут вам и рыцарство и старина,
Все так романтически дико,
Что вспомнишь Иоганну де Монфокон,
Фуке, и Брентано, и Тика.

Тут вам оруженосцы, пажи,
Отличная, право, картина:
У каждого в сердце — верность и честь,
На заднице — герб господина.

Тут вам и турнир, и крестовый поход,
Служенье даме, обеты,—
Не знавший печати, хоть набожный век,
В глаза не видавший газеты.

Да, да, сей шлем понравился мне.
Он — плод высочайшей заботы.
Его изюминка — острый шпиц!
Король — мастак на остроты!

Боюсь только, с этой романтикой — грех:
Ведь если появится тучка,
Новейшие молнии неба на вас
Притянет столь острая штучка.

Советую выбрать полегче убор
И на случай военной тревоги —
При бегстве средневековый шлем
Стеснителен в дороге!

На почте я знакомый герб
Увидел над фасадом,
И в нем — ненавистную птицу, чей глаз
Как будто брызжет ядом.

О, мерзкая тварь, попадешься ты мне,—
Я рук не пожалею!
Выдеру когти и перья твои,
Сверну, проклятой, шею!

На шест высокий вздерну тебя,
Для всех открою заставы
И рейнских вольных стрелков повелю
Созвать для веселой забавы.

Венец и держава тому молодцу,
Что птицу сшибет стрелою.
Мы крикнем: «Да здравствует король!» —
И туш сыграем герою.

ГЛАВА IV

Мы поздно вечером прибыли в Кельн.
Я Рейна услышал дыханье.
Немецкий воздух пахнул мне в лицо
И вмиг оказал влиянье

На мой аппетит. Я омлет с ветчиной
Вкусил благоговейно,
Но был он, к несчастью, пересолен,—
Пришлось заказать рейнвейна.

И ныне, как встарь, золотится рейнвейн
В зеленоватом стакане.
Но лишнего хватишь — ударит в нос,
И голова в тумане.

Так сладко щекочет в носу! А душа
Растаять от счастья готова.
Меня потянуло в пустынную ночь —
Бродить по городу снова.

Дома смотрели мне в лицо,
И было желанье в их взгляде
Скорей рассказать мне об этой земле,
О Кельне, священном граде.

Сетями гнусными святош
Когда-то был Кельн опутан.
Здесь было царство темных людей,
Но здесь же был Ульрих фон Гуттен.

Здесь церковь на трупах плясала канкан,
Свирепствуя беспредельно,
Строчил доносы подлые здесь
Гоогстратен — Менцель Кельна.

Здесь книги жгли и жгли людей,
Чтоб вытравить дух крамольный,
И пели при этом, славя творца
Под радостный звон колокольный.

Здесь Глупость и Злоба крутили любовь
Иль грызлись, как псы над костью.
От их потомства и теперь
Разит фанатической злостью.

Но вот он! В ярком сиянье луны
Неимоверной махиной,
Так дьявольски черен, торчит в небеса
Собор над водной равниной.

Бастилией духа он должен был стать;
Святейшим римским пролазам
Мечталось: «Мы в этой гигантской тюрьме
Сгноим немецкий разум».

Но Лютер сказал знаменитое: «Стой!»
И триста лет уже скоро,
Как прекратилось навсегда
Строительство собора.

Он не был достроен — и благо нам!
Ведь в этом себя проявила
Протестантизма великая мощь,
Германии новая сила.

Вы, жалкие плуты, Соборный союз,
Не вам,— какая нелепость! —
Не вам воскресить разложившийся труп,
Достроить старую крепость.

О, глупый бред! Бесполезно теперь,
Торгуя словесным елеем,
Выклянчивать грош у еретиков,
Ходить за подачкой к евреям.

Напрасно будет великий Франц Лист
Вам жертвовать сбор с выступлений!
Напрасно будет речами блистать
Король — доморощенный гений!

Не будет закончен Кельнский собор,
Хоть глупая швабская свора
Прислала корабль наилучших камней
На построенье собора.

Не будет закончен — назло воронью
И совам той гнусной породы,
Которой мил церковный мрак
И башенные своды.

И даже такое время придет,
Когда без особого спора,
Не кончив зданье, соорудят
Конюшню из собора.

«Но если собор под конюшню отдать,
С мощами будет горе.
Куда мы денем святых волхвов,
Лежащих в алтарном притворе?»

Пустое! Ну время ль возиться теперь
С делами церковного клира!
Святым царям из восточной земли
Найдется другая квартира.

А впрочем, я дам превосходный совет:
Им лучшее место, поверьте,—
Те клетки железные, что висят
На башне Санкт-Ламберти.

Велели в них сесть королю портных
И первым его вельможам,
А мы эти клетки, конечно, другим
Монаршим особам предложим.

Герр Бальтазар будет справа парить,
Герр Гаспар — посредине,
Герр Мельхиор — слева. Бог ведает, как
Земля их носила доныне!

Священный сей Восточный Союз
Канонизирован срочно,
Хоть жили они далеко не всегда
Достойно и беспорочно.

Ведь Бальтазар и Мельхиор —
Сиятельные плуты —
Народам клялись конституцию дать
В тяжелые минуты,—

И лгали оба. А герр Гаспар,
Царь мавров, владыка вздорный,
Глупцу-народу и вовсе воздал
Неблагодарностью черной.

ГЛАВА V

И к Рейнскому мосту придя наконец
В своем бесцельном блужданье,
Я увидал, как старый Рейн
Струится в лунном сиянье.

«Привет тебе, мой старый Рейн!
Ну как твое здоровье?
Я часто вспоминал тебя
С надеждой и любовью».

И странно: кто-то в темной воде
Зафыркал, закашлялся глухо,
И хриплый старческий голос вдруг
Мое расслышало ухо:

«Здорово, мой мальчик, я очень рад,
Что вспомнил ты старого друга.
Тринадцать лет я тебя не видал,
Подчас приходилось мне туго.

Я в Бибрихе наглотался камней,
А это, знаешь, не шутка;
Но те стихи, что Беккер творит,
Еще тяжелей для желудка.

Он девственницей сделал меня,
Какой-то недотрогой,
Которая свой девичий венок
Хранит в непорочности строгой.

Когда я слышу глупую песнь,
Мне хочется вцепиться
В свою же бороду. Я готов
В себе самом утопиться.

Французам известно, что девственность я
Утратил волею рока,
Ведь им уж случалось меня орошать
Струями победного сока.

Глупейшая песня! Глупейший поэт!
Он клеветал без стесненья.
Скомпрометировал просто меня
С политической точки зренья.

Ведь если французы вернутся сюда,
Ну что я теперь им отвечу?
А кто, как не я, молил небеса
Послать нам скорую встречу!

Я так привязан к французикам был,
Любил их милые штучки.
Они и теперь еще скачут, поют
И носят белые брючки?

Их видеть рад я всей душой,
Но я боюсь их насмешек:
Иной раз таким подденут стихом,
Что не раскусишь орешек.

Тотчас прибежит Альфред де Мюссе,
Задира желторотый,
И первый пробарабанит мне
Свои дрянные остроты».

И долго бедный старый Рейн
Мне жаловался глухо.
Как мог, я утешил его и сказал
Для ободренья духа:

«Не бойся, мой старый, добрый Рейн,
Не будут глумиться французы:
Они уж не те французы теперь —
У них другие рейтузы.

Рейтузы их не белы, а красны,
У них другие пряжки,
Они не скачут, не поют,
Задумчивы стали, бедняжки.

У них не сходят с языка
И Кант, и Фихте, и Гегель.
Пьют черное пиво, курят табак,
Нашлись и любители кегель.

Они филистеры, так же как мы,
И даже худшей породы.
Они Генгстенбергом клянутся теперь,
Вольтер там вышел из моды.

Альфред де Мюссе, в этом ты прав,
И нынче мальчишка вздорный,
Но ты не горюй: мы запрем на замок
Его язычок задорный.

Пускай протрещит он плохой каламбур,—
Мы штучку похуже устроим:
Просвищем, что́ у прелестных дам
Бывало с нашим героем.

А Беккер — да ну его, добрый мой Рейн,
Не думай о всяком вздоре!
Ты песню получше услышишь теперь.
Прощай, мы свидимся вскоре».

ГЛАВА VI

Вслед Паганини бродил, как тень,
Свой Spiritus familiaris [1],
То псом, то критиком становясь —
Покойным Георгом Гаррис.

Бонапарту огненный муж возвещал,
Где ждет героя победа.
Свой дух и у Сократа был,
И это не призраки бреда.

Я сам, засидевшись в ночи у стола
В погоне за рифмой крылатой,
Не раз замечал, что за мною стоит
Неведомый соглядатай.

Он что-то держал под черным плащом,
Но вдруг — на одно мгновенье —
Сверкало, будто блеснул топор,
И вновь скрывалось виденье.

Он был приземист, широкоплеч,
Глаза — как звезды, блестящи.
Писать он мне никогда не мешал,
Стоял в отдаленье чаще.

Я много лет не встречался с ним,
Приходил он, казалось, бесцельно,
Но вдруг я снова увидел его
В полночь на улицах Кельна.

Мечтая, блуждал я в ночной тишине
И вдруг увидал за спиною
Безмолвную тень. Я замедлил шаги
И стал. Он стоял за мною.

Стоял, как будто ждал меня,
И вновь зашагал упорно,
Лишь только я двинулся. Так пришли
Мы к площади соборной.

---

[1] Домашний дух *(лат.)*.

Мне страшен был этот призрак немой!
Я молвил: «Открой хоть ныне,
Зачем преследуешь ты меня
В полу́ночной пустыне?

Зачем ты приходишь, когда все спит,
Когда все немо и глухо,
Но в сердце — вселенские чувства, и мозг
Пронзают молнии духа.

О, кто ты, откуда? Зачем судьба
Нас так непонятно связала?
Что значит блеск под плащом твоим,
Подобный блеску кинжала?»

Ответ незнакомца был крайне сух
И даже флегматичен:
«Пожалуйста, не заклинай меня,
Твой тон чересчур патетичен.

Знай, я не призрак былого, не тень,
Покинувшая могилу.
Мне метафизика ваша чужда,
Риторика не под силу.

У меня практически-трезвый уклад,
Я действую твердо и ровно,
И, верь мне, замыслы твои
Осуществлю безусловно.

Тут, может быть, даже и годы нужны,
Ну что ж, подождем, не горюя.
Ты мысль, я — действие твое,
И в жизнь мечты претворю я.

Да, ты — судья, а я палач,
И я, как раб молчаливый,
Исполню каждый твой приговор,
Пускай несправедливый.

Пред консулом ликтор шел с топором,
Согласно обычаю Рима.
Твой ликтор, ношу я топор за тобой
Для прочего мира незримо.

Я ликтор твой, я иду за тобой,
И можешь рассчитывать смело
На острый этот судейский топор.
Итак, ты — мысль, я — дело».

ГЛАВА VII

Вернувшись домой, я разделся и вмиг
Уснул, как дитя в колыбели.
В немецкой постели так сладко спать,
Притом в пуховой постели!

Как часто мечтал я с глубокой тоской
О мягкой немецкой перине,
Вертясь на жестком тюфяке
В бессонную ночь на чужбине!

И спать хорошо, и мечтать хорошо
В немецкой пуховой постели,
Как будто сразу с немецкой души
Земные цепи слетели.

И, все презирая, летит она ввысь,
На самое небо седьмое.
Как горды полеты немецкой души
Во сне, в ее спальном покое!

Бледнеют боги, завидев ее.
В пути, без малейших усилий,
Она срывает сотни звезд
Ударом мощных крылий.

Французам и русским досталась земля,
Британец владеет морем.
Зато в воздушном царстве грез
Мы с кем угодно поспорим.

Там гегемония нашей страны,
Единство немецкой стихии.
Как жалко ползают по земле
Все нации другие!

Я крепко заснул, и снилось мне,
Что снова блуждал я бесцельно
В холодном сиянье полной луны
По гулким улицам Кельна.

И всюду за мной скользил по пятам
Тот черный, неумолимый.
Я так устал, я был разбит —
Но бесконечно шли мы!

Мы шли без конца, и сердце мое
Раскрылось зияющей раной,
И капля за каплей алая кровь
Стекала на грудь непрестанно.

Я часто обмакивал пальцы в кровь
И часто, в смертельной истоме,
Своею кровью загадочный знак
Чертил на чьем-нибудь доме.

И всякий раз, отмечая дом
Рукою окровавленной,
Я слышал, как, жалобно плача, вдали
Колокольчик звенит похоронный.

Меж тем побледнела, нахмурясь, луна
На пасмурном небосклоне.
Неслись громады клубящихся туч,
Как дикие черные кони.

И всюду за мною скользил по пятам,
Скрывая сверканье стали,
Мой черный спутник. И долго мы с ним
Вдоль темных улиц блуждали.

Мы шли и шли, наконец глазам
Открылись гигантские формы:
Зияла раскрытая настежь дверь —
И так проникли в собор мы.

В чудовищной бездне царила ночь,
И холод и мгла, как в могиле,
И, только сгущая бездонную тьму,
Лампады робко светили.

Я медленно брел вдоль огромных подпор
В гнетущем безмолвии храма
И слышал только мерный шаг,
За мною звучавший упрямо.

Но вот открылась в блеске свечей,
В убранстве благоговейном,
Вся в золоте и в драгоценных камнях
Капелла трех королей нам.

О, чудо! Три святых короля,
Чей смертный сон так долог,
Теперь на саркофагах верхом
Сидели, откинув полог.

Роскошный и фантастичный убор
Одел гнилые суставы,
Прикрыты коронами черепа,
В иссохших руках — державы.

Как остовы кукол, тряслись костяки,
Покрытые древней пылью.
Сквозь благовонный фимиам
Разило смрадной гнилью.

Один из них тотчас задвигал ртом
И начал без промедленья
Выкладывать, почему от меня
Он требует уваженья.

Во-первых, потому, что он мертв,
Во-вторых, он монарх державный,
И, в-третьих, он святой. Но меня
Не тронул сей перечень славный.

И я ответил ему, смеясь:
«Твое проиграно дело!
В преданья давней старины
Ты отошел всецело.

Прочь! Прочь! Ваше место — в холодной земле,
Всему живому вы чужды,
А эти сокровища жизнь обратит
Себе на насущные нужды.

Веселая конница будущих лет
Займет помещенья собора.
Убирайтесь! Иль вас раздавят, как вшей,
И выметут с кучей сора!»

Я кончил и отвернулся от них,
И грозно блеснул из мрака
Немого спутника грозный топор,
Он понял все, без знака,

Приблизился и, взмахнув топором,
Пока я медлил у двери,
Свалил и расколошматил в пыль
Скелеты былых суеверий.

И жутко, отдавшись гулом во тьме,
Удары прогудели.
Кровь хлынула из моей груди,
И я вскочил с постели.

ГЛАВА VIII

От Кельна до Гагена стоит проезд
Пять талеров прусской монетой.
Я не попал в дилижанс, и пришлось
Тащиться почтовой каретой.

Сырое осеннее утро. Туман.
В грязи увязала карета.
Но жаром сладостным была
Вся кровь моя согрета.

О, воздух отчизны! Я вновь им дышал,
Я пил аромат его снова.
А грязь на дорогах! То было дерьмо
Отечества дорогого.

Лошадки радушно махали хвостом,
Как будто им с детства знаком я.
И были мне райских яблок милей
Помета их круглые комья.

Вот Мюльгейм. Чистенький городок.
Чудесный нрав у народа!
Я проезжал здесь последний раз
Весной тридцать первого года.

Тогда природа была в цвету,
И весело солнце смеялось,
И птицы пели любовную песнь,
И людям сладко мечталось.

Все думали: «Тощее рыцарство нам
Покажет скоро затылок.
Мы им вослед презентуем вина
Из длинных железных бутылок.

И, стяг сине-красно-белый взметнув,
Под песни и пляски народа,
Быть может, и Бонапарта для нас
Из гроба поднимет Свобода».

О, господи! Рыцари все еще здесь!
Иные из этих каналий
Пришли к нам сухими, как жердь, а у нас
Толщенное брюхо нажрали.

Поджарая сволочь, сулившая нам
Любовь, Надежду, Веру,
Успела багровый нос нагулять,
Рейнвейном упившись не в меру.

Свобода, в Париже ногу сломав,
О песнях и плясках забыла.
Ее трехцветное знамя грустит,
На башнях повиснув уныло.

А император однажды воскрес,
Но уже без огня былого,
Британские черви смирили его,
И слег он безропотно снова.

Я сам провожал катафалк золотой,
Я видел гроб золоченый.
Богини победы его несли
Под золотою короной.

Далёко, вдоль Елисейских полей,
Под аркой Триумфальной,
В холодном тумане, по снежной грязи
Тянулся кортеж погребальный.

Фальшивая музыка резала слух,
Все музыканты дрожали
От стужи. Глядели орлы со знамен
В такой глубокой печали.

И взоры людей загорались огнем
Оживших воспоминаний.
Волшебный сон империи вновь
Сиял в холодном тумане.

Я плакал сам в тот скорбный день
Слезами горя немого,
Когда звучало «Vive l'Empereur!» [1]
Как страстный призыв былого.

ГЛАВА IX

Из Кельна я в семь сорок пять утра
Отправился в дорогу.
И в Гаген мы прибыли около трех.
Теперь — закусим немного!

Накрыли. Весь старонемецкий стол
Найдется здесь, вероятно,
Сердечный привет тебе, свежий салат,
Как пахнешь ты ароматно!

Каштаны с подливкой в капустных листах,
Я в детстве любил не вас ли?
Здорово, моя родная треска,
Как мудро ты плаваешь в масле!

Кто к чувству способен, тому всегда
Аромат его родины дорог.
Я очень люблю копченую сельдь,
И яйца, и жирный творог.

[1] Да здравствует император! *(франц.)*

Как бойко плясала в жиру колбаса!
А эти дрозды-милашки,
Амурчики в муссе, хихикали мне,
Лукавые строя мордашки.

«Здорово, земляк! — щебетали они.—
Ты где же так долго носился?
Уж, верно, ты в чужой стороне
С чужою птицей водился?»

Стояла гусыня на столе,
Добродушно-простая особа.
Быть может, она любила меня,
Когда мы были молоды оба.

Она, подмигнув значительно мне,
Так нежно, так грустно смотрела!
Она обладала красивой душой,
Но у ней было жесткое тело.

И вот наконец поросенка внесли,
Он выглядел очень мило.
Доныне лавровым листом у нас
Венчают свиные рыла!

ГЛАВА X

За Гагеном скоро настала ночь,
И вдруг холодком зловещим
В кишках потянуло. Увы, трактир
Лишь в Унне нам обещан.

Тут шустрая девочка поднесла
Мне пунша в дымящейся чашке.
Глаза были нежны, как лунный свет,
Как шелк — золотые кудряшки.

Ее шепелявый вестфальский акцент,—
В нем было столько родного!
И пунш перенес меня в прошлые дни,
И вместе сидели мы снова,

О, братья вестфальцы! Как часто пивал
Я в Геттингене с вами!
Как часто кончали мы ночь под столом,
Прижавшись друг к другу сердцами!

Я так сердечно любил всегда
Чудесных, добрых вестфальцев!
Надежный, крепкий и верный народ,
Не врут, не скользят между пальцев.

А как на дуэли держались они,
С какою львиной отвагой!
Каким молодцом был каждый из них
С рапирой в руке иль со шпагой!

И выпить и драться они мастера,
А если протянут губы
Иль руку в знак дружбы — заплачут вдруг,
Сентиментальные дубы!

Награди тебя небо, добрый народ,
Твои посевы утроив!
Спаси от войны и от славы тебя,
От подвигов и героев!

Господь помогай твоим сыновьям
Сдавать успешно экзамен.
Пошли твоим дочкам добрых мужей
И деток хороших,— amen! [1]

ГЛАВА XI

Вот он, наш Тевтобургский лес!
Как Тацит в годы оны,
Классическую вспомним топь,
Где Вар сгубил легионы.

Здесь Герман, славный херусский князь,
Насолил латинской собаке.
Немецкая нация в этом дерьме
Героем вышла из драки.

[1] Аминь! *(лат.)*

Когда бы Герман не вырвал в бою
Победу своим блондинам,
Немецкой свободе был бы капут,
И стал бы Рим господином.

Отечеству нашему были б тогда
Латинские нравы привиты,
Имел бы и Мюнхен весталок своих,
И швабы звались бы квириты.

Гаруспекс новый, наш Генгстенберг
Копался б в кишечнике бычьем.
Неандер стал бы, как истый авгур,
Следить за полетом птичьим.

Бирх-Пфейфер тянула бы скипидар,
Подобно римлянкам знатным,—
Говорят, что от этого запах мочи
У них был очень приятным.

Наш Раумер был бы уже не босяк,
Но подлинный римский босякус.
Без рифмы писал бы Фрейлиграт,
Как сам Horatius Flaccus [1].

Грубьян-попрошайка папаша Ян —
Он звался б теперь грубиянус.
Me Hercule! [2] Масман знал бы латынь,
Наш Marcus Tullius Masmanus!

Друзья прогресса мощь свою
Пытали б на львах и шакалах
В песке арен, а не так, как теперь,—
На шавках в мелких журналах.

Не тридцать шесть владык, а *один*
Нерон давил бы нас игом,
И мы вскрывали бы вены себе,
Противясь рабским веригам.

---

[1] Гораций Флакк *(лат.)*.
[2] Клянусь Геркулесом! *(лат.)*

А Шеллинг бы, Сенекой став, погиб,
Сраженный таким конфликтом,
Корнелиус наш услыхал бы тогда:
«Cacatum non est pictum!» [1]

Слава господу! Герман выиграл бой,
И прогнаны чужеземцы,
Вар с легионами отбыл в рай,
А мы по-прежнему — немцы.

Немецкие нравы, немецкая речь,—
Другая у нас не пошла бы.
Осел — осел, а не asinus [2],
А швабы — те же швабы.

Наш Раумер — тот же немецкий босяк,
Хоть дан ему орден, я слышал,
И шпарит рифмами Фрейлиграт:
Из него Гораций не вышел.

В латыни Масман — ни в зуб толкнуть,
Бирх-Пфейфер склонна к драмам,
И ей не надобен скипидар,
Как римским галантным дамам.

О Герман, благодарим тебя!
Прими поклон наш низкий!
Мы в Детмольде памятник ставим тебе,
Я участвую сам в подписке.

ГЛАВА XII

Трясется ночью в лесу по корням
Карета. Вдруг затрещало.
Сломалась ось, и мы стоим.
Как быть,— удовольствия мало!

Почтарь слезает, спешит в село,
А я, притаясь под сосною,
В глухую полночь, один в лесу,
Прислушиваюсь к вою.

[1] «Пачкотня — не живопись!» *(лат.)*
[2] Осел *(лат.)*.

«Новый способ дарования конституции».
Карикатура на Фридриха-Вильгельма IV
Гравюра неизвестного художника
1848 г.

Беда! Это волки воют кругом
Голодными голосами.
Их огненные глаза горят,
Как факелы, за кустами.

Узнали, видно, про мой приезд,
И в честь мою всем собором
Иллюминировали лес
И распевают хором.

Приятная серенада! Я
Сегодня гвоздь представленья!
Я принял позу, отвесил поклон
И стал подбирать выраженья.

«Сограждане волки! Я счастлив, что мог
Такой удостоиться чести:
Найти столь избранный круг и любовь
В столь неожиданном месте.

Мои ощущенья в этот миг
Нельзя передать словами.
Клянусь, я вовеки забыть не смогу
Часы, проведенные с вами.

Я вашим доверием тронут до слез,
И в вашем искреннем вое
Я с удовольствием нахожу
Свидетельство дружбы живое.

Сограждане волки! Вы никогда
Не верили лживым писакам,
Которые нагло трезвонят, что я
Перебежал к собакам,

Что я отступник и принял пост
Советника в стаде бараньем.
Конечно, разбором такой клеветы
Мы заниматься не станем.

Овечья шкура, что я иногда
Надевал, чтоб согреться, на плечи,
Поверьте, не соблазнила меня
Сражаться за счастье овечье.

Я не советник, не овца,
Не пес, боящийся палки,—
Я ваш! И волчий зуб у меня,
И сердце волчьей закалки!

Я тоже волк и буду всегда
По-волчьи выть с волками!
Доверьтесь мне и держитесь, друзья!
Тогда и господь будет с вами».

Без всякой подготовки я
Держал им речи эти.
Кольб, обкорнав слегка, пустил
Их во «Всеобщей газете».

ГЛАВА XIII

Над Падерборном солнце в тот день
Взошло, сощурясь кисло.
И впрямь, освещенье глупой земли —
Занятье, лишенное смысла.

Едва осветило с одной стороны,
К другой несется поспешно.
Тем временем та успела опять
Покрыться тьмой кромешной.

Сизифу камня не удержать,
А Данаиды напрасно
Льют воду в бочку. И мрак на земле
Рассеять солнце не властно.

Предутренний туман исчез,
И в дымке розоватой
У самой дороги возник предо мной
Муж, на кресте распятый.

Мой скорбный родич, мне грустно до слез
Глядеть на тебя, бедняга!
Грехи людей ты хотел искупить —
Дурак! — для людского блага.

Плохую шутку сыграли с тобой
Влиятельные персоны.
Кой дьявол тянул тебя рассуждать
Про церковь и законы?

На горе твое, печатный станок
Еще известен не был.
Ты мог бы толстую книгу издать
О том, что относится к небу.

Там все, касающееся земли,
Подвергнул бы цензор изъятью,—
Цензура бы тебя спасла,
Не дав свершиться распятью.

И в проповеди нагорной ты
Разбушевался не в меру,
А мог проявить свой ум и талант,
Не оскорбляя веру.

Ростовщиков и торгашей
Из храма прогнал ты с позором,
И вот, мечтатель, висишь на кресте
В острастку фантазерам!

ГЛАВА XIV

Холодный ветер, голая степь,
Карета ползет толчками.
Но в сердце моем поет и звенит:
«О, солнце, гневное пламя!»

Я слышал от няни этот припев,
Звучащий так скорбно и строго.
«О, солнце, гневное пламя!» — он был
Как зов лесного рога.

То песнь о разбойнике, жившем встарь
Нельзя веселей и счастливей.
Его повешенным нашли
В лесу на старой иве.

И приговор к стволу прибит
Был чьими-то руками.
То Фема свершила свой праведный суд,—
«О, солнце, гневное пламя!»

Да, гневное солнце следило за ним
И злыми его делами.
Предсмертный вопль Оттилии был:
«О, солнце, гневное пламя!»

Как вспомню я песню, так вспомню тотчас
И няню мою дорогую,
Землистое, все в морщинах, лицо,
И так по ней затоскую!

Она из Мюнстера родом была
И столько знала сказаний,
Историй о привиденьях, легенд,
Народных песен, преданий.

С каким я волненьем слушал рассказ
О королевской дочке,
Что, золотую косу плетя,
Сидела в степи на кочке.

Ее заставляли пасти гусей,
И вечером, бывало,
В деревню пригнав их, она у ворот
Как будто на миг застывала.

Там лошадиная голова
Висела на частоколе.
Там пал ее конь на чужой стороне,
Оставил принцессу в неволе.

И плакала королевская дочь:
«Ах, Фалада, как же мне тяжко!»
И голова отвечала ей:
«Бедняжка моя ты, бедняжка!»

И плакала королевская дочь:
«Когда бы матушка знала!»
И голова отвечала ей:
«Она и жить бы не стала».

Я слушал старушку, не смея дохнуть,
И тихо, с видом серьезным
Она начинала о Ротбарте быль,
Об императоре грозном.

Она уверяла, что он не мертв,
Что это вздор ученый,
Что в недрах одной горы он живет
С дружиной вооруженной.

Кифгайзером эта гора названа,
И в ней пещера большая.
В высоких покоях светильни горят,
Торжественно их освещая.

И в первом покое — конюшня, а в ней,
Закованные в брони,
Несметной силою стоят
Над яслями гордые кони.

Оседлан и взнуздан каждый конь,
Но не приметишь дыханья.
Не ржет ни один и не роет земли,
Недвижны, как изваянья.

В другом покое — могучая рать:
Лежат на соломе солдаты,—
Суровый и крепкий народ, боевой,
И все, как один, бородаты.

В оружии с головы до ног
Лежат, подле воина воин,
Не двинется, не вздохнет ни один,
Их сон глубок и спокоен.

А в третьем покое — доспехов запас,
Мушкеты, бомбарды, пищали,
Мечи, топоры и прочее все,
Чем франки врагов угощали.

А пушек хоть мало — отличный трофей
Для стародавнего трона.
И, черные с красным и золотым,
Висят боевые знамена.

В четвертом — сам император сидит,
Сидит он века за веками
На каменном троне, о каменный стол
Двумя опираясь руками.

И огненно-рыжая борода
Свободно до полу вьется.
То сдвинет он брови, то вдруг подмигнет,
Не знаешь, сердит иль смеется.

И думу думает он или спит,
Подчас затруднишься ответом.
Но день придет — и встанет он,
Уж вы поверьте мне в этом!

Он добрый свой поднимет стяг
И крикнет уснувшим героям:
«По коням! По коням!» — и люди встают
Гремящим, сверкающим строем.

И на конь садятся, а кони и ржут,
И роют песок их копыта,
И трубы гремят, и летят молодцы,
И синяя даль им открыта.

Им любо скакать и любо рубить,
Они отоспались на славу.
А император велит привести
Злодеев на суд и расправу,—

Убийц, вонзивших в Германию нож,
В дитя с голубыми глазами,
В красавицу с золотою косой,—
«О, солнце, гневное пламя!»

Кто в замке, спасая шкуру, сидел
И не высовывал носа,
Того на праведный суд извлечет
Карающий Барбаросса.

Как нянины сказки поют и звенят,
Баюкают детскими снами!
Мое суеверное сердце твердит:
«О, солнце, гневное пламя!»

ГЛАВА XV

Тончайшей пылью сеется дождь,
Острей ледяных иголок.
Лошадки печально машут хвостом,
В поту и в грязи до челок.

Рожок почтальона протяжно трубит.
В мозгу звучит поминутно:
«Три всадника рысью летят из ворот».
На сердце стало так смутно...

Меня клонило ко сну. Я заснул.
И мне приснилось не в пору,
Что к Ротбарту в гости я приглашен
В его чудесную гору.

Но вовсе не каменный был он на вид,
С лицом вроде каменной маски,
И вовсе не каменно-величав,
Как мы представляем по сказке.

Он стал со мной дружелюбно болтать,
Забыв, что ему я не пара,
И демонстрировал вещи свои
С ухватками антиквара.

Он в зале оружия мне объяснил
Употребленье палиц,
Отер мечи, их остроту
Попробовал на палец.

Потом, отыскав павлиний хвост,
Смахнул им пыль, что лежала
На панцире, на шишаке,
На уголке забрала.

И, знамя почистив, отметил вслух,
С сознаньем важности дела,
Что в древке не завелся червь
И шелка моль не проела.

Когда же мы в то помещенье пришли,
Где воины спят на соломе,
Я в голосе старика услыхал,
Заботу о людях и доме:

«Тут шепотом говори,— он сказал,—
А то проснутся ребята,
Как раз прошло столетье опять,
И нынче им следует плата».

И кайзер тихо прошел по рядам,
И каждому солдату
Он осторожно, боясь разбудить,
Засунул в карман по дукату.

Потом тихонько шепнул, смеясь
Моему удивленному взгляду:
«По дукату за каждую сотню лет
Я положил им награду».

В том зале, где кони его вдоль стен
Стоят недвижным рядом,
Старик взволнованно руки потер
С особенно радостным взглядом.

Он их немедля стал считать,
Похлопывая по ребрам,
Считал, считал и губами вдруг
Задвигал с видом недобрым.

«Опять не хватает,— промолвил он,
С досады чуть не плача,—
Людей и оружья довольно у нас,
А вот в конях — недостача.

Барышников я уже разослал
По свету, чтоб везде нам
Они покупали лучших коней,
По самым высоким ценам.

Составим полный комплект — и в бой!
Ударим так, чтоб с налета
Освободить мой немецкий народ,
Спасти отчизну от гнета».

Так молвил кайзер. И я закричал:
«За дело, старый рубака!
Не хватит коней — найдутся ослы,
Когда заварится драка».

И Ротбарт отвечал, смеясь:
«Но дело еще не поспело.
Не за день был построен Рим,
Что не разбили, то цело.

Кто нынче не явится — завтра придет,
Не поздно то, что рано,
И в Римской империи говорят:
«Chi va piano, va sano» [1].

ГЛАВА XVI

Внезапный толчок пробудил меня,
Но вновь, охвачен дремой,
Я к кайзеру Ротбарту был унесен
В Кифгайзер, давно знакомый.

Опять, беседуя, мы шли
Сквозь гулкие анфилады.
Старик расспрашивал меня,
Разузнавал мои взгляды.

Уж много лет он не имел
Вестей из мира людского,
Почти со времен Семилетней войны
Не слышал живого слова.

Он спрашивал: как Моисей Мендельсон?
И Каршин? Не без интереса
Спросил, как живет госпожа Дюбарри,
Блистательная метресса.

«О кайзер,— вскричал я,— как ты отстал!
Давно погребли Моисея.
И его Ревекка, и сын Авраам
В могилах покоятся, тлея.

[1] Итальянская пословица, соответствующая русской: «Тише едешь, дальше будешь».— *Ред.*

Вот Феликс, Авраама и Лии сынок,
Тот жив, это парень проворный!
Крестился и, знаешь, пошел далеко:
Он капельмейстер придворный!

И старая Каршин давно умерла,
И дочь ее Кленке в могиле.
Гельмина Чези, внучка ее,
Жива, как мне говорили.

Дюбарри — та каталась, как в масле сыр,
Пока обожатель был в чине —
Людовик Пятнадцатый, а умерла
Старухой на гильотине.

Людовик Пятнадцатый с миром почил,
Как следует властелину.
Шестнадцатый с Антуанеттой своей
Попал на гильотину.

Королева хранила тон до конца,
Держалась как на картине.
А Дюбарри начала рыдать,
Едва подошла к гильотине».

Внезапно кайзер как вкопанный стал
И спросил с перепуганной миной:
«Мой друг, объясни ради всех святых,
Что делают гильотиной?»

«А это,— ответил я,— способ нашли
Возможно проще и чище
Различного званья ненужных людей
Переселять на кладбище.

Работа простая, но надо владеть
Одной интересной машиной.
Ее изобрел господин Гильотен —
Зовут ее гильотиной.

Ты будешь пристегнут к большой доске,
Задвинут между брусками.
Вверху треугольный топорик висит.
Подвязанный шнурками.

Потянут шнур — и топорик вниз
Летит стрелой, без заминки.
Через секунду твоя голова
Лежит отдельно в корзинке».

И кайзер вдруг закричал: «Не смей
Расписывать тут гильотину!
Нашел забаву! Не дай мне господь
И видеть такую машину!

Какой позор! Привязать к доске
Короля с королевой! Да это
Прямая пощечина королю!
Где правила этикета?

И ты-то откуда взялся, нахал?
Придется одернуть невежу!
Со мной, голубчик, поберегись,
Не то я крылья обрежу!

От злости желчь у меня разлилась,
Принес же черт пустозвона!
И самый смех твой — измена венцу
И оскорбленье трона!»

Старик мой о всяком приличье забыл,
Как видно, дойдя до предела.
Я тоже вспылил и выложил все,
Что в сердце накипело.

«Герр Ротбарт,— крикнул я,— жалкий миф!
Сиди в своей старой яме!
А мы без тебя уж, своим умом,
Сумеем управиться сами!

Республиканцы высмеют нас,
Отбреют почище бритвы!
И верно: дурацкая небыль в венце —
Хорош полководец для битвы!

И знамя твое мне не по нутру.
Я в буршестве счел уже вздорным
Весь этот старогерманский бред
О красно-золото-черном.

Сиди же лучше в своей дыре,
Твоя забота — Кифгайзер.
А мы... если трезво на вещи смотреть,
На кой нам дьявол кайзер?»

ГЛАВА XVII

Да, крепко поспорил с кайзером я —
Во сне лишь, во сне, конечно.
С царями рискованно наяву
Беседовать чистосердечно!

Лишь в мире своих идеальных грез,
В несбыточном сновиденье
Им немец может сердце открыть,
Немецкое высказать мненье.

Я пробудился и сел. Кругом
Бежали деревья бора.
Его сырая голая явь
Меня протрезвила скоро.

Сердито качались вершины дубов,
Глядели еще суровей
Березы в лицо мне. И я вскричал:
«Прости меня, кайзер, на слове!

Прости мне, о Ротбарт, горячность мою!
Я знаю: ты умный, ты мудрый,
А я — необузданный, глупый драчун,
Приди, король рыжекудрый!

Не нравится гильотина тебе —
Дай волю прежним законам:
Веревку — мужичью и купцам,
А меч — князьям да баронам.

Лишь иногда меняй прием
И вешай знать без зазренья,
А прочим отрубай башку —
Ведь все мы божьи творенья.

Восстанови уголовный суд,
Введенный Карлом с успехом,
Распредели опять народ
По сословиям, гильдиям, цехам.

Священной империи Римской верни
Былую жизнь, если надо,
Верни нам самую смрадную гниль,
Всю рухлядь маскарада.

Верни все прелести средних веков,
Которые миром забыты,—
Я все стерплю, пускай лишь уйдут
Проклятые гермафродиты,

Это штиблетное рыцарство,
Мешанина с нелепой прикрасой,
Готический бред и новейшая ложь,
А вместе — ни рыба ни мясо.

Ударь по театральным шутам!
Прихлопни балаганы,
Где пародируют старину!
Приди, король долгожданный!»

ГЛАВА XVIII

Минден — грозная крепость. Он
Вооружен до предела.
Но с прусскими крепостями я
Неохотно имею дело.

Мы прибыли в сумерки. По мосту
Карета, гремя, прокатила.
Зловеще стонали бревна под ней,
Зияли рвы, как могила.

Огромные башни с вышины
Грозили мне сурово,
Ворота с визгом поднялись
И с визгом обрушились снова.

Ах, сердце дрогнуло мое!
Так сердце Одиссея,
Когда завалил пещеру циклоп,
Дрожало, холодея.

Капрал опросил нас: кто мы? и куда?
Какую преследуем цель мы?
«Я — врач глазной, зовусь «Никто»,
Срезаю гигантам бельмы».

В гостинице стало мне дурно совсем,
Еда комком застревала.
Я лег в постель, но сон бежал,
Давили грудь одеяла.

Над широкой пуховой постелью с боков,
По красной камчатной гардине —
Поблекший золотой балдахин
И грязная кисть посредине.

Проклятая кисть! Она мне всю ночь,
Всю ночь не давала покою,
Она дамокловым мечом
Висела надо мною.

И вдруг, змеей оборотясь,
Шипела, сползая со свода:
«Ты в крепость заточен навек,
Отсюда нет исхода!»

«О, только бы возвратиться домой,—
Шептал я в смертельном испуге,—
В Париж, в Faubourg Poissonnière,
К моей любимой супруге!»

Порою кто-то по лбу моему
Рукой проводил железной,
Как будто цензор вычеркивал мысль,
И мысль обрывалась в бездну.

Жандармы в саванах гробовых,
Как призраки, у постели
Теснились белой, страшной толпой,
И где-то цепи гремели.

И призраки повлекли меня
В провал глухими тропами,
И вдруг к отвесной черной скале
Я был прикован цепями.

Ты здесь, проклятая, грязная кисть!
Я чувствовал, гаснет мой разум:
Когтистый коршун кружил надо мной,
Грозя мне скошенным глазом.

Он дьявольски схож был с прусским орлом,
Он в грудь мне когтями впивался,
Он хищным клювом печень рвал —
Я плакал, стонал, я метался.

Я мучился долго, но крикнул петух,
И кончился бред неотвязный:
Я в Миндене, в потной постели, без сил
Лежал под кистью грязной.

Я с экстренной почтой выехал прочь
И с легким чувством свободы
Вздохнул на Бюкебургской земле,
На вольном лоне природы.

ГЛАВА XIX

Тебя погубила ошибка, Дантон,
И это для всех наука:
Отчизну с собой на подошвах унесть —
Совсем не хитрая штука!

Клянусь, полкняжества Бюкебург
Мне облепило ноги.
Во весь мой век я не видал
Такой проклятой дороги.

Я в Бюкебурге на улице слез,
Чтоб осмотреть мимоходом
Гнездо, где свет узрел мой дед;
Моя бабка — из Гамбурга родом.

В Ганновер я прибыл в обед и, велев
Штиблеты начистить до блеска,
Пошел осматривать город. Люблю,
Чтоб пользу давала поездка.

О, господи, как прилизано все!
Ни мусора, ни пыли!
И богатейшие зданья везде
В весьма импозантном стиле.

Особенно площадь понравилась мне —
Тут что ни дом, то диво!
Живет здесь король, стоит здесь дворец,
Он выглядит очень красиво —

Дворец, конечно! У входа в портал
Стоит караул парадный:
Мундиры — красные, ружья — к ноге,
Вид грозный и кровожадный.

Мой чичероне сказал: «Здесь живет
Эрнст-Август анахоретом —
Знатнейший торий, британский лорд;
Он стар, но бодр не по летам.

Он идиллически здесь живет,—
Вернее драбантов железных
Его охраняет трусливый нрав
Сограждан его любезных.

Я с ним встречаюсь. На скучный сан
Изливает он сотни жалоб;
Говорит, что ему на посту короля
Не в Ганновере быть надлежало б.

Привыкнув к английским масштабам, он
У нас изнывает от скуки.
Ему досаждает сплин. Боюсь,
На себя наложит он руки.

Я как-то его у камина застал,—
Печальный, он в полумраке
Рукой августейшей готовил клистир
Своей занемогшей собаке».

ГЛАВА XX

Из Гарбурга меньше чем через час
Я выехал в Гамбург. Смеркалось.
В мерцанье звезд был тихий привет,
А в воздухе — томная вялость.

Мне дома открыла двери мать,
Испуганно взглянула
И вдруг, от счастья просияв,
Руками громко всплеснула:

«Сыночек мой! Тринадцать лет
Я без тебя скучала.
Ты, верно, страшно хочешь есть?
Что тебе дать сначала?

Быть может, рыбу и гуся,
А после апельсины?»
«Давай и рыбу и гуся,
А после апельсины!»

Я стал уплетать с аппетитом, а мать
Суетилась с улыбкой счастливой,
Задавала один вопрос за другим,
Иной — весьма щекотливый.

«Сыночек, кто же за тобой
Ходил все эти годы?
Твоя жена умеет шить,
Варить, вести расходы?»

«Прекрасная рыба, матушка, но
Расспросы — после обеда;
Я костью, того и гляди, подавлюсь,
Какая ж тут, право, беседа!»

Едва прикончил я рыбу мою,
И гусь подоспел с подливой.
Мать снова расспрашивать стала, и вновь
Вопрос был весьма щекотливый:

«Сынок, в какой стране житье
Всех лучше? При сравненье
Какому народу — французам иль нам —
Отдашь ты предпочтенье?»

«Вот видишь ли, мама, немецкий гусь
Хорош; рассуждая строго,
Французы нас только в начинке забьют,
И соус их лучше намного».

Откланялся вскоре и гусь, и тогда,
Свои предлагая услуги,
Явились ко мне апельсины. Я съел
Десяток без всякой натуги.

Тут снова с большим благодушьем меня
Расспрашивать стала старушка.
Иной вопрос был так хитер —
Ни дать ни взять ловушка.

«Ну, а политикой, сынок,
Ты занят с прежним рвеньем?
В какой ты партии теперь?
Ты тот же по убежденьям?»

«Ах, матушка, апельсины все
Прекрасны, без оговорки.
Я с наслажденьем пью их сок
И оставляю корки».

ГЛАВА XXI

Полусгоревший город наш
Отстраивают ныне.
Как недостриженный пудель, стоит
Мой Гамбург в тяжком сплине.

Не стало многих улиц в нем,
Напрасно их ищу я.
Где дом, в котором я познал
Запретный плод поцелуя?

Где та печатня, куда я сдавал
«Картины путевые»?
А тот приветливый погребок,
Где устриц вкусил я впервые?

А где же Дрекваль, мой Дрекваль где?
Исчез, и следы его стерты.
Где павильон, в котором я
Едал несравненные торты?

И ратуша где, в которой сенат
И бюргерство восседало?
Все без остатка пожрал огонь,
И нашей святыни не стало.

С тех пор продолжают люди стонать
И с горечью во взоре
Передают про грозный пожар
Десятки страшных историй:

«Горело сразу со всех сторон,
Все скрылось в черном дыме.
Колокольни с грохотом рушились в прах,
И пламя вставало над ними.

И старая биржа сгорела дотла,
А там, как всем известно,
Веками работали наши отцы
Насколько можно честно.

Душа золотая города — банк
И книги, куда внесли мы
Стоимость каждого из горожан,
Хвала творцу, невредимы.

Для нас собирали деньги везде,
И в отдаленнейших зонах.
Прекрасное дело! Чистый барыш
Исчислен в восьми миллионах.

Все набожные христиане взялись
За дело помощи правой.
Неведомо было левой руке,
Сколь много берется правой.

К нам отовсюду деньги шли —
По землям и по водам;
Мы принимали всякий дар,—
Нельзя же швыряться доходом!

Постели, одежды сыпались нам,
И мясо, и хлеб, и бульоны,
А прусский король захотел даже вдруг
Прислать свои батальоны.

Ущерб материальный покрыть удалось,
Мы раны вскоре залечим.
Но наш испуг, наш смертельный испуг!
Увы, оплатить его нечем!»

«Друзья,— сказал ободрительно я.—
Стонать и хныкать не дело.
Ведь Троя была городок поважней,
Однако тоже сгорела.

Вам надо отстроить свои дома,
Убрать со дворов отбросы,
Улучшить законы и обновить
Пожарные насосы.

Не сыпьте в ваш черепаховый суп
Так много кайенского перца,
Не ешьте ваших карпов — их жир
Весьма нездоров для сердца.

Индейки вам не повредят,
Но вас околпачит быстро
Та птица, что снесла яйцо
В парик самого бургомистра.

Сия фатальная птица, друзья,
Знакома вам, вероятно.
При мысли о ней вся пища идет
У меня из желудка обратно».

ГЛАВА XXII

Заметней, чем город, тряхнуло людей,—
Нет более грустной картины!
Все одряхлели и подались —
Ходячие руины!

Кто тощим был — отощал совсем,
А жирный — заплыл, как боров.
Состарились дети. У стариков
Явился детский норов.

Кто был теленком, тот теперь
Гуляет быком здоровенным.
Гусенок гордые перья надел
И сделался гусем отменным.

Старуха Гудель сошла с ума —
Накрашена пуще сирены,
Добыла кудри чернее смолы
И зубы белее пены.

Лишь продавец бумаги, мой друг,
Не пал под гнетом событий.
Его волоса — золотое руно:
Живой Иоанн Креститель.

N.N. промчался мимо меня,—
Казалось, он сильно взволнован,
Говорят, его погоревший ум
У Бибера был застрахован.

И старый цензор встретился мне,
Я был удивлен немало:
Он сильно сгорбился, одряхлел,
Судьба и его потрепала.

Мы долго друг другу руки трясли,
Старик прослезился мгновенно:
Ах, как он счастлив видеть меня!
Была превосходная сцена.

Не всех застал я — кое-кто
Простился с юдолью земною.
Ах, даже Гумпелино мой
Не встретился больше со мною.

С души великой наконец
Земные ниспали оковы,
И светлым ангелом он воспарил
К престолу Иеговы.

Кривого Адониса я не нашел,
Хотя искал повсюду,—
На гамбургских улицах он продавал
Ночные горшки и посуду.

Не знаю, как Мейер — он жив ли, малыш?
Его мне не хватало,
Но Ко́рнета я не спросил о нем,
Хоть мы проболтали немало.

Саррас, несравненный пудель, издох.
А я охотно верю,
Что Кампе отдал бы целый мешок
Поэтов за эту потерю.

Население Гамбурга с давних времен —
Евреи и христиане.
У них имеется общая страсть —
Придерживать грош в кармане.

Христиане весьма достойный народ:
Любой — в гастрономии дока.
Обычно по векселю платят они
В канун последнего срока.

Евреи бывают двух родов
И чтут по-разному бога:
Для новых имеется новый храм,
Для старых, как встарь,— синагога.

Новые даже свинину едят
И все оппозиционеры.
Они демократы, а старики —
Аристокогтисты сверх меры.

Я старых люблю, я новых люблю,
Но — милосердный боже! —
Популярная рыбка — копченый шпрот —
Мне несравненно дороже.

ГЛАВА XXIII

С великой Венецией Гамбург не мог
Поспорить и в прежние годы,
Но в Гамбурге погреб Лоренца есть,
Где устрицы — высшей породы.

Мы с Кампе отправились в сей погребок,
Желая в уюте семейном
Часок-другой почесать языки
За устрицами и рейнвейном.

Нас ждало приятное общество там:
Меня заключили в объятья
Мой старый товарищ, добрый Шофпье,
И многие новые братья.

Там был и Вилле. Его лицо —
Альбом: на щеках бедняги
Академические враги
Расписались ударами шпаги.

Там был и Фукс, язычник слепой
И личный враг Иеговы.
Он верит лишь в Гегеля и заодно
Еще в Венеру Кановы.

Мой Кампе в полном блаженстве был,
Попав в амфитрионы,
Душевным миром сиял его взор,
Как лик просветленной мадонны.

С большим аппетитом я устриц глотал,
Рейнвейном пользуясь часто,
И думал: «Кампе — большой человек,
Он — светоч издательской касты!

С другим издателем я б отощал,
Он выжал бы все мои силы,
А этот мне даже подносит вино,—
Я буду при нем до могилы.

Хвала творцу! Он, создав виноград,
За муки воздал нам сторицей,
И Юлиус Кампе в издатели мне
Дарован его десницей.

Хвала творцу и силе его
Вовеки, присно и ныне!
Он создал для нас рейнвейн на земле
И устриц в морской пучине.

Он создал лимоны, чтоб устриц мы
Кропили лимонным соком.
Блюди мой желудок, отец, в эту ночь,
Чтоб он не взыграл ненароком!»

Рейнвейн размягчает душу мою,
Сердечный разлад усмиряя,
И будит потребность в братской любви,
В утехах любовного рая.

И гонит меня из комнат блуждать
По улицам опустелым.
И душу тянет к иной душе
И к платьям таинственно белым.

И таешь от неги и страстной тоски
В предчувствии сладкого плена.
Все кошки серы в темноте,
И каждая баба — Елена.

Едва на Дрейбан я свернул,
Взошла луна горделиво,
И я величавую деву узрел,
Высокогрудое диво.

Лицом кругла и кровь с молоком,
Глаза — что аквамарины!
Как розы щеки, как вишня рот,
А нос оттенка малины.

На голове полотняный колпак,—
Узорчатой вязью украшен.
Он возвышался подобно стене,
Увенчанной тысячью башен.

Льняная туника вплоть до икр,
А икры — горные склоны;
Ноги, несущие мощный круп,—
Дорийские колонны.

В манерах крайняя простота,
Изящество светской свободы.
Сверхчеловеческий зад обличал
Созданье высшей породы.

Она подошла и сказала мне:
«Привет на Эльбе поэту!
Ты все такой же, хоть много лет
Блуждал по белому свету.

Кого ты здесь ищешь? Веселых гуляк,
Встречавшихся в этом квартале?
Друзей, что бродили с тобой по ночам
И о прекрасном мечтали?

Их гидра стоглавая — жизнь — унесла,
Рассеяла шумное племя.
Тебе не найти ни старых подруг,
Ни доброе старое время.

Тебе не найти ароматных цветов,
Пленявших сердце когда-то,
Их было здесь много, но вихрь налетел,
Сорвал их — и нет им возврата.

Увяли, осыпались, отцвели,—
Ты молодость ищешь напрасно.
Мой друг, таков удел на земле
Всего, что светло и прекрасно».

«Да кто ты, —вскричал я,— не прошлого ль тень?
Но плотью живой ты одета!
Могучая женщина, где же твой дом?
Доступен ли он для поэта?»

И женщина молвила, тихо смеясь:
«Поверь, ты сгущаешь краски.
Я девушка с нравственной, тонкой душой,
Совсем иной закваски.

Я не лоретка парижская, нет!
К тебе лишь сошла я открыто,—
Богиня Гаммония пред тобой,
Гамбурга меч и защита!

Но ты испуган, ты поражен,
Воитель в лике поэта.
Идем же, иль ты боишься меня?
Уж близок час рассвета».

И я ответил, громко смеясь:
«Ты шутишь, моя красотка!
Ступай вперед! А я за тобой,
Хотя бы к черту в глотку!»

ГЛАВА XXIV

Не знаю, как я по лестнице шел
В таком состоянье духа.
Как видно, дело не обошлось
Без помощи доброго духа.

В мансарде Гаммонии время неслось,
Бежали часы чередою.
Богиня была бесконечно мила
И крайне любезна со мною.

«Когда-то,— сказала она,— для меня
Был самым любимым в мире
Певец, который Мессию воспел
На непорочной лире.

Но Клопштока бюст на шкафу теперь,
Он получил отставку;
Давно уже сделала я из него
Для чепчиков подставку.

Теперь уголок над кроватью моей
Украшен твоим портретом,
И — видишь — свежий лавровый венок
Висит над любимым поэтом.

Ты должен только ради меня
Исправить свои манеры.
В былые дни моих сынов
Ты оскорблял без меры.

Надеюсь, ты бросил свое озорство,
Стал вежливей хоть немного.
Быть может, даже к дуракам
Относишься менее строго.

Но как дошел ты до мысли такой —
По этой ненастной погоде
Тащиться в северные края?
Зимой запахло в природе!»

«Моя богиня,— ответил я,—
В глубинах сердца людского
Спят разные мысли, и часто они
Встают из тьмы без зова.

Казалось, все шло у меня хорошо,
Но сердце не знало жизни.
В нем глухо день ото дня росла
Тоска по далекой отчизне.

Отрадный воздух французской земли
Мне стал тяжел и душен.
Хоть на мгновенье стесненной груди
Был ветер Германии нужен.

Мне трубок немецких грезился дым
И запах торфа и пива;
В предчувствии почвы немецкой нога
Дрожала нетерпеливо.

И ночью вздыхал я в глубокой тоске,
И снова желанье томило
Зайти на Дамммтор к старушке моей,
Увидеться с Лотхен милой.

Мне грезился старый седой господин;
Всегда, отчитав сурово,
Он сам же потом защищал меня,
И слезы глотал я снова.

Услышать его добродушную брань
Мечтал я в глубокой печали.
«Дурной мальчишка!» — эти слова,
Как музыка, в сердце звучали.

Мне грезился голубой дымок
Над трубами домиков чинных,
И нижнесаксонские соловьи,
И тихие липы в долинах.

И памятные для сердца места —
Свидетели прошлых страданий,—
Где я влачил непосильный крест
И тернии юности ранней.

Хотелось поплакать мне там, где я
Горчайшими плакал слезами.
Не эта ль смешная тоска названа
Любовью к родине нами?

Ведь это только болезнь, и о ней
Я людям болтать не стану.
С невольным стыдом я скрываю всегда
От публики эту рану.

Одни негодяи, чтоб вызывать
В сердцах умиленья порывы,
Стараются выставить напоказ
Патриотизма нарывы.

Бесстыдно канючат и клянчат у всех,
Мол, кинь им подачку хотя бы!
На грош популярности — вот их мечта!
Вот Менцель и все его швабы!

Богиня, сегодня я нездоров,
Настроен сентиментально,
Но я слегка послежу за собой,
И это пройдет моментально.

Да, я нездоров, но ты бы могла
Настроить меня по-иному.
Согрей мне хорошего чаю стакан
И влей для крепости рому».

ГЛАВА XXV

Богиня мне приготовила чай
И рому подмешала.
Сама она лишь ром пила,
А чай не признавала.

Она оперлась о мое плечо
Своим головным убором
(Последний при этом помялся слегка)
И молвила с нежным укором:

«Как часто с ужасом думала я,
Что ты один, без надзора,
Среди фривольных французов живешь —
Любителей всякого вздора.

Ты водишься с кем попало, идешь,
Куда б ни позвал приятель.
Хоть бы при этом следил за тобой
Хороший немецкий издатель.

Там столько соблазна от разных сильфид!
Они прелестны, но прытки,
И гибнут здоровье и внутренний мир
В объятьях такой сильфидки.

Не уезжай, останься у нас!
Здесь чистые, строгие нравы,
И в нашей среде благочинно цветут
Цветы невинной забавы.

Тебе понравится нынче у нас,
Хоть ты известный повеса.
Мы развиваемся,— ты сам
Найдешь следы прогресса.

Цензура смягчилась. Гофман стар,
В предчувствии близкой кончины
Не станет он так беспощадно кромсать
Твои «Путевые картины».

Ты сам и старше и мягче стал,
Ты многое понял на свете.
Быть может, и прошлое наше теперь
Увидишь в лучшем свете.

Ведь слух об ужасах прошлых дней
В Германии — ложь и витийство.
От рабства, тому свидетель Рим,
Спасает самоубийство.

Свобода мысли была для всех,
Не только для высшей знати.
Ведь ограничен был лишь тот,
Кто выступал в печати.

У нас никогда не царил произвол.
Опасного демагога
Лишить кокарды мог только суд,
Судивший честно и строго.

В Германии, право, неплохо жилось,
Хоть времена были круты.
Поверь, в немецкой тюрьме человек
Не голодал ни минуты.

Как часто в прошлом видели мы
Прекрасные проявленья
Высокой веры, покорности душ!
А ныне — неверье, сомненье.

Практической трезвостью внешних свобод
Мы идеал погубили,
Всегда согревавший наши сердца,
Невинный, как грезы лилий.

И наша поэзия гаснет, она
Вступила в пору заката:
С другими царями скоро умрет
И черный царь Фрейлиграта.

Наследник будет есть и пить,
Но коротки милые сказки —
Уже готовится новый спектакль,
Идиллия у развязки!

О, если б умел ты молчать, я бы здесь
Раскрыла пред тобою
Все тайны мира — путь времен,
Начертанный судьбою.

Ты жребий смертных мог бы узреть,
Узнать, что всесильною властью
Назначил Германии в будущем рок,
Но, ах, ты болтлив, к несчастью!»

«Ты мне величайшую радость сулишь,
Богиня! — вскричал я, ликуя.—
Покажи мне Германию будущих дней —
Я мужчина, и тайны храню я!

Я клятвой любою поклясться готов,
Известной земле или небу,
Хранить как святыню тайну твою.
Диктуй же клятву, требуй!..»

И строго богиня ответила мне:
«Ты должен поклясться тем самым,
Чем встарь клялся Елеазар,
Прощаясь с Авраамом.

Подними мне подол и руку свою
Положи мне на чресла, под платье,
И дай мне клятву скромным быть
И в слове и в печати».

Торжественный миг! Я овеян был
Минувших столетий дыханьем,
Клянясь ей клятвою отцов,
Завещанной древним преданьем.

Я чресла богини обнял рукой,
Подняв над ними платье,
И дал ей клятву скромным быть
И в слове и в печати.

ГЛАВА XXVI

Богиня раскраснелась так,
Как будто ей в корону
Ударил ром. Я с улыбкой внимал
Ее печальному тону:

«Я старюсь. Тот день, когда Гамбург возник,
Был днем моего рожденья.
В ту пору царица трески, моя мать,
До Эльбы простерла владенья.

Carolus Magnus — мой славный отец —
Давно похищен могилой.
Он даже Фридриха прусского мог
Затмить умом и силой.

В Ахене — стул, на котором он был
Торжественно коронован,
А стул, служивший ему по ночам,
Был матери, к счастью, дарован.

От матери стал он моим. Хоть на вид
Он привлекателен мало,
На все состоянье Ротшильда я
Мой стул бы не променяла.

Вон там он, видишь, стоит в углу,—
Он очень стар и беден;
Подушка сиденья изодрана вся,
И молью верх изъеден.

Но это пустяк, подойди к нему
И снять подушку попробуй.
Увидишь в сиденье дыру, и под ней
Конечно, сосуд, но особый:

То древний сосуд магических сил,
Кипящих вечным раздором.
И если ты голову сунешь в дыру,
Предстанет грядущее взорам.

Грядущее родины бродит там,
Как волны смутных фантазмов,
Но не пугайся, если в нос
Ударит вонью миазмов».

Она засмеялась, но мог ли искать
Я в этих словах подковырку?
Я кинулся к стулу, подушку сорвал
И сунул голову в дырку.

Что я увидел — не скажу,
Я дал ведь клятву все же!
Мне лишь позволили говорить
О запахе, но — боже! —

Меня и теперь воротит всего
При мысли о смраде проклятом,
Который лишь прологом был,—
Смесь юфти с тухлым салатом.

И вдруг — о, что за дух пошел!
Как будто в сток вонючий
Из тридцати шести клоак
Навоз валили кучей.

Мерзавцы, сгнившие давно,
Смердя историческим смрадом,
Полунегодяи, полумертвецы,
Сочились последним ядом.

И даже святого пугала труп,
Как призрак, встал из гроба.
Налитая кровью народов и стран,
Раздулась гнилая утроба.

Чумным дыханьем весь мир отравить
Еще раз оно захотело,
И черви густою жижей ползли
Из почерневшего тела.

И каждый червь был новый вампир,
И гнусно смердел, издыхая,
Когда в него целительный кол
Вонзала рука роковая.

Зловонье крови, вина, табака,
Веревкой кончивших гадин,—
Такой аромат испускает труп
Того, кто при жизни был смраден.

Зловонье пуделей, мопсов, хорьков,
Лизавших плевки господина,
Околевавших за трон и алтарь
Благочестиво и чинно.

То был живодерни убийственный смрад,
Удушье гнили и мора;
Средь падали издыхала там
Светил Исторических свора.

Я помню ясно, что сказал
Сент-Жюст в Комитете спасенья:
«Ни в розовом масле, ни в мускусе нет
Великой болезни целенья».

Но этот грядущий немецкий смрад —
Я утверждаю смело —
Превысил всю мне привычную вонь,
В глазах у меня потемнело,

Я рухнул без чувств и потом, пробудясь
И с трудом разобравшись в картине,
Увидел себя на широкой груди,
В объятиях богини.

Блистал ее взор, пылал ее рот,
Дрожало могучее тело.
Вакханка, ликуя, меня обняла
И в диком экстазе запела:

«Есть в Фуле король — свой бокал золотой,
Как лучшего друга, он любит,
Тотчас пускает он слезу,
Чуть свой бокал пригубит.

И просто диво, что за блажь
Измыслить он может мгновенно!
Издаст, например, неотложный декрет:
Тебя под замок да на сено!

Не езди на север, берегись короля,
Что в Фуле сидит на престоле,
Не суйся в пасть ни жандармам его,
Ни Исторической школе.

Останься в Гамбурге! Пей да ешь,—
Душе и телу отрада!
Почтим современность устриц и вин,—
Что нам до грядущего смрада!

Накрой же сосуд, чтоб не портила вонь
Блаженство любовных обетов!
Так страстно женщиной не был любим
Никто из немецких поэтов!

Целую тебя, обожаю тебя,
Меня вдохновляет твой гений,
Ты вызвал предо мной игру
Чарующих видений!

Я слышу рожки ночных сторожей,
И пенье, и бубна удары.
Целуй же меня! То свадебный хор —
Любимого славят фанфары.

Въезжают вассалы на гордых конях,
Пред каждым пылает светильник,
И радостно факельный танец гремит,—
Целуй меня, собутыльник!

Идет милосердный и мудрый сенат,—
Торжественней не было встречи!
Бургомистр откашливается в платок,
Готовясь к приветственной речи.

Дипломатический корпус идет,
Блистают послы орденами;
От имени дружественных держав
Они выступают пред нами.

Идут раввины и пасторы вслед —
Духовных властей депутаты.
Но, ах! и Гофман, твой цензор, идет,
Он с ножницами, проклятый!

И ножницы уже звенят;
Он ринулся озверело
И вырезал лучшее место твое —
Кусок живого тела».

ГЛАВА XXVII

О дальнейших событьях той ночи, друзья,
Мы побеседуем с вами
Когда-нибудь в нежный, лирический час,
Погожими летними днями.

Блудливая свора старых ханжей
Рдеет, милостью бога.
Они гниют от болячек лжи
И дохнут,— туда им дорога.

Растет поколенье новых людей
Со свободным умом и душою,
Без наглого грима и подлых грешков,—
Я все до конца им открою.

Растет молодежь — она поймет
И гордость и щедрость поэта,—
Она расцветет в жизнетворных лучах
Его сердечного света.

Безмерно в любви мое сердце, как свет,
И непорочно, как пламя;
Настроена светлая лира моя
Чистейших граций перстами.

На этой лире бряцал мой отец,
Творя для эллинской сцены,—
Покойный мастер Аристофан,
Возлюбленный Камены.

На этой лире он некогда пел
Прекрасную Базилею,—
Ее Писфетер женою назвал
И жил на облаке с нею.

В последней главе поэмы моей
Я подражаю местами
Финалу «Птиц». Это лучшая часть
В лучшей отцовской драме.

«Лягушки» — тоже прекрасная вещь.
Теперь, без цензурной помехи,
Их на немецком в Берлине дают
Для королевской потехи.

Бесспорно, пьесу любит король!
Он поклонник античного строя.
Отец короля предпочитал
Квакушек нового кроя.

Бесспорно, пьесу любит король!
Но, живи еще автор,— признаться,
Я не советовал бы ему
В Пруссию лично являться.

На Аристофана живого у нас
Нашли бы мигом управу,—
Жандармский хор проводил бы его
За городскую заставу.

Позволили б черни хвостом не вилять,
А лаять и кусаться.
Полиции был бы отдан приказ
В тюрьме сгноить святотатца.

Король! Я желаю тебе добра,
Послушай благого совета:
Как хочешь, мертвых поэтов славь,
Но бойся живого поэта!

Берегись, не тронь живого певца!
Слова его — меч и пламя.
Страшней, чем им же созданный Зевс,
Разит он своими громами.

И старых и новых богов оскорбляй,
Всех жителей горнего света
С великим Иеговой во главе,—
Не оскорбляй лишь поэта.

Конечно, боги карают того,
Кто был в этой жизни греховен,
Огонь в аду нестерпимо горяч,
И серой смердит от жаровен,—

Но надо усердно молиться святым:
Раскрой карманы пошире,
И жертвы на церковь доставят тебе
Прощенье в загробном мире.

Когда ж на суд низойдет Христос
И рухнут врата преисподней,
Иной пройдоха улизнет,
Спасаясь от кары господней.

Но есть и другая геенна. Никто
Огня не смирит рокового!
Там бесполезны и ложь и мольба,
Бессильно прощенье Христово.

Ты знаешь грозный Дантов ад,
Звенящие гневом терцины?
Того, кто поэтом на казнь обречен,
И бог не спасет из пучины.

Над буйно поющим пламенем строф
Не властен никто во вселенной.
Так берегись! Иль в огонь мы тебя
Низвергнем рукой дерзновенной.

ПРОЛОГ

Вера в чудо! Где ты ныне
Голубой цветок, когда-то
Расцветавший так роскошно
В сердце юном человека!

Вера в чудо! Что за время!
Ты само чудесным было,
Ты чудес рождало столько,
Что не видели в них чуда.

Прозой будничной казалась
Фантастическая небыль,
Пред которою померкли
Сумасбродства всех поэтов,

Бредни рыцарских романов,
Притчи, сказки и легенды
Кротких набожных монахов,
Ставших жертвами костра.

Как-то раз лазурным утром
В океане, весь цветущий,
Как морское чудо, вырос
Небывалый новый мир,—

Новый мир, в котором столько
Новых птиц, людей, растений,
Новых рыб, зверей и гадов,
Новых мировых болезней!

Но и старый наш знакомец,
Наш привычный Старый Свет
В те же дни преобразился,
Расцветился чудесами,

Сотворенными великим
Новым духом новой эры,—
Колдовством Бертольда Шварца,
Ворожбой волхва из Майнца,

Заклинателя чертей;
Волшебством, царящим в книгах,
Поясненных ведунами
Византии и Египта,—

В сохраненных ими книгах,
Что зовутся в переводе
Книгой Красоты одна,
Книгой Истины — другая.

Их на двух наречьях неба,
Древних и во всем различных,
Сотворил господь,— по слухам,
Он писал собственноручно.

И, дрожащей стрелке вверясь,
Этой палочке волшебной,
Мореход нашел дорогу
В Индию, страну чудес,—

В край, где пряные коренья
Размножаются повсюду
В сладострастном изобилье,
Где растут на тучной почве

Небывалые цветы,
Исполинские деревья —
Знать растительного царства
И венца его алмазы,

Где таятся мхи и травы
С чудодейственною силой,
Исцеляющей, иль чаще
Порождающей, недуги,—

По тому смотря, кто будет
Их давать: аптекарь умный
Иль венгерец из Баната,
Круглый неуч и дурак.

И едва врата раскрылись
В этот сад, оттуда хлынул
Океан благоуханий,
Жизнерадостный и буйный

Ливень пьяных ароматов,
Оглушивших, затопивших,
Захлестнувших сердце мира,
Мира старого — Европу.

Как под огненною бурей,
Кровь людей огнем бурлила,
Клокотала дикой жаждой
Золота и наслаждений.

Стало золото девизом,
Ибо этот желтый сводник —
Золото — само дарует
Все земные наслажденья.

И когда в вигвам индейца
Заходил теперь испанец,
Он там спрашивал сначала
Золота, потом — воды.

Стали Мексика и Перу
Оргий золотых притоном.
Пьяны золотом, валялись
В нем и Кортес и Писарро;

Лопес Вакка в храме Кито
Стибрил солнце золотое
Весом в тридцать восемь фунтов
И добычу в ту же ночь

Проиграл кому-то в кости,—
Вот откуда поговорка:
«Лопес, проигравший солнце
Перед солнечным восходом».

Да, великие то были
Игроки, бандиты, воры.
Люди все несовершенны,
Но уж эти совершали

Чудеса, перекрывая
Зверства самой разъяренной
Солдатни — от Олоферна
До Радецкого с Гайнау.

В дни всеобщей веры в чудо
Чудеса вершат и люди,—
Невозможному поверив,
Невозможное свершишь.

Лишь глупец тогда не верил,
А разумный верил слепо;
Преклонял главу смиренно
Перед чудом и мудрец.

Из рассказов о героях
Дней чудесных веры в чудо,
Как ни странно, всех милее
Мне рассказ о дон Хуане

Понсе де Леон, сумевшем
Отыскать в морях Флориду,
Но искавшем понапрасну
Остров счастья Бимини.

Бимини! Когда я слышу
Это имя, бьется сердце,
Воскресают к новой жизни
Грезы юности далекой.

Но глаза их так печальны,
На челе венок увядший,
И над ними в нежной скорби
Мертвый плачет соловей.

Я ж, забыв свои недуги,
Так соскакиваю с ложа,
Что дурацкий балахон мой
Расползается по швам.

И тогда смеюсь я горько:
Ах, ведь это попугаи
Прохрипели так потешно,
Так печально: «Бимини!»

Помоги, святая муза,
Фея мудрая Парнаса,
Сделай чудо, покажи мне
Мощь поэзии священной!

Докажи, что ты колдунья,
Зачаруй мне эту песню,
Чтоб она волшебным судном
Поплыла на Бимини!

И едва я так промолвил,
Вмиг исполнилось желанье,
И смотрю, корабль волшебный
Гордо сходит с верфей мысли.

Кто со мной на Бимини?
Господа и дамы, просим!
Понесут волна и ветер
Мой корабль на Бимини.

Если мучает подагра
Благородных кавалеров,
Если милых дам волнует
Неуместная морщинка,—

Все со мной на Бимини!
Этот курс гидропатичен,
Он магическое средство
От зазорного недуга.

И не бойтесь, пассажиры,
Мой корабль вполне надежен:
Из хореев тверже дуба
Мощный киль его сработан,

Держит руль воображенье,
Паруса вздувает бодрость,
Юнги — резвые остроты,
На борту ль рассудок? Вряд ли!

Реи судна — из метафор,
Мачты судна — из гипербол,
Флаг романтикой раскрашен,—
Он, как знамя Барбароссы,

Черно-красно-золотой.
Я такое знамя видел
Во дворце горы Кифгайзер
И во франкфуртском соборе.

В море сказочного мира,
В синем море вечной сказки
Мой корабль, мечте послушный,
Прокладывает путь волшебный.

Перед ним в лазури зыбкой,
В водометах искр алмазных
Кувыркаются и плещут
Большемордые дельфины,

А на них амуры едут,
Водяные почтальоны,—
Раздувая тыквой щеки,
Трубят в раковины громко;

И причудливое эхо
Громовым фанфарам вторит,
А из темно-синей глуби
Смех доносится и хохот.

Ах, я знаю эти звуки,
Эту сладкую насмешку,—
То ундины веселятся,
Издеваясь надо мной,

Над дурацкою поездкой,
Над дурацким экипажем,
Над моим дурацким судном,
Взявшим курс на Бимини.

I

На пустом прибрежье Кубы,
Над зеркально гладким морем
Человек стоит и смотрит
В воду на свое лицо.

Он старик, но по-испански,
Как свеча, и прям и строен;
В непонятном одеянье:
То ли воин, то ль моряк,—

Он в рыбацких шароварах,
Редингот — из желтой замши;
Золотой парчой расшита
Перевязь,— на ней сверкает

Неизбежная наваха
Из Толедо; к серой шляпе
Прикреплен султан огромный
Из кроваво-красных перьев,—

Цвет их мрачно оттеняет
Огрубелое лицо,
Над которым потрудились
Современники и время.

Бури, годы и тревоги
В кожу врезали морщины,
Вражьи сабли перекрыли
Их рубцами роковыми.

И весьма неблагосклонно
Созерцает воин старый
Обнажающее правду
Отражение свое.

И, как будто отстраняясь,
Он протягивает руки,
И качает головою,
И, вздыхая, молвит горько:

«Ты ли — Понсе де Леон,
Паж дон Гомеса придворный?
Ты ль Хуан, носивший трен
Гордой дочери алькада?

Тот Хуан был стройным франтом,
Ветрогоном златокудрым,
Легкомысленным любимцем
Чернооких севильянок.

Изучили даже топот
Моего коня красотки:
Все на этот звук кидались
Любоваться мной с балконов.

А когда я звал собаку
И причмокивал губами,
Дам бросало в жар и в трепет
И темнели их глаза.

Ты ли — Понсе де Леон,
Ужас мавров нечестивых,—
Как репьи, сбивавший саблей
Головы в цветных тюрбанах?

На равнине под Гренадой,
Перед всем Христовым войском,
Даровал мне дон Гонсальво
Званье рыцарским ударом.

В тот же день в шатре инфанты
Праздник вечером давали,
И под пенье скрипок в танце
Я кружил красавиц первых.

Но внимал не пенью скрипок,
Но речей не слушал нежных,—
Только шпор бряцанье слышал,
Только звону шпор внимал:

Ибо шпоры золотые
Я надел впервые в жизни
И ногами оземь топал,
Как на травке жеребенок.

Годы шли — остепенился,
Воспылал я честолюбьем
И с Колумбом во вторичный
Кругосветный рейс поплыл.

Был я верен адмиралу,—
Он, второй великий Христоф,
Свет священный через море
В мир языческий принес.

Доброты его до гроба
Не забуду,— как страдал он!
Но молчал, вверяя думы
Лишь волнам да звездам ночи.

А когда домой отплыл он,
Я на службу к дон Охеда
Перешел и с ним пустился
Приключениям навстречу.

Знаменитый дон Охеда
С ног до головы был рыцарь,—
Сам король Артур подобных
Не сзывал за круглый стол.

Битва, битва — вот что было
Для него венцом блаженства.
С буйным смехом он врубался
В гущу краснокожих орд.

Раз, отравленной стрелою
Пораженный, раскалил он
Прут железный и, не дрогнув,
С буйным смехом выжег рану.

А однажды на походе
Заблудились мы в болотах,
Шли по грудь в вонючей тине,
Без еды и без питья.

Больше сотни в путь нас вышло,
Но за тридцать дней скитанья
От неслыханных мучений
Пали чуть не девяносто.

А болот — конца не видно!
Взвыли все; но дон Охеда
Ободрял и веселил нас
И смеялся буйным смехом.

После братом по оружью
Стал я мощному Бальбоа.
Не храбрей Охеда был он,
Но умнее в ратном деле.

Все орлы высокой мысли
В голове его гнездились,
А в душе его сияло
Ярким солнцем благородство.

Для монарха покорил он
Край размерами с Европу,
Затмевающий богатством
И Неаполь и Брабант.

И монарх ему за этот
Край размерами с Европу,
Затмевающий богатством
И Неаполь и Брабант,

Даровал пеньковый галстук:
Был на рыночном подворье,
Словно вор, Бальбоа вздернут
Посреди Сан-Себастьяна.

Не такой отменный рыцарь
И герой не столь бесспорный,
Но мудрейший полководец
Был и Кортес дон Фернандо.

С незначительной армадой
Мы на Мексику отплыли.
Велика была пожива,
Но и бед не меньше было.

Потерял я там здоровье,
В этой Мексике проклятой,—
Ибо золото добыл
Вместе с желтой лихорадкой.

Вскоре я купил три судна,
Трюмы золотом наполнил
И поплыл своей дорогой,—
И открыл я остров Кубу.

С той поры я здесь наместник
Арагона и Кастильи,
Счастлив милостью монаршей
Фердинанда и Хуаны.

Все, чего так жаждут люди,
Я добыл рукою смелой:
Славу, сан, любовь монархов,
Честь и орден Калатравы.

Я наместник, я владею
Золотом в дублонах, в слитках,
У меня в подвалах груды
Самоцветов, жемчугов.

Но смотрю на этот жемчуг
И всегда вздыхаю грустно:
Ах, иметь бы лучше зубы,
Зубы юности счастливой!

Зубы юности! С зубами
Я навек утратил юность
И гнилыми корешками
Скрежещу при этой мысли.

Зубы юности! О, если б
Вместе с юностью купить их!
Я б за них, не дрогнув, отдал
Все подвалы с жемчугами,

Слитки золота, дублоны,
Дорогие самоцветы,
Даже орден Калатравы,—
Все бы отдал, не жалея.

Пусть отнимут сан, богатство,
Пусть не кличут «ваша светлость»,
Пусть зовут молокососом,
Шалопаем, сопляком!

Пожалей, святая дева,
Дурня старого помилуй,
Посмотри, как я терзаюсь
И признаться в том стыжусь!

Дева! Лишь тебе доверю
Скорбь мою, тебе открою
То, чего я не открыл бы
Ни единому святому.

Ведь святые все — мужчины,
А мужчину даже в небе
Я, caracho [1], проучил бы
За улыбку состраданья.

Ты ж, как женщина, о дева,
Хоть бессмертной ты сияешь
Непорочной красотой,
Но чутьем поймешь ты женским,

Как страдает бренный, жалкий
Человек, когда уходят,
Искажаясь и дряхлея,
Красота его и сила.

О, как счастливы деревья!
Тот же ветер в ту же пору,
Налетев осенней стужей,
С их ветвей наряд срывает,—

Все они зимою голы,
Ни один росток кичливый
Свежей зеленью не может
Над увядшими глумиться.

Лишь для нас, людей, различно
Наступает время года:
У одних зима седая,
У других весна в расцвете.

[1] Испанское ругательство.

Старику его бессилье
Вдвое тягостней при виде
Буйства молодости пылкой.
О, внемли, святая дева!

Скинь с моих недужных членов
Эту старость, эту зиму,
Убелившую мой волос,
Заморозившую кровь.

Повели, святая, солнцу
Влить мне в жилы новый пламень,
Повели весне защелкать
Соловьем в расцветшем сердце,

Возврати щекам их розы,
Голове — златые кудри,
Дай мне счастье, пресвятая,
Снова стать красавцем юным!»

Так несчастный дон Хуан
Понсе де Леон воскликнул,
И обеими руками
Он закрыл свое лицо.

И стонал он, и рыдал он
Так безудержно и бурно,
Что текли ручьями слезы
По его костлявым пальцам.

II

И на суше верен рыцарь
Всем привычкам морехода,
На земле, как в море синем,
Ночью спать он любит в койке.

На земле, как в море, любит,
Чтоб его и в сонных грезах
Колыхали мягко волны,—
И качать велит он койку,

Эту должность исправляет
Кяка, старая индийка,
И от рыцаря москитов
Гонит пестрым опахалом.

И, качая в колыбели
Седовласого ребенка,
Напевает песню-сказку,
Песню родины своей.

Волшебство ли в этой песне
Или тонкий старый голос,
Птицы щебету подобный,
Полон чар? Она поет:

«Птичка колибри, лети,
Путь держи на Бимини,—
Ты вперед, мы за тобою
В лодках, убранных флажками.

Рыбка Бридиди, плыви,
Путь держи на Бимини,—
Ты вперед, мы за тобою,
Перевив цветами весла.

Чуден остров Бимини,
Там весна сияет вечно,
И в лазури золотые
Пташки свищут: ти-ри-ли.

Там цветы ковром узорным
Устилают пышно землю,
Аромат туманит разум,
Краски блещут и горят.

Там шумят, колеблясь в небе,
Опахала пальм огромных,
И прохладу льют на землю,
И цветы их тень целует.

На чудесном Бимини
Ключ играет светлоструйный,
Из волшебного истока
Воды молодости льются.

На цветок сухой и блеклый
Влагой молодости брызни —
И мгновенно расцветет он,
Заблистает красотой.

На росток сухой и мертвый
Влагой молодости брызни —
И мгновенно опушится
Он зелеными листами.

Старец, выпив чудной влаги,
Станет юным, сбросит годы,—
Так, разбив кокон постылый,
Вылетает мотылек.

Выпьет влаги седовласый —
Обернется чернокудрым
И стыдится в отчий край
Уезжать молокососом.

Выпьет влаги старушонка —
Обращается в девицу
И стыдится в отчий край
Возвращаться желторотой.

Так пришлец и остается
На земле весны и счастья,
И не хочет он покинуть
Остров молодости вечной.

В царство молодости вечной,
На волшебный Бимини,
В чудный край мечты плыву я,—
Будьте счастливы, друзья!

Кошка-крошка Мимили,
Петушок Кики-рики,
Будьте счастливы, мы больше
Не вернемся с Бимини».

Так старуха пела песню,
И дремал и слушал рыцарь,
И порой сквозь сон по-детски
Лепетал он: «Бимини!»

III

Лучезарно светит солнце
На залив, на берег Кубы,
И поют весь день сегодня
В синеве небесной лютни.

Зацелованный весною,
Изумрудами блистая,
В пышном платье подвенечном
Весь цветет прекрасный берег.

И толпится на прибрежье
Пестрый люд разноголосый,
Разных возрастов и званий,—
Ибо все полны одним:

Все полны одной чудесной,
Ослепительной надеждой,
Отразившейся и в тайном
Умилении сердечном

Той бегинки-старушонки,
Что с клюкою ковыляет
И перебирает четки,
Повторяя «Pater noster» [1],

И в улыбке той сеньоры
В золоченом паланкине,
Что раскинулась небрежно
С томной розою во рту

И кокетничает с юным
Знатным щеголем, который
Выступает важно рядом
И надменный крутит ус.

Даже солдатня сегодня
Смотрит мягче и приятней,
Даже облик духовенства
Стал как будто человечней.

---

[1] «Отче наш» *(лат.)*.

В упоенье потирает
Руки тощий чернорясец,
И кадык самодовольно
Гладит жирный капуцин.

Сам епископ — в храме божьем
Неизменно злой и хмурый,
Потому что из-за мессы
Он откладывает завтрак,—

Сам епископ в митре пышной
Вдруг расцвел улыбкой счастья,
И прыщи сияют счастьем
На малиновом носу.

Окруженный хором певчих,
Под пурпурным балдахином.
Он идет, за ним прелаты
В золотых и белых ризах,

С ярко-желтыми зонтами,—
Словно вышел на прогулку
Неким чудом оживленный
Лес гигантских шампиньонов.

Весь кортеж стремится к морю,
Где под знойно-синим небом
На траве, близ вод лазурных,
Возведен алтарь господень,

На котором блещут ленты,
Серпантин, цветы, иконы,
Мишура, сердца из воска
И ковчежцы золотые.

Сам его преосвященство
Будет там служить молебен,
И молитвой, и кропилом
Он благословит в дорогу

Небольшой нарядный флот,
Что качается на рейде,
С якорей готовый сняться
И отплыть на Бимини.

Это судна дон Хуана
Понсе де Леон,— правитель
Снарядил их, оснастил их
И плывет искать волшебный

Остров счастья. И, ликуя,
Весь народ благословляет
Исцелителя от смерти,
Благодетеля людей,—

Ибо всем приятно верить,
Что правитель, возвращаясь,
Каждому захватит фляжку
С влагой молодости вечной.

И уж многие заране
Тот напиток предвкушают
И качаются от счастья,
Как на рейде корабли.

Пять судов стоят на рейде
В ожиданье — две фелуки,
Две проворных бригантины
И большая каравелла.

Каравеллу украшает
Адмиральский флаг с огромным
Тройственным гербом Леона,
Арагона и Кастильи.

Как садовая беседка,
Весь корабль увит венками,
Разноцветными флажками
И гирляндами цветов.

Имя корабля — «Спиранца».
На корме стоит большая
Деревянная скульптура,—
Это госпожа Надежда.

Мастер выкрасил фигуру
И покрыл отличным лаком,
Так что краски не боятся
Ветра, солнца и воды.

Медно-красен лик Надежды,
Медно-красны шея, груди,
Выпирающие дерзко
Из зеленого корсажа.

Платье, лавры на челе —
Тоже зелены. Как сажа —
Волосы, глаза и брови,
А в руках, конечно, якорь.

Экипаж судов — примерно
Двести человек; меж ними
Восемь женщин, семь прелатов.
Сто знатнейших кавалеров

И единственная дама
Поплывут на каравелле,
На которой командором
Будет сам правитель Кубы

Дон Хуан. Избрал он дамой
Кяку,— да, старушка Кяка
Стала донною, сеньорой
Хуанитой, ибо рыцарь

Даровал ей сан и званье
Главкачательницы коек,
Лейб-москито-мухогонки,
Обер-кравчей Бимини.

Как эмблема власти новой
Золотой вручен ей кубок,
И она — в тунике длинной,
Как приличествует Гебе.

Кружева и ожерелья
Так насмешливо белеют
На морщинистых, увядших,
Смуглых прелестях сеньоры.

Рококо-антропофагно,
Караибо-помпадурно
Возвышается прическа,
Вся утыканная густо

Пташками с жука размером,
И они сверкают, искрясь
Многокрасочным нарядом,
Как цветы из самоцветов.

Пестрый птичник на прическе
Удивительно подходит
К попугайскому обличью
Бесподобной донны Кяки.

Образину дополняет
Дон Хуан своим нарядом,
Ибо он, поверив твердо
В близкий час омоложенья,

Уж заране нарядился
Модным щеголем, юнцом:
Он в сапожках остроносых
С бубенцами, как прилично

Лишь мальчишке, в панталонах
С желтой левою штаниной,
С фиолетовою правой,
В красном бархатном плаще;

Голубой камзол атласный,
Рукава — в широких складках;
Перья страуса надменно
Развеваются на шляпе.

Расфранченный, возбужденный,
Пританцовывает рыцарь
И, размахивая лютней,
Приказанья отдает.

Он приказывает людям
Якоря поднять, как только
С берега сигнал раздастся,
Возвестив конец молебна;

Он приказывает людям
Дать из пушек в миг отплытья
Тридцать шесть громовых залпов,
Как салют прощальный Кубе.

Он приказывает людям
И, смеясь, волчком вертится,
Опьяненный буйным хмелем
Обольстительной надежды;

И, смеясь, он щиплет струны,—
И визжит и плачет лютня,
И разбитым козлетоном
Блеет рыцарь песню Кяки:

«Птичка колибри, лети,
Рыбка Бридиди, плыви,
Улетайте, уплывайте,
Нас ведите к Бимини».

IV

Ни глупцом, ни сумасшедшим
Дон Хуан, конечно, не был,
Хоть пустился, как безумец,
Плыть на остров Бимини.

В том, что остров существует,
Он не мог и сомневаться;
Песню Кяки он считал
И порукой и залогом.

Больше всех на свете верит
Мореход в возможность чуда,—
Перед ним всегда сияет
Чудо пламенное неба,

И таинственно рокочут
Вкруг него морские волны,
Из которых вышла древле
Донна Венус Афродита.

В заключительных трохеях
Мы правдиво повествуем,
Сколько бед, надежд и горя
Претерпел, скитаясь, рыцарь.

Ах, своей болезни прежней
Не сумел изгнать бедняга,
Но зато добыл немало
Новых ран, недугов новых.

Он, отыскивая юность,
С каждым днем старел все больше,
И калекой хилым, дряхлым
Наконец приплыл в страну —

В ту страну, в предел печальный,
В тень угрюмых кипарисов,
Где шумит река, чьи волны
Так чудесны, так целебны.

Та река зовется Летой.
Выпей, друг, отрадной влаги —
И забудешь все мученья,
Все, что выстрадал, забудешь.

Ключ забвенья, край забвенья!
Кто вошел туда — не выйдет,
Ибо та страна и есть
Настоящий Бимини.

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ

Постоянна только смена, нерушима только смерть. Сердце каждым ударом наносит нам рану, и жизнь вечно истекала бы кровью, если бы не поэзия. Она дарует нам то, в чем отказала природа: золотое время, недоступное ржавчине, весну, которая не увядает, безоблачное счастье и вечную молодость.

Бёрне

Фраки черные, чулочки,
Белоснежные манжеты,—
Только речи и объятья
Жарким сердцем не согреты,

Сердцем, бьющимся блаженно
В ожиданье высшей цели.
Ваши лживые печали
Мне до смерти надоели.

Ухожу от вас я в горы,
Где живут простые люди,
Где привольно веет ветер,
Где дышать свободней будет.

Ухожу от вас я в горы,
Где шумят густые ели,
Где журчат ключи и птицы
Вьются в облачной купели.

Вы, прилизанные дамы,
Вы, лощеные мужчины,
Как смешны мне будут сверху
Ваши гладкие долины!.. [1]

Город Геттинген, прославленный своими колбасами и университетом, принадлежит королю ганноверскому, в нем имеются девятьсот девяносто девять домашних очагов, разнообразные церкви, один родильный дом, одна обсерватория, один карцер, одна библиотека и один винный погребок, где отличное пиво. Протекающий через него ручей называется «Лейна» и летом служит для купанья; вода в нем очень холодна, и он местами настолько широк, что Людеру действительно пришлось хорошенько разбежаться, чтобы через этот ручей перепрыгнуть. Сам город красив, но он лучше всего, если станешь к нему спиной. Вероятно, он построен очень давно, так как, помнится, когда пять лет назад я был зачислен в местный университет, а затем вскоре оттуда отчислен, город уже казался седым и нравоучительным и в нем уже имелись в избытке педеля, пуделя, диссертации, thé dansants [2], прачки, компендиумы, жареные голуби, гвельфские ордена, профессорские кареты, головки для трубок, гофраты, юстицраты, релегационсраты, профессора, проректоры, пробелы и прочие пустые места. Иные даже утверждают, что город построен во времена переселения народов, что каждое германское племя оставляло там по одному из своих буйных отпрысков, откуда и народились все эти вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюрингцы и т. д., которые и поныне, отличаясь лишь цветом шапочек и кисточками трубок, кочуют ордами по Венденштрассе и вечно устраивают побоища на кровавых полях сражений при Разенмюле, Риченкруге и Бовдене, все еще следуют нравам и обычаям эпохи переселения народов и управляются частью своими князьями,— их именуют петухи-вожаки,— а частью древним сводом законов, который называется «Студенческие обычаи» и заслуживает быть включенным в leges barbarorum [3].

В общем, жители Геттингена делятся на студентов, профессоров, филистеров и скотов, причем эти четыре сословия отнюдь не строго между собой разграничены. Сословие скотов преобладает. Перечислять здесь имена всех студентов и всех профессоров, ординарных и неординарных, было бы слишком

[1] Перевод Ал. Дейча.
[2] Чай с танцами *(франц.)*.
[3] Сборник законов варваров *(лат.)*.

«Т е н и».

Карикатура на немецкую буржуазию
Цветная гравюра Ж. Гранвиля
1830 г.

долго; к тому же в данную минуту не все имена студентов мне запомнились, а среди профессоров есть много таких, которые и вовсе еще не имеют имени. Число геттингенских филистеров, вероятно, очень велико, точно песок морской, или, вернее говоря, точно грязь на берегу морском: когда я видел по утрам, как они с грязными лицами и белыми прошениями торчат перед вратами академического суда, я, право же, едва мог понять, каким образом богу удалось сотворить столько всякого сброду.

Более подробно о городе Геттингене вы с успехом можете прочесть в его описании, составленном К.-Ф.-Х. Марксом. Хотя я испытываю самую благоговейную признательность к автору, который был моим врачом и сделал мне много добра, все же я не могу безоговорочно рекомендовать его труд и должен упрекнуть его в том, что он недостаточно решительно опровергает ложное мнение, будто у геттингенских дам слишком большие ноги. Я даже потрудился немало дней, чтобы солидно раскритиковать подобное мнение, ради этого прослушал курс сравнительной анатомии, делал в библиотеке выписки из редчайших трудов, часами изучал ноги дам, гуляющих по Вендерштрассе, и в ученейшем трактате, где изложены плоды моих исследований, я говорю: 1) о ногах вообще, 2) о ногах у древних, 3) о ногах слонов, 4) о ногах геттингенок, 5) сопоставляю все, что уже сказано о ногах в Саду Ульриха, 6) рассматриваю все эти ноги в их взаимоотношениях и, воспользовавшись случаем, распространяюсь также по поводу икр, колен и т. п.; и, наконец, 7) если смогу достать бумагу нужного формата, то приложу еще несколько гравюр-факсимиле, воспроизводящих точно ноги геттингенских дам.

Когда я покинул Геттинген, было еще очень рано, ученый ***, вероятно, еще лежал в постели и видел свой обычный сон: будто он бродит в прекрасном саду, где на клумбах растут только белые, исписанные цитатами бумажки, они заманчиво поблескивают в солнечных лучах, а он срывает то одну, то другую и бережно пересаживает их на новые клумбы, между тем как соловьи сладчайшими песнями тешат его старое сердце.

Перед Вендскими воротами мне встретились два местных школьника, причем один сказал другому: «Не буду я больше водиться с Теодором, он — негодяй, ведь вчера он не знал, как родительный падеж от mensa» [1]. Хоть и незначительны эти слова, но я должен привести их, более того, я бы даже начертал их как девиз на городских воротах, ибо каковы отцы, таковы

[1] Стол *(лат.)*.

и детки, а в этих словах вполне выражена ограниченная и сухая цитатная гордость сверхученой Георгии-Августы.

На дороге веяло утренней прохладой, птицы пели так радостно, что и у меня на душе становилось все свежей и радостней. Такое настроение было очень кстати. За последнее время я не вылезал из стойла пандектов, римские казуисты словно серой паутиной опутали мой ум, сердце, словно железными тисками, было зажато параграфами своекорыстных правовых систем, и у меня в ушах все еще звучало: Трибониан, Юстиниан, Гермогениан и Глупиян, а сидевшую под деревом нежную парочку я чуть не принял за особое издание Corpus juris[1] с переплетенными застежками.

Началось оживленье. По дороге потянулись молочницы, а также погонщики со своими серыми питомцами. За Венде мне встретились Шефер и Дорис. Однако это была не идиллическая парочка, воспетая Гесснером, но два дюжих университетских педеля, обязанных бдительно следить за тем, чтобы в Бовдене студенты не дрались на дуэли и чтобы никакие новые идеи, которые до сих пор должны подвергаться карантину целыми десятилетиями, не проникли в Геттинген, ввезенные контрабандой каким-нибудь мыслящим приват-доцентом. Шефер чистосердечно приветствовал меня как собрата по перу, ибо он тоже писатель и частенько упоминал обо мне в своих полугодовых писаниях; кроме того, он частенько являлся ко мне с немедленным вызовом и, не заставая дома, цитировал мое имя в выписке из протокола и был так любезен, что писал мелом вызов на дверях моей комнаты. Время от времени мимо меня проезжала одноконная повозка, набитая студентами, уезжавшими на каникулы, а то и навсегда. В подобных университетских городах — вечные приезды и отъезды, ибо каждые три года прибывает новое поколение студентов,— это непрерывный человеческий поток, где волна одного семестра сменяется другой, и только старые профессора остаются на месте среди всеобщего движения, стоят неизменно и непоколебимо, подобно египетским пирамидам, с той лишь разницей, что в университетских пирамидах не таится никакой мудрости.

Из миртовой рощи возле Раушенвассера выехали верхом два многообещающих юноши. Женщина, занимающаяся там своим горизонтальным ремеслом, проводила их до большой дороги, опытной рукой похлопала лошадей по тощим бокам, громко расхохоталась, когда один из всадников галантно стегнул ее

[1] Свод законов *(лат.)*.

плеткой по широкому заду, и направилась к Бовдену. Юноши же поскакали в Нортен; они весьма остроумно орали и весьма мило распевали песенку Россини: «Пей пиво, Лиза, Лиза дорогая». Эти звуки еще долго доносились до меня; однако я скоро совсем потерял из виду прелестных певцов, ибо они бешено пришпоривали и нахлестывали своих коней, в характере которых, видимо, преобладала чисто немецкая медлительность. Нигде нет такого живодерства, как в Геттингене, и нередко, видя, как несчастная хромая кляча ради скудного пропитания обливается потом и терпит от наших раушенвассерских рыцарей подобные муки или тащит повозку, набитую студентами, я думал: «Ах ты, бедное животное, наверное, твои предки вкусили в раю запретного овса!»

В нортенском трактире я снова встретил обоих юношей. Один поглощал селедочный салат, другой развлекался беседой со служанкой Фузией Каниной, одетой в желтую кожу, как долговая книга. Он сказал ей несколько любезностей, и в конце концов они схватились врукопашную. Чтобы облегчить свою сумку, я извлек оттуда мои синие панталоны, весьма примечательные в историческом отношении, и подарил их маленькому кельнеру, прозванному «Колибри». Тем временем Буссения, старуха хозяйка, принесла мне бутерброд и укоряла за то, что я теперь столь редко ее посещаю, а она меня так любит.

Когда я оставил Нортен, солнце сияло в небе уже высоко и ярко. Желая мне добра, оно стало усердно печь мне голову, чтобы все мои незрелые мысли дозрели. Не следовало также пренебрегать и милым солнышком на вывеске трактира в Нордгейме: я завернул туда, и оказалось, что обед уже готов. Все кушанья были вкусно приготовлены и понравились мне гораздо больше безвкусной академической пищи — трески без соли, сухой, как подошва, и протухшей капусты, которой меня кормили в Геттингене. Несколько успокоив свой желудок, я заметил в той же комнате господина с двумя дамами, которые, видимо, уже собирались уезжать. Господин был весь в зеленом, даже очки у него были зеленые, и они отбрасывали на его медно-красный нос зеленые отблески цвета медянки, а сам он напоминал царя Навуходоносора в последние годы жизни, когда тот, согласно преданию, питался, подобно какому-нибудь лесному животному, одним салатом. Зеленый господин попросил, чтобы я рекомендовал ему гостиницу в Геттингене, и я посоветовал ему спросить хотя бы у первого встречного студента, где Брюбахский отель. Одна из дам оказалась его супругой — рослая, обширная женщина, с красным, в целую квадратную

милю, лицом и ямочками на щеках, походившими на плевательницы для амуров, с длинным отвислым подбородком, казавшимся неудачным продолжением лица, и вздыбленной грудью, огражденной крахмальным кружевом и воротничком в зубчатых фестончиках и напоминавшей крепость с башенками и бастионами,— но, так же как и другие крепости, о которых говорит Филипп Македонский, она едва ли была способна противиться ослу, нагруженному золотом. Другая дама — сестра господина — представляла собой полную противоположность первой. Если та вела свою родословную от тучных фараоновых коров, то вторая, несомненно, происходила от тощих. Лицо — сплошной рот, от уха до уха, грудь безотрадно плоская, как Люнебургская степь: вся как бы вываренная фигура этой дамы напоминала даровой обед для бедных студентов-теологов. Обе спросили меня одновременно: останавливаются ли в Брюбахском отеле порядочные люди? Я подтвердил это со спокойной совестью, и когда прелестный трилистник отбыл, я поклонился им еще раз через окно. Хозяин «Солнца» хитро ухмылялся,— он, вероятно, знал, что в Геттингене Брюбахским отелем студенты называют карцер.

За Нордгеймом местность становится гористой и то здесь, то там появляются живописные возвышенности. По дороге мне встречались главным образом лавочники, спешившие на Брауншвейгскую ярмарку, и целые стаи женщин, причем каждая тащила на спине огромные, чуть не с дом, обтянутые белым полотном плетенки. Там сидели в плену самые разнообразные певчие птицы, которые неустанно пищали и щебетали, а несшие их женщины шли, весело подпрыгивая и болтая. Мне показалось очень смешным, что одни птицы тащат других на рынок.

Была совершенно черная ночь, когда я дошел до Остероде. Есть мне не хотелось, и я сейчас же лег. Я устал, как пес, и спал, как бог. Мне приснилось, что я вернулся в Геттинген — в тамошнюю библиотеку. Я стоял в углу юридического зала, рылся в старых диссертациях и углубился в чтение, а когда поднял голову, то, к удивлению своему, заметил, что уже ночь и хрустальные люстры освещают зал. Часы на ближней церкви как раз пробили двенадцать, двери зала распахнулись, и вошла гордая, исполинского роста женщина, а за ней благоговейно следовали члены и ассистенты юридического факультета. Хотя великанша была уже немолода, все же ее черты отличались строгой красотой. Каждый взгляд ее выдавал, что она дочь Титанов, мощная Фемида; в одной руке небрежно держала она

меч и весы, а в другой — свиток пергамента, и два молодых doctores juris [1] несли шлейф ее серой выцветшей одежды; справа суетливо подпрыгивал и вертелся возле нее щуплый придворный советник Рустикус, этот Ликург Ганновера, и декламировал отрывок из своего нового законопроекта; слева галантно ковылял cavaliere servente [2] богини, тайный советник юстиции Куяциус; он был в отличном настроении и то и дело отпускал юридические остроты, причем сам смеялся над ними столь искренне, что даже строгая богиня не раз склонялась к нему с улыбкой, хлопала его по плечу свитком пергамента и дружески шептала: «Ветреный плутишка, ты любитель рубить деревья с макушки!» Тут каждый из остальных господ тоже стал подходить к ней, и у каждого оказалось в запасе какое-нибудь замечаньице или улыбочка, только что придуманная системка, или гипотезка, или другой какой-нибудь выкидыш из собственной головки. Затем в открытые двери зала вошли еще какие-то господа, объявившие себя также великими собратьями славного Ордена юристов; это были по большей части неуклюжие, настороженные субъекты, они тотчас с огромным самодовольством пустились в определения, разграничения и дискуссии по поводу каждого пунктика, каждой главы пандектов. А тем временем входили все новые фигуры — старые законоведы в допотопных одеждах, в белых париках с косичками и давно забытыми лицами, крайне изумленные тем, что их, этих прославленных знаменитостей минувшего века, не очень-то теперь почитают; и они тоже, на свой лад, присоединялись к общему гулу, гомону, гоготу, которые, подобно морскому прибою, все смятеннее и громче вздымались, бушуя, вокруг великой богини, пока она, наконец, потеряв терпение, с устрашающей исполинской скорбью не воскликнула: «Молчите! Молчите! Я слышу голос дорогого моего Прометея: коварной властью, немым насилием прикован он, неповинный, к скале мучений, и все наши споры и болтовня не освежат его ран и не разобьют оков!..» Так воскликнула богиня, и ручьи слез хлынули из ее глаз, а сборище завыло, словно в смертном страхе, потолок затрещал, книги посыпались с полок, и напрасно старик Мюнхгаузен вышел из своей рамы, чтобы призвать к порядку; гам и крик становились все громче,— и я бежал от безумцев, ревущих, точно в доме умалишенных, и спасся в историческом зале, в том благодатном месте, где стоят бок о бок священные

[1] Доктора прав *(лат.)*.
[2] Придворный кавалер *(итал.)*.

статуи Аполлона Бельведерского и Венеры Медицейской; я бросился к ногам богини красоты, и, глядя на нее, я забыл о неистовом хаосе, от которого бежал; мой взор восторженно впивал гармонию и вечную прелесть ее несравненного тела, эллинский покой сошел мне в душу, и на мое чело, как благословение рая, излил сладчайшие звучания своей лиры Феб-Аполлон.

Проснувшись, я все еще слышал ласковый звон. Стада брели на пастбища, и это звенели их колокольчики. Милое золотое солнышко светило в окошко и озаряло картинки на стенах комнаты. Это были сцены из эпохи освободительной войны, правдиво изображавшие, как все мы были героями: сцены казней времен революции, Людовик XVI на гильотине и еще отсечение других таких же голов, на которые и взглянуть-то нельзя, не поблагодарив бога за то, что спокойно лежишь в постели, пьешь вкусный кофе и голова твоя все так же комфортабельно сидит на твоих плечах.

На стене висели также Абеляр и Элоиза, а кроме того, изображения некоторых французских добродетелей в виде банальных девичьих личек, под которыми было выведено каллиграфическим почерком la prudence, la timidité, la pitié etc [1] и, наконец, мадонна — такая красивая и прелестная и столь преданная благочестию, что мне очень захотелось разыскать ту, которая послужила художнику оригиналом, и жениться на ней. Правда, как только я женился бы на этой мадонне, я бы тотчас попросил ее прекратить всякие сношения со святым духом, ибо мне отнюдь не хотелось бы, чтобы моя голова благодаря моей жене украсилась сиянием, как у святого, или еще чем-нибудь.

Напившись кофе, одевшись, прочитав надписи на оконных стеклах и расплатившись в гостинице, я покинул Остероде.

В этом городе столько-то домов и столько-то жителей, и среди них несколько живых душ, как сказано подробнее в «Карманном путеводителе по Гарцу» Готшалька. Перед тем как выйти на шоссе, я взобрался на развалины древнего замка Остероде. От него осталась только половина высокой, с толстыми стенами башни, словно разъеденной раком. Дорога на Клаусталь опять поднималась в гору, и с одного из первых холмов я еще раз посмотрел вниз, в долину, где Остероде со своими красными крышами выглядывает из чащи зеленых сосновых лесов, как махровая роза. В лучах солнца все это казалось таким детским и милым. Сохранилась лишь половина башни, и

[1] Осторожность, робость, сострадание и т. д. *(франц.)*.

видна была только ее внушительная задняя стена. Такая серая, изъеденная временем руина придает особую прелесть всему ландшафту и украшает его несравненно больше, чем какое-нибудь новенькое чистенькое здание, несмотря на весь блеск его молодости! И простоит такая руина дольше, чем оно, несмотря на свою дряхлость и заброшенность. Так же, как с древними замками, обстоит дело и со старыми поколениями.

В этой местности вы увидите еще немало старинных разрушенных замков.

Развалины Гарденберга возле Нортена — самые красивые. И хотя сердце у нас, как ему и полагается, находится с левой стороны груди,— стороны либеральной,— все же нельзя не предаться некоторым элегическим чувствам при виде этих недоступных орлиных гнезд, где некогда обитали привилегированные хищники, передавшие своему хилому потомству только свои ненасытные аппетиты. Таковы были в то утро мои мысли. Чем дальше я уходил от Геттингена, тем больше оттаивала моя душа. Под конец меня охватило присущее мне романтическое настроение, и я, шагая по дороге, сочинил следующие стихи:

Встаньте, старые виденья!
Шире, шире, сердца дверь!
Слез родник в блаженстве песен
Бьет и пенится теперь.

Я проникну в чащу елей,
В сень лесных журчащих вод,
Где олень шагает гордый,
Где веселый дрозд поет.

Я взойду по горным склонам
На утесов крутизны,
Где развалины седые
В свете утреннем видны.

Там присяду я безмолвно,
И припомню старину,
И минувших поколений
Блеск и славу помяну.

Поросла травой лужайка,
Где турнир когда-то был,
Где в бою отважный рыцарь
Самых смелых покорил.

Плющ обвил балкон, где дама
Вниз глядела на него
И глазами покорила
Покорителя того...

Ах! Сразивший и сраженный,
Оба смертью сражены —
Все мы рыцарю с косою
Бессердечно отданы [1].

Через некоторое время я нагнал бродячего подмастерья, который шел из Брауншвейга, и он рассказал мне, что там распространился слух, будто молодой герцог по пути в Святую землю был захвачен турками, и теперь они требуют за него огромный выкуп. Может быть, основанием для этой легенды послужило далекое путешествие, предпринятое герцогом. В народе еще живет традиционно-сказочный образ мыслей, который так пленительно выражен в «Герцоге Эрнсте». Сообщивший мне эту новость оказался подмастерьем-портным, приятным молодым человеком, настолько худым, что звезды могли бы просвечивать сквозь него, как сквозь туманных духов Оссиана, а в целом — то была чисто народная, причудливая помесь веселья и меланхолии. Это сказалось особенно ясно в той комической трогательности, с какой он спел прелестную народную песню: «На заборе сидит жук, зумм, зумм!» У нас, немцев, это очень удачная черта: как человек ни безумен, всегда найдется еще более безумный, который поймет его. Только немец способен прочувствовать эту песню и, слушая ее, нахохотаться и наплакаться до смерти! Портной спел еще немало народных песен, в которых то и дело упоминались «карие очи», выдававшие южногерманское происхождение этих песен. Я знаю только одну-единственную песню, где говорится о «голубых очах» (она помещена в «Волшебном роге»), да и то сомневаюсь в ее подлинности. Но если Южная Германия — родина народной песни, то Северная — родина народной сказки, не менее прекрасного цветка, который я так часто встречаю во время своего путешествия. Лирика принадлежит югу, эпос — северу, Гете же принадлежит обоим. Я имел случай и тут убедиться, как глубоко проникло в жизнь народа слово Гете. Мой тощий попутчик временами напевал себе под нос: «Радость иль горесть, а мысли свободны». Подобное извращение текста у на-

[1] Перевод И. Елина.

рода — явление обычное. Он спел также песню, где говорится о том, что «Лотхен над могилою Вертера грустит». Портной прямо растаял от сентиментальности при словах: «Одиноко плачу я над розой, где так часто месяц нас подстерегал! У ручья прозрачного тоскую, что о счастье нам тогда журчал». Но вскоре затем он переменил тон и шаловливо сообщил мне: «У нас в Касселе есть в мастерской один пруссак,— он сам такие стихи сочиняет; шва не умеет прострочить, а заведется в кармане грош, так сейчас же и жажда у него на два гроша, и когда во хмелю, то ему кажется, что небо — синий камзол, и он плачет, как дождевой желоб, и поет песни с двойной поэзией!» Что касается последнего выражения, то я осведомился, что оно значит, но мой портняжка, подпрыгивая на своих козьих ножках, только повторял: «Двойная поэзия — это двойная поэзия!» Наконец я понял, что он имеет в виду стихи с двойной рифмой, а именно стансы. Однако долгая ходьба и встречный ветер все же сильно утомили этого рыцаря иглы. Он, правда, сделал еще несколько храбрых попыток продолжать путь и даже хвастал: «Ну, теперь я зашагаю вовсю!» Однако вскоре начал жаловаться на то, что натер себе мозоли, что мир слишком велик, и, наконец, бессильно опустился под деревом, покачал хилой головкой, как огорченная овечка хвостиком, и, меланхолически улыбаясь, воскликнул: «Вот я, клячонка несчастная, совсем замаялся!»

Горы становились все круче, сосновые леса внизу волновались, как зеленое море, а в голубом небе над ними плыли белые облака. Дикий облик местности смягчался ее гармонической цельностью и простотой. Как истинный поэт, природа не любит резких переходов. У облаков, какими бы причудливыми они ни казались, белый или хотя бы мягкий колорит все же гармонически сочетается с голубым небом и зеленой землей, поэтому все краски ландшафта переходят друг в друга, как тихая музыка, и созерцанье природы всегда целит и успокаивает душу. Покойный Гофман изобразил бы облака пестрыми. Но природа, как и великий поэт, умеет простейшими средствами достигать величайших эффектов. Ведь в ее распоряжении только одно солнце, деревья, цветы, вода и любовь. Правда, если любви нет в сердце созерцающего, то и целое может представиться ему довольно жалким — тогда солнце всего лишь небесное тело, имеющее столько-то миль в поперечнике, деревья пригодны для топлива, цветы классифицируются по своим тычинкам, а вода — мокрая.

Мальчуган, собиравший в лесу хворост для своего больного дяди, указал мне на деревню Лербах: ее низенькие хижины под серыми кровлями бесконечно растянулись по долине — от начала до конца было, по крайней мере, полчаса ходьбы. Там, заявил он, живут зобастые дураки и белые негры — так называет народ альбиносов. Между мальчуганом и деревьями, видимо, существовало глубокое взаимопонимание, он приветствовал их, как добрых знакомых, и они, шелестя, словно отвечали на его приветствие. Он свистал, как чижик,— отовсюду, щебеча, отзывались другие птицы, и не успел я оглянуться, как он со своей вязанкой хвороста и босыми ножонками, убегая вприпрыжку, уже скрылся в лесной чаще. «Дети,— подумал я,— моложе нас, они еще помнят, как тоже были деревьями и птицами, и поэтому еще способны их понимать; мы же слишком стары, у нас слишком много забот, а голова забита юриспруденцией и плохими стихами». Времена, когда это было иначе, живо выступили в моей памяти, едва я вошел в Клаусталь. Я добрался до этого хорошенького горного городка, который виден, лишь когда подойдешь к нему совсем близко, как раз в ту минуту, когда на колокольне било двенадцать и дети весело выбегали из школы. Славные мальчики, почти все краснощекие, голубоглазые, с волосами, как лен, они прыгали и резвились, пробуждая во мне грустно-веселые воспоминания о том, как некогда я сам, будучи таким же малышом в дюссельдорфской затхло-католической монастырской школе, бывало, целое утро просиживал на деревянной скамье и принужден был терпеть такую же уйму латыни, побоев и географии, а потому так же неистово радовался и веселился, когда старинный францисканский колокол наконец-то бил двенадцать. Дети догадались по моей сумке, что я не из здешних мест, и радушно стали здороваться со мной. Один из мальчиков сообщил мне, что у них сейчас был урок закона божьего, и показал королевский ганноверский катехизис, по которому их спрашивают о христианской религии. Книжица была прескверно отпечатана, и боюсь, что уже по одному этому изложенное в ней вероучение должно производить на детские души впечатление унылых прописных истин; мне также ужасно не понравилось, что таблица умножения, которая едва ли особенно вяжется с учением о пресвятой троице,— ведь единожды один всегда будет один, а не три,— напечатана тут же, на последней страничке, и с ранних лет толкает детей на преждевременные греховные сомнения. Мы, пруссаки, гораздо разумнее, и при всем рвении, с каким мы

стремимся обращать на путь истины тех людей, которые хорошо умеют считать, все же остерегаемся печатать таблицу умножения после катехизиса.

В клаустальской гостинице «Корона» я пообедал. Мне подали весенний суп из зелени петрушки, капусту цвета фиалок и жареную телятину размером в целое Чимборасо в миниатюре, а также особый вид копченых сельдей, которые называются «бюкингами» по имени Вильгельма Бюкинга, изобретателя этого кушанья, скончавшегося в 1447 году и заслужившего своим изобретением столь великое уважение со стороны Карла V, что этот государь ездил anno[1] 1556 из Миддельбурга в Бивлид, в Зеландию, единственно для того, чтобы посмотреть могилу великого человека. Каким вкусным кажется подобное блюдо, когда, поедая его, вспоминаешь все исторические данные о нем! Однако послеобеденный кофе был для меня испорчен, ибо к моему столику подсел какой-то молодой человек и затеял болтовню до того несносную, что молоко на столе скисло. Это был приказчик, облаченный в двадцать пять разноцветных жилетов и с таким же числом золотых печаток, перстней, булавок и т. д. Он походил на мартышку, которая, напялив красную куртку, твердит себе, что одежда делает человека. Он знал наизусть много шарад, а также анекдотов, причем рассказывал их именно тогда, когда они были особенно некстати. Он расспрашивал меня, что новенького в Геттингене, и я сообщил ему, что перед моим отъездом академическим сенатом был издан декрет, в котором, под угрозой штрафа в три талера, запрещалось отрубать собакам хвосты, так как в каникулярное время бешеные собаки бегают, поджав хвост; по этому признаку их и отличают от собак не бешеных, что окажется, однако, невозможным, если они совсем будут лишены хвостов. После обеда я отправился в путь, решив осмотреть рудники, сереброплавильню и монетный двор.

Надо же мне было посмотреть, как промывают и плавят этот волшебный металл, которого у дяди бывает частенько слишком много, а у племянника — слишком мало! Я давно уже заметил, что блестящие талеры гораздо легче тратить, чем их отливать и чеканить.

В сереброплавильне я, как часто бывает в жизни, блеска серебра-то и не увидел. На монетном дворе мне больше повезло и удалось посмотреть, как делаются деньги. Правда, дальше этого я так и не пошел. В подобных случаях мне всегда

[1] В году *(лат.)*.

выпадало на долю быть только зрителем, и, кажется, начни талеры падать с неба, у меня оказались бы только дырки в голове, а дети Израиля весело подбирали бы эту серебряную манну. С чувством комического почтения и восторга рассматривал я новорожденные блестящие талеры, взял в руки один, только что вышедший из чеканки, и обратился к нему с такими словами: «Юный талер! Какие судьбы ожидают тебя! Сколько добра и сколько зла породишь ты! Как будешь ты защищать порок и штопать добродетель, как тебя будут любить и проклинать! Как будешь ты способствовать безделью, сводничеству, лжи и убийству! Как будешь ты неустанно блуждать по рукам, то грязным, то чистым, в теченье столетий, пока, наконец, обремененный грехами и устав от пороков, не успокоишься вкупе с твоими сородичами в лоне Авраамовом, которое расплавит тебя, очистит и преобразует для нового, лучшего бытия, быть может, даже превратит тебя в совершенно невинную чайную ложечку, которой мой собственный праправнук будет размешивать свою кашку».

Два главных клаустальских рудника, «Доротея» и «Каролина», оказались чрезвычайно интересными, и я хочу рассказать о них подробно.

В получасе ходьбы от города стоят два больших почерневших здания. Там вас сейчас же встречают рудокопы. На них широкие, длинные, почти до колен, обычно серовато-синие куртки, такого же цвета штаны, кожаные, завязанные сзади фартуки и маленькие зеленые поярковые шляпы без полей, в виде усеченного конуса. В такую же одежду, только без кожаного фартука, одевают и гостя; один из рудокопов, штейгер, засветив свою шахтерскую лампу, ведет его к темной дыре, напоминающей отверстие камина, опускается в нее по грудь, дает указания, как во время спуска держаться за лестницу, и просит следовать за ним без страха. В спуске нет ничего опасного; но сначала не верится в это, если ничего не понимаешь в горном деле. Испытываешь особое чувство уже по одному тому, что раздеваешься, чтобы облачиться в какую-то мрачную арестантскую одежду. Затем приходится спускаться на четвереньках, а темная дыра так темна и лестница бог знает какой длины. Однако вскоре убеждаешься, что это не единственная лестница, уходящая в черную вечность, но что их несколько, по пятнадцати — двенадцати ступенек в каждой, причем каждая заканчивается маленькой площадкой, на которой с трудом можно стоять и за которой следующая дыра ведет к следующей лестнице. Я сначала спустился в «Каролину». Это самая гряз-

ная и унылая Каролина, которую я когда-либо знавал. Ступеньки покрыты липкой грязью. И вот вы сходите по одной лестнице, по другой, а штейгер идет впереди и все вновь и вновь заверяет вас: ничего опасного нет, нужно только крепко держаться руками за ступеньки, не смотреть под ноги, не поддаваться головокружению и, избави бог, не становиться на боковые мостики, где идет вверх, жужжа, спусковой канат и откуда две недели тому назад свалился один неосторожный человек и, увы, сломал себе шею. Там, внизу, неясный шорох и жужжанье, то и дело натыкаешься на балки и канаты, которые непрестанно движутся, поднимая наверх бочки с кусками руды или рудничную воду. Иной раз попадаешь в прорубленные ходы — так называемые штольни с залежами руды, где сидит целый день одинокий рудокоп, с трудом откалывая киркой куски руды. До самых нижних галерей,— люди уверяют, что там уже слышно, как американцы кричат «ура, Лафайет!» — я не дошел: говоря между нами, и то место, где я побывал, мне показалось достаточно глубоким — непрерывный гул и свист, таинственное движенье машин, журчание подземных ручьев, вода, стекающая по стенам, удушливые испарения, идущие из земли, и свет шахтерской лампочки, все бледнее мерцающей в одинокой ночи. Право же, я был оглушен, я задыхался и с трудом удерживался на скользких ступеньках. Я не испытывал приступов так называемого страха; как ни странно, там, на глубине, мне вспомнилось, как в прошлом году, примерно в то же время, пережил я бурю на Северном море, и теперь решил, что, в сущности, очень уютно и приятно, когда корабль качается с боку на бок, ветры играют на трубах свои песенки, слышишь бодрую возню матросов, и все это омывает милый и вольный божий воздух. Да, воздух! Тяжело дыша, поднялся я снова наверх по десяткам лестниц, и тот же штейгер провел меня по узкому, очень длинному, прорубленному в горе ходу на рудник «Доротея». Здесь оказалось свежее и просторнее, и лестницы чище, зато длиннее и круче, чем в «Каролине». И снова я ожил, особенно когда стал замечать признаки живых людей. В глубине замелькали блуждающие огни, появились рудокопы со своими шахтерскими лампами, приветствуя нас обычным: «Доброго пути!» — и под наше ответное приветствие поднимались мимо нас; и, как давно знакомое, спокойное и все же мучительно загадочное воспоминание, встречали меня своими глубокими ясными взорами эти задумчиво-кроткие, несколько бледные и озаренные таинственным светом лампочек лица стариков и юношей, которые, проработав долгий

день в темных уединенных горных шахтах, стосковались по милому дневному свету и глазам жен и детей.

Мой чичероне оказался честнейшим и верноподданнейшим немцем. С искренним удовольствием показал он мне штольню, где герцог Кембриджский, посетивший рудник, обедал со всей своей свитой и где все еще стоял длинный деревянный обеденный стол, а также огромный стул из руды, на котором восседал герцог. «Пусть стоит здесь как вечное воспоминание»,— заявил добрый рудокоп и с жаром принялся рассказывать о том, какие тогда устраивались празднества, как вся штольня была украшена огнями, цветами и зеленью, и как один из рудокопов играл на цитре и пел, а симпатичный толстый и веселый герцог по случаю многочисленных тостов был сильно навеселе, и что многие горняки и сам рассказчик в особенности готовы жизнь отдать за любезного толстого герцога и за весь Ганноверский дом. Меня всякий раз глубоко трогает эта верность, так просто и естественно выраженная. Это такое прекрасное чувство! И такое подлинно немецкое. Другие народы могут быть и искуснее, и остроумнее, и занимательнее, но нет более верного, чем верный немецкий народ. Если бы я не знал, что верность стара, как мир, я был бы готов допустить, что ее изобрело немецкое сердце. Немецкая верность! Это не современный риторический оборот речи. При ваших дворах, германские государи, следовало бы все вновь и вновь петь песню о верном Эккарте и о злом Бургунде, приказавшем убить детей Эккарта и все же не лишившемся верного слуги. Ваш народ — самый верный, и вы ошибаетесь, считая, что старый, умный, верный пес вдруг взбесился и намерен схватить вас за ваши священные ляжки.

Подобно немецкой верности, огонек шахтерской лампы, горевший ровным светом, спокойно и уверенно вел нас по лабиринту шахт и штолен. Мы поднялись и вышли из душной горной ночи, солнце засияло: «Доброго пути!»

Большинство рудокопов живет в Клаустале и в примыкающем к нему горном городке Целлерфельде. Я посетил нескольких из этих честных людей, познакомился с их скромным домашним бытом, слушал их песни, которые они поют под мелодичный аккомпанемент цитры, их любимого инструмента, а также старые горные сказки и те молитвы, которые они читают сообща, перед спуском в мрачную шахту, и не одну прекрасную молитву прочел вместе с ними. Старик штейгер даже решил, что мне следует остаться у них и сделаться рудокопом, и когда я все-таки распростился с ними, он дал мне поручение

к своему брату, который живет возле Гослара, и просил расцеловать свою милую племянницу.

Какой бы недвижно-спокойной ни казалась жизнь этих людей, все же это настоящая живая жизнь. Древняя трясущаяся старуха, сидевшая за печкой против большого шкафа, может быть, просидела там уже четверть века, и ее мысли и чувства, наверное, тесно срослись со всеми уголками печки и всеми резными узорами шкафа. И вот печка и шкаф живут, ибо человек вложил в них часть своей души.

Только из этой глубоко созерцательной жизни, из непосредственных чувств и родилась немецкая волшебная сказка, своеобразие которой в том, что не только животные и растения, но даже совершенно неодушевленные предметы говорят и действуют. Мечтательному и кроткому народу, в тихом и мирном уединении его низеньких лесных и горных хижин, открылась внутренняя жизнь окружающих предметов, которые обрели вполне обоснованные и необходимые черты, пленительную смесь фантастической причудливости с чисто человеческим душевным складом; так мы видим в сказке волшебные и вместе с тем как будто само собой разумеющиеся явления: иголка и булавка уходят из портняжной мастерской и сбиваются с дороги в темноте; соломинка и уголек пытаются перейти ручей и гибнут; совок и метла стоят на лестнице, ссорятся и дерутся; зеркало отвечает на вопрос, показывая образ прекраснейшей женщины; даже капли крови обретают дар речи и говорят скорбные загадочные слова, полные заботливейшего сострадания. По этой же причине наша жизнь в годы детства так бесконечно значительна, в эту пору все для нас одинаково важно, мы слышим все, видим все, впечатления все равноценны, тогда как позднее мы становимся более рассудительными, интересуемся исключительно частностями, чистое золото созерцания с трудом разменяваем на бумажки книжных определений и, приобретая больше жизненной широты, теряем при этом жизненную глубину. И вот мы уже взрослые, самостоятельные люди; мы часто меняем квартиры, служанка каждый день убирает наши комнаты и переставляет по своему усмотрению мебель, которая мало нас интересует,— ибо она или только что куплена, или принадлежит сегодня одному, завтра другому; даже одежда наша остается чужой для нас, мы едва ли знаем, сколько пуговиц на сюртуке, который в данную минуту надет на нас; ведь мы стараемся возможно чаще менять нашу одежду, и она никогда не сохраняет связи с нашей внутренней и внешней биографией; мы едва помним, какой же вид имел

коричневый жилет, вызвавший тогда столько смеха и на широких полосах которого милая рука нашей милой все же так мило покоилась!

Старуха, сидевшая за печкой против большого шкафа, была одета в цветастую юбку из старомодной материи — свадебный наряд ее покойной матери. Правнук, в одежде рудокопа, белокурый мальчик с шустрыми глазами, сидел у ее ног, считая цветы на юбке, и старуха, может быть, уже рассказала ему об этом наряде немало историй, поучительных и занятных, которые, наверное, не так-то скоро изгладятся из памяти мальчугана; они не раз проплывут перед ним, когда он, уже взрослым человеком, будет работать в одиночестве ночных штолен «Каролины» и, может быть, станет пересказывать их, когда милой бабушки давно уже не будет на свете, а сам он — уже среброволосый, угасший старец, будет сидеть окруженный внуками против большого шкафа за печкой.

Ночь я также провел в «Короне», куда тем временем приехал из Геттингена придворный советник Б. Я имел удовольствие выразить ему свое почтение. Когда я вписывал свое имя в книгу для приезжих и перелистывал записи за июль, я нашел там драгоценнейшее имя Адельберта фон Шамиссо, биографа бессмертного Шлемиля. Хозяин рассказал мне: этот господин прибыл в неописуемо плохую погоду и в такую же плохую погоду отбыл.

На следующее утро мне снова пришлось облегчить мою сумку, я выбросил за борт запасную пару сапог и легким шагом пошел в Гослар. Я добрался туда, сам не знаю как. Помню только одно: опять я брел с горы на гору, не раз любовался сверху широко раскинувшимися зелеными долинами, серебряные воды шумели, лесные птицы сладко щебетали, колокольчики стад звенели, многоцветную зелень деревьев золотили лучи милого солнышка, а наверху — голубой шелковый покров небес был так прозрачен, что можно было смотреть в самую глубину — до святая святых, где ангелы сидят у божьих ног и по чертам лица господня изучают генерал-бас. Я, однако, жил еще сновиденьем прошлой ночи, которое никак не мог изгнать из своей души. Это была старая сказка о том, как рыцарь спустился в глубокий колодец, где спит непробудным сном заколдованная принцесса. Я сам был рыцарем, а колодцем — темный Клаустальский рудник, и вдруг появилось множество огоньков, из всех боковых галерей выскочили притаившиеся там гномы, они строили злые рожи, угрожали мне своими короткими мечами и трубили пронзительно в рог, на звук кото-

рого сбегались все новые и новые, отчаянно мотая крупными головами. Когда я стал наносить им удары и хлынула кровь, я только тут заметил, что это малиновые длиннобородые головки чертополоха, которые я накануне сбивал палкой, шагая по шоссе. Все гномы тут же разбежались, и я очутился в светлом, роскошном зале, посредине стояла окутанная белым покрывалом, окаменевшая и неподвижная, как статуя, возлюбленная моего сердца, я поцеловал ее в губы,— клянусь богом живым, я ощутил воодушевляющее дыхание ее души и сладостный трепет прелестных уст. И мне почудилось, что я слышу, как бог воскликнул: «Да будет свет!» — и упал ослепительный луч вечного света; но в то же мгновение опять наступила ночь, все смешалось, и кругом закипело бурное бешеное море. Над клокочущими волнами неслись смятенной стаей призраки умерших, их белые саваны развевались по ветру, а за ними, подстегивая их и щелкая бичом, мчался пестрый арлекин — это был я сам,— и вдруг из темных волн морские чудовища высунули уродливые головы, угрожающе потянулись ко мне когтями, и от ужаса я проснулся.

Как все-таки иногда бывают испорчены самые чудесные сказки! Ведь рыцарю полагается, найдя спящую принцессу, вырезать кусок из ее драгоценного покрывала, и когда ему удастся, благодаря его смелости, нарушить ее волшебный сон и когда она опять будет сидеть в своем дворце на золотом стуле, рыцарь должен подойти к ней и промолвить: «Прекраснейшая моя принцесса, знаешь ли ты меня?» И тогда она отвечает: «Храбрейший мой рыцарь, я не знаю тебя». И тут он показывает кусок, вырезанный из ее покрывала, который в точности подходит, и оба нежно обнимают друг друга, и трубы гремят, и празднуется свадьба.

Но мне действительно не везет, редко бывает у моих любовных сновидений столь прекрасный конец.

Название Гослар звучит так приятно и с ним связано так много воспоминаний о древних императорах, что я ожидал увидеть внушительный и величественный город. Но уж так всегда бывает, когда разглядишь знаменитость поближе. Передо мной оказался захолустный городишко, где улички по большей части извилисты и запутаны, местами протекает речушка, вероятно Гоза, гнилая и запущенная, и мостовая ухабиста, как берлинские гекзаметры. Лишь обрамляющая городок старина — остатки стен, башен и зубцов — придает ему некоторую пикантность. У одной из этих башен, именуемой «Крепость», до того толстые стены, что в них высечены целые комнаты. Площадь

перед городом, на которой происходят знаменитые состязания стрелков, представляет собой красивую, широкую поляну, а вокруг высятся горы. Рынок невелик, посредине искрится фонтан, и вода его льется в большой металлический бассейн. Во время пожаров иногда бьют в его стенку, и тогда далеко разносятся гулкие удары. Никто не знает, откуда взялся этот бассейн. Иные утверждают, что это черт поставил его там однажды ночью. В те дни люди еще были глупы, и черт тоже был глуп, и они обменивались подарками. Теперь и он и они поумнели, деньги дают за душу, а душу отдают за деньги, и черт даже ведет учет.

Ратуша в Гослáре — это просто выкрашенная в белый цвет караульная будка. Стоящий рядом с ней гильдейский дом выглядит несколько наряднее. На одинаковом примерно расстоянии от земли и от крыши расставлены статуи германских императоров, покрытые копотью, из-под которой местами поблескивает позолота; в одной руке у них скипетр, в другой держава; они похожи на зажаренных университетских педелей. Один из императоров держит в руке не скипетр, а меч. Я не смог отгадать, что означает это отличие, а, верно, что-нибудь да означает, ибо у немцев есть удивительная привычка — во все, что бы они ни делали, вкладывать особый смысл.

В «Путеводителе» Готшалька немало сказано о древнем соборе и знаменитом императорском троне в Гослáре. Однако, когда я пожелал осмотреть то и другое, мне сообщили: собор снесен, а императорский трон отправлен в Берлин. Мы живем в знаменательную эпоху: тысячелетние соборы сносят, а императорские троны сваливают в чулан.

Некоторые достопримечательности покойника-собора выставлены теперь в церкви св. Стефана. Восхитительные витражи, несколько плохих картин, среди которых будто бы есть один Лука Кранах, затем деревянный Христос на кресте и языческий жертвенник из неведомого металла; он имеет форму удлиненного ящика, поддерживаемого четырьмя кариатидами, которые, согнувшись и подняв руки над головой, строят некрасивые, отвратные рожи. Но еще отвратнее стоящее рядом упомянутое большое деревянное распятие. Правда, голова Христа с настоящими волосами, терниями и измазанным кровью лицом мастерски воспроизводит то, как умирает обыкновенный человек, а не рожденный от бога Спаситель. Но художник вложил своим резцом в это лицо лишь муку плоти, а не поэзию страдания. Такому изображению скорее место в анатомическом театре, чем в храме.

Я остановился в гостинице возле рынка, и обед показался бы мне еще вкуснее, если бы не подсел ко мне хозяин со своим длинным, ненужным лицом и докучными вопросами; к счастью, однако, я скоро избавился от него благодаря появлению другого путешественника, который подвергся тем же вопросам и в том же порядке: Quis? quid? ubi? quibus auxiliis? cur? quomodo? quando?[1] Этот незнакомый, усталый, потрепанный старик, как выяснилось из его слов, объехал весь свет, прожил особенно долго в Батавии, заработал там много денег и все опять спустил, а теперь, после тридцатилетнего отсутствия, возвращается в Кведлинбург, свой родной город. «Ибо,— добавил он,— там наш фамильный склеп». В ответ хозяин весьма просвещенно заметил: «Душе,— мол,— все равно, где похоронят тело».— «Вы можете подтвердить это документально? — спросил приезжий, и вокруг его увядших губ и выцветших глазок собрались кольцом хитрые, недобрые морщинки.— Впрочем,— добавил он, испуганно и виновато,— этим я не хочу сказать ничего дурного о других похоронных обычаях; турки хоронят своих покойников гораздо красивее, чем мы, их кладбища — настоящие сады, и они там сидят на белых надгробных камнях, увенчанных тюрбанами, под сенью кипариса, поглаживают свои важные бороды и спокойно покуривают турецкий табак из своих длинных турецких трубок; а у китайцев — прямо занятно смотреть, как они на могилах своих покойников как-то жеманно пританцовывают, и молятся, и чай пьют, и играют на скрипке, и очень изящно украшают гробницы своих близких золоченой деревянной резьбой, фарфоровыми фигурками, шелковыми лоскутками и цветными фонариками,— все это очень мило. А далеко ли отсюда до Кведлинбурга?»

Госларское кладбище не произвело на меня сильного впечатления. Куда более меня пленила очаровательная кудрявая головка, которая, улыбаясь, выглядывала из окна довольно высокого первого этажа одного из домов, когда я входил в город. После обеда я снова отыскал милое окошко; но теперь там стояли в стакане с водой белые колокольчики. Я взобрался на окно, вынул из стакана милые цветочки и спокойно прикрепил их к своей шапке, не обращая никакого внимания на разинутые рты, окаменевшие носы и вытаращенные глаза, с какими прохожие, особенно старухи, созерцали эту ловкую кражу. Когда я, через час, снова прошел мимо дома, красотка стояла у окна и, увидев колокольчики на моей шапке, залилась румянцем и отпря-

[1] Кто? что? где? каким образом? зачем? как? когда? *(лат.)*

нула от окна. Теперь я рассмотрел еще подробнее ее прелестное лицо; нежное и прозрачное, оно казалось сотканным из дуновений летнего вечера, из лунного света, соловьиных песен и благоуханья роз. Позднее, когда совсем стемнело, она показалась в дверях, я подхожу, я уже близко, она тихонько отступает в темноту сеней — я беру ее за руку и говорю: «Я любитель красивых цветов и поцелуев, и если мне не дают их по доброй воле — я краду»,— и я быстро поцеловал ее, а когда она хотела убежать, я прошептал, успокаивая ее: «Завтра я уеду и, вероятно, никогда не вернусь»,— и я чувствую ответное прикосновение прелестных губ и нежных ручек. Улыбаясь, я спешу прочь. Да, я не могу не смеяться, ибо я бессознательно повторил волшебную формулу, которой наши красные и синие мундиры чаще покоряют женские сердца, чем своей усатой галантностью: «Завтра я уеду и, вероятно, никогда не вернусь».

Из моей комнаты открывался великолепный вид на Риммельсберг. Была прекрасная ночь. Она мчалась на своем черном скакуне, и его длинная грива развевалась по ветру. Я стоял у окна и созерцал луну. Действительно ли существует человек на луне? Славяне уверяют, что его зовут Клотар и что луна прибывает оттого, что он льет на нее воду. Еще ребенком я слышал, что луна — это плод, и когда она становится зрелой, господь бог срывает ее и кладет вместе с другими полными лунами в огромный деревянный шкаф, стоящий на краю вселенной, там, где она заколочена досками. Когда я подрос, я заметил, что мир вовсе не так уж ограничен и что человеческий дух проломил все деревянные преграды и отпер исполинским ключом Петра — идеей бессмертия — все семь небесных сфер. Бессмертие? Прекрасная мысль! Кто первый изобрел тебя? Был ли это нюрнбергский обыватель в белом ночном колпаке и с белой фарфоровой трубкой в зубах, который, сидя у своей двери в теплый летний вечер, неторопливо рассуждал: а хорошо бы вот так, как ты есть — и чтобы при этом ни трубка, ни дыханье не гасли,— перекочевать в милую вечность! Или то был молодой любовник, которому в объятьях любимой пришла мысль о бессмертии, и пришла она оттого, что он почувствовал ее, оттого, что не мог ни мыслить, ни чувствовать иначе? «Любовь! Бессмертие!» — и в моей груди внезапно разлился такой жар, словно географы переместили экватор и он прошел теперь прямо через мое сердце. И из сердца моего излились чувства любви,— тоскуя, излились в необъятную ночь. Аромат цветов в саду под моим окном стал сильнее. Ведь ароматы — это чувства цветов, и как человеческое сердце чувст-

вует сильнее в ночи, когда ему кажется, что оно одиноко и никто его не услышит, так и цветы, как будто стыдясь своей плоти, словно ждут темноты, чтобы отдаться вполне своим чувствам и выдыхать их в сладостном благоухании! Излейся же, благоухание моего сердца, и отыщи за теми горами возлюбленную грез моих! Она уже легла и спит; у ног ее склонили колени ангелы, и когда она во сне улыбается, то это молитва, и ангелы ее повторяют. В груди возлюбленной — небеса со всеми своими блаженствами, и когда она дышит, мое сердце вдали трепещет; за шелковыми ресницами ее очей солнце зашло, а когда она снова открывает очи — наступает день, и птицы поют, и стада звенят колокольчиками, и горы блистают в изумрудных одеждах, а я затягиваю свою сумку и — в путь.

Когда я предавался этим философским раздумьям и чувствам, меня неожиданно посетил придворный советник Б., незадолго перед тем также прибывший в Гослар. Никогда еще не была мне так приятна встреча с этим добродушным и благожелательным человеком. Я глубоко уважаю его за его исключительно принципиальный и плодотворный ум; но еще больше — за его скромность. Он был необычайно весел, свеж и умственно бодр. В последнем меня убедил его недавно вышедший труд «Религия разума», книга, которая так пленила националистов, так разозлила мистиков и вызвала в широкой публике такой интерес. Правда, я сам в данную минуту мистик ради своего здоровья, ибо, следуя предписаниям врача, стараюсь избегать всякого повода, пробуждающего во мне мысль. Но, конечно, я не могу не признавать величайшей ценности умственных усилий Паулюса, Гурлитта, Круга, Эйхгорна, Боутерверка, Вегшейдера и т. п.

Между прочим, и для меня самого оказалось чрезвычайно полезным, что эти люди отмели немало устаревшего зла, особенно всю эту старую церковную труху, под которой таилось столько змей и ядовитых испарений. Воздух в Германии становится слишком тяжелым и удушливым, и я опасаюсь, что когда-нибудь в нем задохнусь или что мои дорогие мистики, в пылу своей любви, задушат меня. Поэтому я могу только приветствовать, если честные рационалисты даже чересчур решительно охладят этот воздух. Ведь, в сущности, сама природа положила предел рационализму; под воздушным насосом и на Северном полюсе человек жить не может.

В эту ночь, проведенную мною в Госларе, со мной приключилось нечто весьма странное. Я все еще не могу вспомнить об этом без страха. По природе я не пуглив, но духов боюсь,

вероятно, не меньше, чем «Австрийский наблюдатель». Что такое страх? От разума он идет или от чувства? Об этом вопросе мы спорили весьма часто с доктором Саулом Ашером, когда случайно встречались в Берлине в «Café Royal», где я долгое время обедал. Он всегда утверждал: мы страшимся чего-нибудь оттого, что признали это страшным с помощью выводов нашего разума. Только разум является силой, а не чувство. Я ел и пил с аппетитом, он же непрерывно доказывал мне преимущества разума. Приближаясь к концу своих доказательств, он обычно смотрел на часы и заявлял: «Высший принцип — это разум! Разум!» Когда я слышу теперь это слово, мне все еще представляется доктор Саул Ашер, облаченный в тесный трансцендентально-серый сюртук, его абстрактные ножки, жесткие и леденящие черты его лица, которое могло бы служить чертежом для учебника геометрии. Этот человек, которому перевалило далеко за пятьдесят, казался воплощением прямой линии. Постоянно стремясь к позитивному, бедняга своим философствованием выхолостил из жизни весь ее великолепный блеск, все солнечные лучи, цветы и всякую веру, и ему ничего не осталось, как ожидать холодной, позитивной могилы. К Аполлону Бельведерскому и христианству он питал особую неприязнь. Против последнего он даже написал брошюру, где доказывал его неразумность и несостоятельность. Он вообще написал множество книг, в которых разум неизменно саморекламирует свое совершенство, причем бедный доктор, наверно, относился к этому вполне серьезно и с этой стороны заслуживает всяческого уважения. Но самое комичное было в том, что он совершенно серьезно корчил глупейшую мину, когда оказывался неспособным понять понятное каждому ребенку именно потому, что это ребенок. Иногда я бывал у доктора Разума в его доме, где не раз встречал красивых девушек; ибо разум не запрещает чувственности. Когда я однажды вновь хотел повидать его, слуга сказал мне: «Господин доктор только что умер». Я испытал при этом почти то же чувство, как если бы слуга сказал: «Господин доктор переехал на другую квартиру».

Но возвратимся в Гослар. Высший принцип — это разум, сказал я себе, стараясь успокоиться и укладываясь в постель. Однако это не помогло. Я только что прочел в «Немецких рассказах» Фарнгагена фон Энзе, захваченных мной из Клаусталя, ужасную историю о том, как сыну, которого вознамерился убить его родной отец, является дух его покойной матери и предостерегает его. Эта история описана так ярко, что во время чтения меня пронизывала жуть. Да и рассказы о привиде-

ниях вызывают особенно жуткое чувство, когда их читаешь в дороге, может быть, ночью, в городе, в доме, в комнате, где никогда еще не был. Какие ужасы могли уже произойти здесь, на том самом месте, на котором ты сейчас лежишь? — невольно спрашиваешь себя. Кроме того, луна так двусмысленно светила в комнату, на стенах шевелились непрошеные тени, и когда я приподнялся, чтобы посмотреть, я увидел...

Нет ничего более жуткого, чем увидеть в зеркале при лунном свете собственное лицо. В это же мгновенье тяжело зазвонил зевающий колокол, и притом так медленно и тягуче, что, когда наконец прогудел двенадцатый удар, мне почудилось, будто за это время протекло полных двенадцать часов и ему придется отбивать те же двенадцать ударов. Между предпоследним и последним ударами стали бить еще какие-то часы, торопливо, с пронзительным шипением, словно раздраженные медлительностью своего соседа. Когда наконец оба железных языка замолчали и во всем доме воцарилась гробовая тишина, мне вдруг почудилось в коридоре перед моей комнатой какое-то шлепанье и шарканье, напоминающее неуверенную походку старика. Наконец моя дверь открылась, и медленно вошел покойный доктор Саул Ашер. Ледяной озноб пронизал меня до костей, и я, дрожа как осиновый лист, едва решался взглянуть на привидение. Вид у него был обычный — тот же трансцендентально-серый сюртук, те же абстрактные ножки и то же математическое лицо; оно только казалось желтее прежнего, рот, при жизни образовавший два угла в двадцать два с половиной градуса, был сжат, а глазницы увеличились в диаметре. Пошатываясь и опираясь, как обычно, на свою испанскую трость, приблизился он ко мне и приветливо проговорил, по своему обыкновению лениво растягивая слова: «Не бойтесь и не думайте, что я призрак. Это обман вашего воображения, если вы полагаете, что перед вами призрак. Да и что такое призрак? Определите точно. Дедуцируйте мне условия возможности существования привидений. В какой разумной связи с разумом стоит подобное явление? Разум, говорю я, разум...» Тут привидение занялось анализом понятия «разум», процитировало Кантову «Критику чистого разума» — часть вторая, раздел первый, книга вторая, глава третья, «О различии между феноменами и ноуменами»,— сконструировало затем проблематическую теорию веры в привидения, нагромоздило один силлогизм на другой и закончило логическим выводом: безусловно, никаких привидений не существует. А у меня тем временем по спине струился холодный пот, зубы стучали, точно кастаньеты, и я мало-

душно только кивал головой, как будто вполне соглашаясь с каждым положением, которым призрачный доктор доказывал абсурдность всякого страха перед призраками, причем демонстрировал это с таким рвением, что в рассеянности извлек из жилетного кармана вместо золотых часов горсть червей и, заметив свою ошибку, с комической торопливостью сунул их обратно. «Разум — это высший...» — но тут колокол пробил час, и привидение исчезло.

На другое утро я покинул Гослар и двинулся дальше, отчасти наугад, отчасти с намерением отыскать брата клаустальского рудокопа. Опять ясный и солнечный воскресный день. Я поднимался на холмы и горы, смотрел, как солнце пытается разогнать туман, радостно погружался в трепещущие леса, а вокруг моей размечтавшейся головы позванивали белые колокольчики из Гослара. Горы стояли в белых ночных одеждах, ели отряхивались, пробуждаясь от сна, свежий утренний ветер завивал пряди их длинных зеленых волос, птички пели утреннюю молитву, луг в долине сверкал, словно осыпанный алмазами золотой покров, и пастух ступал по нему за своим стадом, позванивающим колокольчиками. Может быть, я и заблудился. Вечно выбираешь окольные пути и тропинки, воображая, что так скорее достигнешь цели. Как в жизни, так бывает и на Гарце. Но всегда находятся добрые души, которые выводят вас на верный путь; они делают это охотно и к тому же видят в этом особое удовольствие; самоуверенно и громким голосом, полным снисходительного благоволения, поясняют они, какой мы сделали огромный крюк, в какие пропасти и трясины могли попасть и какое счастье, что мы еще вовремя повстречали столь хорошо знающих дорогу людей. Такого наставника я обрел неподалеку от Гарцбурга. Это был упитанный госларский обыватель с лоснящимся, одутловатым, глуповато-хитрым лицом; у него был такой вид, словно это он открыл причину падежа скота. Некоторое время мы шли рядом, и он рассказывал мне всякие истории о привидениях; истории эти были бы довольно занимательны, если бы все они не сводились к тому, что на самом деле никаких привидений не было, что белая фигура, например, оказалась браконьером, жалобные голоса принадлежали только что родившимся поросятам, а на чердаке чем-то шуршала кошка. Только больному человеку, добавил он, чудится, будто он видит привидения, что же касается его собственной ничтожной особы, то он лично редко болеет; иногда только бывают нарывы, и лечится он тогда просто-напросто слюной. Он также обратил мое внимание на то, до какой сте-

пени в природе все устроено разумно и целесообразно. Деревья, например, зелены оттого, что зеленый цвет полезен для глаз. Я признал его правоту и добавил, что бог также сотворил рогатый скот потому, что мясные супы подкрепляют человека, ослов сотворил затем, чтобы они служили людям для сравнений, а самого человека — чтобы он ел мясные супы и не был ослом. Мой спутник пришел в восторг, обретя единомышленника, его лицо заблестело еще радостнее, и при прощании он совсем растрогался.

Пока он шагал рядом со мной, мне казалось, что природа утратила все свои чары, но как только он исчез, деревья вновь заговорили, солнечные лучи зазвенели, цветы в лугах заплясали, и голубое небо обняло зеленую землю. Да, мне лучше знать: бог для того сотворил человека, чтобы он восхищался великолепием вселенной. Каждый автор, как бы он ни был велик, желает, чтобы его творенье хвалили. И в Библии, этих мемуарах божьих, сказано совершенно ясно, что создал он человека ради славы своей и хвалы.

После долгих блужданий туда и сюда я наконец добрался до жилища, где обитал брат моего клаустальского приятеля, переночевал у него и пережил следующее прекрасное стихотворение:

I

На горе, в избушке скромной
Рудокоп живет, старик.
Шумны темные там ели,
Кротко-светел лунный лик.

Средь избушки стул высокий,
Весь резной, у ног скамья;
И сидит на нем счастливец,
И счастливец этот — я.

На скамье сидит малютка —
Оперлась на локоток;
Глазки — звезды голубые,
Губки — розовый цветок.

Мне сияют эти звезды,
Чистой радостью блестя;
К алым губкам приложила
Белый пальчик свой дитя.

Ни отец, ни мать не слышат,—
Не до нас им: мать прядет,
А отец, бренча на лютне,
Песню старую поет.

И малютка шепчет тихо,
Речь ее едва слышна;
Важных тайн своих немало
Мне поведала она.

«Вот, как тетушка скончалась,
И сиди тут круглый год:
С ней пойдешь, бывало, в город,
Хоть посмотришь на народ.

Здесь и пусто так, и глухо,
И так холодно в горах;
А зима придет лихая —
Все схоронимся в снегах.

Я ж трусливая такая:
Как дитя, меня страшат
Злые духи гор, что бродят
Темной ночью и шалят».

Вдруг малютка умолкает,
Будто слов боясь своих,
И руками закрывает
Звезды глазок голубых.

И шумнее шелест елей,
Громче гул веретена,
И ясней со звоном лютни
Песня старая слышна:

«Не страшись, моя малютка,
Наваждения силы злой!
Божьи ангелы на страже
Днем и ночью над тобой».

II

К нам в окно стучит тихонько
Ель зеленою рукой,
И сквозь веток с любопытством
Смотрит месяц золотой.

Крепко в горенке соседней
Спят давно отец и мать;
Мы не можем нашептаться,
И не хочется нам спать.

«Нет, не верю я, чтоб часто
Ты молился: шепот твой
Чем-то кажется мне странным,
Не молитвою святой.

Этот злой, холодный шепот
Уж не раз меня пугал;
Только кротким, светлым взглядом
Ты испуг мой отгонял.

Да и веришь ли ты, полно,
Что есть в небе, над тобой,
Бог-отец, бог-сын, распятый
На кресте, и дух святой?»

«Ах, дитя! Еще малюткой
Верил я, что в небесах
Бог-отец живет над нами,
Что велик он, свят и благ...

Создал землю, человеку
Бытие и душу дал,
Солнцу, месяцу и звездам
Путь их вечный указал.

Стал я старше и умнее,
Стал побольше понимать,
И узнал я светлой веры
В бога-сына благодать.

Он принес нам, воплотившись,
Откровение любви;
Но народ безумный руки
Обагрил в его крови.

Возмужал я, много видел,
Много странствовал, читал
И теперь в святого духа
Жарким сердцем верить стал.

Чудеса его исчислить
Недостанет наших слов!
Он сломил твердыни злобы
И оковы снял с рабов.

Нашим язвам он — целенье,
В нем и право и закон;
Перед ним с богатым нищий,
Раб с владыкой уравнен.

Гонит он туман тяжелый,
Что окутывал нам тьмой
Ум и сердце и пред нами
Шел как призрак гробовой.

Много рыцарей отважных
Обрекли себя ему
И по свету разъезжают —
Носят свет и гонят тьму.

Тихо веют их знамена,
И доспех горит на них...
Что, хотела б ты, малютка,
Видеть рыцарей таких?

Так скорей любуйся мною,
Ненаглядная моя,
И целуй меня покрепче!
Ведь такой же рыцарь я».

III

За ветвями темной ели
Прячет месяц светлый лик;
В нашей горенке чуть светит
Догорающий ночник.

Но в звездах моих лазурных
Свет мне радостный горит;
Пышут розы уст румяных,
И малютка говорит:

«Домовые наши — злые:
Хлеб воруют по ночам;
В ящик с вечера положишь —
Поутру уж пусто там.

С молока съедят все сливки,
Не покроют и горшка;
Кошка вылижет остатки —
И сиди без молока!

А ведь кошка наша — ведьма:
Ночью буря на дворе,
А она идет тихонько
К старой башне на горе.

Там стоял когда-то замок,
Весь сиял он по ночам;
В ярких залах танцевало
Много рыцарей и дам.

Но волшебницей лихою
Проклят замок и народ;
И остались лишь обломки,
И сова гнездо там вьет.

Помню, тетка говорила:
Лишь такое слово знать
И его в таком лишь месте
И в такой лишь час сказать —

Снова в замок превратятся
Все обломки эти там,
И запляшет в ярких залах
Много рыцарей и дам.

Будет тот, кто молвит слово,
Обладателем всего;
Станут трубы и литавры
Славить молодость его!»

Так живут и дышат сказки
У малютки на устах,
Вера теплится живая
В голубых ее глазах.

Локон шелковый на пальцы
Навивает мне она,
И целует, и смеется,
И дает им имена.

И глядит все так приветно
В тихой горенке кругом —
Стол и шкаф,— как будто с ними
Я с младенчества знаком.

Тихо маятник лепечет,
Тихо лютня на стене
Прозвучит порой струнами,
И сижу я, как во сне.

Не такое ль надо место,
Не такой ли надо миг,
Чтоб от слова замок снова
В блеске царственном возник?

«Да, дитя! Смотри: светлеет
Ночи темная пора.
Чу! шумней ручьи и ели,
Пробуждается гора.

Песня гномов с струнным звоном
Меж утесами слышна,
По камням ковры цветные
Стелет знойная весна.

А цветы — пестры и чудны,
В благовонных завитках,
И трепещут слезы страсти
На широких их листах.

Вожделенно пышут розы,
Разгораясь все красней;
На стеблях стоят хрустальных
Чаши снежные лилей.

Звезды с неба, словно солнца,
Смотрят, страстно-горячи,
И лилеям в чаши льются
Их влюбленные лучи.

Да и мы с тобой, малютка,
Мы как будто уж не те...
Посмотри: огни зажглися,
Шелк и золото везде!

И избушка стала замком,
И принцессой стала ты;
Вкруг все рыцари и дамы,
Сколько пышной суеты!

Все мое — и ты и замок!
Пир венчальный я даю!
Трубы, флейты и литавры
Славят молодость мою!» [1]

Солнце взошло. Туманы исчезли, как призраки, когда третий раз пропел петух. Я снова шел с горы на гору, и предо мной парило прекрасное солнце, озаряя все новые красоты. Горный дух явно был ко мне благосклонен. Он ведь знал, что такое существо, как поэт, может пересказать немало чудесного, и он открыл мне в то утро свой Гарц таким, каким его не каждому дано увидеть. Но и меня Гарц увидел таким, каким меня лишь немногие видели,— на моих ресницах дрожали жемчужины, столь же драгоценные, как и те, что висели на травинках лугов... Мои щеки были влажны от утренней росы любви, и шумящие ели понимали меня, раздвигая свои ветви и качая ими вверх и вниз, как немые, когда они движеньями рук

[1] Перевод М. Михайлова.

выражают радость, а вдали звучал таинственный чудесный звон — будто колокол часовни, затерянной в лесу. Говорят, что это колокольчики стад, звенящие в Гарце особенно нежно, певуче и чисто.

Судя по солнцу, был полдень, когда я набрел на такое стадо, и пастух, светловолосый милый парень, сказал мне: высокая гора, у подножья которой я стою,— это древний, известный всему миру Брокен; на много часов пути от него во все стороны нет жилья; и я был очень рад, когда парень предложил мне поесть с ним. Мы уселись за déjeuner dînatoire [1], состоявший из хлеба и сыра; овечки подхватывали крошки, веселые белые телки прыгали вокруг нас, лукаво позванивая колокольчиками, и их большие довольные глаза, глядевшие на нас, смеялись. Мы позавтракали по-королевски; и вообще мой хозяин казался мне истинным королем, а так как он — единственный король, давший мне хлеба, я и хочу воспеть его по-королевски:

Пастушок — король веселый,
А бугор зеленый — трон.
Короля венчает солнце
Самой светлой из корон.

Вот овечки в аксельбантах
Льстиво льнут к его ногам,
А телята-кавалеры
Гордо бродят здесь и там.

Королевские актеры —
Птицы, телки и козлы,
Колокольчики и флейты
В их оркестре веселы.

Звоны, шумы, лепет сладкий,
Шелест елей, водопад
Убаюкивают мерно,
Засыпает пастырь стад.

Охраняя сон владыки,
Как министр, сердитый пес
Учиняет звонким лаем
Верноподданным разнос.

[1] Завтрак, заменяющий обед *(франц.)*.

На Гарце. В деревенской таверне

Цветная гравюра неизвестного художника,
1840-е годы

А король спросонья шепчет:
«Тяжко краем управлять,
Как хотелось бы вернуться
К королеве мне опять.

На груди у королевы
Голове усталой — рай,
И в глазах ее любимых
Необъятный виден край» [1].

Мы дружески распростились, и я весело стал подниматься в гору. Скоро меня встретила роща из елей до небес, а к ним я питаю всяческое уважение. Дело в том, что этим деревьям не так уж легко дался их рост, и в юности им пришлось солоно. В этом месте гора усеяна большими гранитными глыбами, и большинство деревьев было вынуждено своими корнями обвивать эти глыбы или расщеплять их, с трудом отыскивая почву, чтобы питаться. Там и здесь камни навалены друг на друга, образуя как бы ворота, а на них стоят деревья, обвивая нагими корнями эти ворота, и лишь у подножья нащупывают они землю, так что кажутся растущими в воздухе. И все же они взвились на головокружительную высоту и, сливаясь в одно с оплетенными ими камнями, стоят крепче, чем их ленивые товарищи, растущие на покорной почве равнинного леса. Так же стоят в жизни и те великие люди, которые окрепли и утвердились, преодолев первоначальные преграды и препятствия.

По веткам елей прыгали белки, а под ними разгуливали рыжеватые олени. Когда я вижу это чудесное благородное животное, я не могу постичь, как образованные люди находят удовольствие в том, чтобы травить его и убивать. Ведь такой же олень оказался милосерднее человека и вскормил изголодавшегося Шмерценрейха, сына святой Геновевы.

Густую зелень елей пленительно пронизывают стрелы солнечных лучей. Корни деревьев образуют естественную лестницу. Повсюду скамьи из пушистого мха, ибо камни на целый фут покрыты самыми красивыми видами мхов, словно светло-зелеными бархатными подушками. До меня доносится нежная свежесть и мечтательный лепет ручья. Там и сям видно, как под камнями бегут серебристо-светлые струи и омывают нагие корни и побеги деревьев. Склонясь над ними, как бы подслушиваешь сокровенную повесть их развития и спокойное биение сердца

[1] Перевод Ал. Дейча.

горы. Местами вода вырывается из-под камней и корней с большой силой и образует целые водопады. Тут хорошо посидеть. Вокруг волшебный лепет и шорох — песни птиц словно короткие тоскующие зовы, деревья шепчут, как сотни девичьих уст, и, как сотни девичьих глаз, смотрят на вас странные горные цветы и тянутся к вам необычно широкими, прихотливо очерченными зубчатыми листьями; играя, сверкнет то здесь, то там веселый солнечный луч, травинки задумчиво рассказывают друг другу зеленые сказки, все зачаровано, лес становится таинственней и таинственней, оживает древняя греза, возлюбленная явилась — ах, зачем только она так скоро исчезает!

Чем выше поднимаешься на гору, тем ниже, тем более похожими на гномов становятся ели, кажется, будто они все сильнее съеживаются, и под конец видишь вокруг только кусты черники и красной смородины да горные травы. И холод становится чувствительнее. Причудливые группы гранитных глыб здесь попадаются чаще; иные — необычайных размеров. Быть может, это мячи, которыми, играя, перебрасываются злые духи в Вальпургиеву ночь, когда ведьмы скачут сюда верхом на метлах и навозных вилах и начинаются мерзкие и нечестивые забавы, как рассказывала мне простодушная кормилица и как это изобразил в своих прекрасных иллюстрациях к «Фаусту» художник Ретцш. Да, один молодой поэт, в первую майскую ночь проезжавший верхом мимо Брокена из Берлина в Геттинген, заметил даже, как некоторые литературные дамы со своим эстетическим кружком пили чай на скалистом выступе, уютно читали вслух «Вечернюю газету», а поэтических козлят, прыгавших вокруг чайного стола, прославляли как мировых гениев и обо всех явлениях немецкой литературы высказывались вполне безапелляционно; но когда они взялись за «Ратклифа» и «Альманзора» и стали утверждать, будто автор лишен и христианских чувств, и благочестия, у молодого человека волосы встали дыбом, ужас овладел им; я дал шпоры коню и пронесся мимо.

Действительно, когда поднимаешься на вершину Брокена, невольно приходят на память связанные с Блоксбергом замечательные сказания, и особенно великая и таинственная немецкая национальная трагедия о докторе Фаусте. Мне так и чудилось, будто рядом со мной взбирается на гору чье-то копыто и кто-то смешно пыхтит. Мне кажется, даже Мефистофелю приходится попыхтеть, когда он всходит на свою любимую гору; это чрезвычайно утомительно, и я был рад, увидев наконец давно желанный дом на Брокене.

Дом этот, который, как известно по многочисленным рисункам, имеет всего один этаж и расположен на самой вершине горы, был построен лишь в 1800 году графом Штольберг-Вернигероде, за счет которого в доме содержится и гостиница. Стены необычайно плотны, для защиты от ветров и зимней стужи; кровля низкая, а посредине ее высится сторожевая вышка, напоминающая башню; к дому примыкают еще два небольших крыла, одно из которых служило в прежние времена пристанищем для посетителей Брокена.

Входя в гостиницу на Брокене, я испытал чувство чего-то необычного, сказочного. После долгого странствия в одиночестве среди елей и утесов вдруг оказываешься перенесенным в некий заоблачный дом, города, леса и горы остались далеко внизу, а здесь, наверху, находишь странно пестрое и незнакомое общество, которое встречает тебя, как обычно в подобных местах, точно долгожданного товарища: отчасти с любопытством, отчасти равнодушно. Дом был полон гостей, и я, как подобает человеку благоразумному, уже подумывал о ночи и о неудобствах соломенного ложа; умирающим голосом я тотчас потребовал себе чаю, и хозяин гостиницы на Брокене оказался достаточно благоразумным и признал, что мне, больному человеку, нужна порядочная постель. Ее он и устроил мне в тесной комнатке, где уже расположился молодой коммерсант — долговязый рвотный порошок в коричневом сюртуке.

Когда я вошел в общую комнату, там царило шумное оживление. Одни студенты только что прибыли и теперь подкрепляли свои силы, другие готовились в дорогу, затягивали сумки, вписывали свои имена в книгу для приезжающих, принимали от служанок букеты брокенских цветов; тут щиплют щечки, там поют, резвятся, танцуют, горланят, спрашивают, отвечают, желают счастливого пути, хорошей погоды, доброго здоровья, обмениваются прощальными приветствиями. Среди уходящих кое-кто подвыпил, и эти получают от прекрасных видов двойное удовольствие, ибо у пьяного все в глазах двоится.

Несколько отдохнув, я поднялся на сторожевую вышку и застал там низенького господина с двумя дамами — молодой и уже в зрелых годах. Молодая дама была очень красива. Великолепная фигура, на кудрявой голове атласная черная шляпа, подобная шлему с белыми перьями, которыми играл ветер, стройное тело, так плотно охваченное черным шелковым плащом, что его благородные очертания были отчетливо обрисованы, и вольный взор огромных глаз, спокойно взирающих на огромный вольный мир.

Когда я был мальчиком, я только и думал, что о волшебных сказках и легендах, и каждая красивая дама со страусовыми перьями на шляпе казалась мне царицей эльфов, а если я замечал, что шлейф у нее подмочен, то я принимал ее за русалку. Теперь я иного мнения, с тех пор как узнал из естественной истории, что эти символические перья принадлежат глупейшей птице и что шлейф дамского платья может подмокнуть от самых естественных причин. Если бы я глазами мальчика увидел эту молодую красавицу в описанной мною позе, и еще на Брокене, я бы непременно решил: вот фея этой горы, и она только что произнесла заклинание, от которого все внизу кажется таким волшебным. Да, при первом взгляде, брошенном вниз с Брокена, все кажется нам волшебным, все стороны нашего духа получают новые впечатления, и хотя впечатления эти по большей части разнородны и даже противоречивы, они сливаются в нашей душе в огромное сложное и еще непонятное чувство. Если нам удается раскрыть смысл этого чувства, то мы познаем и характер горы. И характер этот — чисто немецкий как в смысле недостатков, так и достоинств. Брокен — немец. С подлинно немецкой основательностью показывает он нам ясно и отчетливо, точно на гигантской панораме, многие сотни городов, городков и деревень, лежащих главным образом к северу, а кругом — горы, реки, леса и равнины, насколько глаз хватает. Но именно поэтому все кажется лишь резко вычерченной, ярко раскрашенной географической картой; нигде взор не радуют особенно красивые виды; совершенно так же, как и у нас — немецких компиляторов: из-за той добросовестной точности, с какой мы хотим передать решительно все, мы никогда не можем дать что-нибудь одно во всей его красоте. И в самой горе есть что-то такое по-немецки спокойное, благоразумное, терпимое — именно оттого, что она все обозревает и видит так далеко и так ясно. И когда такая гора открывает свои великанские очи, она видит, быть может, и побольше того, что видим мы, ползающие по ней карлики, своими близорукими глазами. Многие, однако, настаивают на том, что Брокен ужасный филистер, и недаром Клаудиус пел: «Долговязый господин филистер Блоксберг!» Но это ошибка. Правда, его лысина, которую он иногда прикрывает белым колпаком тумана, придает ему нечто филистерское, но, как и многие великие немцы, он делает это из чувства иронии. Между тем доподлинно известно, что у Брокена бывают свои студенческие, разгульные периоды, например в первую майскую ночь. Тогда он, ликуя, подбрасывает ввысь свой колпак и пре-

дается, не хуже нас, грешных, романтическим безумствам в самом истинно немецком духе.

Я тотчас попытался вовлечь красивую даму в разговор: ведь красотами природы особенно наслаждаешься тогда, когда тут же можешь по этому поводу излить свои чувства. Она не выказывала остроумия, но была вдумчиво внимательна — поистине благородные манеры. Я имею в виду не обычное, чопорное, отрицательное благородство, которое знает в точности, чего делать не следует, но я говорю о том более редком, свободном, положительном благородстве, которое ясно нам подсказывает, что делать можно, и, при полной непринужденности, дает в обществе величайшую уверенность. К моему собственному удивлению, я обнаружил немалые географические познания, перечислил любознательной красавице названия всех лежавших перед нами городов, нашел и показал их на своей карте, которую с видом настоящего доцента разложил на каменном столе, стоявшем на площадке сторожевой вышки. Правда, кое-каких городов я так и не нашел, ибо больше искал пальцами, чем глазами, которые рассматривали лицо прелестной дамы, находя здесь пейзажи более красивые, чем Ширке или Эленд. Это лицо было из тех, которые не могут слишком увлечь, редко вызывают восхищение и нравятся всегда. Я люблю такие лица, они своей улыбкой вносят покой в мое мятежное сердце.

В каких отношениях к этим двум дамам находился сопровождавший их низенький господинчик — я не мог отгадать. Это была тощая и своеобразная личность. Головка скудно поросла седыми волосками, которые спадали на низкий лоб до самых стрекозиных зеленоватых глаз, круглый нос сильно выдавался вперед, тогда как рот и подбородок боязливо отступали к ушам. Казалось, это личико вылеплено из мягкой желтоватой глины, из которой скульпторы обычно лепят свои черновые модели, и когда его узкие губы плотно сжимались, на щеках выступали тысячи тонких полукруглых морщинок.

Человечек этот не произносил ни слова и только по временам, когда старшая дама что-то дружески нашептывала ему, улыбался, точно мопс, страдающий насморком.

Старшая дама оказалась матерью более молодой, и у нее также были благородные формы. Во взоре ее таилась болезненная и мечтательная грусть, губы хранили отпечаток строгой набожности, но мне все же показалось, что некогда эти уста были прекрасны, они много смеялись, их много целовали, и они отвечали на много поцелуев. Ее лицо напоминало некий Codex

palimpsestus [1], где сквозь черную, недавно написанную монашеской рукою страницу из Отцов церкви проступают полустертые любовные стихи античного поэта. Обе дамы и их спутник побывали в этом году в Италии, и они сообщили мне много интересного о Риме, Флоренции и Венеции. Мать рассказывала особенно охотно о картинах Рафаэля в соборе св. Петра; дочь больше говорила об опере и театре Фениче. Дамы были в восторге от искусства импровизаторов. Обе родились в Нюрнберге, однако они мало что могли сообщить мне об его былом великолепии. Пленительное мастерство мейстерзингеров, последние отзвуки которого нам сохранил наш добрый Вагензейль, угасло, и эти дочери Нюрнберга наслаждаются заморскими экспромтами и пеньем евнухов. О, святой Зебальдус, какой ты теперь бедный патрон!

Пока мы беседовали, начало смеркаться. Воздух стал еще свежее, солнце склонилось ниже, и на площадку вышки высыпали студенты и подмастерья, а также несколько почтенных горожан с супругами и дочками; все они желали посмотреть закат солнца. Это величественное зрелище вызывает в душе желание молиться. С добрых четверть часа стояли мы все в торжественном молчании, глядя, как прекрасный огненный шар постепенно опускается за горизонт; лица были освещены лучами вечерней зари, мы невольно сложили руки, как на молитве; казалось, мы стоим всей этой притихшей общиной среди гигантского собора, священник возносит тело господне, и орган изливает на нас бессмертный хорал Палестрины.

Когда я так стоял, погруженный в благоговейную задумчивость, я вдруг слышу, что кто-то рядом со мной восклицает: «Как, в общем, прекрасна природа!» Эти слова вырвались из переполненной груди моего соседа, молодого коммерсанта. Это вернуло меня к моему будничному настроению, я уже был в состоянии рассказать дамам много интересного о солнечных закатах и, как ни в чем не бывало, проводил их в комнату. Они разрешили мне побеседовать с ними еще часок. Подобно земле, наш разговор вертелся вокруг солнца. Мать заявила: опускавшееся в туман солнце было похоже на пылающую красную розу, которую небо галантно бросило на широко разостланное подвенечное покрывало своей возлюбленной — земли. Дочь улыбнулась и заметила, что, когда слишком часто созерцаешь картины природы, это ослабляет впечатление. Мать внесла поправку в этот ошибочный взгляд, процитировав соответствующие

---

[1] Пергамент, на котором по стертой рукописи написана новая *(греч.-лат.)*.

строки из «Путевых писем» Гете, и спросила, читал ли я Вертера? Кажется, мы говорили еще об ангорских кошках, этрусских вазах, турецких шалях, макаронах и лорде Байроне, причем старшая дама, премило лепеча и вздыхая, продекламировала некоторые его строки о закате. Молодая дама не знала английского языка, но пожелала ознакомиться с этими стихами, и я порекомендовал ей переводы моей прекрасной и талантливой соотечественницы баронессы Элизы фон Гогенгаузен и, как обычно в разговоре с молодыми дамами, стал усиленно распространяться о безбожии Байрона, его безлюбии, безутешности и еще невесть о чем.

После всего этого я еще вышел погулять по Брокену, ибо совсем темно здесь никогда не бывает. Туман был не густ, и я созерцал очертания двух возвышенностей, которые называются «Алтарь ведьм» и «Кафедра черта». Я выстрелил из своих пистолетов, однако эхо не откликнулось. Но вдруг до меня доносятся знакомые голоса, и я чувствую, что меня обнимают и целуют. Это оказались мои земляки, они вышли из Геттингена на четыре дня позднее и были весьма изумлены тем, что застали меня в совершенном одиночестве на Блоксберге. Тут пошли рассказы, смех, воспоминания, мы то дивились этой встрече, то уславливались о новых, то переносились мыслями в нашу ученую Сибирь, где культура так высока, что в гостиницах привязывают медведей [1], а соболи желают охотникам доброго вечера.

Ужин был подан в большой комнате. За длинным столом сидели двумя рядами проголодавшиеся студенты. Вначале велись обычные университетские разговоры: дуэли, дуэли и опять дуэли. Общество состояло главным образом из галлевцев, и поэтому-то Галле был главной темой беседы. Придворному советнику Шютце экзегетически перемыли косточки. Затем заговорили о том, что последний прием у короля кипрского был особенно блестящим, что он назначил своим преемником незаконного сына, что он взял себе в супруги с левой стороны какую-то лихтенштейнскую принцессу, дал отставку своей государственной фаворитке и что растроганное министерство в полном составе проливало слезы согласно предписанию. Мне, вероятно, незачем упоминать, что речь шла о завсегдатаях пивных в Галле. Затем на сцену выплыли два китайца, которых показывали два года назад в Берлине, а теперь они выступают в Галле как приват-доценты по кафедре китайской эстетики. Потом принялись ост-

[1] Игра слов: den Bären anbinden — привязать медведя, а также — взять в долг.— *Ред.*

рить. Предложили следующее: немец показывает себя за деньги в Китае; по этому случаю сочиняют особый анонс, в котором мандарины Чинг Чанг-чунг и Хи Ха-хо констатируют, что это настоящий немец, и перечисляют все его кунстштюки, состоящие главным образом в том, что он философствует, курит и весьма долготерпелив, а в заключение добавлено, что в двенадцать часов — час кормежки — воспрещается приводить собак, ибо они имеют обыкновение таскать у бедного немца лучшие куски.

Молодой корпорант, только что ездивший в Берлин, чтобы проветриться, много рассказывал об этом городе, однако слишком односторонне. Он побывал у Высоцкого и в театре: и о том и о другом он судил неверно: «В своих сужденьях юность торопliва...» — и т. д. Он говорил о роскоши костюмов, о скандалах в театральной среде и т. д. Молодой человек не знал, что в Берлине внешняя сторона играет первостепенную роль, о чем достаточно свидетельствует обычное выражение «как у всех», что этот показной блеск должен особенно процветать на подмостках и что поэтому дирекции театров особенно приходится заботиться о «цвете бороды в такой-то роли», о верных костюмах, модели которых проектируются присяжными историками и шьются учеными портными. Так оно и должно быть, ибо, надень Мария Стюарт передник, относящийся уже к эпохе королевы Анны, банкир Христиан Гумпель был бы вправе пожаловаться, что из-за этого для него пропала всякая иллюзия; и если бы лорд Берли, по недосмотру, надел панталоны Генриха IV, то уж наверняка военная советница фон Штейнцопф, урожденная Лилиентау, весь вечер не спускала бы глаз с подобного анахронизма. Эта вводящая в заблуждение забота дирекции об иллюзии распространяется, однако, не только на передники и панталоны, но и на облеченных в них персонажей. Так, роль Отелло будет впредь исполняться настоящим арапом, которого профессор Лихтенштейн для этой цели уже выписал из Африки; в «Ненависти к людям и раскаянии» Евлалию будет играть действительно падшая женщина, Петера — действительно глупый парень, а «Неизвестного» — действительно тайный рогоносец,— причем трех последних, конечно, незачем выписывать из далекой Африки. Однако, если вышеупомянутый молодой человек не понял особенностей берлинских спектаклей, он еще меньше обратил внимания на то, что янычарская опера Спонтини с ее литаврами, слонами, трубами и тамтамами является героическим средством для укрепления воинственного духа в нашем размякшем народе, средством, которое некогда рекомендовали

столь хитроумные государственные мужи, как Платон и Цицерон. Но меньше всего понял молодой человек дипломатическое значение балета. С трудом удалось мне доказать ему, что в ногах Гоге больше политики, чем в голове у Бухгольца, что все балетные пируэты первого символизируют собою дипломатические переговоры, что в каждом из его движений кроется политический смысл,— так, например, он, бесспорно, имеет в виду наш кабинет, когда, страстно склонившись вперед, простирает руки; что он намекает на Союзный сейм, когда вертится, стоя на одной ноге, и, сделав сто оборотов, все-таки не сходит с места; что метит в мелких государей, когда семенит по сцене словно связанными ногами; что он изображает европейское равновесие, когда, словно пьяный, пошатывается из стороны в сторону, живописует некий конгресс, когда сплетает в клубок согнутые руки, и, наконец, показывает нам нашего непомерно великого восточного друга, когда, постепенно выпрямляясь, словно растет вверх, затем надолго замирает в одной позе и вдруг начинает делать самые устрашающие прыжки. Молодой человек наконец прозрел, и теперь он понял, отчего танцовщики лучше оплачиваются, чем великие поэты, отчего балет служит для дипломатического корпуса неистощимой темой неистощимых разговоров и отчего хорошенькую балерину частенько неофициально еще поддерживает министр, который трудится дни и ночи напролет над тем, чтобы втолковать ей свою политическую систему. Клянусь Аписом! Как же велико число экзотерических и как ничтожно число эзотерических посетителей театра! И вот эта глупая публика глазеет, и восхищается прыжками и поворотами, и изучает анатомию по позициям госпожи Лемьер, и аплодирует антраша госпожи Ренио, болтает о грации, о гармонии, о бедрах — и никто не замечает, что перед ним, в зашифрованных движениях танца, проходят судьбы его отечества.

В то время как велся этот разговор, перекидываясь с одного на другое, участники не забывали о своей пользе и усердно воздавали должное огромным блюдам, добросовестно нагруженным мясом, картофелем и т. п. Однако кушанья были невкусны, на что я вскользь и указал своему соседу; но с акцентом, по которому я сразу же признал в нем швейцарца, он весьма невежливо ответил, что мы, немцы, мол, не знаем ни что такое истинная свобода, ни истинная умеренность. Я пожал плечами и заметил: настоящими придворными лакеями и кондитерами повсюду обычно бывают швейцарцы, и их чаще всего так и называют, да и вообще — нынешние герои швейцарской свободы, столько болтающие перед публикой о всяких политических дер-

заниях, напоминают мне зайцев, которые на ярмарках стреляют из пистолетов, повергают всех детей и крестьян в изумление своей храбростью и все-таки остаются зайцами.

Сын Альп, конечно, не имел злого умысла; «это был толстый человек, а следовательно— добрый человек», как говорит Сервантес. Но сосед мой с другой стороны, грейфсвальдец, чрезвычайно был обижен этим заявлением; он стал уверять, что немецкая энергия и простодушие вовсе не угасли, шумно бил себя в грудь и выпил при этом гигантскую кружку светлого пива. Швейцарец сказал: «Ну, ну». Однако, чем примирительнее был его тон, тем яростнее грейфсвальдец лез на ссору. Этот человек явно принадлежал к той эпохе, когда вши благоденствовали, а парикмахеры чуть не подыхали с голоду. У него были длинные, спадающие на плечи волосы, рыцарский берет, черный сюртук старонемецкого покроя, грязная сорочка, служившая одновременно и жилетом, а под ней висел медальон с клоком волос, принадлежащих блюхеровскому белому коню. Он чрезвычайно напоминал шута в натуральную величину. Я люблю размяться после ужина, потому-то и дал втянуть себя в патриотический спор. Грейфсвальдец был того мнения, что Германию следует разделить на тридцать три округа. Я, напротив, утверждал, что на сорок восемь, ибо тогда можно будет составить более систематический путеводитель по Германии, а ведь необходимо же связать жизнь с наукой. Мой грейфсвальдец оказался также немецким бардом, он открыл мне, что работает над национально-героической поэмой, прославляющей Арминия и его битву. Я дал ему немало полезных указаний для изготовления этого эпоса. Я обратил его внимание на то, что он мог бы изобразить болота и скалистые тропы Тевтобургского леса весьма ономатопоэтически — с помощью водянистых и ухабистых стихов и что было бы особой патриотической тонкостью заставить Вара и других римлян говорить сплошные глупости. Надеюсь, что с помощью этого художественного трюка ему удастся не менее успешно, чем другим берлинским поэтам, достичь убедительной иллюзии.

За нашим столом становилось все шумнее и задушевнее, вино вытеснило пиво, пуншевые чаши дымились, мы пили, чокались и пели старинный ландсфатер и чудные песни В. Мюллера, Рюккерта, Уланда и др., а также прекрасные мелодии Метфесселя. Лучше всего прозвучали слова нашего Арндта: «Господь железо создал, чтоб нам не быть рабами». За стеною бушевал лес,— казалось, старая гора подпевала нам, и кое-кто из друзей, пошатываясь, заявил, что она весело качает лысой

головой, поэтому и комната покачивается. Бутылки становились легче, а головы тяжелее. Один рычал, другой пищал, третий декламировал из «Вины», четвертый говорил по-латыни, пятый проповедовал умеренность, а шестой, взобравшись на стул, читал лекцию: «Господа, земля — это круглый вал, люди на нем — отдельные шпеньки, разбросанные будто без всякого порядка; но вал вращается, шпеньки то там, то здесь касаются друг друга, одни часто, другие редко, и получается удивительно сложная музыка, которая называется всемирной историей. Поэтому мы говорим сначала о музыке, затем о мире и, наконец, об истории; последнюю мы делим, однако, на положительную часть и шпанских мушек...» И так далее — со смыслом и без смысла.

Какой-то добродушный мекленбуржец, засунув нос в стакан с пуншем, блаженно улыбаясь и вдыхая его пары, заметил: он чувствует себя так, словно стоит опять у стойки театрального буфета в Шверине! Другой держал перед глазами стакан с вином как увеличительное стекло и, казалось, внимательно нас рассматривал через него, а красное вино текло у него по щекам в широко раскрытый рот. Грейфсвальдец, вдруг вдохновившись, кинулся мне на грудь и ликующе воскликнул: «О, если бы ты понял меня, я люблю, я счастлив, мне отвечают взаимностью, и, разрази меня бог,— эта девушка прелестно образованна, ибо у нее пышные груди, она ходит в белом платье и играет на рояле!» Швейцарец плакал, нежно целовал мне руку. И непрестанно ныл: «О Бэбели! О Бэбели!»

Среди всего этого беспорядка и шума, когда тарелки научились приплясывать, а стаканы летать, я увидел двух юношей, сидевших против меня, прекрасных и бледных, как мраморные статуи, причем один скорее напоминал Адониса, другой — Аполлона. На их щеках едва был заметен легкий розовый отблеск, которым их окрасило вино. С невыразимой любовью смотрели они друг на друга, словно каждый читал в глазах другого, и в этих глазах что-то лучилось, точно в них упало несколько капель света из той полной, пламенеющей любовью чаши, которую кроткий ангел переносит с одной звезды на другую. Они говорили тихо, и голоса их вздрагивали от страстной тоски — ибо повествования их были печальны и в них звучала какая-то дивная скорбь. «Лора тоже умерла!» — сказал один из них, вздохнув, и после паузы рассказал об одной девушке в Галле; она была влюблена в студента, а когда он покинул Галле, перестала говорить, перестала есть, плакала день и ночь и все смотрела на канарейку, которую милый однажды подарил ей. «Птичка умерла, а вскоре умерла и Лора»,— так закончил он свой

рассказ; оба юноши снова умолкли и вздохнули, как будто сердце у них хотело разорваться. Наконец другой сказал: «Моя душа печальна! Выйдем вместе в темную ночь. Мне хочется вдыхать веянье облаков и лучи луны! Товарищ моей тоски! Люблю тебя, твои слова, как шепот тростника, как шелест ручьев, они находят отзвук в моей груди, но душа моя печальна».

И вот юноши встали, обнялись за плечи и покинули шумный зал. Я последовал за ними и увидел, как они вошли в темную каморку, один распахнул вместо окна большой платяной шкаф, оба встали перед ним, в тоске к нему протягивая руки, и по очереди заговорили. «О дыханье темнеющей ночи! — воскликнул первый.— Как освежаешь ты мои щеки! Как пленительно играешь ты моими развевающимися кудрями! Я стою на облачной вершине горы, внизу подо мною лежат спящие людские города и поблескивают голубые воды. Слышишь, как там, внизу, в ущелье, шумят черные ели! Там плывут над холмами, как туманные призраки, духи отцов! О, если б я мог мчаться вместе с вами на облачном скакуне сквозь бурную ночь, над ревущим морем, и ввысь — к звездам. Но, ах, гнетет меня скорбь, и душа моя печальна». Другой юноша также в томлении простер свои руки к платяному шкафу, слезы хлынули у него из глаз, и, приняв панталоны из желтой кожи за луну, он обратился к ним в страстной тоске: «О дочь небес, как ты прекрасна! Как чарует спокойствие твоего лика! Ты странствуешь в небе, полная прелести! И звезды следуют на восток по твоим голубым тропинкам! Увидев тебя, и тучи радуются, и их мрачные очертания светлеют. Кто в небе сравнится с тобой, творение ночи? В твоем присутствии звезды меркнут и отводят зелено-искристые очи. Куда же под утро, когда лик твой бледнеет, бежишь ты со своей стези? Или у тебя, как и у меня, есть свой Галле? Или ты живешь под сенью тоски? Или сестры твои упали с неба? Разве тех, что радостно шествовали с тобой через ночь, уже нет? Да, они упали, прекрасный светильник, и ты так часто скрываешься для того, чтобы оплакивать их. Но настанет такая ночь, когда и ты исчезнешь и покинешь там, наверху, свою голубую тропу. И звезды тогда поднимут свои зеленые головки, которые когда-то в твоем присутствии поникли, и они возрадуются. Но сейчас ты одета в свой лучезарный блеск и взираешь на землю из небесных врат. Разорвите же, ветры, покровы туч, чтобы творение ночи могло светить, и засияли мохнатые горы, и море расплескало среди блеска пенящиеся валы!»

Хорошо знакомый мне и не слишком тощий приятель,—

он больше пил, чем ел, хотя в тот вечер все же проглотил порцию говядины, которой были бы сыты по меньшей мере шесть гвардейских лейтенантов и одно невинное дитя,— в эту минуту пробежал мимо каморки, он был в превосходном настроении, то есть в свинском виде, втолкнул не слишком бережно обоих элегических друзей в платяной шкаф, помчался, топая, к выходной двери и, выскочив наружу, неистово там разбушевался. Шум в зале становился все беспорядочнее и глуше. А юноши в шкафу выли и хныкали,— они-де лежат, искалеченные, у подошвы горы; из горла у них лилось благородное красное вино, они по очереди затопляли им друг друга, и один говорил другому: «Прощай! Я чувствую, что истекаю кровью. Зачем же ты будишь меня, воздух весенний? Ты ласкаешь и говоришь: я орошаю тебя каплями с неба! Но близится час моего увядания, и уже ревет та буря, что сорвет мои листья! Завтра путник придет, придет видевший меня в моей красе, и будет взгляд его тщетно искать в поле, но не найдет...» Однако все это заглушал хорошо знакомый бас за дверью, он, богохульствуя, жаловался, среди хохота и проклятий, что на темной Венденской улице не горит ни единого фонаря и даже не видишь, кому именно ты вышиб оконные стекла.

Я много могу выпить — скромность не позволяет мне назвать число бутылок,— поэтому я добрался в довольно сносном виде до своей комнаты. Молодой коммерсант уже лежал в постели в своем белом как мел ночном колпаке и в шафранного цвета кофте из гигиенической фланели. Он еще не спал и попытался завязать со мной беседу. Коммерсант был из Франкфурта-на-Майне и поэтому сейчас же заговорил о евреях, якобы утративших всякое чувство красоты и благородства и продающих английские товары на двадцать пять процентов дешевле их фабричной цены. Меня подмывало его слегка помистифицировать, поэтому я предупредил, что я лунатик и заранее прошу у него прощения, если вдруг помешаю его сну. Бедняга, как он мне сам признался на другое утро, всю ночь не спал, опасаясь, как бы я, в состоянии сомнамбулизма, не натворил беды с пистолетами, лежавшими возле моей кровати. Говоря по правде, и моя участь была не многим лучше, я спал очень дурно. Меня посетили грозные и фантастические видения! Клавираусцуг из Дантова «Ада»! Под конец мне приснилось, что я присутствую на исполнении «Falcidia», юридической оперы из области наследственного права, текст Ганса, музыка Спонтини. Дикий сон! Римский форум сиял огнями. Серв. Азинус Гешенус восседал на своем стуле в роли претора и, отки-

дывая тогу с гордыми складками, изливался в громыхающих речитативах; Маркус Туллиус Эльверсус — prima donna legataria [1] — со всей своей пленительной женственностью томно запел любовно-бравурную арию quicunque civis romanus; [2] докладчики, с искусственным кирпичным румянцем на щеках, ревели, изображая хор несовершеннолетних; одетые гениями приват-доценты в трико телесного цвета исполняли балет доюстиниановской эпохи и украсили венками двенадцать таблиц; с громом и молнией выскочил из-под земли оскорбленный дух римского законодательства и затем — литавры, тамтамы, огненный дождь, cum omni causa [3].

Из всей этой суматохи меня извлек мой брокенский хозяин, разбудив, чтобы я посмотрел восход солнца. На вышке я застал уже несколько ожидающих, которые потирали озябшие руки; другие, с еще сонными глазами, спотыкаясь, лезли наверх. Наконец собралась опять вся вчерашняя тихая община, и мы молча смотрели, как на горизонте медленно вставал маленький багряный шар, а кругом разливался по-зимнему сумеречный свет, горы словно плыли среди волнисто-белого моря, и отчетливо виднелись лишь их верхушки, и чудилось, будто стоишь на небольшом холме среди затопленной водой равнины и только местами выступают из нее небольшие клочки земли. Чтобы закрепить в словах все виденное мною и пережитое, я написал следующее стихотворение:

Все светлее на востоке
Солнца первое мерцанье,
Тонет в маревах туманных
Гор высоких очертанье.

Если был бы я, как ветер,
Скороход неутомимый,
Я помчался б через горы
К дому девушки любимой.

Над ее постелью милой
Приподнял бы я гардины,
В лоб тихонько целовал бы,
В губы — красные рубины.

---

[1] Примадонна по завещаниям *(лат.)*.
[2] Всякий римский гражданин *(лат.)*.
[3] Со всеми принадлежностями *(лат.)*.

И шептал бы я чуть слышно,
Поверяя тайну ушку:
«Пусть приснится, что навеки
Полюбили мы друг дружку» [1].

Однако мое желание позавтракать было не менее сильным, и, сказав моим дамам несколько любезностей, я поспешил вниз, чтобы в теплой комнате напиться кофе. Да и настало время; в моем желудке было так же пустынно, как в госларской церкви св. Стефана. Но вместе с аравийским напитком по моим жилам заструился жаркий Восток, меня овеяло благоуханием восточных роз, зазвучали сладостные песни соловья, студенты превратились в верблюдов, служанки из дома на Брокене, с их конгривскими взглядами — в гурий, носы филистеров — в минареты и т. д.

Все же книга, лежавшая возле меня, не была Кораном. Правда, глупостей в ней оказалось достаточно. Это была так называемая брокенская книга, куда все поднявшиеся на гору путешественники записывают свои фамилии, большинство — и несколько мыслей, а за отсутствием оных, свои чувства. Многие выражались даже стихами. По этой книге видно, как ужасно, когда филистерское отребье, воспользовавшись подходящим случаем, как, например, здесь, на Брокене, берется за поэзию. Во дворце принца Паллагонии нет такой безвкусицы, как в этой книге, где акцизные сборщики блистают заплесневелыми благородными чувствами, конторские юноши упражняются в патетических излияниях, старогерманские дилетанты от революции жонглируют банальностями, а берлинские школьные учителя изрекают корявые, напыщенные сентенции. Господин Ганс-простачок хочет показать, что он тоже писатель. Тут прославляется величественная пышность солнечного восхода, там читаешь жалобы на дурную погоду, на обманутые ожидания, на туман, застилающий все виды. «Шел наверх — на горе туман, шел вниз — в голове туман»,— вот обычная острота, которой здесь щеголяют сотни людей.

От всей книги несет сыром, пивом и табаком; кажется, что читаешь роман Клаурена.

Пока я, как сказано выше, пил кофе и перелистывал брокенскую книгу, вошел швейцарец с пылающими щеками и принялся восторженно рассказывать о величественном зрелище, которым он наслаждался с верхушки башни, когда чистый спо-

[1] Перевод Ал. Дейча.

койный свет солнца, этого прообраза Правды, сражался с громадами ночных туманов, и это напоминало битву, где разгневанные великаны замахиваются на врагов своими длинными мечами, где скачут рыцари в панцирях и дыбятся кони, несутся боевые колесницы и веют знамена, среди бешеной схватки возникают сказочные звериные лики, и все это, свившись, наконец, в клубок беснующихся химер, постепенно бледнеет и рассеивается, исчезает без следа. Это демагогическое зрелище природы я, оказывается, прозевал и могу, в случае чего, на допросе клятвенно заверить: ничего я не знаю, кроме вкусного крепкого кофе. Ах, он был даже виновником того, что я забыл о красивой даме, и вот она уже стоит у дверей с матерью и спутником, готовая сесть в экипаж. Я едва успел добежать и заверить ее, что сегодня холодно. Она казалась недовольной, почему я не явился раньше; но я разгладил гневные морщинки на ее прекрасном челе, поднеся ей редкий цветок, который, рискуя жизнью, сорвал вчера на отвесном утесе. Мать пожелала узнать название этого цветка, словно находя неприличным, чтобы дочь приколола себе на грудь чужой, неведомый цветок,— ибо цветок и в самом деле очутился на этом завидном месте, о чем он вчера, на одинокой скале, конечно, и мечтать не смел. Их безмолвный спутник внезапно отверз уста и, пересчитав тычинки, сухо провозгласил: «Этот цветок принадлежит к восьмому классу».

Я сержусь всякий раз, когда вижу, что и милые цветики божьи так же, как и мы, делятся на касты, и притом по чисто внешнему признаку, а именно — по различиям в тычинках. Если нельзя без классификации, то лучше уж следовать предложению Теофраста, который хотел, чтобы цветы делились скорее по своему духу, то есть по аромату. У меня же в естествознании имеется своя система, исходя из нее, я все и делю на съедобное и несъедобное.

Однако таинственная сущность цветов была для старшей дамы отнюдь не загадкой, и она невольно заметила: цветы доставляют ей большую радость, когда они растут в саду или в горшках, но какое-то странное чувство тихой боли, что-то призрачное и пугающее проходит дрожью через ее сердце, когда она видит сломанный цветок,— ведь это все-таки труп, хрупкий труп цветка, и он грустно поник головкой, как мертвое дитя. Дама почти испугалась мрачной окраски своего замечания, и я счел себя обязанным рассеять это впечатление, процитировав отрывки из Вольтеровых стихов. Как легко, однако,

могут несколько французских слов возвратить нас к общепринятому и благопристойному настроению! Мы рассмеялись, последовало целование ручек, благосклонные улыбки, лошади заржали, и экипаж, неуклюже подпрыгивая, медленно стал спускаться с горы.

Теперь и студенты принялись готовиться в дорогу — начали завязывать сумки, расплачиваться по счетам, которые, против ожидания, оказались довольно умеренными; уступчивые служанки, со следами счастливой любви на щеках, по обычаю одаривали гостей брокенскими букетиками, помогали прикалывать их к шапкам, получали за это несколько поцелуев или грошей, и мы все начали спускаться с горы, причем одни, среди которых были швейцарец и грейфсвальдец, взяли путь на Ширке, другие, человек около двадцати, в том числе мои земляки и я сам, предводительствуемые проводником, двинулись по так называемым снежным впадинам к Ильзенбургу.

Мы неслись стремглав. Студенты маршировали быстрее австрийского ополчения. Не успел я опомниться, как лысая часть горы, усеянная каменными глыбами, оказалась уже позади, и мы вступили в еловый лес, замеченный мною накануне. Солнце уже проливало на землю свои праздничные лучи, озаряя смешно и пестро одетых буршей, которые очень бодро продирались сквозь заросли, исчезая и появляясь вновь; когда встречалось болото, они перебегали по стволам поваленных через него деревьев, при отвесных спусках, цепляясь за корни, повисали над бездной, ликующе горланили, и им так же радостно откликались лесные птицы, шумящие ели, журчащие незримые ручьи и звонкое эхо. Когда веселая юность встречается с прекрасной природой, они радуются друг другу.

Чем ниже мы спускались, тем певучее журчали подземные воды; там и сям, между камнями и кустарниками, сверкали они, словно прислушиваясь, можно ли им выбежать на свет, и наконец маленькая струйка решительно выбивалась из земли. Ведь это обычное явление: смелый кладет почин, и вся толпа колеблющихся, к своему удивлению, вдруг захвачена его мужеством и стремительно присоединяется к нему. И вот уже множество других ключей торопливо выпрыгивают из своих тайников, они вскоре сливаются, и уже довольно широкая речушка шумно сбегает в долину, образуя множество водопадов и излучин. Это Ильза, прелестная сладостная Ильза. Она течет по благословенной Ильзенской долине, а с двух сторон поднимаются все выше горы, поросшие сверху донизу буком, дубом и обык-

новенным лиственным кустарником, но уже не елями и другой хвоей. Ибо в Нижнем Гарце, как называется восточный склон Брокена, преобладают лиственные породы, в противоположность западному склону, именуемому Верхним Гарцем, который действительно гораздо выше и поэтому больше благоприятствует хвойным деревьям.

Трудно описать, с каким весельем, наивностью и грацией низвергается Ильза с причудливых скал, которые она встречает на своем пути, как вода ее — тут пенится и бурно перекипает через край, там вырывается из трещин в камнях, словно из переполненных до отказа кувшинов, изгибаясь прозрачно-чистой дугой, и внизу снова начинает прыгать по камешкам, точно резвая девушка. Да, правду говорит предание, Ильза — это принцесса, которая, улыбаясь и расцветая, бежит с горы. Как блещет на ней в свете солнца белопенная одежда! Как развеваются по ветру серебристые ленты на ее груди! Как сверкают и искрятся ее алмазы! Высокие буки стоят и смотрят, точно строгие отцы, улыбаясь украдкой причудам прелестного ребенка; белые березы, как тетушки, тихонько покачиваются, любуясь и вместе с тем страшась ее слишком смелых прыжков; гордый дуб посматривает на нее, как дядюшка-ворчун, которому придется расплачиваться за все это; птички в воздухе радостно поют ей хвалу, прибрежные цветы нежно лепечут: «Возьми и нас с собой, возьми и нас с собой, милая сестрица!» Но веселая девушка неудержимо прыгает дальше и дальше и вдруг захватывает в плен мечтающего поэта, и на меня льется цветочный дождь звенящих лучей и лучистых звуков, и я теряю голову от этого великолепия и слышу только сладостный, как флейта, голос:

Зовусь я принцессой Ильзой
И в Ильзенштейне живу,
Тебя в мой дивный замок
Я для любви зову.

Усталый лоб омою
Прозрачною волной,
Забудешь ты страданья,
Товарищ мой больной.

В объятьях белоснежных,
Склонив главу на грудь,
Мечтая о минувшем,
Захочешь ты вздремнуть.

Я стану тебя лелеять,—
Ведь был заласкан мной
Наш император Генрих,
Лежащий под землей.

Лишь мертвые — для смерти,
Для жизни — есть пути.
Я молода, прекрасна,
И кровь бурлит в груди.

Хрустальные залы сверкают,
Когда в подводной тиши
Танцуют веселые дамы,
Рыцари их и пажи.

Шуршат шелковистые шлейфы,
И шпоры сталью звенят,
Подводные карлики громко
Играют и в трубы трубят.

Как Генриха я обнимала,
Тебя заласкаю, раба;
Зажму тебе уши тихонько,
Лишь прогремит труба [1].

Безмерно охватывающее нас блаженное чувство, когда мир явлений сливается с миром души и зелень деревьев, мысли, пенье птиц, грусть, небесная лазурь, воспоминания и запах трав сплетаются в чудесных арабесках. Женщинам особенно знакомо это чувство, и, может быть, поэтому на их устах блуждает такая недоверчивая и милая усмешка, когда мы с гордостью школьников прославляем свои логические подвиги, и то, как мы аккуратно все поделили на объективное и субъективное и как мы снабдили наши головы, точно в аптеке, тысячью ящичков: в одном — разум, в другом — рассудок, в третьем — остроумие, в четвертом — тупоумие, в пятом — ничто, а это и есть идея.

Я продолжал идти, словно во сне, и почти не заметил, что мы уже покинули долину Ильзы и опять поднимаемся в гору. Подъем был очень крут и труден, и многие из нас почти зады-

[1] Перевод Ал. Дейча.

хались. Но, как наш покойный родич, чья могила в Мельне, так и мы заранее предвкушали спуск и были тем веселей. Наконец добрались мы до Ильзенштейна.

Это гигантская гранитная скала, круто и задорно вздымающаяся из бездны. С трех сторон обступают ее высокие лесистые горы, но с четвертой, с севера, она открыта, и отсюда видны далеко внизу лежащий Ильзенбург и Ильза. На вершине скалы, имеющей форму башни, стоит большой железный крест, и там есть еще место для двух пар человеческих ног.

Подобно тому как природа, с помощью особой формы и особого положенья, придала Ильзенштейну фантастическую прелесть, так и легенда окутала его розовым сиянием. Готшальк сообщает: «Говорят, что здесь стоял заколдованный замок, в котором жила богатая и прекрасная принцесса Ильза, она и до сей поры купается каждое утро в Ильзе; и кому посчастливится увидеть ее в этот миг, того она уведет в скалу, где находится ее замок, и наградит по-королевски». Другие рассказывают о любви фрейлейн Ильзы и рыцаря фон Вестенберга занимательную историю,— один из наших известнейших поэтов ее даже романтически воспел в «Вечерней газете». Третьи передают еще вариант: будто бы древнесаксонский император Генрих проводил с Ильзой, прекрасной феей вод, в ее заколдованном замке свои подлинно королевские часы. Современный писатель, его высокородие господин Ниман, составивший путеводитель по Гарцу, где он с похвальным усердием и точными цифровыми данными сообщает о высоте гор, отклонениях магнитной стрелки, задолженности городов и т. п., утверждает: «Все, что рассказывают о прекрасной принцессе Ильзе, относится к области вымысла». Так говорят все эти люди, которым никогда не являлись такие принцессы, мы же, к кому прекрасные дамы особенно благосклонны, лучше знаем. Знал это и император Генрих. Недаром древнесаксонские императоры были так привержены к своему родному Гарцу. Достаточно перелистать прелестную «Люнебургскую хронику», где на странных, наивных гравюрах изображены боевые кони в попонах с геральдическими знаками и восседающие на них старые добрые государи в полном боевом снаряжении, с императорской священной короной на бесценном челе, со скипетром и мечом в крепкой руке; по их усатым честным лицам видно, как часто они тосковали о сладостных для их сердец принцессах Гарца и о родном шуме гарцских лесов, когда бывали на чужбине, быть может, даже в столь богатой лимонами и ядами Италии, куда их и их преемников не раз влекло соблазнительное желание назваться римскими импера-

торами,— истинно немецкая страсть к титулам, погубившая и императоров и империю.

Я же советую каждому, кто стоит на вершине Ильзенштейна, думать не об императорах и империях, не о прекрасной Ильзе, а только о своих ногах. Ибо, когда я стоял там, погруженный в свои мысли, я вдруг услышал подземную музыку заколдованного замка и увидел, как горы кругом меня опрокинулись и встали на голову, красные крыши Ильзенбурга завертелись, зеленые деревья понеслись в голубом воздухе, перед глазами у меня все поголубело и позеленело, а голова моя закружилась, и я неизбежно сорвался бы в пропасть, если бы, ища спасения, не ухватился за железный крест. В том, что я, находясь в столь бедственном положении, сделал это, меня, конечно, никто не упрекнет.

«Путешествие по Гарцу» — фрагмент и останется фрагментом, и пестрые нити, которые так красиво в него вотканы, чтобы сплестись затем в одно гармоническое целое, вдруг обрываются, словно их перерезали ножницы неумолимой Парки. Может быть, я в моих будущих песнях стану их и дальше сплетать и то, о чем здесь скупо умолчал, выскажу во всей полноте. В конце концов, ведь все равно, когда и где ты что-то высказал, если вообще смог это высказать. Пусть отдельные произведения так и остаются фрагментами, лишь бы они в своем сочетании составляли одно целое. Благодаря такому сочетанию могут быть восполнены те или иные недочеты, сглажены шероховатости и смягчена излишняя резкость. Это коснулось бы, вероятно, первых же страниц «Путешествия по Гарцу», и они произвели бы, может быть, не столь кислое впечатление, когда бы читатель узнал, что та неприязнь, которую я вообще питаю к Геттингену,— хотя она на самом деле даже глубже, чем я изобразил ее,— все же далеко не так глубока, как то уважение, с каким я отношусь к некоторым из живущих там лиц. Да и зачем мне об этом умалчивать? Я прежде всего имею в виду особенно дорогого мне человека, который еще в былые времена принял во мне столь дружеское участие, привил мне подлинную любовь к изучению истории, впоследствии укрепил меня в этой склонности, успокоил мой дух, направил по верному пути мое мужество и научил меня находить в моих исканиях то утешение, без которого я бы никогда не мог свыкнуться с нашей действительностью. Я говорю о Георге Сарториусе, великом историке и человеке, чей взор — светлая звезда в наше темное вре-

мя и чье радушное сердце всегда открыто для всех страданий и радостей других людей, для забот короля и нищего и для последних вздохов гибнущих народов и их богов.

Я не могу также не отметить следующее: Верхний Гарц, та часть Гарца в начале долины Ильзы, которую я описал, отнюдь не представляет собой столь радостного зрелища, как романтический и живописный Нижний Гарц, и своей дикой сумрачно-хвойной красотой служит резким контрастом к нему; также пленительно различны и три долины Нижнего Гарца, образуемые Ильзой, Бодой и Зелькой, олицетворяющими характер каждой долины. Это как бы три женских образа, и не так легко решить, который из них прекраснее.

О милой, пленительной Ильзе и о том, как пленительно и мило она меня приняла, я уже говорил и пел. Сумрачная красавица Бода встретила меня не столь милостиво, и, когда я сначала увидел ее в темном, как кузница, Рюбеланде, она, видимо, была не в духе и куталась в серебристо-серое покрывало дождя. Но в порыве быстро вспыхнувшей любви она сбросила его, и, когда я добрался до вершины Ростраппы, лицо ее засияло мне навстречу ярчайшим солнечным блеском, все черты ее излучали величайшую нежность, а из скованной скалистой груди как будто вырывались вздохи страстной тоски и томные стоны мечтательной печали. Менее нежной, но более веселой предстала предо мной прекрасная Зелька, красивая и любезная дама, чья благородная простота и веселое спокойствие исключали всякую сентиментальную фамильярность, однако чья затаенная улыбка выдавала шаловливый нрав; этим я объясняю то обстоятельство, что в долине Зельки я испытал целый ряд мелких неудач, например: желая перепрыгнуть через ручей, я прямо плюхнулся в воду, в самую середину его, а когда я сменил промокшие башмаки на туфли и одну упустил из рук, вернее — с ног, порыв ветра сорвал с меня еще и шапку, лесные колючки исцарапали мне ноги, и — увы! — так далее. Однако все эти неприятности я охотно прощаю прекрасной даме, ибо она прекрасна. Она и сейчас стоит в моем воображении во всей своей тихой прелести и точно просит: «Если я и смеюсь, то все же не со зла, и, прошу вас, воспойте меня». Великолепная Бода также выступает в моих воспоминаниях, и ее темный взор как бы говорит: «Ты подобен мне в гордости и в боли, и я хочу, чтобы ты любил меня». И прекрасная Ильза прибегает вприпрыжку, изящная и обворожительная лицом, движеньями и станом; она во всем подобна прелестному созданью, вдохновительнице моих грез, как и та — она смотрит на меня с неодолимым равноду-

шием, но вместе с тем так искренне, так вечно, с такой прозрачной правдивостью...— словом, я — Парис, предо мною три богини, и яблоко я отдаю прекрасной Ильзе.

Сегодня первое мая; точно море жизни, изливается на землю весна, белая пена остается висеть на ветках деревьев, и широкая, теплая сияющая дымка лежит на всем; в окнах городских домов весело поблескивают стекла, под крышами воробьи снова вьют свои гнездышки, а по улицам Гамбурга ходят люди и дивятся, что воздух такой волнующий, что у них на душе так чудесно; крестьянки из пригородов в своих пестрых одеждах продают букеты фиалок, сиротки в голубых кофточках, со своими хорошенькими внебрачными личиками, проходят по Юнгфернштигу и радуются так, будто сегодня им предстоит найти отца; у нищего на мосту такой довольный вид, точно ему выпал главный выигрыш; даже чернявого маклера с лицом жуликаманufактурщика, по которому плачет виселица, и того озаряет солнце своими беспредельно терпимыми лучами,— я же пойду за городские ворота.

Сегодня первое мая, и я думаю о тебе, прекрасная Ильза,— или мне называть тебя Агнесса, оттого что это имя больше всех тебе нравится? Я вспоминаю о тебе, и мне хотелось бы вновь посмотреть, как ты, сверкая, сбегаешь с горы. Больше всего мне хотелось бы стоять внизу, в долине, и принять тебя в свои объятия. Какой прекрасный день! Всюду вижу я зеленый цвет, цвет надежды. Всюду, как светлые дива, расцветают цветы, и мое сердце тоже хочет опять зацвести. Это сердце ведь тоже цветок, и к тому же преудивительный. Оно — не робкая фиалка, не смеющаяся роза, не чистая лилия или другой подобный им цветочек, который радует своей скромной прелестью душу девушки, так красив он на красивой груди и нынче вянет, завтра расцветает вновь. Это сердце больше походит на тот тяжелый причудливый цветок бразильских лесов, который, по преданию, цветет лишь раз в столетье. Помню, мальчиком я видел такой цветок. Мы услышали ночью выстрел, словно из пистолета, а наутро соседские дети рассказали мне, что это их алоэ распустилось вдруг с таким треском. Они повели меня в свой сад, и там я увидел, к своему изумлению, что низкое, жесткое растение с нелепыми широкими зубчатыми листьями, о которые легко было уколоться, теперь высоко поднялось, и наверху, подобный золотому венцу, распустился великолепный цветок. Мы, дети, не могли дотянуться до него; и ухмыляющийся старый Христиан, который любил нас, построил вокруг цветка деревянные мостки; мы влезли на них, как кошки, и с любопытством заглядывали в

открытую чашечку цветка, из которой поднимались лучами жадные нити тычинок и странно дикий, неслыханно роскошный аромат.

Да, Агнесса, не часто и не легко расцветает это сердце; насколько я помню, оно цвело лишь один-единственный раз, вероятно, очень давно, не меньше ста лет назад. Мне кажется, как ни великолепно распустился тогда цветок, он все же должен был захиреть от недостатка солнечного света и тепла, если даже и не был уничтожен суровой зимней бурей. Но теперь что-то зреет и теснится в моей груди, и если ты вдруг услышишь выстрел,— девушка, не пугайся! Я не застрелился, это раскрылся бутон моей любви, и она рванулась ввысь сияющими песнями, вечными дифирамбами и радостнейшей полнотой созвучий.

Если, однако, эта высокая любовь слишком высока, девушка, не стесняйся, поднимись по деревянной лесенке и загляни в мое цветущее сердце.

Еще только начало дня, солнце едва прошло половину своего пути, а мое сердце уже благоухает так сильно, что у меня голова начинает кружиться и я уже не различаю, где кончается ирония и начинается небо, и я населяю воздух своими вздохами и хотел бы опять растечься потоком сладостных атомов в предвечной божественности; что же будет, когда наступит ночь и в небе выступят звезды, «те несчастные звезды, что скажут тебе»...

Сегодня первое мая, и последний ничтожный лавочник имеет право на сентиментальность, так неужели ты запретишь ее поэту?

ИДЕИ
КНИГА LE GRAND
(1826)

Трона нашего оплот,
Первенствующий в народе
Эриндуров славный род
Устоит назло природе.

Мюльнер, «Вина»

Эвелина пусть примет эти страницы как свидетельство дружбы и любви автора.

ГЛАВА I

Она была привлекательна, и он любил ее, он же не был привлекателен, и она не любила его.

Старая пьеса

Madame, знаете ли вы эту старую пьесу? Это замечательная пьеса, только, пожалуй, чересчур меланхолическая. Я играл в ней когда-то главную роль, и все дамы плакали при этом; не плакала лишь одна-единственная, ни единой слезы не пролила она, но в этом-то и была соль пьесы, самая катастрофа.

О, эта единственная слеза! Она все еще продолжает мучить меня в воспоминаниях. Когда сатана хочет погубить мою душу, он нашептывает мне на ухо песню об этой непролитой слезе, жестокую песню с еще более жестокой мелодией,— ах, только в аду услышишь такую мелодию!

. . . . . .

Как живут в раю, вы, madame, можете представить себе без труда, тем более что вы замужем. Там жуируют всласть и имеют немало плезира, там живут легко и привольно, ну, точно как бог во Франции. Там едят с утра до ночи, и кухня не хуже, чем у Ягора, жареные гуси порхают там с соусниками в клювах и чувствуют себя польщенными, когда их поглощают, сливочные торты произрастают на воле, как подсолнечники, повсюду текут ручьи из бульона и шампанского, повсюду на деревьях развеваются салфетки, которыми праведники, покушав, утирают рты, а затем снова принимаются за еду, не расстраивая себе пищеварения, и поют псалмы, или шалят и резвятся с милыми, ласковыми ангелочками, или прогуливаются по зеленой аллилуйской лужайке, а их воздушно-белые одежды сидят очень ловко, и ничто, никакая боль и досада не нарушают чувства блаженства, и даже если кто-нибудь кому-нибудь случайно наступит на мозоль и воскликнет: «Excusez!» [1] — то пострадавший улыбнется светло и поспешит заверить: «Поступь твоя, брат мой, отнюдь не причиняет боли, и даже, au contraire [2], наполняет сердце мое сладчайшей неземной отрадой».

Но об аде вы, madame, не имеете никакого понятия. Из всех чертей вам, быть может, знаком лишь самый маленький дьяволенок — купидон, образцовый крупье ада, о самом же аде вы знаете только из «Дон-Жуана», а для этого обольстителя женщин, подающего дурной пример, ад, по вашему суждению, никогда не может быть достаточно жарок, хотя наши достославные театральные дирекции, изображая его на сцене, пускают в ход такое количество световых эффектов, огненного дождя, пороха и канифоли, какое только может потребовать для ада добрый христианин.

Между тем в аду дело обстоит гораздо хуже, чем представляется директорам театров, иначе они остереглись бы ставить столько плохих пьес,— в аду прямо-таки адски жарко, и когда я однажды попал туда на летние каникулы, мне показалось там невыносимо. Вы не имеете никакого понятия об аде, madame. Мы получаем оттуда мало официальных сведений. Правда, слухи, будто бедные грешники должны по целым дням читать там все те плохие проповеди, которые печатаются тут, наверху,— сущая клевета. Таких ужасов в аду нет, до таких утонченных пыток сатана никогда не додумается. Напротив, описание Данте несколько смягчено и в общем опоэтизировано.

---

[1] Простите! *(франц.)*

[2] Напротив *(франц.)*.

Мне ад явился в виде большой кухни из зажиточного дома с бесконечно длинной плитой, уставленной в три ряда чугунными котлами, в которых сидели и жарились нечестивцы. В одном ряду сидели христианские грешники, и — трудно поверить! — число их было вовсе немалое, и черти особенно усердно раздували под ними огонь. В другом ряду сидели евреи; они непрестанно кричали, а черти время от времени поддразнивали их; так, например, очень потешно было смотреть, как один из чертенят вылил на голову толстого, пыхтевшего ростовщика, который жаловался на жару, несколько ведер холодной воды, дабы показать ему воочию, что крещение — поистине освежающая благодать. В третьем ряду сидели язычники, которые, подобно евреям, не могут приобщиться небесному блаженству и должны гореть вечно. Я слышал, как один из них негодующе крикнул из котла дюжему черту, сгребавшему под него угли: «Пощади меня! Я был Сократом, мудрейшим из смертных, я учил истине и справедливости и отдал жизнь свою за добродетель!» Но глупый дюжий черт продолжал свое дело и только проворчал: «Э, что там! Всем язычникам положено гореть, и для одного мы не станем делать исключение!»

Уверяю вас, madame, там была ужасающая жара, со всех сторон слышались крики, вздохи, стоны, вопли, визги и скрежетания, но сквозь все эти страшные звуки настойчиво проникала жестокая мелодия той песни о непролитой слезе.

ГЛАВА II

Она была привлекательна, и он любил ее, он же не был привлекателен, и она не любила его.

Старая пьеса

Madame! Старая пьеса — подлинная трагедия, хотя героя в ней не убивают и сам он не убивает себя. Глаза героини красивы, очень красивы,— madame, не правда ли, вы почувствовали аромат фиалок? — они очень красивы, но так остро отточены, что, вонзившись мне в сердце подобно стеклянным кинжалам, они, без сомнения, проткнули меня насквозь — и все же я не умер от этих смертоубийственных глаз. Голос у героини тоже красив,— madame, не правда ли, вам послышалась сейчас трель соловья? — очень красив этот шелковистый голос, это сладостное сплетение солнечных звуков, и душа моя запуталась в них,

и трепетала, и терзалась. Мне самому,— это говорит теперь граф Гангский, и действие происходит в Венеции,— мне самому прискучили наконец такие пытки, и я решил кончить пьесу уже на первом акте и прострелить шутовской колпак вместе с собственной головой. Я отправился в галантерейную лавку на via Burstah [1], где были выставлены два прекрасных пистолета в ящике,— я припоминаю ясно, что подле них стояли радующие глаз безделушки из перламутра с золотом, железные сердца на золотых цепочках, фарфоровые чашки с нежными изречениями, табакерки с красивыми картинками, изображавшими, например, чудесную историю Сусанны, лебединую песнь Леды, похищение сабинянок, Лукрецию, эту добродетельную толстуху, с опозданием прокалывающую свою обнаженную грудь кинжалом, покойную Бетман, La belle Ferronière [2] — все привлекательные лица,— но я, даже не торгуясь, купил только пистолеты, купил также пули и порох, а потом пошел в погребок синьора Унбешейден и заказал себе устриц и стакан рейнвейна.

Есть я не мог, а пить не мог и подавно. Горячие капли падали в стакан, и в стекле его виделась мне милая отчизна, голубой священный Ганг, вечно сияющие Гималаи, гигантские чащи баньянов, где вдоль длинных тенистых дорог мерно шествуют мудрые слоны и белые пилигримы; таинственно-мечтательные цветы глядели на меня, завлекая украдкой, золотые чудо-птицы буйно ликовали, искрящиеся солнечные лучи и забавные возгласы смеющихся обезьян ласково поддразнивали меня, из дальних пагод неслись молитвенные песнопения жрецов, и, перемежаясь с ними, звучала томная жалоба делийской султанши,— она бурно металась среди ковров своей опочивальни, она изорвала серебряное покрывало, отшвырнула черную рабыню с павлиньим опахалом, она плакала, она неистовствовала, она кричала, но я не мог понять ее, ибо погребок синьора Унбешейден удален на три тысячи миль от гарема в Дели, и к тому же прекрасная султанша умерла три тысячи лет назад,— и я поспешно выпил вино, светлое, радостное вино, но на душе у меня становилось все темнее и печальнее: я был приговорен к смерти.

. . . . . .

Поднимаясь по лестнице из погребка, я услышал звон колокольчика, оповещающий о казни. Людские толпы спешили мимо, я же остановился на углу улицы San Giovanni и произнес следующий монолог:

---

[1] Улица в Гамбурге.

[2] «Прекрасная ферроньера» *(франц.)*.

Есть в старых сказках золотые замки,
Под звуки арфы там танцуют девы,
И слуги в праздничных одеждах ходят,
Благоухают мирты и жасмины.
Но лишь одним волшебным словом ты
Разрушишь вмиг очарованье это,—
Останется развалин пыльных груда,
Где стая птиц ночных кричит в болоте.
Так я своим одним-единым словом
Расколдовал цветущую природу.
И вот она — недвижимо-мертва,
Как труп царя в одеждах златотканых,
Которому лицо размалевали
И скипетр в руки мертвые вложили.
Лишь губы пожелтели оттого,
Что позабыли их сурьмой раскрасить.
У носа царского резвятся мыши,
Над скипетром златым смеются нагло...[1]

Обычно принято, madame, произносить монолог перед тем, как застрелиться. Большинство людей пользуется в таких случаях гамлетовским «Быть или не быть...». Это удачное место, и я охотно процитировал бы его здесь, но никто себе не враг, и если человек, подобно мне, сам писал трагедии, в которых тоже есть монологи кончающих счеты с жизнью, как, например, в бессмертном «Альманзоре», то вполне естественно, что он отдаст предпочтение своим словам даже перед шекспировскими. Как бы то ни было, обычай произносить такие речи надо признать весьма полезным,— он, по крайней мере, позволяет выиграть время. Таким образом, случилось, что я несколько задержался на углу улицы San Giovanni; и когда я, осужденный бесповоротно, обреченный на смерть, стоял там,— я вдруг увидел ее.

На ней было голубое шелковое платье и пунцовая шляпа, и она остановила на мне свой кроткий взор, побеждающий смерть и дарующий жизнь,— madame, вы, вероятно, знаете из римской истории, что весталки в Древнем Риме, встретив на своем пути ведомого на казнь преступника, имели право помиловать его, и бедняга оставался жить. Единым взглядом спасла она меня от смерти, и я стоял перед ней словно вновь рожденный и ослепленный солнечным сиянием ее красоты, а она прошла мимо — и сохранила мне жизнь.

---

[1] Из «Альманзора» Гейне, перевод Ал. Дейча.

Она сохранила мне жизнь, и я живу, а это — главное.

Пусть другие утешаются надеждой, что возлюбленная украсит их могилу венками и оросит ее слезами верности. О женщины! Кляните меня, осмеивайте, отвергайте! Но оставьте меня в живых! Жизнь так игриво мила, и мир так приятно сумасброден! Ведь он — греза опьяненного бога, который удалился à la française [1] с пиршества богов, лег спать на уединенной звезде и не ведает сам, что все сны свои он тут же создает, и сновидения эти бывают пестры и нелепы или стройны и разумны. Илиада, Платон, Марафонская битва, Моисей, Венера Медицейская, Страсбургский собор, французская революция, Гегель, пароходы и т. д.— все это отдельные удачные мысли в творческом сне бога. Но настанет час, и бог проснется, протрет заспанные глаза, усмехнется — и наш мир растает без следа, да он, пожалуй, и не существовал вовсе.

Но что мне в том! Я живу. Если я лишь образ чьего-то сна, пусть так,— все лучше, чем холодное, черное, бездушное небытие смерти. Жизнь — высшее благо, а худшее из зол — смерть.

Берлинские гвардии лейтенанты могут сколько угодно зубоскалить и считать признаком трусости, что принц Гомбургский с ужасом отшатывается от своей разверстой могилы,— все же Генрих Клейст обладал не меньшим мужеством, чем его коллеги с грудью колесом и перетянутой талией, и он, увы, успел доказать это.

Но все сильные люди любят жизнь. Гетевский Эгмонт неохотно расстается «с милой привычкой к бытию и действию». Эдвин Иммермана хватается за жизнь, «как дитя за грудь матери», и хоть не сладко ему жить чужой милостью, он все же молит смилостивиться над ним:

Ведь жизнь, дыханье — высшее из благ.

Когда Одиссей видит в подземном царстве Ахилла во главе мертвых героев и восхваляет его за славу среди живых и почет даже среди мертвецов, тот отвечает:

О Одиссей, утешение в смерти мне дать не надейся;
Лучше б хотел я живой, как поденщик работая в поле,
Службой у бедного пахаря хлеб добывать свой насущный,
Нежели здесь над бездушными мертвыми царствовать мертвый.

---

[1] На французский лад; в данном случае — незаметно *(франц.)*.

И, наконец, великий Израиль Лев, которого майор Дюван вызвал на поединок, сказав ему: «Если вы уклонитесь, господин Лев, я сочту вас жалким псом»,— ответил так: «Я предпочитаю быть живым псом, нежели мертвым львом!» И он был прав...

Я достаточно часто дрался на дуэли, madame, чтобы иметь право сказать: хвала творцу, я жив! В жилах моих кипит алая жизнь, под ногами моими дрожит земля, в любовном пылу прижимаю я к груди деревья и мраморные изваяния, и они оживают в моих объятиях. В каждой женщине я обретаю целый мир, я упиваюсь гармонией ее черт и одними лишь глазами могу впитать больше наслаждения, чем другие всеми своими органами за всю долгую жизнь. Ведь каждый миг для меня бесконечность. Я не измеряю время брабантским или малым гамбургским локтем, и мне незачем ждать от священников обещаний другой жизни, раз я и в этой могу пережить довольно, живя прошлым, жизнью предков, и завоевывая себе вечность в царстве былого.

И я живу! Великий ритм природы пульсирует и в моей груди, и когда я издаю крик радости, мне отвечает тысячекратное эхо. Я слышу тысячи соловьев. Весна выслала их пробудить землю от утренней дремы, и земля содрогается в сладостном восторге, ее цветы — это гимны, которые она вдохновенно поет навстречу солнцу. А солнце движется слишком медленно,— мне хотелось бы подхлестнуть его огненных коней, чтобы они скакали быстрее.

Но когда оно, шипя, опускается в море и необъятная ночь открывает свое необъятное тоскующее око,— о, тогда, только тогда пронизывает меня настоящая радость; как девушки, ласкаясь, нежат мою взволнованную грудь дуновения вечернего ветерка, звезды кивают мне, и я поднимаюсь ввысь и парю над маленькой землей и над маленькими мыслями людей.

ГЛАВА IV

Но настанет день, и в жилах моих погаснет огонь, в сердце моем воцарится зима, белые хлопья ее будут скудно виться вокруг моего чела, и туман ее застелет мне глаза. В истлевших гробах будут спать мои друзья; останусь я один, как одинокий колос, забытый жнецом; вокруг меня взрастет новое поколение, с новыми желаниями и новыми мыслями; полон удивления, услышу я новые имена и новые песни; старые имена забудутся,

буду забыт и я,— некоторыми, быть может, чтимый, многими презираемый и никем не любимый! И краснощекие юнцы подбегут ко мне, вложат старую арфу в мои дрожащие руки и скажут, смеясь: «Довольно тебе молчать, ленивый старик! Спой нам снова песни о грезах твоей юности».

И я беру арфу — и просыпаются старые радости и скорби, туманы рассеиваются, слезы вновь расцветают на мертвых очах, весна ликует в моей груди, сладостно-грустные звуки дрожат на струнах арфы; я вижу вновь и голубые воды реки, и мраморные дворцы, и прекрасные женские и девичьи лица — и я пою песню о цветах Бренты.

Это будет моя последняя песня. Звезды взирают на меня, как в ночи моей юности, влюбленный луч луны вновь касается поцелуем моей щеки, призрачные хоры былых соловьев звенят издалека, неодолимый сон смыкает мне глаза, душа моя угасает, как звуки арфы, и несется аромат цветов Бренты.

Какое-то дерево покроет своей тенью мою могилу. Я хотел бы, чтобы это была пальма, но ведь они не живут на севере. Скорее всего там вырастет липа, и летними вечерами под ней будут сидеть и шептаться влюбленные. Чижик подслушает их, качаясь на ветке, но ничего не разболтает, а липа моя будет ласково шелестеть над головами счастливцев, они же, в упоении счастьем, не удосужатся даже прочесть, что написано на белой плите. Лишь позднее, когда влюбленный потеряет свою подругу, он придет плакать и вздыхать под знакомой липой, и часто, подолгу созерцая могильный камень, будет читать надпись: «Он любил цветы Бренты».

ГЛАВА V

Madame! Я обманул вас. Я вовсе не граф Гангский. Никогда в жизни не видел я ни священной реки, ни цветов лотоса, отражающихся в ее блаженных водах. Никогда не лежал я, мечтая, под сенью индийских пальм, никогда не лежал я, молясь, перед алмазным богом Джагернаута, хотя он, несомненно, даровал бы мне облегчение. Я так же не был никогда в Индии, как и та индейка, которую мне вчера подавали к обеду. Но род мой происходит из Индостана, и потому так отрадно мне в обширных чащах песнопений Вальмики, героические страдания божественного Рамы волнуют мое сердце, как давно знакомая боль, в благоуханных песнях Калидасы цветут для меня сладкие воспоминания; и когда несколько лет тому назад я увидел

у одной любезной берлинской дамы прелестные рисунки, привезенные из Индии ее отцом, который долгое время был там губернатором, все эти тонко очерченные, благостно-тихие лица показались мне такими знакомыми, будто то были портреты предков из моей фамильной галереи.

У Франца Боппа — madame, вы, конечно, читали его «Наля» и «Разбор глагольных форм в санскритском языке»? — я почерпнул много сведений о моих прародителях, и теперь мне достоверно известно, что я произошел из головы Брамы, а не из его мозолей, подозреваю даже, что все двести тысяч стихов «Махабхараты» — просто-напросто аллегорическое любовное послание моего прапрадеда моей прапрабабке. О, они пылко любили друг друга, души их сливались в поцелуе, они целовали друг друга глазами, оба они были — один поцелуй.

Зачарованный соловей сидит на коралловом дереве посреди Тихого океана и поет песню о любви моих предков, жемчужины с любопытством выглядывают из своих раковин, причудливые водяные цветы трепещут от умиления, мудрые морские улитки подползают ближе, неся на спине свои пестрые фарфоровые башенки, белые водяные лилии смущенно краснеют, желтые колючие морские звезды и многоцветные прозрачные головастики снуют и суетятся, и весь кишащий вокруг мир внимает песне.

Но эта соловьиная песня, madame, слишком длинна для того, чтобы поместить ее здесь,— она велика, как мир; одно посвящение Ананге, богу любви, равно по величине всем вальтерскоттовским романам, взятым вместе; к ней относится одно место у Аристофана, которое по-немецки гласит:

Тиотио, тиотио, тиотинкс,
Тототото, тототото, тототинкс.

(Перев. Фосса)

Нет, я не родился в Индии; я увидел свет на берегах той прекрасной реки, где по склонам зеленых гор растет дурь, которая осенью собирается, выжимается, разливается по бочкам и посылается за границу.

Не далее как вчера я от одного знакомого наслушался дури, которая вышла из лозы, при мне созревшей в 1811 году на Иоганнисберге.

Немало дури распространяется и внутри страны, где люди такие же, как везде: они рождаются, едят, пьют, спят, смеются, плачут, клевещут, ревностно хлопочут о продолжении своего

рода, стараются казаться не тем, что они есть, и делать не то, что могут, бреются не раньше, чем обрастут бородой, и часто обрастают бородой, не успев стать рассудительными, а став рассудительными, спешат затуманить себе рассудок белой и красной дурью. Mon Dieu! [1] Будь во мне столько веры, чтобы двигать ею горы, я бы повелел повсюду следовать за собой лишь одной из них — Иоганнисбергу. Но так как вера моя не столь сильна, то я должен призывать на помощь воображение, а оно в один миг переносит меня на берега прекрасного Рейна.

О, это прекрасная страна, полная очарования и солнечного света! Синие воды реки отражают руины замков, леса и старинные города на прибрежных горах. Летним вечером сидят там перед своими домами горожане и, попивая из больших кружек вино, мирно беседуют о том, что виноград, слава богу, недурно поспевает, что суды обязательно должны быть гласными, что Марию-Антуанетту гильотинировали ни за что ни про что, что акциз сильно удорожил табак, что все люди равны и что Геррес — ловкий малый.

Я никогда не увлекался такого рода разговорами и предпочитал сидеть с девушками у сводчатого оконца, смеялся их смеху, позволял им хлестать меня по лицу цветами и притворялся обиженным до тех пор, пока они не соглашались рассказать свои сердечные тайны или какие-нибудь другие важные дела.

Прекрасная Гертруда теряла голову от радости, если я подсаживался к ней. Эта девушка была подобна пламенной розе, и когда однажды она бросилась мне на шею, я думал, что она сгорит и растает, как дым, в моих объятиях.

Прекрасная Катарина изнемогала от звенящей нежности, говоря со мной, и глаза ее были такой чистой, глубокой синевы, какой я не встречал ни у людей, ни у животных, и только изредка — у цветов; в них так отрадно было глядеть, баюкая себя при этом сладкими мечтами.

Но прекрасная Гедвига любила меня; когда я приближался к ней, она склоняла голову, так что черные кудри ниспадали ей на заалевшее лицо, и блестящие глаза сияли, как звезды в темном небе. Ее стыдливые уста не произносили ни слова, и я тоже ничего не мог сказать ей. Я кашлял, а она дрожала. Иногда она через сестру передавала мне просьбу не взбираться слишком быстро на утесы и не купаться в Рейне, когда я разгорячен ходьбой или вином. Я подслушал раз ее жаркую молитву перед

[1] Боже мой! *(франц.)*

девой Марией, которая стояла в нише у двери их дома, украшенная блестками и озаренная отблеском лампадки. Я слышал явственно, как она просила божию матерь: «Запрети ему лазить, пить и купаться». Я непременно влюбился бы в эту прелестную девушку, если бы она была ко мне равнодушна; но я остался равнодушен к ней, так как знал, что она любит меня.

Madame, женщина, которая хочет, чтобы я любил ее, должна третировать меня en canaille [1].

Прекрасная Иоганна была кузиной трех сестер, и я охотно сиживал подле нее. Она знала множество чудесных легенд, и когда ее белая рука указывала за окно, вдаль, на горы, где происходило все то, о чем она повествовала, я и сам чувствовал себя словно зачарованным, и рыцари былых времен, как живые, поднимались из руин замков и рубили железные панцири друг на друге. Лорелея вновь стояла на вершине горы, и чарующе-пагубная песнь ее неслась вниз, и Рейн шумел так рассудительно-умиротворяюще и в то же время так дразняще-жутко, и прекрасная Иоганна глядела на меня так странно, так таинственно, так загадочно-тоскливо, будто и сама она вышла из той сказки, которую только что рассказывала. Это была стройная бледная девушка, смертельно больная и вечно задумчивая; глаза ее были ясны, как сама истина, а губы невинно изогнуты; в чертах ее лица запечатлелась история пережитого, но то была священная история. Быть может, легенда о любви? Я и сам не знаю; у меня ни разу не хватило духа расспросить ее. Когда я долго смотрел на нее, покой и довольство нисходили на меня, в душе моей словно наступал тихий воскресный день, и ангелы служили там мессу.

В такие блаженные часы я рассказывал ей истории из времен моего детства. Она слушала всегда так внимательно, и — удивительное дело! — если мне случалось забыть имена, она напоминала мне их. Когда же я с удивлением спрашивал ее, откуда она знает эти имена, она, улыбаясь, отвечала, что слышала их от птиц, вивших гнезда под ее окном, и пыталась даже уверить меня, будто это те самые птицы, которых я некогда, еще мальчиком, выкупал на свои карманные деньги у жестокосердых крестьянских ребят и потом выпускал на волю. Но, по-моему, она знала все оттого, что была так бледна и стояла на пороге смерти.

Она знала также и день своей смерти и пожелала, чтобы я покинул Андернах накануне. На прощание она протянула мне

---

[1] Как каналью *(франц.)*.

обе руки,— то были белые, нежные руки, чистые, как причастная облатка,— и сказала: «Ты очень добр. А когда вздумаешь стать злым, вспомни о маленькой мертвой Веронике».

Неужели болтливые птицы открыли ей и это имя? Как часто, в часы воспоминаний, ломал я себе голову и тщетно старался вспомнить милое имя.

Теперь, когда я обрел его, в памяти моей вновь расцветают годы раннего детства; я вновь стал ребенком и резвлюсь с другими детьми на Дворцовой площади в Дюссельдорфе на Рейне.

ГЛАВА VI

Да, madame, там я родился, и особо подчеркиваю это на тот случай, если бы после смерти моей семь городов — Шильда, Кревинкель, Польквиц, Бокум, Дюлькен, Геттинген и Шеппенштедт — оспаривали друг у друга честь быть моей родиной. Дюссельдорф — город на Рейне, и проживает там шестнадцать тысяч человек, и сотни тысяч людей, кроме того, погребены там, а среди них есть и такие, о ком моя мать говорит, что лучше бы им оставаться в живых,— как, например, дедушка мой, старший господин фон Гельдерн, и дядя, младший господин фон Гельдерн, которые были такими знаменитыми докторами и не дали умереть множеству людей, а сами все же не ушли от смерти. И благочестивая Урсула, носившая меня ребенком на руках, погребена там, и на могиле ее растет розовый куст,— при жизни она так любила аромат роз! — душа ее была соткана из аромата роз и кротости. Мудрый старик каноник тоже погребен там. Боже, как жалок он был, когда я видел его в последний раз! Он весь состоял из духа и пластырей и, несмотря на это, не отрывался от книг ни днем, ни ночью, словно боясь, что черви не досчитаются нескольких мыслей в его голове.

И маленький Вильгельм лежит там, и в этом виноват я. Мы вместе учились в монастыре францисканцев и вместе играли на той его стороне, где между каменных стен протекает Дюссель. Я сказал: «Вильгельм, вытащи котенка, видишь, он свалился в реку». Вильгельм резво взбежал на доску, перекинутую с одного берега на другой, схватил котенка, но сам при этом упал в воду; а когда его извлекли оттуда, он был мокр и мертв. Котенок жил еще долгое время.

Город Дюссельдорф очень красив, и когда на чужбине вспоминаешь о нем, будучи случайно уроженцем его, на душе становится как-то смутно. Я родился в нем, и меня тянет домой.

А когда я говорю «домой», то подразумеваю Болькерштрассе и дом, где я родился. Дом этот станет когда-нибудь достопримечательностью; старухе, владелице его, я велел передать, чтобы она ни в коем случае его не продавала. За весь дом она вряд ли выручила бы теперь даже ту сумму, какую со временем привратница соберет «на чай» от знатных англичанок под зелеными вуалями, когда поведет их показывать комнату, где я увидел божий свет, и курятник, куда отец имел обыкновение запирать меня, если мне случалось своровать винограду, а также коричневую дверь, на которой моя мать учила меня писать мелом буквы. Бог мой! Madame, если я стану знаменитым писателем, то это стоило моей бедной матери немалого труда.

Но слава моя почивает еще в мраморе каррарских каменоломен, аромат бумажных лавров, которыми украсили мое чело, не распространился еще по всему миру, и если знатные англичанки под зелеными вуалями приезжают в Дюссельдорф, они пока что оставляют без внимания знаменитый дом и направляются прямо на Рыночную площадь, чтобы осмотреть стоящую посреди нее гигантскую почерневшую конную статую. Последняя должна изображать курфюрста Яна-Вильгельма. На нем черные латы и пышный аллонжевый парик.

В детстве я слышал предание, будто скульптор, отливавший статую, во время литья вдруг с ужасом заметил, что ему не хватит металла,— тогда горожане поспешили к нему со всех концов Дюссельдорфа, неся с собой серебряные ложки, чтобы он мог кончить отливку. И вот я часами простаивал перед статуей, ломая себе голову над тем, сколько на нее пошло серебряных ложек и сколько яблочных пирожков можно было бы купить за такую уйму серебра. Яблочные пирожки, надо сказать, были тогда моей страстью,— теперь их сменили любовь, истина, свобода и раковый суп,— а как раз неподалеку от памятника курфюрста, возле театра, стоял обычно нескладный, кривоногий парень в белом фартуке и с большой корзиной, полной лакомо дымящихся яблочных пирожков, которые он расхваливал неотразимым дискантом: «Пирожки, свежие яблочные пирожки, прямо из печки, пахнут как вкусно!» Право же, когда в позднейшие годы искуситель приступал ко мне, он всегда говорил этим манящим дискантом, а у синьоры Джульетты я не остался бы и полсуток, если бы она не щебетала точь-в-точь таким же сладким, душистым, яблочно-сдобным голоском. Правда также, что яблочные пирожки никогда не соблазняли бы меня так, если бы хромой Герман не прикрывал их столь таинственно своим белым фартуком, а не что иное, как фартуки... но напоминание

о них отвлекает меня от основной темы: ведь я говорил о конной статуе, которая хранит в своей утробе столько серебряных ложек и ни капли супа и притом изображает курфюрста Яна-Вильгельма.

Говорят, он был приятный господин, большой любитель искусств и сам искусный мастер. Он основал картинную галерею в Дюссельдорфе, а в тамошней Обсерватории еще и теперь показывают деревянный кубок весьма тонкой работы, вырезанный им собственноручно в свободные от занятий часы, таковых же у него имелось двадцать четыре в сутки.

В те времена государи не были еще такими мучениками, как теперь, корона прочно сросталась у них с головой; ложась спать, они надевали поверх нее ночной колпак и почивали покойно, и покойно у ног их почивали народы. Проснувшись поутру, эти последние говорили: «Доброе утро, отец!» — а те отвечали: «Доброе утро, милые детки!»

Но вдруг все изменилось в Дюссельдорфе. Когда однажды утром мы, проснувшись, хотели сказать: «Доброе утро, отец!» — оказалось, что отец уехал, над всем городом нависло мрачное уныние, все были настроены на похоронный лад и молча плелись на Рыночную площадь, чтобы прочесть длинное объявление на дверях ратуши.

Хотя погода была пасмурная, тощий портной Килиан стоял в одной нанковой куртке, которую обычно носил лишь дома, синие шерстяные чулки сползли вниз, так что голые коленки хмуро выглядывали наружу, тонкие губы его дрожали, когда он шепотом разбирал написанное. Старый пфальцский инвалид читал немного громче, и при некоторых словах блестящая слезинка скатывалась на его доблестные белые усы. Я стоял подле него и тоже плакал, а потом спросил, почему мы плачем. И он ответил так: «Курфюрст покорно благодарит». Он продолжал читать дальше и при словах: «за испытанную верноподданническую преданность» и «освобождает вас от присяги» — он заплакал еще сильнее.

Странно смотреть, когда такой старый человек, в линялом мундире, с иссеченным рубцами солдатским лицом, вдруг начинает громко плакать.

Пока мы читали, на ратуше успели снять герб курфюрста, и наступило какое-то зловещее затишье,— казалось, что с минуты на минуту начнется солнечное затмение; господа муниципальные советники медленно бродили с отставными лицами; даже всемогущий полицейский надзиратель как будто потерял способность повелевать и поглядывал кругом миролюбиво-рав-

нодушно, хотя сумасшедший Алоизий снова прыгал на одной ноге и, строя глупые рожи, выкрикивал имена французских генералов, а пьяный горбун Гумперц валялся в сточной канаве и пел: «Ça ira, ça ira!» [1]

Я же отправился домой и там снова принялся плакать, твердя: «Курфюрст покорно благодарит». Как ни билась со мной мать, я твердо стоял на своем и не давал разубедить себя; со слезами отправился я спать, и ночью мне снилось, что настал конец света: прекрасные цветники и зеленые лужайки были убраны с земли и свернуты, как ковры, полицейский надзиратель влез на высокую лестницу и снял с неба солнце, рядом стоял портной Килиан и говорил, обращаясь ко мне: «Надо пойти домой приодеться — ведь я умер, и сегодня меня хоронят»; вокруг становилось все темней, скудно мерцали вверху редкие звезды, но и они падали вниз, как желтые листья осенью; постепенно исчезли люди; один я, горемычное дитя, пугливо бродил во мраке, пока не очутился у ивового плетня заброшенной крестьянской усадьбы; там я увидел человека, рывшего заступом землю; уродливая сердитая женщина подле него держала в фартуке что-то похожее на отрубленную человеческую голову,— это была луна, и женщина бережно положила луну в яму, а позади меня стоял пфальцский инвалид и, всхлипывая, читал по складам: «Курфюрст покорно благодарит...»

Когда я проснулся, солнце, как обычно, светило в окно, с улицы доносился барабанный бой. А когда я вышел пожелать доброго утра отцу, сидевшему в белом пудермантеле, я услышал, как проворный куафер, орудуя щипцами, обстоятельно рассказывал, что сегодня в ратуше будут присягать новому великому герцогу Иоахиму, что этот последний очень знатного рода, получил в жены сестру императора Наполеона и в самом деле отличается тонкими манерами, и свои прекрасные черные волосы он носит убранными в локоны, а скоро он совершит торжественный въезд и, без сомнения, понравится всем особам женского пола.

Между тем грохот барабанов не умолкал, и я вышел на крыльцо посмотреть на вступавшие французские войска, на этих веселых детей славы, с гомоном и звоном шествовавших по всей земле, на радостно-строгие лица гренадеров, на медвежьи шапки, трехцветные кокарды, сверкающие штыки, на стрелков, полных веселья и point d'honneur [2], и на поразительно высокого,

[1] «Дело пойдет на лад!» *(франц.)*
[2] Чувства чести *(франц.)*.

расшитого серебром тамбурмажора, который вскидывал свою булаву с позолоченной головкой до второго этажа, а глаза даже до третьего, где у окон сидели красивые девушки. Я порадовался, что у нас будут солдаты на постое,— мать моя не радовалась,— и поспешил на Рыночную площадь.

Там все теперь было по-иному,— казалось, будто мир выкрашен заново: новый герб висел на ратуше, чугунные перила балкона были завешены вышитыми бархатными покрывалами, на карауле стояли французские гренадеры, старые господа муниципальные советники натянули на себя новые лица и праздничные сюртуки, они смотрели друг на друга по-французски и говорили bonjour, изо всех окон выглядывали дамы, любопытные горожане и солдаты в блестящих мундирах теснились на площади; а я и другие мальчуганы взобрались на курфюрстова коня и оттуда озирали волновавшуюся внизу пеструю толпу.

Соседский Питер и длинный Курц чуть не сломали себе при этом шеи, это было бы, пожалуй, к лучшему: один из них позже сбежал от родителей, пошел в солдаты, дезертировал и был расстрелян в Майнце; другой же занялся географическими изысканиями в чужих карманах, вследствие чего стал действительным членом одного казенного учреждения, но разорвал железные цепи, приковавшие его к этому последнему и к отечеству, благополучно переплыл море и скончался в Лондоне от чересчур узкого галстука, который затянулся сам собой, когда королевский чиновник выбил доску из-под ног моего знакомца.

Длинный Курц сказал нам, что сегодня по причине присяги не будет классов. Нам пришлось довольно долго дожидаться, пока начнется церемония. Наконец балкон ратуши наполнился разодетыми господами, флагами и трубами, и господин бургомистр, облаченный в свой знаменитый красный сюртук, произнес речь, которая растянулась, как резина или вязаный колпак, когда в него положен камень,— конечно, не философский; многие выражения я слышал вполне отчетливо,— например, что нас хотят сделать счастливыми; при последних словах заиграли трубы, заколыхались флаги, забил барабан, и все закричали «виват», и я тоже закричал «виват», крепко ухватившись за старого курфюрста.

Это было необходимо, так как голова у меня пошла кругом, и мне стало казаться, будто люди стоят вверх ногами, потому что весь мир перевернулся, а курфюрст кивнул мне своим аллонжевым париком и прошептал: «Держись покрепче за меня!» Только пушечная пальба на валу привела меня в чувство, и я медленно слез с лошади курфюрста.

Направляясь домой, я снова увидел, как сумасшедший Алоизий прыгал на одной ноге и выкрикивал имена французских генералов, а горбун Гумперц валялся, пьяный, в канаве и ревел: «Са ira, са ira!» Матери моей я сказал: «Нас хотят сделать счастливыми, а потому сегодня нет классов».

ГЛАВА VII

На другой день мир снова пришел в равновесие, и снова, как прежде, были классы, и снова, как прежде, заучивались наизусть римские цари, хронологические даты, nomina на im, verba irregularia [1], греческий, древнееврейский, география, немецкий, арифметика,— о, господи, у меня и теперь еще ум мутится,— все надо было учить наизусть. Многое изо всего этого впоследствии пригодилось мне. Ведь если бы я не учил римских царей, мне бы потом было совершенно безразлично, доказал или не доказал Нибур, что они в действительности не существовали. Если бы я не учил хронологических дат, как бы удалось мне позднее не потеряться в этом огромном Берлине, где один дом похож на другой, как две капли воды или как один гренадер на другого, и где немыслимо отыскать знакомых, не зная номера их дома; для каждого знакомого я припоминал историческое событие, дата которого совпадала с номером дома этого знакомого, и, таким образом, без труда находил номер, подумав о дате; поэтому, когда я видел того или иного знакомого, мне всегда на ум приходило то или иное историческое событие.

Так, например, встретив своего портного, я тотчас вспоминал Марафонскую битву; при встрече с щегольски разодетым банкиром Христианом Гумпелем я вспоминал разрушение Иерусалима; столкнувшись с одним своим португальским приятелем, обремененным долгами, я вспоминал бегство Магомета; увидев университетского судью, известного своим беспристрастием, я немедленно вспоминал смерть Амана; стоило мне увидеть Вадцека, как я вспоминал Клеопатру. Боже ты мой! Бедняга давно уже испустил дух, слезы о нем успели просохнуть, и теперь можно вместе с Гамлетом сказать: «То была старая баба в полном смысле слова, подобных ей мы встретим еще много».

Итак, хронологические даты, безусловно, необходимы, я знаю людей, которые, имея в голове только несколько дат, с их

---

[1] Существительные, оканчивающиеся на im, неправильные глаголы *(лат.)*.

помощью умудрились отыскать в Берлине нужные дома и теперь состоят уже ординарными профессорами. Но мне-то пришлось немало помаяться в школе над таким обилием чисел!

С арифметикой как таковой дело обстояло еще хуже. Легче всего мне давалось вычитание, где имеется весьма полезное правило: «Четыре из трех вычесть нельзя, поэтому занимаем единицу»,— я же советую всякому занимать в таких случаях несколько лишних монет про запас.

Что касается латыни, то вы, madame, не имеете понятия, какая это запутанная штука. У римлян ни за что не хватило бы времени на завоевание мира, если бы им пришлось сперва изучать латынь. Эти счастливцы уже в колыбели знали, какие существительные имеют винительный падеж на im.

Мне же пришлось в поте лица зубрить их на память; но все-таки я рад, что знаю их. Ведь если бы, например, 20 июля 1825 года, когда я публично в актовом зале Геттингенского университета защищал диссертацию на латинском языке,— madame, вот что стоило послушать! — если бы я употребил тогда sinapem вместо sinapim, то присутствовавшие при сем фуксы могли бы заметить это, и мое имя было бы покрыто вечным позором.

Vis, buris, sitis, tussis, cucumis, amussis, cannabis, sinapis [1] — всё слова, которые приобрели большой вес лишь благодаря тому, что, примыкая к определенному классу, они тем не менее остались исключениями; за это я их очень уважаю, и сознание, что они в случае необходимости всегда у меня под рукой, дает мне в тяжелые минуты жизни большое внутреннее успокоение и утешение. Но, madame, verba irregularia [2],— они отличаются от verba regularia [3] тем, что за них еще чаще секут,— ужасающе трудны.

В одной из мрачных сводчатых галерей францисканского монастыря, неподалеку от классной комнаты, висело в ту пору большое распятие из темного дерева. Скорбный образ распятого Христа и теперь еще посещает иногда мои сны и печально глядит на меня неподвижными, залитыми кровью глазами,— а в те времена я часто стоял перед ним и молился: «О господи, ты тоже несчастен и замучен, так постарайся, если только можешь, чтобы я не забыл «verba irregularia»!

О греческом, чтобы не раздражаться, я даже не хочу гово-

---

[1] Латинские слова с окончанием на is, принимающие как исключение в винительном падеже окончание im, вместо em.— *Ред.*

[2] Неправильные глаголы *(лат.)*.

[3] Правильные глаголы *(лат.)*.

рить. Средневековые монахи были не очень далеки от истины, когда утверждали, что все греческое — измышление дьявола. Один бог знает, какие муки я претерпел при этом.

С древнееврейским дело шло лучше,— я всегда питал пристрастие к евреям, хотя они по сей час распинают мое доброе имя. Однако же я не достиг в еврейском языке таких успехов, как мои карманные часы, которые часто находились в тесном общении с ростовщиками и поэтому восприняли некоторые еврейские обычаи,— например, по субботам они не шли,— а также изучили язык священных книг и впоследствии упражнялись в его грамматике. Часто в бессонные ночи я с удивлением слышал, как они непрерывно тикали про себя: каталь, катальта, катальти,— киттель, киттальта, киттальти — покат, покадети, пикат — ник — пик [1].

Зато немецкий язык я постигал неплохо, хотя он отнюдь не так прост. Ведь мы, злосчастные немцы, и без того достаточно замученные постоями, воинскими повинностями, подушными податями и тысячами других поборов, вдобавок ко всему навязали себе на шею Аделунга и терзаем друг друга винительными и дательными падежами. Многому в немецком языке научил меня ректор Шальмейер, славный старик священник, принимавший во мне участие со времен моего детства. Кое-что ценное приобрел я и у профессора Шрамма — человека, который написал книгу о вечном мире, меж тем как в классе у него школьники больше всего дрались.

Записывая подряд все, что приходило мне в голову, я незаметно договорился до старых школьных историй и хочу воспользоваться этим случаем и показать вам, madame, каким образом я, не по своей вине, так мало узнал из географии, что впоследствии никак не мог найти себе место в этом мире. Надо вам сказать, что в те времена французы передвинули все границы, что ни день — страны перекрашивались в новые цвета: те, что были синими, делались вдруг зелеными, некоторые становились даже кроваво-красными; определенный учебниками состав населения так перемешался и перепутался, что ни один черт не мог бы в нем разобраться; продукты сельского хозяйства также изменились,— цикорий и свекловица росли теперь там, где раньше водились лишь зайцы и гоняющиеся за ними юнкера; даже нрав народов переменился: немцы сделались более гибкими, французы перестали говорить комплименты, англичане — швырять деньги в окно, венецианцы оказались вдруг

[1] Древнееврейские глагольные формы.— *Ред.*

недостаточно хитры, многие из государей получили повышение, старым королям раздавали новые мундиры, вновь испеченные королевства брались нарасхват, некоторых же властителей, наоборот, изгоняли прочь, и они принуждены были зарабатывать свой хлеб другим путем, кое-кто из них поэтому заблаговременно занялся ремеслами, например производством сургуча, или — madame, пора закончить этот период, а то у меня даже дух захватило,— короче говоря, в такие времена географии учиться нелегко.

В этом смысле естественная история много лучше; там не может произойти столько перемен, и там имеются эстампы с точными изображениями обезьян, кенгуру, зебр, носорогов и т. д. Благодаря тому, что эти картинки твердо запечатлелись у меня в памяти, впоследствии многие люди представлялись мне с первого взгляда старыми знакомыми.

В мифологии тоже все обстояло благополучно. Как мила была мне эта ватага богов, в веселой наготе правившая миром! Не думаю, чтобы какой-нибудь школьник в Древнем Риме лучше меня затвердил наизусть главные параграфы своего катехизиса, например любовные похождения Венеры. Откровенно говоря, раз уж нам пришлось учить на память старых богов, следовало и оставаться при них,— ведь нельзя сказать, чтобы мы имели много преимуществ от триединства нового Рима, а тем более от еврейского единобожия. В сущности, та мифология вовсе не была так безнравственна, как об этом кричали, и Гомер, например, поступил весьма благопристойно, наделив многолюбимую Венеру супругом.

Но лучше всего чувствовал я себя во французском классе аббата д'Онуа, француза-эмигранта, который написал кучу грамматик, носил рыжий парик и резво порхал по классу, излагая «Art poétique» [1] или «Histoire allemande» [2]. Он один на всю гимназию преподавал немецкую историю.

Однако же и во французском языке встречаются некоторые трудности,— изучение его неизбежно сопряжено с военными постоями, с барабанным боем и с apprendre par coeur [3], а главное, нельзя быть bête allemande [4]. Иногда, конечно, и там приходилось не сладко. Как сейчас помню, сколько неприятностей я испытал из-за réligion [5]. Раз шесть задавался мне вопрос: «Henri,

---

[1] «Искусство поэзии» *(франц.)*.
[2] «Историю Германии» *(франц.)*.
[3] Заучиванием наизусть *(франц.)*.
[4] Немецкой скотиной *(франц.)*.
[5] Религии *(франц.)*.

как по-французски вера?» И я неизменно, с каждым разом все плаксивее, отвечал: «Le crédit» [1]. А на седьмой раз взбешенный экзаменатор, побагровев, закричал: «Вера — по-французски «la réligion»,— а на меня посыпались побои, и все товарищи мои начали смеяться. Madame! С той поры я не могу слышать слово «réligion» без того, чтобы спина моя не побледнела от страха, а щеки не покраснели от стыда. Откровенно говоря, le crédit принес мне в жизни больше пользы, чем la réligion.

Кстати, сию минуту я припомнил, что остался должен пять талеров хозяину таверны «Лев» в Болонье. Но, право же, я обязался бы приплатить хозяину «Льва» еще пять талеров лишь за то, чтобы никогда в этой жизни не слышать злополучного слова «la réligion». Parbleu [2], madame! Во французском я сильно преуспел. Я знаю не только patois [3], но даже благородный язык, перенятый у бонн. Недавно, находясь в аристократическом обществе, я понял почти половину французской болтовни двух немецких девиц-графинь, из которых каждая насчитывала свыше шестидесяти четырех лет и ровно столько же предков. Да что там! Однажды в берлинском «Café royal» я услышал, как monsieur Михель Мартенс изъяснялся по-французски, и уразумел каждое слово, хотя в словах этих было мало разумного. Самое важное — проникнуть в дух языка, а он познается лучше всего через барабанный бой. Parbleu! Я очень многим обязан французскому барабанщику, который долго жил у нас на постое и был похож на черта, но отличался ангельской добротой и совершенно превосходно бил в барабан.

То был маленький подвижной человечек с грозными черными усищами, из-под которых упрямо выпячивались красные губы, между тем как глаза метали во все стороны огненные взгляды. Я, маленький мальчуган, виснул на нем, как веревка, помогал ему ярко начищать пуговицы и белить мелом жилет,— monsieur Le Grand желал нравиться; я ходил с ним на караул, на сбор, на парад,— там было сплошное веселье и блеск оружия — les jours de fête sont passés [4].

Monsieur Le Grand говорил по-немецки очень плохо и знал только самые нужные слова: хлеб, честь, поцелуй,— зато он отлично объяснялся при помощи барабана. Например, если я не знал, что означает слово «liberté» [5], он начинал барабанить мар-

---

[1] Кредит, доверие, вера *(франц.)*.
[2] Черт возьми *(франц.)*.
[3] Простонародный язык *(франц.)*.
[4] Праздничные дни миновали *(франц.)*.
[5] Свобода *(франц.)*.

сельезу,— и я понимал его. Не знал я, каков смысл слова «égalité» [1], он барабанил марш «Ca ira, ca ira! Les aristocrates à la lanterne!» [2],— и я понимал его. Когда я не знал, что такое «bêtise» [3], он барабанил Дессауский марш, который мы, немцы, как сообщает и Гете, барабанили в Шампани,— и я понимал его. Однажды он хотел объяснить мне слово «l'Allemagne» [4] и забарабанил ту незамысловатую старую мелодию, под которую обыкновенно на ярмарке танцуют собаки, а именно туп-туп-туп,— я рассердился, но все же понял его.

Подобным образом обучал он меня и новой истории. Правда, я не понимал слов, которые он говорил, но так как, рассказывая, он беспрерывно бил в барабан, то мне было ясно, что́ он хочет сказать. В сущности, это наилучший метод преподавания. Историю взятия Бастилии, Тюильри и т. д. можно как следует понять, только если знаешь, как при этом били в барабан.

В наших школьных учебниках стоит лишь: «Их милости бароны и графы с высокородными их супругами были обезглавлены.— Их высочества герцоги и принцы с высокороднейшими их супругами были обезглавлены.— Его величество король с наивысокороднейшей своей супругой были обезглавлены»,— но, только слыша красный марш гильотины, можно по-настоящему уразуметь это и понять «как» и «почему».

Madame, то необыкновенный марш! Он потряс меня до мозга костей, когда я услышал его впервые, и я был рад, что позабыл его.

Подобные вещи забываются с годами,— молодому человеку в наши дни приходится помнить совсем другое: вист, бостон, генеалогические таблицы, постановления Союзного сейма, драматургию, литургию, карту вин... право, как ни ломал я себе голову, однако долгое время не мог припомнить ту грозную мелодию.

Но представьте себе, madame! Сижу я недавно за обедом среди целого зверинца графов, принцев, принцесс, камергеров, гофмаршалов, гофшенков, обергофмейстерин, шталмейстерин, сгермейстерин и прочей знатной челяди, а подчиненная им челядь хлопочет за их стульями и сует им под самый нос полные блюда,— я же, обойденный и обнесенный, сидел праздно, не имея случая пустить в ход челюсти, катал хлебные шарики и от

---

[1] Равенство *(франц.)*.
[2] «Дело пойдет на лад! Аристократов на фонарь!» *(франц.)*
[3] Глупость *(франц.)*.
[4] Германия *(франц.)*.

скуки барабанил пальцами по столу и вдруг, к ужасу своему, забарабанил давно забытый красный марш гильотины.

«Что же произошло?» Madame, эти люди не дают потревожить себя во время еды,— они не знают, что другие люди, когда у них нет еды, начинают вдруг барабанить прекурьезные марши, которые казались им самим давно забытыми.

Не знаю уж, либо уменье бить в барабан — врожденный талант, либо мне с ранних лет удалось развить его, но только оно вошло мне в плоть и кровь, засело в руках и в ногах и часто проявляется совершенно непроизвольно. Однажды я сидел в Берлине на лекции тайного советника Шмальца — человека, спасшего государство своей книгой об угрозе черных мантий и красных плащей.

Вы помните, madame, из Павзания, что некогда благодаря крику осла был обнаружен столь же опасный комплот, а из Ливия или из всемирной истории Беккера вы знаете, что гуси спасли Капитолий, из Саллюстия же вам достоверно известно, что благодаря болтливой потаскушке, госпоже Фульвии, был раскрыт страшный заговор Катилины...

Но revenons à nos moutons [1], у господина тайного советника Шмальца слушал я международное право. То было скучным летним вечером, я сидел на скамье и слышал все меньше и меньше и погрузился в дремоту... но вдруг очнулся от стука своих собственных ног, которые не уснули и, вероятно, слышали, как излагалось нечто прямо противоположное международному праву и поносились конституционные убеждения, и ноги мои, лучше проникающие в мировые события своими глазами-мозолями, чем тайный советник своими воловьими глазами, эти бедные немые ноги, не способные словами выразить свое скромное мнение, пытались высказаться, барабаня так громко, что я чуть не поплатился за это.

Проклятые, легкомысленные ноги! Они сыграли со мной подобную же штуку, когда я слушал в Геттингене курс у профессора Заальфельда; и этот последний, как марионетка прыгая взад и вперед по кафедре, взвинчивая себя и приходя в ажитацию, поносил императора Наполеона,— нет, бедные ноги, я не стану осуждать вас за то, что вы барабанили тогда, я даже не решился бы осудить вас, если бы вы, в своем немом простодушии, высказались еще определеннее с помощью пинка.

Как могу я, ученик барабанщика Le Grand, выслушивать

[1] Вернемся к нашим баранам *(франц.)*.

оскорбления императору? Императору! Императору! Великому императору!

Когда я думаю о великом императоре, на душе у меня вновь становится по-летнему солнечно и зелено, в памяти расцветает длинная липовая аллея, соловьи поют в тенистых ветвях, шумит фонтан, цветы на круглых клумбах задумчиво качают прелестными головками,— у меня с ними было таинственное общение; нарумяненные спесивые тюльпаны кланялись мне снисходительно, расслабленные лилии кивали томно и ласково, хмельно-красные розы смеялись, завидя меня издалека, а ночные фиалки вздыхали. С миртами и лаврами в ту пору я еще не водил знакомства — они не могли привлечь ярким цветом, но с резедой, с которой я теперь не в ладах, была у меня особо интимная дружба.

Я говорю сейчас о дворцовом саде в Дюссельдорфе, где часто, лежа на траве, я благоговейно слушал, как monsieur Le Grand рассказывал о военных подвигах великого императора и при этом отбивал на барабане марши, сопровождавшие эти подвиги, так что я как будто сам все видел и слышал.

Я видел переход через Симплон,— император впереди, за ним взбираются смельчаки-гренадеры, меж тем как вспугнутое воронье поднимает крик, а вдали гудят ледники; я видел императора со знаменем в руках на мосту у Лоди; я видел императора в сером плаще при Маренго; я видел императора на коне в битве у пирамид,— куда ни глянь, лишь пороховой дым да мамелюки; я видел императора в битве при Аустерлице,— ух! как свистели пули над ледяной равниной! — я видел, я слышал сражение при Иене — туп-туп-туп! я видел, я слышал Эйлау, Ваграм — нет, это было свыше моих сил! Monsieur Le Grand барабанил так, что у меня чуть не разорвалась барабанная перепонка.

ГЛАВА VIII

Но что сталось со мною, когда я трижды благословенными собственными глазами своими увидел его самого,— осанна! — его самого, императора!

Это случилось в той самой аллее дворцового сада в Дюссельдорфе. Протискиваясь сквозь глазеющую толпу, я думал о деяниях и сражениях, которые monsieur Le Grand изобразил мне на барабане, сердце мое отбивало генеральный марш,— но при этом я невольно думал и о полицейском распоряжении, карающем пятью талерами штрафа езду верхом по аллее.

А император со своей свитой ехал по самой середине аллеи; деревья, трепеща, склонялись на его пути, солнечные лучи с дрожью любопытства робко проглядывали сквозь зеленую листву, а по голубому небу явственно плыла золотая звезда. На императоре был его обычный простой зеленый мундир и маленькая историческая шляпа. Ехал он на белой лошадке, шедшей под ним так спокойно-горделиво, так уверенно, так безупречно, что, будь я тогда кронпринцем прусским, я бы позавидовал этой лошадке.

Небрежно, почти свесившись, сидел император; одна рука его высоко держала поводья, другая добродушно похлопывала по шее лошади. То была солнечно-мраморная рука, мощная рука, одна из тех двух рук, что укротили многоголовое чудовище анархии и внесли порядок в распри народов,— и она добродушно похлопывала по шее коня.

И лицо было того оттенка, какой мы видим у мраморных статуй греков и римлян, черты его имели те же, что и у них, благородные пропорции, и на лице этом было написано: «Да не будет тебе богов иных, кроме меня». Улыбка, согревавшая и смирявшая все сердца, скользила по его губам, но каждый знал, что стоит свистнуть этим губам — et la Prusse n'existait plus [1], стоит свистнуть этим губам — и поповская братия зазвонит себе отходную, стоит свистнуть этим губам — и запляшет вся Священная Римская империя. И эти губы улыбались, улыбались также и глаза. То были глаза ясные, как небо, они умели читать в сердцах людей, они одним взглядом охватывали все явления нашего мира сразу, меж тем как мы познаем эти явления лишь последовательно, да и то не их, а их окрашенные тени. Лоб не был так ясен, за ним таились призраки грядущих битв. Временами что-то озаряло этот лоб: то были творческие мысли, великие мысли-скороходы, которыми дух императора незримо обходил мир,— и мне кажется, что любая из этих мыслей дала бы какому-нибудь немецкому писателю достаточно пищи для писания до конца его дней.

Император спокойно ехал по аллее, и ни один полицейский не останавливал его. За ним, красуясь на храпящих конях, отягощенная золотом и украшениями, ехала его свита. Барабаны отбивали дробь, трубы звенели, подле меня вертелся сумасшедший Алоизий и выкрикивал имена его генералов, неподалеку ревел пьяный Гумперц, а вокруг звучал тысячеголосый клич народа: «Да здравствует император!»

---

[1] Пруссии больше не стало бы *(франц.)*.

ГЛАВА IX

Император умер. На пустынном острове Атлантического океана — его одинокая могила, и он, кому был тесен земной шар, лежит спокойно под маленьким холмиком, где пять плакучих ив скорбно никнут зеленеющими ветвями и где, жалобно сетуя, бежит смиренный ручеек. Никакой надписи нет на его надгробной плите, но Клио справедливым резцом своим начертала на ней незримые слова, которые неземными напевами прозвучат сквозь тысячелетия.

Британия! Ты — владычица морей, но в морях недостанет воды на то, чтобы смыть с тебя позор, который великий усопший, умирая, завещал тебе. Не ничтожный твой сэр Гудсон,— нет, ты сама была тем сицилийским наемником, которого короли-заговорщики подкупили, чтобы тайком выместить на сыне народа деяние, некогда открыто совершенное народом над одним из их числа. И он был гостем твоим, он сидел у твоего очага...

До отдаленнейших времен дети Франции станут петь и сказывать о страшном гостеприимстве «Беллерофона», и когда эти песни скорби и презрения перелетят через пролив, то кровь прильет к щекам всех честных британцев.

Но настанет день, когда песнь эта перелетит туда,— и нет Британии, ниц повержен народ гордыни, гробницы Вестминстера сокрушены, предан забвению королевский прах, который они хранили,— Святая Елена стала священной могилой, куда народы Востока и Запада стекаются на поклонение на пестреющих флагами кораблях и укрепляют сердца свои памятью великих деяний спасителя мира, претерпевшего при Гудсоне Лоу, как писано в евангелиях от Лас Казеса, О'Мира и Антомарки.

Странно! Трех величайших противников императора успела уже постигнуть страшная участь: Лондондерри перерезал себе горло, Людовик XVIII сгнил на своем троне, а профессор Заальфельд продолжает быть профессором в Геттингене.

ГЛАВА X

Был ясный прохладный осенний день, когда молодой человек, с виду студент, медленно брел по аллее дюссельдорфского дворцового сада, то с ребяческой шаловливостью разбрасывая ногами шуршащую листву, которая устилала землю, то грустно

глядя на голые деревья, где виднелись лишь редкие золотые листья.

Когда он смотрел вверх, ему вспоминались слова Главка:

Так же, как листья в лесу, нарождаются смертные люди,
Ветер на землю срывает одни, между тем как другие
Лес, зеленея, приносит, едва лишь весна возвратится.
Так поколенья людей: эти живы, а те исчезают.

В прежние дни молодой человек с иными мыслями глядел на те же деревья; тогда — мальчиком, он искал птичьи гнезда или майских жуков; его тешило, как весело они жужжали, как радовались на пригожий мир и довольствовались сочным зеленым листком, капелькой росы, теплым солнечным лучом и сладким ароматом трав. В те времена сердце мальчика было так же беззаботно, как и порхающие вокруг насекомые.

Но теперь его сердце состарилось, солнечные лучи угасли в нем, все цветы засохли в нем, и даже прекрасный сон любви поблек в нем,— в бедном сердце остались лишь отвага и скорбь, а печальнее всего — сознаться в том, что это было мое сердце.

В тот самый день я возвратился в родной город, но мне не хотелось ночевать там; я спешил в Годесберг, чтобы сесть у ног моей подруги и рассказать ей о маленькой Веронике. Я посетил милые могилы. Из всех живых друзей и родных я отыскал лишь одного дядю и одну тетку. Если и встречались мне на улице знакомые, то они не узнавали меня, и самый город глядел на меня чужими глазами, многие дома были выкрашены заново, из окон выглядывали чужие лица, вокруг старых дымовых труб вились дряхлые воробьи; несмотря на свежие краски, все казалось каким-то мертвенным, словно салат, растущий на кладбище. Где прежде говорили по-французски, слышалась теперь прусская речь, успел там расположиться даже маленький прусский дворик, и многие носили придворные звания; бывшая куаферша моей матери стала придворной куафершей, имелись там также придворные портные, придворные сапожники, придворные истребительницы клопов, придворные винные лавки,— весь город казался придворным лазаретом для придворных умалишенных.

Только старый курфюрст узнал меня,— он все еще стоял на прежнем месте, но как будто немного похудел. Стоя постоянно посреди Рыночной площади, он наблюдал всю жалкую суетню наших дней, а от такого зрелища не разжиреешь.

Я был словно во сне, мне вспомнилась сказка о зачарован-

ных городах, и, боясь проснуться слишком рано, я поспешил прочь, к городским воротам.

В дворцовом саду я не досчитался многих деревьев, другие были изувечены, а четыре больших тополя, казавшиеся мне прежде зелеными гигантами, стали маленькими.

Пригожие девушки, пестро разряженные, прогуливались по аллеям, точно ожившие тюльпаны. А эти тюльпаны я знавал, когда они были еще маленькими луковицами — ах, ведь они оказались теми самыми соседскими детьми, с которыми я некогда играл в «принцессу в башне». Но прекрасные девы, которых я помнил цветущими розами, предстали мне теперь розами увядшими, и в иной горделивый лоб, восторгавший меня когда-то, Сатурн врезал своей косой глубокие морщины.

Теперь лишь, но, увы, слишком поздно, обнаружил я, что́ означал тот взгляд, который они бросали некогда юному мальчику,— за это время мне на чужбине случалось заметить нечто сходное в других прекрасных глазах.

Глубоко тронул меня смиренный поклон человека, которого я знал богатым и знатным, теперь же он впал в нищету; повсеместно можно наблюдать, что люди, раз начав опускаться, словно повинуются закону Ньютона и падают на дно со страшной, все возрастающей скоростью.

Но в ком я не нашел перемены, так это в маленьком баронe; по-прежнему весело, вприпрыжку прогуливался он по дворцовому саду, одной рукой придерживал левую фалду сюртука, а в другой вертел тонкую тросточку. Я увидел все то же приветливое личико, где румянец сконцентрировался на носу, все ту же старую остроконечную шапочку, ту же старую косичку, только из нее теперь торчали волоски седые вместо прежних черных волосков.

Но как ни жизнерадостен на вид был барон, я знал, что бедняге пришлось претерпеть немало горя; личиком своим он хотел скрыть это от меня, но седые волоски в косичке выдали его у него за спиной. Сама косичка охотно отреклась бы от своего признания, а потому болталась так жалостно-резво.

Я не был утомлен, но мне захотелось еще раз присесть на деревянную скамью, на которой я когда-то вырезал имя моей милой.

Я едва нашел его,— там было вырезано столько новых имен! Ах! Когда-то я заснул на этой скамье и грезил о счастье и любви. «Сновидения-наваждения».

И старые детские игры припомнились мне, и старые, милые сказки. Но новая фальшивая игра и новая гадкая сказка вры-

вались в эти воспоминания,— то была история двух злосчастных сердец, которые не сохранили верности друг другу, а после довели вероломство до того, что отреклись даже от веры в господа бога. Это скверная история, и кто не может найти себе занятия получше, тому остается лишь плакать над ней. О господи! Мир был прежде так прекрасен, и птицы пели тебе вечную хвалу, и маленькая Вероника смотрела на меня кроткими глазами, и мы сидели перед мраморной статуей на Дворцовой площади. По одну сторону ее расположен старый, обветшалый дворец, где водятся привидения и по ночам бродит дама в черных шелках, без головы и с длинным шуршащим шлейфом; по другую сторону стоит высокое белое здание, в верхних покоях которого чудесно сверкали разноцветные картины, вставленные в золотые рамы, а в нижнем этаже были тысячи громадных книг, на которые я и маленькая Вероника часто смотрели с любопытством, когда благочестивая Урсула поднимала нас к высоким окнам. Позднее, став большим мальчиком, я каждый день взбирался там внутри на самые верхние ступеньки лестницы, доставал самые верхние книги и читал в них подолгу, так что в конце концов перестал бояться чего бы то ни было, а меньше всего — дам без головы, и сделался таким умным, что позабыл все старые игры и сказки, и картины, и маленькую Веронику, и даже имя ее.

Но в то время, когда я, сидя на старой скамье, витал мечтами в прошедшем, позади послышался шум голосов,— прохожие жалели бедных французов, которые в войну с Россией попали в плен, были отправлены в Сибирь, томились там много лет, несмотря на мир, и лишь теперь возвращались домой.

Подняв голову, я и сам увидел этих осиротелых детей славы. Сквозь дыры их истертых мундиров глядела откровенная нищета, на обветренных лицах скорбно мерцали глубоко запавшие глаза, но, хоть и израненные, изнуренные, а многие даже хромые, все они тем не менее старались блюсти военный шаг, и — странная картина! — барабанщик с барабаном ковылял впереди. Внутренне содрогаясь, вспомнил я сказание о солдатах, павших днем в битве, а ночью встающих с бранного поля и под барабанный бой марширующих к себе на родину, как об этом поется в старой народной песне:

Он бил настойчиво и рьяно,
Сзывая гулом барабана,
И пошли туда в поход,
Траллери, траллерей, траллера,
Где любимая живет.

Утром их лежали кости,
Словно камни, на погосте,
Барабанщик шел вперед,
Траллери, траллерей, траллера,
А девица ждет да ждет [1].

И в самом деле, бедный французский барабанщик казался полуистлевшим выходцем из могилы: то была маленькая тень в грязных лохмотьях серой шинели, лицо — желтое, как у мертвеца, с большими усами, уныло свисавшими над бескровным ртом, глаза — подобные перегоревшим углям, где тлеют последние искорки, и все же по одной такой искорке я узнал monsieur Le Grand.

Он тоже узнал меня, увлек за собой на лужайку, и мы уселись снова на траве, как в былые времена, когда он толковал мне на барабане французский язык и новейшую историю.

Барабан был все тот же, старый, хорошо мне знакомый, и я не мог достаточно надивиться, как не сделался он жертвой русской алчности. Monsieur Le Grand барабанил опять, как раньше, только при этом не говорил ни слова. Но если губы его были зловеще сжаты, то тем больше говорили глаза, победно вспыхивавшие при звуках старых маршей. Тополя подле нас затрепетали, когда вновь загремел под его рукой красный марш гильотины.

И былые бои за свободу, былые сражения, деяния императора снова воскрешал барабан, и казалось, будто сам он — живое существо, которому отрадно дать наконец волю внутреннему восторгу. Я вновь слышал грохот орудий, свист пуль, шум битвы, я вновь видел отчаянную отвагу гвардии, вновь видел развевающиеся знамена, вновь видел императора на коне... Но мало-помалу в радостный вихрь дроби вкрался унылый тон, из барабана исторгались звуки, в которых буйное ликование жутко сочеталось с несказанной скорбью, марш победы звучал вместе с тем как похоронный марш, глаза Le Grand сверхъестественно расширились, я не видел в них ничего, кроме безбрежной снежной равнины, покрытой трупами,— то была битва под Москвой.

Никогда бы я не подумал, что старый, грубый барабан может издавать такие скорбные звуки, какие monsieur Le Grand извлекал из него сейчас. То была барабанная дробь слез, и как горестное эхо вырывались в ответ стоны из груди Le Grand. И сам он становился все бледнее, все призрачнее, тощие руки

[1] Перевод Ал. Дейча.

его дрожали от холода, он был как в бреду, палочками своими водил он по воздуху, словно прислушиваясь к далеким голосам, и наконец посмотрел на меня глубоким, бездонно глубоким, молящим взглядом,— я понял его,— а затем голова его склонилась на барабан.

Monsieur Le Grand в этой жизни больше уж не барабанил никогда. И барабан его не издал больше ни одного звука,— ему не подобало быть орудием отбивания рабьих зорь в руках врагов свободы; я ясно понял последний молящий взгляд Le Grand и тотчас же, вынув из своей трости стилет, проколол им барабан.

ГЛАВА XI

Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame! [1]

Но жизнь, в сущности, столь трагически серьезна, что ее трудно было бы вынести без такого смешения патетического и комического. Это известно нашим поэтам. Страшнейшие образы человеческого безумия Аристофан показал нам в светлом зеркале смеха; великую муку мыслителя, сознающего свое ничтожество, Гете решается высказать лишь наивными стихами кукольной комедии; и смертный стон над горестью жизни Шекспир вкладывает в уста шуту, а сам при этом робко потряхивает бубенцами его колпака.

Все они заимствовали это у великого праотца поэтов, который в своей тысячеактной мировой трагедии доводит комизм до предела, чему можно найти ежедневные примеры: после ухода героев на арену выступают клоуны и буффоны с колотушками и дубинками, на смену кровавым революционным сценам и деяниям императора снова плетутся толстые Бурбоны со своими старыми, выдохшимися шуточками и мило-легитимистскими каламбурами; им вслед с голодной усмешкой грациозно семенит старая аристократия, а за ней шествуют благочестивые капуцины со свечами, крестами и хоругвями; даже в наивысший пафос мировой трагедии то и дело вкрадываются комические штрихи: отчаявшийся республиканец, который, подобно Бруту, всадил себе в сердце нож, может быть, предварительно понюхал, не разрезали ли этим ножом селедки, да и помимо того, на великой сцене мира все обстоит так же, как на наших лоскутных подмостках,— там тоже бывают перепившиеся герои, короли, забывающие свою роль, плохо прилаженные кулисы, суфлеры с

[1] От великого до смешного один шаг *(франц.)*.

чересчур зычными голосами, танцовщицы, производящие эффект поэзией своих бедер, костюмы, все затмевающие блеском мишуры,— а вверху, на небесах, сидят в первом ряду милые ангелочки и лорнируют нас, земных комедиантов, а господь бог строго восседает в своей просторной ложе и, может быть, скучает или же размышляет о том, что театр этот не продержится долго, так как один актер получает слишком много содержания, а другой — слишком мало, и все играют прескверно. Du sublime au ridicule il n'y a qu'un pas, madame!

Когда я заканчивал предыдущую главу и рассказывал вам, как умер monsieur Le Grand и как добросовестно исполнил я testamentum militare [1], выраженное им в последнем взгляде,— в дверь мою вдруг постучались, на пороге появилась бедно одетая старушка и любезно спросила меня, не доктор ли я. И когда я ответил утвердительно, она еще любезнее пригласила меня пойти к ней на дом, срезать ее мужу мозоли.

ГЛАВА XII

Немецкие цензоры

. . .

болваны

ГЛАВА XIII

Madame! Уже в том яйце, что высиживала Леда, была заключена вся Троянская война, и вы никогда бы не поняли знаменитых слез Приама, если бы я не рассказал вам сперва о древних лебединых яйцах. А потому не браните меня за отступления. Во всех предшествующих главах нет строки, которая не

[1] Воинское завещание *(лат.)*.

относилась бы прямо к делу,— я пишу сжато, я избегаю всего излишнего, я нередко опускаю даже необходимое,— например, я ни разу ничего как следует не процитировал, а ведь цитировать старые и новые сочинения — величайшая услада для молодого автора, и ничто так не красит человека, как несколько этаких мудрых цитат.

Уверяю вас, madame, память моя в достаточном количестве хранит заглавия книг.

Кроме того, мне известны приемы великих умов, наловчившихся выковыривать изюминки из булок и цитаты из лекционных записей; могу сказать, что и я теперь по этой части большой дока.

В случае нужды я мог бы призанять цитат у своих ученых друзей. Мой берлинский друг Г.— это, так сказать, маленький Ротшильд по части цитат, и он охотно ссудит мне хоть несколько миллионов их, а если у него не хватит собственных запасов, ему не трудно будет собрать их у других, таких же космополитических банкиров мудрости. Но пока что у меня нет надобности прибегать к займам; я человек состоятельный и могу тратить ежегодно десять тысяч цитат, да к тому же я сделал открытие, как выдавать фальшивые цитаты за настоящие. Если бы какой-нибудь большой и богатый ученый, например Михаэль Беер, захотел купить у меня этот секрет, я бы охотно продал его за девятнадцать тысяч талеров наличными, согласен даже немного уступить.

Другое свое открытие я, для блага литературы, не стану замалчивать и поделюсь им бесплатно.

Дело в том, что я считаю целесообразным цитировать всех неизвестных авторов с указанием номера их дома.

Эти «хорошие люди и плохие музыканты», как говорится в «Понсе де Леон», эти неизвестные авторы всегда ведь хранят экземплярчик своей давно позабытой книжки, и, следовательно, чтобы добыть таковую, надо знать номер их дома. Вздумалось бы мне, например, процитировать «Песенник для подмастерьев, Шпитты», ну, где вы его найдете, милая madame? Но стоит мне написать так:

«См. «Песенник для подмастерьев», П. Шпитты; Люнебург, Люнерштрассе, № 2, направо за углом»,— и вы можете, если, по-вашему, это стоит труда, разыскать книжку. Только это совершенно не стоит труда.

Впрочем, вы, madame, даже не представляете себе, с какой легкостью я могу приводить цитаты. На каждом шагу нахожу я случай применить свою ученость.

Говоря, например, о еде, я тут же делаю ремарку, что римляне, греки и иудеи тоже ели, и перечисляю все те замечательные блюда, которые приготовлялись кухаркой Лукулла,— увы, отчего я опоздал родиться на полтора тысячелетия! Я отмечаю тут же, что обычные кушанья греков назывались так-то и что спартанцы ели гадкие, черные супы,— хорошо все-таки, что меня тогда еще не было на свете! Каково бы пришлось мне, несчастному, если бы я оказался спартанцем, не могу вообразить себе ничего ужаснее, так как суп — мое любимое блюдо. Madame, я собираюсь в ближайшее время съездить в Лондон, но, если правда, что там не дают супа, тоска быстро погонит меня назад, к отечественным горшкам с мясным бульоном.

О еде древних евреев я мог бы рассказать очень подробно и дойти до еврейской кухни новейшего времени,— я привел бы при этом всю Каменную улицу, я упомянул бы также, как гуманно отзывались многие берлинские ученые о пище евреев, далее я перешел бы к другим достоинствам и доблестям евреев, к изобретениям, которыми человечество обязано им, как-то: векселя и христианство. Но нет! Последнее не стоит вменять им в большую заслугу, потому что до сих пор мы, собственно, слабо воспользовались им,— мне кажется, сами евреи получили от него меньше пользы, чем от изобретения векселей.

По поводу евреев я мог бы также процитировать Тацита,— он говорит, что они поклонялись в своих храмах ослам. Кстати, какое широкое поле для цитат открывается мне по поводу ослов! Сколько достопримечательного можно припомнить о древних ослах, в противоположность современным. Как разумны были те, и — ах, как тупы эти!

Как рассудительно говорит, например, Валаамова ослица — см. Pentat Lib [1].

Madame, именно этой книги у меня сейчас нет под руками, и я оставил здесь пробел, но зато в доказательство скудоумия новейших ослов я приведу следующее:

См. . . .

. . . . . .

Нет, я и это место оставлю незаполненным, иначе меня самого приведут — только в суд, injuriarum [2].

Ослы современные — большие ослы.

Бедные древние ослы, достигшие такой высокой культуры!

---

[1] Пятикнижие *(лат.)*.

[2] За оскорбление *(лат.)*.

См. Gesneri: De antiqua honestate asinorum [1]. (In comment. Götting..., т. II, стр. 32.)

Они перевернулись бы в гробу, если бы услышали, как говорят об их потомках. Когда-то «осел» было почетным званием,— оно означало примерно то же, что теперь «гофрат», «барон», «доктор философии»; Иаков сравнивает с ослом сына своего Иссахара, Гомер — своего героя Аякса; а теперь с ним сравнивают господина фон ...! Madame, по поводу ослов такого рода я мог бы углубиться в самые недра истории литературы, я мог бы цитировать всех великих людей, которые были влюблены,— например, Абелярдуса, Пикуса Мирандулануса, Бербониуса, Куртезиуса, Ангелуса Полицианус, Раймондуса Луллиуса и Генрихуса Гейнеуса.

По поводу любви я мог бы, в свою очередь, цитировать всех великих людей, не употреблявших табака, например Цицерона, Юстиниана, Гете, Гуго, себя,— случайно все мы пятеро имеем отношение к юриспруденции. Мабильон не выносил дыма даже из чужой трубки, в своем «Itinere germanico» [2] он жалуется, говоря о немецких постоялых дворах, «quod molestus ipsi fuerit tabaci grave olentis foetor» [3].

Другим же великим людям, напротив, приписывается большое пристрастие к табаку. Рафаэль Торус сочинил гимн в честь табака,— madame, вы, быть может, не осведомлены еще о том, что Исаак Эльзевириус издал его in quarto [4] в Лейдене anno 1628, а Людовикус Киншот написал к нему вступление в стихах. Гревиус даже воспел табак в сонете. И великий Боксхорниус любил табак. Бейль в своем «Dict. hist. et critiq.» [5] сообщает, что, по рассказам, великий Боксхорниус носил во время курения широкополую шляпу с дыркой спереди, куда он засовывал трубку, когда она мешала ему в занятиях,— кстати, упомянув о великом Боксхорниусе, я мог бы тут же процитировать всех великих ученых, которые, из страха быть согнутыми в бараний рог, спасались бегством. Но я ограничусь ссылкой на Иог. Георга Мартинса: «De fuga literatorum etc. etc. etc.». [6]

Перелистывая историю, мы видим, madame, что все великие люди хоть раз в жизни должны были спасаться бегством: Лот,

---

[1] Гесснер о честности древних ослов *(лат.)*.
[2] «Путешествие по Германии» *(лат.)*.
[3] Что даже запах скверного табака был ему невыносим *(лат.)*.
[4] В четвертую долю листа *(лат.)*.
[5] «Исторический и критический словарь» *(франц.)*.
[6] О бегстве литераторов и пр., и пр., и пр. *(лат.)*.

Тарквиний, Моисей, Юпитер, госпожа де Сталь, Навуходоносор, Беньовский, Магомет, вся прусская армия, Григорий VII, рабби Ицик Абарбанель, Руссо,— я мог бы добавить еще множество имен из тех, например, что занесены биржей на черную доску.

Вы видите, madame, что я не страдаю недостатком основательности и глубины в познаниях, но с систематизацией дело пока что-то не ладится. В качестве истого немца я должен был бы начать эту книгу с объяснения ее заглавия, как то издавна ведется в Священной Римской империи. Фидий, правда, не предпослал никакого вступления к своему Юпитеру, точно так же, как на Венере Медицейской нигде,— я осмотрел ее со всех сторон — не заметно ни одной цитаты; но древние греки были греками, наш же брат, честный немец, не может полностью отрешиться от немецкой природы, и посему я должен, хоть с опозданием, высказаться по поводу заглавия моей книги.

Итак, madame, я говорю:

1. Об идеях.
   А. Об идеях вообще.
      а) Об идеях разумных.
      б) Об идеях неразумных.
         α) Об идеях обыкновенных.
         β) Об идеях, переплетенных в зеленую кожу.

Последние, в свою очередь, подразделяются... но это выяснится из дальнейшего.

ГЛАВА XIV

Madame, имеете ли вы вообще представление об идеях? Что такое идея? «В этом сюртуке есть удачные идеи»,— сказал мой портной, с деловитым одобрением рассматривая рединготт, оставшийся от времен моего берлинского щегольства и предназначенный стать скромным шлафроком. Прачка моя плачется, что пастор вбил в голову ее дочери идеи, и она стала от того придурковатой и не слушает никаких резонов. Кучер Паттенсен ворчит по всякому поводу: «Что за идея! Что за идея!» Но вчера он был порядком раздосадован, когда я спросил его, что такое, по его мнению, идея. С досадой он проворчал: «Ну, идея и есть идея! Идея — это всякая чушь, которая лезет в голову». Такой же смысл имеет это слово, когда гофрат Геерен из Геттингена употребляет его в качестве заглавия книги.

Кучер Паттенсен — это человек, который в темноте и тумане найдет дорогу на обширной Люнебургской равнине; гофрат Геерен — это человек, который тоже мудрым инстинктом

отыскивает древние караванные пути Востока и странствует по ним уже много лет невозмутимее и терпеливее, чем верблюды былых времен; на таких людей можно положиться! Примеру таких людей надо следовать без раздумья, и потому я озаглавил эту книгу «Идеи».

Название книги имеет посему столь же мало значения, как и звание автора; оно было выбрано последним отнюдь не из ученой спеси и ни в коем случае не должно быть истолковано как признак тщеславия с его стороны. Примите, madame, мое смиреннейшее уверение в том, что я не тщеславен. Это замечание совершенно необходимо, как вы увидите ниже.

Я не тщеславен,— и вырасти целый лес лавров на моей голове и пролейся море фимиама в мое юное сердце — я не стану тщеславным. Друзья мои и прочие соотечественники и современники добросовестно постарались об этом. Вы знаете, madame, что старые бабы обычно плюют в сторону своих питомцев, когда посторонние хвалят их красоту, дабы похвала не повредила милым малюткам. Вы знаете, madame, что в Риме, когда триумфатор, увенчанный славой и облаченный в пурпур, въезжал на золотой колеснице с белыми конями через Марсово поле в город, как бог возвышаясь над торжественной процессией ликторов, музыкантов, танцоров, жрецов, рабов, слонов, трофееносцев, консулов, сенаторов и воинов,— то чернь распевала ему вслед насмешливые песенки. А вы знаете, madame, что в милой нашей Германии много водится старого бабья и черни.

Как было уже говорено, madame, идеи, о которых здесь идет речь, так же далеки от Идей Платона, как Афины от Геттингена, и на книгу вы не должны уповать больше, чем на самого автора. Как мог последний вообще возбудить какие-либо упования — одинаково непонятно и мне, и моим друзьям. Графиня Юлия взялась устранить это недоразумение; по ее словам, если названный автор и высказывает иногда нечто действительно остроумное и новое, то это — чистое притворство с его стороны, а в сущности, он так же глуп, как и все прочие.

Это неверно, я совсем не притворяюсь; у меня что на уме — то и на языке; я пишу в невинной простоте своей все, что придет мне в голову, и не моя вина, если из писаний моих иногда получается толк.

Но, видно, в сочинительстве я более удачлив, чем в Альтонской лотерее,— я предпочел бы обратное,— и вот из-под пера моего выходит немало выигрышей для сердца и кватерн для ума, и все это по воле господа бога, ибо *Он*, отказывающий благочестивейшим певцам всевышнего и назидательнейшим поэтам в

светлых мыслях и в литературной славе, дабы они из-за чрезмерных похвал своих земных собратий не забыли о небесах, где ангелами уже приготовлены им жилища,— *Он* тем щедрее наделяет прекрасными мыслями и мирской славой нашего брата, грешного, нечестивого, еретического писателя, для коего небеса все равно что заколочены; так поступает он в божественном милосердии и снисхождении своем, дабы бедная душа, раз уж она создана, не осталась ни при чем и хоть тут, на земле, испытала долю того блаженства, в коем ей отказано там, на небесах.

См. Гете и сочинителей религиозных брошюрок.

Итак, вы видите, madame, что вам можно читать мои писания, кои свидетельствуют о милосердии и снисхождении божьем; я пишу, слепо веруя во всемогущество его, в этом отношении я должен считаться истинно христианским писателем, ведь,— скажу словами Губица,— начиная данный период, я не знаю еще, чем закончу его и какой смысл вложу в него, я всецело полагаюсь в этом на господа бога. Как бы мог я писать, не будь у меня такого благочестивого упования? В комнате моей стоит сейчас рассыльный из типографии Лангхофа, дожидаясь рукописи; едва рожденное слово, теплым и влажным, попадет в печать, и то, что я мыслю и чувствую в настоящий миг, завтра к полудню может уже стать макулатурой. Легко вам, madame, напоминать мне Горациево «nonum prematur in annum» [1]. Правило это, как и многие другие такого же рода, быть может, и применимо в теории, но на практике оно никуда не годится. Когда Гораций преподал писателям знаменитое правило на девять лет оставлять свои сочинения в столе, ему следовало одновременно открыть им рецепт, как прожить девять лет без пищи. Гораций выдумывал это правило, по всей вероятности, сидя за обедом у Мецената и кушая индейку с трюфелями, пудинг из фазана в перепелином соусе, котлетки из жаворонка с тельтовской морковкой, павлиньи языки, индийские птичьи гнезда и бог весть что еще! — и притом все бесплатно.

Но мы, на беду свою, опоздавшие родиться,— мы живем в другие времена, у наших меценатов совершенно другие принципы; они полагают, что писатели и кизил лучше созревают, когда полежат некоторое время на соломе; они полагают, что собаки плохо охотятся за образами и мыслями, когда их чересчур откормят; ах! если нынешним меценатам и случится покормить какого-нибудь бедного пса, то обязательно не того, что

[1] «Пусть рукопись пролежит у тебя девять лет» *(лат.)*.

следует, а того, кто меньше других заслуживает подачки, например, таксу, которая наловчилась лизать руки, или крохотную болонку, которая ластится к душистому подолу хозяйки, или терпеливого пуделя, который зарабатывает свой хлеб умением таскать поноску, танцевать и играть на барабане...

В то время как я пишу эти строки, позади меня стоит мой маленький мопс и лает. Молчи, Ами, не тебя я имел тут в виду,— ты-то любишь меня и следуешь за господином своим в нужде и опасности, ты умрешь на его могиле, верный до конца, как любой другой немецкий пес, который, будучи изгнан на чужбину, ложится у ворот Германии и голодает и скулит... Извините меня, madame, я отвлекся, чтобы дать удовлетворение моему бедному псу, теперь я снова возвращаюсь к Горациеву правилу и его непригодности для девятнадцатого века, когда поэты не могут обойтись без материальной поддержки своей дамы — музы. Ma foi [1], madame! Я не вытерпел бы и двадцать четыре часа, а не то что девять лет, желудок мой мало видит толка в бессмертии; по зрелом размышлении, я решил, что соглашусь быть бессмертным лишь наполовину, но зато сытым — вполне; и если Вольтер хотел отдать триста лет своей посмертной славы за хорошее пищеварение, то я предлагаю вдвое за самую пищу.

Ах, и какая же роскошная, благоуханная пища водится в сем мире! Философ Панглос прав: это — лучший из миров! Но в этом лучшем из миров надо иметь деньги, деньги в кармане, а не рукопись в столе. Хозяин «Короля Англии», господин Марр,— сам тоже писатель и знает Горациево правило, но вряд ли он стал бы кормить меня девять лет, если бы я вздумал следовать этому правилу.

В сущности, мне и незачем ему следовать. У меня столько хороших тем, что долгие проволочки мне ни к чему. Пока в сердце моем царит любовь, а в голове моего ближнего — глупость, у меня не будет недостатка в материале для писания. А сердце мое будет любить вечно, пока на свете есть женщины; остынет оно к одной и тотчас же воспылает к другой; как во Франции никогда не умирает король, так никогда не умирает королева в моем сердце; лозунг его: «La reine est morte, vive la reine!» [2]

Точно так же никогда не переведется и глупость моих ближних. Ибо существует лишь одна мудрость, и она имеет определенные границы, но глупостей существует тысячи, и все они бес-

---

[1] Клянусь *(франц.)*.

[2] Королева умерла, да здравствует королева! *(франц.)*

предельны. Ученый казуист и духовный пастырь Шупп говорит даже: «На свете больше дураков, чем людей».

См. Шуппиевы поучительные творения, стр. 1121.

Если вспомнить, что великий Шуппиус жил в Гамбурге, то эти статистические данные отнюдь не покажутся преувеличенными. Я обретаюсь в тех же местах и, должен сказать, испытываю приятное чувство от сознания, что все дураки, которых я здесь вижу, могут пригодиться для моих произведений,— они для меня чистый заработок, наличные деньги.

Мне везет в настоящее время. Господь благословил меня — дураки особенно пышно уродились в нынешнем году, а я, как хороший хозяин, потребляю их очень экономно, сберегая самых удачных впрок. Меня часто можно встретить на гулянье веселым и довольным.

Как богатый купец, с удовлетворением потирая руки, прохаживается между ящиками, бочками и тюками своего склада, так прохожу я среди моих питомцев. Все вы принадлежите мне! Все вы мне равно дороги, и я люблю вас, как вы сами любите деньги,— а это что-нибудь да значит.

Я от души рассмеялся, услышав недавно, что один из толпы моих питомцев высказал беспокойство относительно того, чем я под старость буду жить,— а между тем сам он такой капитальный дурак, что с него одного я мог бы жить, как с капитала.

Некоторые дураки для меня не просто наличные деньги,— нет, те наличные деньги, которые я заработаю на них, мною заранее предназначены для определенных целей.

Так, например, за некоего толстого, мягкого, выстеганного миллиардера я приобрету себе некий мягко выстеганный стул, который француженки зовут chaise percée [1]. За его толстую миллиардуру я куплю себе лошадь. Стоит мне увидеть этого толстяка,— верблюд скорее пройдет в царство небесное, чем он сквозь игольное ушко,— стоит мне увидеть на гулянье его неуклюжую походку вперевалку, как меня охватывает странное чувство. Не будучи с ним знакомым, я невольно кланяюсь ему, и он отвечает мне таким сердечным, располагающим поклоном, что мне хочется тут же, на месте, воспользоваться его добротой, и только нарядная публика, проходящая мимо, служит мне помехой.

Супруга его очень недурна собой, правда у нее только один глаз, но тем он зеленее; нос ее — как башня, обращенная к Дамаску; бюст ее широк, как море, и на нем развеваются всевоз-

[1] Кресло с отверстием *(франц.)*.

Прощание Наполеона с армией
в день отъезда в ссылку на остров **Эльбу.**
20 июля 1814 г.

Цветная гравюра по рисунку Ф. Рейнхольда
1814 г.

можные ленты, точно флаги кораблей, плывущих по волнам этого моря,— от одного такого зрелища подступает морская болезнь; спина ее очень мила и пышно округлена, как...— объект сравнения находится несколько ниже; а на то, чтобы соткать лазоревый занавес, прикрывающий сей объект, несомненно, положили свою жизнь многие тысячи шелковичных червей. Видите, madame, какого коня я заведу себе! Когда я встречаюсь на гулянье с этой особой, сердце мое прыгает в груди, мне так и хочется вскочить в седло, я помахиваю хлыстом, прищелкиваю пальцами, причмокиваю языком, проделываю ногами те же движения, что и при верховой езде — гоп! гоп! тпру! тпру! — и эта славная женщина глядит на меня так задушевно, так сочувственно, она ржет глазами, она раздувает ноздри, она кокетничает крупом, она делает курбеты и трусит дальше мелкой рысцой, а я стою, скрестив руки, смотрю одобрительно ей вслед и обдумываю, пускать ли ее под уздою или на трензеле и какое седло надеть на нее — английское или польское и т. д. Люди, видящие меня в такой позе, не понимают, что привлекает меня в этой женщине.

Злые языки хотели уже нарушить покой ее супруга и намекнули ему, что я смотрю на его половину глазами фата, но мой почтенный мягкокожаный chaise percée ответил будто бы, что считает меня невинным, даже чуть-чуть застенчивым юношей, который смотрит на него с некоторым беспокойством, словно чувствует настоятельную потребность сблизиться, но сдерживает себя по причине робкой стыдливости. Мой благородный конь заметил, напротив, что у меня свободные, непринужденные рыцарские манеры, а мои предупредительно вежливые поклоны выражают лишь желание получить от них приглашение к обеду.

Вы видите, madame, что мне может пригодиться любой человек, и адрес-календарь является, собственно, описью моего домашнего имущества. Потому-то я никогда не стану банкротом,— ведь и кредиторов своих я умудряюсь превратить в источник доходов.

Кроме того, я говорил уже, что живу очень экономно, чертовски экономно. Например, пишу я сейчас, сидя в темной, унылой комнате на Дюстерштрассе, но я легко мирюсь с этим. Ведь стоит захотеть мне, и я могу не хуже моих друзей и близких очутиться в цветущем саду,— для этого мне потребуется лишь реализовать моих питейных клиентов.

К последним принадлежат, madame, неудачливые куаферы, разорившиеся сводники, содержатели трактиров, которым самим теперь нечего есть,— все эти проходимцы хорошо знают дорогу

ко мне и, получив только не «на чай», а на водку, охотно посвящают меня в скандальную хронику своего квартала. Вас удивляет, madame, почему я раз навсегда не выброшу подобный сброд за дверь? — Бог с вами, madame! Ведь эти люди — мои цветы. Когда-нибудь я напишу о них замечательную книгу и на гонорар, полученный за нее, куплю себе сад, а их красные, желтые, синие, пятнистые лица уже и сейчас представляются мне венчиками цветов из этого сада.

Какое мне дело, что для посторонних носов эти цветы пахнут только водкой, табаком, сыром и пороком! Мой собственный нос — этот дымоход моей головы, где фантазия, исполняя роль трубочиста, скользит вверх и вниз,— утверждает обратное; он улавливает в тех людях лишь аромат роз, жасмина, фиалок гвоздик и лютиков. О, как приятно будет мне сидеть по утрам в моем саду, прислушиваться к пенью птиц, прогревать на солнышке свои кости, вдыхать свежий запах зелени и, глядя на цветы, вспоминать старых забулдыг!

Пока что я продолжаю сидеть в моей темной комнате на темной Дюстернштрассе и довольствуюсь тем, что собираюсь повесить на среднем крюке величайшего обскуранта нашей страны.— «Mais, est-ce que vous verrez plus clair alors?» [1]— Натурально, madame,— только не истолкуйте ложно мои слова: я повешу не его самого, а лишь хрустальную люстру, которую приобрету за гонорар, добытый из него пером.

Но, между прочим, я думаю, что еще лучше было бы и во всей стране сразу стало бы светлее, если бы вешали самих обскурантов in natura [2]. Но раз подобных людей нельзя вешать, надо клеймить их. Я опять-таки выражаюсь фигурально,— я клеймлю in effigie [3].

Правда, господин фон Бельц,— он бел и непорочен, как лилия,— прослышал, будто я рассказывал в Берлине, что он заклеймен по-настоящему. Желая быть обеленным, этот дурак заставил соответствующую инстанцию осмотреть его и письменно удостоверить, что на спине его не вытиснен герб,— эту отрицательную гербовую грамоту он считал дипломом, открывающим ему доступ в высшее общество и был поражен, когда его все-таки вышвырнули вон; а теперь он призывает проклятия на мою злополучную голову и намеревается при первой же возможности пристрелить меня из заряженного пистолета. А как вы ду-

---

[1] Но разве вы от этого будете лучше видеть? *(франц.)*

[2] В натуре *(лат.)*.

[3] В изображении *(лат.)* — то есть заочно.

маете, madame, чем я собираюсь защищаться? — Madame, за этого дурака, то есть за гонорар, который я выжму из него, я куплю себе добрую бочку рюдесгеймского рейнвейна.

Я упоминаю об этом, чтобы вы не приняли за злорадство мою веселость при встрече на улице с господином фон Бельцом. Уверяю вас, madame,— я вижу в нем только любезный мне рюдесгеймер. Едва лишь я взгляну на него, как меня охватывает блаженная истома, и я невольно принимаюсь напевать: «На Рейне, на Рейне, там зреют наши лозы», «Тот образ так чарующе красив», «О белая дама...». Мой рюдесгеймер глядит при этом весьма кисло — можно подумать, будто в состав его входят только яд и желчь, но уверяю вас, madame, это настоящее зелье; хоть на нем и не выжжено клейма, удостоверяющего его подлинность, знаток и без того сумеет оценить его. Я с восторгом примусь за этот бочонок; а если он начнет сильно бродить и станет угрожать опасным взрывом, придется на законном основании сковать его железными обручами.

Итак, вы видите, madame, что за меня вам нечего тревожиться. Я вполне спокойно смотрю в будущее. Господь благословил меня земными дарами; если он и не пожелал попросту наполнить мой погреб вином, все же он позволяет мне трудиться в его винограднике; а собрав виноград, выжав его под прессом и разлив в чаны, я могу вкушать светлый божий дар; и если дураки не летят мне в рот жареными, а попадаются обычно в сыром и неудобоваримом виде, то я умудряюсь до тех пор перчить, тушить, жарить, вращать их на вертеле, пока они не становятся мягкими и съедобными.

Вы получите удовольствие, madame, если я соберусь как-нибудь устроить большое пиршество. Madame, вы одобрите мою кухню. Вы признаете, что я умею принять своих сатрапов не менее помпезно, чем некогда великий Агасфер, который царствовал над ста двадцатью семью областями, от Индии до Эфиопии. Я отберу на убой целые гекатомбы дураков.

Тот великий филосел, который, как некогда Юпитер в образе быка, домогается расположения Европы, пригодится на говяжье жаркое; жалкий творец жалостных трагедий, показавший нам, на фоне жалкого бутафорского царства персидского, жалкого Александра, на котором не заметно ни малейшего влияния Аристотеля,— этот поэт поставит к моему столу превосходнейшую свиную голову с приличной случаю кисло-сладкой усмешкой, с ломтиком лимона в зубах, с гарниром из лавровых листьев, искусно приготовленным умелой кухаркой; певец коралловых уст, лебединых шей, трепещущих белых грудок, милашечек,

ляжечек, Мимилишечек, поцелуйчиков, асессорчиков, а именно Г. Клаурен, или, как зовут его благочестивые бернардинки с Фридрихштрассе: «Отец Клаурен! Наш Клаурен!» — вот кто доставит мне все те блюда, которые он с пылкостью воображения, достойной сластолюбивой горничной, умеет так заманчиво расписать в своих ежегодных карманных сборничках непристойностей; в придачу он поднесет нам еще особо лакомое кушанье из сельдерейных корешочков: «После чего сердечко застучит, вожделея!» Одна умная и тощая придворная дама, у которой годна к употреблению лишь голова, даст нам соответственное блюдо, а именно спаржу. Не будет у нас недостатка и в геттингенских сосисках, в гамбургской ветчине, в померанской гусиной грудинке, в бычьих языках, пареных телячьих мозгах, бараньих головах, вяленой треске и в разных видах студней, в берлинских пышках, венских тортах, в конфетках...

Madame, я уже мысленно успел испортить себе желудок. К черту подобные излишества! Мне это не под силу. У меня плохое пищеварение. Свиная голова действует на меня так же, как и на остальную немецкую публику,— потом приходится закусывать салатом из Виллибальда Алексиса, он имеет очищающее действие. О, эта гнусная свиная голова с еще более гнусной приправой! Не Грецией и не Персией отдает она, а чаем с зеленым мылом.

Кликните мне моего толстого миллиардурня!

ГЛАВА XV

Madame, я вижу легкое облако неудовольствия на вашем прекрасном челе, вы словно спрашиваете меня: справедливо ли так разделываться с дураками, сажать их на вертел, рубить, шпиговать и уничтожать в таком количестве, какое не может быть потреблено мной самим и потому становится добычей пересмешников и раздирается их острыми клювами, между тем как вдовы и сироты вопят и стенают...

Madame, c'est la guerre! [1] Я открою вам сейчас, в чем весь секрет: хоть сам я и не из числа умных, но я примкнул к этой партии, и вот уже 5588 лет, как мы ведем войну с дураками. Дураки считают, что мы их обездолили, они утверждают, будто на свете имеется определенная доза разума и эту дозу умные — бог весть какими путями — забрали всю без остатка,

[1] Это война! *(франц.)*

и потому столь часты вопиющие примеры, когда один человек присваивает себе так много разума, что сограждане его и даже вся страна должны пребывать в темноте.

Вот где тайная причина войны, и войны поистине беспощадной.

Умные ведут себя, как им и полагается, спокойнее, сдержаннее и умнее, они отсиживаются в укреплениях своих древних Аристотелевых твердынь, у них много оружия и много боевых припасов,— ведь они сами выдумали порох: лишь время от времени они, метко прицелясь, бросают бомбы в стан врагов.

Но, к сожалению, последние слишком многочисленны, они оглушают своим криком и ежедневно творят мерзость, ибо воистину всякая глупость мерзка для умного. Их военные хитрости часто очень коварны.

Некоторые вожди их великой армии остерегаются обнародовать тайную причину войны. Они слышали, что один известный своей фальшивостью человек, доведший фальшь до предела и написавший даже фальшивые мемуары, а именно Фуше, когда-то сказал: «Les paroles sont faites pour cacher nos pensées» [1], и вот они говорят много слов, дабы скрыть, что у них вовсе нет мыслей, и произносят длинные речи, и пишут толстые книги, и если послушать их, то они превозносят до небес единственно благодатный источник мыслей — разум, и если посмотреть на них, то они заняты математикой, логикой, статистикой, усовершенствованием машин, гражданскими идеалами, кормом для скота и т. п., и как обезьяна тем смешнее, чем вернее подражает человеку, так и дураки тем смешнее, чем больше притворяются умными.

Другие предводители великой армии откровеннее — они сознаются, что на их долю выпало не много разума, что, пожалуй, им и вовсе не досталось его, но при этом никогда не преминут добавить: в разуме небольшая сладость, и вообще цена ему невелика. Быть может, оно и верно, но, к несчастью, им недостает разума даже для того, чтобы доказать это. Тогда они начинают прибегать к различным уловкам, открывают в себе новые силы, заявляют, что силы эти, как-то: душа, вера, вдохновение — не менее, а в иных случаях даже более могущественны, чем разум, и утешаются подобным суррогатом разума, подобным паточным разумом.

Меня, несчастного, они ненавидят особенно сильно, утверждая, что я искони принадлежал к ним, что я отщепенец, пере-

[1] Слова даны, чтобы скрывать наши мысли *(франц.)*.

бежчик, разорвавший священные узы, что теперь я стал еще шпионом и, разведывая исподтишка их, дураков, замыслы, потом передаю эти замыслы на осмеяние своим новым товарищам; к тому же, мол, я настолько глуп, что даже не понимаю, что эти последние заодно высмеивают и меня самого и ни в какой мере не считают своим.— В этом дураки совершенно правы.

Действительно, умные не считают меня своим, и скрытое хихиканье их часто относится ко мне. Я отлично знаю это, только не подаю вида. Сердце мое втайне обливается кровью, и, оставшись один, я плачу горькими слезами. Я отлично знаю, как неестественно мое положение: что бы я ни сделал, в глазах умных — глупость, в глазах дураков — мерзость. Они ненавидят меня, и я чувствую теперь истину слов: «Тяжел камень, и песок тяжесть, но гнев дурака тяжелее обоих».

И ненависть их имеет основания. Это чистая правда, я разорвал священнейшие узы; по всем законам божеским и человеческим мне надлежало жить и умереть среди дураков. И как бы хорошо было мне с ними! Они и теперь еще, пожелай я возвратиться, приняли бы меня с распростертыми объятиями. Они по глазам моим старались бы прочесть, чем угодить мне. Они каждый день звали бы меня на обед, а по вечерам приглашали бы с собой в гости и в клубы, и я мог бы играть с ними в вист, курить, толковать о политике; если бы я при этом стал зевать, за моей спиной говорили бы: «Какая прекрасная душа! Сколько в нем истинной веры!» — Позвольте мне, madame, пролить слезу умиления,— ах! и пунш я бы пил с ними, пока на меня не снисходило бы настоящее вдохновение, и тогда они относили бы меня домой в портшезе, беспокоясь, как бы я не простудился, и один спешил бы подать мне домашние туфли, другой — шелковый шлафрок, третий — белый ночной колпак; а потом они сделали бы меня экстраординарным профессором или председателем человеколюбивого общества, или главным калькулятором, или руководителем римских раскопок: ведь я именно такой человек, которого можно приспособить к любому делу, ибо я очень хорошо умею отличать латинские склонения от спряжений и не так легко, как некоторые другие, приму сапог прусского почтальона за этрусскую вазу.

Моя душа, моя вера, мое вдохновение могли бы принести в часы молитвы великую пользу мне самому; наконец, мой замечательный поэтический талант оказал бы мне большие услуги в дни рождений и бракосочетаний высоких особ; недурно также было бы, если бы я в большом национальном эпосе воспел тех

героев, о которых нам достоверно известно, что из их истлевших трупов выползли черви, выдающие себя за их потомков.

Некоторые люди, не родившиеся дураками и обладавшие некоторым разумом, ради таких выгод перешли в лагерь дураков и живут там припеваючи, а те глупости, которые вначале давались им еще не без внутреннего сопротивления, теперь стали их второй натурой, и они по совести могут считаться уже не лицемерами, а истинно верующими.

Один из их числа, в чьей голове не наступило еще полного затмения, очень любит меня, и недавно, когда мы остались с ним наедине, он запер дверь и произнес серьезным тоном: «О глупец, ты, что мнишь себя мудрым, но не имеешь и той крупицы разума, какой обладает младенец во чреве матери! Разве не знаешь ты, что сильные мира возвышают лишь тех, кто унижается перед ними и почитает их кровь благороднее своей? А к тому же еще ты не ладишь со столпами благочестия в нашей стране. Разве так трудно молитвенно закатывать глаза, засовывать набожно сложенные руки в рукава сюртука, склонять голову на грудь, как подобает смиренной овечке, и шептать заученные наизусть изречения из Библии! Верь мне, ни одна сиятельная особа не заплатит тебе за твое безбожие, любвеобильные праведники будут ненавидеть, поносить и преследовать тебя, и ты не сделаешь карьеры ни на небесах, ни на земле!»

Ах! Все это верно! Но что делать, если я питаю несчастную страсть к богине разума! Я люблю ее, хоть и не встречаю взаимности. Я жертвую ей всем, а она ни в чем не поощряет меня. Я не могу отказаться от нее. И, как некогда иудейский царь Соломон, чтобы не догадались его иудеи, в «Песни Песней» воспел христианскую церковь под видом чернокудрой, пылающей страстью девушки, так я в бесчисленных песнях воспел ее полную противоположность, а именно разум, под видом белой холодной девы, которая и манит и отталкивает меня, то улыбается, то хмурится, а то просто поворачивается ко мне спиной.

Эта тайна моей несчастной любви, которую я скрываю от всех, может служить вам, madame, мерилом для оценки моей глупости,— отсюда вы видите, что моя глупость носит совершенно исключительный характер, величественно возвышаясь над обычным человеческим недомыслием. Прочтите моего «Ратклифа», моего «Альманзора», мое «Лирическое интермеццо». Разум! Разум! Один лишь разум! — и вы испугаетесь высот моей глупости. Я могу сказать словами Агура, сына Иакеева:

«Подлинно, я невежда между людьми, и человеческого разума нет во мне».

Высоко над землей вздымаются вершины дубов, высоко над дубами парит орел, высоко над орлом плывут облака, высоко над облаками горят звезды,— madame, не слишком ли это высоко для вас? Eh bien [1],— высоко над звездами витают ангелы, высоко над ангелами царит... нет, madame, выше моя глупость не может подняться, она и так достигла достаточных высот. Ее одурманивает собственная возвышенность. Она делает из меня великана в семимильных сапогах.

В обеденное время у меня такое чувство, как будто я мог бы съесть всех слонов Индостана и поковырять потом в зубах колокольней Страсбургского собора; к вечеру я становлюсь до того сентиментален, что мечтаю выпить весь небесный Млечный Путь, не задумываясь над тем, что маленькие неподвижные звезды не переварятся и застрянут в желудке; а ночью мне окончательно нет удержу, в голове моей происходит конгресс всех народов современности и древности, там собираются египтяне, мидяне, вавилоняне, карфагеняне, римляне, персы, иудеи, ассирийцы, берлинцы, спартанцы, франкфуртцы, филистеры, турки, арабы, арапы... Madame, слишком утомительно было бы описывать здесь все эти народы; почитайте сами Геродота, Ливия, немецкие газеты, Курция, Корнелия Непота, «Собеседник».

А я пока позавтракаю. Нынче утром что-то неважно пишется: сдается мне, что господь бог меня покинул. Madame, я боюсь даже, что вы заметили это раньше меня. Более того, сдается мне, что истинная благодать божья сегодня еще не посещала меня.

Madame, я начну новую главу и расскажу вам, как я после смерти Le Grand приехал в Годесберг.

ГЛАВА XVI

Приехав в Годесберг, я вновь сел у ног моей прекрасной подруги: подле меня лег ее каштановый пес, и оба мы стали смотреть вверх, в ее глаза.

Боже правый! В глазах этих заключено было все великолепие земли и целый свод небесный сверх того. Глядя в те глаза, я готов был умереть от блаженства, и умри я в такой миг, душа моя прямо перелетела бы в те глаза.

---

[1] Так вот *(франц.)*.

О, я не в силах описать их! Я отыщу в доме для умалишенных поэта, помешавшегося от любви, и заставлю его добыть из глубины безумия образ, с которым я мог бы сравнить те глаза,— между нами говоря, я сам, пожалуй, достаточно безумен, чтобы обойтись без помощника в этом деле. «God d-n! [1] — сказал как-то один англичанин.— Когда она окидывает вас сверху донизу таким спокойным взглядом, то у вас тают медные пуговицы на фраке и сердце к ним в придачу».— «F — e! [2] — сказал один француз.— У нее глаза крупнейшего калибра. Попадет такой тридцатифунтовый взгляд в человека,— трах! — и он влюблен». Тут же присутствовал рыжий адвокат из Майнца, и он сказал: «Ее глаза похожи на две чашки черного кофе»,— он хотел сказать нечто очень сладкое, так как сам всегда клал в кофе неимоверно много сахару. Плохие сравнения!

Мы с каштановым псом лежали тихо у ног прекрасной женщины, смотрели и слушали. Она сидела подле старого седовласого воина с рыцарской осанкой и с поперечными шрамами на изборожденном морщинами челе. Они говорили между собой о семи горах, освещенных вечерней зарей, и о голубом Рейне, спокойно и широко катившем невдалеке свои воды. Что было нам до Семигорья, и до вечерней зари, и до голубого Рейна с плывшими по нему белопарусными челнами, и до музыки, доносившейся с одного из них, и до глупого студента, который пел там так томно и нежно! Мы — я и каштановый пес — глядели в глаза подруги, всматривались в ее лицо, которое, подобно месяцу из темных туч, сияло алеющей бледностью из-под черных кос и кудрей. У нее были строгие греческие черты со смелым изгибом губ, овеянных печалью, покоем и детским своеволием; когда она говорила, слова неслись откуда-то из глубины, почти как вздохи, но вылетали нетерпеливо и быстро. И когда она заговорила и речь ее полилась с прекрасных уст, как светлый и теплый цветочный дождь,— о! тогда отблеск вечерней зари лег на мою душу, с серебряным звоном заструились в ней воспоминания детства, но явственней всего, как колокольчик, зазвучал в душе моей голос маленькой Вероники... И я схватил прекрасную руку подруги, и прижал ее к своим глазам, и не отпускал ее, пока в душе моей не замер звон,— тогда я вскочил и рассмеялся, а пес залаял, и морщины на лбу старого генерала обозначились суровее, и я сел снова и снова схватил прекрасную руку, поцеловал ее и стал рассказывать о маленькой Веронике.

---

[1] Черт побери *(англ.)*.

[2] Французское ругательство.

ГЛАВА XVII

Madame, вы желаете, чтобы я описал наружность маленькой Вероники? Но я не хочу описывать ее. Вас, madame, нельзя заставить читать дольше, чем вам хочется, а я, в свою очередь, имею право писать только то, что хочу. Мне же хочется описать сейчас ту прекрасную руку, которую я поцеловал в предыдущей главе.

Прежде всего я должен сознаться, что не был достоин целовать эту руку. То была прекрасная рука, тонкая, прозрачная, гладкая, мягкая, ароматная, нежная, ласковая... нет, право, мне придется послать в аптеку прикупить на двенадцать грошей эпитетов.

На среднем пальце было надето кольцо с жемчужиной,— мне никогда не приходилось видеть жемчуг в более жалкой роли,— на безымянном красовалось кольцо с синей геммой,— я часами изучал по ней археологию,— на указательном сверкал бриллиант — то был талисман; пока я глядел на него, я чувствовал себя счастливым, ибо где был он, был и палец со своими четырьмя товарищами — а всеми пятью пальцами она часто била меня по губам. После этих манипуляций я твердо уверовал в магнетизм.

Но била она не больно и только когда я заслуживал того какими-нибудь нечестивыми речами; а побив меня, она тотчас жалела об этом, брала пирожное, разламывала его надвое, давала одну половину мне, а другую — каштановому псу и, улыбаясь, говорила: «Вы оба живете без религии и потому не можете спастись. Надо вас на этом свете кормить пирожными, раз на небесах для вас не будет накрыт стол». Отчасти она была права,— в те времена я отличался ярым атеизмом, читал Томаса Пейна, «Système de la nature» [1], «Вестфальский вестник» и Шлейермахера, растил себе бороду и разум и собирался примкнуть к рационалистам.

Но когда прекрасная рука скользила по моему лбу, разум мой смолкал, сладкая мечтательность овладевала мной, мне чудились вновь благочестивые гимны в честь девы Марии, и я вспоминал маленькую Веронику.

Madame, вам трудно представить себе, как прелестна была маленькая Вероника, когда лежала в своем маленьком гробике! Зажженные свечи, стоящие вокруг, бросали блики на бледное улыбающееся личико, на красные шелковые розочки и на

[1] «Система природы».

шелестящие золотые блестки, которыми были украшены головка и платьице покойницы. Благочестивая Урсула привела меня вечером в эту тихую комнату, и когда я увидел маленький трупик на столе, окруженный лампадами и цветами, я принял его сперва за красивую восковую фигурку какой-нибудь святой; но затем я узнал милые черты и спросил, смеясь, почему маленькая Вероника лежит так тихо. И Урсула сказала: «Так бывает в смерти».

И когда она сказала: «Так бывает в смерти...» — но нет, я не хочу рассказывать сегодня эту историю, она слишком растянулась бы; мне пришлось бы сперва поговорить о хромой сороке, которая ковыляла по Дворцовой площади и которой было триста лет от роду, а от таких вещей не мудрено впасть в меланхолию.

Мне захотелось вдруг занять вас иной историей, она гораздо занятней и будет здесь вполне уместна,— ведь о ней-то, собственно, и должна была повествовать эта книга.

ГЛАВА XVIII

Душой рыцаря владели ночь и скорбь. Кинжалы клеветы больно ранили его, и когда он брел по площади Святого Марка, сердце его, казалось ему, готово было разбиться и истечь кровью. Ноги его подгибались от усталости,— как благородную дичь, травили его целый день, а день был летний и жаркий,— пот стекал с его лба, и когда он опустился в гондолу, глубокий вздох вырвался у него. Не думая ни о чем, сидел он в черной кабине гондолы, и, плавно качая, несли его бездумные волны давно знакомым путем прямо в Бренту, а когда он остановился у давно знакомого дворца, ему сказали, что синьора Лаура в саду.

Она стояла, прислонясь к статуе Лаокоона, подле куста красных роз в конце террасы, недалеко от плакучих ив, которые печально склоняются над струящейся мимо рекой. Улыбаясь, стояла она — хрупкий образ любви, овеянный ароматом роз. Он же пробудился от мрачного сна и весь вдруг растворился в нежности и страсти. «Синьора Лаура,— произнес он,— я несчастен и подавлен злобой, нуждой и обманом...» Он запнулся на миг и пролепетал: «Но я люблю вас!» Радостная слеза блеснула в его глазах. С увлажненными глазами и пылающими губами вскричал он: «Будь моей, дитя, люби меня!»

Темный покров тайны лежит на этом часе, ни один смертный не знает, что ответила синьора Лаура, и если спросить ее

ангела-хранителя на небесах, он закроет лицо, вздохнет и промолчит.

Долго еще стоял рыцарь один подле статуи Лаокоона, черты его тоже были искажены страданьем и мертвенно-бледны, бессознательно обрывал он лепестки роз на кусте, ломал и мял молодые бутоны,— куст этот не цвел с тех пор никогда,— вдали рыдал безумный соловей, плакучие ивы шептались тревожно, глухо рокотали прохладные волны Бренты, ночь засияла месяцем и звездами,— прекрасная звезда, прекраснейшая из всех, упала с небес.

ГЛАВА XIX

Vous pleurez [1], madame?

О, пусть глаза, льющие сейчас столь прекрасные слезы, долго еще озаряют мир своими лучами, и пусть теплая родная рука прикроет их в далекий час кончины! Мягкая подушка может служить отрадой в смертный час,— пусть будет она вам дана. И когда прекрасная усталая голова поникнет на нее и черные локоны рассыплются по бледнеющему лицу,— о, пусть тогда господь воздаст вам за слезы, пролитые надо мной! — ведь рыцарь тот, которого вы оплакивали, я сам. Я сам — тот странствующий рыцарь любви, рыцарь упавшей звезды.

Vous pleurez, madame?

О, мне знакомы эти слезы! К чему притворяться дольше? Ведь вы, madame, и есть та прекрасная женщина, которая еще в Годесберге проливала ласковые слезы, когда я рассказывал печальную сказку моей жизни,— как перлы по розам, катились прекрасные капли по прекрасным щекам,— пес молчал, замер вечерний звон в Кенигсвинтере, Рейн рокотал все тише, ночь набросила на землю свой черный плащ, а я сидел у ваших ног, madame, и смотрел вверх, на усеянное звездами небо. Сначала я принял и ваши глаза за две звезды,— но как можно спутать такие прекрасные глаза со звездами? Эти холодные небесные светила не умеют плакать над несчастьем человека, который так несчастлив, что сам не может больше плакать.

У меня были еще особые причины без ошибки узнать эти глаза,— в этих глазах жила душа маленькой Вероники.

Я высчитал, madame, что вы родились в тот самый день, как умерла маленькая Вероника. Иоганна из Андернаха предсказала мне, что в Годесберге я вновь найду маленькую Веронику,— и я тотчас узнал вас. Вы неудачно надумали,

[1] Вы плачете? *(франц.)*

madame, умереть именно тогда, когда только начались самые веселые игры.

С того дня, как благочестивая Урсула сказала мне: «Так бывает в смерти»,— я стал одиноко и задумчиво бродить по обширной картинной галерее, но картины уже не нравились мне, как прежде, они словно вдруг поблекли, одна лишь сохранила яркость красок. Вы знаете, madame, о какой из них я говорю.

Она изображала султана и султаншу Дели.

Помните, madame, как мы часами простаивали перед ней, а благочестивая Урсула загадочно усмехалась, когда посетители замечали большое сходство между нашими лицами и лицами на картине? Madame, я нахожу, что вы очень удачно изображены на той картине; даже трудно понять, как художнику удалось передать все так верно, вплоть до наряда, который вы тогда носили. Говорят, он был помешан и видел ваш образ во сне. А не может ли быть, что душа его скрывалась в том большом священном павиане, который тогда состоял при вас жокеем? — В этом случае он не мог не помнить о серебристом покрывале, которое он сам однажды испортил, залив его красным вином. Я рад был, что вы перестали носить его, оно не особенно шло к вам; да и вообще европейское платье более к лицу женщинам, нежели индийское. Правда, красивые женщины красивы в любом наряде.

Вы помните, madame, как один галантный брамин,— он был похож на Ганесу, бога со слоновым хоботом, едущего верхом на мыши,— сказал вам как-то комплимент, что божественная Манека, нисходя из золотого дворца Индры к царственному подвижнику Висвамитре, без сомнения, не была красивее вас, madame!

Вы не помните такого случая? С тех пор как вы услышали это, прошло не больше трех тысяч лет, а красивые женщины обычно не так скоро забывают слова тонкой лести.

Но к мужчинам индийское платье идет гораздо больше, чем европейское. О мои пунцовые, расшитые цветами лотоса делийские панталоны! Будь вы на мне в тот день, когда я стоял перед синьорой Лаурой и молил о любви,— предыдущая глава окончилась бы иначе. Но, увы! На мне были тогда соломенно-желтые панталоны, сотканные убогим китайцем в Нанкине,— моя погибель была выткана в них,— и я стал несчастным.

Часто в маленькой немецкой кофейне сидит молодой человек и спокойно попивает кофе, а между тем в огромном далеком Китае растет и зреет его погибель: там ее прядут и ткут, а потом, несмотря на высокую Китайскую стену, она находит

путь к молодому человеку, который принимает ее за пару нанковых панталон, беспечно надевает их — и становится несчастным. Madame, в маленькой груди человека может укрыться очень много страдания, и укрыться так хорошо, что бедняга сам по целым дням не чувствует его, живет не тужа, и пляшет, и насвистывает, и весело поет — тралаллала, тралаллала, тралалла-ла-ла-ла-ла!..

ГЛАВА XX

> Она была привлекательна, и он любил ее, он же не был привлекателен, и она не любила его.
>
> *Старая пьеса*

И вот из-за такой глупой истории вы хотели застрелиться?

Madame, когда человек хочет застрелиться, будьте уверены, он всегда найдет достаточно для того оснований, но сознает ли он сам эти основания — вот в чем вопрос. До последнего мгновения разыгрываем мы сами с собой комедию. Мы маскируем даже свое страдание и, умирая от сердечной раны, жалуемся на зубную боль.

Madame, вы, должно быть, знаете средство от зубной боли?

У меня же была зубная боль в сердце. Это тяжелый недуг, от него превосходно помогает свинцовая пломба и тот зубной порошок, что изобрел Бертольд Шварц.

Страданье, как червь, все точило и точило мое сердце, бедный китаец тут ни при чем, это страдание я принес с собой в мир. Оно лежало со мной уже в колыбели, и моя мать, баюкая меня, баюкала и его, и когда песни ее навевали на меня сон, оно засыпало вместе со мной и пробуждалось, лишь только я открывал глаза.

По мере того как я становился больше, росло и страдание, и стало, наконец, безмерно большим и разорвало мое...

Поговорим лучше о другом — о венчальном уборе, о маскарадах, о свадебных пирах и веселье — тралаллала, тралаллала, траллала-ла-ла-ла-ла!..

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ

(1828)

Благородную душу вы никогда не принимаете в расчет; и тут разбивается вся ваша мудрость. *(Открывает ящик стола, вынимает два пистолета, один из них кладет на стол, другой заряжает.)*

Л. Роберт, «Сила обстоятельств»

ГЛАВА I

Я самый вежливый человек на свете. Я немало горжусь тем, что никогда не бывал груб на этой земле, где столько несносных шалопаев, которые подсаживаются к вам и повествуют о своих страданиях или даже декламируют свои стихи; с истинно христианским терпением я всегда спокойно выслушивал эти бедствия, ни единой гримасой не обнаруживая, как это терзает мою душу. Подобно кающемуся брамину, отдающему свое тело в жертву насекомым, дабы и эти создания божии могли насытиться, я часто по целым дням имел дело с последним отребьем рода человеческого и спокойно его выслушивал, и тайные вздохи мои слышал только Он, награждающий добродетель.

Но и житейская мудрость повелевает нам быть вежливыми и не молчать угрюмо или еще более угрюмо отвечать, когда какой-либо рыхлый коммерции советник или тощий бакалейщик подсаживается к нам и начинает общеевропейский разго-

вор словами: «Сегодня прекрасная погода». Нельзя знать, при каких обстоятельствах придется нам вновь встретиться с этим филистером, и он может больно отомстить за то, что мы не ответили вежливо: «Да, погода очень хорошая». Может даже случиться, любезный читатель, что ты окажешься в Касселе за табльдотом с упомянутым филистером, притом по левую его руку, и именно перед ним будет стоять блюдо с жареными карпами, и он будет весело раздавать их; и вот, если у него есть старинный зуб против тебя, он станет передавать тарелки неизменно направо, по кругу, так что на твою долю не останется и крохотного кусочка от хвоста. Ибо — увы! — ты окажешься как раз тринадцатым за столом, а это всегда опасно, когда сидишь налево от раздающего, а тарелки передаются вправо. Не получить же вовсе карпов — большое горе, пожалуй, самое большое после потери национальной кокарды. Филистер, причинивший тебе это горе, еще вдобавок и посмеется над тобою и предложит тебе лавровых листьев, оставшихся в коричневом соусе. Ах! к чему человеку все лавры, если нет при них карпов? А филистер моргает глазками, хихикает и лепечет: «Сегодня прекрасная погода».

Ах, душа моя, может случиться и так, что ты будешь лежать на каком-нибудь кладбище с этим самым филистером, услышишь в день Страшного суда звуки трубы и скажешь соседу: «Любезный друг, будьте добры, подайте мне руку, чтобы я мог встать, я отлежал себе левую ногу, провалявшись чертовски долго!» Тут-то ты и услышишь вдруг хорошо знакомый филистерский смешок и язвительный голос: «Сегодня прекрасная погода».

ГЛАВА II

«Сегодня пре-е-е-красная погода».

Если бы ты, дорогой читатель, услышал тот тон, тот неподражаемый басок, которым были произнесены эти слова, и увидел бы притом говорившего — архипрозаическое лицо кассира вдовьей кассы, острые, проницательные глазки, залихватски вздернутый, вынюхивающий нос, ты сразу признал бы, что этот цветок расцвел не на обыкновенном песке и что звуки эти сродни языку Шарлоттенбурга, где по-берлински говорят лучше, чем в самом Берлине.

Я — самый вежливый человек на свете, охотно ем жареных карпов, веруя порой в воскресение из мертвых, и я ответил: «Действительно, погода очень хорошая».

Зацепившись таким образом, сын Шпрее стал наступать на меня еще энергичнее, и я никак не мог отделаться от его вопросов, на которые он сам же и отвечал, в особенности от параллелей, которые он проводил между Берлином и Мюнхеном, этими новыми Афинами, от которых он не оставил камня на камне.

Я взял, однако, новые Афины под свою защиту, так как имею обыкновение всегда хвалить то место, где нахожусь в данное время. То, что я проделал это за счет Берлина, ты охотно простишь мне, дорогой читатель, если я, между нами, сознаюсь, что делаю я это большей частью из чистой политики; я знаю — стоит мне только начать хвалить своих берлинцев, как приходит конец моей доброй славе среди них; они пожимают плечами и начинают шептаться: «Совсем измельчал человек, даже нас хвалит». Нет города, где бы местного патриотизма было меньше, чем в Берлине. Тысячи жалких сочинителей уже воспели Берлин в прозе и стихах, и ни один петух не прокричал о том в Берлине, и ни одна курица не попала поэтому им в суп; и ныне, как и прежде, они слывут на Унтер-ден-Линден жалкими поэтами. С другой стороны, столь же мало обращали там внимания на какого-либо лжепоэта, когда он обрушивался на Берлин в своих парабазах. Но пусть бы кто осмелился написать что-либо неприятное по адресу Польквитца, Инсбрука, Шильды, Познани, Кревинкеля и других столиц! Как заговорил бы там местный патриотизм! А дело вот в чем: Берлин вовсе не город, Берлин — лишь место, где собирается множество людей,— и среди них немало умных, которым безразлично, где они находятся; они-то и образуют духовный Берлин. Проезжий чужестранец видит только втиснутые в одну линию однообразные дома, длинные, широкие улицы, проложенные по шнурку и почти всегда по усмотрению отдельного лица и не дающие никакого представления об образе мыслей массы. Только счастливец может разгадать кое-что из области частных убеждений обывателей, созерцая длинные ряды домов, старающихся, подобно самим людям, держаться подальше друг от друга и окаменевших во взаимной неприязни. Лишь однажды, в лунную ночь, когда я, несколько запоздав, возвращался от Лютера и Вегенера, заметил я, как это черствое состояние перешло в кроткую грусть, как дома, столь враждебно стоявшие друг против друга, растроганно, христиански упадочно обменивались взглядами и устремлялись примиренно друг другу в объятия, так что я, несчастный, идя по середине улицы, боялся быть раздавленным. Многие найдут эту боязнь смешною, да я и сам

смеялся над собою, когда на следующее утро проходил по тем же улицам, окидывая их трезвым взглядом, а дома опять так прозаически зевали, глядя друг на друга. Поистине, требуется несколько бутылок поэзии, чтобы увидеть в Берлине что-либо, кроме мертвых домов и берлинцев. Здесь трудно увидеть духов. В городе так мало древностей, он такой новый, и все же новизна эта уже состарилась, поблекла, отжила. Потому что она возникла большей частью по образу мыслей не массы, а отдельных лиц. Великий Фриц, несомненно, выделяется среди этих немногих; все, что он застал, было только прочным фундаментом; лишь от него воспринял город свой особый характер, и если бы после его смерти не было возведено никаких построек, все же остался бы исторический памятник духа этого удивительно прозаического героя, с истинно немецкой храбростью воспитавшего в себе утонченное безвкусие и пышное вольнодумие, всю мелочность и всю деловитость эпохи. Таким памятником представляется нам, например, Потсдам; по его пустынным улицам бродим мы, как среди посмертных творений философа из Сан-Суси, он принадлежит к его oeuvres posthumes; [1] хоть он и оказался лишь каменною макулатурою, хотя в нем много смешного, мы все же смотрим на него с серьезным интересом и время от времени подавляем растущее желание посмеяться, словно опасаясь получить по спине удар камышовой трости старого Фрица. Но мы никогда не боимся этого в Берлине; мы чувствуем, что старый Фриц и его камышовая трость уже не имеют здесь никакой силы; в противном случае из старых просвещенных окон здорового города Разума не высовывалось бы так много больных, невежественных лиц, и среди старых, скептически-философских домов не торчало бы столько глупых суеверных зданий. Я не желаю быть понятым ложно и определенно заявляю, что ни в коем случае не намекаю на новую Вердерскую церковь, этот готический собор в обновленном стиле, лишь ради иронии воздвигнутый среди современных зданий, чтобы пояснить аллегорически, какой пошлостью и нелепостью было бы восстановление старых, давно отживших учреждений средневековья среди новообразований нового времени.

Все вышесказанное относится только к внешнему виду Берлина, и если сравнить с ним в этом отношении Мюнхен, то с полным правом можно утверждать, что последний являет полную противоположность Берлину. Именно Мюнхен — город,

[1] Посмертным творениям *(франц.)*.

созданный самим народом, и притом целым рядом поколений, дух которых до сих пор еще отражается в постройках, так что в Мюнхене, как в сцене с ведьмами из «Макбета», можно наблюдать вереницу духов в хронологическом порядке, начиная от дикого, темного духа средневековья, выступающего в броне из готического портала храма, и кончая просвещенным духом нашего времени, протягивающим нам зеркало, в коем каждый из нас с удовольствием узнает себя. В такой последовательности есть элемент примирения; варварство не возмущает пас более, безвкусица не оскорбляет, раз они представляются нам началом и неизбежными ступенями в одном ряду. Мы настраиваемся серьезно, но не сердимся при виде варварского собора, все еще возвышающегося над городом наподобие машинки для стаскивания сапог и дающего в своем лоне приют теням и призракам средневековья. Столь же мало вызывают наше негодование и даже забавно трогают похожие на кошельки для кос замки позднейшего периода, неуклюжее, в немецком духе, обезьянничание с противоестественно ладных французских образцов — все это великолепие архитектурной безвкусицы, с нелепыми завитками снаружи, с еще большим щегольством внутри, с кричаще пестрыми аллегориями, золочеными арабесками, лепными украшениями и картинами, на которых изображены почившие высокие особы: кавалеры с красными, пьяно-трезвыми лицами, вокруг которых длинные локоны париков свисают, как напудренные львиные гривы, дамы с тугими прическами, в стальных корсетах, стягивающих их сердца, и в необъятных фижмах, придающих им еще более прозаическую округлость. Как сказано, зрелище это не раздражает нас, оно усиливает живое восприятие современности и ее светлых сторон, и когда мы начинаем рассматривать творения нового времени, высящиеся рядом со старыми, то кажется, с головы нашей сняли тяжелый парик и сердце освободилось от стальных оков. Я имею здесь в виду радостные, художественные храмы и благородные дворцы, в дерзком изобилии возникающие из духа великого мастера — Кленце.

ГЛАВА III

Однако называть весь этот город новыми Афинами, между нами говоря, немного смешно, и мне стоит большого труда отстаивать его право на это звание. Я особенно почувствовал это в беседе с одним берлинским филистером, который, хотя и

разговаривал уже некоторое время со мною, был все же настолько невежлив, что отрицал в новых Афинах наличие какой бы то ни было аттической соли.

— Подобные вещи,— кричал он громко,— встречаются только в Берлине! Только там есть и остроумие и ирония. Здесь найдется хорошее светлое пиво, но, право, нет иронии.

— Иронии у нас нет,— воскликнула Наннерль, стройная кельнерша, пробегавшая в этот момент мимо нас.— Но зато любой другой сорт пива можете получить.

Меня очень огорчило, что Наннерль сочла иронию особым сортом пива, быть может — лучшим штеттинским, и для того, чтобы она в дальнейшем, по крайней мере, не делала подобных промахов, я стал поучать ее следующим образом: «Прелестная Наннерль, ирония — не пиво, а изобретение берлинцев, умнейших людей на свете, которые очень огорчились, что родились слишком поздно, чтобы выдумать порох, и поэтому постарались сделать другое открытие, столь же важное и притом полезное именно для тех, кто не выдумал пороха. В прежние времена, милое дитя, когда кто-либо совершал глупость, что можно было поделать? Совершившееся не могло стать несовершившимся, и люди говорили: «Этот парень — болван». Это было неприятно. В Берлине, где люди всех умнее и где делается больше всего глупостей, эта неприятность чувствовалась особенно остро. Министерство пыталось принять серьезные меры против этого: лишь самые крупные глупости разрешалось печатать, более мелкие допускались только в разговорах, причем такая льгота распространялась только на профессоров и важных государственных чиновников, а люди помельче могли высказывать свои глупости лишь тайком; но все эти меры нисколько не помогли, подавляемые глупости с тем большей силою выступали наружу при исключительных обстоятельствах; они стали даже пользоваться тайным покровительством сверху, они открыто поднимались снизу на поверхность; бедствие приняло крупные размеры, когда наконец изобрели средство, действующее с обратной силой, благодаря которому всякая глупость может считаться как бы не совершенною или даже превратиться в мудрость. Средство это очень простое, и заключается оно в заявлении, что глупость совершена или сказана иронически. Так-то, милое дитя, все в этом мире прогрессирует: глупость становится иронией, неудачная лесть становится сатирою, природная грубость — искусной критикой, истинное безумие — юмором, невежество — блестящим остроумием, а ты, чего доброго, станешь в конце концов Аспазией новых Афин».

Я сказал бы еще больше, но хорошенькая Наннерль, которую я удерживал все время за кончик передника, с силой вырвалась от меня, потому что со всех сторон стали чересчур бурно требовать: «Пива! Пива!» А берлинец показался мне воплощенной иронией, когда заметил, с каким энтузиазмом принимались высокие пенящиеся бокалы. Указывая на группу пьющих, которые от всего сердца наслаждались хмельным нектаром и спорили о его достоинствах, он произнес с улыбкою: «И это афиняне?..»

Замечания, которыми он сопроводил при этом свои слова, причинили мне изрядное огорчение, так как я питаю немалое пристрастие к нашим новым Афинам; и я постарался всячески объяснить поспешному хулителю, что мы лишь недавно пришли к мысли превратиться в новые Афины, что мы лишь юные зачинатели, и наши великие умы, да и вся наша образованная публика, еще не привыкли, чтобы их рассматривали вблизи. «Все это пока в периоде возникновения, и мы еще не все в сборе. Лишь низшие специальности, любезный друг,— добавил я,— представлены у нас; вы заметили, вероятно, что у нас нет недостатка, например, в совах, сикофантах и Фринах. Не хватает нам только высшего персонала, и некоторые принуждены играть одновременно несколько ролей. Например, наш поэт, воспевающий нежную, в греческом духе, любовь к мальчикам, должен был усвоить и аристофановскую грубость; но он все может, он обладает всеми данными для того, чтобы быть великим поэтом, кроме разве фантазии и остроумия, а будь у него много денег — он был бы богат. Но недостаток в количестве мы восполняем качеством. У нас только один великий скульптор, но зато это Лев. У нас только один великий оратор, но я убежден, что и Демосфен не мог бы так греметь в Аттике по поводу добавочного акциза на солод. Если мы до сих пор не отравили Сократа, то, право, не из-за недостатка яда. И если нет у нас еще демоса в смысле целого сословия демагогов, то мы можем представить к вашим услугам один экземпляр этой породы, демагога по профессии, который один стоит целой кучи болтунов, горлодеров, трусов и прочего сброда — да вот и он сам!

Я не могу преодолеть искушение изобразить подробнее фигуру, представшую перед нами. Я оставляю открытым вопрос, вправе ли эта фигура утверждать, что в ее голове есть нечто человеческое и что поэтому у нее есть юридические основания выдавать себя за человека. Я бы счел эту голову скорее обезьяньей; лишь из вежливости я согласен признать ее чело-

веческой. Головной убор ее состоял из суконной шапки, фасоном схожей со шлемом Мамбрина, а жесткие черные волосы спадали длинными прядями и спереди были разделены проб ором à l'enfant[1]. На эту переднюю часть головы, выдававшую себя за лицо, богиня пошлости наложила свою печать, притом с такой силой, что находившийся там нос оказался почти расплющенным; опущенные долу глаза, казалось, тщетно разыскивали нос и были этим крайне опечалены; зловонная улыбка играла вокруг рта, который был чрезвычайно обольстителен и благодаря известному разительному сходству мог вдохновить нашего греческого лжепоэта на нежнейшие газели. Одежда состояла из старонемецкого кафтана, правда, несколько видоизмененного сообразно с настоятельнейшими требованиями новоевропейской цивилизации, но покроем все еще напоминавшего тот, который был на Арминии в Тевтобургском лесу и первобытный фасон которого сохранен был каким-то патриотическим союзом портных с той же таинственной преемственностью, с какой сохранялись некогда мистическим цехом каменщиков готические формы в архитектуре. Добела вымытая тряпка, являвшая глубоко знаменательный контраст с открытой старонемецкой шеей, прикрывала воротник этого удивительного сюртука; из длинных рукавов торчали длинные грязные руки, между руками помещалось скучное долговязое тело, под которым болтались две короткие ноги; вся фигура представляла горестно-смешную пародию на Аполлона Бельведерского.

— И это новоафинский демагог? — спросил берлинец, насмешливо улыбаясь.— Боже милостивый, да это мой земляк! Я едва верю собственным глазам — да это тот, который... нет, возможно ли?

— О вы, ослепленные берлинцы,— сказал я не без пыла,— вы отвергаете своих отечественных гениев и побиваете камнями своих пророков! Мы же умеем из всего извлекать пользу!

— Но какая же может быть польза от этой несчастной мухи?

— Он пригоден на все, в чем требуются прыжки, пронырливость, чувствительность, обжорство, благочестие, много старонемецкого, мало латыни и полное незнание греческого. Он в самом деле очень хорошо прыгает через палку, составляет таблицы всевозможных прыжков и списки всевозможных разно-

[1] По-детски *(франц.)*.

чтений старонемецких стихов. К тому же он является представителем патриотизма, оставаясь совершенно безопасным. Ибо известно очень хорошо, что он вовремя отдалился от старонемецких демагогов, в среде которых когда-то случайно обретался, в тот момент, когда их дело стало несколько опасным и перестало соответствовать христианским наклонностям его мягкого сердца. Но с той поры, как опасность миновала, мученики пострадали за свои убеждения и почти все сами отказались от них, так что наши восторженнейшие цирюльники поснимали свои немецкие сюртуки,— с той поры и начался настоящий расцвет нашего осторожного спасителя отечества; он один сохранил наряд демагога и соответствующие ему обороты речи; он все еще превозносит херуска Арминия и госпожу Туснельду, как будто он — их белокурый внук. Он все еще хранит свою германско-патриотическую ненависть к романскому вавилонству, к изобретению мыла, к языческо-греческой грамматике Тирша, к Квинтилию Вару, к перчаткам и ко всем людям, обладающим приличным носом; так и остался он ходячим памятником минувшего времени и, подобно последнему из могикан, пребывает в качестве единственного представителя целого могучего племени, он — последний демагог. Итак, вы видите, что в новых Афинах, где еще остро ощущается недостаток в демагогах, он может нам пригодиться; в его лице мы имеем прекрасного демагога, к тому же столь ручного, что он готов облизать любую плевательницу, жрет из рук орехи, каштаны, сыр, сосиски, вообще все, что дадут; а так как он единственный в своем роде, то у нас есть еще особое преимущество: впоследствии, когда он подохнет, мы набьем его чучело и в качестве последнего демагога сохраним для потомства с кожей и волосами. Но, пожалуйста, не говорите об этом профессору Лихтенштейну в Берлине, иначе он затребует его в свой зоологический музей, а это может послужить поводом к войне между Пруссией и Баварией, так как мы ни в коем случае не отдадим его. Ведь англичане уже нацелились на него и предлагали за него две тысячи семьсот семьдесят семь гиней, да и австрийцы хотели выменять его на жирафу, но наше министерство, говорят, заявило, что мы ни за какую цену не продадим последнего демагога, он составит когда-нибудь гордость нашего естественно-исторического кабинета и украшение нашего города.

Берлинец, казалось, слушал несколько рассеянно, более интересные предметы привлекли его внимание, и он, наконец, прервал меня следующими словами:

— Покорнейше прошу извинить меня, что я вас перебиваю, но скажите, пожалуйста, что это за собака там бежит?

— Это другая собака.

— Ах, нет, вы меня не поняли, я говорю про ту большую белую собаку без хвоста.

— Дорогой мой, это собака нового Алкивиада.

— Но,— заметил берлинец,— скажите мне, где же сам новый Алкивиад?

— Признаться откровенно,— отвечал я,— место это еще не занято, пока у нас есть только собака.

ГЛАВА IV

Место, где происходил этот разговор, называется Богенгаузен, или Нейбурггаузен, или вилла Гомпеш, или сад Монжела, или Малый Замок, да и незачем его называть, когда собираешься съездить туда из Мюнхена; извозчик поймет все по характерному подмигиванию человека, одержимого жаждой, по особым кивкам головы в предвкушении блаженства и по другим выразительным гримасам. Тысяча выражений у араба — для меча, у француза — для любви, у англичанина — для виселицы, у немца — для выпивки, а у нового афинянина — даже — для места, где он пьет. Пиво в указанном месте действительно очень хорошее, оно не лучше даже в Пританее, vulgo [1] именуемом Боккеллер, оно великолепно, особенно если пьешь его на террасе, с которой открывается вид на Тирольские Альпы. Я часто сиживал там прошлою зимою и любовался покрытыми снегом горами, которые блестели в лучах солнца и казались вылитыми из чистого серебра.

В то время и в душе моей была зима, мысли и чувства словно занесло снегом, сердце увяло и зачерствело, а к этому присоединились еще несносная политика, скорбь по милому умершему ребенку, старое раздражение и насморк. Кроме того, я пил много пива, так как меня уверили, что оно очищает кровь. Но самые лучшие сорта аттического пива не шли мне на пользу, ибо в Англии я привык уже к портеру.

Наступил наконец день, когда все совершенно изменилось. Солнце выглянуло на небе и напоило землю, свое дряхлое дитя, лучистым молоком; горы трепетали от восторга и в изобилии

[1] В народе *(лат.)*.

лили свои снежные слезы; трещали и ломались ледяные покровы озер, земля раскрыла свои синие глаза, из груди ее пробились ласковые цветы, расцвели звенящие рощи — зеленые соловьиные дворцы, вся природа улыбалась, и эта улыбка называлась весною. Тут и во мне началась новая весна, новые цветы расцвели в сердце, свободные чувства пробудились, как розы, а с ними и тайное томление — как юная фиалка; среди всего этого, правда, было и немало негодной крапивы. Надежда убрала могилы моих желаний свежей зеленью, вернулись и поэтические мелодии, подобно перелетным птицам, прозимовавшим на теплом юге и вновь отыскавшим свое покинутое гнездо на севере, и покинутое северное сердце зазвучало и зацвело опять, как прежде,— не знаю только, как это произошло. Было ли то темноволосое или белокурое солнце, которое пробудило в моем сердце новую весну и поцелуем возвратило к жизни все дремавшие в этом сердце цветы и улыбкою вновь приманило туда соловьев? Была ли то родственная мне природа, нашедшая отзвук в груди моей и радостно отразившая в ней весенний свой блеск? Не знаю, но верю, что на террасе в Богенгаузене, на виду у Тирольских Альп, мое сердце было охвачено новым очарованием. Когда я сидел там, погруженный в свои мысли, мне часто казалось, будто я вижу поразительно прекрасное лицо юноши, притаившегося за горами, и я мечтал о крыльях, чтобы помчаться за ним в страну, где он живет,— Италию. Часто я чувствовал, как меня обвевает благоухание лимонов и апельсинов, плывущее из-за гор, лаская, маня и призывая меня в Италию. Однажды даже золотой сумеречной порой увидел я на вершине одной из гор, совершенно ясно, во весь рост его — молодого бога весны; цветы и лавры венчали его радостное чело, а смеющиеся глаза и цветущие уста взывали ко мне: «Я люблю тебя, приди ко мне в Италию!»

ГЛАВА V

Во взгляде моем поэтому светилось томление, в то время как я, в отчаянии от грозившего никогда не кончиться филистерского разговора, смотрел на прекрасные Тирольские горы и глубоко вздыхал. Но мой берлинский филистер принял и этот взгляд, и эти вздохи за новый повод к разговору и стал тоже вздыхать: «Ах! ах, и я хотел бы быть сейчас в Константинополе. Ах! Увидеть Константинополь было всегда единственным желанием моей жизни, а теперь русские, наверно, вошли уже —

ах! — в Константинополь! Видели вы Петербург?» Я ответил отрицательно и попросил его рассказать мне об этом. Но не он сам, оказывается, а его зять, советник апелляционного суда, был там прошлым летом, и это, по его словам, совсем особенный город. «Видели вы Копенгаген?» После того как я и на этот вопрос ответил отрицательно и попросил описать город, он хитро улыбнулся, помахал с весьма довольным видом головкой и стал честью заверять меня, что я не могу составить себе никакого представления о Копенгагене, не побывав там. «Этого в ближайшее время не случится,— возразил я,— я хочу предпринять теперь другое путешествие, которое задумал уже весною: я еду в Италию».

Услышав эти слова, собеседник мой вдруг вскочил со стула, трижды повернулся на одной ноге и запел: «Тирили! Тирили! Тирили!»

Это было для меня последним толчком. Завтра же еду, тут же решил я. Не стану больше медлить, хочу как можно скорее увидеть страну, которая способна даже самого сухого филистера привести в такой экстаз, что он при одном упоминании о ней поет перепелом. Пока я укладывал дома свой чемодан, в ушах моих непрерывно звучало это «тирили», и брат мой, Максимилиан Гейне, сопровождавший меня на другой день до Тироля, не мог понять, почему я всю дорогу не проронил ни одного разумного слова и непрестанно тириликал.

ГЛАВА VI

Тирили! Тирили! Я живу! Я чувствую сладостную боль бытия, я чувствую все восторги и муки мира, я стражду ради спасения всего рода человеческого, я искупаю его грехи, но и наслаждаюсь ими.

Но не только с людьми, и с растениями чувствую я заодно; тысячами зеленых языков рассказывают они мне прелестнейшие истории; они знают, что я чужд человеческой спеси и говорю со скромнейшими полевыми цветами так же охотно, как с высочайшими елями. Ах, я ведь знаю, что бывает с такими елями! Из глубины долины возносятся они высоко к небесам, поднимаются выше самых дерзких скалистых утесов. Но долго ли длится это великолепие? Самое большее — несколько жалких столетий, потом они валятся от дряхлости и гниют на земле. А по ночам появляются из своих расселин в скалах злобные совы и еще издеваются над ними: «Вот вы, могучие ели, хотели

сравняться с горами и вот — валяетесь, сломленные, на земле, а горы все еще стоят неколебимо».

Орел, сидящий на своем одиноком, любимом утесе, должен испытывать чувство сострадания, слушая эти насмешки. Он начинает думать о своей собственной судьбе. Он тоже не знает, как низко он падет когда-нибудь. Но звезды мерцают так успокоительно, лесные воды шумят так умиротворяюще, и его собственная душа возносится так гордо над всеми малодушными мыслями, что он скоро забывает о них. А как только взойдет солнце, он снова чувствует себя, как обычно, и взлетает к этому солнцу и, достигнув достаточной высоты, поет ему о своих радостях и муках. Его собратья — животные, в особенности люди, полагают, что орел не поет, не зная того, что поет он лишь тогда, когда покидает земные пределы, и что он, в гордости своей, хочет, чтобы его слышало одно лишь солнце. И он прав: кому-нибудь из его пернатых сородичей там, внизу, может взбрести в голову рецензировать его пение. Я по опыту знаю, какова эта критика: курица становится на одну ногу и кудахчет, что певец лишен чувства; индюк клохчет, что певцу недостает истинной серьезности; голубь воркует о том, что он не знает настоящей любви; гусь гогочет, что у него нет научной подготовки; каплун лопочет, что он безнравственен; снегирь свистит, что он, к сожалению, не религиозен; воробей чирикает, что он недостаточно продуктивен; удоды, сороки, филины — все это каркает, кряхтит, гудит... Только соловей не присоединяется к хору критиков, ему нет дела ни до кого в мире. Пурпурная роза — о ней одной его мысли, о ней его единственная песнь, страстно порхает он вокруг пурпурной розы и, полный вдохновения, стремится к возлюбленным шипам ее, и обливается кровью, и поет.

ГЛАВА VII

Есть в немецком отечестве один орел, чья солнечная песнь звучит с такой силой, что ее слышно и здесь, внизу, и даже соловьи прислушиваются к ней, забыв о своей мелодической скорби. Это ты, Карл Иммерман, и о тебе думал я часто в стране, которую ты воспел так прекрасно! Как же я мог, проезжая через Тироль, не вспомнить о «Трагедии»?

Правда, я видел предметы в другом освещении; но я дивлюсь все же поэту, который из полноты чувств воссоздает с такой близостью к действительности то, чего он сам никогда не видел. Более всего восхитило меня, что «Тирольская трагедия»

запрещена в Тироле. Я вспомнил слова, которые написал мне мой друг Мозер, сообщая о том, что вторая часть «Путевых картин» запрещена: «Правительству незачем было запрещать книгу, ее и так стали бы читать».

В Инсбруке, в гостинице «Золотой орел», где жил Андреас Гофер и где каждый угол оклеен его изображениями и воспоминаниями о нем, я спросил хозяина, господина Нидеркирхнера, не может ли он рассказать мне подробнее о хозяине трактира «На песке». Старик стал изливаться в красноречии и поведал мне, хитро подмигивая, что теперь вся эта история вышла в печатном издании, но на книгу наложен тайный запрет; затем, отведя меня в темную каморку, где он хранил свои реликвии, относящиеся к тирольской войне, он снял грязную синюю обложку с истрепанной зеленой книжки, в которой я, к своему изумлению, признал иммермановскую «Тирольскую трагедию». Я сообщил ему, не без румянца гордости на лице, что человек, написавший книгу,— мой друг. Господин Нидеркирхнер пожелал узнать о нем как можно больше, и я сказал ему, что это человек заслуженный, крепкого телосложения, весьма честный и весьма искусный по части писания, так что не много найдется ему равных. Однако господин Нидеркирхнер никак не хотел поверить, что он пруссак, и воскликнул, сочувственно улыбаясь: «Ах, оставьте!» Его ни за что нельзя было разубедить в том, что Иммерман тиролец и участвовал в тирольской войне. «Откуда мог он иначе знать все это?»

Удивительны причуды народа! Он требует своей истории в изложении поэта, а не историка. Он требует не точного изложения голых фактов, а растворения их в той изначальной поэзии, из которой они вышли. Поэты знают это и не без тайного злорадства по своему произволу перерабатывают народные предания, должно быть, чтобы посмеяться над сухою спесью историков и пергаментных государственных архивариусов. Меня немало позабавило, когда я увидел в лавках на последней ярмарке историю Велизария в ярко раскрашенных картинах, притом не по Прокопию, а в точности по трагедии Шенка. «Так искажается история,— воскликнул мой ученый друг, сопровождавший меня,— ведь в ней нет ничего о мести оскорбленной супруги, о плененном сыне, о любящей дочери и о прочих модных измышлениях сердца!» Но разве это на самом деле недостаток? Следует ли тотчас привлекать поэтов к суду за такие подлоги? Нет, ибо я отвергаю обвинение. Поэты не фальсифицируют историю. Они передают ее смысл совершенно точно, хотя бы и посредством ими самими вымышленных образов и

событий. Существуют народы, чья история изложена исключительно в такой поэтической форме, например индийцы. И тем не менее такие поэмы, как «Махабхарата», передают смысл индийской истории гораздо правильнее, чем все составители компендиумов со всеми своими хронологическими датами. Равным образом я мог бы утверждать, что романы Вальтера Скотта передают дух английской истории гораздо вернее, чем Юм; по крайней мере, Сарториус вполне прав, когда он, в своих дополнениях к Шпиттлеру, относит эти романы к числу источников по истории Англии.

С поэтами происходит то же, что со спящими, которые во сне как бы маскируют внутреннее чувство, возникшее в их душе под влиянием действительных внешних причин, подменяя в сновидениях эти причины другими внешними причинами, аналогичными в том смысле, что они вызывают то же чувство. Так и в иммермановской «Трагедии» многие внешние обстоятельства вымышлены в достаточной степени произвольно, но сам герой, центр всех чувств, создан воображением поэта в соответствии с истиной, и если этот образ, плод мечты, сам представлен мечтателем, то и это не противоречит действительности. Барон Гормайр, компетентнейший судья в этом вопросе, недавно, когда я имел удовольствие с ним говорить, обратил мое внимание на это обстоятельство. Мистический мир чувств, суеверная религиозность, эпический характер героя отмечены Иммерманом вполне правильно. Он воссоздал совершенно точно того верного голубя, который со сверкающим мечом в клюве, как сама воинствующая любовь, носился с такой героической отвагой над горами Тироля, пока пули Мантуи не пронзили его верного сердца.

Но что более всего служит к чести поэта, так это столь же согласное с истиной изображение противника, из которого он не сделал яростного Гесслера с целью превознести своего Гофера; если последний подобен голубю с мечом, то первый — орлу с оливковой ветвью.

ГЛАВА VIII

В гостинице господина Нидеркирхнера в Инсбруке висят в столовой мирно рядом портреты Андреаса Гофера, Наполеона Бонапарта и Людовика Баварского.

Сам Инсбрук имеет нежилой, пустынный вид. Быть может, зимой он выглядит несколько оживленнее и уютнее, когда

высокие горы, которыми он окружен, покрыты снегом, когда грохочут лавины и повсюду трещит и сверкает лед.

Я увидел вершины этих гор закутанными в облака, словно в серые тюрбаны. Видна и Мартинова стена, место действия прелестнейшего предания об императоре. Вообще память о рыцарственном Максе все еще цветет и звучит в Тироле.

В придворной церкви стоят столь часто упоминаемые статуи государей и государынь австрийского дома и их предков, среди коих есть и такие, что, разумеется, и по сей день не поймут, за что они удостоились такой чести. Они стоят во весь свой богатырский рост, отлитые из чугуна, вокруг гробницы Максимилиана. Но так как церковь мала и своды низки, кажется, что находишься в рыночном балагане с черными восковыми фигурами. На пьедестале большинства из них можно прочесть имена высоких особ, которых они изображают. Когда я рассматривал их, в церковь вошли англичане: тощий господин с вытянутым лицом, с заложенными в проймы белого жилета большими пальцами рук и с кожаным «Guide des voyageurs» [1] в зубах; за ним — долговязая спутница его жизни, уже немолодая, слегка поблекшая, но все еще красивая дама; за ними — красная портерная физиономия, с белыми, как пудра, нашлепками, обладатель которой напыщенно выступал в таком же сюртуке, и его одеревеневшие руки были нагружены перчатками миледи, ее альпийскими цветами и мопсом.

Этот трилистник направился прямо к дальнему концу церкви, где сын Альбиона стал объяснять своей супруге значение статуй по своему «Guide des voyageurs», в котором было подробно изъяснено: «Первая статуя — король Хлодвиг Французский, вторая — король Артур Английский, третья — Рудольф Габсбургский» и т. д. Но так как бедный англичанин начал обход с конца, а не с начала, как предусмотрено «Guide des voyageurs», то произошел ряд забавнейших недоразумений, которые стали еще комичнее, когда он останавливался перед какой-нибудь женской статуей, изображавшей, по его мнению, мужчину, и наоборот, так что он не мог понять, почему Рудольф Габсбургский представлен в женском одеянии, а королева Мария — в железных штанах и с длиннейшей бородой. Я, готовый всегда прийти на помощь своими познаниями, заметил мимоходом, что этого требовала, вероятно, тогдашняя мода, а может быть, таково было особое желание высоких особ — быть отлитыми именно в таком виде и никак не иначе. Так и нынешнему императору может

[1] «Путеводитель» *(франц.)*.

прийти в голову быть отлитым в фижмах или даже в пеленках — кто бы мог на это что-либо возразить?

Мопс критически залаял, лакей вытаращил глаза, его хозяин высморкался, а миледи произнесла: «A fine exhibition, very fine indeed!» [1]

ГЛАВА IX

Бриксен — второй большой тирольский город, в который я заехал. Он лежит в долине, и когда я подъехал, он был застлан туманом и вечерними тенями. Сумеречная тишина, меланхолический перезвон колоколов; овцы семенили к стойлам, люди — к церквам; повсюду всепроникающий запах уродливых икон и сухого сена.

«В Бриксене иезуиты»,— прочитал я незадолго до того в «Гесперусе». Я озирался на всех улицах, ища их, но не увидел никого, похожего на иезуита, кроме одного толстого человека в треуголке духовного образца и черном сюртуке поповского покроя, старом и поношенном, составляющем разительный контраст с блестящими новыми черными панталонами.

«Он не может быть иезуитом»,— решил я про себя, так как всегда представлял себе иезуитов тощими. Да и существуют ли еще иезуиты? Иногда мне кажется, что существование иезуитов — лишь химера, что только страх перед ними создает в нашем воображении эти призраки, а самая опасность давно миновала, и все усердные противники иезуитов напоминают мне людей, которые все еще ходят с раскрытыми зонтиками, хотя дождь давно уже прошел. Да, иногда мне кажется, что дьявол, дворянство и иезуиты существуют лишь постольку, поскольку мы верим в них. О дьяволе мы можем утверждать это наверняка, так как до сих пор его видели только верующие. Также и относительно дворянства мы придем через некоторое время к заключению, что bonne société [2] перестанет быть bonne société, как только добрый буржуа перестанет быть столь добр, чтобы считать его за bonne société. Но иезуиты? Они, по крайней мере, уже не носят старых панталон. Старые иезуиты лежат в могилах со своими старыми панталонами, вожделениями, мировыми планами, кознями, различениями, оговорками и ядами, и тот, кого мы видим крадущимся по земле в новых, блестящих панталонах,— не столько дух их, сколько призрак, глупый, жалкий

[1] Прекрасная выставка, великолепная! *(англ.)*
[2] Хорошее общество *(франц.)*.

призрак, изо дня в день свидетельствующий на словах и на деле о том, как мало он страшен; право, это напоминает нам историю одного похожего призрака в Тюрингском лесу, который однажды избавил от страха тех, кто его боялся, сняв на глазах у всех свой череп с плеч и показав каждому, что внутри он полый и пустой.

Я не могу не упомянуть здесь, что нашел случай подробнее рассмотреть толстого человека в блестящих новых панталонах и убедиться, что он вовсе не иезуит, а самая обыкновенная божья тварь. А именно — я встретил его в столовой своей гостиницы, где он ужинал в обществе тощего долговязого человека, именуемого превосходительством и столь похожего на старого холостяка, деревенского дворянина из шекспировской пьесы, что казалось — природа совершила плагиат. Оба приправляли свою трапезу тем, что осаждали служанку любезностями, которые, по-видимому, были весьма противны этой прехорошенькой девушке, так как она насильно вырывалась от них, когда один начинал похлопывать ее сзади, а другой пытался даже обнять. При этом они отпускали грубейшие сальности, которые девушка, как они знали, слышит, потому что она вынуждена была оставаться в комнате, чтобы прислуживать гостям и чтобы накрыть стол для меня. Но когда непристойности стали, наконец, нестерпимыми, девушка вдруг оставила все, бросилась к двери и вернулась в комнату только через несколько минут с маленьким ребенком на руках; она не выпускала его во все время своей работы в столовой, хотя это и было для нее затруднительно. Оба собутыльника, духовное лицо и дворянин, не отваживались больше ни на одну оскорбительную выходку против девушки, которая прислуживала им теперь без всякого недружелюбия, но с какой-то особой серьезностью; разговор принял другой оборот, оба пустились в обычную болтовню о большом заговоре против трона и церкви, пришли к соглашению о необходимости строгих мер и много раз пожимали друг другу руки в знак священного союза.

ГЛАВА X

Для истории Тироля труды Иосифа фон Гормайра незаменимы; для новейшей истории сам он является лучшим, иногда единственным источником. Он для Тироля то же, что Иоганнес фон Мюллер для Швейцарии; параллель между этими двумя историками напрашивается сама собою. Они словно соседи по комнатам: оба с юности одинаково воодушевлены родными

Г. Гейне и его жена Матильда

Картина Э.-Б. Китца
1851 г.

Альпами, оба усердные, пытливые, оба с историческим складом ума и направлением чувства; Иоганнес фон Мюллер настроен более эпически и погружен духом в историю минувшего; Иосиф фон Гормайр чувствует более страстно, более увлечен современностью, бескорыстно рискует жизнью ради того, что ему дорого.

«Война тирольских крестьян в 1809 году» Бартольди — книга, написанная живо и хорошо, а если и есть в ней недостатки, то они неизбежны, потому что автор, как это свойственно благородным умам, явно отдавал предпочтение гонимой партии и потому что пороховой дым еще окутывал события, которые он описывал.

Многие замечательные происшествия того времени вовсе не описаны и живут лишь в памяти народа, который теперь неохотно говорит о них, так как при этом вспоминаются многие несбывшиеся надежды. Ведь бедные тирольцы обогатились опытом, и если теперь спросить их, добились ли они, в награду за свою верность, всего того, что им было обещано в тяжелую пору, они добродушно пожимают плечами и наивно говорят: «Должно быть, все это было обещано не так уж всерьез, императору ведь есть о чем думать, и кое о чем ему просто трудно вспомнить».

Утешьтесь, бедняги! Вы не единственные, кому было кое-что обещано. Ведь часто же случается на больших галерах, что во время сильных бурь, когда корабль в опасности, обращаются к помощи черных невольников, скученных внизу, в темном трюме. В таких случаях разбивают их железные цепи и обещают свято и непреложно, что им будет дарована свобода, если они своими усилиями спасут корабль. Глупые чернокожие, ликуя, карабкаются наверх, на свет дневной,— ура! — спешат к насосам, качают изо всех сил, помогают, где только можно, лазают, прыгают, рубят мачты, наматывают канаты — короче говоря, работают до тех пор, пока не минует опасность. Затем, само собой разумеется, их отводят обратно вниз, в трюм, опять приковывают наилучшим образом, и в темной юдоли своей они делают демагогические заключения об обещаниях торговцев душами, которые, избежав опасности, заботятся лишь о том, чтобы наменять побольше новых душ.

O navis, referent in mare te novi
Fluctus? etc. [1].

[1] О корабль, унесут в море опять тебя волны? и т. д.

Мой старый учитель, толкуя эту оду Горация, где римский сенат сравнивается с кораблем, постоянно сопровождал свои объяснения различными политическими соображениями, которые прекратились вскоре после того, как произошла Лейпцигская битва и весь класс разбежался.

Мой старый учитель знал все заранее. Когда пришло первое известие об этой битве, он покачал седой головой. Теперь я понимаю, что это означало. Вскоре получены были более подробные сообщения и тайком показывались рисунки, где пестро и назидательно изображено было, как высочайшие вожди преклоняли колена на поле сражения и благодарили бога.

— Да, им следовало поблагодарить бога,— говорил мой учитель, улыбаясь, как обычно улыбался, комментируя Саллюстия,— император Наполеон так часто бил их, что в конце концов и они могли от него этому научиться.

Затем появились союзники и с ними скверные стихи об освобождении, Арминий и Туснельда, «ура», Женский союз и отечественные желуди, и вечное хвастовство Лейпцигской битвой, и так без конца.

— С ними происходит,— заметил мой учитель,— то же, что с фиванцами, когда они разбили наконец при Левктрах непобедимых спартанцев и беспрестанно похвалялись своей победой, так что Антисфен сказал про них: «Они поступают, как дети, которые не могут прийти в себя от радости, поколотив своего школьного учителя!» Милые дети, было бы лучше, если бы поколотили нас самих.

Вскоре после этого старик умер. На могиле его растет прусская трава и пасутся там благородные кони наших подновленных рыцарей.

ГЛАВА XI

Тирольцы красивы, веселы, честны, храбры и непостижимо ограниченны. Это здоровая человеческая раса,— должно быть, потому, что они слишком глупы, чтобы болеть. Я бы назвал их, кроме того, благородной расой, так как они очень разборчивы в пище и чистоплотны в быту; но они совершенно лишены чувства собственного достоинства. Тиролец отличается своеобразной, юмористической, смешливой угодливостью, которая носит почти ироническую окраску, но в основе глубоко искренна. Тирольские женщины здороваются с тобой так предупредительно и приветливо, мужчины так крепко жмут тебе руку и выражение их лиц так торжественно-сердечно, точно они смотрят на

тебя как на близкого родственника или, по крайней мере, как на свою ровню; но это далеко не так — они никогда не забывают, что они только простолюдины, ты же — важный господин, который, разумеется, доволен, когда простолюдины без застенчивости вступают с ним в общение. И в этом они совершенно правильно руководятся природным инстинктом: самые закоренелые аристократы рады случаю снизойти, так как именно тогда они чувствуют, как высоко стоят. На родине тирольцы проявляют эту угодливость бесплатно, на чужбине же они стараются на ней что-либо заработать. Они торгуют своей личностью, своей национальностью. Эти пестро одетые продавцы одеял, эти бравые тирольские парни, странствующие по свету в своих национальных костюмах, охотно позволяют подшутить над собою, но при этом ты должен что-нибудь у них купить. Пресловутые сестры Райнер, побывавшие в Англии, понимали это еще лучше, к тому же у них был хороший советник, прекрасно знавший дух английской знати. Отсюда и хороший прием в центре европейской аристократии, in the west end of the town [1]. Когда прошлым летом в блестящих залах лондонского фешенебельного общества я увидал, как на эстрады выходили эти тирольские певицы, одетые в родные национальные костюмы, и услышал те песни, которые в Тирольских Альпах так наивно и скромно поются и находят столь нежные отзвуки даже в наших северонемецких сердцах, вся душа моя возмутилась; снисходительные улыбки аристократических уст жалили меня, как змеи; мне казалось, что целомудрие немецкой речи оскорблено самым грубым образом и что самые сладостные таинства немецкого чувства подверглись профанации перед чужой чернью. Я не мог вместе с другими рукоплескать такому бесстыдному торгу самым сокровенным; один швейцарец, покинувший залу под влиянием такого же чувства, совершенно справедливо заметил: «Мы, швейцарцы, тоже отдаем многое за деньги: наш лучший сыр и нашу лучшую кровь, но мы с трудом переносим звук альпийского рожка на чужбине, и тем более мы сами не способны трубить в него за деньги».

ГЛАВА XII

Тироль очень красив, но даже самые красивые виды не могут восхищать нас при хмурой погоде и таком же настроении. У меня настроение всегда следует за погодой, а так как тогда

[1] В западной части города *(англ.)*.

шел дождь, то и у меня на душе была непогода. Лишь время от времени я решался высунуть голову из экипажа и видел тогда высокие, до небес, горы; они серьезно взирали на меня и кивали своими исполинскими головами и длинными облачными бородами, желая мне счастливого пути. Там и сям примечал я синевшую вдали горку, которая, казалось, становилась на цыпочки и с любопытством заглядывала через плечи других гор, вероятно стараясь увидеть меня. При этом повсюду громыхали лесные ручьи, низвергаясь, как безумные, с высоты и стекаясь внизу, в долинах, в темные водовороты. Люди торчали в своих миловидных чистеньких домиках, рассеянных по отрогам, на самых крутых склонах, вплоть до горных вершин; миловидные чистенькие домики украшены обычно длинной галереей вроде балкона, а галерея, в свою очередь, украшена бельем, образками святых, цветочными горшками и девичьими личиками. Домики эти красиво окрашены, большей частью в белый и зеленый цвет, как будто одеты в народный тирольский костюм: зеленые помочи поверх белой рубашки. При взгляде на такой домик, в дождь и в одиночестве, сердце мое порывалось выпрыгнуть к этим людям, которые, конечно, сидят там, внутри, совершенно сухие и довольные. Там, внутри, думалось мне, живется, наверное, хорошо и уютно, там старая бабушка рассказывает самые таинственные сказки. Но экипаж неумолимо катился дальше, и я часто оглядывался назад взглянуть на голубоватые столбы дыма над маленькими трубами на крышах; дождь лил все сильнее как снаружи, так и внутри меня, так что капли едва не выступали у меня на глазах.

Сердце мое часто вздымалось и, несмотря на дурную погоду, взбиралось наверх, к людям, которые обитают на самой вершине и едва ли хоть раз в жизни спускались с гор и мало знают о том, что происходит здесь, внизу. От этого они не становятся менее благочестивы или менее счастливы. О политике они не знают ничего, кроме того, что у них есть император, который носит белый мундир и красные штаны; это рассказал им старый дядюшка, который сам слышал это от черного Зепперля, побывавшего в Вене. Когда же к ним взобрались патриоты и красноречиво стали внушать им, что теперь они получат государя в синем мундире и белых штанах, они схватились за ружья, перецеловали жен и детей, спустились с гор и пошли на смерть за белый мундир и любимые старые красные штаны.

По существу, ведь все равно, за что умереть, только бы умереть за что-нибудь дорогое, и такая кончина, исполненная тепла и веры, лучше, чем холодная жизнь без веры. Уже одни пес-

ни о такой кончине, звучные рифмы и светлые слова согревают наше сердце, когда его начинают омрачать сырой туман и назойливые заботы.

Много таких песен прозвучало в моем сердце, когда я перевалил через Тирольские горы. Приветливые еловые леса своим шумом оживили в моей памяти много забытых слов любви. Особенно когда большие голубые горные озера с таким непостижимым томлением смотрели мне в глаза, вспоминал я опять о тех двух детях, которые так любили друг друга и умерли вместе. Это старая-престарая история, никто уже теперь не верит в нее, да и сам я знаю о ней лишь по нескольким строкам песни:

Было двое детей королевских,
Но сойтись не могли никогда,
Хоть и сильно друг друга любили:
Глубока была слишком вода!

Эти слова непроизвольно зазвучали опять во мне, когда у одного из голубых озер я увидел на том берегу маленького мальчика, а на этом — маленькую девочку, обоих в пестрых национальных костюмах, в зеленых, с лентами, остроконечных шапочках,— они были прелестно одеты и раскланивались друг с другом через озеро:

Но сойтись не могли никогда...
Глубока была слишком вода!

ГЛАВА XIII

В Южном Тироле погода прояснилась, почувствовалась близость итальянского солнца, горы стали теплыми и сверкающими, я увидел виноградники, лепившиеся по склонам, и мог все чаще высовываться из экипажа. Но когда я высовывался, то со мною вместе высовывалось сердце, а с сердцем — и вся любовь его, его печаль и его глупость. Часто случалось, что бедное сердце натыкалось на шипы, заглядываясь на розовые кусты, цветущие вдоль дороги, а розы Тироля — далеко не безобразны. Проезжая через Штейнах и оглядывая рынок, на котором у Иммермана выступает хозяин трактира «На песке» Гофер со своими товарищами, я нашел рынок чересчур маленьким для скопища повстанцев, но достаточно большим для того, чтобы там влюбиться. Тут всего два-три беленьких домика; из маленького окошка выглядывала маленькая хозяйка трактира, целилась и стреляла своими большими глазами; если бы экипаж не

промчался, и так быстро, мимо и если бы у нее хватило времени зарядить еще раз, я наверняка был бы застрелен. Я закричал: «Кучер, погоняй, с такой «красоткой Эльзи» шутки плохи, она может испепелить». Как обстоятельный путешественник я не могу не отметить, что хотя сама хозяйка в Штерцинге и оказалась старухой, зато у нее были две молоденьких дочки, которые способны своим видом благотворно обогреть сердце, если оно высунулось. Но тебя я забыть не могу, прекраснейшая из всех красавиц — пряха на итальянской границе! Если бы ты дала мне, как Ариадна Тезею, нить от клубка своего, чтобы провести меня через лабиринт этой жизни, я любил бы тебя, и целовал, и не покинул бы никогда!

«Хорошая примета, когда женщины улыбаются»,— сказал один китайский писатель; того же мнения был и один немецкий писатель, когда он проезжал через Южный Тироль,— там, где начинается Италия, мимо горы, у подножия которой на невысокой каменной плотине стоял один из домиков, так любовно глядевших на нас своими приветливыми галереями и наивной росписью. По одну сторону его стояло большое деревянное распятие; оно служило опорой молодой виноградной лозе, и как-то жутко-весело было смотреть, как жизнь цепляется за смерть, как сочные зеленые побеги обвивают окровавленное тело и пригвожденные руки и ноги Спасителя. По другую сторону домика находилась круглая голубятня; ее пернатое население реяло вокруг, а один особенно грациозный белый голубь сидел на красной верхушке крыши, которая, подобно скромному каменному венцу над статуей святого, возвышалась над головой прекрасной пряхи. Она сидела на маленькой галерее и пряла, но не на немецкий лад — самопрялкой, а тем стародавним способом, при котором обвитая льном прялка лежит под рукой, а спряденная нить просто спускается на свободно висящем веретене. Так пряли царские дочери в Греции, так прядут еще и ныне Парки и все итальянки. Она пряла и улыбалась, голубь неподвижно сидел над ее головой, а позади, над домом, вздымались высокие горы; солнце освещало их снежные вершины, и они казались суровой стражей великанов со сверкающими шлемами на головах.

Она пряла и улыбалась и, мне кажется, крепко запряла мое сердце, пока экипаж несколько медленнее катился мимо, так как его сдерживал широкий поток Эйзаха, стремившийся по ту сторону дороги. Милые черты не выходили у меня из памяти весь день; всюду видел я прелестное лицо, изваянное, казалось, греческим скульптором из аромата белой розы, такое благоухан-

но-нежное, такое непостижимо благородное, какое, может быть, снилось ему когда-то в юности, в цветущую весеннюю ночь. Впрочем, глаза ее не могли пригрезиться ни одному греку и совсем не могли быть поняты им. Но я увидел их и понял их, эти романтические звезды, так волшебно освещавшие античное великолепие. Весь день преследовали меня эти глаза, и в следующую ночь они приснились мне. Она сидела, как тогда, и улыбалась, голуби реяли вокруг, как ангелы любви, белый голубь над ее головой таинственно пошевеливал крыльями, за ней все величавей и величавей поднимались стражи в шлемах, перед нею все яростнее и неистовее катился поток, виноградные лозы обвивали в судорожном страхе деревянное распятие, оно болезненно колыхалось, раскрывало страждущие глаза и истекало кровью,— а она пряла и улыбалась, и на нитях ее прялки, подобно пляшущему веретену, висело мое собственное сердце.

ГЛАВА XIV

По мере того как солнце все прекраснее и величественнее расцветало в небе, осеняя золотыми покровами горы и замки, на сердце у меня становилось все жарче и светлее; снова грудь моя была полна цветами; они пробивались наружу, разрастались высоко над головой, и сквозь цветы моего сердца вновь просвечивала небесная улыбка прекрасной пряхи. Весь овеянный такими грезами, сам — воплощенная греза, приехал я в Италию, и так как в дороге я успел забыть, куда еду, то почти испугался, когда на меня внезапно взглянули все эти большие итальянские глаза, когда пестрая, суетливая итальянская жизнь во плоти устремилась мне навстречу, такая горячая и шумная.

Произошло это в городе Триенте, куда я прибыл в один прекрасный воскресный день после обеда, в час, когда жара спадает, солнце заходит, а итальянцы выходят на улицы и прогуливаются взад и вперед. Город, старый и надломленный годами, лежит в широком кольце цветущих гор, которые, подобно вечно юным богам, взирают сверху на бренные дела людские. Надломленный годами и истлевший, стоит возле него высокий замок, некогда господствовавший над городом, причудливая постройка причудливой эпохи, с вышками, выступами, зубцами и полукруглой башней, в которой ютятся лишь совы да австрийские инвалиды. Архитектура самого города также причудлива, и удивление охватывает при первом взгляде на эти глубоко старинные дома с их поблекшими фресками, с раскрошившимися

статуями святых, башенками, закрытыми балконами, решетчатыми окошками и выступающими вперед фронтонами, покоящимися наподобие подмостков на серых, старчески дряблых колоннах, которые и сами нуждаются в опоре. Зрелище было бы уж слишком печально, если бы природа не освежила новой жизнью эти отжившие камни, если бы сладкие виноградные лозы не обвивали разрушающихся колонн тесно и нежно, как юность обвивает старость, и если бы еще более сладостные девичьи лица не выглядывали из сумрачных сводчатых окон, посмеиваясь над приезжим немцем, который, как блуждающий лунатик, пробирается среди цветущих развалин.

Я и правда был как во сне, в том сне, когда хочется вспомнить что-то, что уже снилось однажды. Я смотрел то на дома, то на людей; иногда готов был подумать, что видел эти дома когда-то, в их лучшие дни; тогда их красивая роспись еще сверкала красками, золотые украшения на карнизах еще не были так черны и мраморная мадонна с младенцем на руках стояла с еще уцелевшей прекрасной головой, которую так плебейски обломало наше иконоборческое время. И лица старых женщин были так знакомы мне; казалось, они были вырезаны из тех старонтальянских картин, которые я видел когда-то мальчиком в Дюссельдорфской галерее. И старики итальянцы казались мне давно забытыми знакомцами, они смотрели на меня своими серьезными глазами как бы из глубины тысячелетия. Даже в бойких молодых девушках было что-то, говорившее одновременно и об умершем тысячу лет тому назад, и о вновь вернувшемся к цветущей жизни, так что меня почти охватывал страх, сладостный страх, подобный тому, который я ощутил, когда в одинокую полночь прижал свои губы к губам Марии, дивно прекрасной женщины, не имевшей в то время никаких недостатков, кроме одного,— она была мертва. Но потом я смеялся сам над собою, и мне начинало казаться, что весь город — не что иное, как красивая повесть, которую я читал когда-то, которую я сам сочинил, и теперь я каким-то волшебством вошел в жизнь своей повести и пугаюсь образов собственного творчества. Может быть, думал я, все это действительно только сон,— и я охотно от всего сердца заплатил бы талер за одну пощечину, чтобы только узнать, бодрствую я или сплю.

Немного не хватало, чтобы получить желаемое и за более дешевую цену, когда на углу рынка я споткнулся о толстую торговку фруктами. Но она удовлетворилась тем, что хлопнула меня по щекам несколькими винными ягодами, благодаря чему я убедился, что нахожусь в самой действительной действитель-

ности, посреди базарной площади Триента, возле большого фонтана, где медные дельфины и тритоны извергали приятно освежающие серебристые струи. Слева стоял старый дворец; стены его были расписаны пестрыми аллегорическими фигурами, а на террасе готовились к подвигам серые австрийские солдаты. Справа стоял домик в прихотливом готическо-ломбардском стиле; внутри сладкий, воздушно-легкий девичий голосок разливался такими бойкими и веселыми трелями, что дряхлые стены дрожали не то от удовольствия, не то от своей неустойчивости; между тем сверху, из стрельчатого окошка, высовывалась черная, с завитками, напоминавшими лабиринт, комедиантская шевелюра, из-под которой выступало худощавое с острыми чертами лицо с одной лишь нарумяненной левой щекой, отчего оно походило на пышку, поджаренную только с одной стороны. Прямо же передо мною стоял древний-древний собор, не большой, не мрачный, а похожий на веселого старца, приветливого и радушного.

ГЛАВА XV

Раздвинув зеленый шелковый занавес, прикрывавший вход в собор, и вступив туда, я почувствовал телесную и душевную свежесть от приятно веявшей там прохлады и от умиротворяющего магического света, который лился на молящихся через пестро расписанные окна. Здесь были большей частью женщины, длинными рядами стоявшие коленопреклоненно на низеньких скамьях для молитвы. Они молились, тихо шевеля губами, и непрестанно обмахивались большими зелеными веерами, так что слышен был только непрерывный таинственный шепот, видны были только движущиеся веера и колышущиеся вуали. Резкий скрип моих сапог прервал не одну прекрасную молитву, и большие католические глаза посматривали на меня наполовину с любопытством, наполовину благосклонно, должно быть советуя мне тоже простереться ниц и предаться душевной сиесте.

Право, такой собор с его сумрачным освещением и веющей прохладой — приятное пристанище, когда снаружи ослепительно светит солнце и томит жара. Об этом не имеют никакого представления в нашей протестантской Северной Германии, где церкви устроены не так комфортабельно и свет нагло врывается в нераскрашенные практичные окна, где даже прохладные проповеди плохо спасают от жары. Что бы ни говорили, а католицизм — хорошая религия для лета. Хорошо лежится на скамьях этого старого собора; наслаждаешься прохладой молитвенного

настроения, священным dolce far niente [1], молишься, грезишь и грешишь мысленно; мадонны так всепрощающе кивают из своих ниш; умея чувствовать по-женски, они прощают даже тогда, когда их собственные прелестные черты вплетаются в наши греховные мысли; в довершение всего в каждом углу стоит коричневая исповедальня, где можно очиститься от грехов.

В одной из таких исповедален сидел молодой монах с сосредоточенной физиономией, но лицо дамы, каявшейся ему в грехах, было скрыто от меня отчасти белой вуалью, отчасти боковой перегородкой. Но поверх перегородки видна была рука, приковавшая меня к себе. Я не мог наглядеться на эту руку; голубоватые жилки и благородный блеск белых пальцев были мне так поразительно знакомы; душа моя привела в движение всю силу своей фантазии, пытаясь воссоздать лицо, относящееся к этой руке. То была прекрасная рука, совсем не похожая на руки молодых девушек, полуягнят, полуроз, обладающих растительно-животными ручками без мысли, в ней было, напротив, нечто духовное, нечто исторически обаятельное, как это бывает в руках красивых людей, очень образованных или много страдавших. Было в ней также что-то трогательно невинное, так что казалось, этой руке незачем каяться и незачем слушать, в чем кается ее обладательница, а потому она и ждет в стороне, пока та покончит со своим делом. Но дело затянулось: даме, по-видимому, нужно было поведать о многих грехах. Я не мог более ждать: душа моя запечатлела невидимый прощальный поцелуй на прекрасной руке, которая в тот же миг вздрогнула, притом так особенно, как вздрагивала рука мертвой Марии, когда я ее касался. «Боже мой,— подумал я,— что делает в Триенте мертвая Мария?» — и поспешил прочь из собора.

ГЛАВА XVI

Когда я возвращался через Рыночную площадь, вышеупомянутая торговка фруктами приветствовала меня весьма дружески и фамильярно, словно мы были старыми знакомыми. «Все равно,— подумал я,— как бы ни завязать знакомство, лишь бы познакомиться». Несколько брошенных в лицо винных ягод не всегда, правда, служат лучшей завязкой; но оба мы, и я, и продавщица фруктов, смотрели теперь друг на друга так приветливо, словно обменялись самыми солидными рекомендательными

[1] Приятное безделье *(итал.)*.

письмами. К тому же женщина эта отнюдь не обладала дурной внешностью. Она, правда, была в том возрасте, когда время отмечает отработанные нами годы роковыми черточками на лбу, но зато она была тем массивнее, возмещая недостаток молодости прибавкой в весе. Вдобавок на лице ее все еще сохранились следы недюжинной красоты; на нем, как на старинных горшках, было написано: «Быть любимым и любить — значит счастие добыть». Но особенную прелесть придавала ей прическа — завитые локоны, напудренные до ослепительной белизны, обильно сдобренные помадой и идиллически перевитые белыми колокольчиками. Я разглядывал женщину с таким же вниманием, как антиквар разглядывает выкопанные из земли обломки мрамора; я мог бы и еще больше прочесть в этих живых человеческих развалинах, мог бы проследить по ним все стадии итальянской культуры — этрусскую, римскую, готическую, ломбардскую, вплоть до современной, припудренной; очень интересным показался мне цивилизованный облик этой женщины, так расходившийся с ее профессией и страстными манерами. Не меньше заинтересовали меня и предметы ее торговли — свежий миндаль, которого я еще никогда не видел в его природной зеленой оболочке, и ароматные свежие винные ягоды, разложенные высокими горками, как у нас груши. Большие корзины со свежими лимонами и апельсинами также привели меня в восхищение. И — очаровательное зрелище! — рядом в пустой корзине лежал красивый, как картинка, мальчик с маленьким колокольчиком в руках; пока бил большой соборный колокол, он, между ударами его, позванивал в свой маленький колокольчик и при этом смотрел в голубое небо, так блаженно улыбаясь и забывая обо всем, что мною овладело самое шаловливое детское настроение, и я, как ребенок, остановился перед заманчивыми корзинами, начал лакомиться и беседовать с торговкой.

По ломаному итальянскому языку она приняла меня сначала за англичанина, но я признался ей, что я всего только немец. Она тотчас же задала мне множество вопросов о Германии географического, экономического, агрономического и климатического характера и удивилась, когда я признался ей и в том, что у нас не растут лимоны, что мы, приготовляя пунш, принуждены сильно выжимать те немногие лимоны, которые мы получаем из Италии, и с отчаяния подливаем в этот пунш тем больше рому. «Ах, сударыня,— сказал я ей,— у нас очень холодно и сыро, наше лето — лишь выкрашенная в зеленый цвет зима; даже солнце принуждено у нас носить фланелевую куртку, чтобы не простудиться; под лучами такого желтого, флане-

левого солнца у нас не могут поспевать фрукты, они зелены и жалки на вид; между нами говоря, единственный зрелый плод у нас — печеные яблоки. Что касается винных ягод, то мы получаем их, так же как лимоны и апельсины, из чужих стран, и благодаря долгому пути они становятся плоскими и мучнистыми; только самый скверный сорт этих ягод мы можем получить в свежем виде из первых рук, и он до того горек, что получающий его даром начинает еще процесс об оскорблении действием [1].

Миндалины у нас бывают только припухшие. Короче говоря, мы испытываем недостаток во всех благородных плодах, и у нас есть только крыжовник, груши, орехи, сливы и прочий сброд».

ГЛАВА XVII

В самом деле, я был рад, что тотчас по прибытии в Италию свел хорошее знакомство, и если бы сила чувств не влекла меня к югу, я остался бы в Триенте, возле доброй торговки с ее вкусными винными ягодами и миндалем, возле маленького звонаря и, говоря начистоту, возле прекрасных девушек, толпами пробегавших мимо. Не знаю, согласятся ли другие путешественники с эпитетом «прекрасные», но мне триентинки особенно понравились. Это был как раз тот тип, который я люблю: а люблю я бледные элегические лица, на которых так болезненно-любовно светятся большие черные глаза; люблю также смуглый цвет тех гордых шей, которые еще Феб зацеловал, любя, до загара. Я люблю также эти чуточку перезрелые затылки с пурпурными пятнышками, точно их клевали птицы; но больше всего люблю я эту гениальную походку, эту немую музыку тела, формы, сохраняющие в движении сладостнейший ритм, роскошные, гибкие, божественно-сладострастные, то до смерти ленивые, то вдруг воздушно-гибкие и всегда высокопоэтичные. Я люблю все это, как люблю саму поэзию: мелодически движущиеся фигуры, чудесная человеческая симфония, звучавшая на моем пути,— все это нашло отклик в моем сердце и пробудило в нем родственные отзвуки.

Теперь исчезла волшебная сила первого впечатления, сказочное обаяние совершенно неведомого явления; теперь дух мой

---

[1] То есть пощечину. Игра слов: Feige — винная ягода, Ohrfeige — пощечина.— *Ред.*

спокойно, подобно критику, читающему поэму, созерцал эти женские образы восхищенно-вдумчивым взором. А такое созерцание обнаруживает много-много печального: богатство прошлого, нищету настоящего и сохранившуюся гордость. Дочери Триента наряжались бы охотно и теперь, как во времена Собора, когда город цвел бархатом и шелками; но Собор свершил немного, бархат поистерся, шелк посекся, и бедным детям ничего не осталось, кроме жалкой мишуры, которую они тщательно берегут в будни и в которую наряжаются только по воскресеньям. У многих нет и этих остатков былой роскоши, и они должны довольствоваться грубыми и дешевыми изделиями нашей эпохи. Поэтому встречаются трогательные контрасты между телом и платьем: тонко очерченный рот призван, казалось бы, царственно повелевать, а на него насмешливо бросает сверху тень жалкая кисейная шляпка с помятыми бумажными цветами, гордая грудь колышется под жабо из грубых поддельных фабричных кружев, а умнейшие бедра облекает глупейший ситец. О скорбь, ситец — имя твое, и притом — коричневый полосатый ситец! Ибо, увы! ничто не вызывало во мне более скорбного настроения, чем вид триентинки, формами и цветом лица подобной мраморной богине и прикрывающей эти антично-благородные формы платьем из коричневого полосатого ситца; казалось, каменная Ниобея внезапно повеселела, замаскировалась в наше модное мещанское платье и шагает нищенски-гордо и величаво-неуклюже по улицам Триента.

ГЛАВА XVIII

Когда я вернулся в «Locanda dell' Grande Europa» [1], где заказал себе хороший pranzo [2], у меня на душе и в самом деле было так тоскливо, что я не мог есть, а это говорит о многом. Я уселся у дверей соседней bottega [3], освежился шербетом и заговорил сам с собой:

«Капризное сердце! Вот ты теперь в Италии — почему же ты не тириликаешь? Может быть, вместе с тобою пробрались в Италию твои старые немецкие скорби, маленькие змеи, глубоко затаившиеся в твоих недрах, и теперь они радуются, и именно их дружное ликование вызывает в груди ту романтическую

---

[1] Гостиница «Великая Европа» *(итал.)*.
[2] Обед *(итал.)*.
[3] Лавка, здесь — кофейня *(итал.)*.

боль, что так странно колет внутри, и дрожит, и шипит? И почему бы не порадоваться иной раз и старым скорбям? Ведь здесь, в Италии, так красиво, красивы здесь и самые страдания; в этих разрушенных мраморных дворцах вздохи звучат много романтичнее, чем в наших маленьких кирпичных домиках; под этими лавровыми деревьями плачется гораздо приятнее, чем под нашими угрюмыми колючими елями, и при взгляде на идеальные очертания облаков на голубом небе Италии мечтается сладостнее, чем под пепельно-серым, будничным немецким небом, где даже тучи корчат почтенные мещанские рожи и скучно позевывают сверху. Оставайтесь же в груди моей, скорби! Нигде не найти вам лучшего пристанища. Вы мне дороги и милы, никто лучше меня не сумеет вас холить и беречь, и, признаюсь вам, вы доставляете мне удовольствие. И вообще, что такое удовольствие? Удовольствие — не что иное, как приятнейшая скорбь».

Этот монолог мелодраматически сопровождала музыка, которая вначале, должно быть, не привлекла моего внимания. Она раздавалась перед входом в кофейню и собрала большую толпу. Странное это было трио: двое мужчин и девушка, игравшая на арфе. Один из мужчин, одетый по-зимнему в белый байковый сюртук, был коренастый малый с широким красным разбойничьим лицом; оно пылало в рамке черных волос и черной бороды, подобно угрожающей комете; между ног его зажат был громадный контрабас, по которому он так яростно водил смычком, словно повалил наземь в Абруццах бедного путешественника и торопится смычком перерезать ему горло; другой был длинный тощий старик, дряхлое тело которого болталось в изношенном черном сюртуке, а белые, как снег, волосы представляли очень жалкий контраст с его комическими куплетами и дурацкими прыжками. Грустно, когда старый человек, под гнетом нищеты, принужден продавать за деньги уважение, на которое он имеет право в силу своего возраста, и корчит из себя шута; насколько же грустнее, когда он проделывает это в присутствии или даже в обществе своего ребенка! А девушка была дочерью старого клоуна и аккомпанировала на своей арфе самым недостойным выходкам старика отца, а иногда отставляла арфу в сторону и начинала петь с ним комический дуэт: он изображал старого влюбленного щеголя, она — его молодую бойкую возлюбленную. При всем том девушка, казалось, еще не вышла из детского возраста, и похоже было, что из ребенка, еще не вступившего в девическую пору, сразу сделали женщину — и женщину отнюдь не добродетельную. Отсюда вялая блеклость и дрожь недоволь-

ства на красивом личике, гордые черты которого насмешливо отклоняли всякую попытку выразить сострадание; отсюда скрытая печаль в глазах, так вызывающе сверкавших из-под своих черных триумфальных арок; отсюда выражение глубокого страдания, составлявшее такой жуткий контраст с улыбкой прекрасных губ, с которых она слетала; отсюда болезненность нежной фигуры, обтянутой как можно плотнее коротеньким бледно-фиолетовым шелковым платьицем. При этом на поношенной соломенной шляпе развевались пестрые атласные ленты, а грудь украшена была весьма символически раскрытым розовым бутоном, который казался не естественно расцветшим, а скорее насильственно расправленным в своей зеленой оболочке. В то же время эта несчастная девушка, эта весна, уже овеянная губительным дыханием смерти, обладала неописуемой привлекательностью, грацией, сказывавшейся в каждом взгляде, в каждом движении, в каждом звуке и не изменявшей ей даже тогда, когда она, подавшись вперед всем своим тельцем, насмешливо-сладострастно приплясывала навстречу отцу, а он, столь же непристойным образом, выпятив живот, ковылял к ней. Чем наглее были ее движения, тем больше сострадания внушала она мне; когда же из ее груди вылетали нежные и чарующие звуки песни, как бы прося о прощении, змееныши в моей груди начинали ликовать и кусать себе хвосты от удовольствия. И роза, казалось мне, смотрела на меня умоляюще; раз я видел даже, как она задрожала, побледнела, но в тот же миг еще радостнее зазвенели в высоте девичьи трели, старик заблеял еще более влюбленно, красная кометоподобная рожа стала истязать свой контрабас с такой яростью, что тот начал издавать ужасающие комические звуки, и слушатели загоготали еще более бешено.

ГЛАВА XIX

Это была музыкальная пьеса в чисто итальянском вкусе, из какой-то оперы-буфф, того удивительного жанра, который дает полнейший простор юмору и где этот юмор может проявиться со всеми своими веселыми прыжками, безумной впечатлительностью, скорбным смехом и смертельной воодушевленностью, жадно влюбленной в жизнь. Это был стиль Россини, проявившийся с особой прелестью в «Севильском цирюльнике».

Хулители итальянской музыки, отказывающие и этому ее жанру в признании, не избегнут когда-нибудь заслуженного возмездия в аду и будут, возможно, осуждены не слушать целую

вечность ничего, кроме фуг Себастьяна Баха. Жаль мне многих моих коллег, например Релльштаба, которого также не минует это проклятие, если он перед смертью не обратится к Россини. Россини, divino maestro[1], солнце Италии, расточающее свои звонкие лучи всему миру! Прости моих бедных соотечественников, поносящих тебя на писчей и промокательной бумаге! Зато я восхищаюсь твоими золотыми тонами, звездами твоих мелодий, твоими искрящимися мотыльковыми грезами, так любовно порхающими надо мной и целующими мое сердце устами граций. Divino maestro, прости моих бедных соотечественников, которые не видят твоей глубины, потому что ты прикрыл ее розами и кажешься недостаточно глубокомысленным и солидным, ибо ты порхаешь так легко, с таким божественным размахом крыл! Правда, чтобы любить нынешнюю итальянскую музыку и, любя, понимать ее, надо иметь перед глазами самый народ, его небо, его характер, выражение лиц, его страдания и радости, всю его историю, от Ромула, основавшего священное римское царство, до позднейшего времени, когда оно пало при Ромуле Августуле II. Бедной порабощенной Италии запрещается говорить, и она может лишь с помощью музыки поведать свои сердечные чувства. Все свое негодование против чужеземного владычества, свою жажду свободы, свое бешенство перед сознанием собственного бессилия, свою скорбь при мысли о прошлом величии и, наряду с этим, свои слабые надежды, свое ожидание, свою страстную мольбу о помощи — все это претворяет она в мелодии, выражающие все — от причудливого опьянения жизнью до элегической мягкости,— и в пантомимы, переходящие от льстивых ласк к грозному затаенному бешенству.

Таков эзотерический смысл оперы-буфф. Экзотерическая стража, в присутствии которой эта опера исполняется, отнюдь не подозревает, каково значение этих веселых любовных историй, любовных горестей и шалостей, в которых итальянец скрывает свои убийственные освободительные замыслы, подобно тому как Гармодий и Аристогитон скрывали свой кинжал в миртовом венке. «Это просто дурацкая шутка»,— говорит экзотерическая стража, и хорошо, что она ничего не замечает. В противном случае импресарио вместе с примадонной и премьером очутился бы скоро на подмостках, именуемых крепостью; была бы учреждена следственная комиссия, все опасные для государства трели и революционные колоратуры были бы занесены в протокол, было бы арестовано множество арлекинов, замешанных в

[1] Божественный маэстро *(итал.)*.

дальнейших ответвлениях преступного заговора, а также Тарталья, Бригелла и даже старый осторожный Панталоне; бумаги доктора из Болоньи были бы опечатаны, сам он был бы оставлен под сильнейшим подозрением, а у Коломбины глаза распухли бы от слез по поводу такого семейного несчастья. Но, я думаю, подобное несчастье не разразится над этими добрыми людьми, так как итальянские демагоги хитрее бедных немцев, которые, затеяв то же самое, замаскировались черными дураками, в черные дурацкие колпаки, но имели унылый вид, столь бросающийся в глаза, принимали столь грозные позы и корчили столь серьезные физиономии, совершали такие основательные дурацкие прыжки, называя их гимнастическими упражнениями, что правительства наконец обратили на них внимание и были вынуждены упрятать их в тюрьмы.

ГЛАВА XX

Маленькая арфистка заметила, вероятно, что, пока она пела и играла, я часто посматривал на розу на ее груди, и, когда я бросил в оловянную тарелку, в которую она собирала свой гонорар, довольно крупную монету, она хитро улыбнулась и спросила таинственно, не желаю ли я получить ее розу.

Но ведь я — самый вежливый человек в целом свете. И ни за что на свете я не смог бы обидеть розу, будь то даже роза, уже потерявшая часть своего аромата. Если даже, думал я, она уже не благоухает свежестью и не пахнет добродетелью, как роза Сарона, какое мне до этого дело, мне, у которого к тому же отчаянный насморк! Только люди принимают это так близко к сердцу. Мотылек не спрашивает у цветка: целовал ли уже тебя кто-либо другой? И цветок не спрашивает: порхал ли ты вокруг другого цветка. К тому же наступила ночь, а ночью, подумал я, все цветы серы, и самая грешная роза не хуже самой добродетельной петрушки. Словом, без долгих колебаний, я сказал маленькой арфистке: «Si, signora...» [1]

Только не подумай ничего дурного, дорогой читатель. Уже стемнело, и звезды смотрели мне в сердце так ясно и благочестиво. В самом же сердце трепетало воспоминание о мертвой Марии. Я думал опять о той ночи, когда стоял у постели, на которой покоилось прекрасное бледное тело с кроткими, тихими губами. Я думал опять о том особенном взгляде, который бро-

[1] Да, синьора *(итал.)*.

сила на меня старуха, сторожившая у гроба и передавшая мне на несколько часов свои обязанности. Я думал вновь о ночной фиалке; она стояла в стакане на столе и благоухала так странно. И мною опять овладело странное сомнение: действительно ли это был порыв ветра — то, от чего погасла лампа? Действительно ли в комнате не было никого третьего?

ГЛАВА XXI

Скоро я лег в постель, тут же уснул и утонул в нелепых сновидениях. А именно, я видел себя во сне возвратившимся на несколько часов назад: я только что прибыл в Триент и поражался так же, как раньше, даже больше прежнего, ибо по улицам вместо людей прогуливались цветы.

Здесь бродили пылающие гвоздики, томно обмахиваясь веерами, кокетливые бальзамины, гиацинты с красивыми пустыми головками-колокольчиками, а за ними — толпа усатых нарциссов и неуклюжих рыцарских шпор. На углу ссорились две маргаритки. Из окошка старого дома болезненной внешности выглядывал левкой, весь в крапинках, разукрашенный с нелепой пестротой, а за ним звучал очаровательно пахнущий голос фиалки. На балконе большого палаццо на Рыночной площади собралось все дворянство, вся знать, а именно — те лилии, которые не работают, не прядут и все же чувствуют себя так же великолепно, как царь Соломон во всей славе своей. Показалось мне, что я увидел там и толстую торговку фруктами; но, когда я присмотрелся внимательно, она оказалась зазимовавшим лютиком, который тотчас же накинулся на меня на берлинском наречии: «Что вам здесь нужно, незрелый цветок, кислый огурец? Обыкновеннейший цветок с одной тычинкой! Вот я вас сейчас полью!» В страхе поспешил я в собор и чуть не наскочил на старую прихрамывающую иван-да-марью, за которой одуванчик нес молитвенник. В соборе было опять-таки очень приятно: там длинными рядами сидели разноцветные тюльпаны и благочестиво кивали головами. В исповедальне сидела черная редька, а перед ней на коленях стоял цветок, лица его не было видно. Но он благоухал так жутко знакомо, что я опять почему-то вспомнил о ночной фиалке в комнате, где лежала мертвая Мария.

Когда я вышел из собора, мне повстречалась похоронная процессия, состоявшая из одних только роз в черных вуалях, с белыми платочками, и — увы! — на катафалке лежала преждевременно раскрытая роза, которую я увидел на груди у малень-

кой арфистки. Теперь она была еще привлекательнее, но бледна как мел — белый труп розы. У маленькой часовни гроб сняли, послышались плач и рыдания; под конец вышел старый полевой мак и стал читать длинную отходную проповедь, в которой было много болтовни о добродетелях покойной, о земной юдоли, о лучшем мире, о вере, надежде и любви, все это протяжно-певуче, в нос,— водянистая речь, такая длинная и скучная, что я от нее проснулся.

ГЛАВА XXII

Мой возница запряг своих коней раньше, чем Гелиос, так что к обеду мы достигли Алы. Здесь возницы задерживаются обычно на несколько часов, чтобы переменить экипаж.

Ала — уже чисто итальянский городишко. Расположен он живописно, на склоне горы; река с шумом катится мимо, веселые зеленые лозы обвивают там и сям покосившиеся, натыкающиеся друг на друга залатанные нищенские дворцы. На углу площади, размером с птичий двор, величественными громадными буквами написано: «Piazza di San Marco» [1]. На каменном обломке большого стародворянского герба сидел маленький мальчик и делал нужное дело. Яркое солнце освещало его наивную спину, а в руках он держал бумажку с изображением святого, которую он предварительно с жаром поцеловал. Маленькая, восхитительно красивая девочка стояла рядом, погруженная в созерцание, и время от времени дула, аккомпанируя мальчику, в деревянную детскую трубу.

Гостиница, где я остановился и обедал, тоже была в чисто итальянском вкусе. Наверху, во втором этаже,— открытая терраса с видом на двор, где валялись разбитые экипажи и темные кучи навоза, разгуливали индюки с дурацки красными зобами и спесивые павлины, а с полдюжины оборванных загорелых мальчишек искали друг у друга в головах по белль-ланкастерской методе. Через террасу с изломанными железными перилами попадаешь в большую гулкую комнату. Мраморный пол, посредине широкая кровать, на которой блохи справляют свадьбу; повсюду невероятная грязь. Хозяин прыгал взад и вперед, чтобы предугадать мои желания. Он был в ярко-зеленой домашней куртке; лицо, все в морщинах, отличалось подвижностью; на нем торчал длинный горбатый нос с волосатой красной бородавкой, сидевшей посредине, точь-в-точь как обезьяна

[1] Площадь Святого Марка *(итал.)*.

в красной куртке на спине верблюда. Хозяин прыгал взад и вперед, и казалось, красная обезьянка на его носу тоже прыгает вместе с ним. Но прошел целый час, прежде чем он принес хоть что-нибудь; а когда я выругался, он стал уверять меня, что я уже очень хорошо говорю по-итальянски.

Я принужден был долгое время довольствоваться приятнейшим запахом жаркого, доносившимся из кухни без дверей. Там сидели рядом мать и дочь, пели и ощипывали кур. Мать была отменно толста: груди в пышном изобилии вздымались кверху, но все же были невелики по сравнению с колоссальной задней частью, так что первые казались «Институциями», а последняя — их расширенным изданием — «Пандектами». Дочь, не особенно высокая, но солидного сложения особа, казалось, тоже была склонна к полноте; но ее цветущий жир не шел ни в какое сравнение со старым салом матери. Черты ее лица не отличались ни приятностью, ни привлекательностью молодости, но были вполне соразмерны, благородны, античны; локоны и глаза — жгуче-черные. У матери, наоборот, были плоские тупые черты, розовый нос, голубые, похожие на вываренные в молоке фиалки глаза и напудренные до лилейной белизны волосы. Время от времени прибегал вприпрыжку хозяин, il signor padre [1], и требовал какую-нибудь посуду или вещь, на что ему спокойно, речитативом отвечали, чтобы он поискал сам. Тогда он, прищелкнув языком, начинал рыться в шкафах, пробовал содержимое кипящих горшков, обжигался и убегал вприпрыжку, а с ним — его нос-верблюд и красная обезьянка. Всем им вдогонку неслись самые веселые трели, знак нежной насмешки и родственного подтрунивания.

Но это мирное, почти идиллическое занятие прервано было внезапно разразившейся грозою: ворвался дюжий парень со свирепой разбойничьей физиономией и прокричал что-то, чего я не понял. Обе женщины отрицательно покачали головами; тогда он впал в безумную ярость и стал изрыгать огонь и пламя, как маленький Везувий во время извержения. Хозяйка, видимо, испугалась и пробормотала несколько успокоительных слов, однако они произвели совершенно обратное действие: окончательно взбесившись, парень схватил железную лопату, разбил несколько ни в чем не повинных тарелок и бутылок и, наверное, поколотил бы бедную женщину, если бы дочь не схватила длинный кухонный нож и не пригрозила зарезать его, если он тотчас не уберется.

---

[1] Синьор отец *(итал.)*.

Это было прекрасное зрелище: девушка стояла бледная, окаменевшая от гнева, словно мраморная статуя; губы ее были также бледны, глубокие глаза горели убийственным огнем, голубая жила вздулась поперек лба, черные локоны извивались, как змеи, в руках — кровавый нож. Я затрепетал от восторга, узрев перед собою живой образ Медеи, столь часто грезившейся мне в ночи моей юности, когда я засыпал у нежного сердца Мельпомены, сумрачно-прекрасной богини.

Во время этой сцены signor padre ни на минуту не утратил равновесия духа: с деловитым спокойствием собрал он осколки с пола, отставил в сторону тарелки, оставшиеся в живых, и потом принес мне: суп с пармезаном, жаркое, жесткое и твердое, как немецкая верность, раков, красных, как любовь, зеленый, как надежда, шпинат с яйцами, а на десерт тушеный лук, вызвавший у меня слезы умиления.

— Это пустяки, такая уж манера у Пьетро,— сказал он, когда я с удивлением указал на кухню; и действительно, когда зачинщик ссоры удалился, казалось, вовсе ничего и не произошло: мать с дочерью опять сидели так же спокойно, пели и щипали кур.

Счет убедил меня в том, что signor padre тоже смыслит кое-что в ощипывании, и когда я, уплатив по счету, дал ему еще на чай, он чихнул от удовольствия так сильно, что обезьянка едва не свалилась со своего места. Затем я дружески кивнул в сторону кухни, получил дружеский кивок в ответ, и вскоре я вновь сидел в другом экипаже, быстро катил вниз по Ломбардской равнине и к вечеру достиг древнего, всемирно прославленного города Вероны.

ГЛАВА XXIII

Пестрая сила новых впечатлений окружала меня в Триенте обаянием лишь сумеречным и смутным, подобным сказочному видению; в Вероне же она охватила меня словно лихорадочным сном, полным ярких красок, резко обозначенных форм, призрачных трубных звуков и отдаленного звона оружия. Тут попадались обветшалые дворцы, глядевшие на меня так пристально, словно хотели доверить мне какую-то старинную тайну; они робели днем перед назойливостью человека и просили меня вернуться к ним ночью. И все-таки, несмотря на шум толпы и неистовое солнце, лившее свои красные лучи, не одна старая потемневшая башня успела бросить мне несколько

многозначительных слов; кое-где подслушал я и шепот разбитых колонн; а когда я всходил по невысокой лестнице, ведущей на Piazza de' Signori [1], камни поведали мне ужасную, кровавую историю, и я прочитал на углу слова: Scala Mazzanti [2].

Верона, древний всемирно прославленный город, расположенный по обеим сторонам Эча, служил всегда как бы первой стоянкой на пути германских кочевых племен, покидавших свои холодные северные леса и переходивших Альпы, чтобы насладиться золотым солнечным сиянием прелестной Италии. Одни тянулись дальше к югу, другие находили и это место достаточно приятным и располагались здесь с уютом, как на родине, облекаясь в шелковые домашние одеяния и мирно проводя время среди цветов и кипарисов, пока новые пришельцы, еще не успевшие снять с себя стальных одежд, не являлись с севера и не вытесняли их; эта история часто повторялась и получила у историков название переселения народов. Бродя теперь по Вероне и ее окрестностям, всюду находишь причудливые следы той эпохи, так же как и следы более раннего и более позднего времени. О римлянах особенно напоминают амфитеатр и триумфальные ворота; о Теодорихе-Дитрихе Бернском, которого еще поют и славят в легендах немцы, напоминают сказочные развалины нескольких византийских доготических зданий; сумасбродные башни напоминают короля Альбоина и его свирепых лангобардов; овеянные легендами памятники напоминают о Карле Великом, паладины которого изваяны у дверей собора с той франкской грубостью, какая их, несомненно, отличала в жизни,— и, когда глядишь на все это, начинает казаться, что весь город — большой постоялый двор народов; и как постояльцы гостиницы имеют обыкновение писать свои имена на стенах и окнах, так и здесь каждый народ оставил следы своего пребывания, часто, правда, в не слишком удобочитаемой форме, ибо многие немецкие племена не умели еще писать и должны были довольствоваться тем, что разрушали что-нибудь на память о себе; этого, впрочем, было вполне достаточно, так как развалины говорят красноречивее затейливых письмен. Варвары, вступившие ныне в старую гостиницу, не замедлят оставить такие памятники своего милого пребывания, так как им недостает скульпторов и поэтов, чтобы удержаться в памяти человечества с помощью более мягких средств.

Я пробыл в Вероне только один день, непрестанно удив-

---

[1] Площадь Господ *(итал.)*.
[2] Лестница Убитых *(итал.)*.

ляясь никогда не виданному и вглядываясь то в старинные здания, то в людей, кишевших среди них с таинственным одушевлением, то, наконец, в божественно голубое небо, которое заключало все это как бы в драгоценную раму и превращало все в законченную картину. Странное, однако, чувство, когда сам торчишь посреди картины, которую только что рассматривал, когда тебе то и дело улыбаются на этой картине фигуры, особенно женские, что я с приятностью испытал на Piazza delle Erbe [1]. Это, в сущности, овощной рынок, а на нем — изобилие восхитительных женщин и девушек, с томными большеглазыми лицами, с чудными чарующими телами, обольстительно-жёлтыми, наивно-грязными, созданными скорее для ночи, чем для дня. Белые или черные покрывала, которые носят на голове горожанки, были так хитро перекинуты через грудь, что больше подчеркивали красивые формы, чем скрывали их. У девушек были шиньоны, приколотые одной или несколькими золотыми стрелами или же серебряной булавкой с наконечником в виде желудя. На крестьянках большей частью были маленькие соломенные шляпки в виде тарелок, прикрепленные с одной стороны к волосам кокетливыми цветами. Мужской наряд меньше отличался от нашего, и только громадные черные бакенбарды, пышно растущие из-под галстука, бросались в глаза мне, впервые увидевшему эту моду.

Но если пристально вглядишься в этих людей, мужчин и женщин, откроешь в их лицах и во всем их существе следы цивилизации, отличающейся от нашей тем, что она ведет начало не от средневекового варварства, а от римской эпохи, цивилизации, которая никогда не была вполне искоренена и лишь видоизменялась сообразно с характером разных хозяев страны. Цивилизация этих людей не отличается такой бьющей в глаза свежестью полировки, как у нас, где дубовые столы только вчера обтесаны и все еще пахнет лаком. Кажется, что этот человеческий поток на Piazza delle Erbe на протяжении веков постепенно менял только одежду и обороты речи, нравы же здесь мало изменились. Здания, окружающие эту площадь, по-видимому, были не в состоянии так легко угнаться за временем; от этого, однако, вид их не менее привлекателен, он чудесным образом трогает душу. Здесь расположены высокие дворцы в венецианско-ломбардском стиле, с бесчисленными балконами и смеющимися фресками; посредине возвышается единственный памятник — колонна, фонтан и каменная статуя святой;

[1] Площадь Трав *(итал.)*.

виднеется затейливо расписанный в красную и белую краску Подеста, гордо вздымающийся за величественными стрельчатыми воротами; там замечаешь снова старую четырехугольную колокольню, на которой часовые стрелки и циферблат наполовину разрушены, так что похоже на то, что время само решило покончить с собой,— над всей площадью веет то романтическое очарование, которое так радостно сквозит в фантастических поэмах Людовико Ариосто или Людовико Тика.

Близ площади находится дом, который считают дворцом Капулетти благодаря шляпе, высеченной из камня на внутренних воротах. Теперь это грязный кабак для извозчиков и кучеров, и в качестве трактирной вывески над ним висит красная дырявая шляпа из жести. Невдалеке, в церкви, показывают капеллу, где, согласно преданию, была помолвлена несчастная влюбленная пара. Поэт охотно посещает такие места, хотя бы он и посмеивался сам над легковерием своего сердца. Я застал в этой капелле одинокую женщину, жалкое, поблекшее существо; после длительной молитвы и коленопреклонения она со вздохом поднялась, удивленно посмотрела на меня болезненным, тихим взглядом и, наконец, вышла, ковыляя, словно у нее были переломаны кости.

Гробницы Скалигеров находятся тоже невдалеке от Piazza delle Erbe. Они так же поразительно вылеплены, как этот гордый род, и жаль, что они расположены в тесном углу, где должны жаться друг к другу, чтобы занять как можно меньше места и где наблюдателю даже трудно рассмотреть их как следует. Похоже на то, что здесь символически представлена историческая участь этого рода: он занимает столь же малый уголок в общей итальянской истории, но этот уголок заполнен блеском подвигов, пышностью нравов и величием гордого духа. Каковы они в истории, таковы и в памятниках — гордые железные рыцари на железных конях, и всех величественнее Кангранде — дядя и Мастино — племянник.

ГЛАВА XXIV

О веронском амфитеатре говорили многие: там довольно места для размышлений, и нет таких размышлений, которые не вместились бы в круг этого знаменитого сооружения. Выстроен он именно в том строго деловитом стиле, красота которого — в законченной солидности и, подобно всем общественным римским зданиям, выражает дух, являющий не что иное, как дух

самого Рима. А Рим? Найдется ли человек настолько невежественно-здоровый, что сердце его не затрепещет втайне при этом имени? Или, по крайней мере, не испытает традиционного потрясения мыслей? Что касается меня, то, признаюсь, я почувствовал больше тревоги, чем радости, при мысли, что скоро буду бродить по земле Древнего Рима. «Но ведь Древний Рим теперь мертв,— успокаивал я свою трепетную душу,— и тебе выпала отрадная участь обозревать, не подвергаясь опасности, его прекрасные останки». И все же вслед за тем возникали во мне опять фальстафовские размышления: а если он не совсем еще мертв, а только прикидывается и восстанет опять — это было бы ужасно!

Когда я посетил амфитеатр, там разыгрывали комедию: посредине арены на маленьких деревянных подмостках шел итальянский фарс, а зрители расположились под открытым небом, частью на маленьких стульчиках, частью на высоких каменных скамьях старого амфитеатра. Я сидел и смотрел на шуточные схватки Бригеллы и Тартальи на том самом месте, где когда-то сидели римляне, созерцая своих гладиаторов и травлю зверей. Небо надо мною, голубая хрустальная чаша, было то же, что и над ними. Понемногу смеркалось, загорались звезды, Труффальдино смеялся, Смеральдина плакала; наконец явился Панталоне и соединил их руки. Публика зааплодировала и в восторге потянулась к выходу. Вся игра не стоила ни одной капли крови. Но это и была всего только игра. А римские игры не были играми. Эти люди не могли довольствоваться одной только видимостью, им недоставало детской душевной ясности, и, при свойственной им серьезности, они проявляли эту серьезность в чистейшем и кровавом виде в своих играх. Они не были великими людьми, но благодаря своему положению были выше других земных существ, ибо опирались на величие Рима. Стоило им сойти с семи холмов, и они становились маленькими. Поэтому такими ничтожными они кажутся нам в своей частной жизни. Геркуланум и Помпея, эти палимпсесты природы, где выкапывают теперь из-под земли старые каменные тексты, обнаруживают перед глазами путешественников частную жизнь римлян в маленьких домиках с крохотными комнатушками, составляющими такой резкий контраст с колоссальными постройками, предназначенными для жизни общественной: театрами, водопроводами, колодцами, дорогами, мостами, развалины которых и до сих пор вызывают изумление. Но в этом-то и вся суть: как греки велики идеей искусства, евреи — идеей единого всесвятого бога, так римляне велики идеей их Вечного Рима,

велики повсюду, где они, воодушевленные этой идеей, сражались, писали и строили. Чем более разрастается Рим, тем более распространяется эта идея, отдельные единицы теряются в ней, великие люди, возвышающиеся над другими, поддерживаются только ею, а ничтожество малых благодаря ей же становится еще заметнее. Потому-то римляне были одновременно величайшими героями и величайшими сатириками,— героями, когда они действовали, помышляя о Риме, и сатириками, когда они помышляли о Риме, осуждая действия соотечественников. Крупнейшие люди должны были казаться ничтожными, когда к ним применялась идея столь необъятного масштаба, как идея Рима, и потому они не могли избежать сатирической оценки. Тацит — самый беспощадный мастер сатиры, ибо он глубже других чувствовал величие Рима и ничтожество людей. Он чувствует себя в своей стихии всякий раз, когда может сообщить, что передавали на форуме злые языки о какой-либо низости императора; он злобно-счастлив, когда может рассказать о скандале с каким-либо сенатором, например о неудачной лести.

Я долго еще разгуливал по верхним скамьям амфитеатра, погруженный в мысли о прошлом. И так как при вечернем свете все здания наиболее ясно проявляют присущий им дух, то и эти стены порассказали мне на своем отрывочном, лапидарном языке много значительнейших вещей: они поведали мне о мужах Древнего Рима, и казалось мне, я вижу, как бродят эти белые тени внизу, подо мною, в темном цирке. Казалось, я вижу Гракхов с их вдохновенными глазами мучеников. «Тиберий Семпроний! — воскликнул я.— Я буду голосовать с тобою за аграрный закон!» Увидел я и Цезаря рука об руку с Марком Брутом. «Разве вы опять помирились?» — воскликнул я. «Мы оба считали себя правыми,— засмеялся Цезарь,— я не знал, что существует еще один римлянин, и считал себя вправе упрятать Рим в карман, а так как сын мой Марк оказался таким римлянином, то он счел себя вправе убить меня за это». Позади обоих скользил Тиберий Нерон с расплывающимися ногами и неопределенными чертами лица. Видел я также, как бродили там женщины, среди них Агриппина с прекрасным, властолюбивым лицом, удивительно трогательным, как у древней мраморной статуи, в чертах которой как бы окаменела скорбь. «Кого ты ищешь, дочь Германика?» Уже до моего слуха донеслись ее жалобы, но вдруг раздался глухой звон вечернего колокола и роковой барабан вечерней зо́ри. Гордые духи Рима исчезли, и я остался лицом к лицу с христианско-австрийской действительностью.

ГЛАВА XXV

Когда стемнеет, на площади Ла-Бра высший свет Вероны прогуливается или восседает на маленьких стульчиках перед кофейнями, поглощая шербет, вечернюю прохладу и музыку. Там приятно посидеть: мечтательное сердце убаюкивается сладостными звуками и само звучит им в тон. Порою, когда загремят трубы, оно очнется, словно опьянев от сна, и вторит всему оркестру. Тогда душу пронизывает солнечная бодрость, расцветают пестрые чувства и воспоминания с их глубокими черными очами, и поверх всего проплывают, подобно облакам, мысли, гордо, медленно, вечно.

Далеко за полночь бродил я по улицам Вероны, постепенно пустевшим и удивительно гулким. При свете молодого месяца обрисовывались здания с их статуями, и бледно и болезненно взирали на меня порою мраморные лики. Я торопливо прошел мимо гробниц Скалигеров: мне показалось, что Кангранде, со свойственной ему по отношению к поэтам любезностью, хочет сойти с коня и сопровождать меня. «Сиди на месте,— крикнул я ему,— ты мне не нужен, мое сердце — лучший чичероне, оно повсюду рассказывает мне об историях, случившихся в домах, рассказывает точно, во всех подробностях, вплоть до имен и годов!»

Когда я подошел к римской триумфальной арке, оттуда выскользнул черный монах, и вдалеке раздалось ворчливое немецкое: «Кто идет?» — «Свои»,— пропищал чей-то самодовольный дискант.

Но какой женщине принадлежал голос, так сладостно проникший мне в душу, когда я поднимался по Scala Mazzanti? То была песня, словно исходившая из груди умирающего соловья, предсмертно-нежная и будто молящая о помощи; каменные дома повторили ее своим эхом. На этом месте Антонио делла Скала убил своего брата Бартоломео, когда тот шел к возлюбленной. Сердце говорило мне, что она все еще сидит в своей комнате, ждет возлюбленного и поет, чтобы заглушить страшное предчувствие. Но вскоре песня и голос показались мне очень знакомыми; я уже прежде слышал эти бархатные, страстные, истекающие кровью звуки; они охватили меня, словно нежные, полные мольбы воспоминания. «Глупое сердце,— сказал я сам себе,— разве ты забыло песню о больном мавританском короле, которую так часто пела мертвая

Мария? А самый голос — разве ты забыло голос мертвой Марии?»

Протяжные звуки преследовали меня по всем улицам вплоть до гостиницы «Due Torre» [1], вплоть до самой моей спальни, до сновидений — и опять я увидел мою любимую, жизнь мою, прекрасной и недвижимой; сторожившая гроб старуха опять удалилась, бросив в сторону загадочный взгляд; ночная фиалка благоухала; я опять поцеловал милые губы, и дорогая покойница медленно поднялась, чтобы возвратить мне поцелуй.

Если бы только знать, кто потушил свет!

ГЛАВА XXVI

Ты знаешь край? Цветут лимоны в нем...

Ты знаешь эту песню? Вся Италия изображена в ней, но изображена в томящих тонах страсти. В «Итальянском путешествии» Гете воспел ее несколько подробнее, а Гете пишет всегда, имея оригинал перед глазами, и можно вполне положиться на верность контуров и окраски. Потому-то я нахожу уместным здесь сослаться на «Итальянское путешествие» Гете, тем более что до Вероны он ехал тем же путем, через Тироль. Я уже прежде говорил об этой книге, еще не будучи знаком с материалом, который подвергнут в ней обработке, и нахожу, что мои суждения, основанные на предчувствии, вполне подтверждаются. В книге этой мы повсюду наблюдаем реальное понимание и спокойствие природы. Гете держит перед ней зеркало, вернее — сам он является зеркалом природы. Природа пожелала узнать, как она выглядит, и создала Гете. Даже мысли ее, ее устремления отражает он, и нельзя поставить в упрек пылкому гетеанцу, особенно в жаркие летние дни, то обстоятельство, что он, изумясь тождеству отражений и оригиналов, приписывает зеркалу творческую силу, способность создавать такие же оригиналы. Некий господин Эккерман написал как-то книгу о Гете, где совершенно серьезно уверяет, что если бы господь бог при сотворении мира сказал Гете: «Дорогой Гете, я, слава богу, покончил со всем, кроме птиц и деревьев, и ты сделал бы мне большое одолжение, если бы согласился создать

[1] «Две башни» *(итал.)*.

за меня эту мелочь»,— то Гете не хуже самого господа бога сотворил бы этих птиц и эти деревья, в полном соответствии со всем мирозданием, а именно — птиц создал бы пернатыми, а деревья — зелеными.

В словах этих заключается истина, и я даже держусь того мнения, что Гете в некоторых случаях лучше бы справился с делом, чем сам господь бог, что, например, он создал бы господина Эккермана в более правильном виде, а именно — тоже пернатым и зеленым. Право, природа совершила ошибку, не украсив головы господина Эккермана зелеными перьями, и Гете пытался исправить этот недостаток тем, что выписал ему из Иены докторскую шляпу и собственноручно надел ее ему на голову.

Наравне с «Итальянским путешествием» Гете можно рекомендовать «Италию» г-жи Морган и «Коринну» г-жи Сталь. Недостаток таланта, который мог бы сделать этих дам незаметными рядом с Гете, они возмещают мужественным настроением, которого не хватает Гете. Так, леди Морган выражалась, как подобает мужчине, вселяла своими речами скорпионов в сердце наглых наемников, и мужественно-сладостны были трели этого порхающего соловья свободы. Точно так же г-жа Сталь, как известно всякому, была любезной маркитанткой в стане либералов и мужественно обходила ряды борцов со своим бочонком энтузиазма, подкрепляя усталых и сражаясь вместе с ними лучше, чем лучшие из них.

Что касается вообще описания итальянских путешествий, то В. Мюллер уже дал как-то давно в «Гермесе» их обозрение. Имя им — легион. Среди более ранних немецких писателей выделяются в этой области, в смысле ума и своеобразия: Мориц, Архенгольц, Бартельс, бравый Зейме, Арндт, Мейер, Бенковитц и Рефуес. Новейшие мне мало известны, лишь немногие из них доставили мне удовольствие и принесли пользу. Из числа таких я назову вышедшее из-под пера безвременно скончавшегося В. Мюллера «Рим, римляне и римлянки». Ах, он был немецким поэтом! Затем «Путешествие» Кефалидеса, несколько сухое; далее — «Цизальпинские страницы» Лессмана, несколько водянистые, и, наконец, «Путешествия в Италию, начиная с 1822 года, Фридриха Тирша, Людвига Шорна, Эдуарда Гергардта и Лео фон Кленце». Пока появилась только первая часть этой книги, содержащая преимущественно сообщения моего дорогого благородного Тирша, гуманный дух которого сквозит в каждой строке.

ГЛАВА XXVII

Ты знаешь край? Цветут лимоны в нем,
И апельсин в листве горит огнем.
Там с неба веет кроткий ветерок,
Тих скорбный мирт, и гордый лавр высок.
Ты знаешь край?
Туда с тобой
Хотела б я теперь, любимый мой!

Но не приезжай туда в начале августа, не то днем тебя изжарит солнце, а ночью загрызут блохи. Кроме того, дорогой читатель, не советую тебе отправляться из Вероны в Милан в почтовой карете.

Я ехал в обществе шести бандитов в тяжеловесной «кароце», которая была так заботливо укрыта со всех сторон от густейшей пыли, что я почти не заметил красот местности. Только дважды, до Брешии, сосед мой приподнял кожаную занавеску, чтобы сплюнуть. В первый раз я ничего не увидел, кроме нескольких вспотевших елок, сильно страдавших, казалось, в своих зеленых зимних одеяниях от томящего солнечного зноя; в другой раз я увидел кусочек дивно прозрачного голубого озера, в котором отражались солнце и тощий гренадер. Этот последний, австрийский Нарцисс, с детской радостью дивился тому, как отражение в точности повторяло его движения, когда он брал ружье на караул, на плечо или на прицел.

О самой Брешии я мало могу рассказать, так как воспользовался пребыванием там лишь для хорошего пранцо. Нельзя поставить в упрек бедному путешественнику, если он стремится утолить голод физический прежде, чем духовный. Но все же у меня хватило добросовестности, прежде чем снова сесть в карету, порасспросить о Брешии у камерьере; я узнал, между прочим, что в городе сорок тысяч жителей, одна ратуша, двадцать одна кофейня, двадцать католических церквей, один сумасшедший дом, одна синагога, один зверинец, одна тюрьма, одна больница, один столь же хороший театр и одна виселица для воров, укравших меньше ста тысяч талеров.

Около полуночи я прибыл в Милан и остановился у господина Рейхмана, немца, оборудовавшего свою гостиницу в чисто немецком вкусе. Это лучшая гостиница в Италии, как заявили мне несколько знакомых, которых я там встретил; об итальянских содержателях гостиниц и блохах они отзывались очень

плохо. Я только и слышал от них что возмутительные истории об итальянских мошенничествах; особенно расточал проклятия сэр Вильям, уверяя, что если Европа — мозг мира, то Италия — воровской орган этого мозга. Бедному баронету пришлось заплатить за скудный завтрак в «Locanda croce bianca» [1] в Падуе не более не менее, как двенадцать франков, а в Виченце с него потребовал на чай человек, поднявший перчатку, которую он обронил, садясь в карету. Его кузен Том уверял, что все итальянцы мошенники, с тою лишь особенностью, что они не воруют. Если бы он был попригляднее на вид, то заметил бы также, что все итальянки — мошенницы. Третьим в этом союзе оказался некий мистер Лайвер, которого я покинул в Брайтоне молодым теленком и нашел теперь в Милане сущим boeuf à la mode [2]. Он был одет как настоящий денди, и я никогда не видел человека, который превзошел бы его способностью изображать своей фигурой одни острые углы. Когда он засовывал большие пальцы в проймы жилета, кисти рук и остальные пальцы образовывали углы; даже пасть его разинута была в виде четырехугольника. Все это дополняла угловатая голова, узкая сзади, заостренная кверху, с низким лбом и очень длинным подбородком. Среди английских знакомых, которых я встретил в Милане, была и толстая тетка мистера Лайвера; подобно жировой лавине спустилась она с альпийских высот в обществе двух белых, как снег, и холодных, как снег, снежных гусят — мисс Полли и мисс Молли.

Не обвиняй меня в англомании, дорогой читатель, если я в этой книге часто говорю об англичанах; они сейчас в Италии слишком многочисленны, чтобы можно было их не замечать; они целыми полчищами кочуют по этой стране, располагаются во всех гостиницах, повсюду бегают, все осматривают, и трудно представить себе в Италии лимонное дерево без обнюхивающей его англичанки или картинную галерею без толпы англичан, которые со своими путеводителями в руках бегают по ней, проверяя, все ли указанные в книге достопримечательности налицо. Глядя на этих светловолосых и краснощеких людей, исполненных любопытства, принаряженных, перебирающихся через Альпы и тянущихся по всей Италии в блестящих каретах с пестрыми лакеями, ржущими скаковыми лошадьми, закутанными в зеленые вуали камеристками и прочим дорогим оборудованием,— кажется, что присутствуешь при некоем элегантном

[1] «Гостиница белого креста» *(итал.)*.

[2] Мясное блюдо; буквально: бык по моде *(франц.)*.

переселении народов. В самом деле, сын Альбиона, хоть он и носит чистое белье и платит за все наличными, все же кажется культурным варваром по сравнению с итальянцем, который являет скорее переходящую в варварство культуру. Первый обнаруживает в характере сдержанную грубость, второй — распущенную утонченность. А бледные итальянские лица, с страдальческими белками глаз, с болезненно-нежными губами — насколько они аристократичнее деревянных британских физиономий с их плебейски-здоровым румянцем! Весь итальянский народ внутренне болен, а больные, право, аристократичнее здоровых; ведь только больной человек становится человеком, у его тела есть история страданий, оно одухотворено. Я даже думаю, что путем страданий и животные могли бы стать людьми; я видел однажды умирающую собаку: она смотрела на меня в предсмертных муках почти как человек.

Выражение страдания заметнее всего на лицах итальянцев, когда говоришь с ними о несчастье их родины, а Милан дает для этого много поводов. Это самая болезненная рана в груди итальянцев, и они содрогаются, если даже слегка прикоснуться к ней. В таких случаях им свойственно движение плечами, наполняющее нас чувством особого сострадания. Один из моих британцев счел итальянцев равнодушными к политике на том основании, что они, казалось, безразлично слушали, как мы, чужестранцы, толковали о католической эмансипации и о турецкой войне; он был настолько несправедлив, что насмешливо высказал это в разговоре с одним бледным итальянцем с черной как смоль бородой. Накануне вечером мы присутствовали на представлении новой оперы в «La Scala» и созерцали картину неистовства, обычную в этих случаях. «Вы, итальянцы,— обратился британец к бледному человеку,— умерли, кажется, для всего, кроме музыки, только она еще может воодушевить вас».— «Вы несправедливы,— ответил бледный человек и сделал движение плечами.— Ах! — вздохнул он.— Италия скорбно грезит среди своих развалин; если время от времени она вдруг пробуждается при звуках какой-нибудь мелодии и бурно срывается с места, то воодушевление это вызвано не самой песней, а скорее воспоминаниями и чувствами, разбуженными песней. Италия всегда хранит их в сердце, и в таких случаях они с силой вырываются наружу — в этом смысл того дикого шума, который вы слышали в «La Scala».

Быть может, признание это — некоторый ключ к разгадке того энтузиазма, который вызывают по ту сторону Альп оперы Россини и Мейербера. Если мне когда-либо приходилось созер-

цать неистовство человеческое, так это на представлении «Crociato in Egitto» [1], где музыка переходила внезапно от мягких, скорбных тонов к ликующей боли. Такое неистовство именуется в Италии furore.

ГЛАВА XXVIII

Хотя мне и представляется теперь случай, дорогой читатель, коснувшись Бреры и Амброзианы, преподнести тебе свои суждения об искусстве, я, однако, пронесу мимо тебя чашу сию и удовольствуюсь замечанием, что тот самый острый подбородок, который придает оттенок сентиментальности картинам ломбардской школы, я наблюдал у многих ломбардских красавиц на улицах Милана. Мне всегда казалась в высшей степени поучительной возможность сопоставлять с произведениями какой-нибудь школы те оригиналы, которые служили для нее моделями; характер школы выяснялся при этом тем нагляднее. Так, на ярмарке в Роттердаме стал мне понятен Ян Стен в божественной своей веселости; позже таким же путем постиг я на Лунгарно правдивость форм и даровитость, свойственную флорентийцам, а на площади Святого Марка — чувство краски и мечтательную поверхностность венецианцев. Устремись же к Риму, душа моя, там, может быть, ты возвысишься до созерцания идеала и постигнешь Рафаэля!

Все же я не могу не упомянуть величайшую во всех смыслах достопримечательность Милана — его собор.

Издали кажется, что он вырезан из белой почтовой бумаги, а вблизи с испугом замечаешь, что эта резьба создана из неопровержимого мрамора. Бесчисленные статуи святых, покрывающие все здание, выглядывают всюду из-под готических кровелек и усеивают все вышки; все это каменное сборище может вызвать полный хаос в чувствах. Если рассматривать все сооружение несколько дольше, то все же находишь его очень красивым, исполински-прелестным, вроде игрушки для великанов в детстве. При полуночном лунном свете он представляет собой еще более красивое зрелище: все эти бесчисленные белокаменные люди сходят со своей тесной высоты, провожают вас по piazza и нашептывают на ухо старинные предания, забавно придуманные таинственные истории о Галеаццо Висконти, начавшем постройку собора, и о Наполеоне Бонапарте, продолжившем ее.

---

[1] «Распятый в Египте» *(итал.)*.

«Видишь ли,— сказал мне один странный святой, изваянный в новейшее время из новейшего мрамора,— видишь ли, мои старшие товарищи не могут понять, почему император Наполеон взялся так усердно за достройку собора. Но я-то хорошо понимаю: он сообразил, что это большое каменное здание, во всяком случае, окажется полезным сооружением и пригодится даже тогда, когда христианства больше не будет».

Когда христианства больше не будет... Я смертельно испугался, услыхав, что в Италии есть святые, говорящие таким языком, да еще на площади, где разгуливают австрийские часовые в медвежьих шапках и с ранцами. В то же время этот каменный чудак до известной степени прав: внутри собора летом веет приятной прохладой, там весело и уютно, и он не утратил бы своей ценности и при ином назначении.

Достроить собор было сокровенным замыслом Наполеона, и он был уже близок к цели, когда его могущество было сломлено. Теперь австрийцы заканчивают постройку. Продолжаются работы и над знаменитой триумфальной аркой, которая должна замыкать Симплонскую дорогу. Правда, статуя Наполеона не будет увенчивать арку, как предполагалось. Но все-таки великий император оставил по себе памятник много лучше и прочнее мраморного, и ни один австриец не скроет его от нашего взора. Когда мы, прочие, давно уже будем скошены косою времени и истлеем, как трава в поле, памятник этот все еще будет стоять невредимо; новые поколения возникнут на земле, будут с головокружением взирать снизу вверх на этот памятник и снова лягут в землю; и время, не имея сил разрушить памятник, попытается закутать его в легендарные туманы, и его исполинская история станет, наконец, мифом.

Быть может, через тысячелетия какой-нибудь хитроумный ученый в своей глубоко научной диссертации докажет неопровержимо, что Наполеон Бонапарт совершенно тождествен с другим титаном, похитившим огонь у богов, прикованным за это преступление к одинокой скале среди моря и отданным на растерзание коршуну, который непрестанно клевал его сердце.

ГЛАВА XXIX

Прошу тебя, дорогой читатель, не принимай меня за безусловного бонапартиста: я поклоняюсь не делам, а гению этого человека. Безусловно, люблю я его лишь до восемнадцатого брюмера — в этот день он предал свободу. И сделал он это не

по необходимости, а из тайного влечения к аристократизму. Наполеон Бонапарт был аристократ, дворянин и враг гражданского равенства, и война, навязанная ему в смертельной ненависти европейской аристократией во главе с Англией, оказалась колоссальным недоразумением; дело в том, что если он и намеревался произвести некоторые перемены в личном составе этой аристократии, то сохранил бы все же большую ее часть и ее основные принципы; он возродил бы эту аристократию, которая теперь повержена в прах своей собственной дряхлостью, потерей крови и усталостью от последней, несомненно, самой последней победы.

Дорогой читатель! Условимся здесь раз и навсегда. Я превозношу не дела, а только дух человеческий; дела — лишь одежды его, и вся история — не что иное, как старый гардероб человеческого духа. Но любовь любит иногда старые одежды, и именно так люблю я плащ Маренго.

«Мы на поле битвы при Маренго!» Как обрадовалось мое сердце, когда кучер произнес эти слова! Я выехал накануне вечером из Милана в обществе весьма учтивого лифляндца, старавшегося изображать из себя русского, а на следующее утро я увидел восход солнца над знаменитым полем битвы.

Здесь генерал Бонапарт глотнул так обильно из кубка славы, что в опьянении сделался консулом, императором и завоевателем мира, пока не протрезвился наконец на острове Святой Елены. Не много лучше пришлось и нам: мы опьянели вместе с ним, нам привиделись те же сны, мы, так же как и он, пробудились и с похмелья пускаемся во всякие дельные размышления. Иной раз нам кажется даже, что военная слава — устаревшее развлечение, что война должна принять более благородные формы и что Наполеон, быть может,— последний завоеватель.

Действительно, может показаться, будто теперь борьба идет не столько из-за материальных, сколько из-за духовных интересов, будто всемирная история должна стать уже не историей разбойников, а историей умов. Главный рычаг, который так умело и производительно приводили в движение честолюбивые и корыстные государи в своих собственных интересах, а именно — национализм с его тщеславием и ненавистью, обветшал и пришел в негодность; с каждым днем явно исчезают глупые националистические предрассудки, резкие различия сглаживаются во всеобщности европейской цивилизации. В Европе нет более наций, есть только партии, и удивительно, как они при наличии самых разнообразных окрасок так хорошо узнают друг друга и при таком несходстве языков так хорошо друг

друга понимают. Подобно тому, как есть материальная политика государств, так есть и духовная политика партий; и подобно тому, как политика государств способна создать из самой ничтожной войны, возгоревшейся между двумя незначительнейшими державами, общую европейскую войну, в которую с большим или меньшим жаром и, во всяком случае, с интересом вмешаются все государства, так не может теперь произойти в мире самое ничтожное столкновение, при котором, благодаря упомянутой политике партий, не возникли бы общие духовные интересы и самые далекие, чуждые по складу партии не оказались бы вынужденными выступить pro или contra[1]. Подобно политике партий, которую я называю политикой духовной, потому что ее интересы одухотворенней, а ее ultimae rationes[2] подкрепляются не металлом,— так же точно политика государств создает две большие группировки людей, враждебных друг другу и ведущих борьбу словом и мыслью. Лозунги и представители этих двух больших партийных групп меняются ежедневно, нет недостатка в путанице, часто возникают величайшие недоразумения, и число их скорее увеличивается, чем уменьшается при вмешательстве дипломатов этой духовной политики — писателей, но если умы и заблуждаются, то сердца чувствуют, и время идет, воздвигая свои великие задачи.

В чем же великая задача нашего времени?

Это — эмансипация. Не только эмансипация ирландцев, греков, франкфуртских евреев, вестиндских чернокожих и других угнетенных народов, но эмансипация всего мира, в особенности Европы, которая достигла совершеннолетия и рвется из железных помочей привилегированных сословий — аристократии. Пусть некоторые философы и ренегаты свободы продолжают ковать тончайшие цепи доводов, чтобы доказать, что миллионы людей созданы в качестве вьючных животных для нескольких тысяч привилегированных рыцарей: они не смогут убедить нас в этом, пока не докажут, выражаясь словами Вольтера, что первые родились на свет с седлами на спинах, а последние — со шпорами на ногах.

Всякое время имеет свои задачи, и, разрешая их, человечество движется вперед. Прежнее неравенство, установленное в Европе феодальной системой, было, быть может, необходимо или являлось необходимым условием для успехов цивилизации; теперь же оно подавляет ее и возмущает цивилизованные серд-

---

[1] За или против *(лат.)*.

[2] Последние доводы *(лат.)*.

ца. Французы, народ общественный, были, естественно, глубоко задеты этим неравенством, нестерпимо расходящимся с принципом общественности. Они попытались добиться равенства, принявшись попросту рубить головы тем, кто хотел во что бы то ни стало подняться над уровнем, и революция явилась сигналом для освободительной войны всего человечества.

Восхвалим французов! Они позаботились о двух величайших потребностях человеческого общества — о хорошей пище и о гражданском равенстве: в кулинарии и свободе они достигли величайших успехов, и когда мы все на равных правах соберемся на большой пир примирения, в хорошем расположении духа,— ибо что может быть лучше компании равных за хорошо накрытым столом? — то первый тост мы провозгласим за французов. Правда, пройдет еще некоторое время, пока можно будет устроить этот праздник, пока осуществится эмансипация; но оно наступит наконец, это время, и мы, примиренные и равные, усядемся за одним и тем же столом; мы объединимся тогда и в полном единении будем бороться со всяким мировым злом, и, быть может, в конце концов — даже со смертью, чья строгая система равенства нас не оскорбляет, по крайней мере не так, как самодовольное учение аристократов о неравенстве.

Не улыбайся, читатель будущего! Каждая эпоха верит в то, что ее борьба — самая важная из всех; в этом, собственно, и заключается вера данной эпохи, с этой верой она живет и умирает. Будем же и мы жить этой религией свободы и умрем с нею: быть может, она более заслуживает названия религии, чем пустой отживший призрак, который мы по привычке называем этим именем,— наша священная борьба представляется нам важнейшей из всех, какие когда-либо велись на земле, хотя историческое предчувствие и подсказывает нам, что когда-нибудь наши внуки будут смотреть на эту борьбу, быть может, с тем же равнодушием, с каким мы взираем на борьбу первых людей, сражавшихся с такими же жадными чудовищами — драконами, хищниками и великанами.

ГЛАВА XXX

На поле битвы при Маренго мысли налетают на тебя в таком количестве, что можно подумать — это те самые мысли, которые здесь оборвались внезапно у многих и теперь блуждают, как потерявшие хозяина собаки. Я люблю поля сражений: ведь, как ни ужасна война, все же она обнаруживает величие чело-

века, дерзающего противиться своему злейшему наследственному врагу — смерти. В особенности те поля сражений, где свобода совершила танец на кровавых розах, великолепный брачный танец! Франция была тогда женихом, созвала весь мир к себе на свадьбу и, как поется в песне:

Хейда! На вечеринке
Мы били не горшки —
Дворянские башки.

Но, увы! Каждая пядь, на которую человечество продвигается вперед, стоит потоков крови. Не слишком ли это дорого? Разве жизнь каждого человека не столь же ценна, как и жизнь целого поколения? Ведь каждый отдельный человек — целый мир, рождающийся и умирающий вместе с ним, под каждым надгробным камнем лежит история целого мира. Помолчим об этом, так могли бы говорить мертвые, павшие здесь, а мы живы, мы будем сражаться и впредь в священной войне за освобождение человечества.

«Кто теперь думает о Маренго! — сказал мой спутник, русский из Лифляндии, когда мы проезжали по отдыхающему полю.— Теперь все взоры устремлены на Балканы, где мой земляк Дибич оправляет чалмы на турецких головах, и мы еще в этом году займем Константинополь. Вы за русских?»

Это был вопрос, на который я охотно ответил бы где угодно, только не на поле битвы при Маренго. Я увидел в утреннем тумане человека в треугольной шляпе и сером походном плаще; он мчался вперед со скоростью мысли, вдалеке звучало жуткое, сладостное: «Allons, enfants de la patrie!» [1] И все-таки я ответил: «Да, я за русских».

И в самом деле, в удивительной смене лозунгов и вождей, в великой борьбе обстоятельства сложились так, что самый пылкий друг революции видит спасение мира только в победе России и даже смотрит на императора Николая как на глашатая свободы. Странная перемена! Еще два года назад мы эту роль приписывали одному английскому министру; вопли глубоко торийской ненависти по адресу Джорджа Каннинга решили в то время наш выбор; в дворянски неблагородных оскорблениях, которые он претерпел, мы видели гарантию его верности, и когда он умер смертью мученика, мы облачились в траур, и восьмое августа стало священным днем в календаре свободы. Но мы

[1] «Вперед, дети родины!» *(франц.)*

забрали знамя с Даунинг-стрит и перенесли его в Петербург, избрав знаменосцем императора Николая, рыцаря Европы, защитника греческих вдов и сирот от азиатских варваров, заслужившего в этой доблестной борьбе свои шпоры. Опять враги свободы слишком явно выдали себя, и мы вновь использовали всю остроту их ненависти, чтобы познать наше собственное благо. Вновь произошло обычное явление: ведь представители наши определяются не столько нашим собственным выбором, сколько голосами наших врагов, и, наблюдая удивительно подобранную общину, воссылавшую к небу благочестивые мольбы о спасении Турции и погибели России, мы скоро обнаружили, кто нам друг, или, вернее, кто внушает ужас нашим врагам. Ну, и смеялся, должно быть, господь бог на небе, слыша, как Веллингтон, великий муфтий, папа, Ротшильд I, Меттерних и целая свора дворянчиков, биржевиков, попов и турок молятся одновременно об одном и том же — о спасении полумесяца!

Все, что алармисты сочиняли до сих пор об опасности, которой подвергает нас чрезмерная мощь России,— сплошная глупость. Мы, немцы, по крайней мере, ничем не рискуем: немного меньше или немного больше рабства — не имеет значения, когда дело идет о завоевании самого высокого, об освобождении от остатков феодализма и клерикализма. Нам угрожают владычеством кнута, но я охотно отведаю и кнута, если буду уверен, что и враги наши его отведают. Бьюсь об заклад, они будут, как делали прежде, вилять хвостом перед новой властью, будут грациозно улыбаться и предложат самые постыдные услуги и в награду за это, раз уж приходится подвергнуться порке, выхлопочут себе привилегию получать почетный кнут, подобно сиамским вельможам, которых, когда они присуждены к наказанию, упрятывают в шелковые мешки и бьют надушенными палками, между тем как провинившиеся простолюдины получают лишь холщовый мешок и совсем не ароматные палки. Что ж, предоставим им эту привилегию, поскольку она единственная, лишь бы их поколотили, в особенности английскую знать. Пусть нас усердно уверяют, что это та самая знать, которая вырвала у деспотизма Великую хартию, что Англия, при устойчивости в ней гражданского сословного неравенства, все-таки гарантирует личную свободу, что Англия являлась убежищем для всех свободных умов, когда деспотизм угнетал весь континент — все это tempi passati! [1] Пусть провалится Англия со своими аристократами! Для свободных умов в случае нужды существует лучшее

[1] Прошедшие времена *(итал.)*.

убежище! Если бы вся Европа превратилась в сплошную тюрьму, то осталась бы лазейка для бегства, это — Америка, и, слава богу, лазейка эта больше, чем вся тюрьма.

Но все это смешные опасения. Если сравнить в отношении свободы Англию и Россию, то и самый мрачно настроенный человек не усомнится, к какой партии примкнуть. Свобода возникла в Англии на почве исторических условий, в России же — на основе принципов. Как сами эти условия, так и их духовные последствия носят печать средневековья; вся Англия застыла в своих не поддающихся омоложению средневековых учреждениях, за которыми аристократия окопалась и ждет смертельного боя. Те же принципы, на которых возникла русская свобода или, вернее, из которых она с каждым днем все больше и больше развивается,— это либеральные идеи новейшего времени; русское правительство проникнуто этими идеями, его неограниченный абсолютизм является скорее диктатурой, направленной к тому, чтобы внедрять эти идеи непосредственно в жизнь; это правительство не уходит корнями в феодализм и клерикализм, оно прямо враждебно стремлениям дворянства и церкви. Уже Екатерина ограничила церковь, а право на дворянство дается в России государственной службой. Россия — демократическое государство, я бы назвал ее даже христианским государством, если употреблять это часто извращаемое понятие в его лучшем всемирно-историческом значении: ведь русские уже в силу одного пространства своей страны свободны от ограниченного языческого национализма, они не знают национальной ограниченности, по крайней мере, на одной шестой земного шара, ибо Россия занимает почти шестую часть всего населенного мира.

И, право, когда какой-нибудь русский немец, вроде моего лифляндского спутника, патриотически хвастается и распространяется о «нашей России» и «нашем Дибиче», то мне кажется, будто я слушаю селедку, выдающую океан за свою родину и кита — за соотечественника.

ГЛАВА XXXI

«Я за русских»,— сказал я на поле битвы при Маренго и вышел на несколько минут из кареты, чтобы предаться утреннему молитвенному созерцанию.

Словно из-под триумфальной арки, образованной исполинскими грядами облаков, всходило солнце — победоносно, радост-

но, уверенно, обещая прекрасный день. Но я чувствовал себя, как бедный месяц, еще бледневший на небе. Он совершил свой одинокий путь в глухой ночи, когда счастье спало и бодрствовали только призраки, совы и грешники; а теперь, когда наступил юный день с его ликующими лучами и трепещущей утренней зарей,— теперь он должен удалиться. Еще один скорбный взгляд в сторону великого мирового светила, и оно исчезло, подобно благовонному туману.

— День будет чудесный! — крикнул мне мой спутник, сидя в карете. Да, день будет чудесный,— тихо повторило мое благоговейное сердце и задрожало от тоски и радости. Да, будет чудесный день, солнце свободы согреет землю лучше, чем аристократия всех звезд, вместе взятых; расцветет новое поколение, зачатое в свободном любовном объятии, не на ложе принуждения, под контролем духовных мытарей; свободно родившись, человек принесет с собой свободные мысли и чувства, о которых мы, прирожденные рабы, не имеем никакого понятия. О! Они также не будут иметь никакого понятия о том, как ужасна была ночь, во мраке которой мы должны были жить, как страшна была наша борьба с безобразными призраками, мрачными совами и ханжествующими грешниками! О бедные бойцы, мы, всю нашу жизнь отдавшие этой борьбе, усталые и бледные встретим зарю дня победы! Пламя солнечного восхода не вызовет румянца на наших щеках и не согреет наших сердец, мы умираем, как заходящий месяц,— слишком скупо отмерены человеку пути его странствий, а в конце их — неумолимая могила.

Право, не знаю, заслуживаю ли я, чтобы мой гроб был когда-либо украшен лавровым венком. Поэзия, при всей моей любви к ней, всегда была для меня только священной игрушкой или же освященным средством для небесных целей. Я никогда не придавал большого значения поэтической славе, и меня мало беспокоит — хвалят мои песни или порицают. Но меч вы должны возложить на мою могилу, потому что я был храбрым солдатом в войне за освобождение человечества.

ГЛАВА XXXII

В полуденный зной мы укрылись во францисканском монастыре, который был расположен на значительной высоте и, похожий своими мрачными кипарисами и белыми монахами на охотничий замок веры, взирал сверху вниз на радостно-зеленые

долины Апеннин. Это было красивое сооружение, да и вообще мне пришлось проезжать мимо многих замечательных монастырей и церквей, не считая картезианского монастыря в Монце, который я видел только снаружи. Я часто не знал, чему больше дивиться — красоте ли местности, величию ли старинных храмов или столь же величественному и твердому, как камень, характеру их зодчих, которые, конечно, могли предвидеть, что лишь поздние потомки в состоянии будут закончить постройку, и все же, невзирая на это, в полном спокойствии закладывали первый камень и громоздили камни на камни, пока смерть не отрывала их от работы; тогда другие зодчие продолжали постройку и, в свою очередь, уходили на покой — все твердо уповая на вечность католической веры и в непоколебимой убежденности, что таков же будет образ мыслей последующих поколений, которые должны продолжить дело, начатое их предшественниками.

То была вера эпохи, с этой верой жили и смыкали глаза старые зодчие. Теперь они лежат в преддверии тех самых храмов, и надо пожелать, чтобы сон их был крепок, чтобы новое время своим смехом не разбудило их. В особенности тех, кто покоится у какого-нибудь старого недостроенного собора: им было бы слишком тяжко, проснувшись внезапно ночью, увидеть при болезненном сиянии месяца свое незавершенное творение и вскоре убедиться, что время созидания миновало и что вся их жизнь прошла бесполезно и глупо.

Таков был голос нынешнего, нового времени, у которого иные задачи, иная вера.

Я как-то слышал в Кельне, как маленький мальчик спросил у матери, почему не достраивают наполовину построенных соборов. Это был хорошенький мальчик, и я поцеловал его умные глаза, а так как мать не смогла ему ответить толком, то я сказал, что люди сейчас заняты совсем другим делом.

Недалеко от Генуи, с вершины Апеннин, видно море, меж зеленых горных вершин светлеет голубая водная равнина, и кажется, суда, появляясь то тут, то там, плывут на всех парусах среди гор. Если наблюдать это зрелище в сумерках, когда начинается чудесная игра последних лучей солнца и первых вечерних теней и все краски и контуры окутываются туманом, душу охватывает сказочное очарование; карета шумно катится с горы, дремлющие в душе сладостные образы пробуждаются и вновь замирают, и, наконец, вам мерещится, что вы в Генуе.

ГЛАВА XXXIII

Город этот стар без старины, тесен без уюта и безобразен свыше всякой меры. Он построен на скале, у подножия поднимающихся амфитеатром гор, как бы замыкающих в объятиях прелестный морской залив. Поэтому генуэзцам дана самой природой лучшая и безопаснейшая гавань, какую только можно себе представить. Весь город стоит, как уже было сказано, на одной скале, и ради экономии места пришлось строить очень высокие дома, а улицы делать чрезвычайно узкими, так что почти все они темные и только по двум из них может проехать карета. Но дома служат здесь жителям, большей частью купцам, почти исключительно для товарных складов, а по ночам — для сна; весь же свой торгашеский день они проводят, бегая по городу или сидя у своих дверей, вернее — в дверях, ибо иначе жителям противоположных домов пришлось бы соприкасаться с ними коленями.

Со стороны моря, особенно вечером, город являет собою лучшее зрелище. Он покоится тогда у берегов, как побелевший скелет выброшенного на сушу огромного зверя; черные муравьи, именуемые генуэзцами, ползают по нему взад и вперед, голубые морские волны плещутся и журчат, как колыбельная песня, месяц, бледное око ночи, грустно глядит на него сверху.

В саду Палаццо Дориа стоит старый морской герой в виде Нептуна среди большого водного бассейна. Но статуя обветшала и обломалась, вода иссякла, и чайки вьют гнезда на ветвях черных кипарисов. Как мальчик, не забывающий виденных когда-то пьес, я при имени Дориа тотчас же вспомнил о Фридрихе Шиллере, этом благороднейшем, хотя и не величайшем поэте Германии.

Дворцы прежних властителей Генуи, ее нобилей, несмотря на упадок, в большинстве все же прекрасны и утопают в роскоши. Они расположены главным образом на двух больших улицах, именуемых Strada nuova и Balbi. Самый замечательный из них — дворец Дураццо: здесь есть хорошие картины и среди них принадлежащий кисти Паоло Веронезе «Христос», которому Магдалина вытирает омытые ноги. Она так прекрасна, что боишься: а ведь ее, наверно, опять совратят. Я долго стоял перед нею, но — увы! — она не подняла глаз. Христос стоит, как религиозный Гамлет — «go to a nunnery» [1]. Я нашел тут также несколько голландцев и отличные картины Рубенса; они на-

[1] «Иди в монастырь» *(англ.)*.

сквозь пронизаны огромной жизнерадостностью этого нидерландского титана, чей дух был так мощно окрылен, что взлетал к самому солнцу, несмотря на то что сотня центнеров голландского сыра была привешена к его ногам. Я не могу пройти мимо самой незначительной картины этого великого живописца, не отдав ей дани восхищения. И тем более что теперь входит в моду лишь пожимать плечами при упоминании о нем, ввиду недостатка у него идеализма. Историческая школа в Мюнхене важничает, утверждая этот взгляд. Посмотрите только, с каким высокомерным пренебрежением шествует долгогривый корнелианец через рубенсовский зал! Но, может быть, заблуждение учеников станет понятным, если уяснить всю громадность контраста между Петером Корнелиусом и Петером Паулем Рубенсом. Невозможно, пожалуй, вообразить больший контраст — и тем не менее иногда мне кажется, что между ними есть что-то общее, но я скорее чувствую это, чем вижу. Быть может, в обоих заложены в скрытой форме характерные свойства их общей родины, находящие слабый родственный отзвук в их третьем земляке — во мне. Но это скрытое родство ни в коем случае не заключается в нидерландской жизнерадостности и яркости красок, улыбающейся нам со всех картин Рубенса,— можно подумать, что они написаны в опьянении радостными струями рейнского вина, под ликующие звуки плясовой музыки кирмеса. А картины Корнелиуса, право, кажутся написанными скорее в страстную пятницу, когда по улицам раздавались заунывные напевы скорбного крестного хода, нашедшие отзвук в мастерской и в сердце художника. В продуктивности, в творческом дерзании, в гениальной стихийности они сходятся; оба — прирожденные живописцы; оба принадлежат к плеяде великих мастеров, блиставших по преимуществу в эпоху Рафаэля, в эпоху, которая могла еще непосредственно влиять на Рубенса, но которая так резко отличается от нашей, что нас почти пугает появление Петера Корнелиуса, и он представляется нам порою как бы духом одного из великих живописцев эпохи Рафаэля, вставшим из гроба, чтобы дописать еще несколько картин, мертвым творцом, вызвавшим себя к жизни при помощи схороненного вместе с ним, присущего ему животворящего слова. Когда рассматриваешь его картины, они глядят на нас как бы глазами пятнадцатого века; одежды на них призрачны, словно шелестят мимо нас в полуночную пору, тела волшебно-могучи, обрисованы с точностью ясновидения, насильственно правдивы, только крови недостает им, недостает пульсирующей крови, красок. Да, Корнелиус — творец, но если всмотреться в его творения, то ка-

жется, что все они недолговечны, все они как будто написаны за час до кончины, на всех них лежит скорбный отпечаток грядущей смерти. Несмотря на свою жизнерадостность, фигуры Рубенса вызывают в нашей душе такое же чувство; кажется, что и в них также заложено семя смерти, и именно благодаря избытку жизни, багровому полнокровию, их должен поразить удар. В этом, может быть, и состоит то тайное родство, которое мы так удивительно ощущаем, когда сопоставляем обоих мастеров. Доведенная до предела жизнерадостность в некоторых картинах Рубенса и глубокая скорбь в картинах Корнелиуса вызывают в нас, пожалуй, одно и то же чувство. Но откуда эта скорбь в голландце? Быть может, это ужасающее сознание, что он принадлежит к давно отжившей эпохе, и жизнь его — лишь мистический эпилог? Ведь — увы! — он не только единственный великий живописец среди ныне живущих, но, может быть, последний из тех, кто будет живописцем на этой земле: до него, вплоть до семьи Караччи,— долгий период мрака, а за ним вновь смыкаются тени, его рука — это одиноко светящаяся рука призрака в ночи искусства, и картины, которые она пишет, носят печать жуткой грусти, суровой, резкой отчужденности. Я никогда не мог без тайного содрогания смотреть на эту руку, руку последнего живописца, когда встречался с ним самим — невысоким, подвижным человеком с горящими глазами; в то же время рука эта вызывала во мне чувство самого глубокого благоговения, ибо я вспоминал, что когда-то она любовно водила моими маленькими пальцами и помогала мне обводить контуры лиц, когда я, маленьким мальчиком, учился рисованию в Дюссельдорфской академии.

ГЛАВА XXXIV

Я не могу не упомянуть о собрании портретов генуэзских красавиц во дворце Дураццо. Ничто в мире не может навеять на наши души такую печаль, как созерцание портретов красивых женщин, которые мертвы уже несколько столетий. Нами овладевает меланхолическая мысль: от оригиналов всех этих картин, от всех этих красавиц, таких прелестных, кокетливых, остроумных, лукавых, мечтательных, от всех этих майских головок с апрельскими капризами, от всей этой женской весны ничего не осталось, кроме этих пестрых мазков, брошенных живописцем, тоже давно истлевшим, на тленный кусочек полотна, которое со временем также обратится в пыль и развеется. И так все проходит в жизни бесследно, прекрасное и безобразное; смерть,

сухой педант, не щадит ни розы, ни репейника, она не забывает одинокой былинки в дальней пустыне, разрушает до основания, без устали; повсюду мы видим, как она обращает в прах растения и животных, людей и их творения, и даже египетские пирамиды, которые, казалось бы, противятся этой разрушительной ярости, даже они — лишь трофеи ее могущества, памятники минувшего, древние гробницы царей.

Но еще тягостнее, чем это чувство вечного умирания, пустынного зияющего провала в небытие, охватывает нас мысль, что мы-то и умрем даже не как оригиналы, а как копии давно исчезнувших людей, подобных нам и духом и телом, и что после нас родятся опять люди, которые, в свою очередь, будут в точности походить на нас, чувствовать и мыслить, как мы, которые точно так же будут уничтожены смертью,— безотрадная, вечно повторяющаяся игра, в которой плодоносной земле суждено только производить, производить больше, чем может разрушить смерть, так что ей приходится заботиться не столько об оригинальности отдельных личностей, сколько о поддержании рода.

С поразительной силой охватил меня мистический ужас перед этими мыслями, когда во дворце Дураццо я увидел портреты генуэзских красавиц и среди них картину, возбудившую сладостную бурю в моей душе, так что еще теперь, когда я вспоминаю об этом, ресницы мои дрожат,— это было изображение мертвой Марии.

Хранитель галереи был, правда, того мнения, что картина изображает одну генуэзскую герцогиню, и пояснил тоном чичероне, что она принадлежит кисти Джорджо Барбарелли да Кастельфранко нель Тревиджано, по прозвищу Джорджоне, что он был одним из величайших живописцев венецианской школы, родился в 1477 и умер в 1511 году.

— Пусть будет по-вашему, синьор custode [1]. Портрет очень схож, и если он даже написан за два столетия вперед — это не изъян. Рисунок правилен, краски великолепны, складки материи на груди удались отлично. Сделайте одолжение, снимите картину на несколько секунд со стены, я сдую пыль с губ и сгоню паука, усевшегося в углу рамы,— Мария всегда чувствовала отвращение к паукам.

— Eccellenza, по-видимому, знаток.

— Вовсе нет, синьор custode. Я обладаю талантом испытывать волнение при виде некоторых картин, и глаза мои стано-

[1] Хранитель *(итал.)*.

вятся несколько влажными. Но что я вижу! Кем написан портрет мужчины в черном плаще, что висит вон там?

— Тоже Джорджоне, мастерское произведение.

— Прошу вас, синьор, будьте добры, снимите также и эту картину со стены и подержите ее секунду здесь, рядом с зеркалом, чтобы я мог сравнить, похож ли я на портрет.

— Eccellenza не так бледны. Картина — шедевр Джорджоне; он был соперником Тициана; родился в тысяча четыреста семьдесят седьмом, умер в тысяча пятьсот одиннадцатом году.

Дорогой читатель, Джорджоне мне много милее, чем Тициан, и я особенно благодарен ему за то, что он написал для меня Марию. Ты, конечно, вполне согласишься со мною, что Джорджоне написал картину для меня, а не для какого-нибудь старого генуэзца. И портрет очень похож, похож вплоть до молчания смерти; уловлена даже боль в глазах, боль, которая была вызвана страданием, скорее пригрезившимся, чем пережитым, и которое так трудно было передать. Вся картина словно вздохами запечатлена на полотне. И мужчина в черном плаще очень хорошо написан, очень похожи коварно-сентиментальные губы, похожи, точно они говорят, точно они собираются рассказать историю — историю рыцаря, который поцелуем хотел вырвать возлюбленную у смерти, и когда погас свет...

НОЧЬ ПЕРВАЯ

В передней Максимилиан застал врача, который уже натягивал черные перчатки.

— Я очень спешу! — торопливо крикнул он Максимилиану.— Синьора Мария не спала весь день и только сейчас слегка задремала. Мне ни к чему напоминать вам о том, что следует избегать всякого шума, который мог бы разбудить ее; а когда она проснется, то, бога ради, не давайте ей говорить. Она должна спокойно лежать; ей нельзя двигаться, нельзя шевелиться, нельзя говорить, и лишь духовное оживление для нее полезно. Пожалуйста, рассказывайте ей опять всякий вздор, пусть она спокойно вас слушает.

— Не беспокойтесь, доктор,— с грустной улыбкой возразил Максимилиан.— Из меня уже выработался настоящий болтун, я не даю ей произнести ни слова. Я буду рассказывать ей фантастические бредни, без конца, сколько угодно... Но долго ли ей еще осталось жить?

— Я очень спешу,— ответил врач и исчез.

Черная Дебора, с ее чутким слухом, по походке узнала вошедшего и тихо открыла ему дверь. По его знаку она так же тихо удалилась из комнаты, и Максимилиан остался один около своей подруги. Единственная лампа сумеречным светом освещала комнату. Эта лампа с робостью и любопытством бросала временами отсветы на лицо больной женщины, которая лежала, вытянувшись на зеленой шелковой софе, одетая в белую кисею, и тихо спала.

Молча, скрестив руки на груди, стоял Максимилиан некоторое время перед спящей и созерцал ее прекрасные формы, которые скорее открывались, чем прикрывались легкой одеж-

дой, и каждый раз, когда лампа бросала луч света на бледное лицо, сердце его начинало биться сильнее.

— Боже! — прошептал он про себя.— Что это? Какое воспоминание оживает во мне? Да, теперь я знаю. Эта белая фигура на зеленом фоне, да, теперь...

В это мгновение больная проснулась и, точно из глубины сновидения, поднялись на друга ее мягкие темно-синие глаза с вопросом, с мольбою...

— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — спросила она тем грустно-нежным голосом, которым говорят чахоточные и в котором как бы слышится лепет ребенка, щебетанье птицы и последние хрипы умирающего.— О чем вы сейчас думали, Максимилиан? — еще раз повторила она и вдруг приподнялась так резко, что длинные локоны, как вспугнутые золотые змеи, кольцами обвили ее голову.

— Ради бога,— воскликнул Максимилиан, бережно укладывая ее опять на софу,— лежите спокойно, не говорите; я все скажу вам, все, что я думаю, все, что чувствую, и даже то, чего сам не знаю! На самом деле,— продолжал он,— я сам не знаю в точности, о чем я сейчас думал и что чувствовал. Картины детства туманной вереницей проносились в моей голове: я вспоминал замок матери, запущенный сад вокруг него, прекрасную мраморную статую, лежащую в зеленой траве... Я упомянул о «замке моей матери»; но, ради бога, не представляйте себе при этом ничего роскошного и великолепного! Я просто привык так говорить; отец мой всегда с каким-то особым выражением произносил слово «замок» и всегда так странно при этом улыбался. Значение этой улыбки я понял лишь впоследствии, когда я, мальчуганом лет двенадцати, поехал с матерью в этот замок.

Это было мое первое путешествие. Целый день мы ехали по густому лесу, и жуткий мрак его оставил во мне незабываемое впечатление. Лишь под вечер мы остановились перед длинным барьером, который отделял нас от широкой поляны. Нам пришлось ждать почти полчаса, пока из ближайшей землянки не вышел малый, который отодвинул палку и впустил нас. Я назвал его «малым», потому что старая Марта продолжала так называть своего сорокалетнего племянника. Для того чтобы должным образом встретить благородных господ, он напялил на себя старую ливрею своего покойного дяди, а так как из нее необходимо было предварительно выколотить пыль, то он и заставил нас так долго ждать. Будь у него еще лишнее время, он, вероятно, надел бы и чулки; но его длинные голые красные ноги мало отличались от ярко-пунцовой ливреи. Были ли под

ней еще и панталоны, я не помню. Наш слуга Иоганн, который тоже часто слышал о «замке», сделал очень удивленное лицо, когда малый подвел его к маленькому покосившемуся строению, где жил покойный барин. Но Иоганн совершенно растерялся, когда мать приказала ему внести туда постели. Как мог он думать, что в «замке» не окажется постелей! И приказание матери захватить постели для нас он или вовсе не слышал, или пропустил мимо ушей, считая это излишними хлопотами.

Маленький одноэтажный домик, который в свои лучшие времена насчитывал не более пяти жилых комнат, сейчас представлял унылую картину тленности жизни. Поломанная мебель, рваные обои, ни одного целого оконного стекла, кое-где оторванные половицы, всюду безобразные следы озорного хозяйничания солдат. «Солдатский постой у нас всегда очень развлекался!» — сказал малый с идиотской улыбкой. Но мать сделала нам знак, чтобы мы оставили ее одну, и, в то время как малый занялся с Иоганном, я отправился осматривать сад. Сад тоже имел безотрадный вид полного запустения. Большие деревья частью омертвели и стояли искалеченные, частью были сломаны, и ползучие растения с торжеством поднимались над павшими стволами. Лишь местами разросшиеся тисовые кусты напоминали о заглохших дорожках. Кое-где стояли статуи, почти все без головы или в лучшем случае без носа. Мне вспоминается Диана, у которой нижняя часть тела самым забавным образом обросла темным плющом; вспоминаю также богиню изобилия, у которой из рога пышно выбивались дурно пахнущие сорные травы. Лишь одна статуя, бог знает как, уцелела от злобы людей и времени; правда, она была сброшена со своего пьедестала в высокую траву, но здесь она лежала нетронутая, эта мраморная богиня с прекрасными, чистыми чертами лица, и, как греческое откровение, выделялись в высокой траве строгие формы благородной груди. Я почувствовал почти страх, когда увидел ее; эта статуя внушала мне странный, жгучий трепет, и тайный стыд не позволял мне долго наслаждаться созерцанием ее прелести.

Когда я вновь вернулся к матери, она стояла у окна, погруженная в мысли; голова ее опиралась на правую руку, и слезы не переставая текли у нее по щекам. Никогда до этих пор я не видел, чтобы она так плакала. Она обняла меня с порывистой нежностью и стала просить у меня прощения за то, что я, по небрежности Иоганна, буду лишен порядочной постели. «Старая Марта,— сказала она,— тяжело больна и потому не сможет, милое дитя, уступить тебе свою постель. Но Иоганн возьмет подушки из кареты и устроит так, чтобы ты мог на них

спать, и пусть он даст тебе также свой плащ вместо одеяла. Я сама буду спать здесь, на соломе; это спальня моего покойного отца; когда-то здесь все имело лучший вид. Оставь меня одну!» И слезы еще обильнее полились у нее из глаз.

Не знаю отчего, от непривычного ли ложа или от душевного смятения, но я не мог уснуть. Сквозь разбитое окно свободно лился лунный свет, и мне казалось, что он манит меня туда, в светлую летнюю ночь. Я ворочался на своей постели с боку на бок; я закрывал глаза и снова с нетерпением открывал их и все время не переставая думал о прекрасной мраморной статуе, которую я видел лежащей в траве. Я не мог объяснить себе стыдливую робость, охватившую меня при взгляде на нее; я досадовал на себя за это ребяческое чувство. «Завтра,— тихо сказал я себе,— завтра я поцелую тебя, прекрасное мраморное лицо, поцелую в тот прелестный уголок рта, где губы заканчиваются восхитительной ямочкой!» Нетерпение, подобного которому я никогда не испытывал, охватило все мое существо; я не в силах был дольше сопротивляться странному влечению и наконец, вскочив с постели, воскликнул с задорной отвагой: «Ну что ж! Я поцелую тебя еще сегодня, прекрасный образ!» Тихо, чтобы мать не услыхала моих шагов, вышел я из дому, что не представляло никакой трудности, так как подъезд дома, хоть и украшенный величественным гербом, не имел дверей; затем я стал поспешно пробираться сквозь чащу запущенного сада. Не слышно было ни звука; безмолвно и строго все покоилось в лунном свете. Тени деревьев лежали на земле, точно пригвожденные. Все так же неподвижно лежала в зеленой траве прекрасная богиня; но не каменная смерть, а тихий сон, казалось, сковал ее дивные члены, и когда я приблизился к ней, мне стало страшно, что малейшим шорохом я могу пробудить ее от дремоты. Я затаил дыхание, наклоняясь над нею, чтобы разглядеть прелестные черты ее лица; жуткий страх отталкивал меня от нее, и в то же время жгучее мальчишеское желание влекло меня к ней; сердце билось, как будто я готовился к убийству, и наконец я поцеловал прекрасную богиню с таким жаром, с такой нежностью, с таким отчаянием, как никогда больше не целовал в своей жизни. И никогда после не мог я забыть то жуткое и сладостное чувство, которое хлынуло в мою душу, когда мой рот ощутил блаженный холод этих мраморных губ... И вот, Мария, когда я сейчас стоял перед вами и смотрел на вас, пока вы спали, вся в белом на зеленой софе, вы напомнили мне ту белую мраморную богиню, которая лежала на зеленой траве.

Если бы вы не проснулись, мои губы не могли бы дольше противиться искушению...

— Макс! Макс! — крикнула женщина, и крик ее шел как бы из глубины сердца.— Это ужасно! Вы знаете, что поцелуй ваших губ...

— О, замолчите! Я знаю, что это для вас было бы ужасно! Только не смотрите на меня с такой мольбой. Я понимаю ваши чувства, хотя истинная причина их была скрыта от меня. Я никогда не смел прикоснуться своими губами к вашим...

Но Мария не дала ему кончить, она схватила его руку, покрыла ее горячими поцелуями и сказала затем, улыбаясь:

— Пожалуйста, прошу вас, рассказывайте мне еще о ваших любовных приключениях. Как долго продолжалась ваша любовь к мраморной красавице, которую вы поцеловали в парке вашей матери?

— Мы уехали на другой день,— отвечал Максимилиан,— и я никогда больше не видел этого прелестного изваяния. Но еще почти целых четыре года сердце мое было занято им. С этого времени в моей душе развилась удивительная страсть к мраморным статуям, и не далее как сегодня утром я испытал их магическую силу. Я возвращался из Лауренцианы, библиотеки Медичи, и забрел, не знаю как, в капеллу, где тихо покоится этот великолепнейший род Италии в усыпальнице из драгоценного камня. Целый час оставался я там, погруженный в созерцание мраморного изваяния женщины, мощные линии тела которой носят на себе печать сильного и смелого резца Микеланджело, в то время как весь ее облик овеян все же той воздушной нежностью, которая обычно не свойственна именно этому мастеру. В этом мраморе заколдовано все царство грез с его тихим очарованием; кротким покоем дышат эти прекрасные формы, и словно умиротворяющий лунный свет струится по ее жилам... Это — «Ночь» Микеланджело Буонаротти. О, как хотел бы я заснуть вечным сном в объятиях этой «Ночи»!

— Женские образы, написанные на полотне,— продолжал Максимилиан после небольшого молчания,— никогда так сильно не увлекали меня, как статуи. Лишь один раз я был влюблен в картину. Это была мадонна поразительной красоты, которую я увидел в одной церкви в Кельне на Рейне. Я сделался тогда ревностным посетителем церкви и весь погрузился в мистику католичества. В ту пору я, подобно испанскому рыцарю, каждый день готов был бы биться не на жизнь, а на смерть во имя непорочного зачатия Марии, королевы ангелов, прекраснейшей дамы неба и земли! Все святое семейство пользовалось тогда моими

глубокими симпатиями, и особенно дружески я снимал шляпу всякий раз, когда мне случалось пройти мимо изображения святого Иосифа. Но это состояние длилось не очень долго, и я довольно бесцеремонно бросил матерь божию, когда познакомился в одной античной галерее с греческой нимфой, которая долго держала меня затем в своих мраморных оковах.

— И вы любили всегда только женщин, высеченных из камня или писанных на полотне? — с усмешкой спросила Мария.

— Нет, я любил также мертвых женщин,— ответил Максимилиан, лицо которого стало опять очень серьезным. Он не заметил, что при этих словах Мария испуганно вздрогнула, и спокойно продолжал: — Да, как это ни странно, однажды я влюбился в девушку через семь лет после того, как она умерла. Когда я познакомился с маленькой Вери, она мне чрезвычайно понравилась. Целых три дня я был поглощен этой юной особой; я находил в высшей степени забавным и милым все, что она делала; меня восхищала ее манера говорить, все проявления ее обаятельно-странного существа; однако слишком нежных чувств я при этом не испытывал. И я не был особенно глубоко огорчен, когда спустя несколько месяцев внезапно пришло известие, что она неожиданно умерла от нервной горячки. Вскоре я совершенно забыл ее и убежден, что в течение многих лет ни разу о ней не вспомнил. С тех пор прошло целых семь лет, и вот однажды я приехал в Потсдам, чтобы провести прекрасное летнее время, наслаждаясь ничем не нарушаемым одиночеством. Я не общался там ни с кем решительно, и все мои знакомства ограничивались статуями, находящимися в саду Сан-Суси. И тут в моей памяти вдруг встали какие-то черты лица, какая-то на редкость привлекательная манера говорить и двигаться; и притом я никак не мог вспомнить, какому именно лицу они принадлежат. Нет ничего мучительнее, чем перебирать таким образом старые воспоминания, и поэтому я был радостно удивлен, когда по прошествии нескольких дней вдруг вспомнил маленькую Вери и сразу сообразил, что это ее милый забытый образ ожил во мне и лишал меня покоя. Да, я обрадовался этому открытию, как человек, который внезапно нашел своего близкого друга; мало-помалу поблекшие краски ожили, и вот уже прелестная крошка как живая стояла передо мной, улыбающаяся, кокетливо-капризная, остроумная и еще более очаровательная, чем когда-либо. С тех пор я уж не мог больше расстаться с этим дорогим видением; оно заполнило всю мою душу; где бы я ни находился, Вери была рядом со мной, говорила со

мной, смеялась, но смеялась невинно и без особенной нежности. Я же все более и более очаровывался ею, и с каждым днем это видение приобретало для меня все большую и большую реальность. Нетрудно вызвать духов, но не так-то легко бывает вновь отослать их в мрачное ничто; они смотрят на нас тогда таким умоляющим взглядом, наше собственное сердце так страстно вступается за них... Я уже не в силах был бороться, я влюбился в маленькую Вери через семь лет после того, как она умерла. Шесть месяцев прожил я таким образом в Потсдаме, целиком погруженный в эту любовь. Еще старательнее, чем прежде, избегал я всяких столкновений с внешним миром, и если на улице кто-нибудь проходил мимо меня слишком близко, я испытывал неприятное стеснение. Я страшился встреч с людьми,— это был страх, который, быть может, ощущают души умерших, скитаясь по ночам; ведь про них говорят, что они при встрече с живым человеком пугаются так же, как пугаются живые люди при встрече с привидениями. Случилось так, что как раз в это время в Потсдам явился путешественник, от общения с которым я не мог уклониться,— а именно мой брат. Видя его, слушая его рассказы о текущих событиях, я словно пробудился от глубокого сна и ужаснулся, поняв, в каком страшном одиночестве я прожил столько времени. В этом состоянии я не замечал даже, как сменялись времена года, и с удивлением вдруг увидел, что деревья уже совершенно обнажились и покрыты осенней изморозью. Я тотчас оставил Потсдам и маленькую Вери и в другом городе, где меня ожидали серьезные дела, очень скоро благодаря некоторым трудным обстоятельствам и отношениям вновь окунулся в мучительную, суровую действительность.

— Милосердное небо,— продолжал Максимилиан, и горькая усмешка мелькнула на его губах,— милосердное небо! Как мучили меня живые женщины, с которыми я тогда неизбежно сталкивался; как нежно мучили они меня своими капризами, вспышками ревности, непрерывным напряжением нервов! На скольких балах я должен был вертеться с ними; в какие только сплетни не был замешан! Какое безудержное тщеславие, какое упоение ложью, какое лобзающее предательство, какие ядовитые цветы! Эти дамы сумели отравить мне всякое наслаждение, всякую любовь, и на некоторое время я превратился в ненавистника женщин, проклинавшего весь их пол. Со мною случилось почти то же самое, что с одним французским офицером: во время русского похода он с величайшим трудом выбрался невредимым из ледяных прорубей Березины, и там у него роди-

лась такая антипатия ко всему замороженному, что он испытывал отвращение даже к самым сладким и приятным сортам мороженого от Тортони. Да, воспоминание об этой Березине любви, которую я тогда перешел, отбило у меня на некоторое время вкус к самым прелестным дамам, к женщинам, похожим на ангелов, к девушкам, сладким, как ванильный шербет.

— Пожалуйста, не браните женщин! — воскликнула Мария.— Все это избитые фразы мужчин. В конце концов, для того чтобы быть счастливыми, вы все же нуждаетесь в женщинах.

— О,— вздохнул Максимилиан,— разумеется, это верно, но, к сожалению, женщины способны делать нас счастливыми всего только на один лад, в то время как у них имеется тридцать тысяч способов сделать нас несчастными.

— Дорогой друг,— возразила Мария, подавив слегка насмешливую улыбку,— я говорю о гармонии двух согласно настроенных душ. Разве вы никогда не испытывали этого счастья? Но я замечаю необычную краску на ваших щеках... Говорите... Макс?

— Это правда, Мария, я чувствую себя сконфуженным, почти как мальчишка, признаваясь вам, что знал счастливую любовь, что она некогда доставила мне бесконечное блаженство! Воспоминание о ней и теперь еще не окончательно угасло во мне, и под его прохладную сень и теперь еще нередко спасается моя душа, когда жгучая пыль и полуденный зной жизни становятся слишком уж невыносимы. Я не в состоянии, однако, отчетливо описать вам эту мою возлюбленную. Она была настолько эфирна, что лишь во сне могла открыться мне. Я надеюсь, Мария, что вы не разделяете банальных предрассудков по поводу снов: эти ночные видения поистине не менее реальны, чем те грубые явления дня, к которым мы можем прикоснуться руками и которые так часто нас загрязняют. Да, я во сне видел это дорогое существо, давшее мне величайшее счастье в здешнем мире. О ее внешности я могу сказать лишь немного. Я не в состоянии в точности описать ее черты: это было лицо, которого я не видел никогда ранее и после ни разу в жизни не встречал. Помню лишь, что оно было не бело-розовым, а совершенно однотонным, бледно-желтоватым, с мягким розовым оттенком и прозрачным, как хрусталь. Это лицо было прекрасно не строгой соразмерностью линий, не интересной живостью выражения; нет, это было как бы олицетворение чарующей, восхитительной, почти пугающей правдивости. Это лицо было полно со-

знательной любви, изящной доброты, это была скорее душа, чем лицо, и потому-то я никогда не мог вполне ясно представить себе его внешний облик. Глаза были нежны, как цветы. Губы несколько бледны, но прелестно изогнуты. На ней был шелковый пеньюар василькового цвета; но это было и все ее одеяние; шея и ноги были обнажены, и сквозь мягкую тонкую одежду просвечивала порой, как бы украдкой, грациозная нежность ее членов. Слова, с которыми мы обращались друг к другу, я теперь тоже не могу передать с полной точностью; я знаю только, что мы были помолвлены и что мы нежно ворковали, весело и счастливо, откровенно и доверчиво, как жених с невестой, почти как брат с сестрой. Иногда мы уже больше ничего не говорили, а только смотрели друг на друга, и в этом блаженном созерцании протекала целая вечность... Что меня пробудило, я тоже не могу теперь сказать, но я еще долго жил под обаянием этого счастья любви. Еще долго я был словно опьянен несказанным восторгом, блаженство как бы овладело мечтательными глубинами моего сердца, и незнакомая мне дотоле радость как бы изливалась на все мои ощущения; я оставался ясным и светлым, несмотря на то, что моя возлюбленная никогда больше не являлась мне во сне. Но разве я не пережил в одном ее взгляде целую вечность? Да и она слишком хорошо меня понимала и поэтому знала, что я не люблю повторений.

— В самом деле! — воскликнула Мария.— Вы, несомненно, un homme à la bonne fortune[1]. Но скажите: а кто была мадемуазель Лоранс? Мраморная статуя или картина, мертвая или сновидение?

— Пожалуй, все это вместе,— отвечал Максимилиан совершенно серьезно.

— Я так и думала, дорогой друг, что эта ваша возлюбленная была существом весьма сомнительным. А когда вы расскажете мне ее историю?

— Завтра. Это история длинная, а сегодня я устал. Я только что из оперы, и в моих ушах слишком много музыки.

— Вы часто бываете теперь в опере, и я думаю, Макс, что вы ходите туда больше для того, чтобы смотреть, чем для того, чтобы слушать!

— Вы не ошибаетесь, Мария, я действительно хожу в оперу для того, чтобы всматриваться в лица прекрасных

---

[1] Человек, пользующийся успехом *(франц.)*.

итальянок. Бесспорно, они достаточно хороши и вне театра, и идеальность их черт могла бы послужить для историка прекрасным доказательством влияния изобразительных искусств на внешность и телосложение итальянского народа. Природа берет здесь у художников тот капитал, который она ему некогда ссудила, и, поистине, на него наросли великолепные проценты! Природа, которая некогда дала художникам образцы, теперь, в свою очередь, подражает тем шедеврам, которые благодаря ей были созданы. Чувство прекрасного стало достоянием всего народа, и как некогда тело влияло на дух, так ныне дух влияет на тело. Обожание прекрасных мадонн, этих дивных образов, украшающих храмы, запечатлевающихся в душе жениха, в то время как невеста отдает пыл своего сердца какому-нибудь прекрасному святому,— не остается бесплодным. Такое избирательное сродство породило здесь людей, еще более прекрасных, чем та благодатная почва, на которой они живут, чем солнечное небо, которое окружает их как бы золотой рамкой. Мужчины никогда особенно не интересовали меня, за исключением тех случаев, когда они изваяны или изображены на полотне, и поэтому я предоставляю вам, Мария, приходить в экстаз при виде красивых, гибких итальянцев с их жгуче-черными бакенбардами, смелыми, благородными носами и мягкими, умными глазами. Говорят, что самые красивые мужчины — это ломбардцы. Я никогда не исследовал этого вопроса, зато о ломбардских женщинах я размышлял достаточно серьезно; и они, как я мог убедиться, вполне заслужили свою славу. Впрочем, должно быть, уже в средние века они были достаточно хороши собой. Недаром же рассказывают про Франциска Первого, что слух о красоте миланских женщин был тем тайным побуждением, которое заставило его предпринять итальянский поход; королю-рыцарю было, конечно, интересно узнать, действительно ли так прекрасны его духовные сестры, родственницы его восприемников, как об этом гласила молва... Бедняга! В Павии он должен был дорогой ценой искупить это любопытство!

Но как прекрасны становятся эти итальянки, когда музыка освещает их лица. Я говорю «освещает», потому, что, как я заметил в театре, действие музыки на лица красивых женщин удивительно напоминает те эффекты света и тени, которые поражают нас, когда мы ночью при свете факелов рассматриваем статуи. Эти мраморные изображения открывают нам тогда с ужасающей искренностью свою внутреннюю жизнь, свои страшные немые тайны. Совершенно таким же обра-

зом развертывается перед нашими глазами вся жизнь прекрасных итальянок, когда они слушают оперу; мелодии, сменяясь, вызывают у них в душе вереницу чувств, воспоминаний, желаний и вспышек досады, которые мгновенно отражаются в мимике лица, в том, как они краснеют, бледнеют, в выражении их глаз. Кто умеет читать, тот прочтет тогда на их прекрасных лицах очень много приятных и интересных вещей: рассказы, не менее замечательные, чем новеллы Боккаччо, чувства, не менее нежные, чем сонеты Петрарки, капризы, причудливые, как октавы Ариосто, а порою и ужасное вероломство и страшные злодейства, не менее поэтичные, чем ад великого Данте. Ради этого стоит понаблюдать за ложами. Если бы только мужчины не выражали в это время своего восторга с таким ужасающим шумом! Этот слишком необузданный рев и грохот итальянского театра временами утомляет меня. Однако музыка — душа этих людей, их жизнь, их национальное дело. Конечно, и в других странах есть музыканты, не уступающие величайшим итальянским знаменитостям: но там нет музыкального народа. Здесь же, в Италии, музыка не воплощается в отдельных личностях: она живет в народе; музыка стала народом. У нас, на севере, это совсем иначе: у нас музыка стала только каким-то одним человеком и зовется Моцартом или Мейербером; и к тому же, если вникнуть как следует, то окажется, что в самом лучшем из того, что дают нам северные музыканты, мы найдем свет итальянского солнца, аромат апельсиновых рощ, и произведения эти в меньшей степени принадлежат Германии, чем прекрасной Италии — родине музыки. Да, Италия навсегда останется родиной музыки, хотя ее великие маэстро рано уходят в могилу или умолкают, хотя умирает Беллини и молчит Россини.

— В самом деле,— заметила Мария,— Россини упорно хранит строгое молчание. Если не ошибаюсь, он молчит вот уже десять лет.

— Быть может, это не более чем шутка с его стороны,— ответил Максимилиан.— Он хотел показать, что данное ему прозвище «Лебедь из Пезаро» совсем к нему не подходит. Лебеди поют в конце своей жизни, а Россини перестал петь в середине жизни. И мне кажется, что он поступил правильно и именно этим доказал, что он настоящий гений. Художник, обладающий только талантом, до конца жизни сохраняет стремление упражнять этот талант; его подхлестывает честолюбие; он чувствует, что непрерывно совершенствуется, и не может успокоиться, пока не достигнет высшего доступного ему совершенства. Но гений уже совершил высшее: он доволен, он презирает мир с его мел-

ким честолюбием и отправляется домой, в Стратфорд-на-Эйвоне, как Вильям Шекспир, или, смеясь и отпуская остроты, прогуливается, как Иоахим Россини, по Boulevard des Italiens [1] в Париже. Если гений обладает неплохим здоровьем, то он имеет возможность прожить еще довольно много времени после того, как создал свои шедевры, или, как обычно выражаются, после того, как выполнил свою миссию. Распространенное мнение, что гений должен рано умереть,— по-моему, предрассудок; кажется, период от тридцати до тридцати четырех лет считается самым опасным временем для гения. Как часто дразнил я этим бедного Беллини и, шутя, пророчил ему, что он в качестве гения должен скоро умереть, так как для него наступает уже опасный возраст. Поразительно то, что, несмотря на мой шутливый тон, его серьезно беспокоили эти пророчества; он называл меня своим jettatore [2] и прилагал все старания, чтобы отвести дурной глаз... Он страстно хотел жить, он чувствовал какое-то жгучее отвращение к смерти, боялся ее, как боится ребенок спать в темной комнате... Это был добрый, милый ребенок, порою немного своенравный: но стоило только напомнить ему о предстоящей близкой смерти, как он сразу становился кротким, послушным и спешил двумя поднятыми пальцами сотворить знак заклинания... Бедный Беллини!

— Вы, значит, лично его знали? Он был хорош собой?

— Он не был безобразен. Вы видите, и мы, мужчины, не в состоянии ответить утвердительно, когда нам задают подобного рода вопросы о человеке, принадлежащем к нашему полу. У него была высокая, стройная фигура, изящные, я сказал бы кокетливые, движения; всегда он был à quatre épingles [3], правильное, продолговатое лицо, бледно-розовое; белокурые, с золотистым оттенком волосы, в мелких завитках, высокий, очень высокий благородный лоб; прямой нос; бледно-голубые глаза; красиво очерченный рот; круглый подбородок. При этом в чертах его лица было что-то неопределенное, бесхарактерное, что-то напоминающее молоко, и на этом молочном лице блуждало порой кисло-сладкое выражение печали. Это выражение печали заменяло собой недоставшую его лицу одухотворенность; но в его печали не было глубины: она блуждала в его взоре без поэзии, трепетала около губ без страсти. Казалось, всей своей фигурой юный маэстро стремится выразить эту плоскую, вялую печаль.

---

[1] Итальянскому бульвару *(франц.)*.
[2] Человеком, способным сглазить *(итал.)*.
[3] Аккуратно, щегольски одет *(франц.)*.

Его волосы были завиты в такие грустно-мечтательные локоны, его платье с такой томностью облекало его нежное тело, он носил свою испанскую тросточку с такой идилличностью, что всегда напоминал мне юных пастушков из наших пасторалей, которые выступают, жеманно размахивая посошком, разукрашенным лентами, в светлых курточках и штанишках. И поступь его была так девственна, так элегична, так невесома. Это был не человек, а какой-то вздох en escarpins [1]. Он имел большой успех у женщин; но сомневаюсь, чтобы ему когда-либо удалось внушить сильную страсть. Для меня лично в его внешности всегда было что-то несносно комическое; причина, быть может, заключалась в его французском языке. Несмотря на то, что Беллини уже несколько лет жил во Франции, он говорил по-французски так плохо, как говорят, быть может, только в одной Англии. Строго говоря, его французскую речь отнюдь нельзя было характеризовать словом «плохо»; плохо в данном случае — еще слишком хорошо. Это было чудовищно, кровосмесительно, несусветно! Да, когда приходилось бывать с ним вместе в обществе и он, как палач, принимался колесовать несчастные французские слова и невозмутимо выкладывать неимоверный coq-a l'âne [2], то казалось порой, что вот-вот с громом рухнет мир... Гробовая тишина воцарялась тогда в зале и смертельный ужас рисовался на всех лицах, то бледных, как мел, то багровых, как киноварь; женщины не знали, что делать, упасть ли в обморок или спасаться бегством; мужчины смущенно посматривали на свои панталоны, как бы желая удостовериться, что они действительно облачены в эту деталь костюма, и хуже всего то, что этот ужас вызывал в то же время конвульсивные приступы смеха, от которых почти невозможно было удержаться. Поэтому, попадая вместе с Беллини в общество, приходилось всегда ощущать некоторую тревогу; в его близости было какое-то жуткое очарование, которое одновременно и отталкивало и привлекало. Порой его невольные каламбуры только смешили, напоминая своей забавной безвкусицей замок его соотечественника, принца из Пеллагонии, описанный Гете в «Итальянском путешествии»,— музей вычурно-уродливых предметов, беспорядочно натасканных отовсюду безобразных вещей. Так как Беллини во всех подобных случаях бывал совершенно уверен, что сказал нечто вполне невинное и чрезвычайно серьезное, то лицо его представляло дичайший контраст его словам. И в эти минуты

[1] В бальных башмаках *(франц.)*.
[2] Вздор *(франц.)*

выступало особенно резко то, что мне не нравилось в лице Беллини, но что отнюдь нельзя было бы назвать недостатком,— и дамы, конечно, вовсе не склонны были разделять мое неблагоприятное впечатление. Лицо Беллини,— как и весь его облик,— отличалось той физической свежестью, тем цветущим здоровьем, тем нежным румянцем, которые производят такое неприятное впечатление на меня, предпочитающего мертвенное, мраморное. Лишь позднее, уже после продолжительного знакомства с Беллини, я почувствовал к нему некоторую симпатию. Это случилось тогда, когда я заметил, что его характер отмечен благородством и добротой. Душа его, несомненно, осталась чистой и незапятнанной всеми отвратительными соприкосновениями с жизнью. Он не был лишен также того наивного добродушия, той детскости, которые характерны для гениальных людей, хотя и не всем открываются эти их качества.

— Да, я припоминаю,— продолжал Максимилиан и опустился в кресло, около которого он стоял до этого, облокотившись на его спинку,— да, я припоминаю минуту, когда Беллини представился мне в таком привлекательном свете, что мне было радостно смотреть на него, и тогда-то я решил ближе сойтись с ним. К сожалению, однако, это было последним нашим свиданием здесь, на земле. Дело происходило вечером в доме одной великосветской дамы, обладательницы самой маленькой ножки во всем Париже; мы только что встали из-за стола; все были очень веселы; на фортепиано звучали самые нежные мелодии... Я как сейчас вижу его — этого добряка Беллини: утомленный бесчисленными сумасшедшими беллинизмами, которые он нагородил, он упал в кресло... Кресло это было очень низенькое, почти как скамеечка, так что Беллини очутился как бы у ног одной красавицы, которая полулежала на софе и с прелестным злорадством взирала на него сверху вниз, в то время как он из кожи лез, чтобы занять ее несколькими французскими фразами. Он поминутно принужден был комментировать самого себя на своем сицилийском жаргоне, доказывая, что сказал отнюдь не глупость, а наоборот, самый утонченный комплимент. Мне кажется, что прекрасная дама вовсе даже не слушала слов Беллини; она взяла у него из рук его испанскую тросточку, с помощью которой он временами пытался содействовать своей слабой риторике, и воспользовалась ею для того, чтобы совершенно спокойно разрушить изящную прическу на висках юного маэстро. К этому шаловливому занятию относилась, по всей вероятности, ее улыбка, придававшая ее чертам такое выражение, какого я никогда не видел на лицах живых

людей. Лицо это никогда не изгладится из моей памяти! Это было одно из тех лиц, которые, казалось бы, вовсе не принадлежат грубой действительности, а относятся к царству поэтических грез. Контуры лица напоминали да Винчи: это был благородный овал с наивными ямочками на щеках и с сентиментально заостренным подбородком ломбардской школы. Цвет лица отличался скорее римской нежностью: он был матово-жемчужный, с характерной томной бледностью — morbidezza, одним словом, это было лицо, встречающееся лишь на старых итальянских портретах; оно напоминало изображения тех знатных дам, в которых были влюблены итальянские художники шестнадцатого века, когда создавали свои шедевры; о которых мечтали поэты того времени, когда, слагая свои песни, становились бессмертными; о которых думали французские и немецкие герои, опоясывая себя мечом и отправляясь совершать подвиги по ту сторону Альп... Да, да, это было одно из таких лиц, и улыбка, полная самого очаровательного злорадства и изящного лукавства, оживляла это лицо, в то время как красавица кончиком камышовой трости разрушала сооружение из белокурых локонов на голове добряка Беллини. В это мгновение я увидел Беллини словно преображенным от прикосновения волшебной палочки, и я сразу почувствовал в нем что-то родственное моему сердцу. Лицо его как бы сияло отсветом улыбки красавицы,— быть может, это было высочайшее мгновение его жизни... Я никогда его не забуду... Две недели спустя я узнал из газет, что Италия потеряла одного из самых славных своих сынов!

Странно! Одновременно появилось известие и о смерти Паганини. В его смерти я не сомневался ни минуты, поскольку старый, бледный Паганини всегда был похож на умирающего; но смерть юного, розового Беллини казалась мне невероятной. Однако же сообщение о смерти первого оказалось лишь газетной уткой — Паганини и по сие время жив и здравствует в Генуе, а Беллини лежит в могиле в Париже!

— Вы любите Паганини?— спросила Мария.

— Этот человек,— отвечал Максимилиан,— является украшением своей родины и, бесспорно, заслуживает самого лестного упоминания, когда перечисляются музыкальные знаменитости Италии.

— Я никогда его не видела,— заметила Мария.— Но если верить молве, его внешность не вполне удовлетворяет эстетическому чувству. Я знаю его портреты...

— Которые все на него не похожи,— вставил Максимилиан,— они изображают его или хуже, или лучше, чем он есть, но

никогда не передают его действительного облика. На мой взгляд, только одному человеку удалось передать на бумаге подлинную физиономию Паганини: это — глухой художник, по имени Лизер, который в порыве вдохновенного безумия несколькими взмахами карандаша так хорошо уловил черты Паганини, что не знаешь, смеяться или пугаться правдивости его рисунка. «Дьявол водил моей рукой»,— сказал мне глухой художник и при этом таинственно захихикал, иронически-добродушно покачивая головой; подобными ужимками он обычно сопровождал свои гениальные проказы. Этот художник был удивительный чудак; несмотря на свою глухоту, он страстно любил музыку, и говорят, что, когда он находился достаточно близко от оркестра, он умел читать звуки на лицах музыкантов и в состоянии был по движению их пальцев судить о более или менее удачном исполнении; он был даже оперным критиком в одном почтенном гамбургском журнале. Впрочем, чему же тут удивляться? Движения музыкантов — это видимые знаки, и в них глухой художник умел созерцать звуки. Ведь для некоторых людей сами звуки — только невидимые знаки, в которых они слышат краски и образы.

— И вы один из таких людей! — воскликнула Мария.

— Мне жаль, что у меня нет больше наброска, сделанного Лизером, он дал бы нам некоторое представление о наружности Паганини. Только резко-черными беглыми штрихами могли быть схвачены фантастические черты этого лица, которые, как кажется, принадлежат скорее удушливому царству теней, чем солнечному миру жизни. «Поистине, сам дьявол водил моей рукой»,— уверял меня глухой художник, когда мы однажды стояли вместе с ним перед Альстерским павильоном в Гамбурге, где Паганини должен был дать свой первый концерт. «Да, мой друг,— продолжал он,— справедливо то, что все про него говорят,— что он продался черту, продал ему и душу и тело, для того чтобы стать лучшим скрипачом, накопить миллионы и, прежде всего, для того, чтобы бежать с той проклятой галеры, где он томился много лет. Дело в том, друг мой, что, когда он был капельмейстером в Лукке, он влюбился в одну театральную примадонну, приревновал ее к какому-то ничтожному аббату,— быть может, стал рогоносцем, а затем, по доброму итальянскому обычаю, заколол свою неверную amata [1], попал в Геную на галеры и, как я уже сказал, продал себя, наконец, черту, для

[1] Возлюбленную *(итал.)*.

того чтобы стать лучшим в мире скрипачом и иметь возможность наложить сегодня вечером на каждого из нас контрибуцию в два талера... Но смотрите-ка! Да воскреснет бог и расточатся врази его! Вот по той аллее идет он сам в сопровождении своего двусмысленного famulo» [1].

И в самом деле, вскоре я увидел самого Паганини. На нем был темно-серый сюртук, спускавшийся до пят, благодаря чему фигура его казалась очень высокой. Длинные черные волосы темной рамой окружали его бледное, мертвенное лицо, на котором забота, гений и адские силы оставили свой неизгладимый след. Рядом с ним шел, приплясывая, низенький, благодушный, до смешного прозаический человечек: у него было розовое морщинистое лицо, он был в светло-сером сюртучке со стальными пуговицами; он рассыпал во все стороны невыносимо приторные приветствия и в то же время с озабоченно-боязливым видом искоса поглядывал на высокую мрачную фигуру, серьезно и задумчиво шествовавшую рядом с ним. Казалось, что видишь перед собой картину Рецша, изображающую Фауста и Вагнера на прогулке перед воротами Лейпцига. Между тем глухой художник в своем обычном шутовском стиле отпускал замечания по поводу той и другой фигуры и обратил мое особое внимание на размеренную, размашистую походку Паганини. «Не кажется ли вам,— сказал он,— что он все еще носит железные кандалы на ногах? У него навсегда сохранилась эта походка. Взгляните также, как презрительно и иронически он посматривает порой на своего спутника, когда тот слишком надоедает ему своими прозаическими вопросами; но он не может обойтись без него: кровавый договор связывает его с этим слугой, который есть не кто иной, как сам сатана. Несведущая публика, правда, думает, что этот его спутник — сочинитель комедий и анекдотов, Гаррис из Ганновера, которого Паганини якобы взял с собой в турне для заведования денежной стороной своих концертов. Народ не знает, что черт позаимствовал у господина Георга Гарриса только его внешность, тогда как бедная душа этого бедного человека, вместе с прочим хламом, до тех пор останется запертой в сундуке в Ганновере, пока черт не возвратит ей ее телесную оболочку, если он предпочтет сопровождать маэстро Паганини в каком-либо ином, более достойном воплощении,— например, в виде черного пуделя».

Если уж в яркий полдень, под зелеными деревьями гамбургского Юнгфернштига, Паганини произвел на меня впечатление

[1] Наперсника *(итал.)*.

чего-то сказочного и диковинного, то как же поражала его зловеще-живописная наружность вечером на концерте! Концерт давался в гамбургском Театре комедии, и публика, любящая искусство, уже заранее набилась туда в таком количестве, что я лишь с трудом отвоевал себе местечко около оркестра. Несмотря на то, что это был почтовый день, в первых ложах присутствовали все просвещенные представители торгового мира, весь Олимп банкиров и прочих миллионеров — богов кофе и сахара, вместе со своими толстыми, божественными супругами, Юнонами с Вандрама и Афродитами с Дрекваля. Молитвенная тишина господствовала в зале. Глаза всех были устремлены на сцену. Все уши насторожились. Мой сосед, старый торговец мехами, вынул грязную вату из своих ушей, чтобы лучше впитать в себя драгоценные звуки, стоившие ему два талера. Наконец на эстраде появилась темная фигура, которая, казалось, только что вышла из преисподней. Это был Паганини в своем черном парадном облачении: на нем был черный фрак, черный жилет ужасающего покроя,— быть может, предписанного адским этикетом при дворе Прозерпины. Черные панталоны самым жалким образом болтались на его тощих ногах. Длинные руки казались еще длиннее, когда он, держа в одной руке скрипку, а в другой — опущенный книзу смычок и почти касаясь им земли, отвешивал перед публикой свои невиданные поклоны. В угловатых движениях его тела было что-то пугающе деревянное и в то же время что-то бессмысленно животное, так что эти поклоны должны были неизбежно возбуждать смех; но его лицо, казавшееся при ярком свете ламп оркестра еще более мертвенно-бледным, выражало при этом такую мольбу, такое тупое смирение, что смех умолкал, подавленный какой-то ужасной жалостью. У кого научился он этим поклонам, у автомата или у собаки? И что означал его взгляд? Был ли это умоляющий взор смертельно больного человека, или за этим взглядом скрывалась насмешка хитрого скряги? И кто такой он сам? Живой человек, который, подобно умирающему гладиатору, в своей предсмертной агонии на подмостках искусства старается позабавить публику своими последними судорогами? Или это мертвец, вставший из гроба, вампир со скрипкой в руках, который хочет высосать если не кровь из нашего сердца, то, во всяком случае, деньги из нашего кошелька?

Такие вопросы теснились в наших головах, пока Паганини с обычными кривляньями отвешивал во все стороны свои бесконечные поклоны; но все подобные мысли сразу оборвались, когда этот изумительный артист приставил скрипку к подбородку и

начал играть. Что касается меня, то ведь вы знаете мое второе музыкальное зрение, мою способность при каждом звуке, который я слышу, видеть соответствующий звуковой образ; с каждым новым взмахом его смычка предо мною вырастали зримые фигуры и картины; языком звучащих иероглифов Паганини рассказывал мне множество ярких происшествий, так что перед моими глазами словно развертывалась игра цветных теней, причем сам он со своей скрипкой неизменно оставался ее главным действующим лицом. Уже при первом ударе его смычка обстановка, окружавшая его, изменилась; он со своим нотным пюпитром внезапно очутился в приветливой, светлой комнате, беспорядочно-весело убранной вычурной мебелью в стиле помпадур: везде маленькие зеркала, позолоченные амурчики, китайский фарфор, очаровательный хаос лент, цветочных гирлянд, белых перчаток, разорванных кружев, фальшивых жемчугов, раззолоченных жестяных диадем и прочей мишуры, переполняющей обычно будуар примадонны. Внешность Паганини тоже изменилась, и притом самым выгодным для него образом: на нем были короткие панталоны из лилового атласа, белый, расшитый серебром жилет, кафтан из светло-голубого бархата с золотыми пуговицами; старательно завитые в мелкие кудри волосы обрамляли его лицо, совсем юное, цветущее, розовое, сиявшее необычайной нежностью, когда он поглядывал на хорошенькое созданьице, стоявшее рядом с ним у пюпитра, в то время как он играл на своей скрипке.

И в самом деле, рядом с ним я увидел хорошенькое молодое существо в старомодном туалете; белый атлас раздувался кринолином ниже бедер, и это очаровательно обрисовывало тонкую талию; напудренные завитые волосы были высоко подобраны, и под этой высокой прической особенно ярко сияло хорошенькое круглое личико с блестящими глазками, нарумяненными щечками, мушками и задорным, миленьким носиком. В руке она держала бумажный сверток, и как по движению ее губ, так и по кокетливому покачиванию верхней части ее фигурки можно было заключить, что она поет; но ухом нельзя было уловить ни одной из ее трелей, и только по звукам скрипки, на которой молодой Паганини аккомпанировал этой прелестной крошке, я мог угадать, что именно она пела и что переживал он сам во время ее пения. О, это были мелодии, подобные щелканью соловья в предвечерних сумерках, когда аромат розы наполняет томлением его сердце, почуявшее весну! О, это было тающее, сладострастно изнемогающее блаженство! Это были звуки, которые то встречались в поцелуе, то капризно убегали друг от друга и, наконец,

смеясь, вновь сливались и замирали в опьяняющем объятии. Да, легко и весело порхали эти звуки; точно так мотыльки, шаловливо дразня друг друга, то разлетаются в разные стороны и прячутся за цветы, то настигают один другого и, соединяясь в беспечно-счастливом упоении, взвиваются и исчезают в золотых лучах солнца. Но паук, черный паук, способен внезапно положить трагический конец радости влюбленных мотыльков. Закралось ли тяжелое предчувствие в юное сердце? Скорбный, стенящий звук, как предвестник надвигающейся беды, тихо проскользнул среди восторженных мелодий, которые излучала скрипка Паганини... Его глаза увлажняются... Молитвенно склоняется он на колени перед своей amata... Но, ах! Нагнувшись, чтоб расцеловать ее ножки, он замечает под кроватью маленького аббата! Не знаю, что он имел против этого бедняги, но генуэзец побледнел как смерть, он с яростью хватает маленького человечка, обильно награждает его пощечинами, дает ему немало пинков ногою и в довершение всего выкидывает за дверь, а затем вытаскивает из кармана свой длинный стилет и вонзает его в грудь юной красавицы...

Но в этот момент со всех сторон раздались крики: «Браво! Браво!» Восхищенные мужчины и женщины Гамбурга выражали шумное одобрение великому мастеру, который только что закончил первое отделение своего концерта и кланялся, сгибаясь еще ниже, еще более угловато, чем раньше. И мне казалось, что лицо его полно какой-то жалобной, еще более заискивающей мольбы, чем раньше. В его глазах застыла жуткая тревога, как у обреченного грешника.

«Божественно! — воскликнул мой сосед, торговец мехами, ковыряя в ушах.— Одна эта вещь стоила двух талеров».

Когда Паганини снова начал играть, мрачная пелена встала перед моими глазами. Звуки уже не превращались в светлые образы и краски; наоборот, даже фигуру самого артиста окутали густые тени, из мрака которых пронзительными, жалобными воплями звучала его музыка. Лишь изредка, когда висевшая над ним маленькая лампа бросала на него свой скудный свет, я мог разглядеть его побледневшее лицо, с которого все же не вполне исчезла печать молодости. Странный вид имела его одежда, как бы расщепленная на два цвета — желтая с одной стороны, красная — с другой. Ноги его были закованы в тяжелые цепи. Позади виднелась фигура, в физиономии которой было что-то веселое, козлиное; а длинные волосатые руки, по-видимому принадлежащие этой фигуре, временами касались, услужливо помогая артисту, струн его скрипки. Иногда они водили рукой его, держав-

шей смычок, и тогда блеющий смех одобрения сопровождал исходившие из скрипки звуки, все более и более страдальческие, все более кровавые. Эти звуки были, как песни падших ангелов, которые согрешили с дочерьми земли, за это были изгнаны из царства блаженных и с пылающими от позора лицами спускались в преисподнюю. Это были звуки, в бездонной глубине которых не теплилось ни надежды, ни утешения. Когда такие звуки слышат святые на небе, славословия господу богу замирают на их бледнеющих губах, и они с плачем покрывают свои благочестивые головы! Порой, когда в мелодические страсти этой музыки врывалось неотвратимое блеяние козлиного смеха, я замечал на заднем плане множество маленьких женских фигур, которые со злобной веселостью кивали своими безобразными головками и пальцами, сложенными для крестного знамения, злорадно почесывали себя сзади. Из скрипки вырывались тогда стоны, полные безнадежной тоски; ужасающие вопли и рыдания, какие еще никогда не оглашали землю и, вероятно, никогда вновь не огласят ее, разве только в долине Иосафата в день Страшного суда, когда зазвучат колоссальные трубы архангелов и голые мертвецы выползут из могил в ожидании своей участи... Но измученный скрипач вдруг ударил по струнам с такою силой, с таким безумным отчаянием, что цепи, сковывающие его, со звоном распались, а его лихой помощник исчез вместе со своими глумливыми чудовищами.

В этот момент мой сосед, торговец мехами, произнес: «Жаль, жаль! У него лопнула струна — это от постоянного пиччикато!»

Действительно ли лопнула струна у скрипача? Я этого не знаю. Я заметил лишь, что звуки приобрели иной характер, и внезапно вместе с ними как будто изменился и сам Паганини, и окружающая его обстановка. Я едва мог узнать его в коричневой монашеской рясе, которая скорее скрывала, чем одевала его. С каким-то диким выражением на лице, наполовину спрятанном под капюшоном, опоясанный веревкою, босой, одинокий и гордый, стоял Паганини на нависшей над морем скале и играл на скрипке. Происходило это, как мне казалось, в сумерки; багровые блики заката ложились на широкие морские волны, которые становились все краснее и в таинственном созвучии с мелодиями скрипки шумели все торжественнее. Но чем багрянее становилось море, тем бледнее делалось небо, и когда, наконец, бурные воды превратились в ярко-пурпурную кровь, тогда небо стало призрачно-светлым, мертвенно-бледным, и угрожающе и величественно выступили на нем звезды — и звезды эти были

черные-черные, как куски блестящего каменного угля. Но все порывистее и смелее становились звуки скрипки; в глазах страшного артиста сверкала такая вызывающая жажда разрушения, его тонкие губы шевелились с такой зловещей горячностью, что казалось, он бормочет древние нечестивые заклинания, которыми вызываются бури и освобождаются от оков злые духи, томящиеся в заключении в морских пучинах. Порою, когда он простирал из широкого монашеского рукава свою длинную, худую обнаженную руку и размахивал смычком в воздухе, он казался воистину чародеем, повелевающим стихиями с помощью своей волшебной палочки,— и тогда безумный рев несся из морских глубин, и кровавые, объятые ужасом волны вздымались вверх с такой силой, что почти достигали бледного небесного купола, покрывая брызгами красной пены его черные звезды. Кругом все выло, визжало, грохотало, как будто рушилась вселенная, а монах все с большим упорством играл на своей скрипке. Мощным усилием безумной воли он хотел сломать семь печатей, наложенных Соломоном на железные сосуды, в которых заключены были побежденные им демоны. Мудрый царь бросил их в море, и мне чудилось, что я слышу голоса заключенных в них духов, в то время как скрипка Паганини гремела своими самыми гневными басами. Наконец мне послышались словно ликующие клики освобождения, и я увидел, как из красных, кровавых волн стали подымать свои головы освобожденные демоны: чудища, сказочно безобразные, крокодилы с крыльями летучей мыши, змеи с оленьими рогами, обезьяны, у которых головы покрыты были воронкообразными раковинами, тюлени с патриархально длинными бородами, женские лица с грудями вместо щек, зеленые верблюжьи головы, ублюдки самых невообразимых помесей — все они пялили свои холодные, умные глаза на играющего на скрипке монаха, все простирали к нему свои длинные лапы-плавники... А у монаха, охваченного бешеным порывом заклинания, свалился капюшон, и длинные волнистые пряди, разметавшись по ветру, словно черные змеи, кольцами окружали его голову.

Это было настолько умопомрачительное зрелище, что я, в страхе потерять рассудок, заткнул уши и закрыл глаза. Привидение тут же исчезло, и, когда я вновь огляделся, я увидел бедного генуэзца в его обычном виде, отвешивающим свои обычные поклоны, в то время как публика восторженно аплодировала.

«Так вот она, эта знаменитая игра на басовой струне,— заметил мой сосед,— я сам играю на скрипке и знаю, чего стоит

так владеть этим инструментом». К счастью, перерыв длился недолго, иначе этот музыкальный меховщик втянул бы меня в длинный разговор об искусстве. Паганини снова спокойно приставил скрипку к подбородку, и с первым же ударом смычка вновь началось волшебное перевоплощение звуков. Но только оно теперь не оформлялось в такие резко-красочные и телесно-отчетливые образы. Звуки развертывались спокойно, величественно вздымаясь и нарастая, как хорал в исполнении соборного органа; и все вокруг раздвинулось вширь и ввысь, образуя колоссальное пространство, доступное лишь духовному, но не телесному взору. В середине этого пространства носился светящийся шар, на котором высился гигантский, гордый, величественный человек, игравший на скрипке. Что это был за шар? Солнце? Я не знаю. Но в чертах человека я узнал Паганини, только идеально прекрасного, небесно-проясненного, с улыбкой, исполненной примирения. Его тело цвело мужественной силой; светло-голубая одежда облекала облагороженные члены; по плечам ниспадали блестящими кольцами черные волосы; и в то время как он, уверенный, незыблемый, подобно высокому образу божества, стоял здесь со своей скрипкой, казалось, будто все мироздание повинуется его звукам. Это был человек-планета, вокруг которого с размеренной торжественностью, в божественном ритме вращалась вселенная. Эти великие светила, в спокойном сиянии плывшие вокруг него,— не были ли это небесные звезды? И эта звучащая гармония, которую порождали их движения,— не было ли это той музыкой сфер, о которой с таким восторгом вещали нам поэты и ясновидцы? Порой, когда я напряженно вглядывался в туманную даль, мне казалось, что я вижу одни только белые колеблющиеся одеяния, окутывающие пилигримов-великанов, шествовавших с белыми посохами в руках. И странно! Золотые набалдашники их посохов — это и были те великие светила, которые я принял за звезды. Широким кругом двигались пилигримы вокруг великого музыканта, от звуков его скрипки все ярче сияли золотые набалдашники их посохов, и слетавшие с их уст хоралы, которые я принял за пение сфер, были лишь замирающим эхом звуков его скрипки. Невыразимого, священного исступления полны были эти звуки, которые то едва слышно проносились, как таинственный шепот вод, то снова жутко и сладко нарастали, подобно призывам охотничьего рога в лунную ночь, и, наконец, гремели с безудержным ликованием, словно тысячи бардов ударяли по струнам своих арф и сливали свои голоса в одной победной песне. Это были звуки, которых никогда не может уловить ухо, о ко-

торых может лишь грезить сердце, когда оно ночью покоится у сердца возлюбленной. Впрочем, быть может, душа наша в состоянии постичь их и в яркий солнечный день, когда она, ликуя, погружается в созерцание прекрасных овалов и линий греческого искусства...

— Или когда выпита лишняя бутылка шампанского,— послышался вдруг насмешливый голос, словно пробудивший от сна нашего рассказчика. Оглянувшись, он заметил доктора, который в сопровождении черной Деборы тихонько вошел в комнату, чтобы посмотреть, как подействовало на больную его лекарство.

— Этот сон мне не нравится,— произнес доктор, указывая на софу.

Максимилиан, погруженный в фантастические образы собственной речи, не заметил, что Мария давно заснула, и теперь с досадой закусил губу.

— Этот сон,— продолжал доктор,— сообщает ее лицу облик смерти. Не правда ли, она похожа сейчас на те белые маски, на те гипсовые слепки, с помощью которых мы стремимся сохранить черты умерших?

— Я хотел бы,— прошептал ему на ухо Максимилиан,— сделать такой слепок с лица нашей приятельницы. Она и мертвая будет очень хороша.

— Не советую вам это делать,— возразил доктор.— Такие маски отравляют нам воспоминание о тех, кого мы любили. Нам все кажется, что в этом гипсе сохранилось еще что-то живое, тогда как в действительности то, что там запечатлено, есть сама смерть. Правильные, красивые черты лица приобретают при этом какое-то зловеще-застывшее, надменное, отталкивающее выражение, благодаря чему они больше пугают нас, чем радуют. Но настоящими карикатурами оказываются гипсовые слепки с лиц, привлекательность которых носила более духовный, чем телесный характер, черты которых были не столько правильны, сколько интересны: ибо лишь только отлетели грации жизни, отклонения от идеальных линий красоты не восполняются уже больше духовной привлекательностью. Однако всем этим гипсовым лицам, каковы бы они ни были, свойственно какое-то загадочное выражение, которое при долгом созерцании пронизывает нашу душу нестерпимым холодом; кажется, будто все это лица людей, которые собираются отправиться в тяжкий путь.

— Куда?— спросил Максимилиан, в то время как доктор под руку уводил его из комнаты.

— И к чему мучить меня этим гадким лекарством, когда я все равно скоро умру.

Эти слова Мария произнесла как раз в то мгновение, когда Максимилиан входил в комнату. Перед ней стоял врач, державший в одной руке аптечную склянку, а в другой маленькую рюмку, в которой отвратительно пенилось какое-то бурое снадобье.

— Дражайший друг!— воскликнул врач, обращаясь к вошедшему.— Вы явились сюда как нельзя более кстати. Уговорите же синьору проглотить эти несколько капель: я спешу.

— Я прошу вас, Мария!— прошептал Максимилиан тем нежным голосом, который не часто у него появлялся и в котором слышалась такая сердечная боль, что больная, растроганная, почти забывшая о собственных страданиях, взяла в руки рюмку. Но прежде чем поднести ее к губам, она сказала с улыбкой:

— Не правда ли, в награду вы мне расскажете историю Лоранс?

— Я исполню все, чего вы желаете!— кивнув, ответил Максимилиан.

Бледная женщина тотчас выпила содержимое рюмки с судорожной улыбкой.

— Я спешу,— сказал врач, натягивая свои черные перчатки.— Прилягте, синьора, и лежите совершенно спокойно. Двигайтесь как можно меньше. Я спешу.

В сопровождении черной Деборы, вышедшей ему посветить, он оставил комнату. Теперь друзья были одни и долго безмолвно смотрели друг на друга. Одни и те же мысли волновали обоих, но каждый стремился скрыть их от другого. Внезапно женщина схватила руку Максимилиана и покрыла ее жаркими поцелуями.

— Ради бога! — сказал Максимилиан.— Не делайте таких резких движений и ложитесь опять спокойно на свою софу.

Когда Мария исполнила его просьбу, он заботливо укрыл ее ноги шалью, к которой прежде прикоснулся губами. Движение это, по-видимому, не ускользнуло от Марии; глаза ее радостно заискрились, как у счастливого ребенка.

— Что же, мадемуазель Лоранс была очень хороша?

— Если вы не будете меня прерывать и дадите обещание слушать меня тихо и спокойно, то я подробнейшим образом изложу вам все, что вы желали бы знать.

Приветливо улыбнувшись в ответ на утвердительный взгляд Марии, Максимилиан уселся в кресло, стоявшее рядом с софой, и так начал свой рассказ:

— Восемь лет тому назад я отправился в Лондон, чтобы изучить язык и самих англичан. Черт бы побрал этот народ вместе с его языком! Они набивают себе рот дюжиной односложных слов, жуют их, комкают, снова выплевывают, и это они называют речью. К счастью, они по природе своей довольно молчаливые, и хотя глазеют на нас, разинув рот, тем не менее длительными беседами они нас не обременяют. Но горе нам, если мы попали в руки сыну Альбиона, который совершил свое большое путешествие и обучился на континенте французскому языку. Этот уже не упустит случая поупражняться в знании языка; он засыплет вас вопросами о всевозможных вещах, и едва вы ответили на один вопрос, как уже готов другой: о вашем возрасте, о вашей родине, о продолжительности вашего пребывания за границей, причем он искренне убежден, что наилучшим образом занимает вас своим неустанным допросом. Один из моих парижских друзей был, пожалуй, прав, утверждая, что англичане обучаются французскому языку в bureau des passeports [1]. Всего полезнее их беседа за столом, когда они разрезают свои колоссальные ростбифы и с серьезным видом расспрашивают вас, какой кусок вы желаете получить: прожаренный или непрожаренный? Из середины или с зарумяненного края? С жиром или без жира? Но этими ростбифами да еще бараньим жарким исчерпывается все, что у них есть хорошего. Да сохранит господь всякого христианина от их соусов, которые состоят на одну треть из муки и на две трети из масла или — когда желательно внести разнообразие — на одну треть из масла и на две трети из муки. Да сохранит господь всякого и от их наивных гарниров из зелени, которую они отваривают в воде и подают к столу в том самом виде, в каком она вышла из рук создателя. Еще ужаснее английской кухни английские тосты и неизбежные застольные речи, произносящиеся тогда, когда убрана скатерть и дам, покинувших сидящее за столом общество, замещает теперь соответствующее количество бутылок портвейна... По мнению англичан, эти последние могут наилучшим образом восполнить отсутствие прекрасного пола. Я говорю «прекрасного пола», так как англичанки заслуживают этого названия. Это красивые, белые, стройные создания. Только слишком обширное пространство между носом и ртом, встреча-

[1] Паспортном столе *(франц.)*.

ющееся у них не менее часто, чем у тамошних мужчин, не раз отравляло мне в Англии наслаждение от созерцания самых красивых лиц. Это нарушение норм прекрасного действует на меня особенно тягостно, когда я встречаю англичан здесь, в Италии, где их скупо отмеренные носы и широкие пространства между носом и ртом образуют резкий контраст с лицами итальянцев, черты которых приближаются к античной правильности, а носы, либо по-римски изогнутые, либо по-гречески опущенные, нередко страдают чрезмерной длиною. Очень правильно заметил один немецкий путешественник, что англичане, разгуливающие здесь среди итальянцев, напоминают статуи с отбитым кончиком носа.

Да и вообще, только встретив англичан в чужой стране, можно как следует почувствовать их недостатки, особенно ярко выступающие в силу контраста. Это — боги скуки, которые проносятся из страны в страну на курьерских, в блестящих лакированных экипажах, и оставляют везде за собою серое, пыльное облако тоски. Прибавьте к этому любопытство, лишенное внутреннего интереса, их вылощенную тяжеловесность, их наглую тупость, их угловатый эгоизм и какую-то унылую радость, которую возбуждают в них самые меланхолические предметы. Вот уже три недели, как здесь, на Piazza di Gran Duca[1], ежедневно появляется англичанин и с разинутым ртом целыми часами глазеет на шарлатана, который, сидя верхом на лошади, вырывает людям зубы. Быть может, это зрелище должно вознаградить благородного сына Альбиона за то лишение, которое он испытывает, не присутствуя на публичных казнях, совершаемых в его любезном отечестве... Ибо, наряду с боксом и петушиными боями, для британца нет зрелища более увлекательного, чем созерцание агонии какого-нибудь бедняги, который украл овцу или подделал подпись и которого за это на целый час выставляют с веревкой на шее перед фасадом Олд-Бейли, прежде чем швырнуть его в вечность. Я отнюдь не преувеличиваю, когда говорю, что в этой безобразно жестокой стране кража овцы и подделка документа караются наравне с ужаснейшими преступлениями — отцеубийством или кровосмешением. Я сам, к своему прискорбию, оказался случайным свидетелем того, как в Лондоне за кражу овцы вешали человека, и с этих пор баранье жаркое потеряло для меня всякую прелесть: жир напоминает мне каждый раз белый колпак несчастного грешника. Рядом с ним был повешен один ирландец, подделавший подпись

[1] Площади Великого Герцога *(итал.)*.

богатого банкира; я как сейчас вижу этого бедного Пэдди, объятого наивным смертельным ужасом перед судом присяжных: он никак не мог понять, что за одну только подделку подписи его должно постигнуть столь жестокое наказание,— его, который охотно позволил бы каждому воспроизвести его собственную подпись! И этот народ постоянно говорит о христианстве, не пропускает ни одного воскресного богослужения и наводняет весь мир Библиями!

Я должен, впрочем, признаться вам, Мария, что если в Англии мне все становилось поперек горла — и кушанья и люди,— то причина отчасти заключалась во мне самом. Я привез с собою с родины добрый запас хандры и искал развлечения у народа, который сам способен избавляться от скуки не иначе, как потопив ее в водовороте политической или коммерческой деятельности. В совершенстве машин, которые применяются там везде и выполняют столько человеческих функций, для меня также заключалось что-то неприятное и жуткое; меня наполняли ужасом эти искусные механизмы, состоящие из колес, стержней, цилиндров, с тысячью всякого рода крючочков, штифтиков, зубчиков, которые все движутся с какой-то страстной стремительностью. Не менее угнетали меня определенность, точность, размеренность и пунктуальность жизни англичан; ибо так же, как машины походят там на людей, так и люди кажутся там машинами. Да, дерево, железо и медь словно узурпировали там дух человека и от избытка одушевленности почти что обезумели, в то время как обездушенный человек, словно пустой призрак, совершенно машинально выполняет свои обычные дела, в определенный момент пожирает бифштексы, произносит парламентские речи, чистит ногти, влезает в дилижанс или вешается.

Вы легко поймете, что в этой стране тоска моя должна была возрастать со дня на день. Но ничто не сравнится с тем мрачным настроением, которое нашло на меня однажды вечером, когда я стоял на мосту Ватерлоо и смотрел вниз, в воды Темзы. Душа моя словно отражалась в воде и смотрела на меня оттуда, зияя всеми своими ранами... Самые грустные истории приходили мне тогда на память... Я думал о розе, которую постоянно поливали уксусом и потому она лишилась своего сладостного аромата и преждевременно увяла... Я думал о заблудившейся бабочке, которую заметил один естествоиспытатель, взобравшийся на Монблан,— он видел, как она одиноко порхала между ледяными глыбами... Я думал об одной ручной обезьянке, которая так подружилась с людьми, что с ними

играла, с ними обедала; но вот однажды к обеду была подана на блюде зажаренная маленькая обезьянка, в которой она узнала свое собственное детище; быстро схватив его, она бросилась в лес и с тех пор никогда уже больше не возвращалась к своим друзьям — людям... Ах, мне стало так грустно, что горячие капли градом полились из моих глаз. Они падали вниз, в Темзу, и плыли дальше, в огромное море, которое уже поглотило столько человеческих слез, совершенно не замечая этого.

В то самое мгновение странная музыка пробудила меня от мрачных грез; оглянувшись, я заметил на берегу кучку людей, столпившихся вокруг какого-то, очевидно забавного, зрелища. Подойдя ближе, я увидел семью артистов, в которую входили следующие четыре лица.

Во-первых, низенькая, коренастая женщина, одетая во все черное, с очень маленькой головой и очень толстым, выпяченным животом. На этом животе висел огромнейший барабан, в который она беспощадно колотила.

Во-вторых, карлик, одетый, наподобие французского маркиза старого времени, в расшитый кафтан; у него была большая напудренная голова; но все остальные части его тела были крайне невелики; приплясывая, он ударял по треугольнику.

В-третьих, молодая девушка лет пятнадцати, одетая в короткую, плотно облегающую тело кофту из голубого полосатого шелка и в широкие панталоны из такого же материала. Это была очаровательная, воздушная фигурка. Лицо ее отличалось античной красотой. Благородный, прямой нос, прелестно изогнутые губы, мечтательный, мягко закругленный подбородок, золотисто-солнечный цвет кожи, блестящие черные волосы, обвитые косами вокруг лба; так стояла она, прямая, строгая, с нахмуренным лицом, и смотрела на четвертого члена компании, который как раз проделывал в это время свои фокусы.

Это четвертое действующее лицо был ученый пес, в высшей степени многообещающий пудель; к величайшей радости английской публики, он только что сложил из рассыпанных перед ним деревянных букв имя «Веллингтон» с весьма лестным эпитетом: «герой». Так как эта собака — что можно было заметить уже по ее умному виду — не принадлежала к числу английских животных, но вместе с тремя остальными товарищами явилась сюда из Франции, то сыны Альбиона радовались, что великий Веллингтон, по крайней мере среди французских собак, добился того признания, в котором ему так позорно отказывали все прочие французские создания.

В самом деле, вся эта компания состояла из французов, и карлик, отрекомендовавшийся мосье Тюрлютю, начал хвастливую речь на французском языке, сопровождая ее такой страстной жестикуляцией, что бедные англичане раскрыли свои рты и ноздри шире, чем обычно. Иногда, закончив длинный период, он кричал петухом, и это кукареку вместе с именами многочисленных императоров, королей и князей, которыми пестрела его речь, составляли единственное, что понимали его бедные слушатели. Этих императоров, королей и князей он прославлял как своих покровителей и друзей. Он уверял, что еще восьмилетним мальчиком имел продолжительную беседу с его величеством блаженной памяти Людовиком XVI, который и в позднейшие времена прибегал к его совету во всех важных случаях. От бурь революции он, подобно многим другим, спасся эмиграцией и лишь в эпоху Империи вернулся в свое любезное отечество, для того чтобы разделить славу великой нации. Благосклонностью Наполеона он, по его словам, никогда не пользовался; но зато его святейшество папа Пий VII чуть ли не боготворил его. Царь Александр угощал его конфетами, а принцесса Вильгельмина фон Киритц постоянно сажала его к себе на колени. Его светлость герцог Карл Брауншвейгский заставлял его нередко ездить верхом на своих собаках, а его величество король Людвиг Баварский читал ему свои августейшие стихотворения. Князья Рейс, Шлейц, Крейц, а также князья Шварцбург-Зондерсхаузен любили его, как брата, и всегда курили с ним из одной трубки. Да, сказал он, с самого детства он вращался только среди монархов, все теперешние государи некоторым образом выросли вместе с ним, и он относится к ним как к людям своего круга и облекается в траур всякий раз, когда кто-нибудь из них отходит в вечность. После этих торжественных слов он закричал петухом.

Мосье Тюрлютю был действительно одним из любопытнейших карликов, каких мне приходилось когда-либо видеть; его старое, сморщенное лицо представляло такой забавный контраст с детски тщедушным тельцем, и вся его персона столь же забавно контрастировала с теми штуками, которые он выкидывал. Он принимал, например, самые задорные позы и непомерно длинной рапирой пронзал воздух направо и налево, причем поминутно клялся своей честью, что вот эту кварту или эту терцию никто не в состоянии отпарировать, что, наоборот, его парады не может разбить ни один из смертных и что он вызовет любого из публики помериться с ним в благородном искусстве фехтования. Посвятив некоторое время этому представле-

нию и не найдя никого, кто отважился бы вступить с ним в открытый поединок, карлик отвесил поклон с грацией, свойственной старой Франции, поблагодарил за выраженное ему одобрение и взял на себя смелость предложить высокочтимой публике зрелище, более необычайное, чем все то, что когда-либо вызывало изумление зрителей на территории Англии. «Взгляните! — воскликнул он, надев грязные лайковые перчатки и с почтительной вежливостью выводя на середину круга молодую девушку, принадлежавшую к группе комедиантов.— Эта особа — мадемуазель Лоранс, единственная дочь почтенной и благочестивой дамы, которую вы видите там с большим барабаном и которая до сих пор носит траур по случаю смерти своего нежно любимого супруга, величайшего чревовещателя Европы! Мадемуазель Лоранс будет теперь танцевать! Изумляйтесь танцу мадемуазель Лоранс!» Произнеся эти слова, он снова закричал петухом.

Девушка не обращала, по-видимому, ни малейшего внимания ни на эти речи, ни на любопытные взгляды зрителей; угрюмо-сосредоточенная, она ждала, чтобы карлик расстелил перед ней большой ковер и вновь заиграл на своем треугольнике под аккомпанемент большого барабана. Это была странная музыка, смесь неуклюжего брюзжания и сладострастного призыва, и я был захвачен этой патетической, шутовской, скорбно-наглой, причудливой мелодией, которая в то же время отличалась необычайной простотой. Но я тотчас же забыл о музыке, как только молодая девушка начала танцевать.

Танец и танцовщица с почти неудержимой силой приковали к себе все мое внимание. То не был классический танец, который еще встречается в наших больших балетах, где, как и в классической трагедии, господствуют одни только ходульные единства и прочие условности; тут не было ни тщательно вытанцовываемых александрийских стихов, ни декламаторских прыжков, ни этих антраша, символизирующих антитезу, ни благородной страсти, которая выделывает пируэты, вращаясь на одной ноге с такой стремительностью, что нельзя ничего разобрать, кроме неба и трико, ничего, кроме идеальности и лжи. По правде сказать, ничто мне так не противно, как балет в парижской Большой опере, где в наибольшей чистоте сохранилась традиция этого классического танца, несмотря на то, что в области прочих искусств — в поэзии, музыке и живописи — французы низвергли классическую систему. Но в хореографическом искусстве им трудно будет произвести подобного рода революцию; разве только они прибегнут здесь, как и в политической

революции, к террору и начнут гильотинировать ноги у своих одеревеневших танцоров и танцовщиц старого режима. Мадемуазель Лоранс не была великой танцовщицей; ее носки не отличались особой гибкостью, ноги ее не были подготовлены для всевозможных вывертов, она ничего не смыслила в танцевальном искусстве, как ему обучает Вестрис, но она танцевала так, как человеку предписывает танцевать природа; все ее существо было в гармонии с ее движениями; не только ее ноги, но все ее тело, ее лицо принимали участие в танце... Порой она становилась бледной, почти смертельно-бледной; ее глаза неестественно широко раскрывались, губы ее подергивались судорогой желания и боли, а ее черные волосы, полукруглыми прядями обрамлявшие ее виски, трепетали, как два воронова крыла. Это был совсем не классический танец, но и не романтический, в том смысле, в каком употребил бы это слово современный француз из школы Эжена Рандюэля. В этом танце не было ничего средневекового или венецианского, ничего похожего на пляску горбунов или на пляску смерти; не чувствовалось в нем ни лунного света, ни кровосмесительных страстей... Этот танец не заботился о том, чтобы забавлять внешним разнообразием движений; наоборот, внешние движения казались лишь словами какого-то особого языка и имели какой-то особый смысл. Что же говорил этот танец? Я не мог постигнуть это, несмотря на всю страстную выразительность его языка, и лишь смутно догадывался порой, что речь идет о чем-то мучительно страшном. Я, обычно столь легко схватывающий внутренний смысл всех явлений, не мог разрешить загадку этого танца, и если я вновь и вновь тщетно старался схватить его смысл, то виной тому, без сомнения, была музыка, которая, вероятно не без умысла, наводила меня на ложный след, лукаво сбивая с правильного пути и мешая мне. Треугольник господина Тюрлютю посмеивался иногда так коварно! А мамаша била в свой барабан так гневно, что ее лицо пылало под темным облаком траурной шляпы, как кровавое зарево северного сияния.

После того как труппа удалилась, я долго еще стоял на том же месте и размышлял над тем, что бы могла обозначать эта пляска. Был ли это южнофранцузский или испанский национальный танец? Об этом как будто говорило неистовство, с которым юная танцовщица бросалась то в одну, то в другую сторону, это дикое, необузданное движение, которым она иногда откидывала голову назад, наподобие вакханок, изумляющих нас на барельефах античных ваз. В ее танце чудилось тогда что-то опьяненно-безвольное, что-то мрачно-неотвратимое, роко-

вое, словно это танцевала сама судьба. Или это были обрывки какой-то древней забытой пантомимы? Или она, танцуя, рассказывала историю чьей-то жизни? Иногда девушка припадала ухом к земле и прислушивалась, как будто оттуда доносился до нее чей-то голос... Она трепетала тогда, как осиновый лист, затем порывисто откидывалась в другую сторону, будто хотела что-то стряхнуть с себя, уносилась безумными, бешеными прыжками, а затем вновь приникала ухом к земле, прислушивалась еще тревожнее, чем прежде, кивала головой, краснела, бледнела, содрогалась, застывала на мгновение, выпрямившись, как свеча, и, наконец, делала такое движение, точно умывала руки. Не кровь ли смывала она со своих рук так долго и старательно, так жутко старательно? При этом она бросала в сторону взгляд, такой просящий, такой умоляющий, хватающий за сердце... И случайно взгляд этот упал на меня.

Всю следующую ночь я думал об этом взгляде, об этом танце, о причудливом аккомпанементе; и когда я на следующий день, по обыкновению, начал скитаться по лондонским улицам, я почувствовал неудержимое желание снова встретиться с прекрасной танцовщицей; и я постоянно напрягал слух, стараясь уловить звуки барабана и треугольника. Я нашел наконец в Лондоне нечто такое, что меня заинтересовало, и уже не слонялся больше бесцельно по его скучающим улицам.

Я как раз выходил из Тауэра, где обстоятельно осмотрел топор, которым была обезглавлена Анна Болейн, а также алмазы английской короны и львов, как вдруг на Тауэрской площади посреди большой толпы людей я увидел мамашу с большим барабаном и тотчас же услыхал голос Тюрлютю, кричавшего петухом. Ученый пес снова прославлял по буквам героизм лорда Веллингтона; карлик снова показывал свои непобедимые терции и кварты, а мадемуазель Лоранс снова начала свой изумительный танец. Предо мной были опять те же загадочные движения, тот же язык, говоривший мне что-то такое, чего я не мог постигнуть, так же беспокойно она откидывала назад прекрасную головку, так же припадала ухом к земле и после этого, вновь объятая ужасом, старалась прогнать его все более бешеными прыжками. И потом снова ее чуткое ухо приникало к земле, и снова трепет, смертельная бледность, полное окаменение; и опять это ужасное, таинственное омовение рук и трогательный, умоляющий взгляд в сторону, который на этот раз еще дольше остановился на мне.

Да, женщины,— девушки не хуже, чем замужние женщины,— немедленно замечают, когда им удалось привлечь внима-

ние мужчины. Хотя мадемуазель Лоранс, когда она не танцевала, все время неподвижно и сердито смотрела в одну точку, а во время своей пляски бросала на публику лишь один-единственный взгляд, тем не менее не случайно взгляд этот останавливался всегда на мне, и чем чаще я видел, как она танцует, тем значительнее и вместе с тем загадочнее сияли ее глаза. Я был словно околдован этим взглядом и целых три недели с утра до вечера таскался по улицам Лондона, останавливаясь всюду, где танцевала мадемуазель Лоранс. Несмотря на сильнейший шум уличной толпы, я стал на очень далеком расстоянии улавливать звуки барабана и треугольника, и мосье Тюрлютю, заметив, что я спешу к ним, тотчас же посылал мне навстречу самое приветливое кукареку. Хотя я не обменялся ни одним словом ни с ним, ни с мадемуазель Лоранс, ни с мамашей, ни с ученой собакой, я в конце концов стал как бы членом их труппы. Когда мосье Тюрлютю собирал деньги, он держался всегда с тончайшим тактом: приближаясь ко мне, он смотрел в противоположную сторону, в то время как я бросал в его треугольную шляпенку мелкую монету. Он действительно держал себя с благородным достоинством, напоминавшим изысканные манеры прошлого; глядя на этого маленького человечка, легко было поверить, что он вырос среди монархов, и тем более странное получалось впечатление, когда он, совершенно забыв о своем достоинстве, начинал кричать петухом.

Я не могу вам описать, до какой степени я был раздосадован, когда, по прошествии некоторого времени, я в течение трех дней тщетно разыскивал маленькую труппу по всем улицам Лондона и наконец пришел к убеждению, что она оставила этот город. Скука вновь охватила меня своими свинцовыми объятиями, снова сжала мое сердце. Наконец я уже не мог больше выдержать, сказал прости английским mob, black guards, gentlemen [1] и fashonables [2] — всем четырем сословиям этого государства — и отправился назад, на цивилизованный континент, где молитвенно преклонил колена перед белым фартуком первого попавшегося мне навстречу повара. Здесь я снова мог наконец обедать, как подобает разумному человеку, и радовать свою душу созерцанием благодушных и бескорыстных физиономий. Но мадемуазель Лоранс я все же не мог забыть; она еще очень долго танцевала в моих воспоминаниях, и в часы

---

[1] Черни, грязной сволочи, джентльменам *(англ.)*.

[2] Фешенебельной знати *(англ.)*.

одиночества я еще очень часто размышлял о загадочной пантомиме этого прелестного ребенка, в особенности о том, как она к чему-то прислушивалась, приникнув ухом к земле. Немало времени прошло также, прежде чем в моем воспоминании замолкли причудливые мелодии треугольника и барабана.

— И это вся история? — внезапно воскликнула Мария, порывисто приподнявшись.

Но Максимилиан нежным движением вновь уложил ее, многозначительно приставил палец к губам и прошептал:

— Тише, тише. Только не говорите ни слова, лежите совершенно спокойно, и я расскажу вам конец истории. Только, ради всего святого, не перебивайте меня.

Усевшись поудобнее в кресле, Максимилиан следующим образом продолжал свой рассказ:

— Через пять лет после этого происшествия я впервые приехал в Париж и попал туда как раз в очень интересный период. Французы только что разыграли свою Июльскую революцию, и весь мир им аплодировал. Эта пьеса не была столь ужасна, как прежние трагедии Республики и Империи. Всего лишь несколько тысяч трупов осталось лежать на подмостках. Однако политические романтики не были удовлетворены и сулили новую постановку, в которой будет пролито больше крови и палач получит больше работы.

Париж доставлял мне искреннее наслаждение своей веселостью, которая проявляется там решительно во всем и оказывает свое влияние даже на самые мрачные умы. Поразительно! Париж — это место, где разыгрываются величайшие трагедии мировой истории — трагедии, одно воспоминание о которых заставляет обитателей самых отдаленных стран содрогаться и проливать слезы; и, однако, здесь, в Париже, зритель этих трагедий испытывает нечто вроде того, что я испытывал раз в «Porte Saint-Martin», когда давалась «Tour de Nesle» [1]. Мне пришлось там сидеть позади дамы, на которой была надета шляпа из красно-розового тюля; у этой шляпы были такие широкие поля, что они заслоняли от меня всю сцену; таким образом, все, что разыгрывалось там трагичного, я видел сквозь этот красный флер, и все ужасы «Tour de Nesle» рисовалась мне в самом жизнерадостном, розовом свете. Да, в Париже есть такой розовый свет, и он окрашивает в веселые тона все трагедии в глазах их непосредственных зрителей, чтобы не отравлять им радость жизни. Даже те ужасы, которые вы приносите в Париж в сво-

[1] «Нельская башня» *(франц.)*.

ем собственном сердце, перестают вас там угнетать. Здесь как-то странно смягчаются страдания. В парижском воздухе все раны исцеляются гораздо быстрее, чем где бы то ни было; есть в этом воздухе что-то такое же великодушное, полное обаяния и сострадания, как и в самом народе.

Но что мне больше всего понравилось в парижанах — это их вежливость в обращении и аристократическая внешность. О сладостный ананасный аромат вежливости! Как благодетельно освежил ты мою больную душу, которая так наглоталась в Германии табачного дыма, запаха кислой капусты и грубости! Подобно мелодии Россини, прозвучали в моих ушах изысканные извинения француза, лишь слегка толкнувшего меня на улице в день моего прибытия в Париж. Я был почти испуган такой сладостной вежливостью,— я, привыкший к немецки грубым толчкам в бок без всяких извинений. В первую неделю моего пребывания в Париже я нарочно старался ходить так, чтобы меня толкали, только для того, чтобы насладиться музыкой этих просьб о прощении. Но не только эта вежливость, а и самый язык придавал в моих глазах французскому народу известный налет аристократизма. Ведь, как вы знаете, у нас, на севере, уменье говорить по-французски принадлежит к числу атрибутов высшего дворянства, и поэтому с французским языком у меня с самого детства ассоциировалась идея аристократизма. Здесь, в Париже, какая-нибудь дама с толкучего рынка лучше говорит по-французски, чем окончившая институт немецкая аристократка с шестьюдесятью четырьмя предками.

Благодаря языку, который придает французскому народу аристократический облик, народ этот приобрел в моих глазах что-то очаровательно сказочное. Это вызывалось другим воспоминанием моего детства. Дело в том, что первой книжкой, по которой я учился по-французски, были басни Лафонтена; их наивно-благоразумные речи неизгладимо запечатлелись в моей памяти, и когда я приехал в Париж, то звуки раздававшейся вокруг французской речи постоянно напоминали мне басни Лафонтена; мне все казалось, что я слышу хорошо знакомые голоса животных: вот это говорит лев, а это — волк, затем ягненок, аист или голубь; нередко мне чудились и речи лисицы, и в моем воспоминании частенько воскресали слова:

Hé! bonjour, monsieur du Corbeau!
Que vous êtes joli! Que vous me semblez beau! [1]

---

[1] Сударыня Ворона, мой привет!
Милей, прекрасней вас на свете нет! *(франц.)*

Но еще чаще пробуждались в моей душе эти воспоминания о персонажах басен, когда я попал в Париже в те высшие сферы, которые именуются светом. Ведь это был тот самый свет, который доставил покойному Лафонтену типы, воплощенные в характерах его различных животных. Зимний сезон начался вскоре после моего приезда в Париж, и я принял участие в жизни его салонов, где более или менее весело толчется весь этот свет. Самым интересным и поразительным для меня в жизни света была не столько одинаковость царящих в нем утонченных нравов, сколько различие его составных частей. Порою, наблюдая людей, мирно собравшихся в каком-нибудь великолепном салоне, я чувствовал себя словно в лавке редкостей, где в пестром смешении покоятся рядом друг с другом реликвии всевозможных эпох: греческий Аполлон — рядом с китайской пагодой, мексиканский Вицлипуцли — рядом с готическим Ecce homo; [1] египетские идолы с собачьими головами, священные уродцы из дерева, слоновой кости, металла и т. п. Там встречались старые мушкетеры, танцевавшие некогда с Марией-Антуанеттой, умеренные республиканцы, которых боготворили в Национальном собрании, монтаньяры, беспощадные и безупречные, бывшие герои Директории, царствовавшие в Люксембурге, вельможи Империи, перед которыми трепетала вся Европа, иезуиты, господствовавшие во времена Реставрации,— одним словом, все выцветшие, искалеченные божества различных времен, в которые никто уже больше не верил. Имена вопиют при взаимном сопоставлении; но люди мирно и дружественно помещаются рядом, как старинные редкости в упомянутых антикварных лавках на Quais Voltaire [2]. В германских странах, где страсти не так легко поддаются дисциплине, светское общение столь разнородных лиц было бы чем-то совершенно немыслимым. Да и, кроме того, у нас, на холодном севере, потребность говорить не так сильна, как в более теплой Франции, где даже враги, встретившись в салоне, не в состоянии в течение долгого времени хранить угрюмое молчание. Кроме того, желание нравиться во Франции настолько велико, что люди всеми силами стараются произвести благоприятное впечатление не только на друзей, но и на врагов. Здесь постоянно во что-нибудь драпируются и мило гримасничают, так что женщинам нелегко превзойти мужчин в кокетстве; впрочем, это им все же удается.

---

[1] Се человек *(лат.)*

[2] Набережная Вольтера *(франц.)*.

Последним замечанием я не хотел сказать ничего дурного,— особенно о французских женщинах и менее всего о парижанках. Наоборот, я величайший их почитатель, причем я почитаю парижанок за их недостатки, пожалуй, больше, чем за их добродетели. Я не знаю ничего более меткого, чем легенда о том, что парижанки рождаются на свет со всевозможными недостатками, но добрая фея, сжалившись над ними, придает каждому из этих недостатков особые чародейские свойства, благодаря чему лишь возрастает их обаяние. Зовут эту добрую фею грацией. Красивы ли парижанки? Кто может на это ответить? Кто в состоянии распутать все ухищрения туалета, кто в состоянии разгадать, подлинно ли то, что просвечивает сквозь тюль, не поддельно ли то, что так хвастливо выпирает из пышного шелкового покрова? И едва вашему глазу удалось проникнуть за оболочку, только вы собрались приступить к исследованию самой сердцевины, как она тотчас облекается в новую оболочку, затем опять в новую, и эта непрерывная смена моды издевается над всеми усилиями мужской проницательности. Красивы ли их лица? И на это тоже трудно ответить. Ибо все черты лица у них в постоянном движении, каждая парижанка обладает тысячью лиц, причем одно радостнее, одухотвореннее, прелестнее другого, и тот, кто среди всех этих меняющихся выражений захочет найти самое прекрасное или же самое правдивое, тот неизменно попадет впросак. Большие ли у них глаза? Почем я знаю! Мы не измеряем калибр пушки, когда ее ядро отрывает нам голову. И даже если они не попадают в цель, эти глаза, они ослепляют своим огнем, и человек счастлив, если он оказался в безопасности, за линией огня. Широко или узко у них пространство между носом и ртом? Иногда широко, когда они морщат носик; иногда узко, когда они шаловливо надувают верхнюю губку. Велик у них рот или мал? Но кто может определить, где оканчивается рот и начинается улыбка? Чтобы высказать правильное суждение, надо, чтобы лицо, выносящее это суждение, а также предмет его находились в состоянии покоя. А кто же может быть спокоен рядом с парижанкой, и какая парижанка бывает когда бы то ни было спокойна? Есть люди, которые думают, что они могут совершенно отчетливо рассмотреть бабочку, наколов ее булавкой на бумагу. Это столь же нелепо, сколь и жестоко. Приколотая, неподвижная, бабочка уже более не бабочка. Бабочку надо рассматривать, когда она порхает вокруг цветов... И парижанку надо рассматривать не в ее домашней обстановке, где у нее, как у бабочки, грудь проколо-

та булавкой, а в гостиных, на вечерах и балах, когда она порхает на своих крылышках из расшитого газа и шелка под сверкающими лучами хрустальных люстр. Тогда раскрывается вся их страстная любовь к жизни, их жажда сладостного дурмана, жажда опьянения, и это придает им почти пугающую красоту и очарование, которое одновременно и восхищает и потрясает нашу душу. Это страстное стремление вкушать радости жизни, словно смерть уже через мгновение оторвет их от кипучего источника наслаждений или он иссякнет, это исступление, эта одержимость, это безумие парижанок, особенно поражающее на балах, напоминают мне поверье о мертвых танцовщицах, которых у нас называют виллисами. Это — юные невесты, умершие ранее дня своей свадьбы, но сохранившие в душе неутоленную страсть к танцам, столь властную, что по ночам они встают из своих гробов, толпами собираются на дорогах и в полночь предаются самым диким пляскам. Разодетые в подвенечные платья, с венками из цветов на головах, со сверкающими кольцами на бледных руках, жутко смеясь, неотразимо прекрасные, виллисы пляшут в лучах луны, и тем неистовее и исступленнее, чем более они чувствуют, что час их плясок истекает и что они снова должны вернуться в ледяной холод могилы.

Впечатление это особенно глубоко запало мне в душу на вечере в одном доме на Шоссе-д'Антен. Это был блестящий вечер; все традиционные элементы общественных увеселений были налицо: достаточно огней, которые тебя освещают, достаточно зеркал, чтобы в них смотреться, достаточно людей, чтобы разогреться в толкотне, достаточно прохладительных напитков и мороженого, чтобы освежиться. Начали с музыки. Франц Лист разрешил увлечь себя к фортепьяно, взъерошил волосы над гениальным лбом и дал одно из самых своих блистательных сражений. Клавиши, казалось, истекали кровью. Если я не ошибаюсь, он сыграл один пассаж из «Палингенезий» Балланша, идеи которого он перевел на язык музыки, что было полезно для тех, кто не может читать труды этого знаменитого писателя в подлиннике. Затем он сыграл «Шествие на казнь» («La marche au supplice») Берлиоза, прекрасную вещь, которую этот юный музыкант, если я не ошибаюсь, сочинил утром в день своей свадьбы. Повсюду в зале — побледневшие лица, волнующиеся груди, тихие вздохи во время пауз и, наконец, бурное одобрение. Женщины всегда словно хмелеют от игры Листа. С еще более неистовой радостью отдались они теперь танцам, эти виллисы салонов, и мне лишь с трудом удалось выбраться из поднявшейся сутолоки в соседний зал. Здесь шла игра, и в

обширных креслах расположились несколько дам, следивших за играющими или, по крайней мере, делавших вид, что они интересуются игрой. Проходя мимо одной из этих дам и задев ее платье рукавом, я почувствовал, как вверх по моей руке до самого плеча пробежала легкая дрожь, точно от слабого электрического разряда. Но как содрогнулось мое сердце, когда я взглянул этой даме в лицо! Она это или не она? Это было то самое лицо, своей формой и солнечным колоритом напоминавшее античную статую, но оно не было уже, как прежде, мраморно-чистым и мраморно-гладким. При внимательном взгляде можно было заметить на лбу и щеках маленькие шероховатости, быть может, следы оспы, совершенно напоминавшие те легкие пятна сырости, которые бывают видны на лицах статуй, долгое время подвергавшихся действию дождя. Это были те же черные волосы, закрывавшие ей виски гладкими, закругленными прядями, похожими на крылья ворона. Но когда глаза ее встретились с моими, когда я уловил столь хорошо знакомый мне косой взгляд, молния которого всегда так загадочно пронизывала мне душу, я уже больше не сомневался: это была мадемуазель Лоранс.

Откинувшись в изящно-небрежной позе в кресле, мадемуазель Лоранс одной рукой опиралась на его ручку, а в другой держала букет цветов. Она сидела недалеко от игорного стола, и, по-видимому, все ее внимание было поглощено картами. Костюм ее отличался изящным вкусом и вместе с тем был совершенно прост, весь из белого атласа. На ней не было никаких драгоценностей, за исключением браслетов и жемчужной брошки на груди. Пышные кружева пуритански закрывали ее юную грудь до самой шеи, и этой простотой и целомудрием туалета она представляла трогательно-милый контраст с некоторыми более пожилыми дамами, которые сидели возле нее пестро разряженные, сверкая бриллиантами, и меланхолически обнажали взору руины своего былого великолепия — то место, где некогда стояла Троя. Мадемуазель Лоранс по-прежнему была изумительно красива и по-прежнему имела восхитительно сердитый вид, и меня неудержимо влекло к ней, так что в конце концов я очутился позади ее кресла, горя желанием заговорить с ней и все же не решаясь это сделать из какой-то боязливой деликатности.

Я, вероятно, уже довольно долго молча стоял позади нее, как вдруг она выдернула из своего букета цветок и, не оглядываясь, протянула мне его через плечо. Этот цветок издавал какой-то особый аромат, от которого как бы исходили на меня

волшебные чары. Я почувствовал себя свободным от всех светских условностей, и это было словно во сне, когда мы говорим и делаем всякого рода вещи, изумляющие нас самих, и когда наши слова приобретают характер детской доверчивости и простоты. Спокойно, равнодушно и небрежно, как это ведется между старыми друзьями, я перегнулся через спинку кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, где же мамаша с барабаном?»

«Она умерла»,— ответила она тем же тоном, так же спокойно, равнодушно и небрежно.

После небольшой паузы я еще раз наклонился над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где ученая собака?»

«Она вырвалась на волю»,— ответила она опять тем же спокойным, равнодушным и небрежным тоном.

И снова, после короткой паузы, наклонился я над спинкой кресла и прошептал на ухо молодой даме:

«Мадемуазель Лоранс, а где же мосье Тюрлютю, карлик?»

«Он у великанов на бульваре Тампль»,— отвечала она. Но едва она произнесла эти слова, и притом опять все тем же спокойным, равнодушным, небрежным тоном, как к ней подошел старый солидный господин высокого роста, с военной выправкой, и сообщил, что ее карета подана. Медленно поднявшись с кресла, она оперлась на его руку и, не бросив на меня ни одного взгляда, вместе с ним покинула общество.

Я подошел к хозяйке дома, которая весь вечер простояла у входа в главный зал и дарила своей улыбкой каждого из входивших и уходивших гостей, и осведомился у нее об имени юной особы, только что вышедшей в сопровождении старого господина, на что она весело расхохоталась мне в лицо и воскликнула:

«Бог мой! Разве можно всех знать? Я знаю его так же мало, как...» Она запнулась, так как, наверное, собиралась сказать: «Так же мало, как вас самого». Меня она также видела в этот вечер впервые.

«Быть может,— заметил я,— ваш супруг мог бы сообщить мне какие-либо сведения. Где я могу найти его?»

«На охоте в Сен-Жермене,— отвечала дама, смеясь еще сильнее,— он уехал сегодня утром и вернется только завтра вечером... Но постойте, я знаю человека который долго разговаривал с интересующей вас дамой; я забыла, как его зовут, но вы легко его разыщете, если будете расспрашивать о молодом че-

ловеке, которому Казимир Перье дал пинок ногою не помню в какое место».

Как ни трудно найти человека по одному только признаку, что он получил пинок от министра, я все же быстро отыскал, кого мне было нужно, и обратился к молодому человеку с просьбой дать мне более подробные сведения о странном существе, которое меня так интересовало и которое я сумел описать ему достаточно отчетливо.

«Да,— сказал молодой человек,— я знаю ее очень хорошо; я беседовал с ней на многих вечерах». И он повторил мне кучу ничего не говорящих вещей, которыми он ее развлекал. Его особенно поражало то, что она взглядывала на него совершенно серьезно всякий раз, когда он говорил ей какую-нибудь любезность. Немало удивляло его также то, что она всегда отклоняла его приглашение на контрданс, уверяя, что не умеет танцевать. Как ее зовут и откуда она, он не знал. И к кому я ни обращался с расспросами, никто ничего не мог сообщить мне об этом. Напрасно бегал я на всевозможные вечера,— нигде уж больше не удалось мне встретить мадемуазель Лоранс.

— И это вся история? — воскликнула Мария, медленно поворачиваясь и сонно зевая.— Это и есть вся ваша замечательная история? И с той поры вы никогда уже больше не встречали ни мадемуазель Лоранс, ни мамаши с барабаном, ни карлика Тюрлютю, ни ученой собаки?

— Лежите, лежите спокойно,— отвечал Максимилиан.— Я снова увидел их всех, даже ученого пса. Правда, он был, бедняга, в самом отчаянном положении, когда я встретился с ним в Париже. Это было в Латинском квартале. Я как раз проходил мимо Сорбонны, как вдруг из ворот выскочила собака, а за нею дюжина вооруженных палками студентов, к которым вскоре присоединились две дюжины старух, и все хором кричали: «Бешеная собака!» Несчастное животное, охваченное смертельным ужасом, походило на человека: вода текла из его глаз, точно это были слезы, и когда, с хрипением пробегая мимо, оно бросило на меня свой влажный взгляд, я узнал в нем моего старого друга, ученого пса, который некогда слагал хвалу лорду Веллингтону и приводил в изумление народ Англии. Быть может, он действительно взбесился? Или свихнулся от чрезмерной учености, когда стал продолжать курс своего обучения в Латинском квартале? Или, быть может, находясь в Сорбонне, он выразил своим царапанием и ворчанием неодобрение надутому шарлатанству какого-нибудь профессора, и этот последний постарался избавиться от нежелательного слушателя, объявив

его бешеным? Но увы! Молодежь не расследует долго, чем именно был продиктован первый крик «бешеная собака!». Скрывалось ли за этим уязвленное самомнение ученого педанта или просто зависть конкурента,— она бессмысленно бросается колотить собаку палками, а старые бабы, как водится, тотчас присоединяются к ней со своими воплями и легко заглушают голос невинности и разума. Мой бедный друг был обречен; на моих глазах он был безжалостно убит, поруган и, наконец, выброшен в навозную кучу! Несчастный мученик науки!

Немногим веселее оказалось положение карлика, мосье Тюрлютю, когда я его нашел на бульваре Тампль. Хотя мадемуазель Лоранс и сказала мне, что он находится там, но, быть может, я недостаточно внимательно искал или же мне мешала снующая взад и вперед толпа, только я лишь очень нескоро заметил помещение, в котором показывают великанов. Войдя туда, я нашел там двух высоких бездельников, которые праздно валялись на нарах, но при моем появлении разом вскочили и стали в позы великанов. Они вовсе не были так велики, как хвастливо было расписано в афише. Это были два долговязых парня, одетые в розовые трико, носившие очень черные, быть может, фальшивые, бакенбарды и вращавшие над головами деревянные, выдолбленные внутри дубины. Когда я спросил их о карлике, о котором тоже оповещала их афиша, они ответили, что его уже четыре недели не показывают по причине его все усиливающегося недомогания, но что я все же могу его увидеть, если заплачу двойную входную плату. Как охотно вносишь двойную входную плату, чтобы повидаться со старым другом! Но увы! Я застал друга на ложе смерти. Это ложе, в сущности, представляло собой детскую колыбельку, и в ней лежал бедный карлик со своим желтым, сморщенным, старческим лицом. Рядом сидела маленькая девочка лет четырех и, качая люльку ногою, шаловливо напевала: «Спи, Тюрлютюшечка, спи!»

Когда карлик меня увидел, он насколько мог шире раскрыл свои стеклянные, тусклые глаза, и скорбная усмешка мелькнула на побледневших губах его; он, по-видимому, сразу узнал меня, протянул мне свою высохшую ручонку и тихо прохрипел: «Старый друг!»

Да, в печальном положении очутился этот человек, который уже восьми лет от роду имел длинную беседу с Людовиком XVI, которого царь Александр кормил конфетами, принцесса фон Киритц держала на коленях, которого боготворил папа и никогда не любил Наполеон! Это последнее обстоятельство доставляло несчастному огорчения даже на смертном одре, или, как я уже

сказал, в его смертной колыбели, и он оплакивал трагическую судьбу великого императора, который никогда его не любил, но так печально закончил свою жизнь на Святой Елене... «Совсем как кончаю я,— прибавил он,— одинокий, непризнанный, покинутый всеми королями и князьями, карикатура былого величия».

Хотя я и не мог толком понять, что общего между карликом, умирающим среди великанов, и великаном, умершим среди карликов, тем не менее меня очень растрогали слова бедного Тюрлютю и его полнейшая заброшенность в смертный час. Я не мог удержаться и выразил удивление, почему мадемуазель Лоранс, достигшая теперь такого высокого положения, не позаботилась о нем. Едва я произнес это имя, как карлика в его колыбели начали потрясать жестокие судороги и его белые губы со стоном пролепетали: «Неблагодарное дитя, которое я воспитал, которое я хотел возвысить, сделав своей супругой, которое я учил, как надо держать себя с великими мира сего, как улыбаться, как кланяться при дворе, как представляться!.. Ты хорошо воспользовалась моими советами, ты теперь важная дама, у тебя своя карета, лакеи и много денег, много гордости, но нет сердца. Ты позволяешь мне здесь умереть, в одиночестве и нищете, как умер Наполеон на Святой Елене! О Наполеон, ты никогда меня не любил...» Я не мог разобрать, что он еще сказал. Он поднял голову, сделал рукой несколько движений, как будто с кем-то фехтовал,— быть может, со смертью. Но косе этого противника не в силах противостоять ни один человек — ни Наполеон, ни Тюрлютю. Тут не помогают никакие парады. Истомленный, словно потерпевший поражение, карлик снова опустил голову, устремил на меня долгий, неописуемо жуткий взгляд, внезапно закричал петухом и испустил дух.

Эта смерть опечалила меня особенно сильно еще потому, что усопший не успел сообщить мне никаких подробных сведений относительно мадемуазель Лоранс. Где мне теперь ее искать? Я не был в нее влюблен и не чувствовал к ней особого расположения, тем не менее загадочное желание повсюду разыскивать ее преследовало меня; стоило мне войти в гостиную и, осмотрев собравшееся общество, убедиться, что здесь нет ее знакомого лица, как я быстро терял всякий покой и какая-то сила вновь гнала меня на поиски. Размышляя об этом чувстве, я стоял как-то в полночь у одного из отдаленных входов в Большую оперу, с досадой ожидая карету, так как лил сильный дождь. Но кареты не было, или, вернее, подъезжали только ка-

реты, принадлежавшие другим людям, которые с удовольствием в них усаживались и отъезжали, так что мало-помалу вокруг меня стало довольно пустынно.

«Видно, придется вам ехать со мною»,— произнесла наконец одна дама, вся закутанная в черную мантилью; она также ждала некоторое время экипажа, стоя подле меня, и теперь как раз собиралась сесть в карету. При звуке этого голоса сердце мое вздрогнуло, хорошо знакомый, искоса брошенный взгляд вновь оказал свое обычное волшебное действие, и опять я почувствовал себя как во сне, очутившись в уютной и теплой карете рядом с мадемуазель Лоранс. Мы не сказали ни слова, да и не могли бы услышать друг друга, так как карета с ужасающим грохотом неслась по улицам Парижа, и притом в течение долгого времени, пока наконец не остановилась перед большим подъездом.

Слуги в блестящих ливреях освещали нам путь, в то время как мы поднимались по лестнице и шли через анфиладу комнат. Горничная, вышедшая к нам навстречу с заспанным лицом, запинаясь, с бесчисленными извинениями, сообщила, что натоплено только в красной комнате. Лоранс, кивнув служанке, чтобы она уходила, смеясь, произнесла: «Случай заводит вас сегодня далеко: в одной только моей спальне и топили...»

В этой спальне, где мы вскоре остались одни, ярко пылал камин, и это было тем приятнее, что комната была невероятно велика и высока. Эта огромная спальня, к которой скорее подошло бы название спального зала, казалась какой-то нежилой, пустынной. Мебель и украшения — все носило на себе отпечаток того времени, блеск которого представляется нам теперь таким запыленным, величие которого кажется таким сухим. Реликвии этого времени производят на нас неприятное впечатление и возбуждают даже скрытую усмешку. Я говорю об эпохе Империи, эпохе золотых орлов, высоко развевающихся султанов, греческих причесок, славы великих тамбурмажоров, военных месс, официального бессмертия, декретируемого Moniteur'ом, континентального кофе, который изготовлялся из цикория, скверного сахара, который фабриковали из свекловицы, и принцев и герцогов, которых делали из ничего. Но оно все же имело свое очарование, это время патетического материализма... Тальма декламировал, Гро писал картины, Биготтини танцевала, Грассини пел, Мори произносил проповеди, Ровиго управлял полицией, император читал Оссиана, Полина Боргезе позировала в качестве Венеры, и притом совершенно нагая, ибо

комната была хорошо натоплена, так же как та спальня, в которой мы находились с мадемуазель Лоранс.

Мы сидели у камина, дружески болтая, и со вздохом она рассказала мне, что вышла замуж за бонапартовского героя, который каждый вечер перед отходом ко сну угощал ее описанием какой-нибудь из пережитых им битв; несколько дней тому назад, перед тем как уехать, он описал ей сражение под Иеной; здоровье его очень плохо, и едва ли он доживет до русского похода. Когда я спросил ее, давно ли умер ее отец, она рассмеялась и сказала, что отца она никогда не знала и что ее так называемая мать никогда не была замужем.

«Как не была замужем? — воскликнул я.— Да ведь в Лондоне я собственными глазами видел ее в глубоком трауре по умершем муже!»

«О,— возразила Лоранс,— она в течение двенадцати лет всегда одевалась во все черное, чтобы в качестве несчастной вдовы возбуждать в людях сострадание, а кстати, если удастся, соблазнить какого-нибудь склонного к женитьбе простофилю; под черным флагом она рассчитывала скорее причалить к гавани супружества. Но одна только смерть сжалилась над нею, и она умерла от кровоизлияния. Я никогда ее не любила, так как получала от нее много колотушек и мало еды. Я умерла бы от голода, если бы мосье Тюрлютю не приносил мне иногда потихоньку кусочек хлеба; но карлик требовал в награду за это, чтобы я вышла за него замуж, и когда его надежды рухнули, он объединился с моей матерью,— я говорю «матерью» только по привычке,— и они общими силами стали меня мучить. Они говорили всегда, что я совершенно ненужное существо, что ученая собака стоит в тысячу раз больше, чем я с моими плохими танцами. Мне назло они осыпали собаку похвалами, превозносили ее до небес, гладили, кормили пирожными, а мне бросали объедки. Собака, говорили они, их вернейшая опора, она восхищает публику, которая нисколько не интересуется мною; собака кормит меня своим трудом, я питаюсь подаянием собаки. Проклятая собака!»

«О, не проклинайте ее больше,— прервал я ее гневную речь,— ее уже нет, я присутствовал при ее смерти...»

«Неужели скотина околела?» — воскликнула, вскакивая, Лоранс, и лицо ее разгорелось от радости.

«И карлик тоже умер»,— прибавил я.

«Мосье Тюрлютю! — вскричала Лоранс столь же радостно. Но мало-помалу радость эта исчезла с ее лица, и более мягко, почти печально она, наконец, прибавила: — Бедный Тюрлютю!»

Я не скрыл от нее, что карлик, умирая, горько жаловался на ее жестокость. Тогда она пришла в сильнейшее волнение и стала всячески уверять меня, что намеревалась вполне обеспечить карлика, предлагала ему полное содержание, с условием, что он будет тихо и скромно жить где-нибудь в провинции. «Но этот честолюбец,— продолжала Лоранс,— хотел во что бы то ни стало остаться в Париже и даже жить в моем особняке; он говорил, что рассчитывает возобновить при моем посредстве свои былые связи в Сен-Жерменском предместье и снова занять прежнее блестящее положение в обществе. Когда я ему наотрез отказала в этом, он велел передать мне, что я — проклятое привидение, вампир, отродье покойницы...»

Лоранс внезапно умолкла, задрожала всем телом и наконец произнесла с глубоким вздохом: «Ах, лучше бы они оставили меня в могиле вместе с моей матерью!»

Когда я настойчиво стал просить ее объяснить мне эти загадочные слова, из глаз ее ручьем полились слезы: вся содрогаясь от рыданий, она призналась мне, что черная женщина с барабаном, выдававшая себя за ее мать, сама ей раз объявила, что слухи относительно ее рождения не были пустой выдумкой. «В городе, где мы жили,— продолжала Лоранс,— меня все звали отродьем покойницы! Старухи уверяли, будто я на самом деле дочь одного тамошнего графа, который всю жизнь очень жестоко обращался со своей женой. Когда же она умерла, он устроил ей пышные похороны. Но она была на последнем месяце беременности и только впала в летаргический сон, и когда кладбищенские воры, желая похитить драгоценные украшения погребенной, разрыли могилу, они нашли ее еще живою, в родовых муках. Разрешившись от бремени, она тотчас умерла, и воры опять положили ее в гроб, а ребенка взяли с собой и отдали на воспитание укрывательнице краденого в их шайке и любовнице великого чревовещателя. Этого бедного ребенка, которого похоронили раньше, чем он родился, все называли «отродьем покойницы»... Ах, вы никогда не поймете, сколько горя пережила я, будучи еще совсем маленькой девочкой, оттого что меня так называли. Пока великий чревовещатель еще был жив, он часто сердился на меня и всегда кричал: «Проклятое отродье покойницы, лучше бы я не вынимал тебя из могилы!» Так как он был искусный чревовещатель, то он умел так изменять свой голос, что казалось, будто голос идет из-под земли. И тогда чревовещатель уверял меня, что это голос моей покойной матери и что она рассказывает мне про свою судьбу. Он-то сам хорошо знал ужасную ее судьбу, потому что был когда-то камердинером

у графа. Ему доставляло жестокое удовольствие видеть, с каким безумным ужасом бедная маленькая девочка прислушивается к речам, которые доносятся как будто из-под земли. Этот голос, казалось шедший из-под земли, рассказывал страшные истории, истории, которые я не вполне могла понять и которые мало-помалу забыла, но они снова ярко воскресали предо мной, когда я танцевала. Да, когда я танцевала, меня всегда охватывало странное воспоминание, я забывала себя, мне казалось, что я совсем другое лицо, что меня терзают муки и тайны этого другого лица... Но как только я переставала танцевать, все это вновь угасало в моей памяти».

В то время как Лоранс медленно и каким-то странным, полувопросительным тоном произносила эти слова, она стояла передо мной у камина, где все ярче разгоралось пламя; я сидел в кресле,— вероятно, обычном месте ее супруга, когда он по вечерам, перед отходом ко сну, рассказывал ей о своих сражениях. Лоранс смотрела на меня своими большими глазами, словно прося совета; она склоняла голову с такой скорбной думой; она возбуждала во мне такое благородное, сладостное чувство жалости; она была так стройна, так молода, так прекрасна, эта лилия, выросшая из могилы, это дитя смерти, это привидение с лицом ангела и телом баядерки! Не знаю, как это случилось,— быть может, тут сказалось влияние кресла, в котором я сидел,— но мне внезапно почудилось, что я старый генерал, который вчера, сидя здесь, описывал битву при Иене, и что я должен продолжать свой рассказ, и я произнес: «После битвы при Иене, в течение немногих недель, почти без боя сдались все прусские крепости. Сначала сдался Магдебург, это была самая сильная крепость, и у нее было триста пушек. Разве это не позор?»

Но мадемуазель Лоранс не дала мне дальше говорить: мрачное выражение слетело с ее прекрасного лица, она расхохоталась, как дитя, и воскликнула: «Да, это позор, это более чем позор! Если бы я была крепостью и у меня было бы триста пушек, я никогда бы не сдалась!»

Но так как мадемуазель Лоранс не была крепостью и не имела трехсот пушек...

При этих словах Максимилиан вдруг остановился и, сделав небольшую паузу, тихо спросил:

— Вы спите, Мария?

— Я сплю,— отвечала Мария.

— Тем лучше,— сказал Максимилиан с тонкой улыбкой,— в таком случае мне нечего бояться, что вы соскучитесь, если я,

по обычаю современных романистов, несколько подробнее опишу меблировку той комнаты, в которой я находился.

— Не забудьте про кровать, дорогой друг!

— Это была действительно роскошная кровать,— возразил Максимилиан.— Ножками ей, как обычно у кроватей стиля ампир, служили кариатиды и сфинксы; она вся блистала роскошной позолотой: особенно выделялись золотые орлы, которые нежно целовались клювами, точно голуби, являясь как бы символом любви эпохи Империи. Полог кровати был из красного шелка, и пламя камина так ярко просвечивало сквозь него, что мы с Лоранс были освещены огненно-красным светом, и мне представлялось, что я бог Плутон, окруженный адскими огнями и держащий спящую Прозерпину в своих объятиях. Она спала, а я рассматривал ее милое лицо и старался в ее чертах найти объяснение той симпатии, которую питала к ней моя душа. Что же такое эта женщина? Какой смысл скрывается под символикой этих прекрасных форм?

Прелестная загадка кротко лежала теперь в моих объятиях, принадлежала мне и все же оставалась неразгаданной.

Не безумие ли, однако, пытаться разгадать внутренний смысл другого существа, в то время как мы не в состоянии разрешить загадку нашей собственной души? Ведь мы не знаем даже достоверно, существуют ли на самом деле другие существа! Бывает ведь порою, что мы не в состоянии отличить реальную действительность от бредовых образов. Что это было, игра фантазии или страшная правда,— то, что я видел и слышал в ту ночь? Не знаю. Я припоминаю только, что в то время как самые дикие мысли проносились в моей голове, ухо внезапно уловило какой-то странный шум. Это была безумная, едва слышная мелодия. Она показалась мне очень знакомой, и в конце концов я уловил звуки треугольника и барабана. Треньканье и жужжание этой музыки доносилось как будто совсем издалека, и, однако, когда я огляделся, я увидел совсем близко перед собой, посреди комнаты, знакомое зрелище: это был мосье Тюрлютю, карлик, игравший на треугольнике, в то время как мамаша била в барабан, а ученая собака шарила по полу, как будто пытаясь снова сложить свои деревянные буквы. Собака двигалась, казалось, лишь с большим трудом, и шерсть ее была вся в крови. Мамаша была по-прежнему одета в свое черное траурное платье; но живот ее уже не выпячивался так комично вперед, а отвратительно свисал вниз; и лицо ее тоже было теперь не красное, а бледное. Карлик, на котором по-прежнему был расшитый кафтан французского маркиза старого времени и напудренный парик, ка-

зался слегка подросшим, быть может, потому, что он страшно исхудал. Он по-прежнему показывал чудеса фехтовального искусства и, по-видимому, снова шамкал свои старые хвастливые речи; но он говорил так тихо, что я не мог разобрать ни одного слова и только по движению его губ порой угадывал, что он опять пел петухом.

В то время как эти комически странные, кошмарные фигуры, словно китайские тени, безумным вихрем проносились перед моими глазами, я почувствовал, что мадемуазель Лоранс начинает дышать все беспокойнее. Ледяной озноб сотрясал ее всю, и словно от нестерпимой боли содрогалось прелестное тело. Наконец, гибкая, как угорь, она выскользнула из моих объятий, внезапно очутилась посреди комнаты и начала танцевать под тихую, заглушенную музыку барабана мамаши и треугольника карлика. Она танцевала совершенно так же, как и тогда, у моста Ватерлоо и на перекрестках лондонских улиц. Это была та же самая таинственная пантомима, те же порывистые, страстные прыжки, то же вакхическое закидывание головы, порою приникание к земле, словно она хотела расслышать, что говорят ей снизу, затем дрожь, бледность, каменная неподвижность, и вновь она склонилась к земле, чутко прислушиваясь. Точно так же терла она опять свои руки, как будто хотела их вымыть. Наконец она, казалось, вновь бросила на меня свой глубокий, полный мольбы и страдания взгляд... Но только в чертах ее смертельно-бледного лица уловил я этот взгляд, а не в глазах, которые все время оставались закрытыми. Все тише и тише звучала музыка: мамаша с барабаном и карлик мало-помалу бледнели и рассеивались, как туман, и, наконец, совершенно исчезли: но мадемуазель Лоранс все еще оставалась посреди комнаты и продолжала танцевать с закрытыми глазами. Этот танец с закрытыми глазами в ночной тишине комнаты придавал милому существу такой жутко призрачный вид, что мне стало не по себе; я не раз содрогнулся и был от души рад, когда она закончила свою пляску и снова скользнула в мои объятия таким же гибким движением, каким раньше покинула меня.

Я должен сознаться, что эта сцена произвела на меня далеко не приятное впечатление. Но человек ко всему привыкает. Возможно, что зловещая таинственность этой женщины придавала ей особую привлекательность, что к моим чувствам примешивалась нежность, полная жуткого трепета... Как бы то ни было, через несколько недель я уже ничуть не удивлялся, когда ночью раздавались тихие звуки треугольника и барабана и моя дорогая

Лоранс внезапно вставала и с закрытыми глазами начинала танцевать свое соло. Ее супруг, старый бонапартист, командовал частью, расположенной в окрестностях Парижа, и служба позволяла ему проводить в городе только дневные часы. Само собой разумеется, я сделался его самым задушевным другом, и он горько плакал, когда ему впоследствии пришлось надолго расстаться со мной. Дело в том, что он уехал с женой в Сицилию, и с тех пор я никогда больше их не видал.

Окончив свой рассказ, Максимилиан быстро схватил шляпу и выскользнул из комнаты.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХОТВОРЕНИЯ

Генрих Гейне дебютировал в литературе сборником стихотворений «Gedichte» («Стихотворения»), который увидел свет в 1822 году и послужил основой для раздела «Юношеские страдания» «Книги песен» — первой большой книги лирики Гейне. Изданная впервые в 1827 году в Гамбурге, у Гофмана и Кампе, «Книга песен» принесла автору громкую славу и при его жизни издавалась двенадцать раз. Вплоть до пятого издания (Гамбург, 1844) Гейне сам держал корректуру и вносил исправления.

«Новые стихотворения» (1844) — вторая книга лирики Гейне; здесь собраны стихи, включавшиеся ранее в другие издания (например, во второй и третий тома «Салона», 1834—1835, объединявшие статьи Гейне о французских художниках и другие его произведения). Стихи раздела «Новая весна», написанные по просьбе гамбургского композитора Альберта Метфесселя, печатались как приложение ко второму тому «Путевых картин» (издание второе, 1831). Стихотворения цикла «Разные» публиковались в берлинском журнале «Der Freimütige» и в первом томе «Салона» (1834). Писатель Карл Гуцков, сотрудничавший в издательстве Кампе, подверг эти стихотворения резкой критике «за безнравственность» и тем задержал издание «Новых стихотворений», которое намечалось еще в 1838 году.

В 1851 году была издана третья книга лирики Гейне — «Романсеро». В нее вошли стихотворения, написанные в период 1846—1851 годов.

Последний сборник лирики Гейне, составленный им самим — «Стихотворения 1853—1854 годов»,— был опубликован в первом томе «Разных произведений Генриха Гейне» («Verschiedene Werke von Heinrich Heine») осенью 1854 года.

Стихотворения Гейне, не включенные им в четыре основные книги его лирики, были после смерти поэта организованы издателями в различные тематико-хронологические циклы и печатались либо как таковые, либо составляли особый раздел дополнений.

Лучшие научно-критические издания произведений Гейне в первой половине XX века были осуществлены Эрнстом Эльстером («Heinrich Heines Sämtliche Werke», Leipzig und Wien, o. J) и Оскаром Вальцелем («Heinrich Heines Sämtliche Werke», Insel-Ausgabe, Leipzig, 1911—1920).

В 1961—1964 годах в ГДР было выпущено десятитомное собрание сочинений и писем Гейне, составленное Гансом Кауфманом («Heinrich Heine. Werke und Briefe in zehn Bänden», Aufbau-Verlag, Berlin, 1961—1964).

При подготовке настоящего тома за основу было принято издание Ганса Кауфмана. Случаи отступления от текстов или структуры этого издания особо оговорены в примечаниях.

«Русский Гейне» имеет богатую и длинную историю. Еще в 1875 году И. С. Тургенев писал: «...кто не знает, что именно теперь Гейне едва ли не самый популярный чужеземец-поэт у нас в России». Первое знакомство русского читателя с поэзией Гейне произошло в конце двадцатых годов XIX века, когда в журнале «Галатея» и в сборнике «Северная лира» было опубликовано несколько переводов из «Книги песен», сделанных Ф. И. Тютчевым, который был лично знаком с немецким поэтом. В дальнейшем трудно назвать какого-либо более или менее значительного русского поэта, который бы не участвовал в воссоздании лирики Гейне на русском языке. Наряду с именами Лермонтова, Плещеева, Фета, А. К. Толстого, Блока нужно назвать М. Михайлова, Добролюбова, Писарева, Мея, Д. Д. Минаева, П. Вейнберга и многих других.

Однако только в советское время во всем объеме вошел Гейне в обиход русской культуры. Этому немало способствовали два полных собрания сочинений немецкого поэта, изданных в 1935—1949 годах и 1956—1959 годах. Было создано немало новых переводов. Ю. Тынянов, В. Зоргенфрей, М. Лозинский, В. Левик, С. Маршак, А. Дейч и многие другие переводчики стремились передать богатство поэзии Гейне во всем многообразии его удивительного и сложного таланта.

Стр. 25. *...почему пламя... пришлось вдруг употребить для более серьезных пожаров...* — Гейне имеет в виду свои публицистические работы, написанные после Июльской революции 1830 г. и насыщенные острой полемикой с реакционными идейными течениями.

Марсий — флейтист, вступивший в состязание с богом Аполлоном. Оскорбленный дерзостью Марсия, Аполлон заживо содрал с него кожу (греч. миф.).

Стр. 35. *Шиндерганно, Орландини, Ринальдини* — герои трех «разбойничьих» романов. Два из них — «Ринальдо Ринальдини» (1797—1800) и «Орландо Орландини» (1802) принадлежат перу Христиана Августа Вульпиуса. Автор третьего, названного «Шиндерганнес» по имени главаря разбойничьей шайки, орудовавшей около 1800 г. в княжестве Гессенском,— Игнац Фердинанд Арнольд. *Карл Моор* — герой драмы Шиллера «Разбойники».

Стр. 36. *Мортимер* — персонаж трагедии Шиллера «Мария Стюарт». *«Мария, святая!»* — слова Мортимера, действие IV, сцена 4.

Стр 37. *Fiducit* — восклицание, с которым чокались участники студенческих пирушек, пившие на брудершафт.

Стр. 41. *Оры* — в греческой мифологии богини времен года и порядка в природе.

Стр. 43. *Эрис — пламя в Трою...* — Во время свадьбы фессалийского царя Пелея с морской богиней Фетидой богиня раздора Эрис (Эрида) подкинула на пиршественный стол, за которым сидели богини, яблоко с надписью «Прекраснейшей». Спор из-за яблока разрешил троянский царевич Парис, отдавший предпочтение Афродите, которая за это помогла ему похитить Елену Прекрасную, супругу спартанского царя Менелая. Похищение Елены послужило поводом к Троянской войне и разрушению Трои.

Стр. 52. *Валтасар.*— Легенда о пире Валтасара рассказывается в Библии, Книга пророка Даниила, гл. 5.

Фресковые сонеты Христиану З. (стр. 61).— Христиан Зете — школьный товарищ Гейне.

Стр. 68. *И есть в том соборе икона...*— запрестольный образ в Кельнском соборе, работы Стефана Лохнера (ок. 1440 г.).

Стр. 94. *Я Атлас злополучный...*— Атлас — один из титанов; за попытку низвергнуть Зевса был осужден держать на своих плечах небесный свод (греч. миф.).

Стр. 98. *Фуке* Фридрих де ла Мотт — немецкий писатель-романтик (1777—1843). Наибольшей известностью пользуется его романтическая сказка «Ундина». *А критику,— тут он закашлялся кстати,— я отдал прабабке, дражайшей Гекате...*— Именем Гекаты, богини волшебства и заклинаний (греч. миф.), был назван литературно-критический журнал, издававшийся драматургом-романтиком Адольфом Мюллнером (1774—1829).

Стр. 105. *Эвгена, друга моего...*— С польским графом Евгением фон Бреза Гейне сдружился в студенческие годы в Геттингенском университете. *У «Фрейлен Мейер» он сидит скорей, чем у Ядвиги...*— «Фрей-

лен Мейер» — название берлинского кафе. У Ядвиги — в католической церкви св. Ядвиги в Берлине.

Стр. 109. *На бульварах Саламанки.*— Под Саламанкой здесь подразумевается Геттинген. *Исключен я буду скоро.*— В 1821 г. Гейне действительно был исключен из Геттингенского университета за участие в дуэли.

Вот сосед мой, Дон Энрикес...— Имеется в виду, по всей вероятности, товарищ Гейне по Геттингенскому университету, историк Вильгельм Хавеманн.

Донна Клара (стр. 110).— В письме к своему другу Мозеру от 5 или 6 ноября 1823 г. Гейне писал: «Этот романс — сцена из моей собственной жизни, только Тиргартен превратился в сад алькальда, баронесса в сеньору, а сам я — в святого Георгия или даже Аполлона!»

Стр. 118. *Заклятья из Эдды.*— «Старшая Эдда» — сборник древнескандинавских эпических песен о богах и героях, дошедший до нас в рукописи XIII в.

Стр. 124. *Та́ласса! Та́ласса!* — возглас, которым греческие воины приветствовали море, открывшееся их глазам при возвращении на родину из Персии. Отступление десяти тысяч греческих наемников, участников похода Кира-младшего против его брата, персидского царя Артаксеркса II, описано в книге греческого историка и философа Ксенофонта (430—354 гг. до н. э.) «Анабасис».

Песнь Океанид (стр. 127).— Океаниды — в греч. мифологии дочери бога морей Океана.

Стр. 128. *Сереброногой супруги Пелея...*— то есть морской богини Фетиды, жены фессалийского царя Пелея. *И сердце твое, словно сердце Ниобы, окаменело от горя.*— Ниоба (Ниобея) — фиванская царица, похвалявшаяся своими детьми перед Латоной — матерью Аполлона и Артемиды. Оскорбленная Латона приказала умертвить детей Ниобеи на глазах у матери, а ее самое превратить в камень.

Стр. 130. *Кронион* — то есть сын Крона, Юпитер. *Парри́цида* (греч.) — убийца отца и близких родных. Зевс (Юпитер) победил в борьбе титанов — Крона и его братьев — и низверг их в Тартар.

Стр. 131. *Венера-Либитина.*— Либитина — древнеиталийская богиня смерти и погребения. Позднее, в римской мифологии отождествлялась с Любентиной — богиней сладострастия и с Венерой.

Стр. 132. Строки, выделенные курсивом, в переводе М. Михайлова были опущены по цензурным соображениям. Для настоящего издания переведены С. Ошеровым.

Стр. 133. *Ганса и Гегеля...*— Немецкий юрист Эдуард Ганс (1797—1838), представитель так называемого философского направления в юридической науке, был учеником и последователем Гегеля.

Стр. 134. *Вефиль* (от древнеевр. Бет-Эль — дом божий) — город в Древней Иудее, центр религиозной жизни евреев (Библия, Первая Книга Царств, гл. 28). *Хеврон* — древний палестинский город к югу от Иерусалима, который царь Давид первоначально избрал своей столицей.

Стр. 148. *Нам новый, третий дан завет...* — намек на мистическую утопию Джоакино дель Фьоре (ок. 1200 г.), которая предсказывала, что вслед за Ветхим (дохристианским) и Новым (христианским) заветами появится третий завет и с ним новая эра — любви и свободомыслия. Элементы религиозно-гуманистических утопий средних веков оживают вновь в учениях социалистов-утопистов XIX в., в частности, Сен-Симона, к теориям которого Гейне был близок в начале 30-х годов.

Стр. 154. *И Нептуном мастер Жан // Увенчал свое творенье...* — Фонтан Нептуна в Болонье был создан в 1563—1567 гг. фламандским скульптором Жаном Булонем (Джованни да Болонья).

Стр. 157. *Стою, как Буриданов друг...* — то есть как Буриданов осел. Средневековый французский схоласт Жан Буридан (ок. 1300—1358) утверждал, что если осла поставить между двумя одинаково привлекательными охапками сена, то он сдохнет с голоду, не зная, какую из них выбрать.

Тангейзер (стр. 160). — Немецкая легенда, восходящая к середине XIV в. повествует о необычайной судьбе Тангейзера — одного из виднейших представителей рыцарской любовной лирики XIII в. (миннезанга). После семилетнего пребывания в гроте Венеры Тангейзер отправился в Рим, чтобы испросить у папы Урбана IV (1261—1264) отпущение грехов. Разгневанный папа ответил, что грешник Тангейзер так же мало может рассчитывать на милость господню, как посох, на который он опирается, может вдруг пустить зеленые побеги. Однако на третий день после ухода отчаявшегося Тангейзера папский посох пустил пышные побеги. Папа разослал гонцов во все стороны, чтобы вернуть поэта, но тот бесследно исчез. Гейне была хорошо известна народная песня о Тангейзере, которую он поместил в своем очерке по демонологии — «Духи стихий». Легенда о Тангейзере неоднократно была использована в немецкой литературе и искусстве (Л. Тик, Э.-Т.-А. Гофман, Р. Вагнер).

Стр. 166. *Тридцать шесть коронованных нянек у ней...* — В состав Германского союза, созданного Венским конгрессом 1815 г., входило тридцать четыре монарха и четыре вольных города.

В Целле осматривал я тюрьму, сидят ганноверцы в Целле... — Целле — город в прусской провинции Люнебург, где заседал окружной суд, ведавший судопроизводством нескольких провинций (Люнебурга, Ганновера и др.), и находилась каторжная тюрьма. *Швабия школой поэтов горда...* — К поэтам так называемой «швабской школы» принадлежали «прихлебатели славы Уланда» (Гейне) — Густав Шваб, Густав Пфицер,

Юстинус Кернер, Карл Майер. Гейне высмеивал «швабов» за узость их патриархально-мещанских идеалов и посвятил им статью «Швабское зеркало». *Шабес* (е в р.) — суббота; *шалет* (е в р.) — праздничное субботнее кушанье. *Эккерман* Иоганн Петер (1792—1854) — немецкий литератор; с 1823 г.— ближайший помощник Гете; в 1836—1837 гг. опубликовал книгу «Разговоры с Гете». *Альтона* — город в герцогстве Шлезвиг, живописно расположенный на высоком правом берегу Эльбы и смыкающийся с пригородами Гамбурга.

Фридерика (стр. 167).— Сонеты посвящены Фридерике Роберт, жене либерального писателя Людвига Роберта. *К престолу Индры в голубом эфире...*— Согласно индийской мифологии, верховный бог Индра обитает в воздушном царстве.

Стр. 168. *Кокилас* — птицы семейства кукушек. *Кама* — индийский бог любви. *Вассант* — индийский бог весны. *Гандарвы* — в индийской мифологии младшие боги, музыканты в чертогах Индры. *Коня за образ!* — ироническая перефразировка слов Ричарда III из исторической хроники Шекспира «Король Ричард III»: «Коня, коня, все царство за коня!» (акт V, сцена 4).

Стр. 169. *Мерлин* — волшебник при дворе короля Артура, персонаж многих романов так называемого Артурова цикла. Выведав у Мерлина тайны волшебства, его возлюбленная Вивьена превратила его в куст дрока.

Стр. 172. *Это подлинная народная песня...*— По-видимому, Гейне имеет в виду народную песню в записи Вильгельма фон Вальдбрюля, опубликованную Ж.-Б. Руссо в журнале «Рейнская флора», 1825, № 15.

Стр. 179. *Небесный Клопшток.*— Фридрих Готлиб Клопшток (1724—1803) — немецкий поэт и деятель Просвещения; в его поэзии искренность и глубина лирического чувства соединяются с религиозно-мистическими порывами; автор религиозной поэмы «Мессиада» (1773).

Фрау Метта (стр. 179).— Сюжет баллады Гейне заимствовал из сборника датских народных песен, составленного Вильгельмом Гриммом.

Olla (стр. 183).— От названия испанского кушанья ollea potrida, приготовляемого из мяса, гороха и овощей; в переносном смысле — «всякая всячина».

Ишачество (стр. 183).— Стихотворение адресовано прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV. *Буцефал* — конь Александра Македонского. *Готфрид Бульонский* — лотарингский герцог, предводитель первого крестового похода 1096 г. *Конь Баярд* принадлежал Ринальдо — одному из действующих лиц поэмы итальянского поэта Лодовико Ариосто «Неистовый Роланд» (1506).

Генрих (стр. 191).— Германский император Генрих IV (1056—1106) вступил в конфликт с папой Григорием VII, который настаивал

на своем праве назначать германских епископов. Не получив поддержки от князей, Генрих потерпел поражение в этой борьбе и едва не лишился короны. В покаянной одежде пешком отправился он в Каноссу — замок маркграфини Матильды, куда в это время скрылся Григорий VII, и униженно просил у него прощения.

Китайский богдыхан (стр. 195).— Стихотворение имеет в виду прусского короля Фридриха-Вильгельма IV (1795—1851).

Стр. 196. *Конфуций.*— Подразумевается немецкий философ Фридрих Вильгельм Шеллинг, который в 1841 г. был приглашен королем в Берлинский университет. *А пагода, веры надежный щит...*— Речь идет о Кёльнском соборе (см. прим. к стр. 432).

Ночному сторожу (стр. 196).— Стихотворение адресовано немецкому поэту Францу Дингельштедту, автору «Песен космополитического ночного сторожа» (1840), проникнутых либеральными идеями. Вскоре после издания книги поэт поступил на государственную службу и в 1843 г. получил в Штутгарте титул гофрата.

Романсеро (стр. 201).— Название сборника Гейне поясняет в послесловии к нему: «Я назвал эту книгу «Романсеро», поскольку тон романса преобладает в стихах, которые здесь собраны».

Большинство стихотворений для сборника Гейне писал уже тяжело больной, лежа в «матрацной могиле».

«...В самом деле, разве я еще существую? — говорится далее в послесловии.— Плоть моя до такой степени измождена, что от меня не осталось почти ничего, кроме голоса, и кровать моя напоминает мне вещающую могилу волшебника Мерлина, погребенного в лесу Броселиан в Бретани, под сенью высоких дубов, вершины которых пылают, подобно зеленому пламени, устремленному к небу. Ах, коллега Мерлин, завидую тому, что у тебя есть эти деревья и их свежее веяние; ведь ни единый шорох зеленого листка не доносится до моей матрацной могилы в Париже, где я слышу с утра до вечера только грохот экипажей, стук, крики и бренчанье на рояле».

Шельм фон Берген (стр. 203).— Сюжет баллады восходит к легенде о родоначальнике дворянской фамилии фон Берген, изложенной Теобальдом (псевдоним немецкого писателя Вильгельма Сметса, 1796—1848) в «Рейнско-Вестфальском альманахе муз на 1821 год». В своей рецензии на это издание Гейне писал: «Сюжет «Шельм фон Бергена» Теобальда восхитителен, почти несравненен, но автор стал на ложный путь, пытаясь воссоздать народный тон спотыкающимся стихом и языковыми неуклюжестями».

Стр. 204. *Дрикес и Мариццебилль,* или Хендрик и Мария Сибилла — традиционные маски Кёльнского карнавала.

Поле битвы при Гастингсе (стр. 206).— В битве при Гас-

тингсе (1066 г.) войско норманнов под началом Вильгельма Завоевателя разбило англосаксов, а их король Гарольд II был убит.

Карл I (стр. 209).— Английский король Карл I был казнен в 1649 г., во время английской буржуазной революции.

Мария-Антуанетта (стр. 211).— Стихотворение, по-видимому, послужило основанием для запрета книги «Романсеро» в Австрии, так как казненная в 1793 г. французская королева Мария-Антуанетта была дочерью австрийской императрицы Марии-Терезии.

Бог Аполлон (стр. 215).— В своих очерках «Духи стихий» и «Боги в изгнании» Гейне высказывает мысль, что старые языческие боги продолжают жить в народных поверьях, но христианский, а также иудейский спиритуализм, чуждые поэтическому мировосприятию народа, видят в них только силы зла и соблазна.

Стр. 216. *У ног красавца — девять жен...*— то есть девять муз, покровительниц искусств и наук. *Парнас* — гора в Греции, где, по преданию, обитали бог Аполлон и девять муз. *Касталия* — родник на Парнасе, считавшийся у древних греков источником вдохновения. *Артемида* — греческая богиня охоты, сестра Аполлона.

Стр. 217. *Дафна* — нимфа, которую преследовал влюбленный в нее Аполлон. Взмолившаяся о помощи к богам, Дафна была превращена ими в лавр. *Бегинки* — религиозная женская община без определенного устава. Основана в XII в. в Нидерландах священником Ламбертом ле Бег (ум. в 1174 г.).

Стр. 218. *Грахт* — название каналов в Голландии.

Стр. 219. *Пикельхеринг* — комический персонаж немецкого народного театра. *Олоферн* — военачальник ассирийского царя Навуходоносора, осаждавший со своим войском древний израильский город Ветилую. Был убит обманувшей его израильтянкой Иудифью (Библия, Книга Иудифь, гл. X—XIII).

Король Ричард (стр. 221).— Английский король Ричард I Львиное Сердце, возвращаясь из крестового похода в 1192 г., был захвачен в плен австрийским герцогом Леопольдом VI, который мстил Ричарду за старую обиду, и два года пробыл в заточении.

Азр (стр. 222).— Мотив этого стихотворения Гейне, по-видимому, заимствовал из книги Стендаля «О любви» (1822), гл. 53.

Мавританский князь (стр. 225).— Боабдил, последний мавританский властитель Испании, в 1492 г. был изгнан из Гренады. *Альхамбра* — дворец мавританских королей вблизи Гренады. Выдающийся памятник мавританской архитектуры XIII—XIV вв.

Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи (стр. 227).— Романтическая история любви смертельно больного трубадура (XII в.) к графине Триполи была до Гейне использована Людвигом Уландом

как сюжет баллады «Руделло» (1814). См. также поэму Гейне «Иегуда бен Галеви».

Стр. 229. *Фирдуси* (960—1030) — великий иранский поэт, автор поэмы *«Шах-наме»* (закончена ок. 1010 г.).

Стр. 230. *Первозданный свет Ирана.*— Имеется в виду древнеиранский культ бога света Ормузда.

Стр. 233. *Ля-иль-ля иль алла!* (арабск.) — Нет бога, кроме бога!

Вицлипуцли (стр. 234).— Гейне употребляет искаженное имя Уитцлопоцли — бога войны у ацтеков.

Стр. 235. *Риджент-стрит* — улица в Лондоне.

Стр. 236. *Кифгейзер* — гора в Тюрингии, где, по преданию, спит германский император Фридрих I Барбаросса, который должен проснуться и спасти Германию. *Кортес* Фернандо (1485—1547) — испанский конкистадор, открывший и завоевавший в 1519—1521 гг. государство ацтеков в Мексике.

Стр. 243. *Базельская «Пляска смерти»* — знаменитая фреска, исполненная в начале XV в. на стене кладбища доминиканского монастыря в Базеле. Изображала традиционную для средневековой живописи аллегорию Смерти, пляшущей со своими жертвами — от папы римского до простого землепашца. Погибла в начале XIX в. при разрушении стены. *Меннкен-Писс* — фонтан в Брюсселе, возле здания ратуши, украшенный фигурой мальчика, пускающего струю.

Стр. 246. *De profundis!* — Из глубины (взываю к тебе, господи!) — начало покаянного псалма (Псалтырь, 129).

Стр. 248. *Собственных богов съедают...*— намек на христианское таинство причастия, во время которого хлеб и вино, вкушаемые верующими, пресуществляются в тело и кровь Христа.

Стр. 251. *Сатана, Велиал, Вельзевул* — различные наименования дьявола в Библии. *Астарот* (Астарта) — финикийская богиня, культ которой был распространен и среди других народов Передней Азии (сирийцев, ассириян, иудеев и др.). В демонологии средних веков именем Астарот назывался один из прислужников сатаны.

Испанские атриды (стр. 252).— Рассказ о братоубийственной распре в Испании XIV в. вызывает у Гейне аналогию с судьбой древнегреческого царя Атрея, убившего детей своего брата Фиеста, за что его собственные потомки, Атриды, были обречены проклятью, и жизнь их изобиловала кровавыми преступлениями.

Король Кастилии Педро I, прозванный Жестоким, в 1353 г. женился на Бланш Бурбон, но оставил при дворе свою любовницу Марию де Падилья. Его сводный брат Энрико Трастамаре поднял против него кастильское дворянство и в битве при Монсьеле в 1369 г. убил дона Педро. Эпизод убийства Фредрего и рассказ об издевательствах Энрико над детьми Педро Жестокого и Марии де Падилья, вероятно, запи-

ствованы Гейне из испанских романсов, изданных Проспером Мериме («Histoire de don Pedro I, Roi de Castille»). *В лето тысяча и триста восемьдесят три...*— Дата неточная: король Испании Энрико II, о котором в стихотворении Гейне сказано: «На верхнем месте, там, где ныне дон Энрико»,— умер в 1379 г. *...будто ешь стряпню Локусты...*— Локуста — римская ядосмесительница.

Стр. 253. *Командора Калатравы.*— Испанский рыцарский орден Калатравы был основан в 1158 г. для защиты крепости Калатрава от мавров.

Стр. 261. *Плоды Гесперидских садов.*— Гесперіды, дочери Ночи, стерегли золотые яблоки в садах богини Геры (греч. миф.). *Герой Арбеллы.*— В 331 г. до н. э. Александр Македонский одержал возле города Арбеллы в Малой Азии решительную победу над войском персидского царя Дария, которая доставила ему власть над Персией.

Стр. 266. *Как Геллерт, крылатого гнал я коня...*— Немецкий поэт Христиан Фюрхтегот Геллерт (1715—1769) на склоне лет получил в подарок от курфюрста Саксонского верховую лошадь.

Воспоминание (стр. 267).— Стихотворение посвящено памяти погибшего школьного товарища Гейне. Его настоящее имя — Фриц фон Вицевский.

Стр. 268. *Лукреция* — знатная римлянка, которая заколола себя кинжалом, после того как ее обесчестил Секст Тарквиний — сын последнего римского царя Тарквиния Гордого. *«Генриада»* — эпическая поэма Вольтера (1723). *Массман* Ганс Фердинанд — немецкий филолог, ярый националист, ратовал за развитие в Германии гимнастического спорта. Часто служил для Гейне объектом насмешек. *Канова* Антонио (1757—1822) — итальянский скульптор.

Стр. 271. *Кадош* — заупокойная молитва у евреев.

В октябре 1849 (стр. 273).— Стихотворение написано в годовщину кровавых событий 1848 г.— разгрома октябрьского восстания в Вене — и под непосредственным впечатлением от поражения венгерского революционного движения в августе 1849 г. *Не все умны, как Флакк.*— Древнеримский поэт Квинт Гораций Флакк бежал с поля битвы при Филиппах (42 г. до н. э.). См.: Гораций, «Оды», кн. II, 7. *Не в честь ли Гете пир?* — В 1849 г. в Германии отмечалось столетие со дня рождения Гете.— *Зонntаг* Генриетта — известная певица, долгое время не выступавшая перед публикой.

Стр. 274. О, *как моя вскипает кровь // При слове «Венгрия»!* — В августе 1849 г. венгерское революционное движение было разгромлено силами русского царя, которого призвал на помощь австрийский император Франц-Иосиф. *С быком вступил в союз медведь...*— Речь идет о союзе Австрии и России в борьбе против венгерской революции.

Enfant perdu (стр. 276).— Дословно «погибшее дитя»

(франц.). Так назывались часовые на передовых постах, гибель которых была почти неизбежна. Лев Толстой переводит это выражение как «пропалые ребята».

Еврейские мелодии (стр. 278).— Название цикла Гейне заимствовал у Байрона — «Hebrew Melodies», 1815.

Иегуда бен Галеви (стр. 278).— Источником для Гейне послужила главным образом книга Михаэля Сакса «Религиозная поэзия испанских евреев» (1845). Иегуда бен Самуил Галеви — крупнейший еврейский поэт средних веков. Родился ок. 1085 г. в Толедо, изучал богословие, философию, медицину. Поэзия его, в ранние годы исполненная жизнелюбия и земных желаний, со временем приобрела религиозно-мистический характер. Под старость отправился паломником в Палестину, где след его теряется. Версия о гибели поэта в Иерусалиме от руки всадника-араба не более как легенда. *«Да прилипнет в жажде к нёбу // Мой язык...»* — Псалтырь, 136 («Прилипни язык мой к гортани моей...»).

Стр. 279. *Тора* — еврейское название Пятикнижия Моисеева (Библия, Ветхий завет). *Шалшелет* — цепь (древнеевр.) — определенная мелодия при чтении нараспев стихов из Торы.

Стр. 280. *Таргум Онкелос* — перевод Пятикнижия на арамейское наречие. Приписывался переводчику Библии греку Онкелосу. *Галаха* — свод и толкование иудейских религиозных законов на основе Талмуда. *Пумпедита* — город в Вавилоне, где находилась высшая иудейская школа. *«Козари»* — «Аль-Хазари» или «Кузари» — наиболее известное религиозно-философское произведение Иегуды бен Галеви, повествующее о религиозном обращении хозарского князя. *Агада* — свод нравственных правил и норм общежития, на основе Талмуда, подкрепляемых притчами, баснями, легендами и т. п.

Стр. 282. *Споров о яйце фатальном...*— Схоластический спор о том, можно ли есть яйцо, снесенное курицей в праздник, содержится в одном из трактатов Галахи.

Стр. 283. *«Так на реках вавилонских мы рыдали...»* — см. Псалтырь, 136 («При реках Вавилона, там сидели мы и плакали...»).

Стр. 285. *Он в священные сирвенты // Мадригалы и терцины, // Канцонетты и газеллы...*— Сирвента (от прованс. sirvente — служащий) — жанр провансальской поэзии, стихотворение на политические или социальные темы. Мадригал — лирическое стихотворение, обращенное к какому-либо лицу и обычно содержащее восхваление этого лица. Терцины — трехстишия с определенной схемой рифмы. Канцонетта — небольшая канцона, жанр провансальской поэзии трубадуров, лирическое стихотворение, воспевающее рыцарскую любовь. Газелла (газель) — жанр лирической поэзии народов Ближнего и Среднего Востока (арабской, персидской и др.); состоит из двустиший, где чет-

ные строки связаны одной рифмой. *Лангедок* (langue d'oc) — общее название для средневековых наречий Южной Франции.

Стр. 286. *На страстной зажгли во храме // Знаменитейший пожар...* — 6 апреля 1327 г. итальянский поэт Петрарка впервые увидел в церкви св. Клары в Авиньоне женщину, которую позднее воспел в стихах под именем Лауры. *В лютой скорби разрушенья...* — Иерусалим был разрушен первый раз царем Навуходоносором в 586 г. до н. э., второй раз — римским императором Титом в 70 г. н. э.

Стр. 287. *Странный был он пилигрим...* — Описание пилигрима соответствует облику Агасфера, Вечного жида, обреченного странствовать по земле из века в век за то, что когда-то он отказался дать приют Иисусу Христу. *Раз в году рыдают камни, // В месяц аба, в день девятый.* — Аб — пятый месяц в еврейском календаре (соответствует июлю). В девятый день аба был разрушен Иерусалимский храм.

Стр. 288. *Видам* — управитель. *Жоффруа Рюдель* — см. прим. к стр. 227.

Стр. 289. *После битвы при Арбеллах* — см. прим. к стр. 261.

Стр. 290. *...старый Аристотель.* — Греческий философ Аристотель (384—322 гг. до н. э.) был воспитателем Александра Македонского. *Атосса* — дочь персидского царя Кира. *Смердис поддельный* — легендарный чародей, принявший облик убитого жениха Атоссы Смердиса. *Таис* — греческая танцовщица, которая после битвы при Арбеллах якобы уговорила Александра разрушить Персеполис — резиденцию персидских царей. *Последний Омаяд* — Омаяды (Омейяды) — династия арабских калифов, правившая с 661 по 750 г. и вытесненная иранской фамилией Аббасидов. Последний отпрыск Омаядов Абдеррахман (Абдергам) бежал в Испанию, где в 756 г. основал арабское государство с центром в Кордове. Абдеррахман III в 929 г. принял титул калифа.

Стр. 291. *Но с паденьем царства мавров...* — Арабское владычество в Испании окончилось в 1492 г. *Мендицабель* — испанский министр финансов (с 1835 г.). *Баронесса Соломон* — жена банкира Соломона Ротшильда.

Стр. 292. *Цофар* (древнеевр.) — писец.

Стр. 294. *Эта песня — гимн сионский...* — одно из наиболее известных стихотворений Иегуды бен Галеви — «Сионская элегия».

Стр. 298. *Аль-Харизи* — еврейский поэт XIII в., писавший макамы (рифмованная проза, перемежающаяся стихами) в подражание арабскому поэту Харири.

Стр. 299. *Слово самое Шлемиль нам понятно...* — Шлемиль (древнеевр.) — неудачник. Этим именем немецкий писатель-романтик Адельберт фон Шамиссо (1781—1838) назвал героя своей повести «Удивительная история Петера Шлемиля» (1814).

Стр. 300. *Гициг* Юлиус Эдуард — берлинский юрист. Друг и биограф Шамиссо, крещеный еврей; до перехода в христианство носил фамилию Ициг.

Стр. 308. *Фома Аквинский* (1225—1274) — знаменитый богослов, один из виднейших авторитетов католической церкви.

Стр. 313. *Мишна* — часть Талмуда. *Таусфес-Ионтоф* — комментарий к Мишне. *Как ты, боже, сокрушил богохульного Корея...* — Во время исхода евреев из Египта Корей вместе с Дафаном и Авироном восстали на Моисея, оспаривая его власть: «И разверзла земля уста свои, и поглотила их, и домы их, и всех людей Кореевых, и все имущество» (Четвертая книга Моисеева, XVI, 32).

Стр. 315. *Мириам* — библейская пророчица, славившая бога пением и плясками, после того как он потопил в море войско фараона (Вторая книга Моисеева, XV, 20).

Стр. 321. *Орк* — царство мертвых в римской мифологии. *Цербер* — трехглавый пес, сторживший вход в подземное царство (греч. миф.). *Стимфалиды* — мифические хищные птицы, их медные перья разили, как стрелы.

Стр. 323. *Суперкарго* — уполномоченный торговой компании, который сопровождает какой-либо груз и отвечает за его сбыт.

Стр. 327. *Сказал поэт Альбиона...* — Шекспир, «Венецианский купец» (акт V, сцена 1).

Афронтенбург (стр. 327). — Название стихотворения образовано Гейне из слов «affront» (франц.) — оскорбление и «Burg» (нем.) — замок. «Замком оскорблений» Гейне именовал поместье своего дяди Соломона Гейне в Оттензее (под Гамбургом), где в молодости он претерпел множество унижений.

Стр. 328. *От старого брюзги Борея.* — Под именем древнегреческого бога ветра Борея подразумевается Соломон Гейне.

Стр. 335. *Ксантупа* — намеренно искаженное имя жены древнегреческого философа Сократа Ксантиппы, которая отличалась необычайной сварливостью. *Малибран* (1808—1836) — знаменитая певица, испанка по национальности; жила в Париже.

Стр. 342. *Гаммония* — латинское название Гамбурга, а также имя богини — покровительницы города.

Стр. 343. *Ах, «что есть истина?» — Пилат // Промолвил, умывая руки.* — Евангелие от Иоанна, гл. XVIII, стр. 38.

Стр. 344. *Кревинкель* — название несуществующего городка, символ мещанского захолустья, соответствует русскому «медвежий угол». Впервые употреблено Жан-Полем («Das heimliche Klagelied der jetzigen Männer», 1800).

Аудиенция (стр. 345). — Имеется в виду аудиенция, данная в 1842 г. Фридрихом-Вильгельмом IV немецкому революционному поэту

Георгу Гервегу (1817—1875). Гервег надеялся, что новый король (вступил на престол в 1840 г.) даст Пруссии буржуазные свободы; однако его ждало разочарование: после протеста Гервега против запрещения задуманного им нового журнала он был выслан из Пруссии.

Стр. 346. *Менцель* Вольфганг (1798—1873) — немецкий писатель, публицист и литературный критик. Некоторое время исповедовал умеренно-либеральные взгляды, позднее перешел в лагерь открытой шовинистической реакции. С позиций национализма критиковал Гете, выступал с резкими нападками на «Молодую Германию». Против него были направлены статьи Людвига Бёрне «Менцель-французоед» и Гейне «О доносчике». *«Верните свободу, сир, // Германцам угнетенным!»* — ироническая перефразировка слов маркиза Позы из драмы Шиллера «Дон Карлос» (акт III, сцена 10).

Дополнения (стр. 348).— Этот раздел составлен по изданию Оскара Вальцеля, т. III (библиографические данные см. на стр. 742). Названия циклов, принадлежащие не самому Гейне, а вышеуказанному издателю, даются курсивом.

Холодные сердца (стр. 350).— В стихотворении обыгрывается ситуация комедии Шекспира «Венецианский купец».

Избавитель (стр. 359).— Источником стихотворения послужила книга французского историка Огюстена Тьерри «История завоевания Англии норманнами», где рассказывается легенда о короле бриттов Артуре, который якобы не умер, а лишь скрылся; в один прекрасный день он явится вновь и освободит свой народ от потомков Вильгельма Завоевателя. Чтобы покончить с этой легендой, английский король Генрих II Плантагенет (1133—1189) приказал распустить слух, будто обнаружена могила Артура.

Стр. 364. *В курфюрстской форме часовой, // При этом — с громадной косой...*— Когда курфюрст Гессенский Вильгельм I вернулся в Гессен после изгнания Наполеона (1813 г.), он во многом восстановил старые порядки. Его солдаты были обязаны вновь носить косы. *Катты* — германское племя, жившее на территории, занимаемой княжеством Гессенским. Катты, как и другие древние германцы, носили косы.

Стр. 365. *Натан Мудрый* — герой драматической поэмы Лессинга, обладающий широтой взглядов, гуманизмом и веротерпимостью.

Стр. 369. *Пумперникель* — особый вестфальский сорт ржаного хлеба. *Оставлю кузену, который умел //Так пылко отстаивать право бычье...*— Имеется в виду родственник поэта Рудольф Христиани, недолгое время принадлежавший к либеральной оппозиции в ганноверском парламенте.

Охраннику нравственных высот... один пистолет...— Подразумевается Вольфганг Менцель (см. прим. к стр. 346), который в 1837 г.

был вызван Гейне на дуэль, но вызова не принял. *Мое лицо вам неприятно...* — В 1837 г. редактор «Немецкого альманаха муз» Адельберт фон Шамиссо собирался поместить в очередном выпуске портрет Гейне. В знак протеста Густав Шваб вышел из состава редакции, а другие поэты «швабской школы» отказались сотрудничать в альманахе. *Завещаю бутылку слабительных вод // Вдохновенью поэта...* — Речь идет о Людвиге Уланде (1787—1863), который с 1817 г. не публиковал стихотворений на современные темы.

Германия (стр. 371). — Стихотворение, опубликованное в 1842 г. в «Газете для элегантного света», было написано летом 1840 г., когда французское правительство Тьера стремилось развязать войну с Германией для установления немецко-французской границы по течению Рейна. *Зигфрид* — герой немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах», захвативший сокровища карликов Нибелунгов, а также победивший дракона, в крови которого он искупался и стал неуязвим.

Политическому поэту (стр. 373). — Направлено, по-видимому, против поэта Эммануэля Гейбеля и его сборника стихотворений «Голоса времени» («Zeitstimmen», 1841), проникнутого националистическими настроениями. *Тиртей* — древнегреческий поэт, воспевавший бранные подвиги спартанцев.

Сова изучала пандекты... (стр. 373) — Стихотворение содержит намек на претензии папского престола вновь подчинить себе политику светских государей (см. стихотворение «Генрих» и примечание к нему). Сова символизирует здесь реакционную юридическую науку, *вороны* — римско-католическое духовенство. *Пандекты* — часть римского гражданского кодекса «Corpus juris civilis», составленная по поручению римского (византийского) императора Юстиниана в 530 г. *Глоссы* — примечания к кодексу, составленные средневековыми итальянскими юристами.

Силезские ткачи (стр. 374). — Стихотворение было напечатано впервые в парижской газете «Форвертс!» («Vorwärts!») 10 июля 1844 г. под названием «Бедные ткачи». Написано под непосредственным впечатлением восстания ткачей в Петерсвальдау и Лангенбилау в июне 1844 г.

Наш флот (стр. 375). — С начала 40-х годов немецкие либералы ратовали за строительство германского военно-морского флота. Фердинанд Фрейлиграт написал цикл сонетов «Мечты о флоте» («Die Flottträume», 1843), а Георг Гервег еще в 1841 г., по поводу юбилея Ганзейского союза, выражал надежду, что у Германии будет свой флот («Немецкий флот»). Гейне высмеивает эти мечты, давая несуществующим кораблям имена представителей либеральной оппозиции и поэтов «швабской школы». *Гофман фон Фаллерслебен,* Август Генрих (1798—1874) — немецкий политический лирик; в годы, предшествовавшие рево-

люции 1848 г., держался радикальных убеждений. *Пруц* Роберт (1816—1872) — немецкий поэт и драматург, выступавший с резкой критикой политики прусского короля Фридриха-Вильгельма IV («Новые стихотворения», 1843). *Бирх-Пфейфер* Шарлотта (1800—1868) — немецкая актриса и писательница, автор множества драм, потворствовавших вкусам мещанской публики и потому имевших у нее успех. Гейне подверг резкой критике ее творчество в очерке «Романтическая школа».

Новый Александр (стр. 376).— «Новым Александром» Гейне именует здесь Фридриха-Вильгельма IV. *Историческая школа* — направление немецкой юридической науки в начале XIX в., связанное с идеями реакционного романтизма; стремилось возродить феодальный правопорядок. Виднейший представитель — Фридрих Карл фон Савиньи, которого Гейне знал по Берлинскому университету.

Стр. 377. *Наставник мой, Аристотель мой...*— богослов Иоганн Петер Фридрих Ансийон, бывший с 1810 г. воспитателем будущего прусского короля.

Романское сказание (стр. 378).— Настоящий, первый вариант стихотворения, отличавшегося резкой антипрусской тенденцией, был впоследствии из цензурных соображений изменен Гейне. «Берлин» был заменен «Турином», а «наши венценосцы» — «сардинскими королями».

Король Длинноух I (стр. 389).— Комментаторы расходятся в ответе на вопрос, к кому относится стихотворение. Ионас Френкель, комментатор издания Оскара Вальцеля, называет Фридриха-Вильгельма IV, Эрнст Эльстер — Наполеона III.

Стр. 380. *Мерин-Берий.*— В поздних произведениях Гейне встречается много выпадов против французского композитора Джакомо Мейербера. Причиной тому конфликт между ними, возникший из-за танцевальной поэмы Гейне «Фауст», которая в 1849 г. была послана Гейне в Берлинскую оперу, но не принята к постановке. Позднее, когда Гейне узнал, что в Берлине идет балет «Сатанелла», он предъявил претензии к театру, генеральным директором которого был Мейербер, считая, что его балет просто переименовали. В действительности либретто «Сатанеллы» написал берлинский балетмейстер Тальони.

Стр. 381. *Клио* — муза истории в греческой мифологии.

Ослы-избиратели (стр. 383).— Направлено против франкфуртского Национального собрания, предложившего в 1849 г. императорскую корону прусскому королю Фридриху-Вильгельму IV.

Стр. 385. *Пред черно-красно-золотым // Умолкли волшебные саги...*— Германский Союзный сейм в марте 1848 г. объявил черно-красно-желтый флаг национальным флагом Германии. Гейне рассматривал его как символ реакционной средневековой монархии («стяг Барбароссы» — см. поэму «Германия. Зимняя сказка»).

Стр. 386. *Арндт* Эрнст Мориц (1769—1860) — немецкий поэт и критик националистического толка. Был одним из вдохновителей национально-освободительного движения в годы наполеоновских войн. *Ян* Фридрих Людвиг (1778—1852) — «отец гимнастики», германский националист, видевший средство к возрождению нации в развитии физической культуры.

Симплициссимус I (стр. 387).— Стихотворение адресовано Георгу Гервегу, названному здесь «Простейшим из простаков» по имени героя романа Гриммельсгаузена «Похождения Симплиция Симплициссимуса» (1668). *Почтенными были твои сапоги, // Как будто сшиты еще у Сакса...*— Немецкий поэт XVI в. Ганс Сакс был по ремеслу сапожником.

Стр. 388. *Тесть-шелкоторговец...*— В 1843 г. Гервег женился на дочери богатого берлинского шелкоторговца Зигмунда. *И это — «Живой»...* — намек на книгу Гервега «Стихи живого» («Gedichte eines Lebendigen»), название которой было противопоставлено «Письмам умершего» (1830) Германа *Пюклер-Мускау* (1785—1871). *...прославленный генерал немецкой свободы...*— В апреле 1848 г. Гервег возглавил, вопреки советам Маркса и Энгельса, «Немецкий демократический легион» — отряд эмигрантов, который выступил из Франции для вторжения в Германию. При Доссенбахе легион был разбит, и Гервегу пришлось бежать.

Клоп (стр. 390).— Стихотворение направлено против венского композитора Иозефа Дессауэра, на которого Гейне нападал в «Лютеции» и в «Позднейшей заметке» за то, что тот похвалялся своею близостью с Жорж Санд. Дессауэр объявил, что нападки Гейне объясняются тем, будто он, Дессауэр, однажды отказался дать ему в долг.

Стр. 391. *...Которые столь бездарны и серы, // Что не идут, как часы Шлезингера.*— В «Лютеции» Гейне рассказывает: «Чтобы поразвлечься, он (Дессауэр) отправился в Париж и здесь приобрел благоволение знаменитого Морица Шлезингера, который взялся издать его сочинения; в качестве гонорара он получил от издателя золотые часы. Когда через некоторое время старик Дессауэр пришел к своему покровителю и пожаловался ему, что часы не идут, тот сказал: «Не идут? Разве я говорил, что они должны идти? А ваши сочинения идут? С вашими сочинениями у меня дело обстоит точно так же, как у вас с моими часами. Они не идут» (26 марта 1843 г.).

Орфеистическое (стр. 395).— Как и следующее стихотворение, «Да не будет он помянут...» (стр. 396), относится к дяде поэта, Соломону Гейне.

Стр. 397. *Словно Зигфрида-героя, // Ранили меня стрелою...*— Когда Зигфрид, герой средневекового немецкого эпоса «Песнь о Нибелунгах», купался в крови убитого им дракона, на спину ему, между ло-

патками, упал листок, и это место осталось уязвимым. Выпытав у супруги Зигфрида Кримхильды его тайну, бургундский рыцарь Хаген убил героя, поразив его копьем в спину.

Стр. 400. *Драхенфельс* — одна из вершин горной цепи Зибенгебирге (Семигорье) в Рейнской области.

Стр. 403. *Тантал* — фригийский царь Тантал, предавший тайны богов, был осужден находиться в подземном царстве среди сочных плодов, которых он не мог достать, и вечно испытывать голод и жажду.

Стр. 404. *Голубой цветок, чей нежный // Романтический расцвет Офтердингеном воспет.*— Миннезингер Генрих фон Офтердинген — герой одноименного романа немецкого писателя-романтика Новалиса (Фридриха фон Гарденберга, 1772—1801), томившийся тоской по мистическому «голубому цветку» — символу Красоты и Поэзии.

Стр. 408. *Прозерпина* — дочь богини плодородия Цереры, похищенная богом подземного царства Плутоном и ставшая его женой (греч. миф.).

Лотос (стр. 410).— Это и два последующих стихотворения посвящены «Мушке» — Элизе Криниц, с которой Гейне сблизился в последние месяцы своей жизни. В 1884 г. она выпустила под псевдонимом Камиллы Сельден книгу воспоминаний о поэте: «Последние дни Генриха Гейне».

ПОЭМЫ

ГЕРМАНИЯ. ЗИМНЯЯ СКАЗКА
DEUTSCHLAND. EIN WINTERMÄRCHEN

Поэма «Германия» была впервые опубликована в 1844 году вместе с «Новыми стихотворениями» (два издания: в сентябре и в октябре), а также в виде отдельной книги в том же 1844 году. Большое значение для установления текста имела публикация поэмы по рукописи, сделанная Ф. Хиртом в 1915 году: «Deutschland. Ein Wintermärchen», Faksimiledruck nach der Handschrift des Dichters, hrsgb. von Fr. Hirth., 1915. Русское издание поэмы впервые появилось в журнале «Отечественные записки» за 1861 год в переводе В. Водовозова, кроме того, существуют переводы В. Костомарова (1863), Заезжего [В. М. Михайлова] (1875), Д. Д. Минаева (1881), П. Вейнберга (1904), Ю. Тынянова (1933), С. Рубановича (1934), Л. Пеньковского (1934), В. Левика (1935).

Обычно русские издания придерживались текста, предложенного Эрнстом Эльстером. В настоящем издании использован, за немногим исключением, текст поэмы, опубликованный в томе I Собрания сочинений под редакцией Ганса Кауфмана, который, в свою очередь, опирался на издание Э. Эльстера.

Предисловие к поэме было написано для второго издания «Новых стихотворений», вышедших в октябре 1844 года в Гамбурге, но к набору опоздало, в связи с чем попало только в некоторые немногие экземпляры. Полным тиражом предисловие впервые было напечатано при отдельном издании поэмы тогда же, в 1844 году. Гейне писал К. Марксу 21 сентября 1844 года по поводу отдельного издания поэмы: «...я написал к нему предисловие — очень откровенное, в нем самым решительным образом бросаю перчатку националистам».

Стр. 421. *Аристофан* — см. прим. к стр. 484. *...обеих Кастилий.*— В 1479 г. Кастилия и Арагон объединились в королевство Испанию. Главы обоих государств, Изабелла Кастильская и Фердинанд Арагонский, поженились в 1469 г. *...для великого короля...*— Имеется в виду Людовик XIV, французский «король-солнце» (1643—1715). *Шпрее, Альстер* — реки, на которых расположены Берлин и Гамбург.

Стр. 423. *Шуфтерле* — персонаж драмы Фридриха Шиллера «Разбойники», негодяй, позорящий благородное дело, во имя которого борется герой драмы Карл Моор. Исследователи видят здесь намек Гейне на немецкого писателя Карла Гуцкова, своего литературного врага.

«Прощание с Парижем» (стр. 421).— Было впервые опубликовано биографом Гейне А. Штродтманном в «Последних стихотворениях и мыслях Генриха Гейне» (1869). Первоначально «Прощание» стояло в рукописи поэмы, но было снято поэтом при подготовке текста к печати (некоторые мысли и стихи он включил в главу XXIV). В тексте Г. Кауфмана дается в качестве варианта.

Стр. 424. *Единственный врач исцелил бы меня...*— то есть сама Германия. *Люнебургская степь* — на севере Германии (Ганновер), некогда район овцеводства. *О толстых гофратах, ночных сторожах...*— Гофрат — надворный советник. Ночной сторож.— Имеется в виду поэт Франц Дингельштедт (1814—1881). См прим. к стр. 196.

Стр. 425. *То было мрачной порой ноября...*— Гейне отправился в путешествие 21 октября и прибыл в Гамбург 29 октября 1843 г.

Стр. 426. *Я новую песнь, я лучшую песнь...*— Основываясь на учении сен-симонистов, Гейне провозглашает здесь и в последующих строках наступление «третьего царства» — счастливого будущего человечества. См. также прим. к стр. 148.

Стр. 427. *Гигант, материнской коснувшись груди...*— Гигант Антей, из древнегреческой мифологии, касаясь матери-земли, становился непобедимым.

Стр. 428. *...кружева острот...*— В подлиннике непереводимая игра слов: Spitzen по-немецки означает и кружева и острия — намек на колкость крамольных мыслей поэта. Популярный сборник стихотворений *Гофмана фон Фаллерслебена* (см. прим. к стр. 375) «Неполитические

песни» (1840) вышел в свет незадолго до появления поэмы Гейне. *Прусский союз.*— Имеется в виду Германский таможенный союз, образовался в 1834 г. для того, чтобы облегчить торговые отношения и освободить от таможенных рогаток многочисленные мелкие государства, на которые была расчленена Германия. Пруссия играла в нем главенствующую роль, подготовляя свою гегемонию в экономической и, следовательно, политической жизни Германии. Это и заставляло Гейне скептически относиться к союзу.

Стр. 429. *Ахен* — город в Рейнской области, бывшая столица Карла Великого (742—814), место коронации германских императоров (813—1531).

Карл Майер из швабской клики — поэт так называемой «швабской школы», снискавшей себе печальную известность главным образом благодаря ядовитым насмешкам Гейне (см. прим. к стр. 166). Игра слов у Гейне: magnus (л а т.) — большой, major (л а т.) — бóльший, следовательно, Карл Майер некто больший, чем Карл Великий. *Штуккерт* — швабское наименование города Штутгарта, расположенного на реке *Неккар*. Центр поэтов «швабской школы». *«Мы в красном видим французскую кровь»,— // Пел Кернер в прежние годы.*— Военно-патриотические стихи Карла Теодора Кернера (1791—1813), участника освободительной войны против Наполеона, пользовались популярностью у современников, хотя и были довольно незрелы. Гейне цитирует строку из его стихотворения «Песня черного охотника» (сборник «Лира и меч», 1814).

Стр. 430. *Фухтель* — палаш, служил также для телесного наказания солдат. *Сердечное «ты» о прежнем «он» // Напоминает недаром.*— До конца XVIII в. местоимение «он» употреблялось в немецком языке в качестве обращения к нижестоящим лицам. *...ус, как новейший этап, // Достойно наследовал косам!* — Коса, введенная в прусской армии еще в 1713 г., была затем упразднена в начале XIX в. *...кавалерии новой костюм...*— В 1842 г. прусский король Фридрих-Вильгельм IV ввел в армии новую форму с особым островерхим шлемом. Для Гейне эта допотопная униформа — типичное проявление политики «короля-романтика», видевшего свои идеалы в нравах «седой старины» средневековья. *Иоганна фон Монфокон* — героиня романтической драмы того же названия немецкого писателя Августа Фридриха Коцебу (1761—1819). *Фуке* — см. прим. к стр. 98. *Брентано* Клеменс, фон (1772—1842) — видный немецкий поэт, собиратель народных песен (один из издателей наряду с А. Арнимом «Волшебного рога мальчика»). *Тик* Людвиг (1773—1853) — немецкий писатель-романтик старшего поколения. Гейне ценил ранние произведения Тика, но не прощал ему выпадов против немецкой литературы радикального направления.

Стр. 431. *И в нем — ненавистную птицу...*— Имеется в виду орел — государственная эмблема Пруссии. *И рейнских вольных стрел-*

ков повелю // Созвать для веселой забавы... — В старину в Германии устраивались состязания стрелков. Мишенью для них служила деревянная птица. Победителя объявляли королем стрелков. У Гейне рейнские стрелки должны стрелять в прусского орла, так как именно Рейнская область была центром либеральной оппозиции. Здесь, в наиболее развитой экономически и политически части Германии, ненавидели Пруссию.

Стр. 432. *Здесь было царство темных людей...* — Имеются в виду кельнские церковники XVI в. во главе с теологом Якобом ван *Гоогстратеном.* Получили известность благодаря популярной сатире «Письма темных людей», одним из авторов которой был немецкий гуманист Ульрих фон Гуттен (1488—1523). *Менцель* — см. прим. к стр. 346. *Собор над водной равниной* — Кельнский католический собор, начал строиться в 1284 г. В XVI в. вследствие победы реформации во главе с Мартином *Лютером* (1483—1546) его постройка была приостановлена. В 1842 г. по инициативе Фридриха-Вильгельма IV было основано общество «Соборный союз» и начат сбор денег для достройки собора.

Стр. 433. *Франц Лист* (1811—1886) — венгерский композитор и пианист. Выступил с концертом в пользу достройки Кельнского собора. *Швабская свора.* — Штутгартское отделение Союза к началу строительных работ прислало судно, груженное камнем. *Святым царям из восточной земли...* — Согласно Новому завету, к колыбели младенца Христа приходили поклониться три восточных волхва (Бальтазар, Гаспар и Мельхиор). По церковной легенде, их мощи покоились в Кельнском соборе. *Те клетки железные, что висят...* — Руководители восстания анабаптистов (перекрещенцев) (1534—1535) в Мюнстере, Иоанн Лейденский, Книппердолинг и Крехтинг, после подавления восстания были казнены, а тела их выставлены в железных клетках.

Стр. 434. *Священный сей Восточный Союз...* — намек на «Священный союз» между Россией, Пруссией и Австрией, заключенный, в частности, для подавления революционного движения в Европе. *...клялись конституцию дать // В тяжелые минуты...* — Имеется в виду Фридрих-Вильгельм III, обещавший в 1815 г. своим подданным конституцию и «забывший» об этом, когда Наполеон был окончательно разгромлен.

Стр. 435. *Я в Бибрихе наглотался камней...* — Гейне имеет в виду спор между княжествами Нассау и Рейнгессеном (часть Гессена на левом берегу Рейна) из-за пользования водными путями сообщения. Чтобы воспрепятствовать проходу по Рейну судов у берегов Нассау, гессенцы затопили большое количество барж, груженных камнями. *Беккер* Никлас (1809—1845) — автор так называемого «рейнского гимна» «Они его не будут иметь, свободный немецкий Рейн», написанного в 1840 г. в ответ на воинственные стремления французского правительства Тьера сделать Рейн границей между Францией и Германией.

В полемику с Беккером вступил известный французский поэт *Альфред де Мюссе* (1810—1857). Его стихотворение «Немецкий Рейн» начиналось словами: «Мы его имели, ваш немецкий Рейн». В этом споре Гейне, как обычно, занял особую позицию. Для него «отец Рейн» прежде всего связан с духом свободы революции 1789 г., от которого в данное время далеки и немцы и французы.

Стр. 436. *Генгстенберг* Эрнст Вильгельм (1802—1869) — профессор богословия, издатель «Евангелической церковной газеты», мракобес и реакционер, нападал на Гете, травил «Молодую Германию».

Стр. 437. *Паганини* Никколо (1782—1840) — выдающийся итальянский скрипач-виртуоз и композитор. О его жизни распространялись романтические легенды. *Георг Гаррис* (1780—1838) — писатель из Ганновера, занимался организацией концертов Паганини, написал о нем книгу (1830). *Бонапарту огненный муж возвещал...* — Биографы Наполеона рассказывают, что будто бы перед каждым важным событием ему являлся «человек в красном».

Стр. 438. *Пред консулом ликтор шел с топором...* — В республиканском Риме перед консулом — выборным правителем государства — шло двенадцать служителей-ликторов, несших эмблемы консульской власти: связки прутьев, среди которых торчал топор.

Стр. 440. *Я часто обмакивал пальцы в кровь...* — В средние века в Германии существовало тайное судилище, так называемый «суд Фемы»; когда на дверях какого-либо дома появлялся красный крест, это означало, что хозяин его осужден «Фемой». Кровавые знаки, расставляемые автором «Германии»,— это символы социальной мести, которая обрушится на реакционную Германию.

Стр. 442. *Убирайтесь! Иль вас раздавят, как вшей...* — В оригинале Гейне пародирует строку из баллады Гете «Лесной царь». Сравни: у Гейне:

«Und weicht ihr nicht willig, so brauch ich Gewalt».

У Гете:

«Und bist du nicht willig, so brauch ich Gewalt».

Гаген — город в Вестфалии.

Стр. 443. *Мюльгейм* — город на правом берегу Рейна. *Я проезжал здесь последний раз // Весной тридцать первого года.* — В мае 1831 г., после Июльской революции 1830 г. во Франции, поэт покинул Германию и переехал в Париж. *Тощее рыцарство.* — Имеются в виду пруссаки.

И, стяг сине-красно-белый взметнув... — трехцветное знамя французской революции, введенное также и в Рейнской области в период наполеоновских войн. Для Гейне, как и для многих его современников, Наполеон был носителем демократических идей французской революции. *А император однажды воскрес...* — Имеются в виду так называемые

«Сто дней» вторичного правления Наполеона в 1815 г. после бегства его с острова Эльбы.

Я сам провожал катафалк золотой... — Гейне рассказывает о перевозе останков Наполеона с острова Св. Елены во Францию в 1840 г.

Стр. 445. *Унна* — город в Вестфалии.

Стр. 446. *О, братья-вестфальцы! Как часто пивал // Я в Геттингене с вами!* — В период своего вторичного пребывания в Геттингене (1824—1825) Гейне был членом студенческой корпорации «Вестфалия». *Тевтобургский лес.* — Римский историк Корнелий Тацит (54—120) в своем сочинении «Германия» рассказывает о победе, одержанной в 9 г. н. э. в Тевтобургском лесу вождем херусков (древнегерманское племя) *Германом* (Арминием) над римскими легионами под предводительством *Вара*. Подвиг Арминия высоко ценили немецкие националисты, что и объясняет полемическую позицию Гейне.

Стр. 447. *Весталки* — жрицы-девственницы римской богини Весты, в храме которой обязаны были поддерживать вечный огонь. *Квириты* — почетное звание граждан Древнего Рима. *Гаруспекс* — римский жрец, делал предсказания по внутренностям жертвенных животных. *Генгстенберг* — см. прим. к стр. 436. *Неандер* Иоганн Август (1789—1850) — профессор богословия в Берлине. *Авгуры* — римские жрецы, занимались предсказаниями, основываясь на полетах птиц. *Бирх-Пфейфер* — см. прим. к стр. 375. *Раумер* Фридрих Людвиг Георг (1781—1873) — немецкий историк. *Без рифмы писал бы Фрейлиграт...* — Античная поэзия не знала рифмы. Фрейлиграт Фердинанд (1810—1876) — выдающийся немецкий поэт, революционный лирик 40-х годов. Гейне весьма критически относился к ранней поэзии Фрейлиграта, подчас недооценивая ее. Позднее, в 1846 г., Гейне напишет: «Я высоко ценю Фрейлиграта» (предисловие к поэме «Атта Тролль»). *Папаша Ян* — см. прим. к стр. 386. *Массман* — см. прим. к стр. 268. *Нерон* Клавдий Цезарь (37—68 гг. н. э.) — древнеримский император, заставил своего воспитателя философа Сенеку покончить жизнь самоубийством, вскрыв себе вены.

Стр. 448. *Шеллинг* — см. прим. к стр. 196. *Корнелиус* Петер (1783—1867) — немецкий живописец, автор картин на исторические и религиозные темы, пользовался покровительством прусского короля. *Мы в Детмольде памятник ставим тебе...* — Работы по установке статуи Арминия в городе Детмольде были начаты в 1838 г.

Стр. 449. *Это волки воют кругом // Голодными голосами.* — Образ волка, взятый Гейне, по-видимому, из скандинавской мифологии, где волк Френсис должен сожрать владыку старого мира, бога Одина, символизирует у поэта (см., например, «Лютецию») революционные силы в борьбе со старым миром. *Перебежал к собакам...* — После выхода в свет книги Гейне «Людвиг Берне» (1840) враги поэта распускали слухи о политическом ренегатстве Гейне.

Стр. 450. *Кольб* Густав — редактор «Аугсбургской всеобщей газеты», где в 1840—1843 гг. Гейне помещал свои парижские корреспонденции (вошедшие позднее в книгу «Лютеция»). *Падерборн* — город вблизи Миндена (Пруссия). *Сизиф* — легендарный царь Коринфа. Согласно греческому мифу, был осужден богами постоянно вкатывать на гору камень, который, достигнув вершины, снова скатывался вниз. *Данаиды* — дочери царя Даная, осужденные богами в наказание за убийство своих мужей вечно наполнять водой бездонную бочку.

Стр. 451. *«О, солнце, гневное пламя!»* — Народная песнь об *Оттилии,* в которой рассказывается о девушке, попавшей в руки злодея, существовала в нескольких вариантах. Гейне связал историю Оттилии с хорошо известным сюжетом о солнце-изобличителе, выводящем на свет страшную правду. *Фема* — см. прим. к стр. 440. *С каким я волненьем слушал рассказ...* — Речь идет о сказке братьев Гримм «Девочка с гусями».

Стр. 453. *Ротбарт* (Рыжебородый) — прозвище германского императора Фридриха Барбароссы (1123—1190). Романтическая легенда о грозном кайзере, который спит тысячелетним сном в гроте горы Кифгайзер вместе со своим войском, пока ворон не возвестит ему, что пора проснуться и расправиться со всеми врагами Германии, широко использовалась немецкими националистами. Любопытно, что тайный план гитлеровского нападения на СССР имел кодовое наименование «Барбаросса». *Франки* — древнегерманское племя.

Стр. 455. *«Три всадника рысью летят из ворот»* — слова народной песни из сборника «Волшебный рог мальчика».

Стр. 457. *Семилетняя война* (1756—1763) — велась прусским королем Фридрихом II Великим в союзе с Англией против Австрии, России, Франции, Швеции и Испании. *Моисей Мендельсон* (1729—1786) — немецкий философ эпохи Просвещения, друг Лессинга. Его жену звали не Ревекка, а Фромет. *Каршин* — Анна Луиза Карш (1722—1791) — немецкая поэтесса. Ее дочь Каролина Луиза фон *Кленке* (1754—1812) писала стихи и пьесы. С Вильгельминой Кристианой фон *Чези* (1783—1856), автором либретто оперы К.-М. Вебера «Эврианта», Гейне был лично знаком.

Стр. 458. *Дюбарри* (1741—1793) — графиня, фаворитка французского короля Людовика XV.

Стр. 459. *...старогерманский бред // О красно-золото-черном* — цвета знамени Священной Римской империи германской нации (см. прим. к стр. 461).

Стр. 461. *Восстанови уголовный суд, // Введенный Карлом...* — Карл V Габсбург (1519—1556) — император Священной Римской империи и король испанский. В 1532 г. ввел суровый уголовный кодекс — так называемую «Каролину». *Священная Римская империя* германской нации — была основана императором Оттоном Могучим в 962 г. Включа-

ла в себя ряд стран: Германию, Австрию, Чехию, Нидерланды, часть Италии и т. д. Расцвет империи относится к средневековью. Позднее ее существование было номинальным. После разгрома Австрии Наполеоном в 1806 г. окончательно прекратила свое существование. *Минден* — город в Вестфалии, до 1873 г. считался крепостью второго ранга.

Стр. 462. *Когда завалил пещеру циклоп...* — Попав в плен к одноглазому циклопу (великану) Полифему, хитроумный Одиссей на вопрос великана ответил, что его зовут Никто. Когда пьяный циклоп заснул, Одиссей выколол ему глаз («Одиссея», песнь 9), «срезал бельмо», по выражению Гейне. *Faubourg Poissonière* — улица, на которой в 1841—1846 гг. жил Гейне в Париже.

Стр. 463. *...К отвесной черной скале // Я был прикован цепями.* — В этой и двух последующих строках Гейне сопоставляет себя с Прометеем, похитившим, согласно древнегреческому мифу, у бога Зевса огонь для людей. За это Прометей был прикован к горе, и коршун клевал ему печень. Сравнивая себя с древнегреческим героем, Гейне имеет в виду тот свет, который он своим творчеством несет немецкому народу. *...на Бюкебургской земле...* — Бюкебург был столицей самого незначительного немецкого княжества Шаумбург-Липпе. *Дантон* (1759—1794) — выдающийся деятель французской революции, отправленный Робеспьером на эшафот. Перед казнью на советы друзей бежать ответил, что отечество не унесешь с собой на подошвах сапог.

Стр. 464. *Эрнст-Август,* герцог Кумберлендский (1771—1851),— сын английского короля Георга IV, на ганноверский престол вступил в 1837 г. До этого был видным членом партии консерваторов (тори) в английской палате лордов.

Стр. 466. *Полусгоревший город наш...* — В мае 1842 г. в Гамбурге произошел большой пожар. Сгорело более четырех тысяч зданий, двадцать тысяч человек остались без крова. *Где дом, в котором я познал // Запретный плод поцелуя?* — Гамбургский дом дяди поэта, Соломона Гейне, где молодой Гейне пережил несчастную любовь к своим кузинам.

Стр. 467. *Дрекваль* — улица в еврейском квартале Гамбурга. После пожара была переименована. *Сенат.* — Гамбург со времен Ганзы сохранил статус вольного города и возглавлялся выборным сенатом — органом городского самоуправления.

Стр. 468. *Та птица, что снесла яйцо...* — Эмблема Пруссии — одноглавый орел — носила презрительную кличку «кукушки», птицы, кладущей яйца в чужие гнезда. Гейне под яйцом, снесенным прусской кукушкой в парик бургомистра, имеет в виду стремления Пруссии заставить Гамбург вступить в Таможенный союз (см. прим. к стр. 428).

Стр. 469. *Старуха Гудель* — жительница Гамбурга, не раз подвергавшаяся издевкам Гейне («Луккские воды» и стихотворение «Смесь»). *Лишь продавец бумаги, мой друг...* — Имеется в виду Эдуард Михаэлис,

пользовавшийся в Гамбурге большим уважением. *N. N.*— так Гейне обозначил своего врага Адольфа Галле, зятя Соломона Гейне, от которого поэт зависел материально. *Бибер* — глава страхового общества в Гамбурге, после пожара фирма Бибера обанкротилась. *Старый цензор* — Фридрих Людвиг Гофман, был цензором в Гамбурге с 1822 по 1848 г. *Гумпелино* — гамбургский банкир Лазарь Гумпель, осмеянный Гейне еще в «Луккских водах». В ноябре 1843 г., как раз во время пребывания поэта в Гамбурге, Гумпель скончался.

Стр. 470. *Кривой Адонис* — по-видимому, один из известных городских торговцев вразнос, которого Гейне за его безобразную внешность назвал именем прекрасного юноши из древнегреческого мифа. *Мейер* Генрих — гамбургский литературный и театральный критик. *Корнет* Юлиус — директор городского театра в Гамбурге. *Саррас* — собака Юлиуса *Кампе* (1792—1857), гамбургского книгоиздателя. У него печатались Гейне и другие оппозиционные писатели. *Для новых имеется новый храм...*— В начале XIX в. среди германских евреев началось движение за обновление религиозной обрядности. В 1816 г. реформированная община возникла в Гамбурге. Богослужение стало вестись на немецком языке, появился орган. Реформированная синагога стала именоваться храмом. *...а старики — // Аристократисты сверх меры.*— Игра слов у Гейне: вместо «aristokratisch» (аристократичны) — «aristokrätzig» — то есть аристократы, которые почесываются. *Погреб Лоренца* в Гамбурге был знаменит своей кухней.

Стр. 471. *Шофпье* — гамбургский врач. *Вилле* Франсуа — талантливый журналист и редактор в Гамбурге. *Фукс* Фридрих Август — гамбургский вольнодумец, знаток философии. *Канова* — см. прим. к стр. 268. Очевидно, речь идет о статуе Венеры, находящейся в Палаццо-Пицци во Флоренции. *Амфитрион* — тип гостеприимного хозяина по комедиям Плавта и Мольера того же названия.

Стр. 472. *Дрейбан* — улица в Гамбурге, «биржа» проституток.

Стр. 475. *Даммтор* — место, где жила мать поэта Бетти Гейне. *Лотхен* (Шарлотта) — сестра Гейне, в замужестве Эмбден. *Старый седой господин* — дядя поэта Соломон Гейне.

Стр. 478. *Демагог* — так перед революцией 1848 г. реакционеры называли оппозиционно настроенных граждан. *Лишить кокарды* — то есть лишить гражданских прав. *И наша поэзия гаснет...*— В уста Гаммонии Гейне здесь вкладывает свое скептическое отношение к политической лирике начала 40-х годов, к ее подчас лобовой «тенденциозности». Как раз в этот момент Гейне создавал свои «Современные стихотворения», являющиеся образцом политической лирики. *И черный царь Фрейлиграта...*— Имеется в виду баллада Фрейлиграта «Негритянский вождь» («Der Mohrenfürst»), пользовавшаяся большой популярностью у современников (см. прим. к стр. 447).

Стр. 479. *Елеазар* — раб-домоуправитель библейского патриарха Авраама. *...царица трески, моя мать...*— насмешка над гамбургскими рыботорговцами. Треска служит Гейне неоднократно для шуток над бюргерской Германией.

Стр. 480. *Carolus Magnus — мой славный отец...*— Карл Великий считается основателем Гамбурга (начало IX в.). *Фридрих прусский* — Фридрих II Великий; считался в Германии образцом государственного деятеля. Легенда о нем как о просвещенном монархе была разоблачена в XIX в. *Ротшильд* — знаменитая семья банкиров.

Стр. 481. *Тридцать шесть клоак* — тридцать шесть немецких государств. *Светил Исторических свора* — см. прим. к стр. 376.

Стр. 482. *Сен-Жюст* Луи-Антуан (1767—1794) — деятель Великой французской революции, член Комитета общественного спасения, который при якобинцах (1793—1794) являлся верховным правящим органом Республики. Гейне очень точно передает его слова. *«Есть в Фуле король...»* — Фуле —легендарный город. Гейне пародирует известную песенку Гретхен в «Фаусте» Гете, намекая вновь на прусского короля Фридриха-Вильгельма IV (см. также стихотворение Гейне «Новый Александр», стр. 376).

Стр. 484. *...Аристофан, возлюбленный Камены...*— Камены — покровительницы искусств в Риме, соответствующие греческим музам. Гейне высоко ценил сатирический талант древнегреческого поэта Аристофана (452—380 гг. до н. э.), автора комедий «Облака», *«Птицы»*, *«Лягушки»* и др. Уже современники Гейне усматривали творческую связь поэта с древним греком и именовали его «немецким Аристофаном». Г. В. Плеханов назвал Гейне «новейшим Аристофаном». *Базилея и Писфетер* — действующие лица комедии «Птицы». «Лягушки» в обработке Августа Копиша появились на берлинской сцене в театральный сезон 1843/44 года. *Отец короля* — прусский король Фридрих-Вильгельм III, правил с 1797 по 1840 г.

Стр. 485. *Жандармский хор проводил бы его // За городскую заставу.*— Имеется в виду высылка революционного поэта Георга Гервега в 1842 г.

Стр. 486. *Ты знаешь грозный Дантов ад, // Звенящие гневом терцины?* — «Ад» —первая часть поэмы Данте «Божественная комедия» (1307—1320). Поэма написана терцинами (см. прим. к стр. 285).

БИМИНИ
BIMINI

Поэма «Бимини» при жизни Гейне не издавалась, была обнаружена в литературном наследии писателя А. Штродтманном и опубликована в 1869 году в книге «Последние стихотворения и мысли Генриха Гей-

не». Написана «Бимини», по-видимому, в последние годы жизни поэта, во всяком случае, после выхода в свет «Романсеро», то есть после 1851 года. В качестве основы для написания поэмы Гейне использовал книгу Вашингтона Ирвинга «Путешествия и открытия спутников Колумба» (1831), при этом, разумеется, не всегда придерживаясь своего первоисточника.

«Бимини» на русский язык впервые переведена в 1870 году (журнал «Отечественные записки», перевод П. Вейнберга). В разное время выходили переводы Ал. Вознесенского (1934), Л. Руст (1939), В. Левика (1950). *Бимини* — в индейской мифологии означает сказочный остров, который награждает вечной молодостью тех, кто на нем побывает. Этим именем были названы два маленьких коралловых острова из группы Багамских островов.

Стр. 487. *Голубой цветок...* — в немецкой литературе символ романтического томления и романтических чудес (см. прим. к стр. 404). *Как морское чудо, вырос // Новый небывалый мир...* — Имеется в виду открытие Америки в 1492 г. Христофором Колумбом.

Стр. 488. *Новых мировых болезней...* — Гейне намекает на то, что сифилис был завезен в Европу из Америки. *Бертольд Шварц* — францисканский монах из Фрейбурга, изобрел порох (XIV в.). *Ворожбой волхва из Майнца...* — Гейне здесь ошибочно следует традиции XVII в., которая неправильно отождествляла Иоганна Фуста из Майнца — компаньона Иоганна Гуттенберга, изобретателя книгопечатания, с доктором Фаустом — чародеем и героем народной легенды. *Книга Красоты.* — Подразумеваются достижения древнегреческого искусства, открытые учеными вновь в эпоху Возрождения. *Книга Истины* — Библия, Ветхий завет, которую также в эпоху Возрождения вновь начали изучать на древнееврейском языке оригинала. *Индия.* — Здесь подразумевается Вест-Индия.

Стр. 489. *Иль венгерец из Баната, // Круглый неуч и дурак.* — По-видимому, речь идет о докторе Д. Груби, враче, лечившем Гейне в Париже. Он был родом из Венгрии. *Банат* — местность на юге Венгрии между Дунаем и Карпатами. *Кортес* — см. прим. к стр. 236. *Писарро Франсиско* (1475—1541) — испанский конкистадор, открыл государство инков в Перу и разграбил его (1531—1534). *Лопес Вакка.* — В исторических документах такое лицо не значится. *Кито* — старое индейское поселение, в котором находился храм, было захвачено испанцами в 1533 г. под руководством помощника Писарро Беналсазара, основавшего на этом месте испанский город с тем же названием.

Стр. 490. *Радецкий* Иозеф и *Гайнау* Юлиус — австрийские военачальники. Участвовали в подавлении революционного движения в Северной Италии (1848—1849). *Хуан Понсе де Леон* (1460—1521) — испанский мореплаватель. В 1512 г. пытался найти остров Бимини, на кото-

ром, по рассказам, находился источник, возвращающий людям молодость. Вместо Бимини в 1512 г. открыл Флориду.

Стр. 491. *Этот курс гидропатичен...*— Гидропатия (г р е ч.) — лечение водою, водолечение.

Стр. 492. *И во франкфуртском соборе.*— Во Франкфурте-на-Майне в соборе св. Павла в 1848—1849 гг. заседало общегерманское Национальное собрание, утвердившее *черно-красно-золотые* цвета в качестве флага единой Германской республики. *Ундина* (л а т.) — русалка.

Стр. 493. *Наваха из Толедо.*— Испанский город Толедо издавна славился своими оружейными мастерскими.

Стр. 494. *Алькад* (точнее — алькальд) — судья, бургомистр. *Гренада* — была с 1238 г. столицей и культурным центром арабского королевства на юге Испании. С завоеванием Гренады в 1492 г. закончилось арабское господство в Испании.

Стр. 495. *И с Колумбом во вторичный... рейс поплыли...*— Это плавание Колумба к берегам Америки продолжалось с сентября 1493 по июнь 1496 г. *...второй великий Христоф...*— Христофор Колумб. «Первый» Христофор — легендарный христианский святой. *Охеда* Алонзо (1470—1515) — испанский мореплаватель, принимал участие во втором плавании Колумба. *Король Артур* — легендарный король из средневековых рассказов бретонского цикла, возглавлял волшебное содружество двенадцати рыцарей, собиравшихся за *круглым столом* (см. также прим. к стр. 359).

Стр. 496. *Бальбоа* Васко Нуньес де (1475—1517) — испанский мореплаватель. Первым из европейцев в 1513 г. сушей достиг Тихого океана. *Брабант* — одна из провинций средневековых Нидерландов, славилась своим богатством. *Армада* — флот.

Стр. 497. *И открыл я остров Кубу.*— Куба была открыта еще в 1492 г. Х. Колумбом. В действительности Понсе де Леон занимался с 1508 г. колонизацией Пуэрто-Рико, который был также открыт Колумбом в 1493 г. *Фердинанд* II Арагонский — женившись на Изабелле Кастильской, объединил Арагон и Кастилию в Испанское государство. *Хуана* Кастильская — его дочь, после смерти матери некоторое время правила Кастилией. *Орден Калатравы* — см. прим. к стр. 253.

Стр. 500. *Кяка, старая индийка...*— В своей книге Вашингтон Ирвинг рассказывает, что Понсе де Леон во время своего плавания на одном из островов взял на борт своего корабля старуху индианку, служившую ему в качестве проводницы. *Бридиди* — по-видимому, Гейне использует здесь псевдоним известного в 40-е годы французского танцовщика Габриэля Курсоннуа.

Стр. 501. *Мимили* — см. прим. к стр. 612.

Стр. 502. *Бегинки* — см. прим. к стр. 217.

Стр. 504. *Тройственный герб Леона, Арагона и Кастильи.*— Некогда

самостоятельное испанское королевство Леон было в 1230 г. окончательно объединено с Кастилией.

Стр. 505. *Геба* — древнегреческая богиня юности, служила виночерпием на Олимпе у пировавших богов. *Рококо-антропофагно, // Карайбо-помпадурно...* — Ирония Гейне: рококо — стиль в искусстве XVIII в.; антропофаг — людоед; караибы — южноамериканское племя индейцев; Помпадур — фаворитка французского короля Людовика XV (1715—1774).

ПРОЗА

ИЗ «ПУТЕВЫХ КАРТИН» («REISEBILCER»)

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ
HARZREISE

В сентябре 1824 года Гейне, будучи еще студентом, совершил путешествие по Гарцу, горному массиву в Центральной Германии. Свои путевые впечатления Гейне описал в том же 1824 году, однако напечатать их ему удалось только в 1826 году и то с большими искажениями (журнал «Gesellschafter»). В том же 1826 году Гейне опубликовал в Гамбурге первый том «Путевых картин», куда наряду с другими произведениями входило и «Путешествие по Гарцу».

Отрывок из «Путешествия по Гарцу» был опубликован на русском языке в журнале «Московский вестник» еще при жизни Гейне в 1830 году (перевод А. Плещеева). Полностью это произведение было напечатано в «Русском вестнике» за 1859 год (перевод М. Л. Михайлова). Существуют также переводы: П. И. Вейнберга (1859), М. Оренбах (1903), В. Зоргенфрея (1920), А. Дейча (1927), В. Станевич (1950).

Стр. 511. Эпиграф взят из «Речи памяти Жан-Поля» (1825) выдающегося немецкого публициста Людвига Берне (1786—1837).

Стр. 512. *Людер* Вильгельм — геттингенский студент, славившийся своей силой и ловкостью. *...когда я был зачислен в университет...* — Это произошло в октябре 1820 г., а 23 января 1821 г. Гейне был исключен из университета на полгода из-за участия в дуэли. *Вандалы, фризы, швабы, тевтоны, саксы, тюрингцы* — древние германские племена. Здесь означают представителей студенческих корпораций, которые строились по принципу землячества. *Разенмюле, Риченкруг, Бовден* (Бовенден) — деревни в окрестностях Геттингена — места студенческих дуэлей.

Стр. 513. *К.-Ф.-Х. Маркс* — автор книги «Геттинген в медицинском, физическом и историческом отношении», Геттинген, 1824. *Сад Ульриха* — увеселительное место в Геттингене. *...ученый **** — И. Ф. Блюменбах (1752—1840), известный профессор в Геттингене. Гейне намекает

на его любовь к цитатам и выпискам. Блюменбах составил огромную коллекцию различных курьезов из многих областей знания.

Стр. 514. *Георгия-Августа* — название Геттингенского университета по имени его основателя в 1737 г. Георга II Августа, короля ганноверского. *Пандекты* — см. прим. к стр. 373. *Римские казуисты.*— Казуистикой назывался особый раздел науки права, посвященный законодательному регулированию тех или иных частных случаев («казусов»). *Трибониан, Гермогениан* — римские юристы. *Шефер* и *Дорис* — два педеля Геттингенского университета. Гейне изменил Дорс на Дорис, имя пастушки из идиллии. Шефер (нем.) — пастух. Таким образом получились действующие лица пасторали: пастух и пастушка. *Гесснер* Соломон (1730—1788) — швейцарский поэт, известен своими «Идиллиями». *Шефер... тоже писатель.*— Ирония Гейне: обязанностью этого педеля было каждый семестр составлять списки студентов. *...цитировал мое имя...*— Игра слов: zitieren означает не только цитировать, но и вызывать в суд (здесь — университетский), к начальству и т. п.

Стр. 515. *Песенка Россини.*— Ирония Гейне: речь идет о грубоватой студенческой песне, в то время так же широко известной, как и музыка знаменитого итальянского композитора Россини. *Навуходоносор* — халдейский (нововавилонский) царь, правил с 605 до 562 г. до н. э. В 586 г. до н. э. взял штурмом Иерусалим и разрушил Иерусалимский храм. Согласно библейскому преданию, на старости лет его за высокомерие покарал бог: он жил среди волов и питался травой или, как шутит Гейне, салатом (Библия, Книга Даниила, гл. 4, 29).

Стр. 516. *...крепости, о которых говорит Филипп Македонский...*— согласно описанию римского политического деятеля Цицерона в его «Послании к Аттику». Филипп (IV в. до н. э.) — отец Александра Македонского.

Стр. 517. *Рустикус.*— Гейне применяет один из любимых своих приемов — латинизирует фамилию геттингенского профессора Антона Бауера, известного криминалиста. Rusticus (лат.) — то же, что Bauer (нем.) — крестьянин. *Ликург* — легендарный спартанский законодатель. *Куяциус.*— Имеется в виду знаменитый юрист Густав Гуго (1764—1844), участвовавший в разработке уголовного кодекса Ганновера. С помощью латинизированной формы Гейне сравнивает его с известным французским юристом XVI в. Жаком де Кюжа. *«...ты любитель рубить деревья с макушки!»* — Имеется в виду толкование, которое давал Г. Гуго в своем «Учебнике по истории римского права» одному спорному месту в кодексе Юстиниана. Вопрос касался того, как стричь деревья, растущие на границе двух владений. *Я слышу голос дорогого моего Прометея: коварной властью... прикован он... к скале мучений...*— Во французском издании «Путевых картин» сам Гейне расшифровал, кого он считает современным Прометеем: Наполеона, сосланного на остров

Св. Елены. *Старик Мюнхгаузен.*— Герлах Адольф барон фон Мюнхгаузен (1688—1770) — первый попечитель (куратор) Геттингенского университета при его основании.

Стр. 520. *Бродячий подмастерье.*— В Германии ремесленники в период учебы по традиции бродили по стране, переходя от одного мастера к другому. *«Герцог Эрнст»* — Жизнь Эрнста II, герцога швабского (ум. в 1030 г.), давала немецкой народной поэзии, начиная с XII в., обильный материал для легенд и сказаний. *Оссиан* — легендарный древнешотландский бард III в., именем которого воспользовался Макферсон, приписав ему песни, изданные в 1760—1763 гг. «Песни Оссиана» характерны своим мрачным колоритом, туманным ландшафтом и таинственностью. *«Волшебный рог* мальчика» — сборник народных песен, собранных и изданных (1806) поэтами К. Брентано и А. Арнимом.

Стр. 521. *«Лотхен над могилою Вертера грустит».*— Стихи под таким названием были опубликованы в 1775 г. Их автором был Карл Эрнст Рейценштейн. Это была попытка продолжить известный роман Гете «Страдания молодого Вертера». Композитор Иоганн Генрих Гессе написал на этот текст музыку (1777). Так возникла ставшая популярной песня. *Гофман* Э.Т.А. (1776—1822) — известный немецкий писатель, композитор и художник, незадолго перед тем умерший.

Стр. 522. *...таблица умножения... напечатана тут же.*— В Ганновере и после Гейне, и даже в нашем столетии к изданиям катехизиса прилагалась таблица умножения.

Стр. 523. *Чимборасо* — вершина в Южной Америке (6272 м.), на которой незадолго до этого побывал немецкий ученый А. Гумбольдт. *Карл V* — см. прим. к стр. 461. *Зеландия* — провинция в Голландии.

Стр. 525. *...«ура, Лафайет!»* — Генерал Лафайет (1757—1834), участник войны за независимость Соединенных Штатов и герой французской революции 1789 г. Находился в Америке в 1824 г. в качестве «гостя американской нации». Ему был устроен торжественный прием.

Стр. 526. *Герцог Кембриджский* Адольф Фридерик — младший сын английского короля Георга III, был наместником (с 1816 г.) в Ганновере, который с 1714 г. находился в личной унии с Англией. *Песня о верном Эккарте* — старинная немецкая легенда. Герой ее, пострадав от своего господина герцога Бургундского, сохраняет ему преданность и спасает от смерти. Эта легенда была известна Гейне в обработке Тика (1799).

Стр. 527. *Гослар* — город в Верхнем Гарце, основанный в 920 г., был резиденцией древнесаксонских и салических императоров. *Немецкая волшебная сказка.*— Упоминаемые Гейне сказочные мотивы заимствованы из собрания сказок братьев Гримм (1812—1815).

Стр. 528. *Советник Б.*— Имеется в виду Фридрих Бутервек (1765—1828), историк литературы. *Адельберт фон Шамиссо* — см. прим. к стр. 299.

Стр. 530. *...о древнем соборе... в Госларе...*— Гослярский собор XI в. был срыт в 1820 г. *Лука Кранах* (1472—1553) — выдающийся немецкий художник, один из классиков национальной живописи.

Стр. 531. *Батавия* — старое наименование Джакарты, столицы Индонезии, носившей в то время название Голландской Индии.

Стр. 532. *Клотар.*— По предположению Ю. Петерсена, Гейне заимствовал этот миф о Клотаре (Котаре) у немецкого романтика К. Брентано. *Еще ребенком я слышал, что луна — это плод...*— Сравнение луны с плодом дается в романе «Титан» писателя Жан-Поля Рихтера (1763—1825).

Стр. 534. *«Австрийский наблюдатель»* («Östreicher Beobachter») — официальная правительственная газета реакционного направления. Выходила в Вене в 1810—1832 гг. *Саул Ашер* (1767—1822) — берлинский книготорговец и автор популяризаторских книг по философии, последователь философии Канта. Гейне высмеивает его односторонний рационализм. *Фарнгаген фон Энзе* Карл Август (1785—1858) — немецкий писатель, покровительствовал Гейне. Занимался популяризацией русской литературы в Германии. Гейне имеет в виду его рассказ «Предостережение призрака».

Стр. 535. *«О различии между феноменами и ноуменами»* — философские понятия. Согласно Канту, ноумен можно понять только разумом, феномен — воспринять с помощью чувств.

Стр. 544. *Брокен* (Блоксберг) — высшая точка Гарца (1142 м), место шабаша ведьм в *Вальпургиеву ночь* (см. «Фауст», ч. I).

Стр. 545. *...Шмерценрейха, сына святой Геновевы.*— Геновева — популярный образ немецкой народной книги, в основе которой лежит легенда о Геновеве Брабантской. Была обвинена в нарушении супружеской верности и провела вместе со своим сыном шесть лет в Арденнском лесу.

Стр. 546. *Ретцш* Мориц (1794—1857) — дрезденский художник, издал в 1816 г. свои гравюры к первой части «Фауста» Гете. *«Вечерняя газета»* («Abendzeitung») — издавалась в Дрездене, вокруг нее группировались писатели — эпигоны романтизма. *«Ратклиф»* и *«Альманзор»* — трагедии Гейне, были опубликованы в 1823 г.

Стр. 548. *Клаудиус* Матиас (1740—1815) — немецкий писатель, автор популярных лирических песен. Имеются в виду слова из известной застольной песни «Укрась венком любимый полный кубок» («Bekränz mit Laub den lieben vollen Becher»).

Стр. 550. *Палестрина* Джованни Пьерлуиджи (1524—1594) — итальянский композитор, мастер католической церковной музыки. По-видимому, Гейне имеет в виду «Мессу папы Марцелла», знаменитый хорал Палестрины.

Стр. 551. *...Путевые письма Гете...*— Имеются в виду «Письма из

Швейцарии». В письме от 3 октября 1799 г. Гете рассказывает о возникшем споре о том, как воздействует новизна и первые впечатления на человека. *Вертер* — знаменитый роман Гете «Страдания молодого Вертера» (1773). *Элиза фон Гогенгаузен* (1791—1857) — немецкая переводчица Байрона. Гейне был постоянным посетителем ее салона в Берлине и получил от нее прозвище «немецкого Байрона». Как обычно, Гейне высмеивает мещанские представления о великом английском поэте, отсюда разговор о *«безбожии Байрона, его безлюбии»* и т. д. *Галле* — город в Средней Германии (в настоящее время в ГДР). *Шютце* Христиан Готфрид (1747—1832) — профессор-филолог из Галле. Речь идет о том, что студенты разбили окна в его квартире. *...экзегетически* — от слова экзегеза — толкование литературных или библейских текстов. *...речь шла о завсегдатаях пивных в Галле.*— Студенческие корпорации в Галле забавы ради основали в окружающих деревнях так называемые «пивные государства»: Кипр, Лихтенштейн и т. д.

Стр. 552. *Высоцкий* — известный берлинский ресторатор. *«В своих сужденьях юность торопliва...»* — слова из драматической трилогии Фридриха Шиллера «Валленштейн», часть II, действ. II, сц. 2. *...дирекции театров особенно приходится заботиться о «цвете бороды в такой-то роли»...*— Речь идет о графе Карле Морице фон Брюле, директоре Королевского театра в Берлине (1815—1828), который придавал преувеличенное значение внешним деталям. Особую сенсацию в театральном мире вызвала сцена коронации в «Орлеанской деве» Шиллера. *Мария Стюарт, Берли* — персонажи трагедии Шиллера «Мария Стюарт». *Гумпель* — см. прим. к стр. 469. *Генрих IV* — французский король с 1589 по 1610 г., вступивший на престол уже после смерти Марии Стюарт. *Профессор Лихтенштейн* (1780—1857) — основатель зоологического сада в Берлине. *«Ненависть к людям и раскаяние»* — популярная пьеса Коцебу. *Спонтини* Гаспаро (1774—1851) — итальянский композитор, долгое время был главным директором Берлинской оперы. Гейне называет его оперы, насыщенные шумовыми эффектами, *янычарскими* — по названию турецких воинов — янычар.

Стр. 553. *Гоге* — известный берлинский танцовщик 20-х годов. *Бухгольц* (1768—1843) — издатель многочисленных историко-политических журналов, автор «Истории Наполеона Бонапарта». *Союзный сейм* (Bundestag) — верховный орган, основанный в 1815 г. в качестве общегерманского учреждения, заседал во Франкфурте-на-Майне. Не обладал никакой реальной политической властью. *Мелкие государи* — правители незначительных немецких княжеств, подчинявшиеся диктату Пруссии или Австрии. *Европейское равновесие* — доктрина, проводимая «Священным союзом» (см. прим. к стр. 434) после Венского конгресса (1815 г.). Имела в виду равновесие между Францией и Англией, с одной стороны, и Россией, Австрией и Пруссией, с другой. *Конгресс.*— По инициативе

«Священного союза», к которому, за исключением Англии и Ватикана, присоединились все европейские государства, созывались многочисленные международные конгрессы: в Троппау (1820 г.), в Лайбахе (1821 г.), в Вероне (1822 г.) — для подавления растущего революционного движения в Европе. *Великий восточный друг.*— Имеется в виду царская Россия, авторитет которой как «жандарма Европы» после разгрома Наполеона значительно вырос, так же как и ее влияние на европейские дела. *Апис* — священный бык в египетской мифологии. *Экзотерический* — общедоступный, предназначенный для непосвященных. В противоположность этому, *эзотерический* — известный лишь посвященным в тайну. *...настоящими придворными лакеями... бывают швейцарцы...*— намек на швейцарцев, которые при многих реакционных дворах Европы служили в качестве гвардейцев-телохранителей. *Грейфсвальдец* — житель города Грейфсвальд на севере Германии (сейчас ГДР). Гейне осмеивает здесь националистические тенденции движения немецких буршеншафтов (студенческих объединений).

Стр. 554. *...как говорит Сервантес* — см. «Дон-Кихот», т. I, гл. 2. *...блюхеровскому белому коню.*— Блюхер (1742—1819) — прусский фельдмаршал, герой наполеоновских войн. Обычно изображался на белом коне. *Арминий* — см. прим. к стр. 446. *...ономато-поэтически* — звукоподражательно. *«Старинный ландсфатер»* — известная студенческая песня. *Мюллер* Вильгельм (1794—1827) — немецкий поэт, автор популярных лирических песен. *Рюккерт* Фридрих (1788—1866) — немецкий поэт. *Метфесселъ* Альберт (1785—1865) — композитор, сочинял музыку для песен, в том числе и на слова Гейне. Гейне написал о нем статью. *Арндт* — см. прим. к стр. 386. *«Господь железо создал...»* — популярная патриотическая песня Арндта. Ее начальные широко известные строки Гейне пародирует в поэме «Германия» (см. гл. 23, стр. 472: *«Он создал лимоны...»*).

Стр. 555. *«Вина»* — пьеса Адольфа Мюллнера, так называемая «драма судьбы». Написана в 1813 г., пользовалась успехом на сцене. *Мекленбуржец* — житель Мекленбурга — местности на севере Германии между Балтийским морем и нижним течением Эльбы. *Шверин* — город в Мекленбурге. *...я увидел двух юношей...*— последующее описание пародирует стиль поэзии Оссиана (см. прим. к стр. 520).

Стр. 556. *«О дочь небес, как ты прекрасна!...»* — буквальный перевод из Оссиана.

Стр. 557. *«Зачем же ты будишь меня...»* — дословный перевод из Оссиана, заимствованный из «Вертера» Гете, где цитируется «Берратон» Оссиана. *«Фальцидия».*— По инициативе древнеримского трибуна Фальцидия в 40-х г. до н. э. был издан закон («Lex Falcidia»), регулирующий права наследования. *Ганс* — см. прим. к стр. 133. Работал в то время над главным своим произведением «Наследственное право

в его всемирно-историческом развитии». *Серв. Азинус Гешенус* — пародийная латинизация имени геттингенского юриста Гешена (1777—1837). Гейне дал ему сатирическое имя-характеристику: Серв.— servus (лат.) — раб, asinus (лат.) — осел. *Претор* — представитель высшей судейской власти в Древнем Риме.

Стр. 558. *Маркус Туллиус Эльверсус* — пародийная латинизация имени геттингенского ученого-юриста Эльверса (1797—1858), как и Гешен связанного с «Исторической школой» в науке права. Ср. Марк Туллий Цицерон. *«Всякий римский гражданин»* — начало второй главы закона Фальцидия.

Стр. 558. *...двенадцать таблиц...*— представляют собой древнейший памятник римского права (450 г. до н. э.). Законы, написанные на бронзе, были выставлены на Форуме в Риме.

Стр. 559. *...конгривскими взглядами...*— Конгрив Вильям — изобретатель зажигательных ракет (1804 г.), получивших его имя. *Гурии* — согласно мусульманским верованиям, прелестные девы рая. *Дворец принца Паллагонии* — вблизи Палермо, отличался необыкновенным безвкусием в архитектуре и бессмыслицей в обстановке, описан в «Итальянском путешествии» Гете. Видимо, это описание и имеет в виду Гейне. *Клаурен* — псевдоним Карла Готлиба Самуэля Гейна (1791—1854) — автора модных романов, приторно-сентиментальных, с довольно откровенным эротизмом.

Стр. 560. *Теофраст* Парацельс (1493—1541) — врач и философ, один из представителей немецкого Возрождения.

Стр. 563. *Наш император Генрих* — Генрих I Птицелов (919—936) — император Священной Римской империи.

Стр. 564. *Наш покойный родич, чья могила в Мельне.*— В Мельне, вблизи Любека, согласно преданию, похоронен Тиль Эйленшпигель — герой народных сказаний XVI в. *Один из наших известнейших поэтов...*— Теодор Хелль (Винклер) опубликовал в 1824 г. в «Вечерней газете» (Дрезден) стихотворение «Ильзенштейн и Вестерберг в Ильзентале». *Ниман* Людвиг Фердинанд — автор «Путеводителя по Гарцу» (1824).

Стр. 565. *...ища спасения, ухватился за... крест* — намек Гейне на крещение, которое он принял 28 июня 1825 г. Об этом подробнее говорится в одном из ранних фрагментов «Путешествия по Гарцу», опубликованных Э. Эльстером (второе издание). *Парки* — древнеримские неумолимые богини судьбы. Одна из них пряла жизненную нить человека, определяя срок его жизни. *Георг Сарториус* (1765—1828) — историк либерального направления, выступал против полицейского режима эпохи Реставрации. Гейне посвятил ему сонет.

Стр. 566. *...для последних вздохов гибнущих народов...*— Видимо, Гейне имеет в виду книгу Сарториуса «Опыт о формах правления остготов во времена их владычества в Италии» (1811).

Стр. 567. *...чернявого маклера... по которому плачет виселица...*— Имеется в виду Иозеф Фридлендер, узнавший себя в этих строках и попытавшийся в отместку за это избить поэта на улице Гамбурга. Дело дошло до полиции.

ИДЕИ. КНИГА LE GRAND
IDEEN. DAS BUCH LE GRAND

В 1827 году в Гамбурге вышел том II «Путевых картин». Центральное место в нем занимали «Идеи. Книга Le Grand», вызвавшие к себе среди читательской публики необычайный интерес. Гейне впервые почувствовал свою славу. Заглавие нового сочинения подчеркивало силу идей, управляющих временем. В то же время имя французского барабанщика указывало читателям путь претворения этих идей в жизнь: идеи хороши не сами по себе, а тогда, когда они положены на революционную музыку барабана.

На русском языке «Идеи» впервые были опубликованы в журнале «Библиотека для чтения» за 1859 год (перевод П. Вейнберга). Существуют также переводы М. Михайлова (1860), И. В. Майкова (1863), К. Л. Оленина (1903), В. Зоргенфрея (1920), Н. Касаткиной (1934).

Стр. 569. Эпиграф взят из драмы Мюльнера «Вина» (IV, 9) (см. прим. к стр. 555). *Madame.*— Через всю книгу проходит обращение автора к «madame». Значение этого приема хорошо подметил один из первых рецензентов «Идей»: «Посвящение этой книги женщине и постоянно протискивающееся через речь автора обращение «madame» придает еще более своеобразную окраску всему этому целому, где любовная история, история мира и народов, дела науки и дела общественные переплелись друг с другом столь причудливо, в таком неистощимом богатстве форм и оттенков» («Gesellschafter», 1827, № 82).

Стр. 570. *Ягор* — известный ресторан в Берлине.

Стр. 571. *Сократ* — греческий философ V в. до н. э. Боролся с теорией относительности нравственных понятий. Учение о добродетели Сократа основано на способности путем размышлений проникнуть в сущность добра. Полученное таким образом знание ведет к целенаправленному действию. Сократ применил это учение к себе, не отказавшись от него, когда был приговорен к смерти, и выпил чашу с ядом.

Стр. 572. *Via Burstah* — улица в Гамбурге. Гейне переиначивает ее название на итальянский лад. *Сусанна* — по библейской легенде, еврейка из Вавилона, которая была ложно обвинена в нарушении супружеской верности. *...похищение сабинянок...*— было совершено по приказу первого древнеримского короля Ромула, так как в молодом государстве не хватало женщин (рим. миф.). *Лукреция* — см. прим. к

стр. 268. *Бетман* (1760—1814) — известная актриса. *«Прекрасная фероньера»* — портрет возлюбленной французского короля Франциска I (1494—1547) в Лувре, приписывается кисти Леонардо да Винчи. *Унбешейден* — владелец погребка, где продавались устрицы.

Стр. 573. *San Giovanni.*— Имеется в виду улица в Гамбурге — Иоганнесштрассе.

Стр. 574. *Марафонская битва* (490 г. до н. э.) — происходила между древними греками и персами. *Моисей* — согласно Библии, основоположник еврейской религии — иудаизма. *Принц Гомбургский* — герой одноименной трагедии немецкого драматурга и новеллиста Генриха фон Клейста (1777—1811), покончившего самоубийством. *Эгмонт* — герой трагедии Гете «Эгмонт» (1787). *Эдвин* — герой трагедии «Эдвин» (1822) немецкого писателя Карла Иммермана (1796—1840). *Ахилл* — древнегреческий герой. Гейне цитирует 11 песнь «Одиссеи».

Стр. 575. *«Я предпочитаю быть живым псом...»* — изречение библейского царя Соломона («Екклезиаст», IX, 4). *...настанет день...*— Гейне пародирует известное место из «Илиады» (4 песнь): «Настанет день, и погибнет Троя».

Стр. 576. *Джагернаут* (Джаггарнат) — место в древней Индии, где находились святилища Кришны и других богов. *Вальмики* — поэт, которому приписывается сочинение древнеиндийского эпоса «Рамаяны», где описывается жизнь Рамы.

Стр. 576. *Калидаса* — индийский поэт V в., автор драмы «Сакунтала».

Стр. 577. *Франц Боп* (1791—1867) — выдающийся ученый, основоположник сравнительного языкознания. *«Наль»* — часть древнеиндийской поэмы *«Махабхарата»*, издана Боппом в 1819 г. *«Система спряжения санскритского языка* в сравнении с греческим, латинским, персидским и германскими языками» — труд Боппа (1816). Гейне слушал лекции Боппа в Берлине. *Брама* — индийское верховное божество. *...место у Аристофана...*— из его комедии «Птицы» (см. прим. к стр. 484). Здесь речь идет о воспроизведении пения соловья, которое время от времени вставляется в текст. *...в 1811 году.*— 1811 г. отличался обильным урожаем винограда. *Иоганнисберг* — знаменитый виноградник, принадлежавший австрийскому канцлеру Меттерниху — главе европейской реакции.

Стр. 578. *Геррес* Иозеф (1776—1848) — немецкий литератор, начав с восхваления французской революции 1789 г., стал затем пропагандистом реакционно-католических тенденций в политической жизни Германии. Гейне имеет в виду его политическую карьеру.

Стр. 580. *...семь городов... оспаривали друг у друга честь быть моей родиной...*— Намек на семь древних городов, притязавших на право считаться родным городом Гомера. *Кревинкель* — см. прим. к стр. 344.

Вильгельм — в действительности мальчика звали Фриц. См. стихотворение «Воспоминание» (стр. 267) и прим. к нему.

Стр. 581. *...в мраморе каррарских каменоломен...* — Итальянский город Каррара знаменит своими скульпторами и мрамором. *...скульптор, отливший статую...* — итальянец Гупелло.

Стр. 582. *...вдруг все изменилось...* — В 1806 г. Наполеон преобразовал бывшее герцогство Берг, столицей которого был Дюссельдорф, в Великое герцогство Берг. Новым правителем был назначен Иоахим Мюрат, зять Наполеона. *Отец* — бывший курфюрст Макс-Иозеф.

Стр. 583. *«Ça ira, ça ira!»* — припев популярной песни французской революции: «Дело пойдет на лад! Аристократов на фонарь». Слова Лярде, музыка Бекура. *Великий герцог Иоахим* — Мюрат, не отличавшийся знатным происхождением. Присяга ему состоялась 26 марта 1806 г., на следующий день после его въезда в Дюссельдорф. Великим герцогом он был утвержден только 19 июля 1806 г.

Стр. 585. *Нибур* Бартольд Георг (1776—1831) — немецкий историк, считается основателем историко-критического метода исследования источников. В своей «Римской истории» обратил внимание на то, что в описаниях Ливия содержатся элементы мифологических преданий о римских царях. *Магомет* (570—632) — мусульманский пророк, основатель ислама. В 622 г. бежал от преследования из Мекки в Медину (Хиджас). *Аман* — вельможа персидского царя Артаксеркса, задумал истребить евреев. Однако красавице Эсфири удалось добиться казни Амана и тем спасти своих единоверцев (Библия, Книга Есфирь, гл. 7). *Вадцек* Франц Даниэль Фридрих (1782—1823) — берлинский журналист и педагог — сухой педант, сопоставляется здесь с любвеобильной египетской царицей Клеопатрой.

Стр. 586. *Фукс* — студент-первокурсник.

Стр. 587. *Аделунг* Иоганн Христоф (1732—1806) — автор пятитомного словаря немецкого языка. *Шрамм* — преподаватель Дюссельдорфского лицея, автор «Маленького сочинения о мире во всем мире» (1815). *...страны... становились даже кроваво-красными...* — Намек на восстание против наполеоновского господства в Испании (1808 г.) и в Тироле (1809 г.). *...цикорий и свекловица...* — Их возделывание в новых местах было следствием «континентальной блокады», проводимой Наполеоном. *...немцы сделались более гибкими...* — Намек на «гимнастическое движение» папаши Яна (см. прим. к стр. 386). *...перестали говорить комплименты...* — Французские войска победителями стояли по всей Европе. *...швырять деньги...* — Англичане тратили большие суммы на шпионаж против Франции. *Венецианцы.* — В результате наполеоновских войн Венеция утратила свое былое значение.

Стр. 589. *Михель Мартенс.* — По-видимому, имеется в виду дипломат

Фридрих Мартенс. *«Праздничные дни миновали»* — цитата из оперы французского композитора Гретри «Говорящая картина».

Стр. 590. *Дессауский марш* — военный марш итальянского происхождения, получил известность в Германии по инициативе прусского полководца Леопольда фон Дессау.

Стр. 591. *Шмальц* Теодор Антон Генрих — юрист, профессор Берлинского университета. В одной из своих книг заподозрил в патриотическом движении студенчества угрозу государству. *Павзаний* — греческий писатель II в. н. э. В своем «Описании Греции» он рассказывает, как однажды крик осла выманил из засады войско молоссов, которые были разбиты поэтому своими врагами — амбраниотами. *Саллюстий* Гай Крипп (86—35 гг. до н. э.) — историк Древнего Рима, рассказывает об этом в сочинении «О заговоре Катилины», гл. 23. *Заальфельд* (1775—1834) — историк, автор книг о Наполеоне.

Стр. 592. *Симплон.*— Видимо, Гейне имеет в виду картину французского художника Давида, рисующую переход Наполеона через Сен-Бернар. *Это случилось в... аллее дворцового сада...*— Наполеон находился в Дюссельдорфе 2—5 ноября 1811 г.

Стр. 593. *Пруссии больше не стало бы.*— В сражениях под Иеной и Ауэрштедтом (1806 г.) Наполеон нанес жестокое поражение прусской армии. Пруссия лишилась половины своих провинций и была переведена на положение второстепенного государства. Не менее жестокая расправа постигла Австрию. Император австрийский должен был отказаться от традиционного титула императора Священной Римской империи (см. прим. к стр. 461).

Стр. 594. *Клио* — древнегреческая муза истории. *Сэр Гудсон Лоу* (1769—1844) — английский генерал, губернатор острова Св. Елены, куда был сослан Наполеон. *«Беллерофон»* — название английского корабля. На этот корабль, стоявший в порту Рошфор, после своего поражения в 1815 г. добровольно явился Наполеон, рассчитывая на гостеприимство. *Лас Казес* — маркиз, добровольно последовал за Наполеоном в ссылку, записал со слов Наполеона часть его мемуаров. *О'Мира и Антомарки* — врачи Наполеона на острове Св. Елены. Опубликовали о нем книги. *Лондондерри* Генри Роберт Стюарт (1769—1822) — маркиз, английский политический деятель, ярый противник Наполеона. Покончил жизнь самоубийством. *Людовик XVIII* — умер в 1824 г. *Заальфельд* (см. прим. к стр. 591) — кончил жизнь, сойдя с ума. Таким образом, пророчество Гейне сбылось с большей точностью, чем он ожидал.

Стр. 595. *Слова Главка* — из поэмы Гомера «Илиада», песнь 6, 146. *...слышалась теперь прусская речь...*— Большая часть Великого герцогства Берг в 1815 г. была отдана Пруссии. С 1821 г. Дюссельдорф стал резиденцией принца Фридриха Прусского.

Стр. 596. *Сатурн* — древнеримский бог времени.

Стр. 597. *...по ночам бродит дама...* — Согласно дюссельдорфскому сказанию, дух прекрасной Якобы — жены последнего герцога Бергского, внезапно умершей в 1597 г., в виде привидения бродит по дворцу. *...в старой народной песне...* — из сборника «Волшебный рог мальчика» (см. прим. к стр. 520).

Стр. 599. *Гете.* — Речь идет о «Фаусте», написанном на основании народного сказания. *Шекспир* — см. «Король Лир». *Брут* Марк Юний (85—42 гг. до н. э.) — покончил с собой в битве при Филиппах.

Стр. 600. *Леда* — мать Елены (см. прим. к стр. 43). *...слез Приама...* — Троянский царь Приам оплакивает смерть сына Гектора, убитого Ахиллом («Илиада», песнь 24).

Стр. 601. *Друг Г.* — Ганс, см. прим. к стр. 133. *Михаэль Беер* (1800—1833) — драматург, брат композитора Мейербера. *«Понсе де Леон»* — комедия К. Брентано (1804). *Шпитта* Филипп (1801—1859) — поэт, с которым Гейне был дружен в Геттингене. Позднее их пути разошлись.

Стр. 602. *Лукулл* Луций Луциний (106—56 гг. до н. э.) — римский полководец. Славился своим богатством, роскошью и пирами. *Каменная улица* — в Гамбурге, здесь находились многочисленные еврейские рестораны. *...многие берлинские ученые...* — Видимо, прежде всего Гейне имеет в виду историка Христиана Фридриха Рюса, ярого антисемита. *Тацит* (см. прим. к стр. 446) — в своих «Историях» (кн. 5, гл. 4) рассказывает, что в Иерусалимском храме иудеи поклонялись золотому ослу. *Валаамова ослица.* — Имеется в виду эпизод, когда ослица пророка Валаама заговорила, чтобы привлечь внимание своего хозяина, не замечавшего ангела (Библия, Четвертая Книга Моисеева, гл. 22).

Стр. 603. *Гесснер* Иоганн Маттиас (1691—1761) — профессор филологии в Геттингене. Названное произведение содержится в томе II «Трудов Королевского научного общества в Геттингене» (1753). *Иаков сравнивает...* — см. Библия, Первая Книга Моисея, гл. 49, 14. *Гомер* — см. «Илиада», песнь 11. *Абелярдус...* и т. д. — В этой главе Гейне широко использует старинное забытое сочинение И.-А. Бернгарди «Краткие истории, касающиеся ученых, где трактованы их происхождение, воспитание, нравы, судьбы, сочинения и пр.» (1718). Эта книга полна вздорной учености, и Гейне, забавляясь причудливыми латинизированными именами и ссылками, многое заимствовал из нее, как показал немецкий исследователь Эрих Левенталь. *Мабильон* Жан (1632—1707) — французский ученый. Сочинение, о котором говорит Гейне, появилось в 1675 — 1685 гг. *Рафаэль Торус.* — Его «Гимн табаку» (1626) пользовался в свое время известностью. *Эльзевириус* — фамилия известных нидерландских книгоиздателей XVII в. *Киншот* — фамилия голландских дворян. В XVI—XVII вв. приобрели известность как писатели и ученые. *Гревиус* (1632—1702) — филолог и историк. *Боксхорниус* (1612—1653) —

голландский писатель. *Бейль* Пьер (1647—1706) — французский философ. Его главный труд — «Исторический и критический словарь» вышел в 1695—1697 гг. *Йог. Георг Мартинс* (1676—1726) — ученый-пастор. Трактат его вышел в 1706 г. *Лот* — единственный, кому удалось спастись бегством из города Содома, уничтоженного богом (Библия, Первая Книга Моисеева, гл. 19).

Стр. 604. *Тарквиний Гордый* — последний римский царь, был изгнан народом в 510 г. до н. э. *Моисей* — бежал вместе с еврейским народом из Египта (XIII в. до н. э.). *Госпожа де Сталь* (1766—1817) — французская писательница, в сентябре 1792 г. бежала от террора в Швейцарию. *Навуходоносор* (см. прим. к стр. 515) — был изгнан из общества по причине безумия.

Стр. 604. *Беньовский* Мориц Август — граф и авантюрист, бежал в 1771 г. из ссылки в Сибири. *...вся прусская армия...* — бежала в битвах при Иене и Ауэрштедте (см. прим. к стр. 593). *Григорий VII* — римский папа (см. прим. к стр. 191). *Абарбанель* — ученый, бежал из Испании, когда в 1492 г. евреев изгоняли из этой страны. *Руссо* Жан-Жак (1717—1778) — французский писатель, скрылся от преследований после того, как его книга «Эмиль» была объявлена безбожной. *Фидий* (V в. до н. э.) — древнегреческий скульптор, прославленная статуя Зевса *(Юпитера)* не сохранилась. *...я должен... высказаться...* — Гейне высмеивает общепринятый порядок изложения и систематичность и пародирует при классификации идей «Сентиментальное путешествие» английского писателя Стерна. *Геерен* Арнольд Герман Людвиг (1760—1842).— Имеется в виду его книга «Идеи, относящиеся к политической жизни, обмену и торговле важнейших народов древнего мира».

Стр. 605. *Марсово поле.*— После победоносной войны римские полководцы, по обычаю, проезжали в триумфальном марше от Марсова поля к Капитолию, древней крепости над рекой Тибром. *Кватерна* — обозначение числа при игре в лото.

Стр. 606. *Гете.*— Гейне имеет в виду нападки ортодоксальных богословов на Гете. *Губиц* Фридрих Вильгельм (1768—1870) — издатель журнала «Gesellschafter», в котором печатался Гейне. *Горациево...*— В своей «Поэтике» Гораций (см. прим. к стр. 273) советует начинающим авторам не спешить выступать перед публикой со своими произведениями. *Меценат* Гай Цильний (I в. до н. э.) — древнеримский политический деятель. Оказывал материальную поддержку кружку поэтов. Имя Мецената стало нарицательным для покровителя наук и искусств.

Стр. 607. *Панглос.*— Герой повести Вольтера «Кандид, или Оптимизм» постоянно повторяет слова: «Все к лучшему в этом лучшем из миров». *Марр* — владелец ресторана в Гамбурге, сочинял пьесы.

Стр. 608. *Шупп* Бальтазар (1610—1661) — автор *«Поучительных сочинений»,* в которых дает сатирические сценки середины XVII в. *...как*

башня, обращенная к Дамаску...— Сравнение взято из Библии (Песнь Песней, гл. 7).

Стр. 609. *Дюстернштрассе* — улица в Гамбурге.

Стр. 610. *Величайший обскурант всей страны... господин фон Бельц.*— «Белый» — другое обозначение для чернявого маклера Иозефа Фридлендера (см. «Путешествие по Гарцу», стр. 567).

Стр. 611. *«На Рейне, на Рейне...»* — песня Клаудиуса (см. прим. к стр. 548). *«Тот образ...»* — из оперы Моцарта «Волшебная флейта». *«О белая дама»* — ария из оперы Буальдье «Белая дама» (1825). *Агасфер* — см. прим. к стр. 287. Гейне точно следует здесь описанию в Библии (Книга Есфирь, гл. I). *Гекатомба* — жертвоприношение — заклание ста быков. *Филосел.*— Возможно, имеется в виду Шеллинг (см. прим. к стр. 196). *Жалкий творец...*— Фридрих Юхтритц (1800—1875). Его трагедия «Александр и Дарий» была поставлена в Берлине (1826). Под *«умелой кухаркой»* имеется в виду Л. Тик — написал к трагедии хвалебное предисловие.

Стр. 612. *Клаурен* — см. прим. к стр. 559. Среди его рассказов особенно популярен был «Мимили». Под *«ежегодными карманными сборничками непристойностей»* Гейне подразумевает многотомное собрание его рассказов, выходившее с 1820 г. *Салат из Вилибальда Алексиса* — каламбур. Настоящая фамилия этого немецкого писателя Häring (селедка), отсюда — селедочный салат. *5588 лет...*— по библейскому (еврейскому) летоисчислению с момента сотворения мира (в 1827 г.).

Стр. 613. *Фуше* Жозеф (1759—1820) — министр полиции при Наполеоне. Его *«Мемуары»* (1824) были написаны историком де Бошамом. Приписываемое ему изречение встречается у Талейрана, Вольтера, Плутарха и других авторов.

Стр. 614. *«Тяжел камень...»* («Екклезиаст», гл. 27, 3).

Стр. 616. *«Подлинно, я невежда...»* («Екклезиаст», гл. 30, 1—2). *Геродот* и *Ливий* — историки древнего мира. *«Собеседник»* («Gesellschafter») — см. прим. к стр. 606.

Стр. 618. *Томас Пейн* (1737—1809) — политический деятель, участник борьбы за независимость США, член Конвента, автор сочинения «Права человека». *«Система природы»* (1770) — сочинение Гольбаха, французского материалиста XVIII в. *«Вестфальский вестник»* («Rheinisch-westfälischer Anzeiger») — издание, в котором Гейне начиная с 1819 г. поместил несколько своих статей. *Шлейермахер* (1766—1834) — немецкий философ, автор «Речей о религии» (1799), в первый период своей деятельности тяготел к атеизму.

Стр. 619. *Статуя Лаокоона.*— Троянский жрец Лаокоон вместе с двумя своими сыновьями был задушен змеями за попытку спасти Трою вопреки воле богов. Этот сюжет изображает знаменитая мраморная группа, исполненная скульпторами Родоса (I в. до н. э.).

Стр. 621. *Манека.*— В индийской мифологии прекрасная Манека была послана на землю, чтобы ввести в искушение царя *Висвамитру* во время его покаяния.

Стр. 622. *Шварц* — см. прим. к стр. 488.

ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ
REISE VON MÜNCHEN NACH GENUA

Третья часть «Путевых картин» вышла из печати в декабре 1829 года. На русском языке впервые опубликована в «Современнике» (1859), перевод М. Михайлова. Имеются также переводы П. Вейнберга (1898) и В. Зоргенфрея (1922).

Стр. 623. Эпиграф взят из «Западно-восточного дивана» Гете. *«Сила обстоятельств»* — драма Людвига Роберта (1819), друга Гейне.

Стр. 624. *...потери... кокарды...*— см. прим. к стр. 478. *Шарлоттенбург* — аристократическая часть Берлина.

Стр. 625. *...какого-либо лжепоэта...*— Имеется в виду немецкий поэт граф Август фон Платен (1796—1835). В его «Романтическом Эдипе» Сфинкс обращался с речью к публике с недоброжелательными замечаниями о Берлине (обращение в греческой комедии хора к зрителям без непосредственной связи с действием называлось *парабаза). Кревинкель* — см. прим. к стр. 344. *Лютер и Вегенер* — артистическое кафе в Берлине. *Великий Фриц* — Фридрих II (см. прим. к стр. 480), его резиденцией был дворец *Сан-Суси в Потсдаме. Город Разума* — Берлин, центр немецкого Просвещения. *Вердерская церковь* — построена в 1824—1830 гг.

Стр. 627. *Кленце* Лео, фон (1784—1864) — крупный зодчий, своими творениями определивший архитектурный облик Мюнхена.

Стр. 628. *Аспазия* — возлюбленная, затем жена Перикла (V в. до н. э.), политического деятеля Древней Греции, славилась умом и красотой. В ее доме собирались многие выдающиеся люди древности.

Стр. 629. *Совы* — так Гейне называл реакционных ученых (см. прим. к стр. 373). Сова считалась символом Афины, греческой богини мудрости — покровительницы города. *Сикофант* (греч.) — профессиональный доносчик. *Фрина* — гетера, возлюбленная греческого скульптора Праксителя, служила моделью для его статуй. *...наш поэт...*— Платен. *«Лев»* — Кленце (см. прим. к стр. 627). *Великий оратор* — Игнац Рудгарт, обратил на себя внимание, выступая в баварском ландтаге в 1823 г. по поводу акциза на солод. *...Вот и он сам.*— Имеется в виду Массман (см. прим. к стр. 268).

Стр. 630. *Шлем Мамбрина.*— Дон-Кихот принял таз цирюльника за шлем рыцаря Мамбрина (ч. I., гл. 21 и 44). *Газель* — см. прим. к стр. 285. *Арминий* — см. прим. к стр. 446.

Стр. 631. *Туснельда* — жена Арминия. *Тирш* Фридрих Вильгельм (1784—1860) — мюнхенский профессор-филолог, отличался свободомыслием. Его «Греческая грамматика» (1812) вышла третьим изданием в 1826 г. *Вар* — см. прим. к стр. 446. *Лихтенштейн* — см. прим. к стр. 552.

Стр. 632. *Алкивиад* (451—404 гг. до н. э.) — афинский политический деятель, действовал против Спарты. Возглавив экспедицию против Сицилии, перешел на сторону Спарты, затем бежал в Персию и т. д. *Пританей* — место заседания государственного совета древних Афин.

Стр. 635. *«Тирольская трагедия»* (1827) Карла Иммермана — о восстании 1809 г. *Мозер* Мозес — близкий друг Гейне, отличался ученостью.

Стр. 636. *Андреас Гофер* (1767—1810) — вождь Тирольского восстания в 1809 г., хозяин трактира «На песке», расстрелян в Мантуе. *Велизарий* — византийский полководец VI в. *Прокопий* из Цезареи — византийский историк, сопровождал Велизария в походах и описал их. *Шенк* Эдуард, фон (1788—1841) — баварский министр и автор трагедии «Велизарий» (1829).

Стр. 637. *Юм* Давид (1711—1776) — английский историк, экономист и философ. *Сарториус* — см. прим. к стр. 565; подготовил второе и третье издания книги Шпиттлера «Набросок истории европейских государств» (первое издание — 1793 г.). *Барон Гормайр* Иозеф (1781—1848) — историк, автор «Истории Андреаса Гофера» (1811). *Гесслер* — австрийский фогт, угнетатель швейцарцев, изображен Шиллером в «Вильгельме Телле».

Стр. 638. *...предания об императоре.*— В 1493 г. император Максимилиан I был, по преданию, спасен ангелом, когда он на охоте упал и докатился до края пропасти.

Стр. 639. *«Гесперус»* — «Гесперус. Энциклопедический журнал для образованных читателей», выходил с 1822 г. в издательстве Котта.

Стр. 640. *...дворянина из шекспировской пьесы...*— Имеется в виду сэр Тоби Белч из комедии «Двенадцатая ночь». *Иоганнес фон Мюллер* (1752—1825) — автор трудов по истории Швейцарии.

Стр. 641. *Бартольди* Якоб Соломон (1779—1825) — прусский дипломат, названное сочинение вышло в свет в 1814 г.

Стр. 642. *Лейпцигская битва* — так называемая «битва народов» (1813 г.), когда армия Наполеона была разбита войсками союзников (Россия, Австрия, Пруссия и Швеция). *Саллюстий* — см. прим. к стр. 591. *Женский союз* — патриотическая организация в период 1809—1815 гг. *...при Левктрах...*— Битва состоялась в 371 г. до н. э. Гейне пересказывает эпизод из Плутарха («Жизнеописание Ликурга», гл. 30). *...старик умер.*— Ректор Дюссельдорфского лицея Шалльмайер скончался в 1817 г.

Стр. 643. *В западной части города* — то есть в богатых кварталах.

Стр. 644. *...император, который носит белый мундир и красные штаны...* — австрийский. *...теперь... получат государя в синем мундире и белых штанах* — то есть баварского короля. По Пресбургскому миру 1805 г. Тироль отошел к Баварии.

Стр. 645. *«Было двое детей...»* — из сборника «Волшебный рог мальчика».

Стр. 646. *«Красотка Эльзи»* — персонаж «Тирольской трагедии». *Парки* — см. прим. к стр. 565.

Стр. 652. *Феб* — здесь: солнце.

Стр. 653. *...во времена Собора...* — Соборы — католические съезды, созывавшиеся для борьбы с Реформацией. *Ниобея* — см. прим. к стр. 128.

Стр. 656. *Рельштаб* Людвиг (1799—1860) — музыкальный критик, противник итальянской музыки и прежде всего Россини. *Ромул-Августул II* — последний император (западной) Римской империи, свергнутый в 476 г. *...порабощенной Италии...* — По Венскому конгрессу Италия оставалась территориально раздробленной и порабощенной другими странами (прежде всего Австрией). *Гармодий и Аристогитон* — убили в 514 г. до н. э. афинского тирана Гиппарха и тем самым свергли тиранию.

Стр. 656—657. *Арлекины, Тарталья, Бригелла, Панталоне, доктор из Болоньи, Коломбина* — постоянные персонажи итальянской «комедии масок».

Стр. 657. *Роза Сарона* — см. Песнь Песней (гл. 2).

Стр. 659. *Гелиос* — бог солнца, который ежедневно проезжает на своей колеснице по небу (греч. миф.). *Белль-ланкастерская метода* — педагогическая система обучения, при которой старшие ученики наставляют (под руководством учителя) младших.

Стр. 660. *«Институции»* и *«Пандекты»* — основные части кодекса Юстиниана (см. прим. к стр. 373).

Стр. 661. *Медея* — супруга Ясона, убила своих детей, когда Ясон ее оставил (греч. миф.). *Мельпомена* — муза трагедии (греч. миф.)

Стр. 662. *Теодорих-Дитрих Бернский* — король остготов, с 493 г. владыка Италии с резиденцией в Вероне (нем.— Берн). *Король Альбоин* — во главе лангобардов в 568—572 гг. завоевал Северную Италию. *Карл Великий* подчинил себе в 774 г. государство лангобардов. *Варвары.*— Имеются в виду австрийцы.

Стр. 664. *Подеста* — глава города, здесь — его дворец. *Людовико* (Лодовико) *Ариосто* (1474—1533) — итальянский поэт. *Капулетти* — семейство, к которому принадлежала Джульетта (см. «Ромео и Джульетта» Шекспира). *Скалигеры* — дворянский род, правивший в Вероне в XIII—XIV вв.

Стр. 665. *...фальстафовские размышления...* — В «Генрихе IV» Шекспира Фальстаф, прикидываясь мертвым, думает, что Перси, труп ко-

торого находится рядом, тоже хитрит и на самом деле жив. *Труффальдино, Смеральдина* — персонажи итальянской «комедии масок». *Геркуланум и Помпея* — города, засыпанные извержением Везувия в 79 г. *Палимпсест* — см. сноску на стр. 550.

Стр. 666. *Гракхи* — братья Гракхи Тиберий Семпроний и Кай (II в. до н. э.) — римские трибуны, защищали интересы крестьян против аристократии. *Агриппина* Младшая (16—59 гг.) — дочь Германика, жена императора Клавдия, мать *Нерона* (см. прим. к стр. 447), известная своими злодеяниями. Отравила Клавдия, проложив путь к престолу Нерону, который, в свою очередь, подослал к ней убийцу.

Стр. 667. *Кангранде* — оказывал покровительство Данте, когда последний был изгнан в 1302 г. из Флоренции и укрылся в Вероне. *...Антонио делла Скала убил своего брата...* — Запятнавший себя братоубийством Антонио был последним из династии Скалигеров.

Стр. 668. *«Ты знаешь край?..»* — известные слова из песни Миньоны, выражающие томление по Италии (Гете, «Годы учения Вильгельма Мейстера»). *Эккерман* — см. прим. к стр. 166. Гейне пересказывает почти буквально место из его книги «Beiträge zur Poesie mit besonderer Hinweisung auf Goethe» (1823).

Стр. 669. *...выписал ему из Иены докторскую шляпу...* — Иенский университет предоставил Гете в 1825 г. право присвоить звание доктора двум молодым людям. Среди них был и Эккерман. *Морган* Сидней.— Ее книга вышла в 1821 г. *В. Мюллер* — см. прим. к стр. 554. Поместил в ежегоднике *«Гермес»* обзор литературы об Италии. *Мориц* Карл Филипп (1757—1793) — немецкий писатель, автор «Путешествия немца в Италию» (1792—1793). *Архенгольц* Иоганн Вильгельм (1741—1812) — историк, его труд — «Англия и Италия» (1787). *Бартельс* — автор «Писем о Колабрии и Сицилии» (1787—1792). *Зейме* Иоганн Готфрид — немецкий писатель-демократ, автор «Прогулки в Сиракузы» (1803). *Арндт* — см. прим. к стр. 386; написал в 1801 г. книгу об Италии. *Мейер* — автор «Картин из Италии» (1792). *Бенковитц* — автор «Путешествия из Глогау в Сорренто...» (1803—1805). *Рефуес* — опубликовал несколько книг об Италии. *Кефалидес* — автор «Путешествия в Италию и в Сицилию» (1818). *Лессман* — названная книга появилась в 1822 г.

Стр. 670. *Нарцисс* — юноша, влюбившийся в собственное отражение, увиденное им в воде источника (греч. миф.).

Стр. 672. *...о католической эмансипации...* — В 1829 г. впервые с конца XVII в. ирландские и английские католики получили право заниматься торговлей и ремеслом. *...о турецкой войне...* — Имеется в виду война России с Турцией (1827—1829).

Стр. 673. *Брера* — дворец с картинной галереей в Милане. *Амброзиана* — миланская библиотека. *Ян Стен* (1636—1689) — голландский художник. *Лунгарно* — набережная реки Арно во Флоренции. *Собор.*—

Строительство Миланского собора началось в 1386 г. При Наполеоне (1805 г.) строительные работы были возобновлены.

Стр. 674. *Триумфальная арка* — была начата также при Наполеоне (1804 г.). *...с другим титаном...* — Имеется в виду Прометей.

Стр. 675. *Маренго.* — В 1800 г. здесь Наполеон одержал важную победу над австрийцами.

Стр. 678. *Дибич* Иван Иванович (1785—1831) — русский фельдмаршал, в войну 1827—1829 гг. действовал на Балканах. *Император Николай* — приобрел в это время популярность в Европе, добившись от Турции предоставления независимости Греции. После разгрома польского восстания (1831 г.) иллюзии в европейском обществе относительно русского царя рассеялись.

Стр. 679. *Великий муфтий* — глава мусульманского духовенства. *Великая Хартия* вольности (1215) — закон, оградивший права английского дворянства от посягательств короля.

Стр. 683. *...вспомнил о Фридрихе Шиллере...* — Гейне имеет в виду Андреа и Джанеттино Дориа («Заговор Фиеско в Генуе»).

Стр. 684. *Корнелиус* — см. прим. к стр. 448. *...их общей родины...* — Рубенс провел юность в Кельне, Корнелиус родом из Дюссельдорфа.

Стр. 685. *Семья Караччи* — итальянские художники XVI в.

Стр. 686. *Джорджоне* — умер не в 1511, а в 1510 г.

ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ
FLORENTINISCHE NÄCHTE

Новелла «Флорентийские ночи» опубликована впервые в штутгартской газете «Morgenblatt für gebildete Stände» в 1836 году. В том же 1836 году эта новелла была переведена на русский язык и помещена в журнале «Московский наблюдатель». Русский читатель смог впервые целиком познакомиться с одним из прозаических произведений Гейне. Кроме первой публикации, новелла Гейне существует в переводах Ф. Берга (1863), П. Вейнберга (1864), О. Н. Хмелевой (1893), Е. Рудневой (1913).

Стр. 695. *Тортони* — известное кафе в Париже.

Стр. 697. *Франциск Первый* (1494—1547) — французский король, вел войну с Карлом V (см. прим. к стр. 461) за обладание Италией. В сражении при *Павии* (1525 г.) потерпел поражение и был взят в плен.

Стр. 698. *Беллини* Винченцо (1801—1835) — итальянский оперный композитор. Его преждевременная смерть вызвала многочисленные литературные отклики. *Россини* — см. прим. к стр. 515. Начиная с 1830 г. до конца своей жизни (1868 г.) почти ничего не создал.

Стр. 700. *...замок... принца из Пеллагонии* — см. прим. к стр. 559.

Стр. 703. *Лизер* Иоганн Петер — немецкий художник и музыкант, автор портрета Гейне и иллюстраций к «Флорентийским ночам».

Стр. 704. *Ретцш* — см. прим. к стр. 546. *Георг Гаррис* — см. прим. к стр. 437. Его книга «Паганини в дорожной карете и дома, в часы досуга, в обществе и на концертах» (1830) помогла Гейне в воссоздании образа великого скрипача.

Стр. 705. *Прозерпина* — см. прим. к стр. 408.

Стр. 714. *Олд-Бейли* — улица и тюрьма в Лондоне, здесь до 1868 г. совершались казни. *Педди* — прозвище ирландцев в Англии.

Стр. 716. *Веллингтон* Артур Уэлсли (1769—1852) — английский полководец и государственный деятель. Командовал английскими войсками в битве при Ватерлоо (1815 г.).

Стр. 719. *Вестрис Август* (1759—1842) — итальянский танцовщик.

Стр. 720. *Анна Болейн* (1503—1536) — вторая жена Генриха VIII, была обвинена в нарушении супружеской верности и казнена.

Стр. 722. *«Нельская башня»* — драма Александра Дюма-отца.

Стр. 724. *Вицлипуцли* — см. прим. к стр. 234. *«Се человек!»* — восклицание Пилата (Евангелие от Иоанна). *Люксембург.*— Имеется в виду Люксембургский дворец в Париже.

Стр. 726. *Виллисы* — танцовщицы-призраки, невесты, умершие до свадьбы (см. «Духи стихий»). Рассказ Гейне о виллисах лег в основу либретто Готье к балету «Жизель». *Балланш* Пьер-Симон (1776—1847) — французский философ мистического направления.

Стр. 729. *Казимир Перье* (1777—1832) — французский банкир и политический деятель.

Стр. 732. *Moniteur* — официальная французская газета наполеоновских времен. *Тальма* Франсуа-Жозеф (1763—1826) — знаменитый трагический актер. *Гро* Жан-Антуан (1771—1835) — французский художник, один из создателей культа Наполеона в живописи. *Мори* Жан-Сифрен (1746—1817) — кардинал, французский политический деятель, при Наполеоне архиепископ Парижа. *Ровиго* — Анн-Жак-Мари Рене Совари герцог де Ровиго (1774—1833) — адъютант Наполеона, начальник тайной полиции. *Полина Боргезе* (1780—1825) — сестра Наполеона.

Г. Эрлер, А. Подольский

На суперобложке воспроизводятся картины Каспара Фридриха «Вид Гарца» (1819) и Эжена Делакруа «Свобода на баррикадах» (1830).

СОДЕРЖАНИЕ

Ганс Кауфман. Генрих Гейне 5

СТИХОТВОРЕНИЯ

КНИГА ПЕСЕН

Предисловие к третьему изданию. *Перевод А. Блока* 23

ЮНОШЕСКИЕ СТРАДАНИЯ

Сновидения

«Мне снились страстные восторги и страданья...» *Перевод М. Михайлова* 26
«Зловещий грезился мне сон...» *Перевод М. Михайлова* . . 26
«Себе я сам предстал в виденье сонном...» *Перевод В. Левика* 29
«Мне снился франтик — вылощен, наряден...» *Перевод В. Левика* 29
«Что разъярило кровь во мне...» *Перевод Л. Гинзбурга* . . 30
«Я выплатил выкуп, чего же ты ждешь...» *Перевод В. Зоргенфрея* 31
«Бежал я от жестокой прочь...» *Перевод В. Левика* . . 34
«Я спал, забыв печаль во сне...» *Перевод Н. Зиминой* . . 39
«Вот вызвал я силою слова...» *Перевод В. Зоргенфрея* 39

Песни

«Утром я встаю, гадаю...» *Перевод В. Коломийцева* . . 40
«Покоя нет и нигде не найти...» *Перевод В. Зоргенфрея* 41
«Бродил я под тенью деревьев...» *Перевод Л. Мея* 41
«Положи мне руку на сердце, друг...» *Перевод Е. Книпович* 42
«Колыбель моей печали...» *Перевод В. Коломийцева* . . . 42
«Подожди, моряк суровый...» *Перевод Л. Мея* 43
«Горы, замки в Рейн искристый...» *Перевод В. Звягинцевой* 43
«Поначалу мне казался...» *Перевод А. Энгельке* 44

Романсы

Бедный Петер. *Перевод В. Левика* . 44
Песня колодника. *Перевод П. Быкова* 46
Гренадеры. *Перевод М. Михайлова* . 46

Гонец. *Перевод С. Маршака* 47
Дон Рамиро. *Перевод Р. Минкус* 48
Валтасар. *Перевод М. Михайлова* 52
Миннезингеры. *Перевод В. Микушевича* 54
Раненый рыцарь. *Перевод В. Зоргенфрея* 54
Плавание. *Перевод М. Мушниковой* 55
Песенка о раскаянье. *Перевод В. Рождественского* . 55
Песня о дукатах. *Перевод Л. Гинзбурга* 57
Разговор в Падерборнской степи. *Перевод В. Левика* 58
Напутствие. *Перевод В. Зоргенфрея* . . 59
Поистине. *Перевод В. Зоргенфрея* . . . 60

Сонеты

Моей матери, Б. Гейне
«И смел, и прям, и горд я неизменно...» *Перевод Р. Минкус* 60
«В плену мечты, готов был мир попрать я...» *Перевод В. Зоргенфрея* 61
Фресковые сонеты Христиану З.
«Разубранному в золото чурбану...» *Перевод В. Левика* . . 61
«Личину мне! Отныне я плебей...» *Перевод В. Левика* . . . 62
«Да, я смеюсь! Мне пошлый фат смешон...» *Перевод В. Левика* 62
«Страшны, о друг мой, дьявольские рожи...» *Перевод В. Зоргенфрея* 63

ЛИРИЧЕСКОЕ ИНТЕРМЕЦЦО

Пролог. *Перевод В. Зоргенфрея* 64
«В чудеснейшем месяце мае...» *Перевод П. Вейнберга* 65
«Из слез моих много родится...» *Перевод А. Фета* . . . 65
«Гляжу в глаза твои, мой друг...» *Перевод В. Левика* . . . 66
«Щекой прильнуть к твоей щеке...» *Перевод В. Микушевича* 66
«Недвижны в небе звезды...» *Перевод В. Левика* . . 66
«На крыльях песни, подруга...» *Перевод В. Левика* . . 67
«Пугливой лилии страшен...» *Перевод В. Левика* 67
«Поднявшись над зеркалом Рейна...» *Перевод В. Левика* . 68
«Молва пуста, молва слепа...» *Перевод Р. Минкус* . . 68
«Ангел мой, я жду ответа...» *Перевод В. Левика* 69
«Как из пены волн рожденная...» *Перевод М. Михайлова* 69
«Я не ропщу, пусть сердце и в огне...» *Перевод А. Фета* . . 69
«Да, ты несчастна, и мой гнев угас...» *Перевод А. Фета* . . 70
«Забыла ты навсегда, без возврата...» *Перевод Ю. Очиченко* 70
«Отчего весенние розы бледны...» *Перевод В. Левика* . . . 70
«Немало они болтали...» *Перевод В. Звягинцевой* 71
«Когда-то друг друга любили мы страстно...» *Перевод М. Михайлова* 71
«Покуда я медлил, вздыхал и мечтал...» *Перевод В. Левика* 72
«И розы на щечках у милой моей...» *Перевод М. Михайлова* 72
«Когда в гробу, любовь моя...» *Перевод В. Зоргенфрея* . . 72
«На севере диком стоит одиноко...» *Перевод М. Лермонтова* 73
«Надев сюртучки побогаче...» *Перевод Ал. Дейча* 73
«Как призрак забытый, из гроба...» *Перевод В. Левика* . . 74
«Красавицу юноша любит...» *Перевод А. Плещеева* 75
«Приснилась мне королевская дочь...» *Перевод Р. Минкус* 75
«Обнявшись дружно, сидели...» *Перевод А. К. Толстого* . . 75

«Из старых сказок машет...» *Перевод Э. Линецкой* 76
«Они меня истерзали...» *Перевод Ап. Григорьева* 77
«Двое перед разлукой...» *Перевод С. Маршака* 77
«За столиком чайным в гостиной...» *Перевод С. Маршака* 77
«Отравой полны мои песни...» *Перевод Л. Мея* . . 78
«Я тихо еду лесом...» *Перевод В. Коломийцева* . 78
«Во сне я горько плакал...» *Перевод Р. Минкус* . 79
«Сырая ночь беззвездна...» *Перевод В. Левика* . 79
«Зарыт на перекрестке...» *Перевод Р. Минкус* . . 80
«Взгляд был окутан мраком...» *Перевод Р. Минкус* 80
«Дурные, злые песни...» *Перевод В. Левика* . 82

ОПЯТЬ НА РОДИНЕ

«В этой жизни слишком темной...» *Перевод А. Блока* 83
«Не знаю, что стало со мною...» *Перевод В. Левика* 83
«Печаль, печаль в моем сердце...» *Перевод В. Левика* 84
«По лесу брожу я и плачу...» *Перевод Л. Мея* . . 85
«Беззвездно черное небо...» *Перевод В. Левика* . . 85
«Когда мне семью моей милой...» *Перевод В. Левика* 86
«Мы возле рыбацкой лачуги...» *Перевод В. Левика* 87
«Красавица-рабачка...» *Перевод А. Блока* 88
«Сердитый ветер надел штаны...» *Перевод В. Левика* 88
«Вечер пришел безмолвный...» *Перевод А. Блока* . 89
«Когда выхожу я утром...» *Перевод С. Маршака* . . 90
«Сверкало зыбью золотой...» *Перевод В. Левика* . . . 90
«На той на горе на высокой...» *Перевод Ю. Тынянова* 91
«На пасмурном горизонте...» *Перевод В. Левика* . . . 91
«Большой таинственный город...» *Перевод Р. Минкус* . 92
«Я снова дорогою старой иду...» *Перевод В. Левика* . 92
«Город уснул, я брожу одиноко...» *Перевод В. Левика* 93
«Как можешь ты спать спокойно...» *Перевод В. Левика* 93
«Забылась девушка дремой...» *Перевод В. Левика* . . 94
«Я Атлас злополучный...» *Перевод А. Блока* 94
«Сменяются поколенья...» *Перевод В. Левика* 95
«Что нужно слезе одинокой?..» *Перевод В. Левика* 95
«Сквозь тучи холодный месяц...» *Перевод В. Звягинцевой* 95
«Дождь, ветер — ну что за погода!..» *Перевод В. Левика* . . 96
«Они любили друг друга...» *Перевод В. Левика* 97
«Пока изливал я вам скорбь и печали...» *Перевод В. Левика* 97
«Я черта позвал, он явился в мой дом...» *Перевод В. Левика* 97
«Не подтрунивай над чертом...» *Перевод С. Маршака* 98
«Дитя, мы были дети...» *Перевод В. Гиппиуса* . . . 98
«На сердце гнет...» *Перевод Р. Минкус* 99
«Как из тучи светит месяц...» *Перевод В. Левика* 100
«Вчера мне любимая снилась...» *Перевод В. Левика* . . . 100
«Довольно! Пора мне забыть этот вздор...» *Перевод А. К. Толстого* 101
«Сердце, сердце, сбрось оковы...» *Перевод В. Левика* . . . 102
«Милый друг мой, ты влюблен...» *Перевод З. Морозкиной* 102
«Хотелось, чтоб вместе мы были...» *Перевод П. Карпа* . . 102
«Фрагментарность вселенной мне что-то не нравится...» *Перевод Т. Сильман* 103
«У вас вечеринка сегодня...» *Перевод Ал. Дейча* . 103
«Хотел бы в единое слово...» *Перевод Л. Мея* . 104

«У тебя есть алмазы и жемчуг...» *Перевод Н. Добролюбова* 104
«Кто впервые в жизни любит...» *Перевод В. Левика* . 104
«Приснилось мне, что я господь...» *Перевод Ал. Дейча* 105
«Из мрака дома выступают...» *Перевод В. Левика* . 106
«И если ты станешь моей женой...» *Перевод В. Левика* 107
«К твоей груди белоснежной...» *Перевод В. Левика* . 107
«Трубят голубые гусары...» *Перевод В. Левика* . . 108
«Я и сам в былые годы...» *Перевод Л. Мея* 108
«Понимал я вас превратно...» *Перевод П. Карпа* . . . 108
«Кричат, негодуя, кастраты...» *Перевод С. Маршака* . . 109
«На бульварах Саламанки...» *Перевод В. Левика* . . . 109
«Вот сосед мой, дон Энрикес...» *Перевод В. Левика* 110
«Смерть — это ночь, прохладный сон...» *Перевод В. Левика* 110
Донна Клара. *Перевод В. Левика* 110

СЕВЕРНОЕ МОРЕ

Цикл первый

Коронование. *Перевод В. Левика* . . 114
Сумерки. *Перевод М. Михайлова* . . 115
Закат солнца. *Перевод М. Михайлова* . 116
Ночь на берегу. *Перевод М. Михайлова* 117
Буря. *Перевод В. Левика* 120
Морская тишь. *Перевод М. Михайлова* 121
Очищение. *Перевод П. Вейнберга* 121
Мир. *Перевод П. Карпа* . 122

Цикл второй

Слава морю. *Перевод В. Левика* . . . 124
Кораблекрушение. *Перевод Ф. Тютчева* 125
Песнь океанид. *Перевод М. Михайлова* 127
Боги Греции. *Перевод М. Михайлова* 129
Вопросы. *Перевод Ю. Очиченко* . 132
В гавани. *Перевод П. Карпа* . . 133
Эпилог. *Перевод М. Михайлова* . 135

НОВЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

НОВАЯ ВЕСНА

Пролог. *Перевод А. Блока* 136
«В белый сад выходишь утром...» *Перевод В. Левика* . . 136
«Вот май опять повеял...» *Перевод А. Блока* 137
«Тихо сердца глубины...» *Перевод А. Блока* 137
«В красавицу розу влюблен мотылек...» *Перевод П. Быкова* 138
«Зазвучали все деревья...» *Перевод В. Левика* 138
«И был вначале соловей...» *Перевод В. Левика* 139
«Глаза весны синеют...» *Перевод В. Коломийцева* . . . 139
«Только платьем мимоходом...» *Перевод А. Блока* . . . 140
«Задумчиво стройная лилия...» *Перевод В. Левика* . . . 140
«Если только ты не слеп...» *Перевод В. Коломийцева* . 140
«Снова в сердце жар невольный...» *Перевод В. Левика* 141
«Тебя люблю я; неизбежна...» *Перевод В. Коломийцева* 141
«Как луна дрожит на лоне...» *Перевод А. Блока* . 142
«Альянс священный прочно...» *Перевод А. Блока* . 142
«Поцелуями в потемках...» *Перевод В. Коломийцева* 142
«Жил-был король суровый...» *Перевод Е. Книпович* 143

«Лунным светом пьяны липы...» *Перевод В. Левика* . 143
«Утром шлю тебе фиалки...» *Перевод В. Коломийцева* 144
«Вы, право, не убили...» *Перевод В. Левика* . . . 144
«Что тебе, когда пред всеми...» *Перевод В. Левика* . 145
«Бродят звезды-златоножки...» *Перевод В. Левика* . . . 145
«Протянулось надо мною...» *Перевод В. Коломийцева* . . 145
«Влачусь по свету желчно и уныло...» *Перевод В. Левика* 146
«Небо серо и дождливо...» *Перевод В. Левика* 146

РАЗНЫЕ

Серафина

«Поздно вечером брожу я...» *Перевод В. Левика* 147
«На пустынный берег моря...» *Перевод В. Левика* 147
«Мы здесь построим, на скале...» *Перевод А. Мейснера* . . 148
«Над прибрежьем ночь сереет...» *Перевод В. Коломийцева* 148
«Девица, стоя у моря...» *Перевод Ю. Тынянова* 149
«Как ты поступила со мною...» *Перевод С. Маршака* . 149
«На берег летит, вскипая...» *Перевод М. Фромана* . . . 150
«У моря сижу, на утесе кругом...» *Перевод А. К. Толстого* 150

Анжелика

«Взыскан я улыбкой бога...» *Перевод В. Коломийцева* . 150
«Закрыв глаза ей, алый рот...» *Перевод В. Коломийцева* . . 151
«Когда я в твоих объятиях страстных...» *Перевод А. Мантейфеля* 151
«Не отвергай! Пусть жар погас...» *Перевод В. Левика* . 152
«Этот пляс желаний плотских...» *Перевод А. Голембы* 152

Диана

«Эта масса чудо-тела...» *Перевод В. Коломийцева* . . 153
«Залив Бискайский был ей...» *Перевод В. Коломийцева* 153
«Посещая часто вас...» *Перевод В. Коломийцева* . . . 154

Гортензия

«Верил я в былом далеком...» *Перевод В. Коломийцева* . 154
«Вдвоем на уличном углу...» *Перевод В. Коломийцева* . . 154
«Строю вновь я струны цитры...» *Перевод В. Коломийцева* 155
«Не долог счастья был обман...» *Перевод О. Чюминой* . . 155

Клариссa

«Оробев, моих признаний...» *Перевод В. Коломийцева* 156
«Черт возьми твою мамашу...» *Перевод А. Мейснера* 156

Иоланта и Мария

«Эти дамы, понимая...» *Перевод В. Коломийцева* 157
«В которую из двух влюбиться...» *Перевод Ф. Тютчева* . . 157
«Все выпито. Ужин окончился наш...» *Перевод П. Карпа* 157
«Юность кончена. Приходит...» *Перевод В. Левика* 158

Эмма

«Сутки должен ожидать я...» *Перевод А. Горнфельда* . . . 158
«Месяц тянется любовь...» *Перевод П. Быкова* 159
«Эмма, молви без раздумья...» *Перевод З. Васильевой* . . . 159
«Чуть мы вместе — брань и спор...» *Перевод Д. Горфинкеля* 159
«Тенью мрачною, густою...» *Перевод Д. Горфинкеля* 160
Тангейзер. *Перевод В. Микушевича* 160

Фридерика

«Оставь Берлин, где мгла и пыль густая...» *Перевод Д. Горфинкеля* 167
«Рокочет Ганг; сбежав со скал в долины...» *Перевод Д. Горфинкеля* 167
«Рокочет Ганг, великий Ганг бурлит...» *Перевод Д. Горфинкеля* 168

Катарина

«Звезда взошла во тьме моей ночи...» *Перевод В. Коломийцева* 168
«Как Мерлин, я обречен...» *Перевод О. Чюминой* 169
«Люблю я эту бледность тела...» *Перевод В. Коломийцева* 169

На чужбине

«Из края в край твой путь лежит...» *Перевод М. Михайлова* 170
«Сегодня ты такой печальный...» *Перевод М. Лозинского* 170
«И я когда-то знал край родимый...» *Перевод М. Михайлова* 171
Трагедия. *Перевод В. Левика* 171

РОМАНСЫ

Женщина. *Перевод М. Михайлова* 173
Anno 1829. *Перевод В. Левика* 174
Anno 1839. *Перевод М. Лозинского* 174
Рыцарь Олаф. *Перевод Е. Книпович* 175
Али-Бей. *Перевод А. Мейснера* 178
Смена. *Перевод В. Левика* 178
Жалоба старонемецкого юноши. *Перевод Л. Гинзбурга* 179
Фрау Метта. *Перевод В. Левика* 179
Гаральд Гарфагар. *Перевод М. Михайлова* 181

OLLEA

Ишачество. *Перевод Ю. Тынянова* 183
Странствуй! *Перевод С. Маршака* 184
Зима. *Перевод Л. Гинзбурга* 184
Старинная песня у камина. *Перевод Л. Гинзбурга* 185

СОВРЕМЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Доктрина. *Перевод Ю. Тынянова* . . . 187
Адам Первый. *Перевод В. Левика* . . 187
Предостережение. *Перевод Ю. Тынянова* 188
Тайна. *Перевод В. Левика* 189
Тамбурмажор. *Перевод Е. Эткинда* . . 189
Вырождение. *Перевод В. Левика* 191
Генрих. *Перевод З. Морозкиной* 191
Жизненный путь. *Перевод В. Левика* . . 192
Тенденция. *Перевод В. Рождественского* . . 193
Ребенок. *Перевод Л. Пеньковского* 193
Большие обещания. *Перевод С. Маршака* . 194
Подкидыш. *Перевод В. Левика* 195
Китайский богдыхан. *Перевод П. Вейнберга* 195
Ночному сторожу. *Перевод Е. Эткинда* . 196
К успокоению. *Перевод Ю. Тынянова* . . 197

Просветление. *Перевод Ал. Дейча* 198
Погодите! *Перевод С. Маршака* . . . 199
Ночные мысли. *Перевод М. Михайлова* 199

РОМАНСЕРО

КНИГА ПЕРВАЯ. Истории

Эпиграф. *Перевод А. Мушниковой* . . 201
Рампсенит. *Перевод Л. Гинзбурга* . . 201
Шельм фон Берген. *Перевод В. Левика* . . 203
Валькирии. *Перевод Л. Гинзбурга* 205
Поле битвы при Гастингсе. *Перевод А. Блока и Е. Книпович* 206
Карл I. *Перевод З. Морозкиной* 209
Мария-Антуанетта. *Перевод Л. Гинзбурга* 211
Помарэ. *Перевод М. Павловой* . . . 212
Бог Аполлон. *Перевод В. Левика* 215
Маленький народец. *Перевод Л. Пеньковского* 219
Золотой телец. *Перевод Л. Пеньковского* . . 220
Царь Давид. *Перевод М. Лозинского* 221
Король Ричард. *Перевод Л. Пеньковского* 221
Азр. *Перевод В. Левика* 222
Христовы невесты. *Перевод Л. Пеньковского* . . . 223
Пфальцграфиня Ютта. *Перевод М. Замаховской* 224
Мавританский князь. *Перевод В. Левика* 225
Жоффруа Рюдель и Мелисанда Триполи. *Перевод В. Левика* 227
Поэт Фирдуси. *Перевод В. Левика* 229
Вицлипуцли. *Перевод Е. Дмитриевского* 234

КНИГА ВТОРАЯ. Ламентации

Эпиграф. *Перевод В. Ещина* 252
Испанские атриды. *Перевод В. Левика* 252
Мифология. *Перевод А. Мушниковой* . 260
Юным. *Перевод П. Вейнберга* 261
Фома Неверный. *Перевод Л. Гинзбурга* 261
Похмелье. *Перевод Л. Гинзбурга* . . . 262
Семейное счастье. *Перевод Л. Гинзбурга* 262
Теперь куда? *Перевод Л. Гинзбурга* . . 262
Старинная песня. *Перевод В. Разумовского* 263
Гарантия. *Перевод А. Оношкович-Яцыны* 264
Аутодафе. *Перевод И. Елина* . . 264

Лазарь

Закон жизни. *Перевод Л. Пеньковского* . . 265
Оглядка. *Перевод Л. Гинзбурга* 265
Воскресение из мертвых. *Перевод В. Левика* 266
Голь. *Перевод М. Замаховской* . . . 267
Воспоминание. *Перевод В. Левика* . 267
Несовершенство. *Перевод В. Левика* 268
Охладелый. *Перевод В. Левика* . . 269
Соломон. *Перевод Б. Слуцкого* 270
Погибшие надежды. *Перевод В. Левика* . 270
Поминки. *Перевод Н. Зиминой* 271
Госпожа Забота. *Перевод Л. Пеньковского* . 272
В октябре 1849. *Перевод В. Левика* . . 273

Дурные сны. *Перевод А. Ефременкова* 274
Она угасла. *Перевод Л. Пеньковского* 275
Духовная. *Перевод Л. Пеньковского* 276
Enfant perdu. *Перевод В. Левика* 276

КНИГА ТРЕТЬЯ. Еврейские мелодии

Иегуда бен Галеви. *Перевод В. Левика* 278
Диспут. *Перевод Ал. Дейча* 304
Заметки. *Перевод Е. Лундберга* . 316

СТИХОТВОРЕНИЯ 1853—1854 ГОДОВ

В мае. *Перевод В. Левика* 321
Красные туфли. *Перевод Ю. Тынянова* . 322
Невольничий корабль. *Перевод В. Левика* 323
Афронтенбург. *Перевод В. Левика* . . 327

К Лазарю

«Брось свои иносказанья...» *Перевод М. Михайлова* 329
«Висок мой вся в черном госпожа...» *Перевод М. Тарловского* 330
«Как медлит время, как ползет...» *Перевод В. Левика* . . . 330
«Цветами цвел мой путь весенний...» *Перевод В. Левика* 331
«Да, ты оправдана судом...» *Перевод В. Левика* 332
«Меня не тянет в рай небесный...» *Перевод В. Левика* . 332
Вознесение. *Перевод Л. Пеньковского* 333
Филантроп. *Перевод М. Сандомирского* 336
Капризы влюбленных. *Перевод Л. Пеньковского* . . 339
Добрый совет. *Перевод Ю. Тынянова* 341
Воспоминание о Гаммонии. *Перевод В. Левика* 342
Разбойник и разбойница. *Перевод М. Замаховской* 343
Воспоминание о днях террора в Кревинкеле. *Перевод Ю. Тынянова* 344
Аудиенция. *Перевод В. Левика* 345
Эпилог. *Перевод В. Левика* . 347

ДОПОЛНЕНИЯ

ЛЮБОВНЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

«Сердца людские рвутся...» *Перевод А. Оношкович-Яцыны* 348
«Сама доброта и скромность сама...» *Перевод А. Голембы* 348
В соборе. *Перевод М. Замаховской* 349
Холодные сердца. *Перевод А. Линдегрена* 350
«Что за роскошь, соразмерность...» *Перевод П. Быкова* . 351
«Очи, смертные светила!..» *Перевод М. Фромана* 351
«Человек от этого счастлив...» *Перевод Ю. Тынянова* . . 352

Китти

«Весь день я в усладах небесных провел...» *Перевод В. Левика* 352
«Вчера блеснуло счастье мне...» *Перевод В. Левика* . 353
К Дженни. *Перевод Л. Гинзбурга* 353
Песнь Песней. *Перевод В. Левика* 354
Прощание. *Перевод Д. Минаева* 355
«Земные страсти, что горят нетленно...» *Перевод М. Тарловского* 356
«Я чашу страсти осушил...» *Перевод А. Мушниковой* 356

РОМАНСЫ И СМЕШАННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Где? *Перевод В. Рождественского* 357
«На небе полная луна...» *Перевод А. Мейснера* 357
Бегство. *Перевод В. Рождественского* . . . 358
Изменница Луиза. *Перевод М. Фромана* . 358
Ведьма. *Перевод М. Кузмина* . . . 359
Избавитель. *Перевод В. Левика* 359
Песнь маркитантки. *Перевод Л. Пеньковского* 360
Предостережение. *Перевод В. Разумовского* 361
Юдоль плача. *Перевод Ю. Тынянова* . . 361
Крик сердца. *Перевод В. Левика* 362
Добрый совет. *Перевод В. Левика* 363
Дуэль. *Перевод В. Левика* 363
Эпоха кос. *Перевод Ю. Тынянова* 364
Добродетельный пес. *Перевод М. Замаховской* 365
Лошадь и осел. *Перевод Л. Пеньковского* 367
Завещание. *Перевод Ю. Тынянова* 369

СОВРЕМЕННЫЕ СТИХОТВОРЕНИЯ

Гимн. *Перевод П. Вейнберга* 371
Германия. *Перевод Л. Пеньковского* 371
По эту и по ту сторону Рейна. *Перевод Д. Минаева* 372
Политическому поэту. *Перевод Ю. Тынянова* . . . 373
Георгу Гервегу. *Перевод А. Голембы* 373
«Сова изучала пандекты...» *Перевод Т. Сильман* . 373
Силезские ткачи. *Перевод В. Левика* . . 374
Наш флот. *Перевод В. Левика* 375
Новый Александр. *Перевод В. Левика* . . 376
Романское сказание. *Перевод О. Румера* . 378
Король Длинноух I. *Перевод Ю. Тынянова* 379
Ослы-избиратели. *Перевод Ю. Тынянова* . 383
Михель после марта. *Перевод В. Левика* . . 385
1649—1793 — ??? *Перевод В. Левика* 386
Симплициссимус I. *Перевод Б. Лейтина* 387
Клоп. *Перевод Л. Гинзбурга* 390
Бродячие крысы. *Перевод В. Левика* 391
«В Германии, в дорогой отчизне...» *Перевод В. Левика* 393

ИЗ «МАТРАЦНОЙ МОГИЛЫ»

«Причудам дерзостно и смело...» *Перевод В. Левика* . . . 394
«В их поцелуях крылся путь к изменам...» *Перевод М. Тарловского* 394
Орфеистическое. *Перевод В. Левика* 395
«Да не будет он помянут...» *Перевод В. Левика* 396
«В диком бешенстве ночами...» *Перевод Л. Руст* 396
«Тот, в ком сердце есть, кто в сердце...» *Перевод В. Левика* 397
«Вечность, ох, как ты долга!..» *Перевод М. Тарловского* . . 397
«Грубости средневековья...» *Перевод П. Карпа* 398
«Час за часом, дни и годы...» *Перевод Л. Руст* 398
«Я жалил стихом и ночью и днем...» *Перевод А. Мушниковой* 399
«В мозгу моем пляшут, бегут и шумят...» *Перевод В. Левика* 399
«Землю губит злой недуг...» *Перевод В. Левика* . 401
Цитрония. *Перевод В. Левика* 402

К телеологии. *Перевод В. Левика* 405
«Завидовать жизни любимцев судьбы...» *Перевод В. Левика* 408
«В часах песочная струя...» *Перевод В. Левика* . . . 409
Лотос. *Перевод В. Левика* 410
«Пытай меня, избей бичами...» *Перевод В. Левика* 410
Мушке. *Перевод В. Левика* 411
Отходящий. *Перевод А. Мушниковой* . . 415

ПОСВЯЩЕНИЯ. ФРАГМЕНТЫ

К сведению. *Перевод В. Левика* . . . 417
Моему брату Максу. *Перевод В. Левика* 417

ПОЭМЫ

ГЕРМАНИЯ. *Перевод В. Левика* 421
БИМИНИ. *Перевод В. Левика* 487

ПРОЗА

ИЗ «ПУТЕВЫХ КАРТИН»

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГАРЦУ. *Перевод В. Станевич* 511
ИДЕИ. КНИГА Le Grand. *Перевод Н. Касаткиной* 569
ПУТЕШЕСТВИЕ ОТ МЮНХЕНА ДО ГЕНУИ. *Перевод В. Зоргенфрея* 623
ФЛОРЕНТИЙСКИЕ НОЧИ. *Перевод Е. Рудневой* 688

Примечания *Г. Эрлера* и *А. Подольского* . . 741

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
СЕРИЯ ВТОРАЯ
Том 72

Генрих Гейне

СТИХОТВОРЕНИЯ. ПОЭМЫ. ПРОЗА.

*

Редактор С. Шлапоберская
Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти
Художественный редактор
Л. Калитовская
Технический редактор
Л. Платонова
Корректоры
Н. Шкарбанова и Д. Эткина

*

Сдано в набор 15/I 1971 г. Подписано к печати 28/VI 1971 г. Бумага типогр. № 1, формат 60×84¹/₁₆. 50 печ. л. 46,65 усл. печ. л. 42,296+7 накид.+ +1 вкл.= 43,196 уч.-изд. л. Тираж 300 000 экз. Зак. № 1745. Цена 2 р. 08 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28